



**НИКОЛАЙ  
НИКИТИН**





# НИКОЛАЙ НИКИТИН

ИЗБРАННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ

1

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»

Ленинградское  
отделение  
Ленинград  
1966



Вступительная статья  
Н. С. Тихонова

Художник  
Е. Александрова

### **О НИКОЛАЕ НИКИТИНЕ И ЕГО КНИГАХ**

Николай Николаевич Никитин принадлежит к тем писателям, которым выпала честь начинать молодую советскую литературу.

В своей автобиографии он писал: «Жили мы в Петербурге. В то время районы города, точнее клетки, резко делили его население. В одних — дворцовое великолепие императорской столицы, буржуазная солидность, «сытые», красивые и удобные дома. В других — город нужды и несчастья. В нем, как говорила моя мать, «надо хоть как-нибудь сводить концы с концами», — это город рабочих, мелких служащих, ремесленников. Был еще и третий Петербург — промежуточные слои, люди среднего достатка. Они, точно море, соединяли и в то же время разъединяли обе полярности. Мы принадлежали ко второму слою города.

Я родился в 1895 году, своими глазами видел и на себе самом ощутил всю «прелесть» того района, о котором современная молодежь знает либо по чужим воспоминаниям, либо из литературы.

В трудных условиях существования юный литератор пробовал свои силы, предлагая свои рассказы то одной, то другой редакции. Неудачи не ослабляли его настойчивого стремления к литературе.

Как бы повернулась в дальнейшем его судьба, трудно сказать, но Великая Октябрьская революция была для него, с юности стремившегося вырваться из-под гнета серой обыденности, настоящим спасением. Она открыла ему путь в широкий мир, потрясла его ум и сердце, привела к людям, смело ломавшим устои прошлого.

С первых дней революции Николай Никитин вошел в большую общественную работу. В 1919 году он добровольно вступил в ряды Красной Армии; был сначала культработником в отдельных воинских частях, потом перешел в Политуправление штаба Петроградского

укрепленного района. Демобилизовался в 1922 году, когда закончились все фронты гражданской войны.

Жизнь, полная новых впечатлений, революционных задач, встречи с людьми самых разнообразных характеров, знакомство с выдающимися партияцами, в том числе и с работником «продовольственного фронта» П. Ф. Виноградовым, который впоследствии стал героем его романа «Северная Аврора», — все это давало пищу воображению. Хотя, по его личному признанию, в этот период он меньше всего думал о литературе, но литератор в нем не исчез. Напротив, Никитин искал первой возможности, чтобы воплотить все виденное и прочувствованное в произведения, которые рассказывали бы о новой, революционной действительности.

В это время и произошла его встреча с Горьким, решившая выбор пути. Он передал Горькому свой рассказ, который Алексей Максимович прочел и одобрил. Долго копившаяся творческая энергия требовала выхода. Вскоре Николай Никитин уже в группе «Серапионовых братьев», в группе молодых прозаиков и поэтов, над которыми любовно шефствовал Горький.

Это было время рождения первой советской прозы, время всечеловеческих поисков, увлечений, в которых было много отдано «приему», «орнаменту», сказу, ложно понятой фольклорной манере, стилизации.

И все же, несмотря на эти явные просчеты молодости, первые произведения Николая Никитина были восприняты как живое отражение революционной действительности и сразу поставили молодого литератора в первые ряды ставших известными писателей. В одном только 1923 году у него вышли книги «Бунт», «Ночной пожар. Русские ночи», «Камни», «Полет». Он писал много и все больше задумывался над современной темой и средствами ее выражения. Он хорошо понимал, что надо преодолеть первоначальный стихийный период и все то, что мешает дальнейшему росту писателя. Об этом писал Горький, говоря о современной прозе и рассматривая творчество Всеволода Иванова и Николая Никитина: «Они перегружены впечатлениями хаотического бытия России и не совсем еще научились справляться со своим богатейшим материалом. Мешает им и щегольство провинциализмами языка. Они слишком увлекаются местными словарями пестрой России, где почти каждая губерния говорит своими словами. Это делает их рассказы непонятными на европейские языки. Но успех не опьяняет их, наоборот: они оба знают его цену и говорят: «Нас очень хвалят, но это не хорошо для нас». Слова искренние. Я вижу, как они оба стараются преодолеть хаос своих впечатлений и несовершенства языка».

Много работая над утверждением языка, свободного от стилизации и стихийности, Николай Никитин пристально всматривается в окружающую его действительность, находит новых героев и, накопив большой жизненный опыт, пишет повесть, посвященную жизни молодежи — «Преступление Кирика Руденко». Эта повесть имела заслуженный успех. Вслед за ней появляется большое произведение, посвященное великому строительству — «Поговорим о звездах».

Тут уже взята большая тема современности — речь идет о строительстве, о людях, строящих коммунизм, не боящихся трудностей, и о людях, для которых потеряна высокая цель, которые живут слепо и устало, ограниченные повседневностью, высасывающей из человека все живое. В этой повести уже видна была вся сила таланта большого писателя, выращенного революцией.

Неустанно работая как прозаик, очеркист, журналист, Никитин совершает многочисленные поездки по стране, наблюдает жизнь в самых разных уголках севера и юга. Он постоянно связан с различными газетами и журналами и гордится этой работой, дающей ему возможность воочию наблюдать грандиозное строительство и культурный рост во всей стране.

К этому времени Николай Никитин стал и признанным драматургом. Его пьеса «Линия огня», в которой он, по его словам, хотел передать пафос труда, воспринимающегося как бой за социализм, имела большой успех. Вслед за тем Никитин создает историческую пьесу «Апшеронская ночь». В ней развилась тема борьбы с интервентами за освобождение Азербайджана.

Выступая с трибуны Первого съезда писателей в 1934 году, Николай Никитин призывал к драматургическому новаторству на советской сцене. «Героическая драма, достойная наших героических дней, обличительная советская комедия как орудие борьбы против врагов пролетариата, — и то и другое, как это ни кажется странным на первый взгляд, скрещиваются в одной точке. Эта точка — политическая целеустремленность. Это прицел для работы. Я вижу здесь выход для советского театра. Некоторые из товарищей уже стоят на этом пути. И я верю, что в ближайшие годы мы дадим совершенные образцы высокой героической драмы и высокой советской комедии».

Работа над пьесой «Апшеронская ночь» остановила воплощение другого замысла — романа о Средней Азии. В тридцатых годах развитие наших среднеазиатских республик представляло особое зрелище для глаза наблюдательного писателя, видевшего удивительные перемены в жизни Советского Востока.

Возникновению этой большой, ответственной исторической темы предшествовали незабываемые рассказы о событиях революции и

гражданской войны в Узбекистане, услышанные молодым, начинающим писателем еще в далекой Москве двадцатых годов. В то время Воронский, всячески помогавший талантливым молодым людям расширять свой политический горизонт, познакомил его с участниками революционных событий на Советском Востоке — с Михаилом Васильевичем Фрунзе и Дмитрием Андреевичем Фурмановым.

Рассказы Фрунзе, обладавшего даром увлекательного собеседника, произвели неизгладимое впечатление на Николая Никитина. Фрунзе рассказывал о борьбе с басмачеством, о борьбе за освобождение Бухары от феодальной власти эмира — и картины недавнего прошлого оживали перед глазами слушателей. Фрунзе вспоминал многих участников событий тех лет — как друзей, так и врагов; хорошо зная быт Узбекистана, он красочно воспроизводил сцены народной жизни. Его рассказы не могли пройти бесследно. К рассказам Фрунзе, со своей стороны, многое добавил и Дмитрий Фурманов.

Через десять лет после этого Никитин приехал в Среднюю Азию, и все когда-то услышанное снова встало в его памяти и заняло его целиком. Чем больше он путешествовал по Средней Азии, чем больше он видел, чем больше беседовал со строителями нового Узбекистана, тем неотвязней становилась тема новой книги. Для этого надо было видеть не только сегодняшний Ташкент или Бухару, но досконально узнать прошлое, найти материалы, нужных людей, изучить архивы и прочесть бесчисленные воспоминания и исторические книги.

И вот началась большая, трудная работа над романом «Это было в Коканде».

Были обследованы места событий, изучены газеты, книги, мемуары, справочники, архивные дела. Пять лет шла работа над этим романом, который стал выдающимся событием в литературе и по праву вошел в галерею советских исторических романов.

Сложная картина борьбы за советскую власть в Узбекистане в условиях, когда национализм и реакция объединились вместе с иностранными агентами против сил революции, нарисована Никитиным с самой тщательной верностью, подлинной драматичностью и с соблюдением исторической правды. Никитин влюбился в Узбекистан и со всей сердечностью описывал его природу и людей, ставших строителями нового мира, преобразователями своей родины.

Накануне Великой Отечественной войны Никитин с большой любовью вспоминал о среднеазиатских степях, о Ташкенте, Коканде, о прекрасной Зеравшанской долине и горах, о мальчике Юсупе, герое романа «Это было в Коканде», который, попав в революционный поток, превращается из раба в комиссара Красной Армии, в партийного работника. В лице Юсупа писатель увидел трудовой

народ Узбекистана, его подъем, его движение к счастью. В революционной борьбе расцветала дружба между народами — узбекским и русским...

«Это было в Коканде» остается и на сегодняшний день крупным произведением советской литературы, и наличие новых книг об Октябре в Средней Азии, книг разнообразных и хороших, не умаляет его значения.

В замыслах писателя жила еще одна величественная тема, которая давно тревожила его воображение, но приближение к ней было остановлено грозными громами начавшейся Великой Отечественной войны. Только после всемирно-исторической победы над фашизмом Николай Никитин получил возможность работать над романом «Северная Аврора», который стал большой творческой удачей писателя и получил Государственную премию.

Как признается Никитин в автобиографии, первый вариант романа был начат им даже лирически, хотя и не от первого лица. «Я писал так до тех пор, пока не увидел, что мой опыт ничтожен и узок, а события требуют большого, масштабного исторического фона...».

Этот новый роман посвящался героическим людям советского Севера в годы англо-американской интервенции. Снова начались поездки и длительное изучение материалов, хранившихся в библиотеках и архивах Архангельска, Москвы и Ленинграда. Никитин сам побывал на местах боев, изучил все, что можно было найти в исторической литературе.

Было еще одно обстоятельство, которое сыграло главную роль в обрисовке характера ведущего героя романа — Павлина Виноградова. Как было сказано ранее, в молодые годы Николай Никитин лично познакомился с Павлином Виноградовым, и облик этого вдохновенного большевика, скромного, смелого, энергичного, запомнился ему навсегда.

Воссоздавая подлинные картины жизни на Севере в те трагические годы, Никитин следовал широкому развитию событий, стремился правдиво обрисовать характеры. В то же время он изображал врагов — интервентов и белогвардейцев — без шаржировки, не преуменьшая их опасности для Страны Советов, когда чужеземные силы в союзе с белогвардейцами стремились оторвать от молодой республики — и на юге, и на востоке, и на севере — большие территории и уничтожить ее.

Теперь эти события восемнадцатого года кажутся далеким прошлым: полвека, прошедшие с тех пор, только еще ярче подтверждают историческое значение героической борьбы советского народа, возглавляемого лучшими людьми Коммунистической партии.

В романе «Северная Аврора» убедительно воскрешены события и люди, пример которых всегда будет жить в памяти благодарного потомства. К числу таких людей принадлежит и Павлин Виноградов, который стоял во главе целой группы героических защитников советского Севера.

Герои романа выведены с такой жизненной убедительностью, что, по словам Никитина, на встречах с читателем, где обсуждался роман, многие спрашивали: «А где сейчас Люба Нестерова, где Латкин? Жив ли Фролов?».

На основе романа Никитин написал пьесу «Северные зори», с успехом шедшую на сценах многих театров Советского Союза.

Оба романа Николая Никитина — революционные, патристические произведения — написаны языком, очищенным от раиних, формальных, орнаментальных украшательств. Это реалистические, сильные, впечатляющие книги, которым суждена долгая, большая жизнь.

В годы Великой Отечественной войны одно помышление владело писателем: жизнь родины превыше всего, каждое усилие, каждая минута должны быть посвящены ей! И с первых дней войны Никитин включился в писательскую работу, выполняя задания Политуправления Ленинградского военного округа. В сентябре сорок первого он по состоянию здоровья был эвакуирован в город Киров. Там он сотрудничал в «Кировской правде», работал в госпиталях и воинских частях. В мае сорок второго он стал постоянным корреспондентом «Гудка», «Комсомольской правды», Совинформбюро. Он писал о жизни городов, сел, заводов на периферии и в Москве. Лесные разработки, колхозы, железнодорожный транспорт в тылу и на фронте, пограничные войска — вот темы множества его очерков и зарисовок.

В дни разгрома фашистских полчищ под Ленинградом в январе 1944 года писатель входил в только что освобожденные от захватчиков горящие города Пушкин, Петергоф, Гатчину, своими глазами видел те чудовищные разрушения, что принесли захватчики, героизм советских войск, гнавших врага от стен победившего Ленинграда.

В годы войны Никитин написал рассказы о людях тыла, которые беззаветным трудом помогали бойцам на фронте. В этих рассказах переданы драматические и лирические эпизоды жизни простых тружеников страны, превращенной в боевой лагерь, в кузницу, где выковывается победа. Об этом говорят такие рассказы, как «Дед и внук» и «Тридцать два ветра».

Талант Николая Никитина как новеллиста выражен в рассказах, написанных им в разные годы и на многие темы. Среди них есть и новеллы исторические, вроде «Заката», где изображается

известный французский писатель Дюма в годы своей старости, в одиночестве и в глубоких раздумьях о жизни. Из рассказов, входящих в двухтомник, следует остановиться на «Вечере в Доме искусств». В этом рассказе Никитин приводит факт из своей жизни. Дом искусств, или, как тогда его называли, ДИСК, был не просто аудиторией, открытой для всех. Там собирались старые и молодые писатели. Старые писатели вели семинары. Это были люди самых разных взглядов на искусство и литературу. Появление Горького с чтением воспоминаний о Лье Толстом было событием, которое вызвало огромную реакцию среди присутствующих.

И Николай Никитин очень смело изображает впечатление, произведенное на красноармейца Доньку этим вечером, мастерским чтением Горького, силой большой, настоящей литературы. В сущности, молодой литератор Николай Никитин сам испытал на себе и очарование, исходившее от фигуры старого мастера, основоположника советской литературы, и захват всего существа силой творческого вдохновения.

Сила этого рассказа в его точной передаче духа времени, и в верных характеристиках присутствующих, и в том ощущении удивления и уважения, которое всегда вызывает соприкосновение с настоящим искусством.

Два воспоминания, которые входят в сборник, говорят о встречах с Алексеем Николаевичем Толстым и Сергеем Есениным.

Николая Никитина связывала большая дружба с Алексеем Толстым. Конечно, они были разные люди как по возрасту, так и по пройденному каждым литературному пути. Но молодой Николай Никитин, относившийся к старшему собрату с большой любовью и уважением, не мог не восторгаться великолепными качествами Толстого, как человека, влюбленного во все могучее, живое, талантливое. Алексей Толстой удивлял его и своей бесконечной энергией, и здоровой, жизнелюбивой силой, и неутомимостью в работе, за которой мог просиживать дни и ночи. Кроме того, для него не существовало недоступной темы. От штурма Марса в «Аэлите», через картины гражданской войны в эпопее «Хмурое утро» до пластически, живописно поданной эпохи Петра с ее дикими контрастами — все мог он претворить в кипящий и красочный рассказ, от которого нельзя оторваться.

Живой, превосходный портрет писателя, верный действительно, его любовь к России, ко всему русскому, настоящему, земному, сумел передать Николай Никитин в рассказе о Толстом. То, что он любил его и его творчество, то, что он хорошо знал его жизнь и работу, дало ему возможность создать яркий рассказ о человеке и мастере, который не может не волновать.

Портрет Сергея Есенина сделан иными красками. Да это и понятно. Никитин хорошо знал Есенина, стихи которого не могли не доходить до его сердца, но настоящей, глубокой дружбы тут не было. Да и сам Никитин говорит, что Есенину вообще не хватало этой истинной дружбы, этой истинной любви. Тем не менее, описание его поездки с поэтом в ночлежку, в Ермаковку, к беспризорным представляет верное, правдивое описание того, как все происходило. Из-за одного этого описания, так колоритно рисующего Есенина со всеми его сомнениями и слабостями, и жадной славой, и желанием дойти до сердца людей, превратившихся в бродяг, — очерк представляет значительный интерес.

Если проследить весь творческий путь Николая Никитина от его первых рассказов, полных характерных знаков того периода, когда он отдавал должное всяким орнаментальным и сказовым приемам, до полного развития его таланта в таких обширных романах-эпопеях, как «Это было в Коканде» и «Северная Аврора», то станет ясным, что вся эволюция этого мастера прошла в глубокой связи со всем, что происходило в стране, со всем, что вносил в эпоху народ.

Николай Никитин был и хорошим общественным деятелем: был депутатом Ленинградского Совета, работал в редакции журнала «Звезда», вел беседы с начинающими литераторами, участвовал в работе многих общественных организаций.

Последние годы Никитин работал над романом, в котором он хотел по-новому вернуться к первым годам Октябрьской революции. Там должны были быть отражены и события, происходившие на фронте перед новым, семнадцатым годом, и картины его молодости.

В работе для народа, для родины, для коммунизма он видел счастье и назначение писателя.

Собираясь лететь в Чехословакию с делегацией Советского Комитета защиты мира, он на аэродроме почувствовал себя плохо и потерял сознание. Это было в 1957 году. Его оперировали. Он продолжал работать как мог, но сердце, но легкие были уже не те. Ему было тяжело бороться с упадком сил, со все растущей слабостью, но он работал до последней минуты. В марте 1963 года Николай Николаевич Никитин умер.

Но он написал книги, которые останутся в истории советской литературы. Ей он присягнул в юности и выполнил клятву со всей силой своего большого таланта как писатель и гражданин, верный сын своей родины!

*Николай Тихонов*

## ЭТО БЫЛО В КОКАНДЕ



Р О М А Н



1

Комендант Кокандской крепости изучал французский язык. Он читал «Историю пленения Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены, документы о его болезни и смерти». Старинный кожаный переплет книги позеленел от плесени.

Зайченко был человеком практическим. Попутно с изучением языка он решил перевести для себя эту удивительную книгу, поразившую его изображением непрочности человеческой судьбы. Зная язык недостаточно твердо, Зайченко принужден был прибегать к помощи толстого макаровского словаря, часто рыться в словаре. Это отвлекало коменданта от работы и мешало ему.

Печка давно остыла. В передней небольшой комендантской квартирке вестовой Парамонов стряпал на



керосинке обед и от скуки, чтобы позабавить себя, во все горло орал фронтовую непристойную песню:

Выходил приказ такой:  
Становись, мадама, в строй!  
Пятки вместе, носки врозь,  
Не стесняйтесь небось!  
Эй, Тула, пер-вернула,  
Бочкарева хвост надула!

«Все невероятно в этом мире, — подумал Зайченко. — Ну времена! Нельзя оборвать своего вестового! Большевики в Москве, большевики в Петрограде. Они пролезли даже в Коканд. Все летит по швам. Все раскалывается. Все к черту! Все можно!»

Узбеки проходят мимо комендантского помещения и смотрят на забрызганные дождем окна. Горит за окном свеча. Свет ее озаряет белые исчерканные листы, зеленое потертое сукно маленького ломберного столика и серебряную чернильницу. Чинно стоят по стенам маленькие кресла красного дерева.

Комендант накинул на плечи зимний ватный халат. Мягкие желтые ичиги были надеты прямо на босу ногу, точно чулок. Перед тахтой лежал тяжелый, густого ворса иомудский ковер. Комендант шагает неслышно, что кошка. В голове пустота, в сердце злорадия. Он сам не знает, на что ему злиться. Мальчишкой еще искал какую-то веру, все равно какую, лишь бы поверить; стремился к подвигам. Спал на голых досках, увлекался Толстым, читал йогов, Бакунина, мечтал о Кропоткине, о гильотине для богачей, отлично воевал с немцами, в боях под Двинском потерял левую руку, потом эвакуировался, потом застрял в крепости, потом прошла война. Все прошло...

Он глядит на себя в зеркало. У него бритое красное, будто ошпаренное кипятком, лицо, вздернутый носик; он оброс длинными космами волос, спадающих на воротник, как было некогда в моде у офицеров якобинской армии. Он родился в Петербурге, на Тележной улице, на задворках столицы, среди проституток, среди людей, живущих случайным заработком, среди городской голи. Он не пьет и не курит. Он честолобив. Ему двадцать шесть лет. Что же он сделал в жизни? Ничего! Проклятая, гнусная жизнь!

Песня смолкла. Вдруг приоткрылась дверь и выглянул из-за нее вестовой:

— Юсупку пускать?

Комендант крикнул:

— Скажи ему, что сегодня учиться не будем!

— Слушаю.

— Я болен.

— Слушаю.

Через минуту вестовой появился снова:

— Просится!

— Зачем?

— Да разве поймешь? Обезьяна! Лопочет чего-то.

— Ты сам обезьяна.

— Слушаю. — Вестовой отступил на два шага. —

Прикажете пустить, ваше благородие?

— Какое я благородие? Нет теперь благородий! —

Комендант зевнул, потянулся и, швырнув в сторону словарь, лениво сказал: — Ну ладно... Пусти... Все равно не работается!

Два года тому назад Зайченко совершенно случайно познакомился с Юсупом. Юсуп был тогда еще совсем мальчишкой. Зайченко встретил его на развале, на базаре. Юсуп терся возле лавок. У Зайченко было много вещей. Он накопил всяких старинных кувшинов и блюд и решил нанять этого мальчишку, чтобы тот помог ему донести покупки до крепости. Мальчишка с радостью согласился.

Юсуп говорил по-русски скверно, но все-таки они кое-как разговорились, и Зайченко по пути узнал, что Юсуп сирота, что живет он из милости у местного кокандского промышленника и богача Мамедова, работает у него на конюшне, чистит лошадей, а иногда даже заменяет кучера. Об этом он рассказывал с гордостью.

В мальчишке было какое-то обаяние, он сразу располагал к себе. Его ответы, быстрые и решительные, звонкий голос, приветливость, живые и проницательные глаза, вспыхивающие будто спичка, его любопытство и в то же самое время скрытое в нем чувство собственного достоинства — все это понравилось Зайченко.

Зайченко угостил его, дал ему денег и сказал, чтобы Юсуп заходил к нему в свободное время. Юсуп быстро воспользовался приглашением и через три дня снова

пришел в крепость. Позднее, при более близком знакомстве, Зайченко заметил, что мальчишка очень способен.

Он решил от скуки заняться с ним русским языком. Занятия пошли успешно. Потом Зайченко это надоело, но Юсуп в своем рвении был так настойчив и горяч, что коменданту жаль было прогнать мальчишку.

## 2

Тонкий, как дудка, юноша в белом халате, в пестрой тубетейке, босой, забрызганный коричневой грязью, вошел в комнату, кланяясь без конца. Вестовой схватил его за ухо. Комендант выругался:

— Не смей драться, дубина!

Парамонов пожал плечами и скрылся, хлопнув дверью.

Зайченко сел на тахту и улыбнулся:

— Ты что же явился раньше времени?

— Дело, хозяин. Сегодня не надо учиться. Сегодня — дело, — вздохнув, сказал Юсуп.

— Дело? А учиться разве не дело? — Комендант засмеялся. — Урок выучил?

— Выучил.

— Молодец! Ну что же, трудный русский язык?

— Трудный. — Юноша боязливо оглянулся на окна. — Плохое дело, хозяин! В Старом городе большой шум. Резать тебя ночью будут.

— Меня резать? — Зайченко улыбнулся. — Кто?

— Наши.

— Кто ваши? Чанышев?.. Полковник Чанышев?

— Не знаю. На базаре слышал.

— Нападут на крепость?

Парамонов принес котелок с пловом. Мальчик приложил палец к губам.

— Дай Юсупу пиалу! — сказал комендант Парамонову.

Вестовой принес две большие чашки, несколько лепешек, вилки и полотенце. Юноша аккуратно вытер руки и сел к столу. Зайченко наложил ему плова. Юсуп отодвинул вилку и жадно ел плов пальцами, потом дочиста протер хлебом пиалу, по привычке облизал кончики пальцев и громко рыгнул в знак благодарности.

— Спасибо! Ты меня год-два учил. Спасибо, хозяин! — Юсуп нежно коснулся руки коменданта. — Плохой солдат у тебя!

— Ничего! Мы будем защищаться.

У Юсупа искривилось лицо

— Скорей беги, хозяин! Плохое дело! Плохое дело! — еще настойчивее повторил он. — Беги!

## 3

Юсуп был прав. Сам комендант не надеялся на свой гарнизон. Солдаты разбрелись из крепости еще осенью, при Керенском. Зимой в Бресте начались переговоры с немцами о мире. Крепость после этого опустела окончательно. И лишь десятка два солдат крепостной роты, за четыре года войны отвыкших от дома, связавших свою судьбу и с местными людьми, и с городом, и с большевиками Кокандского Совета, решили не покидать насиженных, уже привычных мест. Остались и не знавшие, куда им уходить, и главное — зачем? Здесь, в крепости, они имели готовое хозяйство, кров и пищу.

Все в городе жили раздробленно, на свой страх и риск, точно в средневековье.

Коканд делился на две части. В новой части города Коканда находился Совет. Его влияние распространялось только на эту часть, на железнодорожников, живших в привокзальном районе, и на рабочих хлопкоочистительных заводов. В Старом городе, то есть в старой части города Коканда, сидело белое правительство, называвшее себя «Кокандской автономией». Это были промышленники и торговцы хлопком, духовенство и баи. Из Коканда они грозили Советскому Туркестану. Надеясь завладеть Кокандом как экономическим центром, контрреволюционеры рассчитывали подчинить себе всю Фергану. Совет не мог опереться на свой микроскопический гарнизон, состоявший под командой неизвестного офицера. Совет просил помощи у Ташкента

Таким образом, в Коканде были две власти.

Тяжесть положения усугублялась еще тем, что с января 1918 года Советский Туркестан был наглухо отрезан от России восставшим в Оренбурге атаманом Дутовым,

о котором сюда доходили только слухи. Говорили, будто его поддерживает Антанта. Коканд питался слухами. Некоторые из «кокандских автономистов» уверяли народ на митингах, что уральские белоказаки такая большая сила, какая и не снилась никогда коммунистам... Дутовские офицеры, проникавшие в Коканд, клялись кокандскому «правительству», что недалек тот час, когда вслед за Оренбургом восстанет все Поволжье, за ним Урал, за Уралом Казахстан, и что даже теперь в степных волжских городах люди доедают последнее зерно. «К весне вся центральная Россия останется без хлеба! Наступит голод и всеобщий мор. Полуграмотные комиссары из солдат никогда не сумеют создать армии. Зря только грозятся. Сплошная партизанщина...»

Такого рода информация у кокандских богачей рождала полную уверенность в близком падении Советов. «Автономия» готовилась к полному захвату власти... А в среде простых людей, никогда не занимавшихся политикой, это вызывало разброд. Одни кричали: «Все это вздор, распространяемый агентурой капитала». Другие относились к этому серьезно и старались как себя, так и других подготовить к большому грядущим событиям. Третьи впадали в уныние.

Февраль выдался холодный, с ледяными ветрами из степи. В Коканде и в других городах Ферганы стало ощущаться недостаток хлеба, мяса, топлива. Люди из кишлаков избегали выезжать на базар. Бумажные деньги — царского времени, керенки — потеряли всякую ценность.

#### 4

Зайченко вошел в казарму. Сашка Лихолетов кроил галифе из красного бильярдного сукна. Два парня играли в «носы». Несколько человек спали, разувшись и развесив по нарам заношенные коричневые портянки. Кто-то читал газету. В казарме пахло потом, мусором, грязным бельем, махоркой, сапогами. Трещала в печке солома. Около походного ржавого котла мальчишка лет двенадцати, Федотка, австрийским тесаком крошил репчатый лук.

— Дневального ко мне! — скомандовал Зайченко.

Игравшие удивленно бросили карты и поднялись с коек. Лихолетов равнодушно посмотрел на коменданта.

— Где дневальный? — спросил Зайченко.

Солдаты молчали. Лихолетов встряхнул материю и нехотя ответил.

— Илья Иванович ушли по своему делу.

— Какой такой Илья Иванович?

— Степных.

Лихолетов засмеялся, и это еще больше разозлило коменданта.

— По какому делу? Это так несут караульную службу? Да знаете ли вы, что буржуазия имеет здесь свое правительство? При таких порядках всех нас могут перерезать.

— У ворот стоит часовая, — спокойно заметил Лихолетов.

— У ворот? Научились отвечать! У ворот... А крепость — проходной двор! Шляется тут всякий, кому только не лень. Хорош гарнизон!

— Каков поп, таков и приход... — пробормотал Сашка, звякнув ножницами. — А когда надо будет, вас не спросим... Сами знаем...

Коменданта передернуло, и он закричал, точно испуганный:

— Что «сами»? Встать смирно! Молчать, взводный командир! Распустились все! Разве это служба? Всем встать смирно!

Спавшие проснулись.

— Построиться! — сказал Лихолетов, бросив ножницы.

Все встали, построились. Федотка быстро шмыгнул вбок и спрятался за котел.

— Это что здесь за фигура? — Зайченко ткнул пальцем в сторону Федотки.

— Приблудный, — ответили из строя.

Зайченко вздохнул. Солдаты крепостной роты стояли как придется. Некоторые были в сапогах, другие — босиком, без поясов, с раскрытыми воротами гимнастерок. Комендант хотел их выругать за неформенный вид, но тут вспомнил, что и сам не при оружии. Вместо шинели на нем потрепанный узбекский халат. Зайченко покраснел и уже хотел распустить команду, как впереди фронта появился рослый Лихолетов, кашлянул и,

молодецки приложив руку к козырьку, четко отпартовал:

— Честь имею доложить коменданту крепости, что по гарнизону Кокандского Совета рабочих и солдатских депутатов все обстоит благополучно. Рядовой Степанчонок несет караульную службу. Больных нет. Арестованных нет. Налицо — тринадцать человек гарнизона.

Комендант отдал честь и, повернувшись на пятках, тихо, как бы в пространство, сказал:

— Осмотреть винтовки и пулеметы! Приготовиться к боевой тревоге! С завтрашнего дня начнем ученье. Вольно!

— Вольно! — повторил команду Лихолетов.

Комендант, нахмутив брови и опустив глаза в мокрый каменный пол, прошел вдоль строя к выходу. За ним скрипнул железный блок, визгнула дверь. Не успел комендант выйти, как люди загалдели. Федотка снова схватился за тесак.

Три дня тому назад он попал сюда, надеясь подкормиться. Отца он потерял еще в германскую войну. Мать убили семиреченские казаки.

Федотка в Коканд приехал из Ташкента с каким-то парнем и потерял его на железной дороге. Солдаты нашли Федотку на кокандском базаре почти умирающим. За три дня мальчишка отъелся. Только впавшие глаза, обведенные синяками, говорили о голодовке. И теперь больше всего на свете Федотка опасался, как бы его не выставили из казармы.

Солдаты ругались... Комендант вводит старые, царские порядки! Они не позволят мучить их поверками и строем! Они кричали о жалованье и пайке. Лихолетов, свернув в кучу скроенный материал, натянул сапоги и пошел в цейхгауз. Он решил лично осмотреть оружие. Спорить с товарищами ему не хотелось. Из нескольких пулеметов он отобрал один, бывший в исправности, и, вернувшись в казарму, поставил пулемет под свою кровать.

— Неужто, дяденька, опять война? — спросил испуганный Федотка.

Лихолетов ничего не ответил. Все дружно хлебали суп. Потом, вынув ножи, молча делили на порции синюю разварившуюся баранину. Прибежал Парамонов и, распахнув дверь, звонко крикнул с порога:

— Эй, Лихолетова к коменданту!

Горбоносый рыжий Лихолетов, не отрываясь от еды, мрачно посмотрел на вестового. Парамонов нарочно стоял фертом, лихо опираясь на косяк и придерживая дверь сапогом.

— Ну? — повторил он нетерпеливо. — Вставай! Комендант приказал без тебя не приходить.

— Подождет! — сказал Лихолетов.

Все в команде засмеялись. Парамонов прищурился.

— Шкура, — шепнул он про себя и плюнул в кадку с помоями.

Выбраться открыто Парамонов не посмел. Он знал, что товарищи его не любят. За что? За должность ли вестового? За то ли, что он жил от них в сторонке, вместе с комендантом, и не яхшался с ними? Черт их знает! Он тоже ненавидел их.

Парамонов до войны служил в полиции монтером. Во время войны попал в артиллерию и считался неплохим артиллеристом. Потом он удрал с фронта, устроился в жандармы. Летом, по приказу Керенского о переводе бывших полицейских в армию, он снова попал в войска. И теперь, при перемене обстоятельств, всю эту «музыку» пришлось тщательно скрывать. Особенно от Лихолетова.

Лихолетов вынул трубку, закурил и, достав из-за койки аккуратно скатанную шинель, молча натянул ее на плечи.

## 5

Аввакумов, заместитель председателя Совета, сегодня отослал в Ташкент третью телеграмму.

Он сообщал, что не имеет возможности не только к наступлению, но даже и к обороне. Ни на одну из телеграмм Ташкент не ответил. Это было непонятно. Измученный бестолковщиной, пожелтевший от тревоги и бессонных ночей, Аввакумов не знал, на что ему решиться. Коменданту крепости он не верил. Зайченко мог присоединиться и к Чанышеву, военному министру автономии, и, наоборот, — пойти против Чанышева, но вовсе не для защиты Кокандского Совета, а с какой-то другой, никому не известной целью.

Хотя Кокандская крепость в военном смысле мало имела значения, а несчастная горсточка солдат во главе с полуинвалидом офицером представляла самый крошечный гарнизон в мире, все же, по мнению населения, крепость считалась силой. За ее стенами находились пушки. А туземная часть города, населенная беднотой, узбекской и русской, издавна привыкла считать хозяином того, кто владел пушками. Старые трехдюймовые полевые орудия олицетворяли действительную власть. Город зависел от них. Крепость, открыв по городу огонь, могла принести немало бед.

В холодном кабинете, около огромного письменного стола, неуклюже присев на кончик кресла, солдат Степных обсуждал с Аввакумовым создавшееся положение.

— Денис Макарович, — говорил он Аввакумову, — ты только прикажи — и я нашему коменданту голову сорву!

— Зачем?

— Чтобы вся власть была в наших руках.

— Нет, Илья, надо делать вид, как будто среди нас все спокойно. Ты посмотри, что происходит на площадях, в домах, в местечках! Все кипит, темные люди мечутся, как бараны. Тут достаточно только крика... Нет, коменданта трогать невозможно! Разве среди вас есть какое-нибудь согласие? Да и кто вы такие, чтобы на вас опереться?

— Сашка Лихолетов со мной согласен. Найдутся люди, — угрюмо пробурчал солдат.

— Сашка! — Денис Макарович засмеялся. — Ты да Сашка — пара! Боже упаси, если вы покажете Зайченко, что подозреваете его! Тогда не ему, а вам я голову сорву. Господа кокандцы еще боятся, пока у нас в крепости нет разногласий. Да и то... не очень! Ты послушай-ка, что кричат муллы! Как они разжигают народ, ремесленников-узбеков! Пойми, что для всех этих темных людей мы еще не большевики, они еще не знают, что такое большевики! А всякий русский для них — эксплуататор, чужой, захватчик. Вот на чем идет игра!

Высокий, с горящими глазами, худой, сильный и костистый человек бегал взад и вперед по кабинету. В каменном доме было пустынно. Все служавшие давно покинули Совет. Степных встал, оправил свою шинель и,

задумчиво посмотрев на грязный паркет, протянул руку Аввакумову:

— Значит, идти, Денис Макарович?

— Иди, иди! — торопливо сказал Аввакумов.

— И никаких приказаний?

— Никаких, никаких! Одно приказание — следить и быть настороже!

Солдат крикнул, нахлобучив на голову огромную туркменскую папаху, поднял с полу узел с кожаным товаром.

— А вечером прийти на квартиру?

— Зачем?

— Покараулить. Все-таки и тебе будет веселее. — Степных взмахнул узлом.

— Да не знаю, Илья! Пожалуй, не стоит.

— Я приду... — сказал солдат, покосившись на дырявые ботинки Аввакумова. — Заодно поставлю тебе латки.

Степных вышел. Аввакумов, оставшись один, подошел к окну, чтобы взглянуть, что делается на улице. Моросил холодный дождь. Перед окнами качались коричневые ветви голых чинар. В лужах тротуара отражалось мраморное февральское небо. Какие-то люди в белых чалмах, в ватных халатах шлепали по улице, среди луж. Проходя мимо Совета, они подозрительно косились на темные окна.

Прозвенел телефон. Аввакумов схватил трубку.

— Алло? — крикнул он беспокойно. — Ах, это вы, мамаша! Ну, что дома? Займитесь чем-нибудь, тогда перестанете плакать! Хулиганы? Нет, никаких хулиганов не видно... Не-ет... Здесь все в порядке, — беспечно протянул он, нарочно делая свой голос веселым, и, увидав висевшую перед глазами большую, хорошо раскрашенную старую карту Кокандского уезда, даже засмеялся. — Я же здесь не один! Не беспокойтесь, мамаша! На нашей территории найдется масса советского народа. Честное слово! Ну вот, чего мне врать? Честное слово! Мамаша, вы уйдите из дому! Пойдите хоть к знакомым! Я, быть может, дома и ночевать не буду... Да, не буду! Вот и не теряйте времени, идите! Ладно, ладно, не маленький, не пропаду! Этак-то и мне будет спокойней... Спасибо, того и вам желаю!

— Да вы садьте, Лихолетов, — сказал комендант. — В ногах правды нет.

Сашка сел. Ловкий Парамонов наглухо завешивал окна комнаты двумя плотными одеялами. Было невероятно тихо.

Все распоряжения отданы. Чего хочет комендант? С одной стороны — он как будто готовится к какому-то бою, с другой стороны — он запретил Лихолетову тревожить людей излишними разговорами и приготовлениями. Сашке казалось, что комендант чего-то недоговаривает.

Зайченко лежал, развалившись на тахте, играя старинным кинжалом, сбрасывая его с пальца. Кинжал втыкался в пол.

Разговор шел вяло. Сашке казалось, что Зайченко что-то хочет узнать про него и как-то прощупывает его мысли и подбирается к нему, как кошка к мясу. Поэтому Сашка держался настороженно и напоминал ежа, выпустившего на всякий случай иглы.

— Вы семейный? — спросил комендант.

— Ну, это как сказать! — загадочно улыбаясь, ответил Сашка.

— И мать есть?

— Давно не видел.

Комендант отшвырнул кинжал и плотнее закутался в халат.

— У меня тоже жива мать... Наверно, еще жива, — пробормотал он. — А вы любите свою мать?

Сашка не ожидал этого вопроса, да и вопрос был какой-то детский, несостоящий.

— Кто же не любит свою мать? Хотя — какая мать! И матери разные бывают, — сказал Сашка.

— Да, разные, — задумчиво ответил комендант и вдруг проговорился, как бы неожиданно для самого себя: — А вы знаете, Лихолетов, у меня мать — прачка. Ей-богу, самая настоящая прачка! По стиркам ходила. И теперь, наверное, ходит. Руки прачки! Пальцы белые, распаренные, точно сейчас из бани, с волдырями. А здесь вот... — он показал на руки и брезгливо поморщился, — толстые, вздутые, синие жилы. А я офицер! Был офицером, — поправился Зайченко. — И мать мной гордилась.

Вырастила меня! Обhajивала меня, как идола. Мечтала, что я буду барином. А я хотел учиться!

— Вот война кончится, — сказал Сашка, — можете учиться.

— Нет... — Комендант вздохнул. — Я уж не хочу и не буду. И война не кончится... Я солдат, как в старину... Наемник!

— Солдатом приятно жить. День да ночь — сутки прочь, — отозвался Парамонов, забрав из соседней комнаты чайник с кипятком.

Сашка удивленно посмотрел на вестового.

Комендант засмеялся и сказал:

— Что, Лихолетов? Не согласны с этой теорией?

Сашка расправил усы.

— Как вам сказать, товарищ комендант! У всякого народа своя теория. Взять русских: солдат считался у нас званием военного, гордого. А возьмите вы узбека: солдат для него — преступник, в наказание и позор. Другое понятие! Узбек — народ ровный, до земли охоч, работяга. Конечно, на степу водятся еще головорезы...

— Узбеки еще нам пропишут!

— Да, прописать, Константин Сергеевич, могут. В этом я не спорю. И комар до крови кусает. По необходимости. Такое течение истории. Обижал их царь, а тень падает на нас.

— Лихолетов... — Комендант внимательно взглянул ему в глаза. — Как по-твоему: Ленин удержит власть?

— А почему же ему не удержать? Раз взял — значит, о чем-то думал. Удержит, — авторитетно сказал Сашка.

Кто-то с улицы стукнул в окно. Сашка приподнял одеяло.

— Ветер, должно быть, — сказал Парамонов.

Сашка ближе пригнулся к раме и увидел приплюснутое к стеклу темное скуластое лицо. Сашка опустил одеяло и прошептал:

— Старик... в чалме!

— Старик? Какой старик? — беспокойно сказал Зайченко и вздернул голову, как бы прислушиваясь к тому, что делается за стенами дома; потом он закусил губу и приказал Парамонову выпустить узбека.

Узбек неторопливо вошел в квартиру коменданта, осторожно снял руками огромные восточные галоши и подозрительно оглянулся на все стороны. Увидав

Зайченко, он остановился, левой рукой провел по бороде, а правую руку приложил к сердцу и произнес мусульманское приветствие. Затем улыбнулся и довольно чисто спросил по-русски:

— Имею удовольствие говорить с господином комендантом крепости?

Зайченко сделал поклон и пригласил гостя на тахту. Толстый старичок, с аккуратно подбритой бородой, сел точно женщина, оправив складки своих халатов, и потупил глаза.

Все молчали. Наконец старик поднял голову, на его румянном личике, подернутом паутиной красных жилок, опять появилась улыбка, он процедил что-то по-английски. Комендант не знал английского языка и только по одному слову *confidentially* догадался, что посетитель желает разговаривать с глазу на глаз. Он кивнул Сашке. Тот встал и, лихо щелкнув каблуками, вышел. В передней, усмехаясь, он спросил у Парамонова:

— Что это за обормот? Не знаешь?

— А прах его возьми! Первый раз вижу, — сказал Парамонов и пожал плечами.

— Подай чаю! И сладкого, что есть! — услышали солдаты голос Зайченко из соседней комнаты.

Сашка прислушался, почесал нос и, подозрительно взглянув на Парамонова, ушел. Парамонов быстро собрал поднос: вазочку с персиковым вареньем, тарелку с инжиром, две лепешки, две чашки чаю.

## 7

Старик с поклоном принял чай, пил осторожными глотками, тихо говорил о погоде, о тяжелых событиях в России, но все еще не называл себя. Зайченко понимал, что его гость — птица важная, что он пришел к нему с какой-то, несомненно, важной и серьезной целью. К этому гостю, больше чем к кому-либо другому, подходило мусульманское поверье: «Гость — посланник бога, и торопить его невежливо». Покончив с церемонией дастархана\*, старик сделал вид, что утирает руки, и

немножко распустил свой скрученный шарф, которым был опоясан.

— Я Мулла-Баба, — назвал он себя. — Делегат от правительства.

— Вы прибыли из Ташкента? — спросил комендант.

— Нет.

— Но ведь правительство имеет свое пребывание в Ташкенте?

— А я здесь! Я от министров Кокандской автономии, а не от комиссаров, — улыбаясь, вежливо сказал старик.

Оба собеседника, конечно, сразу поняли друг друга. Разговоры велись только дипломатические. Это было, как говорят музыканты, прелюдией, главная игра еще не начиналась.

— Так... — сказал комендант. — Чем могу служить?

— В Ашхабаде и Самарканде восстание... — говорил старик тихо и задыхаясь, его душила астма. — В лагерях под Самаркандом находятся восемь тысяч пленных чехословаков... Они хотят на родину и готовы с боем пройти домой... Их охраняют восемь пьяных русских солдат. Атаман Дутов отрезал Туркестан от России... Он идет сюда. — Старик показал кулак. — О Коканде вы знаете не хуже меня. Надо думать, господин комендант, что советской власти придется отступить... — Он совсем приник к плечу Зайченко, как будто собираясь перейти на шепот. — Ташкент ведет переговоры с нами. С малосильным противником не разговаривают. Его презирают или бьют.

— Вы пришли разговаривать со мной? — как будто намекая на свою силу, выкрикнул комендант.

Старик вежливо поклонился и ответил уклончиво:

— Мы не хотим крови.

— А что вы хотите?

— Тишины.

— Вы хотите того, чего нет на свете.

— Да, господин.

Старик закрыл глаза и сложил на животе жесткие ручки с выкрашенными, как у женщины, но все-таки грязными ногтями. Он нежно поглаживал их, будто маленьких голых зверьков, лаская и грея в длинных рукавах своего халата.

Комендант понял, что правительство Кокандской автономии ждет от него сдачи крепости. Старик приехал

\* См. словарь в конце книги (ред.).

купить его. На следующий день после сдачи полковник Чанышев может арестовать его и расстрелять. В случае провала автономистов то же самое сделает с ним советская власть.

— Вы выбирайте! — сказал старик, улыбнувшись.

Комендант побледнел от злости, подошел к телефону и начал вертеть ручку аппарата. Через четверть часа станция ответила. Голос телефонистки казался далеким, еле слышным, как будто она говорила из воды.

— Дайте Кокандский Совет! — крикнул комендант.

Телефон смолк. В нем прекратилась всякая жизнь — ничего не шипит, не звенит, не щелкает. Зайченко опять стал пакручивать ручку аппарата. Только минут через семь снова отозвалась станция.

— Я же просил Кокандский Совет! Вы заснули, бабышны? Требуется комендант крепости! — опять закричал он.

— Кокандского Совета у меня нет, — сказала телефонистка.

— Как нет?

— Он выключен.

— Дайте седьмой!

— Тоже выключен, выключен, — тем же равнодушным голосом ответила телефонистка и прекратила контакт.

— Господин комендант, все советские номера, кроме вашего, выключены, — сказал старик и засмеялся.

Зайченко в третий раз потребовал станцию:

— Полковника Чанышева!

На этот раз его соединили очень быстро. Молодой гортанный голос грубо ему сказал, что господин министр спит.

— Кто у телефона? — спросил Зайченко.

— Адъютант.

— Разбудите.

— Я вам сказал: министр спит.

— Хорошо! Утром доложите полковнику, что ваш представитель у меня в руках. И я его не выпущу. Все. Говорил комендант крепости.

Зайченко повесил трубку.

Старик встал и поклонился хозяину.

— Горячий! — слегка пренебрежительно произнес он и дотронулся до плеча коменданта. — А теперь проводи

меня отсюда! Там солдат стоит, не выпустит... — Старик хитро сжал губы и похлопал коменданта по плечу. — А ночью ты сдашь крепость — и мы благодарны! Богато благодарны. Твоей советской власти нет... Пока мы с тобой угощались, советских расстреляли, Аввакумова расстреляли... — Старик покачал головой. — Э... Еще молодой человек! Что ты, смерти хочешь?

Вдруг прозвенел телефон. Комендант поднял трубку:

— Крепость слушает.

— У аппарата Чанышев.

— Слушаю вас.

— Будем говорить, господин поручик, как офицер с офицером.

— Слушаю-с!

— Не делайте глупостей!

— Господин полковник, с такими же словами я могу обратиться к вам. У вас отряд в пятьдесят человек. Я знаю ваши силы. Наши переговоры напоминают оперетку. А у меня орудия!

— Вы забыли Иргаша?

— Какого Иргаша?

— Начальника милиции Коканда. У него отряд в четыре тысячи.

— Бандитов не боюсь.

— Напрасно! Эти бандиты находятся в моем распоряжении. Железнодорожный путь как в сторону Ташкента, так и в сторону Андижана разрушен. Наманганская ветка также разрушена на несколько верст. Железнодорожные мосты сожжены. Связь Коканда, телефонная и телеграфная, перерезана. В ближайшие дни помощи не получите. Исход дела очевиден. Вы пожертвовали советской власти ваши чины и ордена, но вы — храбрый офицер. Я знаю вас. Сейчас вы напрасно храбритесь. Сговаривайтесь с Мулла-Бабой, иначе вы погибнете! И про вас скажут: «Он был храбр, вот и все!»

Острый, как ледяная вода, голос полковника Чанышева точно обжег коменданта. Зайченко понимал, что, отпустив Мулла-Бабу, он, конечно, совершит предательство. Расстреляв его, он ускорит события. «В конце концов при чем здесь Мулла-Баба? Дело не в нем! Чья возьмет? Неизвестно... Поэтому надо подождать, —



решил он, — подождем! Оттянем время — сейчас это главное». И комендант ответил Чанышеву:

— Хорошо. Я отпущу вашего делегата. Договариваться я могу только с вами. Утром я поговорю с вами об условиях сдачи. Повторяю, согласен, но...

— Скоро уже утро. Три часа, — нетерпеливо возразил полковник.

— В семь часов позвоните мне! — небрежным и независимым тоном сказал Зайченко.

— В ответ он услышал ругательство, и контакт оборвался. Чанышев, видимо, резко швырнул трубку.

Комендант скинул халат, надел шинель, перебросил через плечо портупею с шашкой, сунул в правый карман браунинг и кивнул старику.

— Пошли! — сказал он ему.

Старик, аккуратно надев свои огромные восточные галоши, вышел за комендантом в переднюю.

Он шел, осторожно приподнимая ноги, чтобы не топтать.

В передней на дырявом диване, обитом канцелярской клеенкой, спал Парамонов, закутавшись с головой в кошму\*. Коптела керосинка. Ключья копоти плавали в воздухе. Зайченко чертыхнулся и потушил керосинку. Парамонов беззаботно храпел. Комендант, выйдя из своей квартиры, повел Мулла-Бабу к воротам.

## 8

Старая крепость была обнесена стеной из кирпичей; в некоторых местах стена обвалилась, и дыры были заткнуты просто глыбами глины. Собственно, эта стена немногим отличалась от обыкновенного дувала\*, которым окружен каждый дом в кишлаке. Она была лишь толще да выше. На дворе крепости стояли постройки, каменные дома — комендантский, казарма и церковь.

Федотка дежурил около ворот. Ни разу в своей жизни он не держал винтовки и встал на дежурство, соблазненный Парамоновым. Вестовой обещал дать ему кусок сала, если он простоят за него до трех часов утра.

Около двенадцати ночи Федотка запер крепостные ворота. Ключ от калитки он не оставил в замочной

скважине — он взял его с собой в караульную будку, положил на скамейку и для верности даже сам сел на него, а между ног поставил винтовку со штыком. Он был весел, доволен своей жизнью и наслаждался ею. В животе что-то урчало, переливалось, и Федотка радовался сытости.

Потом он вспомнил о батьке, пропавшем на войне: «Батька тоже был прожора...» Вспомнил Федотка зеленые горы, покрытые пахучими елками. «Да, там все было лучше, — подумал он, — небо, и звезды, и снег! Там грязь не падала с неба... Нет, там было плохо! Там убили мамку, увели скот, зарезали бабу и двух сестреноч. Зато теперь, когда я подучусь стрелять, я пойду против этих казаков... и убью их».

Он размышлял о подвигах, и его стало клонить ко сну. Чтобы не спать, он решил заняться винтовкой, дернул затвор. Из ствола выскочил один патрон. Желая поправить дело, Федотка двинул затвор обратно и снова дернул к себе. Выбив из магазина все пять патронов, он стал их собирать. Что такое обойма, как она вынимается из казенной части винтовки, как вложить в нее обратно патрон, он не знал. Повозившись, подергав затвор, он сунул патроны в карман, винтовку поставил к будке и начал ходить вдоль стены.

Хрустели тонкие стеклянные лужицы. Федот давил их пяткой. У него замерзли ноги, потому что он был без носков, в старых расшлепанных туфлях. Чтобы согреться, Федотка стал подскакивать, как заяц.

Потом ему сделалось страшно. Все кругом тонуло в темноте. Он остановился около ворот, боясь двинуться куда-нибудь в сторону. В небе ни одной звезды, на земле ни одного огня! Не за что уцепиться глазом!

Вдруг он услышал шум возле ворот.

— Кто там? — тихо спросил Федотка.

— Открывай!

— Пошто? Не отчиню.

— Со станции. Коменданту телеграмма.

Федотка не понял, о чем речь.

— Открывай, говорю! Свои! С Ташкента!

Перепугавшись, Федотка отпер и тут же упал, не успев даже крикнуть: его ударили кинжалом в грудь.

Люди с карабинами ворвались в крепость.

Когда комендант вышел из своего дома, чтобы проводить Мулла-Бабу, белогвардейцы услышали звук хлопнувшей от ветра двери. Кто-то из них выстрелил. Зайченко побежал на этот выстрел, но неожиданно за своей спиной услышал новые залпы. Он упал на землю. Минут пятнадцать стреляли почти по земле, над его головой. Он понял, что стреляют из казармы. Это был Сашка, ему не спалось, он первый заметил в крепости переполюх.

Затем мимо коменданта пробежали солдаты. Комендант побежал вместе с ними. Он увидел Сашку уже у крепостной стены. Не зная точно, куда отступил и где находится противник, Сашка, сбегав за пулеметом, открыл огонь вслепую.

Федотку товарищи снесли в казарму. А через полчаса, то есть около четырех часов утра, красногвардейцы поймали во дворе Мулла-Бабу. Сам Сашка привел его к коменданту. Зайченко испугался. В дверях толпились бойцы. Они жадно рассматривали старика.

Старик стоял около ломберного столика, упираясь о край его своими маленькими руками, чтобы они не дрожали. Тут же рядом, на другом конце, еще не был убран поднос с остатками угощения.

Комендант сказал солдатам:

— Это представитель Кокандской автономии. Он ночью перед нападением был у меня в качестве парламентаря и сговаривался со мной о сдаче крепости. Я отложил разрешение этого вопроса до семи утра, до переговоров с Советом. Я обязался отпустить парламентаря, но так как противная сторона нарушила свое обязательство, мы расстреляем его. Парамонов, выведи его из крепости!

— Так точно! Понимаю! — ожесточенно, с веселой злостью отчеканил Парамонов и приложил руку к козырьку.

— Всем оставаться в крепости! На своем посту! Не выходить за стены! Возможно новое нападение! Вы, Лихолетов, подождите здесь! Я составлю документ.

Комендант вырвал из французской книги чистый клоч страницы и сел к столику.

Парамонов прикладом ткнул старика в спину и повернул его к выходу, к дверям. Старик прикрыл глаза ладонью. Когда они вышли, вслед за ними вывалились и солдаты.

Комендант писал:

Военному Министру Кокандской автономии,  
полковнику Махдию Чанышеву

Сегодня в ночь (в четвертом часу утра) группа неизвестных лиц подошла к воротам крепости и постучалась. Часовой открыл дверь, не подозревая о возможности нападения. Часовой тут же был убит. Защитники крепости открыли огонь. После некоторого сопротивления группа отступила. В тот же день утром в крепости был задержан член правительства Кокандской автономии. Ввиду невыполнения вами принятого на себя обязательства о перемирии до семи часов утра, по требованию гарнизона ваш парламентар расстрелян.

*Комендант крепости Кокандского Совета*  
*Зайченко*

— А теперь, товарищ Лихолетов, — сказал Зайченко, бросив перо, — передайте телефонограмму!

Сашка подошел к телефону и принялся накручивать.

— Алло! — кричал он. — Алло, алло! — и поминутно продувал трубку. — Станцию... Фью! Станция! Фью... Крепость говорит... Фью... Дай министров! Ну да... Не понимаешь? — дразнил он телефонную барышню. — Ну ясно, буржуев! Спасибо, золотко! Крепость говорит. Да, крепость. Дежурный? Карандаш бери! Принимай телефонограмму!

И Сашка, слово в слово, передал все, что было написано Зайченко, и о том также, что часовой был убит нападающими.

Был ли этим часовым Федотка? Какое право имел солдат, стоявший на карауле у крепостных ворот, отдать свою винтовку случайно приблудившемуся к крепости пареньку? Кто об этом думал в гарнизоне? Все расхлябалось, вся дисциплина. Зайченко, как коменданту, было важно установить только одно: факт нападения на крепость. А Федотка еще был жив, еще дышал и даже через час, когда кто-то из старых солдат догадался наконец перенести его в лазарет, пришел в себя. Маленькое, хрупкое, жалкое, как обвисший стебель, тело Федотки казалось всем безжизненным, и крепостной фельдшер

официально заявил: «Я считаю, что все кончено. Минуты этого хлопца сочтены...»

Но, как мы узнаем впоследствии, Федотка все-таки выжил.

## 10

Телеграфист Муратов на станции Коканд, услышав ночью выстрелы, успел передать в Ташкент депешу о том, что обстановка в городе ухудшилась, повсюду идет стрельба и что с минуты на минуту можно ожидать восстановления автономистов. После этого аппарат неожиданно замолк.

Этой же ночью, приблизительно в тот же час, когда было произведено нападение на Кокандскую крепость, рядовой крепостной роты Степных находился около дома, где жил Аввакумов. Он пришел сюда поздно, без ведома Аввакумова, и решил не беспокоить его, а подождать. Солдат сидел в маленьком дворике на крыльце. Из Старого города доносилась пальба. Потом, услышав стрельбу из крепости и вслед за этим хлопанье пулемета, Степных встревожился и вышел на улицу. Мимо него проскакал конный на неподкованной лошади.

Степных решил разбудить Аввакумова. Ночь показалась ему темной и тревожной. Шелест, шорох, треск упавшей ветки с тополя — все беспокоило его. В окнах дома было темно. Степных решил, что лучше всего сейчас уйти отсюда. Он подошел к двери, чтобы постучать Аввакумову и посоветоваться с ним. Вдруг сзади обхватили его, вышибли из рук винтовку. Он крикнул. Тогда его повалили.

Денис Макарович подошел к окну и чиркнул спичкой. По окну выстрелили, посыпались стекла, спичка потухла. Несколько человек подбежали к двери и принялись разбивать ее винтовками.

— Вот видишь! Хорошо, что я не ушла! — сказала мать Аввакумову.

Агния Ивановна могла хныкать днем, но сейчас, когда пришла настоящая опасность, последний, смертный час (так ей казалось), она даже не почувствовала испуга. Высокая и сильная старуха оттолкнула Дениса Макаровича к стенке, точно собираясь своим телом отстоять его. Аввакумов удивленно посмотрел на мать,

спокойно вынул маузер и запас патронов и, прижавшись виском к деревянной раме окна, открыл через окно стрельбу. Второй револьвер, ни слова не говоря, он протянул матери.

— Дергай за это! — сказал он, показывая матери на курок.

Мать взяла револьвер, как самую обыкновенную вещь, как утюг или кастрюлю, и села в угол. Теперь исход борьбы ее уже не интересовал. Она знала одно: что бы ни случилось, до конца, до последней своей минуты она будет биться за сына, если офицеры ворвутся в комнату.

Непрерывно звенели стекла, пули нападающих щелкали в стены комнаты, с потолка сыпалась штукатурка. Аввакумов отстреливался. Осада длилась до утра. В седьмом часу, когда совсем рассвело, нападавшие — неизвестные молодые люди — скрылись. Это были прапорщики Чанышева в белых чалмах и в полосатых теплых халатах, украшенных золотыми погонами.

Тогда Денис Макарович вместе с матерью покинул квартиру.

Степных лежал во дворике около крылечка.

— Илья! Как ты очутился здесь? — окликнул его Аввакумов.

Илья не отвечал. Аввакумов нагнулся к нему. Губы, нос, череп — все было разбито.

— Жив ты, друг? Или нет? Илья! — Он опустился на корточки и приложил ухо к груди солдата.

Солдат был мертв.

— Ильюша! — закричал Аввакумов.

Мать дернула его за плечо.

— Уходить надо, Денис! — строго и в то же время испуганно сказала она сыну. — Боюсь я.

В переулочек завернула богатая коляска с лакированными крыльями. Аввакумов подскочил к экипажу и, угрожая револьвером, остановил его. В экипаже ехали два человека. Один — закутанный в толстую шубу, другой — бородатый, в кавказской бурке и кубанке, — оба они спрыгнули с пролетки. Юноша узбек остался сидеть на козлах. Аввакумов, втолкнув мать в коляску, сам остался на подножке.

— Пошел! — сказал он кучеру.

Гнедая сильная лошадь понесла экипаж. Два человека, опомнившись, побежали вслед за экипажем, выкрикивая ругательства по-русски и по-узбекски. Аввакумов махнул на них маузером. Тот, что повыше и посolidнее, упал в лужу. Это был Мустафа Мамедов, глава Кокандской автономии. Денис Макарович узнал его. Военный принялся поднимать Мустафу.

— А кто второй? — спросил Аввакумов у кучера.

— Полковник Чанышев, — пропищал перепуганный, лиловый от страха Юсуп.

Широкая, длинная улица вымерла. Аккуратные домики, каменные, в один или два этажа, на высоких фундаментах, с большими широкими окнами, с железными крышами, сверкающие, побеленные будто вчера, были окружены мертвыми садами. Здесь жили русские из царских чиновников, агенты крупных торговых фирм и специалисты, работавшие на местных заводах, принадлежавших бухарскому еврею Вадьяеву. Во всех домах окна были наглухо закрыты выкрашенными в белый цвет ставнями.

Коляска пронеслась мимо садов. Аввакумов приказал кучеру повернуть на Розенбаховский проспект.

Везде было тихо. Жители спрятались за ставнями. Лишь кое-где выходили из ворот на улицу дворники-узбеки, поглядывали на восток и наклонялись над мутными арыками, пробегавшими по обе стороны проспекта. Побрызгав воду на лицо, дворники утирались либо полой халата, либо рукавом. Из Старого города выполз ишак, сверх меры нагруженный корягами саксаула. Сбоку шел вразвалку дехканин \*. Животное упрямылось, узбек непрестанно пихал его в бок короткой толстой палкой. День начинался как обычно. Казалось, что ночь, наполненная тревогой, просто приснилась...

На углу Розенбаховского и Скобелевского стояли две женщины — одна в серой, другая в синей парандже. Их лица были закрыты черной сеткой из конского волоса. Увидав мамедовский экипаж, они перепрыгнули через арык навстречу лошади. «Пикет!» — подумал Аввакумов и ткнул кучера в бок:

— Сворачивай к вокзалу! Живо!

Кучер быстро срезал угол, коляска качнулась влево, но сейчас же, при следующем рывке, выпрямилась. Она проскочила под носом у женщин, чуть было не подмяв

их под колеса. Одна из женщин отпрянула, задрав паранджу и рубашку. Кучер и Аввакумов заметили на ней офицерские военные шаровары защитного цвета, заправленные в ичиги.

Промчавшись до середины Скобелевского проспекта, юноша оглянулся. Женщины все еще стояли и смотрели им вслед. Он поправил на голове тюбетейку, сильно стегнул лошадь вожжами и, свесившись с козел к Аввакумову, мигнул ему:

— Видал, хозяин?

— Что видал?

— Баба? Солдат-баба? — засмеялся мальчик, щелкая языком. — Сарбаз! \*

## 11

Площадь перед вокзалом была совершенно пустынной. Аввакумов, оставив экипаж на площади, взбежал на широкий каменный подъезд. Двери распахнулись. Показались железнодорожники и во главе их телеграфист Муратов, еще молодой человек, невысокого роста, коренастый, с ласковым и хитрым взглядом. Увидав Аввакумова, он радостно подбросил вверх свою форменную черную фуражку с желтым кантом. Винтовка, висевшая у него на плече стволом вниз, хлопала его по бедру, боковые карманы тужурки, до отказа нагруженные патронами, тяжело отвисли, будто два вьюка. Он был в высоких сапогах и в красных чикчирах \*, неизвестно каким путем доставшихся ему. Чувствовалось, что, несмотря на тревогу, он любит себя немножко сам собой и даже в минуту опасности не забывает о щегольстве.

Муратов бросился навстречу Аввакумову.

— Скорей в контору, Денис! Дело корявое! Там все наши. А ты с кем? — спросил он. — Неужели с Агнией Ивановной? Да, так и есть! Ребята! — закричал он железнодорожникам. — Макарыч с мамашей к нам приехал.

Старуха гордо сидела в коляске. Услыхав, что говорят про нее, она улыбнулась и поправила шерстяной платок.

— Мамаша, вот это здорово! Молодец мамаша, что не испугались! — говорил Муратов, все еще суется и волнуясь. — Ну, милости просим! Приехали!

Агния Ивановна по-хозяйски оглядела площадь, увидела знакомых, раскланялась. Казалось, что она кого-то ищет.

— А где же ваши бабы? — спросила она Муратова.

— Дома.

— Дома? — Она удивилась. — В такое время?

Старуха сказала это недовольно, рассердившись даже, и вышла из коляски.

## 12

Телеграфные аппараты молчали. Везде на станции — и в служебных помещениях, и на путях, и у пакгаузов, и на каменном перроне — толпились рабочие некоторых местных заводов и железнодорожники. Аввакумов всех созвал в станционную комнату при буфете. Комната оказалась битком набитой людьми.

— А посчитаешь... — Аввакумов усмехнулся, — в обреш народу! И до обреша-то, по правде говоря, многого не хватает... Ну что же, биться будем? — тихо добавил он, оглядев собравшихся.

— Будем, Макарыч! А как же иначе? Под нож, что ли, лезть буржуям! Как бог даст! Авось справимся! — заговорили со всех сторон железнодорожники.

— Если у кого есть сомнение — уйди, ребята! Помощи ждать трудно, — нарочно громко сказал Аввакумов. Ему стало душно. Он скинул полушубок, спросил: — Есть кто из узбеков — агитаторы?

— Есть, есть! — раздалось несколько голосов.

— Мало! — с горечью сказал он. — Ну ладно! Мало, да здорово! Ребята, вам придется в Старый город пойти. Вы там должны сказать трудящимся, что нападаем не мы. Автономисты напали. Они напали на нас в эту ночь. Расскажите трудящимся узбекам, что вместе с узбекской буржуазией работают против советской власти и русские царские чиновники и офицеры. Вот кто их враг! Скажите бедноте, что мы сегодня всех зовем к себе в крепость!

— Не послушают. Муллы народ сбивают... грозятся богом, — заговорили узбеки.

— Мало что грозятся! А вы все-таки скажите! — упорно стоял на своем Аввакумов. — Да прибавьте: как забьет сегодня набат в крепости колокол — пусть идут к нам.

— В крепости чего-то неладное... — перебил Денис Макарович Муратов.

— А что? — Лицо Аввакумова сразу посерело, в черных провалившихся глазах показалось беспокойство.

— Я не знаю точно, что такое... — ответил телеграфист. — Тут есть один узбек... Он рассказывает...

— А где этот узбек? — Денис Макарович вытер лицо, почувствовав, что оно сразу стало влажным.

— Артыкматов! — крикнул кто-то из толпы. — Ты здесь?

— Зде-сь!

Посмотрев на узбека, бледного и тощего, с раскрытой почти до пупа рубашкой, в кожаных опорах. Аввакумов покачал головой, как бы не доверяя ему. Человек этот казался Аввакумову переодетым лазутчиком. Его ветхий халат как будто нарочно был разорван в клочья.

— Что же неладного в крепости? Ты сам оттуда? — спросил он Артыкматова.

Нищий быстро заговорил по-узбекски. Из перевода Аввакумов узнал, будто комендант Зайченко расстрелял важного посла, присланного в крепость автономистами. Офицеры в Старом городе кричат об этом.

— Дайте папиросу! — сказал Аввакумов.

«Вот какие дела! Ну что ж, этого можно было ожидать! Нельзя терять ни минуты. Провокация, значит...» — подумал Аввакумов. Он выскочил на площадь, забрав с собой Муратова.

Мальчишка, увидав Аввакумова, подал экипаж к подъезду.

— Это хорошо. Кто задержал его здесь? — спросил Муратов.

Юсуп гордо щелкнул языком.

— Кто задержал? Я сам.

— Сам? Скажи пожалуйста! Ка-кой!

Денис Макарович толкнул Муратова в коляску. Усевшись, он притронулся к плечу Юсупа и приказал ему как можно скорей, пулей лететь в крепость.

Мальчик рассмеялся и звонко крикнул лошадям: — Ээ... Эй!

В морозном воздухе громко прозвенели подковы лошадей.

### 13

Дачу Мустафы Мамедова окружали старые большие деревья: огромный грушевидный карагач, кавказская чинара и серебристые тополя. Летом около дачи всегда можно было найти прохладу и тень. Сейчас все было пусто и голо. Даже боярышник потерял листья, но его плотные шпалеры из подстриженных веток тянулись, как заборы, вдоль аллей. На открытых местах виноградные переплеты были покрыты соломой.

В конюшнях стояли лошади и экипажи. Кухня помещалась отдельно в белом каменном домике. С утра до ночи там работали два повара: русский — Попов, страшный пьяница и вор, высланный из Москвы, и крещеный киргиз Василий. Василия держали специально для приготовления местных кушаний.

Среди персикового сада и бахчей проходили маленькие арыки. От цветочных клумб осталась сейчас только черная земля.

Серый круглый фонтан был набит снегом. К воротам шла широкая экипажная аллея. По ней непрестанно, взад и вперед, сновали какие-то люди. Они приносили или привозили новости, отбывали с поручениями. У сторожевой глиняной халупы, привязав коней к деревянной балке, дежурил караул.

Здесь, среди часовых и приезжих курьеров из города, образовался особый клуб. Люди были возбуждены. Все говорили, что город обложен какими-то восставшими и что если у самого Мамедова не хватит силы, то этой силы хватит у других. Кто эти другие, люди умалчивали. Рассказал об этой новой силе Козак Насыров, плотный коротенький киргиз с изуродованной верхней губой. Он приехал к правительству от Иргаша. Иргаш собирал свои отряды у станции Серово и разрушал там железную дорогу.

Козак Насыров сообщил, что, помимо Иргаша, в Беш-Арыке появился настоящий человек, больше Иргаша, больше Мустафы Мамедова, больше всего коканд-

ского правительства. Имя этого человека — Хаджи Хамдам. Козак Насыров говорил о доблестях этого неизвестного Хамдама, о его смелости и мудрости. Спрашивающие спрашивали: «Откуда же ты знаешь Хамдама, когда сам служишь у Иргаша?»

Козак улыбался, гладил деревянное седло на своем текинце и говорил, что сейчас он не может всего рассказать, так как связан клятвой, но придет время, и все увидят великого богатыря. На вопрос о том, кто же этот Хамдам: знатный ли человек, фабрикант, бай или богач, — Козак Насыров отвечал, что Хадам не бай, и не знатен, и не богат, он человек народа и знает, что надо народу...

Слушающие, покачивая головами, отходили от киргиза. Киргиз казался им опасным. Они тоже не доверяли своим начальникам, министры не вызывали в них ни любви, ни гордости, но пока еще не следовало раскрывать своей души. Бедные люди — солдаты, слуги и разведчики — ждали, как пойдут дальше все эти события.

Здесь же на дворе, за караулкой, в двух котлах варился суп для всего этого люда — шурпа\* из риса с мелкими кусочками баранины и овощами. На кошке у костров сидели, дремали, беседовали, ожидая приказаний. В прохладном воздухе приятно пахло дымом. Мохнатые лошади, закиданные по брюхо желтой грязью, толклись друг около друга. Они были привязаны коротко, и когда одна из них, помоложе и порезвее, тянулась укунуть либо лягнуть свою соседку, все они начинали волноваться и ржать, пока кто-нибудь из людей не подымался с кошмы и не успокаивал их нагайкой.

Вдали от шума, в саду, прогуливался глава кокандского правительства, богатейший человек Ферганы.

Мустафа не любил своих конкурентов: братьев Вадьяевых, Давыдова, Потеляхова и прочих владельцев хлопковых заводов. Сейчас приходилось дружить с ними, это доставляло ему почти физическое мучение. Он понимал — они боятся его так же, как он боится их. Раньше боялись хана, потом стали бояться русского царя. Сейчас ничего этого нет. Осталось только опасение, как бы один человек, пользуясь своими преимуществами, не обошел и не надул другого.

Вадьяевы понимали, что Мустафа, получив власть, сумеет распорядиться ею в свою пользу; вот почему даже в самом начале этой власти они старались укоротить ее. Мустафа нервничал, но держал себя в высшей степени тонко. Он не лишен был некоторого европейского лоска, знаний и считал себя изворотливым, умным дипломатом. Из всего своего кабинета по-настоящему он доверял только одному военному министру, полковнику Чанышеву, старому офицеру русской службы.

Все шло по-старому. Прежние русские чиновники, офицеры, адвокаты покорно и послушно сидели в канцеляриях.

Мустафа понимал, что трудности уже начались, страсти развязаны. В старом городе муллы не хотят упустить своего влияния и также борются за власть. Если он попытается прикрикнуть на них, они перед всем народом, перед этой толпой глупых дехкан, перед невежественными ремесленниками назовут его изменником и предателем, окруженным русскими советчиками. Поэтому Мамедов молчал. Он считал, что в борьбе против большевиков хороши все силы, даже и неудобные. Пусть муллы разжигают народ, пусть полковник Чанышев воспользуется разнузданными бандами Иргаша, начальника милиции Старого города. «Все это до поры до времени...» — думал он. Он ожидал прихода белоказацких частей из Ашхабада. Тогда он надеялся поговорить по-иному...

О помощи из Ашхабада рассказал ему неизвестный иностранец, национальность которого Мамедов никак не мог определить. Иностранец этот приехал на днях в Коканд из Ташкента и называл себя Джемсом, но и в эту фамилию Мустафа Мамедов не поверил. Он знал про Джемса только одно, что этот таинственный незнакомец прежде всего деловой человек. Джемс побывал уже, несмотря на смутное время, и в Архангельске и на Кавказе. Мамедову стало известно, что Джемс — владелец многих акций разного рода англо-американских компаний, интересы которых еще с прошлого столетия были связаны с русским Востоком. По мнению этого иностранца, именно сейчас, как никогда, настало время укреплять все эти интересы и связывать их с интересами местных промышленников, и что в этом смысле он,

этот Джемс, как представитель деловых кругов Англии и даже Америки, может быть полезным и нужным человеком для Мустафы Мамедова.

— Только сейчас, когда большевики развалили империю на части, здесь, в Средней Азии, возникнет настоящая деловая жизнь... Ваш край — это золотое дно. Только надо до него добраться.

Гость, сказав это, широко улыбнулся и обнажил все зубы, белые, крепкие, крупные и такие ровные, будто обе челюсти у Джемса были вставными. «Ты уже добираешься», — подумал про него молчаливый, угрюмый и недоверчивый толстяк Мустафа.

— Мы только деловые люди, мы не политики... — убеждал Джемс Мамедова. — А ведь русские — это злые шовинисты... И они связывали вас... Они кондо-тьеры. Они стремились только к грабежу... Русские банкиры и промышленники — настоящие медведи... С трудом поворачиваются. И в конце концов они также были только нашими приказчиками... Вы же были их приказчиками... Какой смысл в этой системе? Нет, пришла пора все менять и приходить к более совершенной.

Они сидели в кабинете Мамедова. Там было натоплено. Кроме письменного стола и железного сейфа с надписью «Сан-Галли», в кабинете стояли низкие восточные диваны. Все, кроме потолка, то есть и пол и стены, было сплошь закрыто дорогими коврами, и поэтому слова звучали глухо.

Прихлебнув вино, щелкнув миндалем, который Джемс грыз быстро, как белка орехи, он сказал, улыбаясь еще шире и откровеннее:

— Наше преимущество в том, что мы ничего не скрываем... Мы не русские... Мы все предоставляем вам... Плодитесь и размножайтесь. Делайте политику сами. Это ваше дело. Устраивайте свое восточное государство так, как хотите. Богатейте... — заговорил он вдруг по-татарски (и на этом языке Джемс изъяснялся). — Мы даем деньги. Мы поможем... Агентура, советники, боевые запасы. Фунт сегодня упал... Поэтому сейчас мы вам окажем кредит даже в долларах. Сейчас Америка становится хозяйкой мира. Ведь Англия у нее в долгу как в шелку. Вы понимаете это русское выражение?

— Мне сообщили... будто вы англичанин, — осторожно и точно заикаясь проговорил Мустафа и тут же испугался — как это сорвалось у него с языка.

Дело в том, что Мамедов, как и многие из среднеазиатской буржуазии, относился к Англии если не с любовью, то, во всяком случае, вполне лояльно, но вековая антипатия простого народа к англичанам была настолько сильной, что эти антианглийские настроения не могли не проникать и в среду, к которой принадлежал Мамедов. Гость понял положение хозяина.

— Да, — благодушно и весело сказал он. — Я англичанин... Как Черчилль! У которого жена американка... И довольно богатая. Кто я? — он усмехнулся. — Я уроженец Аравии, воспитанник Востока... Но инженерному делу учился в Америке, тогда мы жили в Нью-Йорке. Мой отец, тоже как Черчилль, был женат на американке... Она из группы Моргана... Недавно она умерла... — добавил Джемс, опустив глаза с грустью.

«Да, это не русские, — медленно и тяжело соображая, решил про себя Мамедов. — Любезный человек! Ездил повсюду. Покупает русских белых генералов... Покупает шахты, дома... Все, что можно купить... Наверное, богатый человек».

— Я инженер... — скромно проговорил гость. — Но война выбила меня из колеи...

— Как вы прекрасно объясняетесь на наших языках, — любезно заметил Мустафа.

— Я ведь вам говорил, что я родился в Аравии. Во время войны жил в Турции... Слушал лекции в Константинопольском университете... Я восточный человек в душе... — сказал Джемс и, засмеявшись, отвернулся от Мамедова, словно ему надоел уже этот остроглазый, неуклюжий, толстотелый татарин-купец, притворяющийся, по его мнению, европейцем.

От Мамедова после обеда он поехал к полковнику Чанышеву. С военным министром Джемс держался проще, чем с Мамедовым, но и тут говорил только о своих деловых связях и о тех субсидиях и о той военной помощи, которая будет предоставлена правительству Кокандской автономии в случае удачных действий. Чанышев разговаривал с ним лениво, словно по необходимости, даже презрительно, как с агентом разведки, который подослан к нему. И всем своим видом этот тюрк,

бывший офицер русской армии, будто внушал Джемсу: «Я тебе нужен, а ты мне совсем не нужен... Черт тебя возьми... Ну и делай свое дело. И уходи поскорее». Он даже не полюбопытствовал узнать — к разведке какой страны принадлежит Джемс... Да такие вопросы и неуместны были бы при первом свидании. И не все ли равно, кто на самом деле этот странный путешественник, дипломатический паспорт которого был завизирован даже большевиками в Ташкенте.

О белоказацких частях из Ашхабада Джемс рассказывал Чанышеву. Но в то время как Мамедов обрадовался этому сообщению и даже глаза у него заблестели, Чанышев не удержался от гримасы.

— Ну, что там... Солдаты-казаки только рвутся домой... Вот и все, — как бы про себя буркнул он.

Пожимая Джемсу руку на прощанье, Чанышев из вежливости спросил, как тот устроился в Коканде.

— Прекрасно?... Ну, я очень рад, мистер Джемс. Я слышал, что вы уже познакомились с Мамедовым?... Какое он произвел на вас впечатление?

На лице разведчика, которое, несмотря на улыбку, казалось безжизненным, точно вырезанным из дерева, вдруг промелькнула искра злой усмешки, оно загорелось, и Джемс ответил, словно нарочно пренебрегая вежливостью:

— Вам уже сообщили?... Да, я у него обедал... Но знаете, что говорят арабы: «Лучше с умным ворочать камни, чем с дураком распивать вино»... Я намерен иметь дело только с вами... Если, конечно, вы разрешите... С вами, как с военным министром.

Он встряхнул руку кургузому и по-стариковски отяжелевшему Чанышеву. Тот опять что-то буркнул в свою неряшливую поседевшую бородку. Это было что-то вроде «пожалуйста».

Но тут словно бес вдруг овладел стариком, и он, подергав волосы своей бородки, улыбнулся по-озорному:

— Таких военных министров, как я, сейчас в России не меньше дюжины, наверное... Я только штабист полковник. Заядлый игрок в винт. И все.

Джемс понял Чанышева, с наглостью похлопал его по плечу и ответил с неменьшей иронией, но сказанной дружески:



— Вы любите винт? Это прекрасно. А я люблю только ботанику... Это моя страсть... Моя любовница, если можно так выразиться... Я занимаюсь ботаникой все свободное время. Моими гербариями интересуется даже Британский музей. Мне следовало бы стать ученым... Но теперь уже поздно... Наша жизнь зависит от политической погоды в мире... Ну, мы еще увидимся... До встречи, мой дорогой.

Так они и расстались... Теплее, чем встретились. И Чанышев, невольно подобрев, с предупредительностью, обычно не свойственной этому старому служаке, проводил гостя до ворот. Джемс, проходя через двор, скашивал глаза, будто стараясь высмотреть все: разбитую панель, флигель, наполненный офицерами, караулку, окруженную почерневшими кустами роз, и даже двух больших цепных собак, бегавших на проволоке возле мачты радиотелеграфа.

Чанышев усмехнулся: «Хозяин, по-хозяйски смотрит...»

Гостю подали верховую лошадь из мамедовской конюшни. Чанышев узнал ее. Джемс вскочил умело, покавалерийски, и поскакал по грязной, расплзающейся глине. Коканд погружался в тьму.

## 14

Смелый и грубый, Иргаш жил так, как жили некоторые главари разбойничьих отрядов. Он знал только одну страсть — охоту. Он любил только одно на свете — власть. В прежние, царские годы, еще мальчишкой он удирал в пустыни и леса, стрелял из лука, пускал кобчиков за фазанами, упражнялся в джигитовке. Юношей он начал разбойничать...

Беда кишлаков, гроза ротозеев, он не стеснялся ни драк, ни грабительства, ни краж. Родичи и соплеменники отказались от него. Когда он угонял лошадей, кипчаки считали его киргизом, киргизы похитителя баранов называли кипчаком\*. Узбеки же проклинали Иргаша, когда он мчал по полям свою лошадь, топтавшую посе- вы.

Узбек — искусный садовод, трудолюбивый земледелец, оседлый житель — привык ценить плоды своих тру-

дов как высшую добродетель, как счастье мира. Вся его жизнь, все его мечты и надежды вложены в работу над маленьким и тесным клочком земли. Виноградная лоза и тутовое дерево, посаженные им, близкие его сердцу, как маленькие сыновья. Задеть или сломать их — все равно что тронуть или погубить его самого. Вот почему в кишлаках бедные земледельцы ненавидели джигита. Но богачи ненавидели его еще больше: ведь богачей и баев он тоже не щадил!

Эта всеобщая ненависть толкала Иргаша к открытой войне. Собрав шайку головорезов, он командовал на всех дорогах Ферганы, пока по просьбе тех же богачей не был наконец пойман царской полицией. В семнадцатом году он бежал из сибирской каторги в Коканд.

Здесь в июне, в жаркие дни митингов, хаотических споров и путаницы, Иргаш стал членом мусульманской националистической организации Шурои-Улема<sup>1</sup>. Комитет улемы послал его в милицию. Иргаш понимал русский язык. Это очень помогло ему на первых порах, так как администрация была русская. Он быстро выдвинулся. Фабриканты, чиновники, богатые адвокаты, попы, лавочники и баи теперь считали Иргаша своим, надежным человеком. О его прошлом никто не хотел думать. «В конце концов, — говорили они, — мало ли какое прошлое бывает у людей! Все не без греха. Он — верный человек, свой человек. А это главное!»

После Октября, увидав Туркестан отрезанным от России, Иргаш сбросил с себя то последнее, что еще как-то сдерживало его. Не осталось и следа прежней осторожности. Как одичавшая собака, он забыл цепь. Он не считал себя обиженным русским царем. И царь, и тюремщики, и полицейские, ранее угнетавшие его народ, казались ему естественным, законным явлением. Он верил, что небо еще бывает без звезд, но нет власти без произвола. Он верил только в кнут и в узду, как истинный номад\*.

Этот каторжник, здоровый и сильный, начинавший жиреть, редкоусый, редкобородый, злой, своими тонкими,

<sup>1</sup> Националистская, шовинистическая организация, объединявшая мусульманское духовенство и феодально-байские круги.

втянутыми губами напоминавший турецкого евнуха, преграждал со своими отрядами подступы к городу со стороны Андижана и Скобелева, откуда крепость тоже могла надеяться на поддержку.

## 15

Мамедов возле деревянной купальни слушал доклад своего военного министра. Дверь купальни была раскрыта настежь. Внизу протекал холодный, будто взмыленный, Кокан-Сай, один из пяти арыков, омывающих Коканд. На противоположном берегу среди джугары\* копались вороны.

Чанышев ходил около председателя мелкими шажками, бледный, лысый, в военном сюртуке без погон. Он говорил, сжав рот и забавно повышая голос к концу фразы. Разговор шел о крепости. Он доказывал Мустафе, что брать крепость, по предложению Иргаша, невозможно, что Иргаш — просто безграмотный авантюрист. Каков бы ни был комендант Зайченко, все-таки он всегда сумеет отразить нападение неорганизованных отрядов, не знающих самых основных правил полевого устава.

О том, что случилось ночью, Чанышев умалчивал. Мустафа знал только одно, что Мулла-Баба был отправлен для переговоров с комендантом. Он знал и другое, что старик Мулла-Баба не вернулся. Телефонграмма о расстреле была вручена штабу час тому назад. Чанышев предлагал распубликовать ее и воспользоваться ею как прекрасным агитационным средством против большевиков.

— Все это очень хорошо, — раздраженно перебил его председатель, ударив своей тонкой тросточкой по куче листьев. — Но Мулла-Баба все-таки Мулла-Баба. Почтенный человек! Настоятель мечети! Нельзя было играть его жизнью. Вы сделали ошибку, — сказал он, уже не скрывая своей злости и даже переходя на крик. — Секретный парламентар почти то же, что шпион. Он подвержен всякой случайности. Разве можно было так поступать? Где ваша голова? О чем вы думали?

Чанышев пожал плечами и, заложив руки назад, с грустью и с полуулыбкой взглянул на голую верхушку большого платана, как будто там на одном из сучьев ви-

сел ответ. Чанышев решил скрыть от Мустафы все подробности ночного происшествия. Старика сопровождала вооруженная группа офицеров. Офицеры были посланы Чанышевым вслед Мулла-Бабе на случай тревоги. Через час после того как Мулла-Баба вошел в крепость, они подъехали к крепостным воротам. Что произошло? Испугались ли они за старика и решили пойти ему на выручку? (Так докладывали они сегодня утром Чанышеву.) Или, соблазнившись блестящим делом, вздумали внезапно среди ночи овладеть крепостью?

Что там действительно случилось, Чанышев не мог понять, и поэтому он вообще умалчивал о нападении, тем более что офицеры проявили эту лихость не без его подсказки. Один из офицеров, участвовавших в ночной экспедиции, ротмистр Цагарели, перед отъездом спросил у Чанышева: «А что делать, если появится возможность захватить крепость?» — «Хватайте не задумываясь», — ответил Чанышев. И так как эта авантюра не удалась, то, выслушивая утром офицеров, он предложил им забыть минувшую ночь. Они на это охотно согласились.

Сейчас он не мог придумать для Мустафы ни одного приличного, толкового объяснения. Он не осмелился заявить прямо, что ради борьбы с большевиками можно пожертвовать Муллой. Решив свести весь разговор к шутке, он сказал:

— В одном рассказе Чехова описывается татарчонок-официант. Когда пьяные посетители спрашивали его: «Чем объясняется, что некогда татары покорили русских, а теперь русские покорили татар и татары служат им в трактире?», татарчонок отвечал: «Превратность судьбы». Вот так и я отвечаю вам: «Что делать? Я сам огорчен. Но не забудьте: превратность судьбы...»

Мустафа удивленно взглянул на него, не понял этой шутки, с прежним раздражением фыркнул, поправил на голове коричневый фетровый котелок, помахал тросточкой, потом сунул руки в карманы широкого английского пальто и, ни слова не сказав Чанышеву, угрюмо пошел по аллее, усыпанной опавшими, мертвыми листьями. Чанышев поплелся сзади, оглядываясь по сторонам: не слышал ли кто-нибудь в саду мамедовского крика?

На каменной террасе, залитой солнцем, слуга снял пальто с Мамедова, и Мустафа вместе с военным министром вошел в столовую.

На середине террасы стоял круглый стол, накрытый по-европейски, с закусками, водками и винами. Слуги принесли серебряную чашку, серебряный литой кувшин и полотенце. Мустафа вымыл руки. Чанышев сделал это только из приличия.

Не дождавшись хозяина, полковник уже уселся в кресло и, скручивая самодельную папиросу, довольными глазками скользил по убранству стола. Из соседних комнат появилось еще несколько человек, одетых либо в халаты, либо в европейские пиджаки, либо в военные кители и гимнастерки. Все заняли свои места. Чанышев услужливо налил министру какой-то красной водки.

Выпив рюмку, хозяин сморщился, немножко приподнял руку, молча пригласив всех приступить к еде. За столом начались незначительные разговоры, звяканье вилок, звон посуды. Мустафа не принимал никакого участия в беседе.

После первого блюда он встал, аккуратно положил салфетку около своего прибора и, сославшись на болезнь, поклонился и попросил гостей продолжать завтрак без него.

Не успел он уйти, как в столовой раздался смех. Чанышев рассказывал анекдот. Советники, министры, чиновники из канцелярий, офицеры охраны с удовольствием следили за улыбками и жестами Чанышева. Чанышев увлекал людей живостью своего легкого ума, простотой житейской философии, умением вкусно пить и есть. С ним было приятно сидеть за одним столом. Он подымал в людях бодрость. Глядя на то, как полковник весело управляет с различными блюдами, салатами и соусами, у всех присутствовавших возбуждался аппетит. Он всем нравился в этой компании, все любили его, потому что он отвлекал их своими разговорами от суровых жизненных обстоятельств.

Думать о жизни для многих из них было и трудно, и сложно, да и непривычно. Если бы не огромные исторические события в России, если бы не эта катастрофа, которая свалилась буквально на голову, большинство этих людей, пользуясь своим богатством, доходами, службой, привилегиями, наследственными и прочими связями, прожило бы свою жизнь беспечно, точно де-

ревья, подчиняясь только стихиям. Революцию они тоже воспринимали как грозу. «Вот она пронесется с громом и ливнями, — мечтали они, — и потом опять наступит блаженная тишина...»

## 16

По поручению Аввакумова Муратов вместе с Лихолетовым ехал на переговоры к Мамедову.

Мамедов сам затеял эти переговоры, надеясь оттянуть время, так как со дня на день он ожидал помощь, обещанную Дутовым. Попросту говоря, он хотел обмануть большевиков... Мамедов прислал советским делегатам экипаж и курьера-проводника. Они медленно тащились по закоулкам Старого города. Коляску сильно встряхивало на ухабах. Курьер, в толстой ватной куртке, в лакированных сапогах и в грязной чалме, всю дорогу курил папиросы, важно оттопырив мизинец, и рассказывал о своей прежней службе. Он до революции был переводчиком в камере мирового судьи.

— Я все законы знаю... — хвастался курьер. — Я бы теперь мог быть сам судьей! Но решил лучше пойти по политической части. Я политик по природе. Мне так и говорят все: «Абас, ты большой политик».

Потом он принялся доказывать, что у его правительства самые мирные и что оно не хочет крови.

— А мы, по-твоему, за кровь? — спросил его Лихолетов.

— Тогда сдавайтесь! — нагло сказал курьер.

Лихолетов обиделся.

— Чудило-мученик! Разве революция сдается? — Он передразнил курьера: — «Сдавайтесь!» А потом Мустафа нам голову чик-чик...

Курьер покраснел:

— Зачем? У нас тоже есть совет. Не позволит!

Курьер говорил о Краевом совете воинов-мусульман и дехкан, созданном Мустафой специально, чтобы обмануть трудовое мусульманское население и отвлечь его от влияния большевиков. Лихолетов захохотал.

— Нехорошо смеешься! — закричал курьер.

Лихолетов рассердился и тоже закричал на него:

— Нехотя смеюсь! Плакать надо, когда голову людям морочат. «Совет»... Воробья, брат, за орла не выдашь! Ваш совет — буржуйская шарманка. А наш Совет — действительно Совет трудящихся.

Муратов дергал Сашку за рукав:

— Тише ты, ведь мы же дипломаты! Саша!

Курьер разозлился окончательно и отвернулся, чтобы не глядеть на Сашку. Ударяясь подбородком в собственные колени, он сидел на маленькой, низкой скамеечке экипажа, за кобзлами кучера, и старался сохранить гордый и торжественный вид. Из ворот показывались любопытные. Они подобострастно кланялись ему, курьер отвечал им небрежным кивком. Он надувался и расставлял локти.

Муратов, заметив это, предупредительно подобрал свои толстые ноги в красных чикчирах.

— Пожалуйста, располагайтесь, не стесняйтесь! — любезно сказал он курьеру.

Лихолетов не мог удержаться от насмешки. Он хлопал Муратова по ляжке и сказал:

— Говядину везем!

Коляска проезжала мимо мастерских с распахнутыми дверьми. Вдали шумел базар. Звенели бубенцами верблюды. Медник на первобытном станке вытачивал самоварный кран. У оружейных лавок толпились люди. Слышался стук молотков из-под сводов темной кузницы. Горны вздыхали на улицах. Обливаясь потом, несмотря на свежую погоду, босоногие мальчишки раздували мехи. Старики сидели у стенки мечети. Их туфли стояли тут же около ковриков и будто грелись на солнце. Двери мечети были раскрыты, и туда вошел почтенный круглый старик, окруженный несколькими людьми. На нем была чалма из легкого индийского шелка. Он остановился у входа в мечеть; обернувшись, он увидел проезжавший экипаж.

— Мулла-Баба! Жив толстый черт! — вскрикнул Сашка.

В эту минуту взгляды всех бывших на площади обратились к ним. В переулке столпились арбы на высоких колесах и преградили экипажу путь. Парикмахер, под навесом около тибетеечной лавки только что бривший голову ростовщику-персу, тоже замер от удивления с бритвой в руке.

— Сейчас нападут на нас! — шепнул встревоженный Муратов.

— Плевать! — сказал Сашка, ощупывая в кармане шинели гранату.

Кучер крикнул в сторону арб. Кишлячники загалдели в ответ ему. Заскрипели колеса. Одна из арб наехала на перекрестке на нищую старуху. Старуха, упав, завывала. Двое людей приблизились к экипажу. Один из них, киргиз с разрубленной губой, выпятив живот и пошаривая пальцами за поясом, что-то быстро спросил своего спутника. Тот ему ответил глазами и движением головы. Сашка понял, что они переговариваются. Киргиз глядел с нескрываемой злобой, чуть двигались его пухлые, озябшие губы. Он сморщился от отвращения и плюнул вслед экипажу.

Рядом с киргизом стоял человек невысокого роста, не жирный, но и не худощавый, широкоплечий, одетый по-европейски, в сапогах с голенищами и с высокими каблуками; сверху на плечи у него был накинута зимняя халат, а голова обернута простой, дешевой чалмой. Нищая бросилась к его ногам. Он дернулся от неожиданности, и кому-то из рядом стоящих упала на плечо распутившаяся чалма этого человека.

Сашка, Лихолетов увидел голый желтый затылок, помятый, точно старый котелок, потертую тибетейку, раскосые острые глаза, курносое лицо, сизые скулы, круглые, будто вырезанные ножом, ноздри и короткую бороденку. Незнакомец был похож на хищное животное: настолько его взгляд был дик и горяч и в то же время осторожен. Трудно было предугадать, что сейчас скажет этот рот, что сделают эти руки.

Кровь бросилась этому человеку в лицо, загорелись глаза, затылок стал медно-красным. На площади было тихо. Все услышали, что неизвестный, принимая из рук услужливого соседа свою чалму, сказал с оттенком сожаления:

— Це-це-це...

Дорога освободилась. Экипаж тронулся. Сашка растерялся. О чем жалел неизвестный? О том ли, что распустилась его чалма? Или о том, что экипаж большевиков благополучно выбрался с площади? Муратов сидел мокрый, точно обложенный компрессами.

С площади раздался рев труб восточного оркестра. Сашка спросил курьера:

— Кто это? Вон тот, у кого распустилась чалма?

Курьер таинственно усмехнулся.

— Хамдам! — ответил он и опустил глаза.

## 17

Экипаж подъехал к европейскому дому, принадлежавшему кокандскому отделению «Треугольника». Там находился Мамедов.

На стенах кабинета висели большие фотографии в рамах, изображавшие заводы резиновой промышленности общества «Треугольник» в Петербурге.

Мамедов слушал делегатов очень внимательно. Он делал вид, что поражен ночным происшествием.

— Без моего ведома творятся такие дела! — Мустафа медленно развел руками. — Я хочу договориться миром с советской властью.

— Чего же лучше! — весело ответил хитрый Сашка. — Расследование пойдет своим чередом, а переговоры — своим.

— Это так, — небрежно сказал Мамедов. — Но, к сожалению, мы вести переговоры не можем. Вы убили нашего парламентаря Мулла-Бабу.

— Кого? Мулла-Бабу?

— Я получил акт о его расстреле. Это противоречит всем международным правилам.

— Виноват! — сказал Сашка и, сняв папаху, притворился изумленным. — Какой акт?

— О расстреле.

— Этого не может быть! — храбро соврал Сашка. — Мы ничего не писали. Ваш Мулла был у нас действительно... Ночью... Это было. А сейчас мы видели его на паперти... У главной мечети. Такой же красноречивый, как вчера.

— Позвольте, позвольте...

— Да чего позвольте? Вы справьтесь! Он при всем народе вошел в мечеть.

Мустафа пожал плечами, вызвал адъютанта, заговорил с ним по-татарски. Адъютант, красивый и стройный офицер, затянутый в белую черкеску, тоже пожимал

плечами и горячился, доказывая, что в телефонограмме ясно сказано, что Мулла-Баба расстрелян. Но Мустафа требовал, чтобы ему немедленно принесли точную справку.

Пять минут прошло в полном молчании. Муратов сидел в кресле, ничего не понимая, так как ночные события ему не были известны. Наконец появился адъютант и с растерянным видом сообщил: «Совершенно верно, Мулла-Баба жив».

Сашка расхохотался:

— Ну вот, господин министр! Надо прежде смотреть в святцы, а потом уж бухать в колокол.

Мустафу так сразило неожиданное известие, что он не обратил внимания на грубость Сашки. Пожелтев от злости, он стоял и смотрел в потолок, на люстру, точно прислушиваясь к тому, что происходит на втором этаже. Там его товарищам все было известно. А он всегда и все узнает последним, он удивлялся, как дурак... Очевидно, за его спиной эти господа обделяют что-то свое? Что им надо, этим свиньям? Из-за них, только из-за них, все пойдет прахом. Каждый, как на бирже, работает сам за себя, крутит и вергится. Очевидно, они еще намеревались сыграть на этой бумажке, но не успели договориться с Мулла-Бабой, и тот вылез на люди...

«Возможно, что Мулла-Баба плюнул на нас. Он уж давно обвиняет нас в нерешительности. Возможно, что он хочет теперь действовать самостоятельно, а эти идиоты не потрудились переговорить со мной. Столько событий за какие-нибудь полчаса! — подумал Мамедов. — Но кто же тогда сфабриковал эту бумажку? Чанышев? Сам черт ногу сломит в этой каше».

Мамедов сделал любезное лицо и переменил тему разговора.

— Я сам люблю русских, — сказал Мустафа. — Я также за широкую свободу и против монархизма. Но так проводить социальную реформу, господа, как проводите вы, все-таки трудно в этих условиях. Ваше население культурнее нашего. Что годится для вас, не годится для нас.

— Что вы хотите? — перебил его Муратов. Он боялся, как бы Сашка не оборвал Мамедова. — Мы запишем. Запиши, Саша, ихние требования!

Он кивнул Лихолетову. Сашка развалился в мягком кожаном английском кресле. Вынув из штанов огрызок карандаша, он важно записал под диктовку министра:

«Туркестан должен быть автономным, власть в Туркестане должна быть передана в руки временного правительства, то есть правительства Кокандской автономии. Частная собственность на землю, орудия и средства производства остается неприкосновенной. Судопроизводство должно вестись по шариаду\*. Женщины должны оставаться закрытыми».

Муратов воспринял всю эту программу как нечто естественное. Ни одним жестом, ни одним движением глаз не выдал себя. Да вряд ли он и задумывался над тем, что говорил Мамедов. Только два первых пункта как будто поразили его. Взяв из рук Сашки бумагу, он указал на эти пункты Мустафе.

— Этого хотим не мы, а население, — сказал Мамедов, пожав плечами.

— Ах, население! — Муратов улыбнулся.

Скрипнула дверь. Из коридора в кабинет вошел другой член правительства, хлопковый фабрикант Давыдов, и резко спросил Мамедова:

— Кончили?

Мамедов, сморщившись, объяснил ему. Давыдов махнул рукой:

— Бросьте! Какие требования? Какой мир? Что это за люди?

Муратов предъявил мандат от имени железнодорожников. Давыдов, едва взглянув на бумажку, скомкал ее:

— Со стрелочниками я не разговариваю. Мириться не будем. Ясно?

Муратов не ожидал такого натиска.

— Фактически, значит, — ответил он Давыдову, несколько оробев, — хотите гражданскую войну? Ведь и ваши бедняки не за вас!

— Об этом не беспокойтесь, господин бедняк! — отчеканил Давыдов.

Сашку будто сдуло с кресла. Он подпрыгнул и очутился около Давыдова.

— Благодарю бога, Змей Горыныч, что я нынче дипломат! — сказал он.

Он хотел плюнуть на ковер, прямо под ноги Давыдову, но воздержался и проглотил слюну. Это вышло

смешно, но никто этого не заметил, никто не рассмеялся. Напав на папаху на лоб, Сашка молча, насупившись, вышел из кабинета. Муратов вежливо раскланялся с обоими министрами и на пороге кабинета даже махнул им рукой.

Делегаты вернулись в крепость ни с чем. Там был уже организован ревком. Ревкомовцы послали по железнодорожному пути разведчиков, чтобы они откуда-нибудь из окрестностей, километров за сорок от Коканда, где сохранилась еще телеграфная связь, дали телеграмму в Ташкент о помощи. Разведчикам было поручено сообщить, что советский Коканд в опасности.

## 18

Наступил холодный вечер. Узкие переулки Старого города опустели. Даже там, где горели тусклые огни керосиновых ламп или пылал очаг, свет все равно не проникал наружу. Каждый дом был маленькой крепостью, с окнами во двор. Высокие, выше человеческого роста, глиняные дувалы окружали дома.

Внутри чайханы, сквозь большие, давно не мытые стеклянные окна, в синем тумане видны были люди, сидевшие на деревянных нарах, покрытых пыльными и рваными паласами. Над дверью висел масляный фонарь.

Юсуп толкнул дверь. Его обдало теплом и запахом только что испеченных лепешек. Юноша осторожно осмотрелся и занял место поближе к выходу. У очага, под ржавой трубой, протянутой сквозь крышу, сверкал огромный медный тульский самовар. Здесь же на подносе, рядом с двумя фарфоровыми чайниками, лежали грудой пестрые, расписанные цветочками пиалы. Юсуп показал один палец. Самоварчи подал ему пиалу.

В углублении глиняного пола под очагом тлели уголья. Народ сидел кучками. У окна двое сражались в кости. Оборванный человек, тот самый, что появился сегодня утром в конторе на станции Коканд, грел над угольями руки.

Юсуп, выпив одну пиалу, попросил вторую. Оборванец посмотрел на него. Юсуп молча пригласил его сесть рядом с собой и попросил самоварчи подать чай гостю,

— Ты богат? — удивился старик.  
— Нет. Разве богатый сидел бы здесь?  
— Да, сегодня хорошо иметь дом! Перестали стрелять. Сегодня очень тихо. Ты где живешь?  
— У меня нет дома, — сказал Юсуп.  
— Будешь спать здесь?  
— Да. Много блох! — Юсуп брезгливо дернул плечами.

Старик рассмеялся:

— Ты, верно, не привык к блохам? Да уж не в первый ли раз ты ночуешь в чайхане?

Юсуп покраснел. Он действительно впервые попал на ночь в чайхану. Несколько лет тому назад мать продала его Мамедову. Мустафа привез его из Бухары. Мальчик спал с лошадьми в конюшне. Кража (так он расценивал утренний поступок Дениса Макаровича) показалась ему смелым и ловким делом. Затем любопытство задержало его у станции. А дальше все вышло само собой. Аввакумов оставил лошадь в крепости. Юсуп не сопротивлялся. Вернуться домой без лошади и экипажа, быть брошенным в яму, с цепью на ноге... Зачем же? Он стал служить Аввакумову. Его послали на разведку в Старый город. Дали немного денег. Они были спрятаны у него в складке пояса.

Юсуп оглядел чайхану, поджал ноги и произнес тихо, сквозь зубы.

— Я тебе не отвечу, потому что молчание — украшение мюридов\*.

Все в чайхане захохотали. В особенности смеялся один из гостей, молодой парень, красивый как девушка. Все его называли Сапаром. Он подошел к Юсупу и, шелкнув его пальцем по лбу, спросил:

— Кто тебя выучил этому?

— Люди.

— Люди? Слышишь, Абдулла? Люди. — Парень подмигнул своему партнеру по игре и потом опять обернулся к Юсупу: — Значит, ты мюрид?

— Нет, я еще не мюрид, — ответил Юсуп игроку.

Старик Артыкматов, хлопнув себя по бедрам, обратился ко всем сидевшим:

— Ну, поздравляю вас, мусульмане, еще с одним мюридом! Может быть, ты будешь ишаном? \* И объявишь джихад? \*

Юсуп понял, что над ним начинают насмехаться. Но он решил не давать себя в обиду. Он приготовил кулаки.

— Я не буду ишаном! — сказал он.

— Почему? Ума не хватает? Ты безбожник? Да уж не джадид\* ли он? — загалдели со всех сторон гости.

Вся чайхана прицепилась к нему. Эти бездельники затем только и собирались тут, чтобы затеять от скуки какое-нибудь развлечение. Юсуп встрепнулся, задрожали над глазами темные длинные ресницы.

— Теперь нет ишанов, — сказал он и еще крепче стиснул зубы.

— Нет ишанов? Слыхал, Абдулла?

— Ишаны всегда будут, — уверенно сказал второй игрок.

— Нет! — твердо ответил ему Юсуп. Он сказал так только из упрямства, из желания противоречить. Ему не понравились эти люди, и поэтому он спорил как ребенок.

Абдулла сжал маленькую кость в огромном, как воронье гнездо, кулаке. Подбросив кость и поймав ее в воздухе, толстый Абдулла лениво почесал острым углом кубика свою курчавую жирную грудь и подозрительно взглянул на Юсупа.

— Ты хочешь сказать, что в наше время нет достойных людей? — насмешливо спросил он юношу. — Тогда чьим ты будешь мюридом?

На это Юсуп мог бы ответить. Но он подумал: «Незачем связываться с этой сволочью! Мое дело — ждать, что скажут другие». Он закрыл рот ладонью, положил голову на валик и сделал вид, что дремлет. В чайхане опять наступила тишина, нарушаемая только стуком костей. Наконец Абдулла с приятелем ушли из чайханы. Сразу же после их ухода по чайхане пополз шепот:

— Это сын Хамдама... Он...

Посетители начали рассказывать друг другу историю Абдуллы. Каждый что-нибудь знал о нем. Один говорил, что Абдулла был зачат женщиной, имя которой сейчас все позабыли. «Нет, не позабыли... — уверял другой. — Три года тому назад она умерла в Андижане. Это была первая жена Хамдама, Фатьма». — «Толстуха? Вдова? Я помню ее, — добавил его сосед. — Отец женил его насильно. Из-за денег!» — «Ну да! Это случилось незадолго до андижанского восстания!» — «Сын в мать», —

«Тоже лавочник!» — «Хамдам держит его, как пса, — на цепи». Так переговаривались гости и смеялись над Абдуллой.

Фитиль в лампе спустился, самоварчи экономил керосин. Завыл ветер, и снова от притока воздуха загудел самовар. Кряхтя, поднялись со своих мест вооруженные джигиты из милиции Иргаша.

Когда они скрылись, Артыкматов открыл один глаз. Самоварчи заметил это.

— Видал молодцов? — сказал он гостю. — Целую неделю шляются. С утра пьют, едят бесплатно. До полночи! И все затем, чтобы слушать, о чем говорит народ. А о чем может говорить народ? Народ говорит о мануфактуре, о хлебе. Все это не стало дешевле, хотя бы в правительстве было десять Мамедовых. Это не наша власть, это татары да евреи. Ну, что ты молчишь?

— Я пришел слушать, а не говорить.

— Так ты тоже шпион? — Самоварчи испугался.

— Я нищий, — ответил Артыкматов и закрыл глаза.

Самоварчи плюнул; потом, дунув в стекло лампы, задушил ее; потом запер дверь на засов и улегся возле затухающих углей. Все уснули.

Мимо проехал конный отряд в халатах, с кинжалами и револьверами. Лошади ташились в липкой и глубокой грязи. Впереди отряда у двоих джигитов болтались на высоких палках фонари. Между ними на сильном, сухом текинце ехал Хамдам, втянув голову в плечи и почти опустив поводья. Лошадь сама нащупывала дорогу. Она осторожно опускала тонкую ногу в грязь по самую бабку и потом бережно вытаскивала ее обратно. Отряд двинулся к юго-западу, в сторону ферганских песков.

## 19

— Он мне сказал: «Народ не верит этому правительству». И еще сказал: «Оно не удержится, оно чужое, нет узбека, все татары и евреи».

— Вот как! — Аввакумов усмехнулся. — Что еще?

— Все.

— Кто сказал про правительство?

— Самоварчи.

— Ну, а ты как думаешь? Не удержится?

— Нет.

— Почему?

— Богатый — бедный... Бедный — рабочий... О... — Юсуп печально вздохнул.

— Нет, ты посмотри! Вот бой-парены! Вот это агитатор! — сказал весело Аввакумов, обернувшись к Лихолетову.

Он сидел вместе с ним на деревянной лавочке около казармы.

Крепость только что образовала отряд в пятьдесят человек. Пришли железнодорожники со своим оружием. Настроение поднялось, и ревком решил направить людей в Старый город для разъяснения событий. Муратов, говоривший по-узбекски, отправлялся на хлопкозавод. Сашка Лихолетов просился на шелкомотальную фабрику.

— Там ведь женщины, — говорил он. — А женщин я всегда сумею убедить!

От этого, к великому огорчению Сашки, пока отказались.

— Я могу много говорить. Я по-русски говорю мало, а по-узбекски очень много. Очень много! Отправь меня в Старый город! — сказал Юсуп Аввакумову.

— Кашу ел? — спросил его Аввакумов.

— Ел, — ответил Юсуп, хотя и не понял, зачем его спрашивает об этом начальник. На всякий случай, в знак благодарности, он похлопал себя по животу.

— А если тебя старый хозяин увидит, тогда что? — Аввакумов лукаво подмигнул красногвардейцам.

Мальчик побледнел и прошептал:

— Он не увидит.

— А Мулла тебя поймает? — прибавил ехидно Сашка. — Он тебе уши-то намнет. Агитатор!

— Нет, — ответил Юсуп, и на щеках, точно ржавчина, выступили два пятна. — Не поймает! Не боюсь!

— Бояться нечего, а осторожность тоже никогда не мешает, — сказал Денис Макарович, ласково обнимая юношу. — Осторожненького бог донесет, а смеленький сам наскочит. Тебе сколько годов? — спросил он Юсупа.

— Пятнадцать.

— Врет он! — захохотал Парамонов. — Меньше ему!

— Нет... пятнадцать! — с негодованием крикнул Юсуп и опять покраснел. — Я никогда не вру. — Юсуп презрительно взглянул на вестового.



— А ты еще здесь? — удивленно сказал Денис Макарович, увидав Парамонова. — Еще не под замком сидишь?

Парамонов надулся и отошел в сторону, пробормотав:

— Сажать меня не за что!

Через полчаса его все-таки посадили. Аввакумов был неумолим. История с Мулла-Бабой очень не понравилась ему. Он подозревал солдата в том, что тот за взятку отпустил Мулла-Бабу.

Подозрения оправдались. После обыска у Парамонова нашли золотой перстень. Сашка Лихолетов подтвердил, что этот перстень он видел на пальце у Мулла-Бабы. И хотя Аввакумов теперь был рад, что благодаря случайности противники большевиков не получили в руки такой выгодный козырь, как расстрел Мулла-Бабы, но все же это, по его мнению, не должно было избавить солдата от наказания.

— Солдат не подчинился. Факт! Совершил предательство. Факт! Гнать его из рядов! — сказал Денис Макарович, отдавая приказ об аресте Парамонова.

## 20

Вышел взвод во главе с караульным начальником для смены часовых. Опасность подтянула людей. Они с преувеличенной внимательностью относились к каждому своему движению и не возражая подчинялись команде. Пулеметы ремонтировались. А когда Артыкматов привел из городской больницы сестру Вареньку Орлову, все сразу поняли, что наступают серьезные минуты. Варенька держала в руках маленький чемодан. За ней стоял Артыкматов с медицинским ящиком на плече.

— Вы сами... по охоте? — спросил ее Аввакумов.

— По охоте, — ответила Варенька, пугаясь его черных, жестких, провалившихся глаз. — Меня он привел! — Она показала на узбека. — Сказал, что ночью будет резня и, может быть, понадобится медицинская помощь.

Очевидно, на лице Аввакумова промелькнула гримаса недоверия, потому что Варенька обиделась и сухо заметила:

— Вы не знаете, а я-то знаю! Я живу в Старом городе. Да и Артыкматов знает! Вы не смотрите на него, что он такой грязный, он очень умный! Это наш рабочий.

— Рабочий? — удивился Аввакумов.

— Да. Рабочий при больнице. У него семья большая, человек восемь.

— Так! — Аввакумов вздохнул. — Ладно, оставайтесь! Вы из России?

— Нет, я здешняя. Родители были из России. Мой отец служил на дороге конторщиком, на Товарной-Коканд. В прошлом году умер.

— Так, так! — Аввакумов покачал головой.

Варенька обернулась к Артыкматову и попросила его отнести ящик в амбулаторию.

Аввакумов, разглядывая эту тонкую и скромную девушку в голубой узкой жакетке, в летней юбке, в маленьких ярко начищенных полуботинках, в черных сквозных чулках, в белой подкрахмаленной косынке, подумал: «Чересчур нежна!» Ее руки, пальцы, ноги, мягкие завитки волос, выбившиеся из-под косынки, ее большие прозрачные глаза, кожа на ее лице — все поражало Аввакумова чистотой. Все в ней было как будто с особенной тщательностью промыто, и одежда казалась так вычищенной, что ни одной пылинки не задержалось даже на платье. Отвернувшись от нее, трудно было сказать, какие у нее глаза, кожа, волосы.

Это не понравилось Аввакумову, он про себя обозвал ее чистюлькой. Но некогда было разбираться — кто она, зачем пришла, что у нее в мыслях. Ладно! «Предлагает голову и руки — берем, — решил Аввакумов. — А там видно будет».

Денис Макарович направил ее в комендантскую и показал ей дорогу.

— Да я знаю, — улыбнулась Варя. — Там, где комендант Зайченко? Мне ведь туда? — спросила она.

— Туда. Но коменданта Зайченко там сейчас нет, — ответил Аввакумов и подозрительно заметил: — Он вам родственник?

— Нет. Знакомый.

Варя вытянулась, точно кто-то вздернул ее. Не побледнела, не смутилась, только шире раскрыла глаза и

спросила очень твердо и даже с настойчивостью, мало ей свойственной:

— А что с ним?

— Он арестован.

— За что?

— За переговоры с неприятелем.

— За переговоры с неприятелем?

— За измену! — весело сказал Лихолетов и расхохотался. Он не сводил глаз с девушки.

— За измену? — испуганно спросила Варя.

— Там выяснится, — нехотя проговорил Аввакумов.

— Этого не может быть! — прошептала Варя и опустила голову. Простояв молча минуту или две, помахивая своим маленьким ручным чемоданчиком, она вздохнула про себя, точно раздумывая, что же ей делать. Потом нерешительно спросила: — Мне идти в комендантскую?

— Да, — коротко сказал Аввакумов и посмотрел ей вслед.

Она шла осторожно, чуть ли не на цыпочках, стараясь не испачкаться. Увидав воду, она остановилась, приподняла подол. Из-под широкой высоко поднятой юбки были видны ее стройные ноги, тонкие лодыжки. Она прыгнула, чтобы не обходить лужу.

— Вот черт! — восхищенно усмехнулся Сашка и подкрутил усы.

Денис Макарович сам не мог понять поведения Зайченко. Что это? Испуг перед солдатами? Или действительно Зайченко намеревался заключить какую-то тайную сделку и растерялся от неожиданности? Или во всем этом деле кроется самая настоящая провокация? Во всяком случае, пока он выяснил только одно — что солдат крепостной роты Парамонов, вестовой коменданта, действовал на свой страх и риск и никак не был связан с начальником. Собственно, прямых улик против Зайченко у Аввакумова не было. Его объяснения были вполне правдоподобны. Самостоятельный приход Мулла-Бабы подтверждал и Лихолетов. Но в деле чувствовался какой-то странный, неуловимый и неприятный привкус. Вот почему Денис Макарович решил временно также изолировать Зайченко, а разбор дела отложил до более подходящего момента.

В три часа ночи один из членов ревкома, отправленный в разведку, сообщил Аввакумову: «Дали путь. Едет Погонин».

Путь от Ташкента был еще свободен. Хитрый Хамдам, взявший себе по поручению Иргаша участок около Беш-Арыка, не повторил маневра, предпринятого Иргашом. Было ли в этом поступке что-то сознательное? Вряд ли. Во всяком случае, уверенность Чанышева, что Коканд отрезан не только со стороны Андижана и Скобелева, но также и от Ташкента, не оправдалась.

Хамдам со своим отрядом стоял в Беш-Арыке.

Ясно одно — Хамдам говорил и с Чанышевым и с Иргашом, обоим обещал деятельную помощь и в то же время не забывал, что, помимо кокандских большевиков, есть еще и другие большевики в Туркестане; с этим обстоятельством он решил, хотя бы на время, посчитаться.

Его конные пикеты протянулись по линии железной дороги, и в любую минуту он мог взорвать полотно. Он пока не спешил.

Хамдам видел, что бандит и каторжник Иргаш в руках улемы — только оружие. Быть помощником Иргаша ему мешала гордость. Быть вторым Иргашом не позволял ум. Хамдам считал своих соплеменников слепцами, живущими на ощупь, чувствующими только на расстоянии не дальше руки.

Он сидел в Беш-Арыке как владетельный бек, принимая у себя своих агентов. Его джигиты наслаждались бездельем. Шли пиры, каждодневно резались бараны, дом Хамдама был открыт для всех. А другой дом, где жили жены и семья, находился в Андархане. Хамдам уезжал туда отдыхать от политики и войны.

Хамдам лежал на софе, покрытой ковром. За его спиной висело желтое полотно во всю стену, расшитое шестью красными солнцами.

Ташкари, мужская половина, была застелена коврами, и несколько стариков сидели у ног Хамдама, подобно мюридам в присутствии ишана, хотя Хамдам и не был ишаном. Старики говорили о священной войне. Они вспоминали давние годы, когда еще был силен белый царь. Они вспоминали андижанское восстание, внезапно вспыхнувшее ночью 18 мая 1898 года. Отряды мирзы

Хамдама, отца Хамдама, напали на русский гарнизон. Зеленое знамя поднял тогда ишан Мухамед-Али. Разбитые царскими солдатами, повстанцы бежали в горы вместе с ишаном. Ишан был пойман у селения Чарвак; их взяли позже в Кугартской волости.

Старики, подзадоривая друг друга, рассказывали о виселицах в андижанской крепости, о страшном деле, когда пошли под суд пятьсот человек и четыреста из них были приговорены к смерти. Двадцать повесили, остальных помиловали, но всех присудили к отправке в Сибирь, на каторгу.

Дело разгорелось вот из-за чего: движение Дукчи Ишана (или, как его называли, Мухамед-Али) было похоже отчасти на иные религиозно-национальные движения иных восточных окраин России еще в середине XIX века. Дукчи Ишан был также суфитский духовник, глава мусульманской церкви. Вожди-суфиты, как хозяева ислама, могли влиять и на кокандских ханов. Но когда после колонизации царской Россией Средней Азии кокандские ханы перестали существовать, отпало само собой и влияние суфитских главарей. Отсюда и началась их борьба. В эту борьбу естественно был втянут и простой народ, ибо страдания его, вызванные царской колонизаторской политикой, были невыносимы, низводили народ до положения парии... Одновременно с этим некоторые предполагали, что Дукчи Ишан не обошелся и без какого-то постороннего влияния зарубежных суфитских шейхов, а возможно, и агентуры западных держав, которые соперничали с белым царем из-за колониальных зон на Востоке. Словом, каждый здесь мог преследовать свою цель... Старая арабская пословица недаром говорит, что «не из любви к богу кошка давит мышей».

Началось восстание в мае, когда кончился сев. Но расчет на освободившихся от работы крестьян все-таки не оправдал себя. Дукчи Ишан напал на царский гарнизон в городе Андижане. Пошла резня. Далее сторонники Ишана намеревались захватить Ош, Маргелан и другие населенные пункты. Но все провалилось, очевидно потому, что времена мюридов уже прошли, что крестьянство не пошло за ними широкой волной, что простые люди, быть может даже инстинктом, угадывали, что сейчас дело уже не только в кяфирах\* и что, если даже все русское население будет поголовно перерезано,

вряд ли станет лучше, когда снова придет ханская власть, все покатится назад, в глушь и темь средневековья, к полной нищете и к совершенному бесправию, как в Бухаре. Это была уже не середина XIX века, а канун XX, словом — другая историческая обстановка. Начиналась заря новой эры, и простой народ начинал чувствовать и думать по-новому. Однако теперь всю эту старину, свои молодые годы старики вспоминали по-иному, и они рассказывали Хамдаму, как он тоже был молод и храбр, как не хотел покинуть своего отца. Старики перебивали друг друга. Они любили свое молодечество и в Хамдаме видели свою воскресшую молодость... Две роты солдат тогда уводили из Андижана арестантов-каторжников. Но всех смелее был в той толпе двадцатилетний Хамдам, сын мирзы Хамдама. Он вышел из тюрьмы почти голым, потому что никакая сила не заставила его надеть арестантский халат. Они думали, что он ищет себе смерти. «Но вот минули годы, и опять прибежал к нам тигр», — говорили старики, путая правду с лестью и без удержу преувеличивая значение Хамдама.

Другие молчали, затаив про себя правду.

Хамдам, конечно, тоже знал ее и поэтому отмалчивался. А на людей, угрюмо опустивших голову и не желавших поддержать эту красивую лесть, смотрел так, будто не замечал их. Он никого не опровергал, ни о чем не вспоминал, словно прошлое никак его не касалось. А как раз ему-то было что вспомнить...

Хамдам бежал из сибирских рудников еще до Февральской революции. В шестнадцатом году он скрывался в киргизских степях и только в марте семнадцатого года появился в Фергане.

Почесывая бородку и ухмыляясь, слушал Хамдам слова стариков. Он не любил людей и не верил им. «Люди трусливы и бегут за тем, кто силен, не понимая, что они сами составляют силу, — думал он. — Они цветы в руках того, кто умеет нюхать. Но цветы вянут... Нюхай и бросай их!» Так относился он к людям.

Кандалы, муки, измены, предательство, кровь, виселицы — вот с чем он был знаком, он привык ко всему. Он считал, что его сердце обросло мозолями, как ступни ног у путешественника. Он улыбался старикам и угрожал их, этих трусов. «Кто-то из них наверняка тогда

продал восстание!» — думал он и поэтому из презрения к ним старался быть еще любезнее, еще вежливее. И незаметно от любезностей и похвал он перешел к поучениям, желая вбить в головы наивных людей те мысли, которые были ему нужны. Охлаждая пыл своих сородичей, он внушал им, что только он, Хамдам, единственный человек, знает, как надо жить сейчас.

Он говорил:

— Не верьте Мамедову! Не верьте Иргашу! Не верьте большевикам! Не верьте Мулла-Бабе, хотя он и святой человек! Не верьте и мне! Я тоже человек. Но тот, кто много думал о жизни и смерти и мало думал о себе, близок к богу. У меня ничего нет. Эти стены, эта посуда, эти ковры — все чужое...

Хамдам действительно жил в чужом доме, вещи, окружавшие его, были подарками и одолжениями. Он еще ничего не имел своего, благоприобретенного.

— У меня есть только мысли. Они — моя собственность. Назовите мне другого, кто был бы так бескорыстен, как я! Не расходуйте зря свои силы, откладывая их, как деньги в банк! Они еще пригодятся. С сумасшедшими я разговариваю их языком, но думаю как здоровый. Помните, что когда стая собак, увидав кость, набрасывается на нее, умная кошка не лезет в драку. Она сидит в сторонке и дожидается, когда собаки начнут грызть друг друга. Тогда она хватается костью. Вы пришли вырвать у меня решение. Вы улыбаетесь, и превозносите меня, и требуете, чтобы я скорее объявил священную войну. А я вам скажу прямо: не жалеете ваших баранов! Не жалеете их! Пусть джигиты отдыхают! Их час придет.

Около Хамдама стоял его сын, его охранник Абдулла, в желтом оборванном халате, перевязанном шелковым зеленым платком. В руках он держал кожаную плетку, камчу, перевитую сафьяном. Румяный, масляный, курносый парень, глупый, безграмотный, темный, как ночь, он плохо разбирался во всех этих тонкостях. И лишь последние слова отца о баранах дошли до него. Он понял, что все рассуждения стариков сводились к очень простой истине: им надоело кормить людей, они подсчитывали убытки и толкали отца в бой.

Он скрипнул зубами и хлестнул камчой по ковру. Тогда Хамдам поднял руку и тихо сказал:

— Не пыли, Абдулла!

Сын вышел во двор. А через четверть часа вышли на двор и старики. Они согласились ожидать еще несколько дней, до пятницы.

На улице у ворот мочились коричневые, грязные выючные верблюды. Караван принес муку для джигитов Хамдама, украденную с военных складов. Грело солнце...

## 22

Этим же утром на станции Коканд Аввакумов и Сашка принимали сводный отряд Блинова, пешком прибравший из Южной Ферганы. В станционном буфете были приготовлены Агнией Ивановной столы с чаем и хлебом. Всего прибыло сто двадцать штыков и два пулемета.

Это уже было кое-что... Даже Агния Ивановна повеселела. С огромным чайником она суетилась возле столов. В буфете стало тепло и парно. «Мамаша... Мамаша...» — с разных концов кричали красногвардейцы, подставляя старухе манерки, кружки и стаканы. Старуха старалась всем услужить. В этой суматохе у нее отдыхало сердце, исчезала тревога, жизнь казалась спокойной. Она весело покрикивала на ребят:

— Не торопитесь, сынки! Всем хватит.

В ее взглядах, в ее движениях, в ее тоне было что-то сердечное и теплое, и этим каждому она напоминала мать. Красногвардейцы нарочно толклись около нее, чтобы только перекинуться с ней каким-нибудь словом.

Оська Жарковский, пулеметчик, испитой и драный паренек, обратил внимание на платье Агнии Ивановны из черного сатина с белым горошком, хорошо вымытое, еще лучше проглаженное и поэтому блестящее, точно шелк.

— Почем платили? — сказал он, дотронувшись двумя пальцами до плеча Агнии Ивановны.

Но тут товарищи так зашикали на него, так заорали, что он быстро отступил, извиняясь.

— Простите, мамаша! — залепетал он, играя глазами. — Я думал, вы из буржуев.

Агния Ивановна, посмотрев в его умные и беспокойные глаза, строго сказала:

— Не прикидывайся ты, невежа!

Сразу запахло на станции потом, сапогами, махоркой. Зазвенели штыки винтовок, устанавливаемых в пирамиды. Красногвардейцы тащили ящики с патронами и подшучивали над трусостью кокандцев. Город со стороны вокзала казался им совсем обычным, тихим и спокойным. Они уже чувствовали себя победителями. А когда до них дошла весть, что на станции Веревкиной появился еще красногвардейский отряд из Перовска, в восемьдесят штыков, и что они также добираются пешком, храбрости еще прибавилось.

Аввакумов пригласил Блинова в контору.

Блинов подсел к письменному столу и тщательно затоптал тяжелым смазным сапогом брошенную сигарку. Солдатская ватная жилетка стесняла его. Она доходила ему только до пояса, руки вылезали почти по локоть. Как будто с карлика она досталась великану.

Блинов полез в карман, достал плоский пузырек из-под одеколона, вытащил стеклянную пробку, глотнул из пузырька какой-то темной жидкости, потом понюхал пробку и снова аккуратно вставил ее в горлышко. Аввакумов этим заинтересовался.

— Вы чего это глотаете? — спросил он у Блинова.

— Кашель! — коротко, басом ответил Блинов, утер рот и, усмехнувшись, добавил: — Вроде лекарства что-то принимаю... Лак очистил да на калгане настоял. Помогает.

— Вы столяр?

— Угу... Из вагонной мастерской.

— Ну, а в мастерских как дела? Каково настроение масс? Каково в Ташкенте?

— Да все... как везде. Революцию делаем. Настроенное всякое. Город немалый. И народу напихано всякого... Сразу не расскажешь... Оратор я неважный.

Аввакумов, выслушав этот ответ угрюмого столяра, добродушно ухмыльнулся.

— Ну ладно... — сказал он. — Тогда я вам расскажу, что происходит у нас в Коканде...

Блинов слушал внимательно. Узнав, что в крепость бегут многие из гражданского населения, он недовольно покачал головой.

...Приехав в крепость, Аввакумов познакомил его с товарищами. Блинов молча протянул руку. Сашке он не понравился.

— Сундук! Все молчит чего-то, — сказал сердито Сашка.

От Чанышева прибыл парламентар. Военный министр обещал всем бойцам свободный выезд из Коканда и даже отставку на родину, если они сдадут крепость. Бойцы отказались.

После совещания решено было отправить к Мустафе новую делегацию с требованиями: пункт первый — завтра в три часа свезти на Воскресенскую площадь все оружие; пункт второй — автономному правительству сложить власть, иначе артиллерия крепости начнет обстрел города.

Аввакумов, конечно, понимал, что это только проволочка, комедия. Но ее приходилось играть. Надо было высоко держать голову, чтобы дотерпеть до конца, дожидаться помощи. Ташкент все медлил.

Это выводило из себя Аввакумова. Он злился и ругал ташкентцев последними словами.

Он был неправ, так как не знал всех обстоятельств, мешавших Ташкенту быстро выслать помощь. Как раз в это время в Оренбурге поднял восстание атаман Дутов. Восставшие казаки являлись хорошо организованной и прекрасно вооруженной силой; поэтому Ташкент желал покончить с этим противником в первую очередь...

Аввакумов же, не осведомленный о настоящих причинах медленных действий Ташкента, считал, что ташкентцы недооценивают кокандских событий. Он не знал и другого, быть может самого главного, — что некоторые из ташкентцев уже окрестили Кокандскую автономию «глупой, случайной затеей каких-то мусульманских буржуев» и считали, что «это дело замрет само по себе». И когда ему сказал об этом Блинов, он обеспокоенно спросил:

— И ты веришь? Ошибаются ребята...

Блинов пожал плечами:

— Не знаю. За национальность свою дерутся... Так мне говорили.

— Брось ты... — опроверг его Аввакумов. — При чем тут национальная их сущность?.. Они ее к черту продадут. За монеты идет борьба. И все. Видят, что капитал от них уйдет. Нация? Сплошь фабриканты, царская военщина да русские чиновники... Только это во главе. А вот когда трудовая власть укрепитя, тогда только

бедняк узбек, или татарин, или вообще трудящийся человек всякой нации поймет, что есть нация...

— Все это, по-моему, контра, — говорил он и на совещании. — И никакому ихнему туману не должны мы верить... Это классовый вопрос! Но мы должны держать себя с оглядкой... Силы-то у нас кот наплакал... Будем вести пока что переговоры... Пока что оттянем дело.

Делегаты с написанным на клочке бумаги советским ультиматумом опять поехали в Старый город к Мамедову.

Мустафа Мамедов заявил, что без совета министров он ничего определенного сказать не может, но что надежд на выполнение ультиматума, по его мнению, нет. Мустафа сидел в кресле, наклонив голову, и вежливо слушал доводы Муратова. Иногда он осторожно прерывал делегата, чтобы спросить его о каком-нибудь пустяке. Было ясно, что он разыгрывает роль лютящего министра, к которому явились какие-то чудачки.

В самом Коканде шла откровенная проповедь против большевиков. Муллы агитировали, не стесняясь ничем. Банды Иргаша в окрестностях уничтожали русских. На станции Мельниково отряд Хамдама вырезал всех железнодорожников, из домов устроил костры. Этот же самый Хамдам заявил Чанышеву, что налет на станцию произошел случайно, без его ведома. Ссылаясь на отряды Иргаша, опьяневшие от крови, грабежа и беззакония, он сообщил, что у него нет средств предотвратить то же самое в своем отряде. «До тех пор, пока существует Иргаш, — сказал он, — я не решаюсь ничего противопоставить ему. Иначе мои джигиты перейдут к Иргашу».

Хитрый Хамдам добивался уничтожения Иргаша. Он желал объединить оба отряда в своих руках. Он как бы подсказывал Чанышеву и Мамедову выход. Но те колебались, потому что из Персии через Ашхабад приближались семнадцать казачьих полков. По Закаспийской железной дороге двигались их эшелоны, кони, оружие, скорострельные трехдюймовые пушки. А из Хивинского оазиса вышел навстречу им полковник Зайцев и соединил свои оренбургские казачьи полки с конниками персидских походов.

Официально казаки возвращались домой, пробиваясь до родного войска. Генерал Дутов приказал казакам

промаршировать через Туркестан и отдать свою военную силу в распоряжение Кокандской автономии. Самарканд был уже взят казаками. Самаркандские большевики ушли в подполье. Агент Дутова, прикомандированный к правительству Мамедова, явился в Коканд. С этих пор кокандское правительство почувствовало себя прочно. Тут же работал, играя роль коммерсанта, Джемс, предлагая поддержку, финансовую и материальную, с одним условием: очищать Туркестан от большевиков всеми средствами, во что бы то ни стало. «Автономия» пошла на это.

Муратов нервничал. Вынув свои стальные часы, он предложил Мамедову сверить время.

Тот удивился:

— Зачем?

— Как же! В ультиматуме у нас указан час.

Мустафа усмехнулся и кивнул на стеклянный колпак. На камине под колпаком стояла французская бронза, с амуром, стрелой и циферблатом.

Делегаты вышли. Услыхав за своей спиной крик, Муратов остановился. Подъезд был пуст. Кто-то торопливо спускался со второго этажа. Очевидно, кто-то неожиданно вошел к Мамедову, и оттуда, из кабинета, донесся его злой и визгливый голос.

— Нечего меня контролировать! Я не приказчик! — кричал Мамедов.

На лестницу высыпали офицеры в чересках. Муратов поторопился уйти. Около подъезда его дождалась коляска с Юсупом на козлах.

## 23

Русские, бежавшие из города, переполняли крепость. Помещений не хватало, многие жили прямо под открытым небом, устроив свои пожитки около стен. Дымили костры. Бежали ребята. Испуганные женщины умоляли красногвардейцев отправить их в Ташкент, не зная о том, что на пути хозяйничает Хамдам, что у Коканда нет ни паровозов, ни вагонов. В крепости начался голод, не хватало ни хлеба, ни продуктов.

Беженцы были людьми недостаточными, малосильными. Купцы, коммерческие представители, технические

служащие из русских остались в городе. Им не хотелось подставлять свою жизнь под нож. Кокандское правительством всячески успокаивало их и обещало защиту. Но трудно было сейчас рассчитывать на какие-либо обещания. Однако перейти к большевикам, в крепость, они боялись: крепость, по их мнению, была обречена. Только бедняки, ничего не терявшие, могли жаться к своим.

Ясно, что крепость не могла всех вместить, и на следующий день после ультиматума Денис Макарович приказал запереть ворота.

Ревком ждал ответа от Мамедова. Ответа не было. После осмотра орудий Блинов обнаружил, что они не в порядке. Аввакумову пришлось выпустить с гауптвахты Зайченко и приказать ему произвести ремонт.

Шли исправления. Среди красногвардейцев Аввакумов неожиданно увидел Парамонова. Парамонов был востропан, в растерзанной одежде, без фуражки, но держал себя бодро и непринужденно. Он копался в механизмах и требовал, чтобы ему подавали то один, то другой инструмент.

— Это что такое? — сказал Аввакумов, отозвав Зайченко в сторону, и, показывая ему глазами на Парамонова, спросил объяснений.

— Мне дорог каждый человек. Тем более артиллерист. Среди красногвардейцев нет артиллеристов. А он превосходно знает материальную часть, — ответил Зайченко.

— Надо было доложить мне!

— Ремонт срочный. Вас не было. Я как комендант...

— Вы не комендант! Я еще не освобождал вас приказом из-под ареста.

— Так точно. Прошу извинения. Но осмелюсь доложить, что и приказа по гарнизону, согласно военному уставу, о моем аресте также не было. — Зайченко приложил руку к фуражке, и Аввакумов прочитал в его глазах: «Ну, что дальше?»

— Идите! — сказал Аввакумов.

— Слушаю. Парамонова прикажете отправить под арест?

— Нет. Пусть занимается ремонтом! Пока...

— То есть как пока? До стрельбы или...

— До моего распоряжения! — резко прервал его Аввакумов.

— Слушаю. — Зайченко опять приложил руку к фуражке и, ерзнув левым, пустым рукавом, круто повернулся, точно нарочно перед Аввакумовым отпечатывая шаг. Аввакумов уже не видел его лица, но чувствовал, что комендант усмехается.

## 24

В три с половиной часа дня ревком решил произвести по Старому городу демонстрационный выстрел. Узнав об этом, Зайченко вместе с Муратовым вышел на крепостной плац, к орудиям.

Парамонов, как комендор, подбежал к Зайченко. Но Зайченко отвернулся. Муратов, столкнувшись глазами с Парамоновым, передал ему приказ ревкома.

— Стрелять всей крепостью, то есть всей батареей? Или одним орудием? — спросил Парамонов. Он уже был в сапогах, в фуражке, в шинели, даже подтянут ремнем.

— А я не знаю! — Муратов смутился. — Постановили: просто холостой, что ли, выстрел.

— Но стреляет-то крепость! — скользким и небрежным тоном сказал Зайченко.

— Слушаю-с! — подхватил Парамонов и побежал к орудиям.

— Только, пожалуйста, вверх! Вверх домов! В воздух! — закричал вслед ему Муратов.

— В воздух? — иронически переспросил его Зайченко, догадавшись, что Муратов ничего не понимает в артиллерии и даже не может боевой снаряд отличить от холостого. Зайченко быстро пошел к батарее. Там он о чем-то пошептался с Парамоновым. Парамонов захохотал. Прислуга при орудиях ждала команды.

Вдали от орудий, прижавшись к стенам, стояли бежавшие из города люди; некоторые из них заткнули пальцами уши. Женщины с грудными младенцами на руках сбились в кучу. Мальчишки перестали бегать и метаться, они следили за приготовлениями. В небе сверкало солнце.

— Пе-ервая... — пропел Зайченко.

В холодном воздухе голос его раскатился, точно на лыжах, легко и весело. Воздух вздрогнул от выстрела, и в застывших лужах заколебалась вода.

— Вторая...

Зайченко прислушался к звуку шрапнели, полуприкрыв глаза, наклонив голову, точно дирижер в оркестре, и взмахнул рукой, наклоняясь всем телом вперед. Левый пустой рукав его кожаной куртки взлетел, как крыло.

— Третья...

Зайченко обернулся к столпившимся зрителям, точно ожидая аплодисментов.

— Алла! Алла! — приглушенно, почти неслышно, откуда-то издали, донесся от батареи вопль.

Зайченко поднял брови и рассмеялся.

## 25

Старый город жил точно в лихорадке. Сапожники кинули и шило и дратву. Портные бросили швейные машинки. Лудильщики закрыли свои мастерские. Кузнецы и медники потушили огонь. Женщины спрятались. Собаки забились в норы. Мулла-Баба проехал на жирном, толстом осле, выкрикивая в переулках молитву. День был холодный и дождливый. Красногвардейцы, разбившись на три отряда, прошли по городу. В них стреляли. Днем кокандское правительство опять послало в крепость своего лазутчика.

— Сдайтесь, русские! — сказал он. — Много ли у вас снарядов? Вы их истратите! А потом мы вас кончим!

К вечеру Иргаш привел в Коканд людей из окрестных кишлаков. Они заполнили улицы и на площади около мечети расположились лагерем. Ремесленники, мелкие торговцы скрылись в домах, заколотили двери. Никто не готовил пищу и не грел воду. Люди не хотели обнаружить себя. Люди боялись, что Иргаш либо отправит их драться с русскими, либо зарежет.

Ночью огромная безоружная толпа бросилась на крепость. Крестьяне шли с палками в руках. Их гнали вперед вооруженные стрелки. Стоял крик. Казалось, что звезды падают с неба. Крепость опять выстрелила из трех орудий. Толпа отступила. Но через полчаса стрелки огнем английских винтовок заставили ее повторить штурм.

Крестьяне ползли, сорвав с себя одежду, с кинжалами в зубах, готовые к смерти. По дороге в крепость были вырезаны все русские, оставшиеся жить в Пургаском переулке. Переулок граничил с крепостью. Под огнем пулеметов штурмующие отступили.

В сторону крепости ветер гнал дым, горели подожженные дома, и, скрываясь за дымом, стлавшимся по дороге, у крепостных ворот появился кавалерийский отряд, сорок всадников. Впереди отряда, на превосходной лошади, мчался молодой турецкий офицер с белым флагом.

— Это маска! — закричал Аввакумов.

Пулеметчики сбили офицера с седла. Сашка выбежал и снял с убитого две бомбы. Офицер хотел взорвать ворота, чтобы пропустить в крепость отряд. Кавалеристы обстреляли Сашку. Он упал. Все решили, что Лихолетов убит. Но когда отряд поскакал в город, Сашка вскочил и вернулся к воротам.

В тот же день вечером был пойман новый разведчик. Он рассказал, что в эту ночь сам Чанышев собирается напасть на крепость с отрядом в четыреста человек нукеров\*, с веревочными лестницами. Всю ночь кругом крепости горели русские дома. Их поджигали по приказу Иргаша. Они вспыхивали, точно факелы, вместе с людьми. Пахло дымом и нефтью.

## 26

Иргаш сидел в управлении, в своем кабинете, за письменным столом, окруженный милиционерами.

На вытертых, потерявших свою краску и лак канцелярских деревянных диванах расположились муллы, молодые и седобородые, худые и толстые. За ними, точно слуги, почтительно стояли юноши, ученики из медресе\*.

На письменном столе ярко горела обнаженная, без колпака, электрическая лампа. Иргаш, прикрываясь ладонью от света, угрюмо щурился. Он выслушивал сообщения от всех приходов и кварталов Старого города. Против него, важно расставив ноги, точно беки, сидели в креслах базарные богачи, владельцы лавок, рынков и амбаров, главари улемы, одетые в дорогие халаты.



— Народ готов, — говорили они, — пора действовать! Пора проучить Мамедовых. Они нерешительны, потому что это татары. А Давыдов — еврей. А Вадьяев — еврей. Это неверные, а не мусульмане. Они нас обманывают. Нам надо нашу власть. Нам не надо фабрикантов. Все они снюхались с дьяволом. Всех русских офицеров, всех русских чиновников надо гнать. Эта власть гниет да требует от нас без конца денег. Пусть расплачиваются из своих банков хлопковики! А крестьянство мы можем перетянуть на свою сторону тем, что объявим отмену всех долговых расписок. Нам нечего жалеть чужие капиталы. Нам нечего жалеть ни Вадьяева, ни Давыдова, ни Мамедова. Все они сидят на нашем горбу. Восток должен быть Востоком. Может быть, нам даже не нужен хлопок. В старину мы не думали о нем. Пусть дехкане сеют хлеб! Долой хлопковиков! Долой Кноппа, Давыдова, Мамедова! Долой большевиков, разрушителей бога! Они не признают власти мужчины над женщиной. Они отберут землю и сделают ее общей. Мусульмане должны объединиться. Народ верит нам, потому что он еще боится большевиков. Свалим Мамедова — и народ поверит нам окончательно.

Десятилетиями банковские отделения Ферганы выдавали под хлопок кредиты. Авансы от фирм сперва получались комиссионерами, те, в свою очередь, раздавали их дехканам-земледельцам. Векселя с уплатой процентов писались на всю сумму ссуды, а выплачивались частями. При всякой выдаче дехканин еще платил особый, добавочный процент либо комиссионеру, либо мелкому служащему фирмы. Около хлопкороба кормились арбакеши\*, возчики хлопка, и «пунктовые», приемщики на скупочных пунктах.

Все эти люди — труженики и паразиты, творцы товара и уловители его — были связаны взаимной сетью обязательств. Кредит на почве неурожаев, грабежа и обмана превратился в кабалу. Долг рос за каждым крестьянином, увеличиваясь из года в год. Крестьянин изнывал от него. Он ненавидел промышленников и хлопковиков, считая, что все его беды идут от них. Этим и решили воспользоваться улемисты, чтобы привлечь к себе крестьянство.

«Все, что могут дать нужда, темнота, ненависть и зависть, — все это надо употребить в дело», — говорили

они. Обо всем этом говорилось намеками, зашифровано, издали и смутно, но Иргаша нечего было учить разгадыванию. Он все понял.

«Да, я пойду за улемой, — подумал он. — Но надо сделать иначе, надо заставить их пойти за мной. Надо захватить власть. Надо показать им зубы, иначе эти лавочники оседлают меня».

Иргаш кивнул сборищу:

— Я согласен.

Он сидел верхом на стуле, точно ловкий наездник на лихом карабаире. Ситцевый стеганный халат вместо шинели был накинута на плечи. Почесывая всклокоченную черную бородку, он сурово и смело взглянул в лицо Мулла-Бабе.

— Значит, ты изменил Мустафе? — спросил он.

— Я с народом, — уклончиво ответил Мулла-Баба.

— А сколько же у тебя народу? — Иргаш презрительно рассмеялся.

— Вам лучше знать. У вас все люди, — ответил Мулла-Баба, стараясь избежать пререканий.

«Да, люди у меня... Не в людях дело... У меня милиция, джигиты... Это известно всем. У меня же и палочки. Сколько надо крестьян? Я найду их. С палками в руках, с ножами за поясом, они бросятся туда, куда я их погоню... Они — как вещь в моих руках. Я не помешаю Мулла-Бабе размахивать зеленым знаменем священной войны... Пусть человек гуляет с розой за ухом! Все годится. Но не в этом дело...» — подумал Иргаш.

Он посмеивался. Он ждал, что эти жалкие хитрецы сейчас назовут его кокандским ханом. Вот это будет «настоящая мусульманская власть». Он медлил, как бы подсказывая им, что он до тех пор не примется за дело, пока они не решатся на это. Они догадывались, пыхтели и молчали. Они не хотели упускать своего. Они побаивались вручить власть Иргашу, предпочитая иметь ее в своих руках и распоряжаться ею.

Тогда Иргаш вскочил со стула. Джигиты его конвоя, сидевшие на корточках тут же, вдоль стен, тоже вскочили. Звякнули шашки и карабины.

— Спасибо за добрые советы! — сказал Иргаш, еще раз усмехнувшись. Он благодарит всех добрых, святых, умных и почтенных людей, осчастлививших его своим посещением.

— Значит, в эту ночь ты арестуешь кокандское правительство? — спросил его Мулла-Баба.

Иргаш молчал.

— Тайны не говорят только жене. Здесь же всё наши! — скромно и ласково глядя ему в глаза, сказал Мулла-Баба.

Иргаш, как наездник на скачке, хлопнул камчой по желтому грязному сапогу. Халат с Иргаша свалился на пол. Он стоял в солдатском обмундировании, украшенный двумя маузерами, офицерской шашкой и ручной бомбой на поясе.

— Начинайте вы! Кричать азан\* — ваше дело, — ответил Иргаш Мулла-Бабе и нагло провел камчой по воздуху, указывая на собравшихся в этой комнате мулл.

Мулла-Баба понял, что этот человек, предлагающий им испытать судьбу восстания, выделяется среди них, точно коршун среди стаи галок. Еще немного смелости — и он расправится со всеми, как настоящий степной разбойник, владыка края, как мясник, не замечающий крови, как ростовщик, привыкший к распоряжению чужой собственностью, и как палач, знающий цену жизни.

— Я все сделал, — тихо сказал Иргаш и зевнул. — Кто загнал русских в крепость? Кто поднял дехкан? Кто разрушает пути и разбирает рельсы? Кто сжигает кяфиры вместе с их имуществом?

— Ты и Хамдам.

— Хамдам — только сокол в моих руках.

— Иргаш! — Мулла-Баба покраснел. — Ты знаешь, что ты наш любимец. Ты истинный кокандец. Мы любим тебя.

— Меня? Тогда отберите отряды у Хамдама! — Иргаш зло рассмеялся. — И поручите их мне. Я все понял. Вы держите его как противовес. Вы боитесь меня.

Иргаш решил пойти в открытую. Он подумал: «Чем больше стесняешься, тем хуже. Лавочников надо щелкать в лоб, тогда они умнеют». Он подошел к Мулла-Бабе и сказал ему:

— Ты единственный здесь, с которым я могу говорить по праву равного. Ты — ум. Я — сила. Объясни мне: почему вы держите Хамдама?

Мулла-Баба пожал плечами и сказал, что Хамдам — член улемы и по ее постановлению ему поручено состав-

вить отряд. Очевидно, улема думает, что Иргашу нужен помощник, и вот — в качестве этого помощника избран Хамдам.

— Это не ответ! — сказал Иргаш. — В одном котле две головы не уварятся.

— Я обещаю тебе... — торжественно и громко начал Мулла-Баба, скользя глазами по собранию, и потом вдруг перешел на шепот: — Когда ты кончишь дело, Хамдама при тебе не будет. Но нельзя в решительный час затевать свару. У Хамдама тоже есть люди. Этого мы не должны забывать. У Хамдама есть уши. Поэтому не будем говорить громко! Я понимаю, что в одном котле две головы не уварятся. Будь спокоен! Я понимаю, и не только я... Все понимают, но всему свое время.

— Вы понимаете это и хотите жить в доме, где нет столбов. Вы тоже заражены модным духом. Ты бы, Мулла-Баба, лучше вспомнил другие времена! Тогда был порядок. Тогда кокандское клеймо говорило о власти. А теперь вы тоже захотели царствовать? Жадины! — громко сказал Иргаш и прибавил с ядовитой усмешкой: — Не забудьте, когда в стаде много пастухов, овцы дохнут! Я один. Но я не говорю шепотом и никого не боюсь.

Он отвернулся от Мулла-Бабы. Тот подал знак, и все улемиты и джигиты вышли из кабинета. Остался лишь порученец Насыров да Мулла-Баба. Мулла-Баба подошел к Иргашу, как наставник подходит к своему воспитаннику, и, положив руку ему на плечо, тихо сказал:

— Глупый! Только делай! И все будет твое. Все лишнее уварится в нашем котле.

Козак Насыров, самый излюбленный и самый приближенный порученец, спокойно, не шевелясь, точно мертвый, стоял в пространстве между окнами, за креслом начальника. Два рысых глаза киргиза заметили всё: поклоны и вздохи, гримасы и сомнения, страх и растерянность уходивших, недовольство и лесть Мулла-Бабы. Так же, как Иргаш, он понимал, что лавочникам, пожалуй, не с руки опасный бродяга, возмечтавший о ханстве.

В притязаниях Иргаша не было ничего необыкновенного. Ханская власть всегда начиналась с ночных восстаний, с обнаженных пашек и рубки, с бешеной

ружейной стрельбы. Грязные площади, узкие, тесные улицы привыкли к трупам и трупному смраду, арыки не раз текли кровью, и возгласами ханских труб здесь можно было припугнуть людей. Ведь не прошло еще и пяти десятков лет, когда ножи и сабли убийц по приказу хана расправлялись с непокорными на этих улицах, под этими тополями...

«Давно ли это было? Что — вчера?.. Что — сегодня? — подумал Иргаш. — Тополи тогда были моложе, а люди такие же. Несмотря на тяжесть налогов и повинностей, несмотря на бесчинства кокандского войска, несмотря на жестокость и корыстолюбие ханов, эти люди ведь еще не так давно выносили своих правителей. Старики еще помнят Худояр-хана!»

— Ладно! Они еще вспомнят и меня, — вслух сказал Иргаш, ответив сам себе.

Конвой провожал делегатов улемы. Иргаш, разъяренный и бледный, смотрел на них в окно.

Высоко подвешенные фонари изливали таинственный свет под навесы базара. Глухие переулочки пересекали город, как тропинки в дремучем лесу. Огни горели в бесчисленных лавчонках, мастерских, кузницах, цирюльнях, харчевнях и чайных. На рундуках и софах около самовара, этого очага сплетен, страхов и надежд, еще беседовали люди о жизни. Неизвестные всадники, попав в кружок света, вдруг появлялись, будто на стекле волшебного фонаря, и так же неожиданно исчезали в темноте. Толпа лавочников гудела под тополями.

«Ничего! — подумал Иргаш. — Привыкнут! Я заведу себе лошадей тигровой масти; их приведут из Китая. В Кульджу пошлю своих людей».

Мечтатель-кочевник, убийца улыбнулся, доверчиво обратившись к своему адъютанту:

— Мы с тобой, Насыров, не так ленивы, как эти муллы. Человек должен двигаться. Солнце, месяц, звери, птицы и рыбы — все движется. Только земля и покойники остаются на месте. Если бы мне нужны были товары и деньги, я бы обошелся иначе. Но я научу жить, я расшевелю этих скупцов и трусов. Хотя мне кажется, что деньги им дороже, чем жизнь.

— Кто дает, тому кажется, что и пять много, а кто получает, тому кажется, что и шесть мало, — сказал угрюмый Козак.

— Мне мало даже семи, — добродушно ответил Иргаш. Он хлопнул адъютанта по плечу и приказал быстро собрать отряд.

В соседних комнатах на письменных столах спали милиционеры. Все это были старые знакомые Иргаша, нанятые им из подонков Коканда. Козак Насыров будил спавших, толкая их в бок кулаком. Джигиты вскакивали, встряхивались и надевали на себя оружие, даже не спрашивая, зачем их будят. Они были покорны, верны и нелюбопытны.

Иргаш подошел к дверям кабинета, задержался на минуту у входа, как бы проверяя себя. «Да, я все решил, все сообразил, я буду действовать. Я налечу на этого полковника и...» — Он вышел, не додумав до конца своей мысли.

Вскочив в седло, Иргаш подхватил поданные ему поводья и так натянул их, что лошадь прыгнула под седлом. Отряд галопом помчался по главной улице. Впереди несли головной джигит отряда, плеткой разгоняя встречных с дороги. За Иргашом, таким же галопом, копыто в копыто, следовал его порученец Насыров. Он служил Иргашу, но в то же время тайно служил и Хамдаму, ненавидевшему Иргаша. Иногда Козак Насыров думал, что ничего нет слаще, чем жизнь с Хамдамом; иногда Иргаш удивлял и покорял его. У Иргаша он был шпионом Хамдама. Иргаш не знал об этом.

Люди, заслышав в ночной тишине конскую скачку, испуганно очищали дорогу, прыгали через арыки, прижимаясь к домам. Любопытные спрашивали у соседей: «Не заметили ли вы, кто эти сумасшедшие всадники?» Осторожные останавливали болтливых: «Каждый будь при своем деле, а до дел другого не касайся! Знаешь китайский порядок: «Видел ли ты верблюда?» — «Не знаю», — отвечает китаец».

В эту же ночь киргиз поскакал к Хамдаму и рассказал ему обо всем, что делалось у Иргаша.

Чанышев еще работал.

В камине весело пылали сучья, кабинет был прохладен. На письменном столе и в папках скопилось много

хламу, донесений, сводок, телефонограмм. Разбирая бумаги, Чанышев лично сортировал информацию, сопоставлял самые разнообразные сведения, пришедшие из разных концов страны. У него получалась какая-то пестрая, странная картина. Большевики кричат о своей самаркандской победе...

«Что будет дальше? Во что же все это выльется?» — размышлял он. Ему казалось, что кто-то будто нарочно ускоряет события. Не понимая, что весь ход событий ведет к провалу авантюры Мамедова, он искал причину неудач в личных склоках, а не в сущности самих событий... «Мы грыземся, большевики сплочены, — думал он. — Неужели правда, что под Самаркандом казаки разбиты большевиками? Эшелоны, пушки, пулеметы полетели к черту. После боя или после агитации большевиков? Неужели в Самарканде они вновь подняли голову? Или это белые опять поссорились между собой? Нет ни одной белой организации, где все шло бы по плану. Всегда что-то срывается в последнюю минуту. Всегда что-то ссорит одну организацию с другой. Всегда кто-то готов найти малейший предлог, чтобы натравить одного человека на другого. Всегда возникают обстоятельства, при которых лица и учреждения обессиливают себя во взаимных конфликтах. Так, улема не может сговориться с кокандским правительством и, очевидно, что-то затевает, судя по сводкам. Взять Краевой совет — эсеры и меньшевики, они готовы горло перегрызть большевикам, и они же что-то скрывают от Мамедова. Ничего не понимаю!»

Чанышев два раза нажал кнопку. Дежурный вестовой принес бутылку понте-кане и на тарелке яблоки, нарезанные тонкими, провяленными ломтиками. Полковник подышал на руки и согрел ими стенки бокала; выпив немного вина, посмаковав его, он принялся за новое дело, перечитывая серые листки донесений.

«Вчера из Скобелева явилась новая делегация, с новыми предложениями... — читал он. — До станции Серово она кое-как дотащилась поездом. Но за Серовом, в тридцати верстах от Коканда, отряды Иргаша разрушили путь и не позволяли никому производить ремонт. Взяв извозчиков, делегация направилась по шоссе, но здесь, неподалеку от кишлака Ультарма, была задержана другим отрядом. Делегаты (ехавшие в Коканд,

чтобы наладить отношения с кокандскими автономистами и передать им все крепости, разоружив для этого русские гарнизоны) подверглись аресту. Скандальная история! Больше того, ночью арестованных чуть было не перерезали джигиты Иргаша. Командированные туда для наведения порядка офицеры Цагарели, Ибрагимов и Керимов делали вид, что они не замечают возбуждения среди джигитов. Делегаты спаслись только благодаря тому, что в их числе оказался Кушбегиев, член кокандского правительства, а также Головин — скобелевский домовладелец, встретивший в отряде своих старых приятелей. Расправа не удалась, и делегаты были конвоированы прямо в штаб».

Взбешенный Чанышев написал на докладе: «Предложить трем упомянутым офицерам немедленно покинуть Фергану». «Приезд этих делегатов, пожалуй, кстати, — подумал он. — Завтра в два часа дня откроется мирная конференция. Большевики пошли на это. Хотя кто им верит? Скобелевцы, даст бог, припугнут большевиков — и те станут сговорчивей».

Скрипнула дверь. Сонный ординарец доложил о приезде Мамедова.

— Так поздно? Зачем? — проворчал Чанышев, но не принять Мамедова было неудобно, и он сказал ординарцу: — Ладно! Проведите!

Мамедов уже вошел. Он был один, никто его не сопровождал. Он был спокоен, даже весел, и одет по-домашнему, в глухом пиджаке. «Что за притча? Чего ради он притащился ночью?» — злился Чанышев. Он не любил, когда его прерывали во время работы. Ночью, в одиночестве с бумагами, он чувствовал себя увереннее, нежели днем с людьми.

Мустафа, извинившись за свой поздний визит, объяснил, что приехал к нему запросто, по-дружески. «Именно так, — подтвердил он. — По частному делу, но спешному».

Богатый татарин с большим трудом, с некоторой тяжестью в сердце, доверял постороннему человеку свои тайны. Только страшное одиночество в Коканде, отсутствие друзей, затаенная вражда коммерсанта к остальным конкурентам, только это да, пожалуй, еще неосознанная симпатия к этому балагуру, старому военному и знатоку женщин (так думал Мамедов), загнали его

сюда, несмотря на стычку, недавно случившуюся между ними из-за Мулла-Бабы.

— Дело в том, — сказал он, — что я поссорился с женой. Жена настаивает на бегстве в Индию или в Китай, куда угодно. Я спорю с ней по этому поводу уже давно, недели две. Но такого спора, как сегодня, еще не было. Сегодня эта женщина поразила меня. Она не сопротивлялась больше. Конечно, дела, деньги, имущество настолько мне ценны и дороги, что я не могу так просто бросить их. Конечно, я не могу продать все и бежать отсюда. Она это понимает и просит не задерживать ее. Здесь, в Коканде, она не верит ничему. У нее какие-то нехорошие предчувствия. Она умоляет отпустить ее куда-нибудь, только бы вырваться из Коканда. Я отказал. — Мустафа двумя пальцами потер себе виски, подумал о том, что он, кажется, зря приехал к Чанышеву, но все-таки спросил его: — Интересно, что вы мне посоветуете?

«Что за собачий вздор! Нашел советчика!» — подумал Чанышев.

— Как вы полагаете? Может быть, действительно следует ее отправить? — продолжил свой вопрос Мустафа, чуть смущаясь.

— Не могу знать, ваше превосходительство, — отшутился Чанышев.

Ему, солдату, привыкшему к вину, безделью, беззаботной жизни, цинику по природе, все эти домашние дразги, женщины, фабрики казались ненужной ерундой.

Он скептически улыбнулся:

— А в Сибирь она не хочет?

— То есть как в Сибирь? — удивился Мустафа, потирая свои маленькие уши. Он был встревожен по-настоящему, и ему казалось, что у него чешется то одна часть лица, то другая. Он испытывал какой-то зуд.

— В Омск, — ответил Чанышев.

— В Омск? Нет, в Омск она не захочет, — сказал Мустафа.

«Господи, какой дурак! С бабой справиться не может, — опять подумал Чанышев. — Да уж не трусит ли он сам?»

— Три офицера едут к Колчаку. Я знаю их, — сказал Чанышев. — Можно ли им поручить вашу жену? Этого не знаю. Ведь они кавалеристы!

Мустафа принял шутку, улыбнулся. Это говорило о том, что он сегодня размягчен, ослаб и потерял свою обычную важность и неприступность.

— Прапорщик Ибрагимов, ротмистр Керимов и ротмистр Цагарели, — резким голосом сказал Чанышев. — Три кавалериста! Три мушкетера! Во всяком случае, три лучше, чем один.

Мустафа постарался выдавить из себя даже смешок и пробормотал:

— Вы думаете? Меньше риску?

— Нет, риску больше! — возразил Чанышев. Веселое настроение опять овладело им, он любил смех и шутки. — Но меньше возможностей. Все трое — отчаянные ловеласы. И невозможные ревнивцы. Восточный темперамент! — сказал он и нарочно, будто намекая на что-то, стрельнул глазами в Мустафу. Мустафа покраснел. Это еще больше подзадорило Чанышева. — Такие времена! — продолжал он, посмеиваясь. — Сегодня пан, а завтра пропал. Отпустите ее! Ведь вы не индийский раджа? Отпустите ее! Если вас ждет могила, зачем вашей супруге прыгать вслед за вами! Пусть наслаждается жизнью!

Мустафа хрустнул пальцами.

Вдруг они оба, и Мамедов и Чанышев, услышали брань возле подъезда штаба, потом храп коней. Кто-то забегал по улице с фонарем. Мустафа насторожился. Его длинное шафранное лицо вытянулось еще больше. Чанышев вскокил, чтобы узнать о тревоге, но навстречу полковнику уже неслись ординарцы. Оттолкнув их рукой, вслед за ними в кабинет быстро вошел Иргаш. Его ситцевый стеганный зимний халат был туго перетянут широким офицерским поясом. Иргаш неожиданно задержался на пороге, как птица, ослепленная светом.

Полковник помедлил с минуту, потом протянул руку и сам придвинул Иргашу кресло. Он догадался, что штаб уже оцеплен. Кругом дома на улице перекликались джигиты. Он слышал чужие голоса. Но Чанышев не растерялся. Сразу, одним усилием воли, он привел свои нервы в порядок. «Что будет — то будет! — решил он. — Надо показать Иргашу, что мне не страшно!» Он улыбнулся, представляя Иргаша Мамедову, и сказал:

— Вы ведь как будто знакомы? Начальник милиции Коканда.

Иргаш взглянул на богача-миллионера безразличным взглядом, точно на пустую бутылку, и, не поздоровавшись, сел в кресло. Мамедов побледнел и поднялся: «Очевидно, этот внезапный ночной визит связан с какими-нибудь важными происшествиями, если не с самым худшим...» Бросив папиросу, он быстро пошел к двери.

— Ты забыл перчатки, — хриплым голосом остановил его Иргаш.

Мустафа замер на какую-то долю секунды (так показалось Чанышеву). Нога Мамедова даже повисла в воздухе, но потом он опустил ее и двинулся дальше, как автомат, не оборачиваясь. Тогда Иргаш, издав короткое, будто звук пробки, пренебрежительное восклицание, кинул вслед Мустафе несколько слов, сказанных таким подчеркнутым лицемерным тоном, что лицемерие уже перешло в издевательство.

— Я маленький человек, но мои люди привыкли подчиняться мне. Скажи им, что я пропускаю тебя!

Мамедов остановился. Схватившись за косяк двери, он не имел силы обернуться. «Смерть пришла! — подумал он. — На подъезде меня зарежут!» Его большое, сытое тело вдруг до краев наполнилось страхом. Он все-таки пошел вперед, но так медленно, как будто боялся пролить этот страх.

Иргаш покачал головой и, отставив от себя предложенный ему Чанышевым бокал, усмехнулся, показав черные, изъеденные креозотом зубы.

— Нет врага для мужчины сильнее вина, — сказал он. Потом добавил так удачно, как будто он слышал весь предыдущий разговор между Мамедовым и Чанышевым: — Но еще сильнее вина женщина. Она незаметна — лежит в объятиях.

Чанышев притворно улыбнулся, он не обратил внимания на слова Иргаша. Судьба Мустафы взволновала его. Он ждал крика. Он прислушивался. Когда кучер подал экипаж к подъезду, по мирному голосу кучера и спокойному топоту пары лошадей Чанышев решил, что все обошлось благополучно. Экипаж тронулся. Чанышев подумал: «Слава богу!.. Иргаш выпустил Мамедова. Очевидно, он приехал с другими намерениями».

Пренебрегая церемониями, Иргаш прямо приступил к делу:

— Пошли в Ревком требование! — сказал он, глядя на пол, на кончики своих грязных сапог. — Если большевики не сдадут крепость, завтра в два часа дня я перережу всех кокандских армян и евреев... всех. — Он помолчал секунду и потом продолжал тем же спокойным тоном: — И русских... Всех зарежу! А дома сожгу!

— Это невозможно, — прошептал Чанышев, чувствуя замирание сердца. — Я сам думаю о крепости. Я принимал всякие попытки. Но надо маневрировать. Надо хитростью. А так грубо... Невозможно...

— Мне нужна крепость. Значит, возможно, — не повышая голоса, заметил Иргаш.

— Послушайте... Вы сами не понимаете, что вы делаете, — сказал Чанышев, пробуя спорить, нажимая на Иргаша. — Это ужасно... Это, это... — Он пощелкал пальцами, подыскивая слова: — Это авантюра. Она приведет нас к гибели. Уверю вас!

Иргаш нахмурился. «На что надеется этот старик в теплом сюртуке? — подумал он. — Я больше не стану терпеть ни хитрых мулл, ни жадных улемистов, ни трусов из правительства, ни офицеров, которые хотят, чтобы их упрасивали. Всех их я расстелю перед собой и пройду по ним. А сопротивляющихся прикончу».

— Сообщите большевикам, чтобы они сдавались! Или я сделаю то, что обещал, — решительно сказал Иргаш и, встав с кресла, протянул руку Чанышеву. Неподвижная, властная рука Иргаша легла, точно гиря, в руку Чанышева. Чанышев поспешно потряс ее. Иргаш скрылся, так же как вошел, быстро и внезапно. Когда отряд джигитов исчез, полковник вышел в сад.

Стало тихо, как будто навсегда исчезли злые февральские вьюги. Подтаял тонкий вечерний снежок. Теплые, влажные облака грели землю. Чанышев шел по дорожкам, старательно обходя лужи. Внезапно он остановился, испугавшись черной тишины.

Он не был пугливым человеком. Если бы ему показали, он обшарил бы весь этот огромный сад, не боялся бы ни закоулков, ни внезапного нападения. Он прекрасно владел своими нервами. Но ведь сейчас не это требуется от него... Он только полковник, обыкновенный гарнизонный офицер, он никогда не желал большего. «В старой системе жизни я знал свои обязанности. А сейчас я — власть, — думал Чанышев. — Я могу,

я должен управлять. Но власть требует творчества, риска, исключительности. Я же воспитан в подчинении. Я жду, когда мне прикажут. Какая же я власть?»

Чанышев вернулся в кабинет раздраженный и взвинченный. На письменном столе лежал кусок картона. На картоне было написано по-английски: «Следуйте обстоятельствам. Я буду у вас завтра. Джемс».

Полковник выругался, подумал: «Опять! За стенами, быть может в стенах, глядели чьи-то глаза, слушали чьи-то уши. Это Азия! Опять появился этот «хозяин». Спросить ординарцев, он ли приходил сюда? Бесполезно. Никто не приходил. Одно важно: долой Советы! Быть может, записку забыл Мамедов? Нет, просто подкинули».

Изнеможенный, сбитый с толку, он прилег вздремнуть здесь же в кабинете. Но ему не спалось. Он встал, в одном белье подошел к столу и расплзающимся почерком набросал в штабном блокноте несколько фраз.

В военно-революционный комитет

Не имея возможности сдерживать массу, сильно возбужденную, настоящим сообщая, что если до четырех часов не будет объявлено о сдаче крепости, народ прорвет плотину дисциплины. Я не отвечаю за мирное еврейское, русское и армянское население.

*Командующий мусульманскими войсками*

*Чанышев, г. Коканд*

Перечитав, он густо зачеркнул слово «русское». Привычка к точности заставила его сделать приписку. «Конференция назначена в два часа дня? Чудесно!» — подумал он. Перед словом «Коканд» приписал: «2 часа дня 1918 года». О числе и месяце забыл. Потом лег на диван, накрылся черной буркой и сразу уснул.

28

Зайченко встретил возле казармы Варю. Он обрадовался. Она приняла его радость с каким-то испугом. Тогда он понял, что ей сказали про его арест.

— Это недоразумение, — заявил он.

— Но почему же все-таки это произошло?

— Я сделал глупость, не подумав.

— Смотрите, Костя! Думайте о своих поступках!

— Я смотрю. — Он засмеялся. — В конце концов, Варенька, надо знать тот предмет, о котором вы беретесь рассуждать. В жизни никогда не знаешь, как поступить наверняка: так или так? В особенности в наше время. Проклятая жизнь!

— Почему проклятая? Я люблю жизнь.

— Тем хуже для вас. Я ее не люблю.

— Почему?

— В моей жизни еще не было ни одного дня, который я пожелал бы пережить.

— Это еще не значит, что вся жизнь плоха. Вы просто не знаете другой жизни.

— Да, пожалуй... Моя жизнь — мое частное дело.

Он захотел обнять Варю. Варя сказала, что ей некогда, что у нее раненые.

— Может быть, завтра я тоже буду ранен. Или убит.

— Нет, вы не будете! — сказала она.

Именно в эту ночь он хотел ее. Ее руки, ее плечи, ее белокурые волосы, ее веснушки! Она была мягкой, как овечка.

— Серьезно. Могу быть убит. А ради чего? Известно.

Он не выпускал ее руки. Она рассмеялась:

— Разве люди, когда умирают, думают об этом?

— Так в книгах, — ответил Зайченко.

— Может быть, в книгах. Я себе этого не представляю.

Она высвободила свою руку и опять заторопилась, говоря о раненых. Ему было стыдно и неловко одной рукой задерживать ее, но когда она ушла, он ее выругал.

29

Ожидая помощи из Ташкента и Самарканда, Аввакумов пытался по мере возможности оттянуть момент решительной схватки. Он предложил правительству Кокандской автономии 17 февраля начать с Ревкомом официальные переговоры. Автономисты пошли на это, опасаясь крайних притязаний улемы и боясь потерять власть.

И именно поэтому в ночь на 17 февраля комитет улемы послал Иргаша к Чанышеву, чтобы прижать

Чанышева к стенке и сорвать переговоры. Об этом никто в Коканде, кроме комитета улемы, не знал.

Конференция открылась вовремя. В помещении Русско-Азиатского банка собрались представители как той, так и другой стороны. Был избран президиум, и конференция приступила к работе.

Через четверть часа в зал вошли два офицера при оружии, в кубанках и в белых черкесках. Они предъявили от имени Чанышева написанный этой ночью ультиматум.

Наглое и лицемерное заявление своей неожиданностью ошарашило всех, даже сторонников автономии. Единственным несмутившимся человеком оказался Аввакумов.

— Этого надо было ждать, — спокойно сказал он.

— Вздор, вздор! — сказал представитель автономии. — Наш Чанышев превысил свои полномочия. Махдия Чанышева кто-нибудь сбил с толку. Надо одернуть его.

— Правильно, надо одернуть! Должен же он с нами считаться! Мы не куклы! — сыпались отовсюду реплики автономистов.

Один из представителей так называемого Краевого совета призывал к прекращению кровопролития и предложил послать свой ультиматум Чанышеву. Ультиматум этот долго редактировался, обсуждалась каждая строчка. Решено было послать его не от имени мирной конференции и не от имени советской власти. Представители Краевого совета заявили, что они лично отвезут этот документ полковнику. Содержание документа сводилось к следующему: Чанышев обязуется взять обратно предъявленный им Ревкому ультиматум и обещает либо установить нейтральную зону в центре города, либо отвести свои войска назад.

Аввакумов до десяти часов вечера терпеливо участвовал в заседании, хотя он уже давно понял, что ни реплики, ни прения, ни речи никому не нужны, что события идут к развязке и скоро наступит решительный час. Он почувствовал, как большинство из тех, что волнуются сейчас, и протестуют, и суетятся, через день примирятся и спокойно подчинятся улемам. И ясно увидел в этой суматохе только игру, которую ведут представители Мустафы отчасти бессознательно, отчасти созна-

тельно. Одни обманывают других, другие сами обманываются.

В одиннадцатом часу Аввакумов уехал с конференции, и вместе с ним покинули зал все большевики.

Проезжая по улицам, Денис Макарович чувствовал, что город кипит, будто огромный котел, люди ходят озираясь, всюду на углах толпятся кучки и моментально тают, завидев патруль, немедленно рассеиваются, будто лопаются, как пузыри, а когда патруль удаляется, они снова вспухают. Здесь же, с карабинами за плечом, гаплом проносятся конные группы джигитов, и солдаты Чанышева испуганно смотрят, как комья грязи летят из-под копыт лошадей. Солдаты жмутся к стенам домов и отворачиваются. По городу бродят неизвестные люди, удивленно оглядывая сады и здания. Неизвестные эти держатся стайками в десять — пятнадцать человек. Они в простых халатах, но кажется, что под халатами у них спрятано оружие. Они любопытны и, как бандиты, сжаденностью заглядывают в окна, точно прицениваясь к чужому добру и намечая места будущих своих грабежей.

— Откуда эти люди? — спросил Аввакумов у Юсупа.

— С гор, наверно, Иргаша люди, — сказал Юсуп. Он вез Аввакумова в крепость.

Юсуп был тоже встревожен. Аввакумов заметил это по тому, как он управлял лошадьми, беспрестанно нахлестывая и понукая их, будто спасаясь от погони. «Да, будет дело, — подумал Денис Макарович. — Интересно, что ответит Чанышев? Но ведь, что бы он ни ответил, результат все-таки будет один: улема с ним еще повоюет немного, а потом отшвырнет, когда он ей перестанет быть нужен. Как ни кинь — все клин! А клин клином вышибай!» — И Аввакумов улыбался, будто утешаясь пословицами, будто радуясь тому, что скоро все определится. Но улыбка была наигранная. Он подбадривал себя.

### 30

В крепость прибыла дружина армян-дашнаков\*. Аввакумов сперва не хотел ее принимать, но, подсчитав свои силы, решил, что нельзя пренебрегать ничем, надо объединяться даже с теми, с кем впоследствии придется рассориться.



Нападения на крепость прекратились. Наступила ночь, и ночная необычная тишина всем показалась опасной. Позднее всех в крепость вернулся Муратов. О нем уже начали беспокоиться.

— Победа, полная победа! — возбужденно и радостно сказал он. — Вы — скептики, товарищи! Вот Сашка — тоже! — Муратов кивнул головой в сторону Сашки.

Сашка стоял у окна и следил за тем, не появится ли на небе какое-нибудь зарево. Сашка ждал пожара.

— Мне сообщили, что Чанышев ультиматум забивает, — торжественно отчеканивая каждое слово, сказал Муратов. — Утром всё они согласуют. Отсюда значит, что Краевой совет хоть и «петрушка» Мустафы, но все-таки...

— Но все-таки ты дура! — оборвал его Сашка.

— Почему? — удивленно сказал Муратов, даже не обижаясь.

— Спроси у Макарыча! Своих слов у меня нет, а чужие повторять не хочется, — уныло сказал Сашка.

Он был настроен тревожно и не мог найти себе места. Он не боялся боя. Он был утомлен ожиданием его. Ему хотелось спать, он зевал и в то же время не мог заснуть.

— Денис Макарович! — испуганным, нервным голосом крикнул Муратов. — Я ничего не понимаю. Ведь теперь опять начнется конференция? Ведь это избавляет нас от боя?

— Нет, не избавляет. Это приближает, — тихо сказал Аввакумов.

Муратов замолчал, потом сел к столу. На столе стоял жестяной чайник с остывшим кипятком. Муратов жадно выпил кружку воды и отрезал себе ломоть хлеба.

— Соли нет? — спросил он.

— Нет, — ответил ему Денис Макарович.

На столе рядом с чайником догорала свеча, вставленная в пустую бутылку. Вошел Блинов. Сбросив в угол кожух, он тоже подошел к столу и вытер ладонью мокрое лицо.

— Погода... — неопределенно сказал он.

— Все осмотрел? Огневые точки расставлены? Патронный запас на месте? — спросил его Аввакумов.

— Да, — ответил Блинов и потянулся за чайником.

— Как патрули, заставы? Все в порядке? Зайченко все сделал?

— Все, — ответил Блинов с обычной для него краткостью.

Ночь уже истекала. Здесь же, в пустой комнате, в углу, на чемодане, сидела Агния Ивановна. Она похудела, истревожилась, исхлопоталась за эти дни. Они пронеслись с грохотом, как поезда мимо станции. Агния Ивановна впервые увидела воочию дела своего сына. «Он — сильный! — подумала она. — Покойный Макарь Иванович был мягкий человек и любил выпивать и никогда не думал о таких делах. Да, сын в меня! В меня», — решила она с гордостью.

Возле чемодана дремал на полу Сашка. Иногда он вскидывал голову, щурился, как рыжий кот, и опять закрывал глаза.

В комнату вошли два пулеметчика с передовой заставы. У входа они вытерли ноги о порог и отряхнулись от воды.

— Товарищ Аввакумов, вой слышится из города, — сказал паренек в кожаной тужурке и, сняв с головы ушанку, выжал из нее воду ручьем, как из тряпки. — Дождь садит... и вой... Что такое?

Аввакумов взглянул на Блинова:

— Послушаем, что там?

Блинов, ни слова не говоря, напялил на себя свой кожух и первым вышел из комнаты. За ним вышли пулеметчики.

Макарыч, проходя мимо матери, сказал:

— Мамаша, а что вы-то маетесь? Хотите, я вам сейчас тюфячок достану? Прилягте!

— Належусь еще, — сказала строго старуха. — Иди, иди! Занимайся делом!

## 31

Начинался сырой и холодный рассвет. Аввакумов пошел вперед, за заставу. Вдруг кто-то схватил его. Он отдернул ногу, отскочил и услышал стон. Он увидел Юсупа.

Юсуп приподнялся на локтях. Его лицо было пере-хлестнуто нагайкой: под левым глазом, очевидно от

удара, вспух багрово-красный пузырь. Юсуп дрожал, прикрываясь рваным халатом. Аввакумов наклонился к нему:

— Что с тобой? Это ты кричал?

— Там... — юноша махнул рукой в сторону города. —

Орда, орда!

— Тебя побили?

— Да.

— За что били?

— Голову били. Орда.

— Офицеры?

— Не... Пьяный кипчак.

Аввакумов позвал Блинова. С его помощью он привел Юсупа в лазарет, к Варе.

Юсуп рассказал, что в городе появились кипчаки. Они сильны и храбры и режут всех, кто попадает к ним под руку. Все накурились анаши. Юсуп стер с лица слезы и взвизгнул:

— Смерть!

— Не понимаю. Какая смерть? Говори яснее! — сказал нетерпеливо Аввакумов.

— Они говорят, в городе будет хан.

— Какой хан?

— Хан, хан! Кокандский хан Иргаш! — закричал Юсуп.

Аввакумов схватил Блинова за рукав:

— Ты слышишь, что происходит? Докатились, значит! — Встревоженное лицо Аввакумова вдруг изменилось, как будто это известие даже обрадовало его. — Ведь это докатились они, голубчики! Ведь это... Это уж крышка им, значит! Дальше-то уж некуда? Некуда, некуда! — все повторял Аввакумов. — Хан? О хане я и не подумал. Ну что же, хан так хан! Тем лучше... Ха-ан! — вдруг фыркнул Аввакумов и потом заторопился: — Вы, сестрица, значит, как следует тут лечите! А нам теперь некогда! Некогда! — сказал он. — У нас теперь... Теперь у нас хлопот полон рот. — Он обернулся к Блинову: — Пойдем, Василий Егорович! Немедленно, сейчас же посылай в город разведчика! Надо узнать все толком.

Он успокоился. Все стало ясно. «Завтра начнется бой», — подумал он.

Улема действительно совершила переворот. Иргаш внезапно арестовал военного министра Чанышева. Муштафа успел бежать. Мануфактуристы и хлопковики, друзья Мустафы, скрылись. Только крупные торговцы были за Иргаша. В этой каше они сводили свои прежние счета. Иргаш провозгласил себя кокандским ханом и объявил приказ о расстреле всех большевиков.

За городом, в одном из кишлаков, дехкане задержали чей-то экипаж. Никто из дехкан не знал ни Мустафы, ни его спутников. Только случайность спасла их от гибели. Кишлачный староста-аксакал ловко обманул односельчан и выпустил Мустафу.

Вести катились, как огромные волны. Двести пятьдесят мечетей, не считая соборных, базары и мосты через мутный Сай, переполненные народом, сообщали всем, что Иргаш объявил священную войну, джихад. Везде работали агитаторы улемы. Они уверяли, что наступило время справедливости и благочестия. В то же время они говорили об уничтожении власти спекулянтов. Они называли народу ненавистные имена Давыдовых и Мамедовых. Народ давно ожидал этого; он не мог знать, что это только ловушка, что в исступленных криках азанчей\* и мусульманских семинаристов кроется новый обман.

На паперти кокандской соборной мечети, около башен Джума и желтых стен духовного училища Мадалихана кружился Мулла-Баба.

— Чьи времена... чьи времена наступают? — орал Мулла-Баба яростным голосом. — Наступают мусульманские времена.

Джигиты, вооруженные карабинами, стояли за спиной проповедников и агитаторов. Джигиты слушали, хорошо ли работает Мулла-Баба. Ораторы усердно разрывали на себе одежды. Джигитам нравилось это.

Вместе с Мулла-Бабой неистовствовали его ученики

— Джихад! Священная война, мусульмане! — вопили они. — У нас единое государство от Коканда до Китая! Долой евреев и красных! У нас не будет богатых и бедных!

— Врете! — крикнул кто-то из толпы.

Джигиты бросились на крик, рассекая конями толпу. Крикнувший исчез.

В Старом городе пахло лошаадьми и конским навозом. Конники запалили костры. Под базарными навесами валялись жители кишлаков, их насильно приволокли сюда. Это войско, с пиками, ножами и дубинами, отчаянно мерзло.

Пищу не ели, а жрали, чтобы согреться. На стоянках не хватало воды и котлов. Кишлячники становились в очередь, к ним примазывались воры и бродяги, все они жадно уничтожали недоваренных баранов. Собаки суетились около огня, глотая сизые бараньи кишки и слизи-вая кровь, пролитую на каменных очагах.

Всадники, приехавшие в Коканд по зову Иргаша, с нетерпением ожидали грабежей. Это были кипчаки.

Славные в прошлом наездники, после падения Золотой Орды храбрые кипчаки вернулись в низовья Аму- и Сыр-Дарьи, в старые свои улусы\*, осев в Кокандском ханстве. Смелые, энергичные, они считали себя вправе хозяйничать и распоряжаться этой страной. Гвардия хана, его министры, губернаторы, уездные начальники всегда назначались ханом из кипчакских родов.

Иргаш использовал эту традицию, послав гонцов по старым адресам. Правда, это были уже не прежние лихие войска. Время принудило кочевников к оседлости. Они выучились растить хлопок, дыни, пшеницу и мак. Узбеки считали их богатым племенем. Но молодежь слыхала от родоначальников, что в старину они жили привольнее и богаче. «Смута — вот счастье джигита», — говорили старики. Вспомнив прошлое, опьянев от надежд, они послали к Иргашу своих сыновей. Беззаботные юноши разъезжали по улицам Коканда, весело перекликаясь и задевая пешеходов. Верблюжий караван с хлебом стоял возле Сая. Уставшие верблюды, подгибая колени, фыркали и тянулись к воде. От верблюдов шел невыносимый запах пота. Зимняя дорога в эти дни из-за дождей и снега была очень тяжелой и утомительной.

Иргаш, одетый в зеленый халат, в белоснежной чалме, окруженный своими порученцами, торжественно выехал к всадникам, чтобы поднять их настроение и воин-

ственность. Есаулы построили отряды. Пестрая, яркая конница, сверкая красками цветных одежд, сталью клинков и пик, бешено пролетела по проспекту. Вздвигавший и разгоряченный Иргаш приветствовал ее, обещая победу и богатую добычу. Начальники отрядов, играя саблями, отвечали ему.

Баи ликовали. Люди, окружавшие Иргаша, старались протиснуться поближе к нему, чтобы сказать какую-нибудь любезность. Только Хамдам скромно держался в стороне от шума. Он сидел на высокой лошади, тонкой и беспокойной. Она нервничала, ей хотелось броситься вслед скакавшим джигитам. Чтобы успокоить ее, Хамдам натягивал на себя повод, лошадь пятилась, ее толкали соседние лошади. Незаметно Хамдам выбрался из толпы и скрылся.

Его бандитские отряды уже заняли подступы к Старому городу, уничтожая евреев и русских. Они выводили их из квартир и резали тут же на улице, около домов. Люди, спасаясь от смерти, убегали на плоские крыши, оттуда спрыгивали в сады, прятались между заборами. Скрыться было трудно. Трупы мужчин, женщин, стариков, девушек, детей валялись на улицах...

### 33

Мулла-Баба вернулся с площади. Дома у него сидел гость. Это был Джемс. Мулла-Баба жил в духовном училище.

В комнатах было уютно и тихо. Около входной двери, в камине, сделанном из камня, пылали уголья; над ними, на шомполе, висел медный кувшин. Софта-студент готовил чай. Он знал, что после трудного дня у наставника охрипнет голос и высохнет глотка.

Хозяин предложил гостю лепешек, варенья и молока. Гость отказался. Он пробрался сюда, чтобы спасти полковника Чанышева из тюрьмы, он требовал от Мулла-Бабы категорического и безусловного исполнения своего приказа. Говорили они по-узбекски. Старик принимал Джемса за узбека-джадида. Мулла-Баба юлил и жаловался:

— Иргаш вырвался... Кто поймает рыбу, когда та прыгнула в воду? Еще день-два, тогда можно с ним поговорить...

Джемс указал на то, что Чанышев подвергается в тюрьме смертельной опасности.

— Все опасно... — задумчиво ответил Мулла, снимая с полочек блестящую фарфоровую посуду.

В эту минуту он был уже не тем лукавым политиком, который играл с Иргашом на заседании комитета улемы, и уж совсем никак не походил на старого разъяренного волка, обскакавшего сегодня все городские площади.

События развернулись скорее, чем предполагал Джемс. Приехав к Чанышеву в штаб, он уже никого не застал там, кроме молодых кипчаков, сидевших на паркетe. Он увидел изрубленные саблями письменные столы и пламя в печках.

Джемс только две недели тому назад прибыл сюда из Баку через Каспий. Интерес к Чанышеву у него был чисто служебный: из Ташкента ему донесли, что Чанышев должен быть цел. Очевидно, кто-то рассчитывал на дальнейшие услуги полковника. Джемсу предписали вывезти Чанышева из Коканда. Теперь он боялся неприятностей и обещал Мулла-Бабе деньги за освобождение из тюрьмы этого человека.

Мулла пропустил мимо ушей эти слова о деньгах. Как будто он забыл обо всем на свете. Подавая гостю чай, Мулла-Баба стал говорить о книгах. В стенах комнаты, в небольших альковчиках, лежали пачки старинных книг и рукописей. Альковчиков было много. Шелковая завеса прикрывала эту восточную библиотеку. Тучный старик держался с приятной и легкой сдержанностью; он ходил от одного альковчика к другому, точно благостный седой Авраам. Он был в шерстяных белых чулках. Туфли его сушились у камина. Пол, затянутый войлоком и коврами, скрадывал шаги.

— Вот красавица! — сказал старик, протянув англичанину книгу, украшенную выцветшими великолепными миниатюрами, историю Тимура — «Зафар Намэ», редчайший экземпляр, датированный 840-м годом гиджры, то есть 33-м годом после смерти Тимура. На одном из

лиستков художник, очевидно современник завоевателя мира, написал его портрет: седоватая борода, редкая, клином, белые усы, спускающиеся по углам рта к бороде, высокий лоб, жестокий взгляд.

Джемс понял, что старик оттягивает решительную минуту. Из приличия он рассматривал голову великого турка.

— Да, — хладнокровно сказал он, — сегодня на улицах я видел некоторые картины, от которых не отказался бы этот хромой! Это было интересно.

— Да, — спокойно, в тон ему, ответил Мулла-Баба, — сегодня я тоже видел на улицах одну свинью. Среди всего этого смятения она прекрасно ела свои помои. Вот предел мудрости!

— Да? — Джемс понял намек, но не растерялся. — Очевидно, эта свинья просто была глухой, — сказал он; затем разведчик встал и, уже ничего не говоря о деньгах, коротко и отрывисто, как командир подчиненному, заявил Мулла-Бабе: — Я ухожу, торопитесь с Чанышевым! Это надо сделать непременно! — Он подчеркнул голосом последнюю фразу.

— Кто вы? Узбек? — спросил его Мулла-Баба.

— Нет, я из Турции. Я друг президента Камалы. Меня зовут Замир-паша.

Мулла-Баба проводил его поклоном.

Джемс прошел по городу в гостиницу.

На площадях еще стоял стон от возбуждения. Но толпы уже разбивались на кучки. Кучки растекались ручейками по переулкам. Ручейки текли... Приближалась ночь. Одиноким человек, остановившийся перед глиняным порогом старого дома, уже не мог думать о священной войне. Он боялся этой жизни, переполненной криками. Он старался вспомнить: кто же кричал на площади? Он? Нет. Его друг, шорник Али? Нет. Тюбетеечник Ариф? Нет. Сапожник Агаев? Нет. Медники, кузнецы? Возможно, кто-нибудь из них и орал. Но только не его приятели. Нет, нет, правду говорят люди, нужно держаться подальше от всего этого. Они (трудовой народ) не пошли за Иргашом и не питали вражды к русским.

Штаб Иргаша был ярко освещен. Ветер вскидывал над крышей большое знамя и яростно играл жесткими

конскими хвостами, привязанными к древку. На зеленом шелке знамени красными нитками была выткана надпись: «Все собирайтесь на защиту ислама!»

Их было человек триста, ташкентских рабочих и солдат. Во главе отряда был комиссар Погонин, высокий человек в кожаном обмундировании. Он стоял точно памятник и молча наблюдал, как люди выкатывают пулеметы, собирают ящики, как возле них бегали взводные, распоряжаясь и покрикивая. Электричество не действовало, стрелочники освещали перрон лучиной. Аввакумову Погонин предъявил мандат, в котором Ташкент именовал его руководителем всех кокандских операций.

— Не будем спорить! Я рад, что вы наконец прибыли, — весело сказал Аввакумов.

Но приезжий на веселость Аввакумова не откликнулся. С подчеркнутой сухостью он приказал Аввакумову доложить о положении в крепости.

«Вот ты какой!» — подумал Аввакумов, невольно усмехнулся про себя и, быстро подтянувшись, отrapпоровал комиссару именно теми словами, которых тот ждал, то есть так же сухо и официально.

— Орудия у вас? — перебил его Погонин.

— У нас, — ответил Аввакумов.

— Так что же вы канителитесь?

— Мы не канителитесь. Мы работаем так, как нам подсказывает наша революционная совесть.

— Совесть... Совесть... — задумчиво повторил Погонин. — Ладно!

Командиры поехали в крепость, на заседание Ревкома. Ночь была судорожная, часто вспыхивал горизонт. По стенам цитадели стояли часовые. Летел снег. Мгла окутала здания. Даже к утру темнота еще не совсем рассеялась. На лиловом небе проступали очертания городских построек и садов плоскими и расплывчатыми тенями.

Варя за крепостной стеной встретила Сашку. Он сидел прямо на земле, без шапки, опустив ноги в сухую траву. Сашка глядел в бинокль.

— Ну, как? Что видать? — спросила она.

— Да ничего. Все то же.

Оба они замолчали. Достав бумагу и махорку, Сашка долго возился, скручивая себе папиросу. Видно было, что он неотрывно о чем-то думает. Иногда, прислушавшись, он опять хватался за бинокль и снова опускал его с отчаянием.

— В чем дело, товарищ Лихолетов?

— Так, скучно что-то... Скажите, товарищ Варя, вы знаете, что такое «химера»?

— Химера?

— Да.

— Это зачем же вам?

— Надо.

— Химера? Химера, кажется, что-то древнее. Такое уродливое животное, безобразное, крылатое.

— Древний зверь.

— В этом роде.

— Ну да! Вот и я так думал, — самоуверенно сказал Сашка.

Варя улыбнулась.

— Ну, не совсем так уж. Я сама точно не знаю. Химеры есть в Париже, на соборе Парижской богородицы, на крыше.

— На крыше? — удивился Сашка. — Что же, они живут там, как коты?

— Да они каменные!

— Ах, каменные! — недовольно пробормотал Сашка.

— А почему вы спрашиваете?

— Макарыч вчера сказал... Старуха-то наша, Агния Ивановна, вчера без спросу уперлась в город. Проберусь, говорит, что мне сделают. Вот прах ее возьми!

— Да что ей там занудилось?

— Не знаю. Листовку понесла к узбекам, что ли? И нету до сих пор.

В сумраке пропела труба.

— Сбор! — тревожно сказал Сашка.

Он вошел в штаб, когда говорил Зайченко.

Аввакумов смотрел на Зайченко не мигая. Зайченко чувствовал это и часто поднимал руку, будто принимая клятву.

— Противник превосходит нас раз в двадцать, думаю. Если противник предпримет штурм, не стесняясь потерями своего состава... Это в духе азиатов... Их тактика... Наша батарея, лишившись своего преимущества — дальноточного оружия, превратится в пистолет... Прямая наводка... А потом просто в немой металл! Пулеметы? Неоднократно отремонтированы. Могут сдать в решительный момент. Лент мало.

— Чего вы требуете? — прервал его Аввакумов.

— Артиллерийского разгрома Коканда. Пока есть снаряды. Выиграем в скорости и в оружии. — Легкая усмешка готова была появиться у Зайченко на губах. Он подавил ее.

— С точки зрения военной науки это экономично и правильно, — сказал приезжий комиссар, закуривая толстую папиросу.

— Нет, — решительно сказал Аввакумов и оглянулся на Сашку.

Сашка кивнул ему и зашептал:

— Я за тебя, Макарыч! За тебя!

— То есть как нет? Как военный специалист, я заявляю... — крикнул Зайченко...

Муратов быстро поднял руку и сказал:

— Тише, тише! Погодите, товарищи! Денис Макарович, ты же не отрицаешь военной науки?

— Не могу отрицать, чего не знаю.

— Ну вот! А ведь смерть висит над гарнизоном! Ты знаешь, что донесла разведка?

— Ну?

— Знаешь, сколько их? Они нас палками побьют.

— Не сдаюсь ни улеме, ни баям.

— Да и я не сдаюсь! Но я гуманист. Тут у нас и женщины есть, и дети, и старики. Нельзя же вопреки военной науке!

— Попробуем! Наука-то буржуазная... — сказал Аввакумов.

— Ташкент... — авторитетно подчеркнул Погонин, — предписывает!

— Предписывает? — Аввакумов заволновался, задергал пояс. — Какой Ташкент? Кто персонально? Вы? Еще

кто? Нет, уж мной не командуй. Непролетарским духом пахнет в ваших речах, товарищ Погонин. Позвольте уж мне откровенно сказать — великодержавным! Позвольте мне иметь свое мнение! Я понимаю, что если сегодня мы не будем действовать, нас действительно раздавят. Ясно, что Иргаш не для шуток поднял зеленое знамя. Вся краевую демократию он сотрет в порошок. Пусть-ка кто-нибудь сейчас пикнет в Коканде!

— Тогда в чем дело? О чем спор? — Погонин с досадой пожал плечами и отошел к столу, заваленному патронами и едой.

— Я не хочу разгрома, — упрямо заявил Аввакумов.

— А чего? Чего? Чего хотите? Дело не только в нашем Коканде. Коканд — ключ к Средней Азии, — злобно проворчал Погонин. Невольно на его лице появилось пренебрежение, и Аввакумов это заметил.

— Что-то до сих пор вы мало помнили об этом ключе, — сказал Аввакумов. Он не мог удержаться, чтобы не съязвить. Упрямо выставив вперед голову, он говорил, отрубая фразу за фразой: — Я против истерики. Я за них... За этих дурней, что носятся там по городу и хотят нас перерезать. Что поделаешь? Но я пришел сюда для них... Ведь у нас не так, мы не делимся: узбек, русский. Вот в крепости и узбеки собрались. Наши! А сколько таких еще там!

— Конкретно! Что вы предлагаете? Я не понимаю вас, — вздохнул Погонин.

— Извольте! Могу конкретно. Где карта Коканда? — спросил Денис Макарович.

Начали искать карту. Аввакумов сразу понял, что Погонин своей напористостью захочет сбить его, вскрыть какое-нибудь слабое место в его плане защиты, и поэтому сейчас нужно держать ухо востро. Нужно не теряться. Умные и живые глаза Аввакумова вдруг остановились, остекленели. Белок стал желтым от прилива крови. Он шарил по столу, сердито расшвыривая попадавшиеся ему под руку куски хлеба, сахара, он еле сдерживал себя, чтобы не разразиться площадной бранью, как иной раз бывало в депо, на ремонте, в минуту сильного гнева. «Нет, не уступлю. Ни за что!» — подумал Аввакумов и сказал Погонину:

— Если я останусь жив, это еще не значит, что будет жива революция. Наплюйте мне в глаза, если я буду

так думать! Где карта, черт возьми? Я вам сейчас докажу, что надо делать.

Оказалось, что Сашка сидит на карте. Карту от него отобрали.

— Вот извольте! Я сейчас все объясню, — сказал Аввакумов, одним движением руки очистив стол и раскладывая на нем карту.

Сашка глядел ему в рот, делая губами какие-то странные движения, будто глотая каждое слово, сказанное Аввакумовым.

— Пункт первый... — сказал Аввакумов — Нам известны все точки скопления противника... Вот они... Тут, тут, тут... Вот кого мы будем бить! Вот, вот, вот! Пункт второй... Предварительно ставим ультиматум. Допустим, чтобы до полудня решил Иргаш... Предупреждаем его об обстреле. Пункт третий... Город щадить. Во что бы то ни стало щадить город и население.

— Я за твой план, Макарыч, — мрачно сказал Блинов.

— И... — перебил его Погонин, — в двенадцать вы сдаете крепость, и вас режут кипчаки.

— Макарыч, ты рискуешь революцией?

— Нет, Муратов, только головой. В победу верю.

— Бред! — сказал холодно Зайченко и вышел из комнаты.

«Решительная победа, никаких разговоров и горы трупов — вот что надо, — подумал он. — Пусть Ташкент поймет, что могут сделать пушки и способный офицер. Здесь первая ставка... И когда историки будут писать о Кокандской автономии, они скажут, что артиллерист Зайченко уничтожил ее. Вот и все!»

Случилось иначе. Ревком принял план Аввакумова и в одиннадцатом часу дня 19 февраля предложил Иргашу сдаться. А в двенадцать сорок пять был получен от Иргаша отказ.

### 36

Иргаш начал штурм крепости. Опять на площадях и улицах перед толпами дехкан, вооруженных чем попало, выступали агитаторы и муллы, объявляя о священной войне. Неслись есаулы, собирая конницу и отряды

стрелков. Установив за городом пулеметы, Хамдам ждал. Позиция была верная. Дехкан погнались. Размахивая ножами и палками, подняв крик и вой, они бросились вперед к крепости, подгоняемые плетками всадников. Когда всадники остановили их, толпы ринулись обратно, все уничтожая на своем пути. Улицы снова покрылись кровью.

В час дня упал первый снаряд, выпущенный крепостью. Он не разорвался. Второй также. Третий снес несколько домов, выстроенных из глины. Четвертый упал в табун стреноженных лошадей. Они кинулись в стороны, оборвав перевязи, сбивая с ног коноводов. Прыгая, лошади ломали ноги. Они храпели, фыркали, почуяв опасность. Связанные, без всадника на спине, не управляемые никем, они пугались каждого орудийного залпа, грызли путы и кричали...

Снаряды падали на площадь, где собиралась пехота Иргаша, вдоль водоемов, возле походных котлов, еще дымившихся ароматом пищи, на улицах, где кавалерия Иргаша ждала сигнала, чтобы кинуться в бой. Снаряды разрывались на шоссе и на проселочных дорогах. Вспыхивали сады...

В черной вытертой тужурке, отороченной серым барашком, в старой фронтовой фуражке, артиллерист-комендант прогуливался целый день мимо батареи, точно на параде. Он не говорил ни с кем, кроме наводчиков и Аввакумова. Он чувствовал, что Аввакумов как-то незаметно, деликатно, незримо, но все-таки посматривает за ним, и это побуждало его также незримо и незаметно следить за Аввакумовым. «Не доверяет, — думал он. — Побавляется. Пускай, пускай!» Втайне Зайченко гордился этим. Ему нравилось, что людям приходится считаться с ним. Он выше подымал плечи и держался подчеркнуто и деловито-холодно.

Над Кокандом стоял дым...

К вечеру с ближайшей заставы прибежали красногвардейцы, сказав: «Опять они... Нападение!» Метрах в полтораста от крепости ползли пластуны. Сколько их, красногвардейцы не знали. Может быть, несколько сот. Окружив заставы, они медленно приближались к стенам крепости. Юсуф схватил за руку Дениса Макаровича, прижался к нему.

— Изготовить пулеметы! — спокойно скомандовал Зайченко. — Гранатометчикам приготовиться!

— Если они не боятся снарядов, так неужели вас испугаются? — спросил Аввакумов.

— А человека побоятся! — сказал Лихолетов и упрямо качнул головой.

Зайченко подтвердил, что Лихолетов прав. Сашка рассмеялся:

— Вот видишь, и Зайченко меня поддерживает! А что, товарищ комендант, идемте с нами? Все равно, если мы их не напугаем, часа через полтора всех кончат.

Зайченко сухо ответил:

— Каждому свое место и своя смерть.

Лихолетов улыбнулся, и совершенно напрасно. Зайченко не был трусом. Он просто иначе смотрел на себя. Он считал, что умереть никогда не поздно и что его дело — распоряжаться боем, в этом его обязанность.

Аввакумов понял это и одобрительно сказал ему:

— Верно, верно! Верная точка зрения. Не слушайте вы этого гусара!

Сашка улыбнулся, тряхнул головой и, подойдя к Аввакумову, обнял его.

— Ну, Денис Макарович, — сказал он, — прощевай! Передай привет, если доживешь, всему будущему социализму. Скажи поколениям, что тяжело нам было и что мы желаем им счастья!

В казарме плакали дети. Некоторые женщины ушли в церковь молиться.

— Кто же с тобой? — спросил Сашку как бы запросто Аввакумов.

Он держался очень спокойно и говорил обо всем как о самых обыкновенных вещах. Он делал это нарочно, понимая, что беспокойство и паника в штабе только напортят делу.

— Да наши пойдут, комендантская команда! — ответил Сашка уже несколько лихорадочно, но тоже еще сдерживаясь. — Да кое-кого из рабочих возьмем, помоложе.

Денис Макарович расцеловался с Лихолетовым.

Через полчаса неподалеку от крепости раздался стон. Затем вспыхнули гранаты. Они взрывались непрерывно, заглушая человеческий вой. Из вылазки никто не вер-

нулся, кроме Сашки и Юсупа. Когда Аввакумов спросил юношу, каким же образом он попал в эту вылазку, Юсуп ответил:

— Никто не смеет сказать, что узбек — трус.

Он был синий от усталости, грязи и запекшейся крови и свалился тут же, около казармы.

### 37

Крепость продолжала стрелять методически и спокойно. Кипчаки, не выдержав наконец орудийного огня, рассыпались по городу. Козак Насыров собирал их, посылая в новую атаку. После нескольких наступлений испуганные отряды стали таять. Обстрел различных точек города, рассчитанный с математической правильностью, сильнее действовал на воображение, чем непрерывная канонада. Крепость стреляла очередями, как машина. Среди кипчаков создалось представление, что она может громить их без конца. Хамдам прибыл в штаб Иргаша и заявил ему, что потерял половину своих отрядов.

— Они просто удирают. Я должен покинуть Коканд, — сказал он о своих отрядниках и о себе.

Иргаш сидел на подоконнике и смотрел в окно. Над его штабом еще развевалось зеленое знамя. Внизу под окнами шумели и ругались начальники отрядов. Они обвиняли друг друга в трусости. Некоторые из них вскакивали на лошадей и, не взглянув в ту сторону, где сидел кокандский хан, уносились неизвестно куда вместе со своими джигитами. Иргаш чувствовал, что большинство дожидается ночи, тогда все растечется, как туман, и до зари растает все его могущество.

Хамдам — единственный, кто остался около него, но это только потому, что он ненавистник и ему сладко видеть соперника в час унижения. Так думал Иргаш о своем союзнике.

Хамдаму действительно был приятен разгром Иргаша. С первых встреч Хамдам заметил, что этот человек любит власть. Но Хамдам тоже ее любит. Значит, где-нибудь, когда-нибудь они должны столкнуться. На первых порах он уступил Иргашу, так как за Иргаша высказывались и люди и организации. Но эту мнимую



уступчивость отлично понимал Иргаш, да и Хамдам не скрывал ее. Он не выступал открыто против Иргаша, и даже сейчас, в минуты, близкие к падению Иргаша, ничем не обнаружил своей радости, но Иргаш должен был чувствовать, что Хамдам равен ему и только случай держит его в подчинении.

Иргаш был расстроен. Как тонущий хватается за соломинку, так он схватился теперь за Хамдама, — он даже обнял его.

— Дорогой друг, — сказал он, потеряв власть над собой, — я гибну. Где причина?

— Ты не знал разве, что имеешь дело с рабами? — ответил резко Хамдам.

— Разве я дал им волю? — задумчиво спросил Иргаш.

Хамдам откровенно расхохотался:

— Нет, на это у тебя не хватило смелости.

— Но ведь они пошли за мной?

— А потом наплевали тебе в шапку!

Коренастый, маленький, уверенный в себе солдат, в солдатском обмундировании, в сером плаще, в старой засаленной тюбетейке, Хамдам никак не был похож на одного из соратников кокандского хана. Начиная с Иргаша, все его близкие друзья и начальники обернули себе голову чалмой. Хамдам этого не сделал. Один только раз он позволил уговорить себя, в день молебствия улемы на площади. «Да и то моя чалма распустилась!» — смеялся он над собой. Он считал лишним рядиться. «Глупые затеи! — говорил он себе. — Дело не в одежде, а в душе. Смешны все эти украшения, клички и партии! Как будто мы управляем событиями! Они текут сами, как вода... Наш бог — судьба».

Хамдам был одинок и верил только себе, только своему чувству, которое подсказывало ему: «Ты все получишь. Умей ждать! Живи так, как живут кошки в доме! Будь острожен и в ненависти и в любви!»

Хамдам хотел проститься с Иргашом, но Иргаш удерживал его.

— Ты все еще надеешься? — сказал Хамдам. — Хорошо. Я останусь, если ты просишь. Но когда пойдет русская пехота...

— Там не только русские, — вставил Козак Насыров.

Он только что вернулся из боя. В последний раз, пользуясь темнотой, с отрядом всадников он попробовал налететь на крепость и видел там узбеков. Иргаш вскопчил, как зверь, увидевший жертву. Он налетел на киргиза с криком:

— И ты вернулся, не порубив их!

— Я не сумасшедший, — равнодушно ответил хану любимый есаул.

Иргаш побагровел и камчой сбил с Насырова высокую черную папаху. Хамдам, поморщившись, удержал руку Иргаша:

— Не сердись, брат! Все это сейчас бесполезно.

Когда русская пехота выйдет из крепости, кишлячники все равно побегут. А это будет только утром. Не думай, что в Коканде остались одни храбрые! Нет! Наоборот! Остались только трусы, которые еще боятся тебя, но в последнюю минуту они тебя предадут. Умные и решительные покинули неверное дело. Я ведь ухожу не из трусости, ты это понимаешь, а из благоразумия. Как хочешь? Хочешь, я останусь?

— Уезжай! — прохрипел Иргаш и сбросил с себя халат.

Хамдам приложил руку к сердцу. Выходя, он встретился глазами с Козаком Насыровым. Насыров, покусывая свою порубленную губу, стоял навтыжку около дверей. Хамдам улыбнулся ему, как друг, призывающий к терпению.

Утром остатки банд Иргаша скрылись при первом появлении красной пехоты. Сам Иргаш удрал раньше всех с личным отрядом. Но, удирая, он не забыл в тюрьме Чанышева, он захватил его с собой. Дашнаки, войдя в Старый город, вместо того чтобы вылавливать вооруженных джигитов, занялись местью. Их обуздали...

Город, занятый почти без сопротивления, притих, остывая от крови. Открылись городские лавки. Ожил испуганный базар. Вороватые лавочники, еще вчера кричавшие у мечетей, быстро прятались, заметив красную гвардейца. Узбекские добровольцы несли городскую охрану. Обыватели еще плохо верили в прочность

власти и боялись всего. Круглые сутки работал Ревком.

В первый день Аввакумов не заметил исчезновения матери. Вернее сказать, мысль об этом постоянно перебывалась другими мыслями, которые казались более важными, неотложными, срочными. Вначале он еще надеялся, что мать отыщется где-нибудь у знакомых. Быть может, больна, упала, ранена. На второй день начались ее розыски. Но безрезультатно.

Прошла неделя... Аввакумов перевернул весь Коканд. Один из жителей квартала Галя-Бакал сообщил, что он видел ее на улице перед резней, она была с узелком. Вот и все, что он мог сказать. Те, кто зарывал трупы, заявили, что они ничего не помнят. Старуха ушла и не вернулась — и вот кончилась вся жизнь. Детство, девичество, нужда, счастье, надежды, старость — ничего нет. Человек испарился, как роса...

Безвестность, при которой даже трудно было себе представить всю обстановку гибели Агнии Ивановны, страшно поразила Аввакумова. Он, в сущности, никогда не имел особенной близости с матерью. Жилось всегда трудно. С четырнадцати лет ему пришлось покинуть Коканд, искать работы по другим городам, и вернулся он обратно, на старое пепелище, уже вполне взрослым и даже начинающим стареть человеком. Революция удержала его в Коканде, и тут, при непрерывной работе, при постоянном беспокойстве, также не нашлось времени, чтобы как-то сблизиться с матерью. И теперь он чувствовал, что потеря этой обыкновенной, полуграмотной женщины — не только потеря матери: из жизни ушел человек умный и решительный, который мог бы ему помочь в нужную минуту. Возникали и другие мысли: «Хорошо было бы сейчас успокоить старуху, дать ей на старости лет отдых...» И то, что она до этого не дожила, что ее как будто вырвали из жизни, приводило его в тяжелое и угнетенное состояние.

Когда в окрестностях опять появились разбежавшиеся из Коканда шайки и начались грабежи, убийства и разбои, Денис Макарович упросил Ревком отправить его на ликвидацию этих шаек. Он надеялся, что походная жизнь поможет ему рассеяться. Ревком охотно поручил Аввакумову это дело. Аввакумов составил отряд из трех эскадронов.

Отряд этот не раз участвовал в стычках, бывал крепко обстрелян и немало пленных отправил в Коканд. Об Аввакумове пошли легенды. Помимо храбрости, отряд славился порядком. Люди и лошади выглядели так, что хоть сейчас выходи с ними на парад: отличная обмундировка, отличная амуниция, великолепное оружие. Практичный командир умел заботиться не только о военной славе: отряд всегда был сыт и свеж.

Иргаш пропал. Аввакумов, разыскивая Иргаша, догадывался, что банды возникли не случайно, и предполагал, что где-то вблизи сидит неуловимый курбаши\*. Он расспрашивал крестьян. Но в кишлаках крестьяне еще боялись мести и прятали басмачей.

### 39

Трибунал, разбирая дело Парамонова о принятии подкупа, в протоколах невольно натолкнулся на показания, свидетельствующие о странном поведении коменданта во время осады. Аввакумов, запрошенный по этому поводу, уговорил членов трибунала до поры до времени не вызывать Зайченко.

— Мне хочется верить, что человек, как говорят, перебродит, а потом явится и расскажет сам, — сказал он.

С Аввакумовым следственная комиссия посчиталась, и Зайченко не тревожили. Вызывались бойцы; ничего существенного они показать не могли. Пожалуй, самое важное сообщение сделал Лихолетов.

— В эту ночь мне не спалось, — рассказывал он. — Мне не понравилось, что комендант будто нарочно усладил меня. Я стал раздумывать об этом и решил наконец пойти к нему и потребовать, чтобы он ничего не предпринимал тайно от гарнизона. Я вышел из казармы, по привычке взяв винтовку, и когда стал подходить к комендантскому помещению, увидел двух людей: старика и Зайченко. Они шли молча. Было очень темно, и они меня не заметили. Когда они свернули к воротам, мне стало ясно, что Зайченко провожает старика, чтобы караульный пропустил его, не задержал. «Хорошо, — думаю, — посмотрим, что будет дальше!» Думаю: «В последний момент ввяжусь, когда застигну у **калитки**,

чтобы узнать, почему выпускает, на каком основании?» Вдруг шум, слышу, нападение. Я стал стрелять. Поднял всех. Нападение мы отбили. На следующий день доложил секретно обо всем товарищу Аввакумову, что мое мнение такое: либо Зайченко участвовал в сговоре и в этот момент хотел сам открыть ворота, чтобы ночью всех нас перерезали, либо он попал впросак. То, что он моментально приказал расстрелять Муллу, сбilo меня. Мулла — важный человек. Я подумал: «Если Зайченко — контрреволюционер и паразит, продался врагам, зачем же тогда расстрел Муллы?» Короче скажу, я был в смятении. И об этом рапортовал Аввакумову. Он мне приказал никому не болтать. «Не такое, говорит, время!» А самого Зайченко арестовал. Когда дело дошло до штурма и надо было ремонтировать артиллерию, пришлось нам Зайченко выпустить. Тут еще арест Парамонова многое изменил. Из допроса Парамонова мы увидели, что Зайченко — человек непричастный к освобождению Муллы, абсолютно непричастный, такое у меня убеждение. Правда, одно странно, почему революционный акт комендант поручил Парамонову? Это мне действовало на нервы и отчасти опять заставляло думать: «Не штука ли?» Но Парамонов — не такой человек, чтобы шкурой своей рисковать! Он шкурник, и он бы раскрыл, если бы освобождение было сделано по приказу Зайченко. Ведь тогда вины у Парамонова меньше! Я скорее допускаю, что Парамонов облыжно может показать, только чтобы свалить на другого. Пораскинули туда-сюда, видим — в этом деле комендант наш чист. Мнение мое о коменданте двойственное. Но обвинить ни в чем не могу, не заметил.

Аввакумов тоже давал объяснения. Они совпадали с показаниями Лихолетова. Он говорил, что если сейчас приступить к допросу коменданта — тот на все может дать прямой ответ. Честный он человек или бесчестный, его ответы будут одинаковы и ничего не обрисуют. Вел переговоры? Вел. Принял предложение о сдаче крепости? Нет, не принял. Хотел выпустить лазутчика? Да, хотел, так как не предполагал вероломного нападения. Кстати, по этому поводу он может сослаться на старый военный устав, который давал ему право на переговоры. После налета решил лазутчика ликвидировать? Да, ре-

шил. Провокация ли это? Нет. Вряд ли правительство Мустафы дало бы право коменданту расправиться с Мулла-Бабой, хотя бы даже с целью ускорения восстания. Если бы у него с автономистами была договоренность, комендант имел бы полную возможность сдать крепость без всяких инсценировок и жертв с их стороны.

— Что же происходило в ту ночь? Хотел ли Зайченко сдать крепость или не хотел? Или только колебался? Вот что должно нас интересовать! — говорил Аввакумов. — Но и тут комендант может ответить, что даже не колебался. Ведь улики нет! А заниматься чтением его души не так-то просто...

Аввакумов предлагал не торопиться, выждать.

— Присмотримся! Потерпим! Правда объявится, — говорил он.

Объявилась она неожиданно.

Зайченко встретился с Варей.

Они пошли вместе по Розенбаховскому проспекту, болтая о самых разнообразных пустяках. Перед тем как распрощаться, Варя попросила его зайти к ней.

— Что-нибудь важное? — спросил он.

— Да.

Он усмехнулся.

— Что же, я рад! Вы на меня смотрите, как леди Макбет, а я не понимаю... Что вы кукситесь?

Варя занялась приготовлением чая, будто оттягивая начало разговора. Зайченко наблюдал, покуривая папиросу, посмеиваясь про себя. «Женщины не могут без преувеличений. Даже такую обыкновенную вещь, как связь, они раздувают до гигантских размеров», — подумал он.

За чаем Варя неожиданно спросила Зайченко:

— Помните наш разговор в крепости?

— Какой? Когда?

— После вашего ареста.

— Ну?

— А вы знаете, что сейчас идут...

— Разговоры по делу Парамонова? — перебил ее Зайченко и сморщился. — Глупости, Варенька! Не понимаю, как это может вас волновать? Слыхал. Знаю. Спрашивали про меня. Дальше что?

— И вы спокойны?

— Вполне.

— А я нет. Пойдите к Аввакумову и расскажите ему обо всем честно!

— Что честно? — Зайченко оттолкнул от себя чашку. — О чем рассказывать?

— Об одном деле.

— Каком деле?

— Я узнала одну вещь, о которой решила вам сказать.

— Какую вещь?

— Ну, успокойтесь! Если вы не успокоитесь, я говорить не буду.

— Я спокоен. Мне не о чем беспокоиться.

— Вы говорили по телефону с Чанышевым в ту ночь?

— Говорил. Ну и что?

— Вы сказали ему, что к семи часам утра сдадите крепость?

— Позвольте! — Зайченко вскочил, у него покраснели виски; он услышал, как кровь забилась у него в ушах, будто кто-то хлопал по ним. — Не понимаю! Ничего не понимаю!

— В аппаратной... на городском телефоне... работала моя подруга Сима. И она мне сказала, что слышала весь ваш разговор. Вы обещали Чанышеву в семь часов сдать крепость.

— Ну?

— Все!

— Что же, она побежит доносить? Может быть, донесла? Вы меня предупреждаете?

— Я советую вам пойти к Аввакумову и лично объяснить ему.

— Что объяснить?

— Разговор с Чанышевым.

— Мало ли о чем я говорил в ту ночь!

— Вот и объясните!

— Какая ерунда! Кроме вас, она с кем-нибудь говорила об этом?

— Не знаю. Не все ли равно?

— Конечно, не все равно!

— Если вы не пойдете, я буду считать вас бесчестным человеком, изменником.

— Вы говорите глупости! Ведь теперь и этот случай с Мулла-Бабой будет выглядеть иначе.

— Надо все объяснить.

— Что объяснить? Военное дело — это военное дело. Без психологий! Надо это понимать. Мне никто не поверит.

— Поверят, Костя! Я жизнью клянусь, что поверят. Денис Макарович разберется. Объясниться начистоту надо, если вы чисты, чтобы прекратить все... как недо-разумение. А не объяснитесь — значит, вы и вправду...

— Довольно! — оборвал он ее.

Зайченко наблюдал: дрожит ли у него рука, когда он подносит спичку, или не дрожит? Закурил.

— Это какая Сима? Ваша подруга? Черненькая?

— Да.

— Она все там же живет?

Он надел фуражку.

— Вы куда, Костя?

— Мне пора.

— Костя... Костя! Вы к ней?

— Не кричите!

— Что ты задумал? Я не пушу тебя.

— Тише!

— Костя!

Она вцепилась в него, схватила за руку. Он отшвырнул ее. Она упала. Она лежала у его ног. Лицо ее было мокро от слез. Ему захотелось ее ударить. Но стыдно было бить женщину каблуком.

— Чтобы никому об этом! Слышите! — сказал он.

Варя молчала.

— Обещаете?

Молчание.

— Дура!

Он швырнул папиросу, сжал кулак, чувствуя, что лихорадка бьет его. Он вдруг стал легкий и пустой, точно футляр. Он нагнулся к Варе. Она закрыла глаза. Он застонал, не зная, на что же ему решиться. Вышел.

Через полчаса Варя прибежала в крепость к Лихо-летову и рассказала ему обо всем. Бросились на квартиру коменданта. Его не оказалось дома.

Зайченко этой же ночью скрылся из Коканда, имея на себе лишь тюбетейку, рубашку, шаровары да ичиги.

Без денег, голодный и рваный, он пешком добрался до Ташкента. Здесь на второй день он был арестован на улице случайно проходившим патрулем. Из милиции, как подозрительного, его отправили в ташкентскую тюрьму. На допросах он отказался назвать себя, потом назвал вымышленным именем Ивана Толстикова, мещанина. Ему не поверили и держали до выяснения. Он думал о побеге, однако никаких средств, никаких возможностей к побегу не оказалось.

Как это ни странно, но в розыскных документах, высланных из Коканда в Ташкент по поводу исчезновения коменданта Кокандской крепости, не упоминалось о том, что комендант Зайченко не имеет левой руки. Не то канцеляристы забыли об этом, не то упустили это при переписке. Во всяком случае, важно одно, что такая значительная примета, как отсутствие руки, не упоминалась. В розыском листе стояло: «Низковат, толстоват, брит». Ясно, что по таким приметам трудно было найти Зайченко.

Ташкентский розыск в одноруком нищем, инвалиде, никак не мог заподозрить коменданта. Зайченко понял, что следователи не связывают его с Кокандом. Он продолжал упорствовать и притворяться обыкновенным беспаспортным бродягой из России. Он думал: «Если дальше все будет продолжаться так же, со мною побьются месяц, два, три, но в конце концов все-таки выпустят».

Он повеселел и решил надеяться на счастье.

#### 40

Пробивалась весна. Сбежал снег. Сверкало золотое небо. Степь покрылась голубой травой. Как огни, в ней горели тюльпаны. Желтые степные жаворонки, взрывая своим пением воздух, падали кубарем вниз с прозрачной вышины, точно кусочки солнца. Птицы неслись на восток, звери покидали зимние логовища. Черепахи, высунув из-под щитка свои живые, умные мордочки и черные блестящие лапки, купались в горячих лужах. Стада кочевников спускались с гор. Все наслаждалось жизнью.

Отряд двигался колонной, по три всадника в ряд.

Аввакумов, после двух часов непрерывного марша, соскочил с Грошика, вынул из подсумка тряпку и обер коню влажные, отпотевшие бока. Аввакумов был несколько тяжеловат для своего коня. Маленький, сухопарый, точно выточенный, Грошик уставал под таким наездником. Но Денис Макарович очень дорожил Грошиком и отказывался его обменять.

Съехав с дороги, он решил дать коню передышку.

Пока Грошик жадно щипал жирную пахучую траву, Денис Макарович пропустил мимо себя людей, стараясь подглядеть каждую мелочь: кто в каком настроении, какова седловка? В голове отряда ехал Блинов. А в полкилометре от Блинова — передовой дозор из шести испытанных кавалеристов.

С командиром оставался только Юсуп.

Аввакумов души не чаял в Юсупе. По ночам, на отдыхе, он рассказывал Юсупу о своей батрацкой жизни у оренбургских казаков, о 1905 годе, о работе в железнодорожном депо на станции Оренбург, о тюрьме, о революции, о германском фронте. Юсуп слушал его с завистью.

В лице Аввакумова ему случилось увидеть первого русского друга. Походная жизнь сближала. Раньше он наблюдал за русскими лишь издали. Все они казались ему людьми особенными, умными, учеными, знающими тайну жизни. Русские плотники и каменщики работали красивее и быстрее узбеков. На железной дороге, в среде начальства, он встречал только русских. Машинисты и слесаря на хлопковом заводе были русские. Русские солдаты и офицеры отлично владели оружием. В чем же эта тайна? Что нужно делать, чтобы стать таким же? Только учиться? Не может быть! Он поступил в школу, учили там плохо, и школа не понравилась ему.

Сейчас вместе с Аввакумовым было веселей. Над головой летели птицы. Приятно было чувствовать горячую и ласковую землю. Что будет дальше? Конечно, неизвестно. Но зато как увлекательна была эта неизвестность! Аввакумов любил мечтать и делился своими мечтами с юношей.

Он говорил ему:

— Вот, Юсуп, кончится война... Пропадут фабрики и баи. Узбеки выберут своих комиссаров... Люди

создадут огромный союз, он будет объединять все народы. Вырастет новый мир... Этот мир не будет знать ни войны, ни солдат, ни крови.

— Как же это? Не понимаю.

— Сейчас еще тебе этого не понять. Но придет время — и каждый человек поймет, что он человек.

— Офицер мне говорил другое.

— Какой офицер?

— Тот, что сбежал.

— Что же он говорил?

— Он говорил, что война будет всегда.

— Он врал тебе, Юсуп.

— Врал? — Юсуп задумался, а потом спросил, недоумевая: — Но ведь сейчас мы тоже воюем?

— Это временно.

— А что же будут делать люди, если перестанут воевать?

— Они будут жить, Юсуп. Будут жить счастливой, мирной жизнью. А все то, что положено, мы отвоюем за них. Понял?

— Да, понял, — серьезно ответил Юсуп и оглянулся.

На востоке взлетел столб белого дыма, телеграф басмачей. За отрядом кто-то следил. Кто-то передавал: «Едут!» Километрах в десяти на песчаном бархане возник другой дым, ответный. Аввакумов и Юсуп, заметив эти дымы, быстро сели на лошадей. Отряд они догнали у небольшой речки.

Лошади осторожно двигались по скользкой гальке, боясь оступиться. Мост был разрушен. А впереди, неподалеку от моста, стоял небольшой, брошенный, очевидно, кишлачок. Над ним дрожали, как две струны, два бледно-зеленых тополя. Справа, за голубоватым весенним полем, блеснули рельсы.

В кишлаке всадники встретили глухие стены, закрытые ворота, чайхана была на запоре, на гладкой пустой улочке не показался ни один человек. Ни голоса, ни скрипа ржавой петли, ни кудахтанья курицы, ни шороха — все было мертво. На краю неба пылало вечернее, лиловое солнце.

Аввакумов отдал приказание остановиться, разыскать колодец и напоить здесь лошадей.

Сашка подскочил к нему, лихой и легкий, точно локон,

— Едем в Андархан! — весело закричал он. — Там вода хороша и бараны!

— Ну вот, тащиться... Мы едем в степь. В степи за-  
ночуем.

— В степь? Опять мытариться? — заспорил Сашка.

— В степь, — упрямо повторил Аввакумов.

Сашка разозлился, и когда боец подал ему ведро, он, вместо того чтобы напоить лошадь, окатил ей брюхо сверкающей водой, а железное ведро бросил оземь. Нервный Грошик, испугавшись, дал свечку. Аввакумов быстро, всем корпусом прижался к шее коня и только благодаря этому не вылетел из седла. Потанцевав, Грошик успокоился.

— Охломон! — крикнул Аввакумов Сашке.

Выругав его крепко и отчитав за беспорядок, Аввакумов все-таки настоял на своем: повел отряд в сторону от железной дороги. Даже лошади шли неохотно.

Никто не понимал командира. Да и сам командир вряд ли понимал себя. Странное чувство заставляло его опасаться чего-то, хотя опасность была одинаковой, что в кишлаке, что в поле. Не проще ли храбро вскочить в Андархан и, если там враги, врезаться в самую гущу их и работать шашкой? Не так ли он действовал всегда? Но вот сегодня, вопреки обычаю, непонятный страх мешает ему повторить излюбленный маневр. Он испугался стен.

— Тебе скучно, начальник? — спросил его Юсуп.

— Нет.

Аввакумов ерзнул в седле и потрепал Грошика по холке. Потом обернулся к Лихолетову и весело крикнул:

— Эскадронный, споем, что ли?

Сашку не нужно было упрашивать. Он поправил рыжий начес, заломил на затылок фуражку и подбоченился, как запевала.

Горячий, вспыльчивый, он часто сталкивался с Аввакумовым, но невероятно любил его. Если в отряде появлялся чужой человек, Сашка долго и внимательно присматривался к нему. Когда случалось, что этот пришелец хоть в каком-нибудь пустяке неудовлетворительно отзывался об Аввакумове, Сашка быстро выживал его из отряда. Больше того, Сашка был ревнив. И сего-

дняшняя стычка с командиром объяснялась не столько неудовольствием Сашки, сколько обидой. Он ревновал командира к Юсупу. Ему не нравилось, что в походе — и днем на конях, и ночью на ночлеге — его любимый Макарыч проводит все время с узбеком-переводчиком.

Сашка радостно привстал на стременах и рассмеялся.

— Какую, Макарыч?

— Какую хочешь, лишь повеселей!

Сашка знал множество песен, русских, украинских, татарских. Вскрапывали лошади. Сашка почесал себе нос.

— Нос чешется! — сказал он задумчиво. — Либо к питью, либо к битью.

— К битью, — пробормотал кто-то.

В рядах захохотали. Сашка тоже ухмыльнулся и скребнул всей пятерней затылок.

— Возможно. Ну, хватайте, хлопцы! — сказал он, обернувшись к своему эскадрону. Потом покачался в седле, заложил два пальца в рот, свистнул и начал:

Ой, и што же там за шум  
Учинився?  
Та комарь на мухе ожёньвися,  
Взяв соби жинку-невеличку,  
Что не вмиет шиты-прясты  
Чоловичку.

Эскадрон подтянул, и пошла песня. Юсуп вдруг дернул командира за рукав.

— Джигиты! — шепнул он.

Аввакумов осмотрелся. Юсуп тыкал пальцем то вправо, то влево. Ничего, кроме чистого поля, Денис Макарович не увидел в бинокль. Поле было спокойно, кипел перед глазами нагретый за день фиолетовый воздух. Впереди щелкнуло, будто переломили сухую ветку. Сашка, подняв голову, зажмурился. Передний взвод, догадавшись по его лицу, в чем дело, остановил коней. За первым взводом встали остальные. Фыркали кони и, нервничая, перебирали ногами. Скрипели седла. В воздухе ясно слышался голос пуль. Сначала стреляли редко, но потом все чаще и дружнее. Двое эскадронных на танцующих конях подскакали к Аввакумову.

Муратов, командир второго эскадрона, по-прежнему в чикчирах, но уже в кубанке с белым верхом, так оса-

дил коня, что тот поскользнулся. Муратов, суеверный человек, плюнул три раза через левое плечо. Дозор, повернув коней, примчался к отряду с криком: «Джигиты!» Денис Макарович взглянул на кирпичную железнодорожную будку, стоявшую возле рельс, потом на отряд и неторопливо сказал командирам:

— Первый эскадрон налево, второй направо! Третий за мной!

Он вынесся вперед. Эскадронцы развернулись за ним. Сашка со своим эскадром поскакал к железнодорожному полотну. Оттуда их встретили залпами. Но потерь не было. Сашка повел людей, пользуясь насыпью как прикрытием. Второй эскадрон, рассыпавшись лавой, пошел галопом на кишлак.

Аввакумов скомандовал: «Шашки вон!» — и пустил Грошика к будке. За Аввакумовым с криками ура полетел третий эскадрон. Выстрелы прекратились. Но в десяти шагах, прямо в лоб, из-за степки их встретил пулемет. «Так и есть...» — подумал Аввакумов и хлестнул плеткой Грошика.

За будкой был расположен маленький дворик, окруженный глиняной стеной. Оттуда выскочили басмачи, на ходу хватая своих лошадей. Часть эскадрона бросилась за Аввакумовым к будке. Другая погналась за басмачами. По всему полю замелькали конные.

Блинов повел своих на помощь второму эскадрону, и басмачи, увидев, что смерть ждет их в кишлаке, решились выбраться оттуда и бросились в поле. Юсуп насел на одного из басмачей в красном рваном халате. Сашка ружейным огнем охватил противника с левого фланга; когда тот попробовал перебраться через железную дорогу. Лошади врага понеслись врассыпную. Началось преследование, люди в поле смешались. Бойцы, поймав нескольких басмачей, обезоружили их и, скрутив руки, отвели к Аввакумову. Абдулла валялся на земле, стараясь перетереть о камни тонкие веревки, и рычал. Муратов толкнул его прикладом. Абдулла сел на корточки и высунул язык. Здесь же, около стены, стоял Хамдам. Брезгливо морщась, он слушал крики сына. Аввакумов спросил его: «Как тебя зовут?» Хаджи даже не моргнул глазом, точно глухой.

Приставив к пленным часовых, Денис Макарович выбрался со двора.

В поле шла еще рубка. Бешеный аллюр лошадей, маленькие человеческие фигурки, темнеющая ароматная степь, спокойные кусты саксаула, вечерняя тишина — ничто не говорило о крови. Заметив Юсупа, отбивавшегося от трех басмачей, Аввакумов дал Грошику шенкеля. Но тут он увидел Сашку. Сашка тоже мчался на выручку, наперерез.

Два басмача наскочили на Юсупа сзади. Когда один из них взмахнул шашкой, Лихолетов страшным ударом разрубил ему плечо. Басмач упал. Здесь подоспел Денис Макарович. Басмачи сбрасывали с седел курджуну\* с патронами, кидали шашки и винтовки, некоторые подымали руки вверх и просили пощады. Лошади скакали без седоков.

Посередине поля маленький эскадронный фельдшер прсвевывал раненых. Трудно было узнать в этом мальчике сестру Орлову. Одета по-мужски, в шаровары и гимнастерку, Варя ничем не отличалась от остальных бойцов эскадрона.

Басмачи легко уходили на карьере: очевидно, они уже успели переменить лошадей. Блинов затеял погоню, но утомленные походом эскадронные кони быстро сдали. Денис Макарович стоял на одном месте и, делая кругообразные движения шашкой, сзывал к себе людей. Бой кончился. У Юсупа была прострелена нога.

— Спусти штаны! — приказал ему Аввакумов.

Юсуп, посмотрев на Варю, отказался. Она, ни слова не говоря, скальпелем разрежала шов. Юсуп дрожал от стыда.

— Видишь, дурак! Штаны спортил! — ехидно ввернул Сашка.

Ночевать все-таки пришлось в Андархане. Когда эскадроны появились в кишлаке, навстречу бойцам вышел Дадабай, высокий, тощий старик; приветливо улыбаясь гостям, он поглаживал свою длинную седую бороду, пропуская ее сквозь пальцы. Дадабай умел кое-как говорить по-русски. На площади возле базара толпились испуганные жители. У некоторых эскадронцев, возбужденных боем, чесались руки.

Сашка ворчал:

— Глисту бы первого поставил к стенке!

— Тронь — к стенке встанешь ты! — сказал Аввакумов.

— А почему он в шелковом халате? — сказал Сашка.

— Опять споришь? Я тебе язык отрежу. Марш отсюда! — шутливо крикнул ему Аввакумов. — Поди-ка лучше позаботься о бойцах. Да устрой всем плов! Это по твоей части.

Сашка улыбнулся.

— Плов! Вот это правильно!.. — сказал он, прищурясь. — Можно плов... Такой закачу плов, что с котлом проглотишь!

Сашка любил поесть. Он живо подозвал к себе своего ординарца.

— Коня мне, Петя! Поедем выбирать баранов! — весело сказал он и расхохотался. — Ответственное дело!

## 41

Все эскадроны разместились в Андархане. Часть их вместе с Денисом Макаровичем и штабом отряда попала в хамдамовский двор. В нем было много пристроек. Длинную узенькую галерею, вроде балкончика, застелили соломой и отвели командирам. В дом не входили, так как там остались женщины: Аввакумов не хотел нарушать местных обычаев.

Пленные — Хамдам, его брат Джаныш, Абдулла и еще несколько человек — были заперты в сарай. Аксакал выслал дехкан в поле, и они собирали там трупы убитых басмачей.

Люди мылись после боя в арыке.

Под цветущими миндалями, точно обрызганными мыльной пеной, разожгли костер. Готовили плов. Навдвигалась ночь. Многие, не дождавшись еды, уже заснули, уткнувшись в землю. Оська Жарковский присел к огню с книгой. По старой привычке, он не мог жить без книги и всегда брал с собой в поход что-нибудь для чтения. Возле огня лежали и другие бойцы.

Наступило полное спокойствие. Трудно было себе представить недавний бой, выстрелы. Все это казалось сейчас случайной вспышкой. Воздух был ласков и нежен. Тишина нарушалась только тем, что время от времени Оська перелистывал страницу.

— Чего ты шуршишь там? — недовольным голосом сказал Сашка.



— Читаю. Не видишь, что ли? — ответил Оська, не подымая головы.

— Роман? — спросил Сашка с ударением на «о». Оська молчал.

Невдалеке от эскадронцев, на земляной софе, лежал Аввакумов. Он сказал:

— Жарковский! Почитай нам вслух!

— Ну вот, что же мне — читать с начала? — недовольно отозвался Оська. Видно было, что ему лень отрываться от книги.

— А ты читай где читаешь. Все равно! — сказал Аввакумов.

— Верно, почитай, гимназист! А то чего-то скучно! А мы послушаем! — раздался голоса бойцов. — Давай! Потрудишься!

— «В горной войне, — начал неуверенно, как бы стесняясь, читать Жарковский, — необходимо вести наступление не одной, а несколькими колоннами, и если хоть одной удастся пробиться на ту сторону хребта, то успех обычно бывает обеспечен. На примере альпийских походов 1796—1801 годов лучше всего можно убедиться в том, что даже самые неудобные горные проходы вполне можно преодолеть, если послать туда хорошее войско, с энергичными генералами во главе».

— Про генералов не читай! — крикнул из темноты Сашка.

— А ты не мешай! Спи, где камней побольше! Мягче будет! — шутливо отозвался Аввакумов.

Некоторые из бойцов подняли головы, другие даже сели.

— Подходящее для нас пишут. Не мешай, не мешай! — зашикали все на Лихолетова.

— «Я беру нынешнюю военную систему в том виде, в каком ее создал Наполеон, — продолжал Жарковский уже в полный голос. — Две ее отличительные особенности: массовый характер наступательных средств в виде людей, лошадей и пушек и подвижность этих средств. Подвижность — неизбежное следствие массового характера армии. К подвижности нужно прибавить известную степень умственного развития солдата, который в некоторых случаях должен помогать сам себе. Он должен быть интеллигентным...»

— Слушай! Кто это написал? — взволнованно спросил Блинов, перебивая Жарковского.

— Энгельс, — ответил Жарковский.

— Ах, Энгельс! — таким равнодушным тоном протянул Сашка, что все рассмеялись.

Юсуп наклонился к Аввакумову:

— Хозяин, какой человек?

— Друг Карла Маркса. Знаешь Карла Маркса?

— Видал.

— Ну вот. А Сашка ничего не знает. Они были друзья, Энгельс и Маркс. Как мы сейчас.

Аввакумов обнял юношу, и Юсуп ласково прижался к плечу командира. Он все-таки чувствовал себя одиноким среди людей, говоривших на чужом языке. Но с Аввакумовым время летело незаметно, как с родным, близким человеком. У Юсупа ныла рана, горела голова, поднялась температура. Ему хотелось плакать.

Когда поспел плод, ужинали не все. Юсуп только напился чаю. С помощью командира он добрался до галерейки и лег на солому. Варя положила ему компресс на лоб. У него посинели губы. Юсуп вскрикивал в бреду.

Денис Макарович устроился тут же, возле него, и никак не мог уснуть. Опять вспомнилась мать. «Чего-то я не сделал ей? — подумал он. — Как будто бы остался должен?» Он вспомнил, как однажды они поссорились и она сказала ему: «Смотри, Дениска! Смотри, паршивец! Будешь потом вспоминать, да поздно будет...»

Возле ворот шагали часовые. Костры потухли. Когда набегал ветерок, зола вспухала темно-алым блеском.

Оська, кончив читать, захлопнул книжку, зевнул, взял свою манерку для плова и, накинув на плечи шинель, скрылся, как привидение. Возле костра остались только Варя да Сашка. Сашка, играя прутиком, косился на Варю. Она вязала себе чулки.

Сашка спросил:

— Вы и мужское можете вязать?

— Могу. Это же все равно.

— Свяжите мне!

— Что?

— Что-нибудь.

— Вы покраснели как рак, — сказала Варя и улыбнулась.

Он скользнул по ней взглядом. Ему почему-то стало жалко эту девушку или женщину... Тут же подумал он: «Убьют еще в такой кутерьме...» Ему захотелось погладить ее или хотя бы дотронуться только до ее нежных стриженных кудерьков на затылке. Он лениво поднялся с земли и ткнул ногой костер.

— Будешь рак! — сказал он растерянно.

Варя так громко рассмеялась, что ему стало легче, как будто он объяснил ей самое главное из всех тех мыслей и чувств, которые смущали и томили его душу.

Муратов крикнул из темноты:

— Кончай базар, кончай!

Сашка плюнул и повернулся спиной к огню. В самом конце двора кто-то бубнил неторопливо и спокойно, точно напевая колыбельную:

— Да очень просто! Когда германец подвез им в помощь свою артиллерию, нас тоже глушили из таких орудий под Перемышлем. Как ударит, мы все брюхом в землю, и рот раскрыт обязательно, чтобы сотрясение организма не получилось. Встал — и все в порядке. Только перед носом яма, шесть сажен ширины, четыре глубины. Вот какие дела! А пехоты гибло... ее даже не считали! Снаряд-то в пятьдесят пудов. Ужасно подумать!

Хамдам, выломав ногтями кусок глины, смотрел в шелку. Раненый Джаныш — ему порубили спину — скрипел зубами, Абдулла спал. Сегодняшний бой Хамдам вспоминал как позор. Впрочем, он никогда не надеялся на этих людей. Он был прав.

— Хочешь бежать? — спросил Джаныш.

Хамдам горько вздохнул:

— Около сарая ходит Нияз, красная собака. И на дворе не спят.

— Если бы ночью напал на них Бегмат. Он может вернуться? Как ты думаешь? — простонал Джаныш.

Хамдам не ответил.

В доме, в женской его половине, находились две жены Хамдама. Аввакумов, чтобы никто их не тронул, поставил у дверей караул. Поэтому они считали себя арестованными. Крепко обнявшись, они держались друг за друга и всю ночь вздрагивали от каждого шороха за стеной.

Проснувшись, Денис Макарович вместе с Блиновым и Муратовым вышел на улицу. По обеим сторонам ее тянулись глиняные дувалы, кое-где курчавились бархатные яблони, украшенные розовыми гроздьями цветов. Дорога расстилалась, как пыльный половик. Арык заползал в тесные щелки дувалов, во дворы.

Муратов толкался то в одну, то в другую дверь. Никто не отворял. Они пошли в узкий переулок, где человек не может даже развернуть рук в обе стороны — они упрутся в стены. Было рано. Солнце еще не успело побелеть. Муратов, как местный человек, по дыму мог определить, где в доме пекут хлеб. Но напрасно они стучались, кишлак был глух и нем.

Аввакумов очень хотелось принести для Юсупа горячих лепешек. Он думал побаловать больного. Увидев сизые кольца за развалившейся стенкой, Денис Макарович махнул рукой товарищам:

— Погодите, вот здесь как будто народ победнее! Я схожу сам.

Он свернул в сторону. Маленькие серые ящерицы целыми семьями грелись на солнечной стороне переулочка. Из-за стены виднелся склеп-мазар\*, могила святого, с куполом; ветер трепал на шесте бунчук\* с вплетенными в него, выгоревшими от солнца коротенькими ленточками.

У больших резных ворот сидел босой парень в верблюжьем рваном халате. Это был Сапар, один из любимых джигитов Хамдама. Увидев Аввакумова, он опустил голову, прикрытую черной тюбетейкой, и будто прирос к стенке. Аввакумов прошел мимо, даже не заметив его. Когда Аввакумов остановился, чтобы закурить, Сапар неслышно встал и скрылся за воротами. Все звуки тонули в мягком, толстом слое пыли. Денис Макарович бросил спичку. «После чая, — подумал он, — народ собрать надо. Поговорить». Он только что дотронулся до железного кольца калитки, как сзади него что-то хлопнуло. Он обернулся и упал в пыль, схватившись за лицо. В правой руке он еще держал папиросу.

Блинов и Муратов, услышав выстрел, кинулись в переулок и увидели Дениса Макаровича, выплевывающего

кровь изо рта. Они подхватили его под руки. Он стал кашлять, жадно глотая воздух. Он задыхался и не мог сделать ни одного шага. Муратов побежал к отряду.

— Василий Егорыч, — тихо сказал Денис Макарович Блинову, — я умираю. Эскадрон передаю тебе. Завещай бойцам...

— Брось, брось! — захлебываясь от ужаса, от нежелания слышать эти слова, забормотал Блинов. — Брось, Денис!

Аввакумов сморщился.

— Передай Юсупу... — попробовал он продолжать и еще раз выплюнул всю кровь, скопившуюся у него во рту, и, поблуднев, почувствовал, что говорить уже не может. Он знаками попросил опустить его на землю. Он смотрел в небо, и молочная пленка затянула ему глаза.

В переулок ворвался Сашка с криком: «Где он? Где он?» А вслед за Сашкой бежали несколько эскадронцев и Муратов.

У Сашки глаза сделались безумными, и пена облепила ему губы. Он размахивал шашкой и не переставая кричал:

— Где он?

Тут только поняли, что Сашка спрашивал о выстрелившем басмаче. Но никто, ни Блинов, ни Муратов, не могли сказать, откуда раздался выстрел.

Аввакумова положили на принесенную шинель, как на носилки. За концы ее взяли четыре эскадронца. Все тронулись обратно в кишлак, к дому Хамдама. Последним плелся Сашка. Он так и не догадался вложить шашку в ножны. Он рыдал, размазывая по лицу крупные слезы.

— За что? За что сгубили? — все еще выкрикивал он.

Он чувствовал, что его лицо раздвигается вправо — влево, будто занавеска, и что, может быть, это стыдно, но ничего не мог поделать с собой. Ему казалось, что случилось большое, непоправимое несчастье, и в эту минуту он готов был умереть, если бы это помогло Макарычу.

По пути выходили навстречу эскадронцам дехкане. Грустно взглядывали они на посеревшее, точно тряпка, лицо Аввакумова. Некоторые из них тихо покачивали головой и говорили эскадронцам:

— Плохая пуля!

Варя стояла на балконе с тазиком теплой воды. Вымыв лицо Денису Макаровичу, она надела ему чистую рубашку, Юсуп, волоча раненую ногу, упал около деревянной софы, вынесенной из дома. На софу положили Аввакумова.

Он очнулся, кругом него столпились бойцы. Жарковский, чтобы утешить себя, тихо сказал:

— Биологически — это продолжение жизни.

Аввакумов услышал это, понял, открыл глаза и даже приподнялся. Видно было, что он хочет выжать из себя какое-то слово.

— Ма... ма... ма... — силится он сказать и явно сердилась, что язык уже не повинуется ему. Он еще раз попробовал и в отчаянии впился ногтями в ладони, а в глазах у него появилась горечь. Он слегка застонал и откинулся назад.

«Неужели все?» — подумали бойцы. Варя закрыла ему глаза. Эскадрон говорил шепотом.

Никто не произнес слова «смерть». Все нарочно избегали говорить об этом. Из досок сколотили длинный ящик. Муратов привел Дадабая. Старик был бледен, высок и худ, как жердь, правую руку он держал у сердца.

— Ты сказал, что кишлак чистый? — спросил его Блинов.

Дадабай задергался и закрыл глаза руками.

— Не знаешь?

Тогда подскочил Сашка и схватил старика за бороду:

— Зарублю на месте, сука! Отвечай!

— Вон! — крикнул Сашке Блинов.

Эскадронцы оттащили Сашку.

Блинов приказал арестовать Дадабая. Старика втолкнули в тот же сарай, где находились пленники. Эскадронцы сделали это с величайшей неохотой. Им легче было бы сделать другое, но каждый из них боялся оскорбить смерть любимого командира.

Явились узбекки с детьми. Дети принесли душистые букеты. Некоторые из женщин к ногам убитого положили куски старого самаркандского шелка. Эскадронцы сшили из него алое знамя на гроб своему командиру.

Вечером весь отряд, на конях и при оружии, хоронил Дениса Макаровича. Сзади эскадронов шли дехкане. Могила была вырыта неподалеку от места убийства. Когда открытый гроб поставили около сухой и желтой длинной ямы, Блинов встал рядом с ней и, держась одной рукой за ящик, наклонился к покойнику. Голова Аввакумова лежала на охапке весенних нежных цветов. Блинов увидал уже отошедшее от страданий лицо; все черты лица успокоились, кожа потухла, глаза глубоко запали, и губы сжались навеки. И среди этих свидетельств смерти только черные жесткие усы были живыми.

«Что я скажу?» — подумал Блинов, и та рука, которой он держался за ящик, вдруг задрожала. Тогда Блинов еще крепче вцепился в стенку ящика и тихо произнес:

— Денис Макарович, вечный друг! — Блинов почувствовал, что голос его тоже дрожит. Он постарался справиться с этим, но не мог и говорил по-прежнему тихо: — Вот твой отряд прощается с тобой. Вот дехкане, они видят, что мы боролись честно, и они тоже оплакивают тебя. Тут же стоит твой Грошик. Не носить ему другого командира! Прости, может, мы тебя плохо охраняли? Может быть, мы еще не знаем, что такое злоба наших врагов? Ну что ж! Мы всё узнаем. Прощай!

Блинов, нагнувшись к лицу Дениса Макаровича, крепко поцеловал его в губы и, уже отойдя в сторону, ладошкой незаметно вытер слезы.

Юсуп, несмотря на боль, сидел в седле, а не в повозке с ранеными. Все в нем будто застыло. Раньше у него, кроме матери, не было близких, и эта смерть первого близкого человека точно ударила его...

Наклонилось над гробом красное шелковое знамя, и четыре эскадронца на полотенцах стали медленно опускать гроб в могилу, и эскадронцы, как один человек, запели «Вы жертвою пали в борьбе роковой». К могиле коноводы подвели черного Грошика, поведившего ушами, и командиры обнажили клинки. Закатилось лиловое солнце, и пестрые цветы полетели в могилу вместе с комьями серой рассыпавшейся глины. Громко заплакали узбечки в синих одеждах, и маленький эскадрон-

ный фельдшер низко наклонился к голове своего коня. Сашка скомандовал стрельбу поэскадронно, и эскадронцы сняли с плеча винтовки, и два горниста проиграли на хриплых трубах отбой атаки. Три эскадронца завалили могилу тяжелыми камнями, и знамя покрыло ее, и триста винтовок трижды дали залп. Когда воздух стал тяжелым и горьким от пороха, Юсуп понял, что на всю свою жизнь он выбрал себе дорогу. Трубы пропели поход. Отряд, прощаясь, прошел мимо могилы командира.

Приближалась светлая, звездная ночь. Отряд направлялся прямо в Коканд. Впереди опять ехал дозор, за ним Блинов с двумя горнистами, сзади эскадроны с командирами. Пулеметчики вели пленных джигитов и Хамдама.

Но первым в колонне шел Грошик. Рядом с ним, держа его на поводу, ехал омраченный Сашка. Грошик не понимал: куда же делся его всадник? Грошик скучал...





1

На крепостной гауптвахте Хамдаму жилось неплохо. Полтора месяца плена прошли незаметно. Хамдам имел связь с родным кишлаком. Оттуда ему привозили пищу и деньги. Деньги уходили на взятку завхозу. По ночам в комнате завхоза Назар-Коссая Хамдам пил водку.

Однажды Назар-Коссай познакомил его с молодой еврейкой. Звали ее Агарь. Родители Агари умерли в Бухаре от холеры, когда Агарь была еще совсем ребенком. Синагога отдала ее опекуну. Несколько лет он бил ее и мучил и с утра до ночи заставлял работать в мастерской, где отвратительно пахли мездрой кожи. Она же больше всего на свете любила сласти, улицу и базар. Когда Агарь подросла, тощий и вонючий, как селедка, кожевник напоил ее и стал ласкать. Она смотрела на него с отвращением и любопытством.

После этого Агарь привыкла бегать к сарбазам в казармы эмира и приносила оттуда мелкие деньги и почтовые марки. Один молодой торговец влюбился в нее, потому что она была красива и нежна, и увез ее. По дороге она обокрала этого торговца и скрылась в Коканде. Здесь, в городе, Агарь по вечерам появлялась на перекрестках или на площади и соблазняла мужчин, выходивших из харчевен.

А потом она стала торговать на базаре разным старьем, лентами, спичками, всякой мелочью, какую только можно было достать по тем временам. Она уплатила сбор базарному старосте всем, чем могла. Он был доволен Агарью и разрешил ей постоянную торговлю. На базаре через базарчи Назар-Коссай познакомился с Агарью. Завхоз воровал в крепости мыло и отдавал его на перепродажу Агари. Оба они неплохо заработали на этом деле. Так же они распродали ворованный керосин. Как раз после дела с керосином, когда они подружились вкрепкую, Назар-Коссай предложил Хамдаму познакомить его с милой молодой женщиной. Хамдам охотно согласился.

Агарь понравилась Хамдаму.

...Когда Хамдам отвернулся от Агари и захотел спать, она опять прижалась к нему влажным телом и шепнула ему на ухо:

— Хочешь, я помогу тебе освободиться из тюрьмы?

Хамдам усмехнулся и спросил:

— Как же это?

— Дай взятку! — сказала она. — Приехала важная комиссия, дела будут пересматривать. Там есть свой человек.

— А сколько надо заплатить!

— Пять баранов.

«Это немного», — решил Хамдам.

— Хоп, хоп! Я подумаю.

— Думать некогда. Когда тебя будут спрашивать: «да» или «нет», ты скажи: «да», и тебя освободят. Все зависит от тебя.

— Что «да»? Что «нет»? Я ничего не понимаю.

Удивленный Хамдам зажег свечу. Он увидел блестящие зубы Агари, хитрые туманные глаза, обведенные синевой, и жадные, большие губы. Она лежала, запрокинув за голову руки с нарумяненными ладонями.

Хамдам спросил ее:

— Кто тебя послал? Завхоз?

— Разве об этом спрашивают? — Агарь засмеялась. — Никто. Птица из Бухары.

— Но кому взятка?

— Мне. Какой ты глупый! Разве должностные лица путаются в такие дела? Я уж передам кому надо. А ты поверь!

Хамдам подозрительно взглянул на маленькую, ярко раскрашенную женщину, на ее серебряные браслеты, на грязную шелковую рубаху и натертую пудрой грудь.

— Ты морочишь меня, — сердито сказал он.

— К чему мне это? Зачем? Я сказала... А ты не забудь про баранов! Дело сделано. Все!

Она опять засмеялась и замахала руками, будто пересыпая деньги из горсти в горсть.

Она еще полежала немного, поглаживая себе ноги, потягиваясь и зевая, точно жалея, что пришла пора расстаться с ночью. Потом быстро вскочила, закуталась в паранджу и спустила на лицо щегольской прозрачный чачван\*. Агарь одевалась как мусульманка. На воле остались ее руки; они путались в складках одежды, будто в чаще куста. Она вышла из жилища Назар-Косса, не проронив ни слова. Тогда Хамдам бросился за ней и закричал:

— Агарь, Агарь!

Она не обернулась. Явился Назар-Коссай, мрачный и, как всегда, молчаливый, и увел арестованного в камеру.

Дело с освобождением Хамдама было задумано Назар-Коссаем чрезвычайно тонко. От секретаря при председателе Особой правительственной комиссии по рассмотрению дел Кариме Иманове Назар-Коссай узнал, что Карим составил список тех арестованных курбаши, которым будет предлагаться свобода, если они покорятся советской власти. В этом списке числился и Хамдам.

У Карима Иманова были свои тайные расчеты, поважнее завхозовских. Ему было не до баранов. Но ловкий секретарь и Назар-Коссай задумали воспользоваться этим списком. При неудаче они ничего не теряли, а при удаче выигрывали. Через подставных лиц они ре-

шили продать арестованным свободу. Агарь была права. В этом деле действительно все зависело от самих арестованных.

А будущих баранов жулики предполагали делить так: три головы — секретарю, а две — Назар-Коссаю. Агарь же получала пай с обоих.

## 2

Утром Хамдама неожиданно вызвали в канцелярию крепости. Хамдам шел под конвоем. На дворе было приятно, веселил душу чудесный весенний день. Хамдам позавидовал людям, которые целый день могут греться под солнцем и в эту минуту подумал, что готов быть даже нищим, больным и голодным, только бы наслаждаться свободой.

Крепостная канцелярия оказалась переполненной военными. Из разговоров этих военных Хамдам узнал, что в Ташкенте закончился съезд Советов и что на нем была утверждена автономия Туркестана.

Военные только и говорили о телеграмме, полученной съездом из далекой Москвы. Говорили о Ленине, о Российской республике, которая сейчас как государство приветствовала автономный Советский Туркестан. И называли эту телеграмму исторической.

Он спросил часовых: «Зачем меня сюда привели?» Те не знали. Он опустил голову и принялся думать о своей судьбе. Но ему трудно было сосредоточиться. Один из военных, в ремнях, с исцарапанной шашкой и с гранатой на поясе, шумел громче остальных. Хамдам вспомнил его.

— Эта автономия не для баев и буржуев, а народу! — кричал Сашка. — Теперь — басмачам крышка!

— Неизвестно, — сказал Жарковский.

— Газету читай! — перебил его Лихолетов.

— Газета — газетой, — равнодушно заметил Жарковский и случайно увидел Хамдама. Он улыбнулся, узнав его. Хамдам тоже улыбнулся ему в ответ. — Знакомый? — сказал он Хамдаму.

— Знакомый, — засмеялся в ответ Хамдам.

— Слышал, что мы говорили?

— Нет.

— Будете вы теперь драться или не будете? Автономия объявлена.

Хамдам из осторожности признался, что сейчас драться незачем. Про себя же он думал иначе...

Сашка торжествовал над Жарковским:

— Вот! Все споришь, умник! Пожалуйста! Теперь конец басмачам. Если уж Хамдам признался — значит, это правильно.

Проговорив это, Сашка пальцем указал на Хамдама, и Хамдам теперь улыбнулся Лихолетову. Жарковский пожал плечами, почесал себе ладони и отошел в сторону.

Из соседней комнаты вышел Синьков, начальник гауптвахты, горбун, щеголь, бывший певчий. Желая стать повыше, он нарочно заказывал к своим сапогам каблукки особого фасона, дамские.

— Кто здесь Хаджи Хамдам? — выкрикнул он, легко перекрывая своим певучим голосом крик и споры, наполнявшие канцелярию.

— Я, — ответил Хамдам и встал.

Синьков обшарил его глазами, покосился на свои сверкающие голенища и локтем толкнул дверь:

— Сюда! — сказал он. — В Особую комиссию.

Хамдам очутился в большой прохладной сводчатой комнате. За столом сидел молодой джадид в европейской одежде, худой, точно мальчик, очень красивый, бледный, длинноволосый, с тяжелым маузером в деревянной кобуре. Он курил папиросу и что-то настойчиво шептал своему соседу. Хамдам в соседе узнал Блинова. Он сразу вспомнил бой у железнодорожной будки, потом поездку в Андархан, вечер в Андархане, похороны Аввакумова и покраснел.

За столом сидели еще несколько русских и узбеков — одни в военной форме, другие в штатском, в русской одежде, третьи в халатах. Видимо, члены комиссии ждали конца этих перешептываний.

«Моя участь решается», — догадался Хамдам и тут же почувствовал, что джадид — за него, а Блинов — против.

Джадид внимательно взглянул в глаза Хамдаму и сказал русскому:

— Я сейчас спрошу его. — И перешел на узбекскую речь. — Хамдам, хочешь служить советской власти?

Хамдам молчал. Все спуталось в голове Хамдама. Тонкие губы джадида хотели помочь ему. Но Хамдам испугался: «Знает ли джадид, с кем он имеет дело?»

— Хочешь? — спросил джадид еще раз.

Хамдам покачал головой. Джадид повторил свой вопрос иначе, как бы наставляя и успокаивая Хамдама.

— Если время не мирится с тобой, Хамдам, — сказал он, — ты помирись с временем!

Хамдам склонил голову. Блинов упомянул Юсупа. Джадид удивленно посмотрел на Блинова и опять что-то зашептал. Хамдам стоял шагах в пяти от стола, не все слова долетали до него, да он и не понимал русской речи, если говорили быстро. В конце концов спорящие на чем-то сошлись, и джадид снова обратился к Хамдаму.

— Мы тебе даем поручение поехать по кишлакам, выкачать огнестрельное оружие, — сказал он. — Я знаю, оно спрятано там у баев и басмачей, и тебе, более чем кому другому, известны эти места. Будешь упрямитесь — погибнешь. Поверишь мне — хорошо будет. Меня зовут Карим Иманов. Я приехал из Ташкента. Ты еще услышишь обо мне.

Хамдам заволновался. Голос джадида был тих, как шелест листьев. Казалось, что он говорит только с Хамдамом.

— Ты друг Иргашу? — снова спросил его джадид.

— Нет, — ответил Хамдам и покраснел.

— Да, да... — пробормотал джадид, как будто что-то вспомнив. — Но разве ты не участвовал вместе с ним в восстании?

— Нет, — отрекся Хамдам и, чтобы подтвердить это, добавил: — Разве вы не знаете, что не я разобрал рельсы на Ташкентской дороге?

О резне, устроенной им в Коканде, он умолчал. Подумав, он сказал:

— Я ведь покинул Иргаша. Я сразу раскусил этого хана.

Джадид улыбнулся и заторопился, как бы желая скорее кончить дело.

— Хорошо, — сказал он. — Советская власть хочет мира со всеми. Поэтому мы говорим тебе: пойдешь к Иргашу и скажи ему, пусть он тоже сдаст оружие! Согласен ты или не согласен? Да или нет? Я тебя спрашиваю в третий раз.

«Неужели об этом говорила еврейка?» — подумал Хамдам. Он был окончательно сбит с толку. «Судьба», — решил он и заявил о своем согласии.

Он почувствовал что-то тяжкое в этом решении, но идти назад, отказываться было уже поздно. «Да, пожалуй, и не стоит отказываться!» — решил он.

Члены комиссии опять пошептались, после чего джадид сказал ему:

— Ну иди! Тебя выпустят.

Хамдам поклонился и вышел. Несмотря на полученную свободу, выходя из комиссии, он не ощутил радости в своем сердце. «Случилось что-то странное, — подумал он. — Но что? Об этом я узнаю позже».

### 3

Через полчаса Блинов вызвал к себе Юсупа и рассказал ему о предстоящей поездке с Хамдамом.

Блинову пришлось повозиться с Юсупом. Юсуп не понимал освобождения Хамдама, и Блинов доказывал ему, что без освобождения коренных, местных людей нельзя сейчас справиться с басмачами. Юсуп соглашался с этим, но все-таки настаивал на своем.

— Зря освободили Хамдама! — сказал он.

— Я тебя понимаю, — говорил Блинов.

Втайне он тоже был согласен с Юсупом, но его так убедили в комиссии, в особенности этот джадид, так напугали особенными свойствами всей местной обстановки, что он поддался на уговоры и сейчас, убеждая Юсупа, как бы вторично убеждал самого себя.

— Ты понимаешь, что никто, как Хамдам, не знает всех ваших людей, — говорил он Юсупу. — А я здесь — вообще пугало в огороде. Надо иметь своих людей. Постепенно мы их привлечем на свою сторону.

— Но ведь в кишлаке Хамдама убили нашего Макарыча, — горячо сказал Юсуп.

— Ну, уж в этом-то Хамдам неповинен! Ведь Хамдам был у нас под замком! Ну и довольно! — сказал Блинов.

Он не любил долго разговаривать. Отпуская Юсупа, он поручил ему приглядывать за Хамдамом.

— Все-таки за ним нужен глаз да глаз! — говорил он. — Понятно? Чуть что — приезжай в Коканд! Понял?

— Понял.

— Макарыч тебя любил. Ну, и я тебя буду любить, Юсуп. Ты смотри, какое ответственное дело я тебе поручаю! Понимаешь ли это?

— Понимаю.

— Да ты только не спорь с Хамдамом! Держись в сторонке, секретно. А то меня оконфузишь. Собьешь всю мою политику. Ясно ли тебе?

— Ясно, начальник, — сказал Юсуп.

Юсупу уже не терпелось сорваться с места, он уже желал ехать как можно скорей. Окончив беседу, он побежал в эскадронную конюшню. Его лошадь заболела, и Юсупу дали замену.

Замена не понравилась ему. Лошадка действительно оказалась неважной. Старый донской конь припадал на передние ноги.

— Не надо мне такую лошадь, — гордо сказал Юсуп. — Я возьму Грошика.

— Грошика? Ишь ты! — засмеялись конюхи. — А это видел? — Они показали Юсупу фигу.

Юсуп закричал на них:

— Вы мошенники! Вы Грошика все время держите в стойле. Погубите Грошика. Отдайте мне Грошика.

Нияз, лучший из конюхов, сказал ему:

— Не кричи зря, Юсуп. Достань записку от Блинова — я выдам тебе жеребца.

Юсуп снова побежал к Блинову. Блинов долго упрямился и слышать ни о чем не хотел, но Юсуп все-таки сумел его убедить. Блинов смягчился.

— Ладно, — сказал он. — Но только на время, предупреждаю тебя. Хозяина у Грошика не будет.

— Конечно, на время. На время, начальник. Лошадь портится! — радостно забормотал Юсуп. — Грошику надо бегать. Бегать надо. Человек стоит — плохо, лошадь стоит — совсем плохо.

Пока Блинов писал записку, Юсуп сомневался и нервничал. Ему казалось, что в последнюю минуту Блинов может передумать. Юсуп терся у стола, вздыхал, потел, а когда увидел, что записка хотя и написана, но Блинов ее все-таки перечитывает, у него упало сердце.



«Нет, не даст, — подумал он, — не даст. Сейчас все скомкает, бросит, и я останусь без Грошика».

Блинов поставил число. Еще раз внимательно посмотрел на бумажку. Юсуп томился. Ему хотелось вырвать из рук Блинова этот клочок бумаги и унести с ним отсюда. Он дрожал от нетерпения. Блинов все делал очень медленно. Понесал ключ. Отпер ящик письменного стола. Достал оттуда печать, подышал на нее. «Вот возмется!» — думал Юсуп.

И когда наконец Блинов протянул ему свою записку, Юсуп почувствовал, что спина, лоб и руки у него мокрые от испарины. Крепко зажав в кулак полученное, ни слова не говоря Блинову, Юсуп опрометью выбежал из кабинета. А в коридоре он даже подпрыгнул, и часовые удивленно посмотрели на него.

#### 4

В полдень Хамдам и Юсуп выехали вместе из Кокандской крепости.

За пазухой Хамдам вез майдат, написанный по-узбекски и по-русски. Ослепительное солнце висело над раскаленной Урдой. Дворец стоял как изваяние. Сейчас Хамдаму было уже не до солнца и не до всего этого великоления; нервничая, Хамдам дал шенкеля. Конь бешено бросился вперед, унося Хамдама из Коканда.

Юсуп, не отставая, следовал за ним на Грошике. Грошик сперва капризничал и не сразу входил в галоп, сопротивлялся, но потом всадник показался ему удобным. Грошик брезгливо фыркнул и покорился.

...Когда всадники прибыли в Андархан, первыми увидели их из-за стен голые мальчишки. Узнав Хамдама, они бросились роем, точно шмели, и разлетелись по всему кишлаку. Через несколько минут кишлак уже знал о необыкновенном возвращении.

Хамдам остановился у чайханы. Не слезая с седла, он принял пиялу, выпил чай одним глотком, отказался от лепешки и кивком приказал Юсупу медленно следовать за ним. Он желал всем показаться в кишлаке. Мужчины выбегали из дворов, за мужчинами теснились женщины, забыв про свои покрывала.

Хамдам ехал не торопясь, посередине улицы, отвечая на приветствия улыбкой. Кривая шашка с серебряной кавказской насечкой, с красным орденом офицерским темляком висела у него на боку. Обрезанный карабин торчал за спиной. Вооружение он получил в Коканде, сам выбирал его в цейхаузе при помощи Назар-Коссая. Рукояткой камчи он постукивал по передней луке седла. Конь прядал ушами, прислушиваясь к звукам.

Кишлачный поп, мулла, толкаясь локтями и отпихивая старух, выбежал навстречу Хамдаму. Но и для него у Хамдама не нашлось больше чести, чем для остальных. Хамдам ответил на приветствие муллы так же небрежно.

Около дома склонились перед ним два верных джигита, Насыров и Сапар. Обе жены, Рази-Биби и Сади-хон, в нарядных одеждах, дожидались его на балахане\*. Он прошел в дом, сопровождаемый Насыровым.

Юсуп передал коней джигиту Сапару.

Сапар (это была их первая встреча с глазу на глаз) одним взглядом окинул Юсупа, прицениваясь к нему. Потом ухмыльнулся и взял поводья от обеих лошадей.

— Ты кто же будешь? — спросил он Юсупа.

— Секретарь, — ответил Юсуп.

— Мирза? Хоп, хоп! — загадочно сказал Сапар.

Сапару Юсуп не понравился. «Голову держит высоко. Чужой!» — решил он. Он боялся, как бы новый молодой джигит не оттер его от Хамдама.

Приняв коней, Сапар расседлал их, поводил по двору, напоил. Над усадьбой взвился желтый густой дым. Женщины уже суетились, приготавливая на дворе пищу.

Насыров вышел, чтобы взглянуть на Юсупа, весело щелкнул языком и отправился к чайхане. Народ толпился и шумел под навесом. Козак Насыров объявил, что завтра в это же время вернется домой сын Хамдама, Абдулла. И не успели еще люди опомниться от этого нового неожиданного известия, как Насыров, смеясь, сообщил другое, не менее поразительное.

— Все видали Хамдама? — спросил Насыров. Потом важно откашлялся в кулак и сказал: — Слушайте. Теперь он — советская власть.

Люди тупо взглянули в лицо джигиту. Мулла рванул грязную красную бородавку. Его фиолетовые щечки вспыхнули, точно уголь, он обругал джигита. Белые

и богатые разошлись недоумевая. Дома богачи плевались, раздраженные этой изменой. Бедняки притаились. Даже в беседе с женой они не рисковали обмолвиться — скажи что-нибудь, а потом жена вынесет это на базар.

В этот же вечер джигит Сапар, когда все люди разошлись со двора, поймал Хамдама на галерейке дома и, боязливо оглянувшись, сказал ему:

— Отец, это я застрелил Аввакумова у мазара.

У Хамдама загорелись глаза. Он рванулся к Сапару, чтобы его обнять, но мгновенно потушил свой порыв, опустил голову, как-то сник, сделал вид, что ничего не слышал. Потом он холодно сказал Сапару:

— Отправь завтра пять баранов в Коканд, к торговке Агари!

Когда Хамдам ушел в дом, джигит почувствовал, что Хамдам покрывает его преступление, и в эту минуту он решил до могилы быть верным своему мудрому и честолюбивому хозяину.

## 5

Хамдам на следующий день собрал своих джигитов. Первым пришел Сапар, за ним еще человек десять. Им было приказано пойти по домам для сбора оружия. Они повиновались Хамдаму так же беспрекословно, как и раньше.

Никто из домохозяев не сопротивлялся.

Козак Насыров с джигитами разрывал дворы и кукурузные участки, выкапывая револьверы, боевые патроны и трехлинейные винтовки. Хамдам не выходил на улицу. Обложенный подушками он сидел на галерейке. Рядом с ним находился Юсуп.

Хамдам диктовал ему письмо в Коканд:

— «Иргаш не желает подчиниться советской власти, он встречает ее с проклятиями...»

Юсуп, недоумевая, прервал письмо и спросил у Хамдама:

— Разве ты говорил с Иргашом?

— Я посылаю к нему доверенных людей. Люди сказали, — ответил Хамдам и недовольным жестом заставил Юсупа продолжать работу. — Ты пиши! — сказал он Юсупу. — Твое дело — писать, мое — говорить.

Юсуп сидел на корточках, спиной упираясь в столбик галерейки, слушая ровный и хриплый голос Хамдама.

— «Сегодня, закончив сбор оружия в Андархане, я отправлюсь в другие города и кишлаки, — важно диктовал Хамдам. — Потом я вернусь обратно».

Дальше Хамдам перечислял по именам всех тех людей, у которых были обнаружены боевые запасы. В этот перечень не вошли имена старых джигитов, верных Хамдаму. Хамдам расписывал реквизицию как военный подвиг и в конце своего длинного послания, призывая милость бога на кокандские власти, просил помнить, что он, Хамдам, всегда готов выполнить любое поручение.

— «Мои руки подчиняются вашей голове, а мою голову я отдаю вам в руки», — сказал он и усмехнулся. — Написано?

— Написано, — ответил Юсуп.

Хамдам вынул из кармана штанов маленький штамп, полученный в Коканде, велел Юсупу слегка помазать его чернилами и, еще подышав на него, поставил свою печать в конце письма. По обычаю, эта печать заменяла его личную подпись.

День уходил. Тени становились с каждым часом длиннее. Около галерейки вырастала гора оружия. Никто из кишлака сегодня не выбрался в поле. Не до того было. Все были взбудоражены. Дехкане, проходя мимо стены, за которой скрывался Хамдам, встревоженно глядели на нее, как будто что-то можно было увидеть сквозь глину.

— Даже баев задел! Все-таки убыток им. Неужели это по своей воле? — говорили они между собой. — Посмотрим, что будет дальше.

Языки развязались. Всюду — женщины во дворах, мужчины на улице — беседовали о Хамдаме. Старики, брызгая слюной, поносили его. В особенности его друг, Дадабай, дошел до неистовства. (Дадабая также выпустили недавно из кокандской тюрьмы; следствие установило полную его непричастность к убийству Аввакумова.)

— Мусульмане! — кричал он. — Хамдам — купленный человек! Напрасно кяфиры верят ему. Хамдам — предатель! Хамдам — сам собака и сын собаки!

Вернувшись из Коканда, он только усмехается. Вы, почтенные люди, вспомните его странные речи! Он говорил, что черное — черное, а белое — белое. Он всегда произносил серые слова. У джаидов выучился этот человек подлому языку.

Бедняки, слушая брань, остерегались спорить с богатым Дадабаем. Дадабай был известен в кишлаке как человек, живущий по правилам бога. Богатство не мешало ему быть правдивым. Уж таков был Дадабай! Вот почему его крики смущали не только богатей.

Когда по приказу Хамдама джигиты стали разгонять с площади народ, Дадабай плюнул в лицо Насырову. После этого, связав Дадабаю руки, джигиты привели его к Хамдаму. Хамдам выругал их, приказал немедленно развязать Дадабая и, вежливо кланяясь, предложил ему почетное место.

— Друг, — ласково сказал он, — я знаю все твои речи. Ты ответь мне только на один вопрос: сколько я получил за измену?

— Я не смотрел, что у тебя за пазухой, — ворчливо ответил Дадабай.

Желтый, тощий и длинный, что жердь, Дадабай смотрел в одну точку, прислушиваясь к голосам во дворе и в доме. Делал это он только затем, чтобы отвлечься и не встретиться взглядом с Хамдамом. Он боялся, что не сдержит себя и даже здесь, в доме Хамдама, поступит с ним так, как только что поступил на площади с Насыровым. Он был пленником своей крови. Когда она начинала биться у него под кожей висков, он забывал всякую осторожность, все приличия старика и мужчины.

— Ты можешь сохранить тайну? — спокойным и тихим голосом спросил Хамдам Дадабая. — Это такая тайна, которая по нашим временам не доверяется ни отцу, ни другу.

С Дадабаем, старинным приятелем, Хамдам захотел было посоветоваться о джаиде Кариме. Захотел взвесить уклончивые и глухие слова джаида. «Только с Дадабаем можно говорить об этом!» — подумал он. Но Дадабай не ответил. И в эту минуту Хамдам, готовый разболтаться, внезапно изменил свое намерение.

— Я за большевиков, русских и джаидов, — твердо заявил он, радуясь тому, что удержался от откровен-

ности. — Потому что народ не хочет ни царя, ни хана, ни фабрикантов. Помнишь Андиган? Что не вышло двадцать лет тому назад, неужели выйдет теперь?

Дадабай пожал плечами. Он размышлял о народе, и ему хотелось сказать, что народ пребывает в раздумье. Но добросовестность остановила его от высказывания. «Кто его знает, что надо дехканам? — подумал он. — Люди, конечно, хотят жить привольно и богато. Народ, конечно, не хочет ни царя, ни купцов, ни басмачей, мешающих покою. Есть ли в мире покой? Тысячи лет в страданиях живет земля. Новые люди обещают счастье. Может быть, оно у них в чалме, как белые голуби в шапках у фокусника. Народ всегда мечтал. Ладно, пусть мечтает! Тем более что эти мечты красивые». Пока он думал обо всем этом, его гнев остыл, и тогда он спросил у Хамдама:

— Я могу идти?

— Иди! — сказал, усмехнувшись, Хамдам. — Разве я задерживаю тебя?

Дадабай встал и пошел к дверям. Хамдам крикнул ему вслед:

— Думай обо мне что угодно! Но пока ты торговал здесь, в Андархане, я страдал в Сибири! Я терпел плен, а ты наживался. Для кого я это сделал: для себя или для народа? — Дадабай молчал. — Ну, говори, — сказал Хамдам.

— Для народа... — ответил Дадабай.

— Тогда не мешай мне! — сказал Хамдам и улыбнулся, подумав, что этот «мудрый Дадабай» глупее ребенка. Тот, кто только отсиживается в осаде, скорее будет побежденным.

Дадабай по дороге к своему дому останавливал встречаемых и сообщал всем, что он ошибся: «Хамдам желает людям добра».

Люди быстро распространили эту весть. Многие смеялись над вспыльчивым и отходчивым Дадабаем. В очагах потух вечерний огонь, в домах утихла ненависть, и на площади смолкли споры. Прохладная ночь обещала приятный отдых...

Хамдам пришел на женскую половину к молодой Садихон и спросил у нее, не спит ли она. В этой же комнате лежала старшая жена, Рази-Биби. Садихон переглянулась с ней.

Хамдам настойчиво повторил свой вопрос.

Тогда Садиixon подкралась к двери и, приоткрыв ее на два пальца, предусмотрительно прошептала Хамдаму:

— Биби тоже здесь.

Хамдам схватил жену за руку и грубо вытащил ее на галерейку. Тут только Хамдам увидал, что на галерейке спят два джигита — Сапар и Алимат. Он не пожелал прогнать их и повел Садиixon по двору. Ночь была яркая и тихая.

Когда они проходили в сад мимо конюшни, Юсуп вскочил. Он спал возле Грошика и распахнул дверь, но сейчас же захлопнул ее. Он увидел полуобнаженную Садиixon, в узких пестрых ситцевых шароварах, стянутых на лодыжках тесемкой. Юсуп бросился в сено.

## 6

Зайченко сидел в тюрьме уже почти четыре месяца. Он свыкся с тюрьмой и думал, что недалек тот день, когда кончатся все его приключения. Он был уверен, что к осени его выпустят. Так говорили ему арестанты, надзиратели; так пообещал ему даже один из следователей. Следствие уже не сомневалось в том, что безобидный, глупый нищий действительно то лицо, за которое он себя выдает.

Вдруг все переменялось. Журналист кокандской газеты, описывая ликвидацию Кокандской автономии, упоминал в своей статье об одноруком коменданте Зайченко. Эта статья, случайно прочитанная следователем, возбудила в нем подозрения. Следователь вызвал Ивана Толстикова и заявил ему:

— Дело кончено. Вы — комендант Кокандской крепости Зайченко. С сего числа, как военнослужащий, вы переводитесь из гражданской тюрьмы в Ташкентскую крепость. Подлежите содержанию там на гауптвахте. Ясно? Признаете ли вы себя бывшим комендантом Зайченко или требуете опознания?

— Признаю, — ответил Зайченко.

Он понял, что скрываться уже незачем: при очной ставке с любым из военных Коканда он будет раскрыт.

Его перевели в крепость. Здесь начались чудеса. На пятый день его пребывания на гауптвахте, однажды вечером, к нему в камеру зашел надзиратель, рябой веселый человечек, и сказал ему нехотя, как будто между прочим:

— Приготовьтесь! Завтра вечером я выведу вас из крепости.

Из-под шинели он вытащил старую гимнастерку, солдатский пояс и фуражку.

— Спрячьте барахлишко! — сказал он, кинув одежду на койку. — Пойдете в этом!

Надзиратель ушел. Зайченко недоумевал. «Кому я нужен? Кто мне помогает? — думал он. — Во всяком случае, терять мне нечего. А тут спасусь. А не спасусь — все равно, семь бед — один ответ».

Он спокойно ожидал следующего вечера, переоделся. Все случилось как по-писаному.

Надзиратель вывел его из крепостных ворот, предъявив караулу пропуск. В первом же переулке к ним подошли какие-то неизвестные люди, надзиратель скрылся. Под конвоем этих неизвестных Зайченко добрался до старой части Ташкента. Здесь в лабиринте маленьких улочек и тупичков, среди пестрой и шумной толпы, он сразу понял, что спасся.

Устроив Зайченко на ночевку в доме одного бая, неизвестные ушли. Перед уходом они сказали Зайченко:

— Господин поручик! Завтра мы заберем вас отсюда. Здесь можете не волноваться. Спите как у себя дома!

Действительно, на другой день, в это же время, в убежище опять явились эти два человека. Они сообщили Зайченко, что он приглашается на заседание тайной организации. Им поручено, сказали они, провести его туда. Они выбрили Зайченко, одели в новенький штатский костюм и отправились в путь.

Пришлось идти мимо гауптвахты, в русскую часть города. Возле одного из особняков, неподалеку от бывшего губернаторского дома, спутник Зайченко протяжно свистнул. Ему ответили. Он просвистел еще четыре раза, ночной сторож открыл калитку. Они вошли в густой, темный сад. В красивом доме, стоявшем в глубине сада, виднелся свет в одном из окон. Один из сопровождающих исчез. Вернувшись, он радостно сообщил: «Все в сборе, идем скорей! Уже начали!»

Уютный кожаный кабинет освещался лампой под большим синим абажуром. В креслах сидели штатские люди. Зайченко их видел впервые. Между книжных шкафов на стенах висели ковры. От длинного письменного стола, пустынного точно бильярд, навстречу Зайченко поднялся старый военный в летней форме, без погон, со значком генерального штаба на гимнастерке.

— Честь имею представиться, — сказал Зайченко, выйдя на середину комнаты.

Генерал Кудашевич обнял его и усадил на диван.

— Будем знакомы, будем знакомы! — быстро заговорил он. — Мы о вас, поручик, много наслышаны. Много, много! Натерпелись мы из-за вас страха. Искали вас всюду. Надо было бы вам раньше объявиться.

Зайченко вскочил:

— Не знал. Очень благодарен. Очевидно, при вашем посредничестве мне удалось бежать с советской гауптвахты?

— При нашем, при нашем. Но сейчас, голубчик, не до этого. Сейчас начались серьезные дела. Вы слушайте, а потом поговорим о конкретном. Мы только начали, так что... Ну, будьте любезны, Павел Семенович!

Генерал, приятно улыбаясь, нагнулся к одному из штатских, будто обливая его елеем.

— Что же-с... Прошу вас покорнейше! — прошептал он.

Павел Семенович Назиев, пожилой, плотный и высокий господин, одетый в коричневый френч и такие же бриджи, кашлянул, шевельнулся в кресле, солидно высморкался. Когда он двигался, желтые щегольские краги на его толстых ногах невыносимо скрипели. Это, очевидно, раздражало его соседа, аккуратного седого старика, тщательно одетого и еще более тщательно выбритого. Старик морщился и с неудовольствием взглядывал на Павла Семеновича.

— Перед нами, господа, очень трудная, я бы сказал — ответственная задача... — произнес Павел Семенович, сдерживая свой басок. — Мы рискуем лишиться такого сильного и щедрого друга, как представитель Антанты.

— Образованный народ! Просвещенные мореплаватели! — вдруг неожиданно для всех сочувственным голосом процитировал генерал.

Зайченко громко, на всю комнату, расхохотался.

Все присутствующие разом посморгели на него. Зайченко понял, что его хохот неуместен, и тут же подумал: «А цитата уместна? Неужели они ничего не заметили? Идиоты!»

Павел Семенович продолжал, как будто не слышав реплики:

— Антанта — наш верный друг, который всегда исполняет свои обещания.

— Совершенно верно, абсолютно верно, — сказал генерал Кудашевич, склонив голову и как бы прислушиваясь к тому, что делается за окном.

Шумный дождь обрушился на Ташкент. Все оживило за стенами. С крыш катились потоки воды. Ливень звенел в густой и плотной листве сада.

— Меньшевики и эсеры, — авторитетно заявил Павел Семенович, — это неудачники русской революции.

Элегантный старик, услышав эту фразу, брезгливо открыл рот, желая что-то возразить, но благожелательный генерал, играя глазами, умоляюще сложил руки и шепнул ему, как влюбленный:

— Господин Баррер! Потом, потом!

Старик откинулся на мягкую кожаную спинку кресла и устался в потолок, расписанный пестрыми узорами.

Павел Семенович горячо повторил:

— Да, неудачники, или шулера, или растяпы! Прошу извинить мне откровенность! Без всяких колебаний я применяю к ним эти слова. Я не говорю, конечно, об отдельных лицах. Среди последних можно нередко встретить людей уважаемых. Например, господин Баррер.

Генерал опять заулыбался и весело закачал головой. На лице Баррера осталась прежняя маска. Он ничем не выразил своего отношения к высказанному по его адресу комплименту.

— Словом, подведу итоги. Все восстания они начинали бумом, — сказал Павел Семенович, вставая. — И с позором провалили. Так было в Закаспии. Так было в Коканде...

— Нет, уж позвольте! — закричал Баррер, вдруг вскакивая, даже с неприличной для его солидного вида вспыльчивостью. — В Коканде распоряжались не мы, а разбогатевшие татары и евреи. В этом я согласен с улемистами.

— Махровое определение! — брезгливо выпятив губы, сказал Павел Семенович. — Зачем же вы служили им?

— Я не служил.

— Не вы, так ваши соратники в краевом органе Мустафы. Вы же изображали там народ? Факт, правда? — обратившись к собранию, спросил Павел Семенович.

— Факт, факт! — с обычной торопливостью закивал генерал, и вместе с ним закивали все остальные участники собрания, кроме Зайченко.

— Играя комедию, вы спасовали в решительный момент. Тем самым вы причинили только зло белому движению, — сказал Павел Семенович. — Ваша идеология — бред. Ваши боевые элементы — это миф, это просто сброд, молодежь, сопляки. Сочувствующие при пробной проверке — просто скопище трусов. Оружие и деньги расходуются глупо, случайно и бездарно. Нет ничего удивительного, что наши покровители сейчас отказывают нам в средствах. Надо найти силы, крепкие, реальные, а не мифические. И под это мы получим деньги. Получим! Уверю вас. Где же искать эти силы? Где и как?

Павел Семенович подошел к письменному столу (будто все эти силы были спрятаны тут в ящиках), сделал паузу и приготовился, как фокусник, к самому боевому месту своей программы. Генерал Кудашевич, подмигнув ему, указал на графин с водой и предложил стакан. Павел Семенович отказался.

— Мы судили, рядили и наконец нашли выход, — торжественно объявил он. — В Фергане водятся шайки басмачей. Надо развить это движение, оформить организацию, привлечь их на свою сторону, применив в качестве ударных групп. Вот это действительно народ! Глупо не использовать то, что само дается в руки. Но как же это сделать? Мусульманская партия улема считает их своими. Мы договорились с разными заинтересованными сторонами. И с улемой. И, в частности, с той миссией, которая прибыла сюда из Европы и олицетворяет сейчас экономические интересы стран соглашения... То есть — Антанты. Мы отправили послов, богатых баев, в Фергану к басмачам, мы послали щедрые подарки главарям. Вот где кадры! Там, в Фергане! Там

резервуар всех сил для повстанческого движения. Все содержание этих отрядов организация берет на себя. Там мы завербуем добровольцев из мусульманских джигитов. Туда мы бросим русскую молодежь из Ташкента и других городов. Оттуда мы покажем большевикам! И как еще покажем! И мы еще покажем, как надо драться за власть!

Он потряс в воздухе кулаком так, что запонки забренчали на его мягкой манжетке, и Зайченко услышал наконец его голос, сильный, глубокий бас. Павел Семенович побагровел, вздулись толстые жилы на висках. Попросив пить, он выпил залпом целый стакан воды.

Все молчали. Слова Назиева и его убежденность действовали на собравшихся. Но Зайченко стало скучно. Он не верил ни голосу, ни внушительной, сытой фигуре, ни темпераменту, ни громким словам. Он знал, что в жизни существуют иные люди, иные убеждения, он долго жил среди простых людей, среди солдат... Большинство из них не отличалось ни ораторскими приемами, ни многословием, но их краткие речи, даже их молчаливость казались сейчас Зайченко убедительнее адвоката треска.

Прервав свои размышления, Зайченко подошел к окну. Шум за окном еще продолжался. Дождь налетал порывами, бил в стекла, как тяжелая морская волна. Вдруг сад, на секунду озарившись ярким голубым пламенем, снова погрузился в тьму, и страшный грохот, раздавшийся в саду, заставил некоторых вскочить.

— Господи, какая гроза! — забормотал генерал и, перекрестив себе грудь, побежал в соседние комнаты. Оттуда, из глубины большой квартиры, слышался его хлопотливый прокуренный голос. — Маша! Петя! — кричал он. — Закрывайте окна! Закрывайте форточки! Гроза!

Назиев улыбнулся и сказал:

— Наш генерал боится молнии.

Через кабинет пролетел рослый встрепанный кадет в коломанковой форменной куртке, но без погон, и в форменных брюках с красным кантом. Баррер, рассматривая свои тонкие пальцы, поглаживая их, занимаясь ими, делал вид, что ему все известно и он сидит здесь только из приличия.

Наведя в квартире порядок, хозяин вернулся. Маленькое лицо генерала, и борода, и китель были забрызганы дождем.

— Чудеснейший воздух, чудеснейший! — лепетал он. — Ну что же, господа? Басмачи так басмачи. Басмачи — это не проблема. Я согласен с Павлом Семеновичем. И если миссия так смотрит, следовательно и мы... И мы, конечно... И мы...

— А план готов? — спросил Зайченко.

Генерал взглянул на него с укором и даже испуганно. Но Павел Семенович принял этот вопрос не только милостиво, а даже поощрительно.

— Я рад, господин поручик. Я услышал в вашем вопросе не только вопрос, но и сомнение. Это очень хорошо, — сказал он с оттяжкой в голосе. — Реальный учет, а не романтика! Трезвые поступки, а не молодечество! Скепсис, а не энтузиазм! Вот что надо! К сожалению, в наших рядах есть много службистов. От них мало проку.

— Совершенно верно. Мало проку, мало проку, — горячо подхватил генерал Кудашевич. — У меня правило, — тоном опытного героя заявил он. — Этого правила я держусь всю жизнь. Начинай крупное дело только тогда, когда действуешь наверняка. Прошу покорно простить меня! Я вас прервал. Я действую наверняка. Вот мой девиз, который я могу выгравировать у себя на щите.

И генерал, постучав папирой по серебряному портсигару, гордо взглянул на Павла Семеновича.

— Организация, — говорил Назиев, — приобретает конский состав, снаряжение, снабдит отряд оружием, огнестрельными припасами и другими средствами борьбы. Будет довольствовать отряд. Суточный оклад джигита с лошадыю мы определили пятнадцатью рублями. Курбаши — содержание особое, как командному составу. Численность отряда зависит от количества оружия. Примерно намечаем двадцать пять тысяч человек.

Баррер щурился. Происходило это от близорукости, он не любил очков и не носил их. Но посторонний человек мог решить, что Баррер сердится.

— А представители Антанты или миссия в Ташкенте изволят знать подробности этого плана? — спросил он Назиева, не обращаясь непосредственно к нему, а говоря куда-то вбок, в сторону.

В построении этой фразы и в самом тоне, которым она была произнесена, все почувствовали ту же самую подчеркнутую изысканность, которой отличался во всем господин Баррер. Фраза эта удивительно подходила к стилю господина Баррера, даже к его костюму, к тщательно выглаженным брючкам, к темно-синему пиджачку, к тоненькой золотой цепочке от часов, продетой сквозь петлицу, к узеньким тонким полуботинкам, доведенным до зеркального блеска. Во всей этой элегантности было что-то миниатюрное, поношенное, потертое. Старые вещи Баррер носил будто новые. Этого никто не замечал до тех пор, пока Баррер держался в тени.

Назиев обжег Баррера взглядом и язвительно ответил:

— Я думаю, изволят знать. Не беспокойтесь!

— И в отношении денег, и количества отрядов, и оружия, и прочая, и прочая при новой комбинации вооруженных сил? — важно продолжал Баррер, не замечая иронии Назиева.

— Во всех отношениях! — почти торжествуя, перебил его Назиев.

Этот обмен репликами напоминал схватку в царском суде между прокурором и адвокатом. Назиев опять почувствовал себя молодым помощником присяжного поверенного. Он был когда-то цивилистом<sup>1</sup>, впоследствии стал директором банка, потом промышленником и финансистом, но до сих пор вспоминал не без приятности юные годы, первую практику, горячую полемику и словесные бои. Он умел вносить в гражданские судебные дела пыл, страсть и темперамент. Чувство, подкрепленное неопровержимыми документами, фактами и цифрами, считалось главным козырем его успеха. Про него знали, что этот человек не ораторствует впустую. Он никогда не проигрывал дела. С такой репутацией его ввели в деловые сферы. Он и там сумел показать свои таланты.

Революция застала его уже миллионером. Он полагал, что это только начало. Он ощущал себя как певец, имеющий все данные для того, чтобы покорить своим голосом концертный зал, и вдруг вместо успеха свистки. Он стиснул зубы и решил перекрыть свистящих.

<sup>1</sup> Ц и в и л и с т — юрист, специалист по гражданским делам.

Гримаса портила его широкое и мягкое лицо. Она появлялась на нем только тогда, когда он молчал.

— А где базы снабжения? — прямой вопрос исходил теперь от Зайченко.

Но генерал Кудашевич встретил его снисходительно и даже подтвердил кивком. Назиев ласково усмехнулся, ему понравился колючий поручик. Он слегка пошлепал широкими, мясистыми руками.

— Bravo! Дельно! — сказал он. — Вы правы. Базы — это все! Слушайте: из Читрал-Гильгита через перевал Мустаг и Кашгар, оттуда через Иркештем и Ош, из Пешавера через Хайберский проход, далее через Афганистан и Бухару будет транспортироваться оружие, все будет отпущено по мере надобности в достаточном количестве.

Зайченко иронически спросил:

— Особенно, если мы пробьем сквозной путь на Мешхед и Афганистан?

— Вы догадливы.

— Знаете что, — Зайченко понял, что он увлекся, но уже не мог остановиться, — к двадцати пяти тысячам винтовок надо прибавить минимум сорок пулеметов и шестнадцать горных орудий. Тогда интересно работать. Тогда мы сделаем дело, — сказал он.

— Хорошо, — коротко заметил Назиев.

— А деньги?

— Из-за рубежа, из Кашгара, товарищ Зайченко, — в шутку назвав его «товарищем», сказал Назиев. — Сто миллионов! Вас это удовлетворяет?

Зайченко похолодел: «Из Кашгара?.. От кого же? Да ведь там британский консул... Значит, через него? Или через кого-нибудь другого? Там до черта этих разведчиков...» — подумал он.

Кадет внес чай на огромном черном жестяном подносе, расписанном розанами.

«Собственно... ради чего я выскочил? — подумал Зайченко, взяв с подноса стакан. — Толстый господин задел меня. Ну ладно».

Генерал Кудашевич развертывал на столе огромную карту. Несколько штатских обступили его. Они обменивались между собой замечаниями, переговаривались. Из этих разговоров Зайченко понял, что присутствующие

здесь составляют штаб организации, что все это военные, переодетые в штатское платье.

— Кто сегодня дежурный генерал? — визгливо, поначальнически, крикнул Кудашевич.

— Полковник Брянцев, — сразу ответило несколько голосов.

Никто не улыбнулся, никто из присутствующих даже не заметил этой случайной словесной игры, когда вместо «дежурного генерала» вскочил маленький длинноносый полковник в дымчатых очках, в парусиновой толстовке, кудрявый и мешковатый, похожий более на провизора провинциальной аптеки, чем на военного. На него и накиннулся Кудашевич.

— Материалы? Материалы, Иван Андронич? Материалы? — с раздражением повторял он.

Брянцев пошевелил губами.

— Все нанесено на карту, ваше превосходительство. Материалов особых нет. Здесь красными стрелками нанесены линии наших фронтов. Если разрешите, я могу дополнить, — виновато предложил он.

— Зачем же? Разве я не знаю... — сказал генерал, сконфузившись. Потом деликатно высморкался и начал свой оперативный доклад.

По его плану первым должен был начать действия Дутов, — нажим на Актюбинск. Вслед за этим — ашхабадские отряды. Когда туркестанское советское командование на этих двух фронтах израсходует свои резервы, по предложению генерала должна была восстать Фергана, и ее повстанцы должны были двинуться в двух направлениях, а главное ядро — ударить на Ташкент.

— А в это время, — восторженно сказал генерал, подымая руку, — Джунaid-хан подойдет к Чарджую. Ему помогут отряды из Аулиеатанского уезда, делающие налет на узловую станцию Арысь. Бухара займет войсками эмира участок Среднеазиатской железной дороги между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей. Таким образом, две группы туркестанской Красной Армии окажутся в тылу, отрезанными от центра.

— Ерунда! — тихо шепнул Назиеву сидевший рядом с ним Зайченко. — Классический генеральский план! Эрсте колонне маршirt, цвейте колонне маршirt.

Они отошли в глубь комнаты.



— Громадные расстояния. Как держать связь? Надо собрать все наши силы в один кулак и бить противника кусками, — говорил Зайченко. — Наполеон не мог одновременно драться и с Италией, и с Египтом, и с Англией, и с Пруссией, и с Россией. Карта — не жизнь. Старая история! Маневр — вот что побеждает. — Зайченко горячился.

— Погодите, молодой человек! Пусть они только сдвинутся с места, а там мы займемся делом, — благожелательно успокаивал его Назиев. — Союзники — консервативный народ. Они верят генералу Кудашевичу, а вам могут не поверить. Понятно? Имейте терпение — и вы смените этого генерала. Все придет в свое время. Наполеон начал Тулоном...

— А кончил Святой Еленой, — сказал Зайченко.

Назиев подумал: «Способный, но, кажется, неприятный офицер!»

План одобрили.

Баррет, прощаясь с Назиевым, сухо протянул ему руку.

— Надо быть менее пристрастным к людям, доблестно павшим, — обиженно сказал он, намекая на своего брата, расстрелянного еще в семнадцатом году после неудачного антисоветского восстания. Первый Баррет был похож на второго — тоже царский чиновник, контрреволюционер, барин, спутавшийся с эсерами и с какой-то разведкой.

Назиев вытянул рот в трубочку.

— Ваш брат — достойный человек, — сказал он не то в шутку, не то всерьез. — О нем я молчу.

Все начали расходиться поодиночке и по двое. Зайченко увидел, что с конспиративной точки зрения этот антибольшевистский штаб организован великолепно.

## 7

Кабинет опустел. Зайченко предложили остаться ночевать. Ротмистр Цагарели, один из спутников, сопровождавших сюда Зайченко, провел его во флигель. Там для обоих были приготовлены постели.

— Вам опасно ходить: влипнете как миленький! Вас отсутствие руки выдает. Почему протез не носите? — спросил он Зайченко.

— Не спасет ведь все равно, — ответил Зайченко.

Ротмистр скинул тонкие красивые сапоги и не раздеваясь бросился на тахту.

— Мне скоро вставать, — объяснил он Зайченко. — Через час отдам концы — и тю-тю! Поминной как звали!

— Куда же? — спросил Зайченко.

— Обещали к Дутову. Я-то, собственно, намереваюсь к Колчаку. Я ведь, между нами говоря, моряк. Мичман. А здесь превратился в ротмистра. Повар за кухарку. Или кухарка за повара.

Молодой человек расхохотался и, потянувшись всем телом, беззаботно чертыхнулся.

— А в общем наплевать! Вас-то не выпустят, вас замаринуют здесь, как пить дать, в этой Узбекии. Ой, боже мой, если бы вы знали, как мне надоели все эти меки да узбеки! Желтомордые! В Россию хочется. До смерти!

— Вы же грузин?

— Липовый. — Он опять расхохотался. — Во всех смыслах повар за кухарку или кухарка за повара. Кто-то, когда-то, где-то, при батюшке-царе или при матушке-царице, был грузином. Мы — выходцы чуть ли еще не с времен Елизаветы, а может быть, с Петра. Ярлык остался, товар не тот. В общем и целом, как говорят товарищи, не жизнь, а жестянка.

— Скажите, Цагарели, иностранная миссия действительно существует в Ташкенте легально?

— Вполне. С разрешения Туркестанского совнаркома. Легально... и парадоксально. — Цагарели зевнул. — Ну, спать, поручик! На бочок! В дрейф! Под покровительство Николе!

Через минуту он уже храпел, но спал не крепко и вздрагивал во сне.

Под окном цвел душистый табак, на скамейке лежали огромные желтые летние дыни. Было душно от приторного аромата этих дынь.

«Пахнет Азией», — думал Зайченко, засыпая.

И показалось ему, что сна почти не было. В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Зайченко.

Кадет вошел в комнату и покраснел, увидав Зайченко голым.

— Какой час? — спросил Зайченко, накинув на себя одеяло, и покосился на соседнюю койку. Она была пуста, Цагарели уже ушел.

— Шесть десять, господин поручик. Генерал вас ждет, — ответил кадет, не глядя на почлежника.

— Раненько встает ваш папаша! — сказал Зайченко.

— Как Суворов, — фыркнул кадет.

«Да ты не в отца, а в проезжего молодца», — подумал Зайченко.

— Что ж, вы тоже участвуете в белом движении? — спросил он у кадета.

— Пока не участвую, — ответил кадет.

— Почему же?

— Я заменяю у нас в доме лакея. Разве вы не заметили?

Зайченко посмотрел на вздернутые густые, точно нарисованные, брови мальчишки. «Умненькая морда...» Мальчишка сперва понравился Зайченко, но когда на лице мальчишки появилась улыбка, оно вдруг стало выглядеть порочным и неприятным.

Через десять минут Зайченко стоял навтыжку в кабинете.

— Прошу покорно, прошу! — лепетал аккуратный и вымытый генерал, кивнув поручику на кресло. — Прошу садиться! Не завтракали? А я уже заправил брюхо православной кашей. Гречка наша, родимая. В горшке, порусски. Не желаете? Идемте в столовую! Не стесняйтесь! Я хлебосол.

— Благодарю вас! Я не ем с утра, — сказал Зайченко.

— Напрасно, молодой человек! Но вы молодец, молодец! — выпалил генерал. — Слышал вчера «речь не мальчишка, а мужа». Произвели впечатление, поручик. Произвели. Кха-кха... — Генерал откашлялся, вытащил из письменного стола желтую склянку, плюнул в нее, долго и сосредоточенно разглядывал свою мокроту. Потом, покачив головой, печально сказал: — Чахотка.

— Что вы, ваше превосходительство. Такой свежий вид...

— Свежий? — Генерал обиделся. — Свежий, говорите? А врачи думают иначе. Правда, палочек еще нет. Но... Нет-с, не то здоровье! Я, бывало, неделями с лошади не слезал, на тигров охотился. А теперь прикован

к столу. Вот наша жизнь! Игра! Чувствую, сдал! Если бы не это, разве я бы остался здесь? Туда, в бой, в самую горячку... Я ведь холерик по природе. Если я разгорячусь, меня не удержать, я и опасности не чувствую. Расшатал свое здоровье...

— Очевидно, в германскую войну?

— Именно. Боже мой, сколько сил и сколько нервов было ухлопано на нее! Да, мы не береглись.

— На каком фронте вы были, господин генерал?

— На всех... На всех...

— На всех?

— Так точно, господин поручик, на всех. Практически — отчасти, теоретически — везде. В поезде ее величества я объехал все фронты. Ужасно, ужасно! А на каком фронте вы изволили потерять вашу левую руку?

— Я... ее не терял, — сухо ответил Зайченко. — Мне ее потеряли...

— А... Ну да! Ну да! — смутился генерал.

— Под Двинском.

— Ах, вот как! — заулыбался генерал. — Под Двинском были чудесные бои... Так, чудесно! Вас, как боевика, мы назначаем в одну из главных точек, боевых. Вы бывали в Фергане?

— Практически — отчасти, теоретически — везде.

— Чудесно, вполне чудесно. — Генерал не заметил дерзости. — Вы знаете состояние тамошних частей? Впрочем, это не суть важно. Мы о них имеем более верные сведения, чем советская власть. Наши люди везде. Наши люди, повторяю, дают нам более верные сведения, чем большевикам.

«К делу!» — хотел крикнуть Зайченко, уже изнемогая от болтовни.

— Вы едете к Иргаш-беку...

— К Иргашу? К кокандскому Иргашу? — спросил Зайченко.

— Кажется, к кокандскому, — сказал генерал. — Да, да, к кокандскому.

— Позвольте! — Зайченко прервал генерала. — Но ведь у Иргаша есть Чанышев? Насколько мне известно, полковник удрал вместе с Иргашом. Зачем же я Иргашу?

— Махдий, Махдий... — завздыхал генерал. — Его уже нет!

— Как нет?

— Погиб. Погодите! — Генерал засуетился. — У меня здесь где-то было сообщение из Скобелева. Там совершенно точно все описано. Вам надо будет прочитать. Вы должны быть обо всем осведомлены.

Генерал принялся шарить среди бумаг, ничего не нашел, потом хлопнул себя по лбу и, подойдя к стене, вынул из потайного ящичка письмо, которое он передал Зайченко.

Информатор, по всей вероятности человек близкий Чанышеву, писал обо всем действительно подробно.

Зайченко начал читать письмо.

«...Иргаш, прибыв вместе с всадниками в Скобелев, был торжественно встречен русскими и местными купцами, — сообщал неизвестный корреспондент. — Полковник Чанышев тоже праздновал на этом банкете. Банкет был, конечно, с пловом... Чанышев подымал бокал водки за здоровье Иргаша. По правде говоря, мой полковник, в грязном военном сюртуке, небритый, мятый, не внушал доверия; мне было жалко его. Иргаш улыбался и милостиво хлопал Махдия по плечу. Это было в достаточной степени противно. Махдий терпеливо выносил все милости бандита. Иногда, в какую-то секунду, я замечал, что у него наступало протрезвление. Чанышев глушил себя новой порцией водки. Никогда в жизни он не пьянствовал так безобразно... Багровый, встречанный, он выкрикивал какие-то речи и хотел распоряжаться, но его мало кто слушал. В самый разгар пира скобелевский красный отряд вернулся из Коканда. Высадившись из вагонов, он шел с вокзала двумя группами — в полном боевом порядке. Узнав об этом, Чанышев выскочил из-за стола, собрал всадников и крикнул Иргашу: «Ты... сиди спокойно! Ты меня не забыл в кокандской тюрьме. Ты меня взял с собой. Теперь я не забуду тебя». Махдий устроил засаду на Московской улице. Кизил-кийские рабочие с мельницы Юрова, скобелевские железнодорожники и солдаты, вернувшиеся с фронта были неожиданно обстреляны из окон пекарни. Мне кажется, что после первого же выстрела Чанышев понял, что эта глупость — последняя в его жизни. Буквально за час до этого, на встрече, он мне сказал такую фразу: «Был ли у меня ум? Был. Способность, счастье, удача? Все было. Почему же я так бездарно и глупо

прожил? В чем дело?» Красногвардейцы не растерялись. Потеряв несколько раненых и убитых, они окружили пекарню. Чанышев был арестован и отведен в Скобелевскую крепость. Ревком, засевший там, надеялся получить от Чанышева ряд сведений об участии англичан в Кокандской автономии. Чанышев, ожидая допроса, буйствовал как сумасшедший. Часовой, очевидно разгоряченный боем, не выдержал и пристрелил его... Иргаш успел скрыться».

Зайченко молча вернул письмо генералу.

— Бедный Махдий! — сказал генерал.

Зайченко ничего не ответил. Нарочно переведя разговор на другую тему, он спросил:

— Будет ли у меня в поездке проводник и надежен ли он?

— Вполне, вполне! — бодрым голосом прокричал генерал.

Ему показалось, что письмо неприятно подействовало на Зайченко. «Необходимо успокоить его», — подумал он и сказал:

— Вы, поручик, будете снабжены всем. Великолепно! Это не то, что раньше. Мы сейчас бережем каждого человека. Будьте спокойны!

— Благодарю вас! Я не нуждаюсь в валерьянке, — ответил Зайченко.

— Вас дожидается Усман. Две лошади, два комплекта одежды, европейской и сартской. Вы поедете в направлении на Чирчик и в двадцати пяти верстах отсюда встретитесь с полковником Корниловым. Брат Лавра Георгиевича... покойного! Господи, прими его душу!

Генерал встал и перекрестился.

— Полковник Корнилов вас ориентирует. Ну, обнимаю вас! — сказал он. — Вы назначаетесь начальником штаба по руководству движением в Фергане. Здорово шагаете, поручик! Благослови вас бог!

Генерал перекрестил Зайченко. Поймав улыбку на его лице, он спросил:

— Да вы верите ли в бога?

— Едва ли, — ответил, улыбаясь, Зайченко.

— Как едва ли?

Генерал отступил. Искренний ужас отразился в его глазах. Вдруг он стал заикаться.

— Ка-ак же? Ка-а-ак же вы идете на святое дело без веры? Без веры?

— Иду в возмещение произведенных на меня расходов, — холодно ответил Зайченко.

— Вы материалист?

— Реалист. Кончил реальное училище.

Генерал всплеснул руками.

— Не понимаю вас, — пробормотал он. — Ну, пусть бог простит вас!

— Он простит, — сказал Зайченко, ухмыляясь.

— Вы будете служить, поручик, для Туркестанской демократической республики.

— Под чьим протекторатом?

Генерал взволновался:

— Сегодня — протекторат, а завтра — мы их надует. Я тоже республиканец. Но я смотрю вперед. Я смотрю...

Зайченко взглянул в окно:

— Пора ехать, генерал!

Генерал продолжал свое:

— А в крайнем случае... Слыхали Назиева? Он любой цивилизованной державы предпочитает игу плебса. Кроме того: нас с вами не обидят.

— Светает, генерал.

— А-а... Ну, еще... Хотя звезды уже исчезли... А днем вы не можете ехать? Нет? Ах да, я забыл! Вот память, вот память, — забормотал генерал. — Тогда отправляйтесь спать!

— Но зачем же вы меня будили, приказывали?

— Папа, Усман торопит, — сказал кадет, неожиданно появившись у дверей кабинета. — Усман уже у нас, на дворе.

Зайченко решил прекратить эту глупую генеральскую суматоху; он щелкнул каблуками и откланялся:

— Господин генерал, я все-таки рискну. Я еду. — И, повернувшись через левое плечо, он строевым шагом вышел из кабинета.

Кадет посторонился, уступая дорогу кругленькому длинноволосому несуразному человеку в мятых суконных брюках, в кургузой куртке и в летнем картузе.

На дворе, переминаясь с ноги на ногу, стояли два отличных верховых заседанных коня. В курджунах, прикрепленных к седлу, лежали вещи, оружие, патроны, продукты, документы, одеколон и даже ногтечистки.

Усман производил впечатление верного, надежного и лихого кавалериста.

— На царской службе был? — спросил Зайченко Усмана.

— Был. У генерала Крымова.

— В дикой дивизии?

— В дикой, — засмеялся Усман и щегольски поправил усы. — Дикий башка!

— Молодец! Подавай лошадей!

Усман понравился ему. Четкие ответы, субординация — все это были те мелочи, по которым он соскучился. «Я и не знал, — невольно подумал про себя Зайченко, — что я такой закоренелый офицер». Это даже рассмешило его. Он вскочил в седло, поправил у лошади мунштук и лихо приказал:

— Ну, марш, Усман!

Проводник свистнул плеткой. Лошади заскакали мимо круглых карагачей. Утренняя роса еще блестела. От цветов и от травы шел легкий пар.

## 8

Грачи, скворцы и жаворонки неслись над полями, ныряли за пищей в пышные, как губка, шапки чинар и орехов. Ветер качал тяжелеющие темно-зеленые кисти пшеницы. Дни стали душными. Среди разграбленных и обгорелых зданий снова появились люди. Начиналась жизнь.

С каждым днем Юсуп замечал перемены в Хамдаме. Этот человек работал рьяно и добросовестно, как будто стремясь загладить все преступления, тянувшиеся за его душой. Большого нельзя было от него требовать. Он почти не слезал с коня, объезжая окрестные кишлаки.

Джигиты валились с ног от усталости, не утомляясь только Хамдам. Его заваливали поручениями. Он выполнял их немедленно. Оружие свозилось в Коканд. Имя Хамдама становилось известным не только в Андархане или в Беш-Арыке. Слава летела по его следу от Махрамы до Патара, через Какыр, Ялка-Герек, Киалы и Тюрк. Как пыль, распространялась она по сыпучим пескам, достигая Ходжента. Даже самые хитрые люди не могли разгадать: чего же, собственно, добивается этот человек?

Бедняки, связанные хозяйством и семьей, считали, что Хамдам уничтожает главное зло мира — винтовки и пули. Бедняки рассуждали практически. Любой курбаши, набежав на кишлак, мог бы силой послать их в драку. Теперь никто не пошлет безоружных! А богачам не хотелось верить, что отряд Хамдама состоит на службе у советской власти. «Хамдам, — думали они, — все-таки наш человек. Он вылинял, но снова нарастит себе шерсть».

Грабежи в соседних уездах продолжались. У Иргаша были жесткие руки. Боясь мести и убийств, кишлаки выплачивали дань его шайкам, и от этого с каждым днем росли шайки и смелели. Люди в кишлаках жили с опаской. Они почти не выходили в поле. Гибли посевы.

Тогда в Коканде возник план создать особый турецкий кавалерийский полк, под номером первым, назначить командиром Хамдама и, снабдив специальными полномочиями, бросить в разбойничьи районы. Этот полк, собранный из коренных жителей Ферганы, имел все шансы на успех. Своих трудно было обмануть басмачам — и местность и людей они знали как собственную ладонь. Хамдам принял назначение. Полк организовался в составе трех эскадронов. Это были разбросанные по селениям группы, численностью от шестидесяти до ста человек. Хамдам, кроме того, имел личную охрану, тридцать отчаянных головорезов.

Он получил кожаное обмундирование, захватил в Беш-Арыке усадьбу бежавшего бея и переманил к себе многих жителей Андархана. Все свое хозяйство, обеих жен и джигитов он перевез в Беш-Арык. В Беш-Арыкской усадьбе дом был просторен, пристройки вместительны и удобны, и огромный старый сад окружал строения. Здесь, в Беш-Арыке, Хамдам начал комплектовать свой новый полк.

Полк составлялся так, как умел это делать Хамдам, — феодально. Связанный только с Кокандом, подчиненный только Коканду, он, пользуясь старыми обычаями, управлял людьми по своему произволу.

В его районе царила тишина. Никто из басмачей не рисковал вступить с ним в бой. Он также не искал его. Ряд стрелков-охотников Хамдам привлек к себе. Иргаш, главарь всех банд Ферганы, осторожно следил за его действиями, не обнаруживая себя. Хамдам тоже не то-

ропился. Он чувствовал, что русские слишком выпятили его вперед, что надо усыпить внимание Иргаша, надо спрятаться в тень.

Юсуп нервничал. Стоячая жизнь угнетала его. Он не понимал своего положения при Хамдаме. С одной стороны, он не был простым джигитом. Он вел всю переписку полка, он распоряжался. С другой стороны, от него никто не зависел. Сапар отпускал на его счет разные шуточки. Юсуп терпеливо выносил их. Писал неграмотным (а таких было большинство) письма, ездил с джигитами на охоту и постепенно, день ото дня, все больше и больше входил к ним в доверие.

Но Юсуп мечтал об ином. Ему снились бои и походы. Тыловая, караульная жизнь отряда, наведение порядка в разбросанных кишлаках, ловля отдельных басмачей не удовлетворяли юношу. Он просил Хамдама отпустить его к русским.

Хитрый Хамдам догадывался, что Юсуп связан с Блиновым, и поэтому не отпускал его. «Лучше Юсуп, чем кто-нибудь другой, — думал он. — По крайней мере я знаю, кто смотрит за мной». Он добивался расположения юноши и осторожностью и лаской старался привлечь к себе, задерживать в Беш-Арыке. Он дошел до предела: назвав Юсупа своим братом, он разрешил женам не закрывать при нем лица.

Был ли Хамдам ревнив?

Да, но не так, как обыкновенный ревнивец. Он ценил своих жен как деньги, как средство, как рабынь. Он очень грубо думал о женщинах и к женам испытывал те же чувства, что питает путешественник к случайным знакомым. Он обзавелся ими по обычаю. Как барана, любую из них он мог бы прирезать или уступить кому-нибудь, в зависимости от надобности, от случая. Но он был щедр. Он обманывал их своей щедростью. Ни старшая жена, Рази, ни вторая, Садихон, ни в чем не знали недостатка. Он не скупился на подарки и не стеснялся их в мелочах. Рази считала, что он холоден и жесток, но даже и она думала, что он любит их. Однако Садихон, несмотря на роскошные подарки, боялась его.

Шестнадцать лет Садихон выдали замуж за Хамдама. Отец ее, Ачильбай, содержал в Ташкенте труппу мальчиков-бачей\*. Он путешествовал с труппой по разным городам Ферганы и устраивал спектакли и

праздники. Со времени германской войны труппа заглохла. Учеников стало меньше. В начале революции Ачильбай переехал в Самарканд. Теперь мальчики участвовали в революционных процессиях. Они обыкновенно шли впереди толпы, играя в бубен, танцуя и напевая стихи. Но эти выступления были последними. Труппа развалилась.

Ачильбай впал в бедность, и, чтобы поправить дела, он продал Хамдаму свою единственную дочь. Она привыкла с детства к постоянным переездам, любила танцы, музыку и шум. В доме отца всегда было шумно и весело. Она готова была убежать от Хамдама, если бы не боялась голода. Садихон радовалась, когда Хамдам уезжал из дому, и плакала перед его приездом. Капризная, избалованная, не знавшая никогда суровости, девушка думала, что стоит ей только перешагнуть порог хамдамовского дома, как смерть настигнет ее. И Садихон покорно переносила все упреки Хамдама, когда он называл ее ласки «снегом».

Она писала родственникам жалобы и надеялась, что отец смилостивится над нею и увезет ее. Ответ не приходил. Садихон была уверена, что отец умер и все родственники разбрелись, но до сих пор не могла простить отцу своей продажи. Рази-Биби, старшая жена Хамдама, покровительствовала Садихон. Если бы не Биби, ей жилось бы гораздо хуже. Старшая жена властвовала в доме, и даже Хамдам побаивался ее дикого взгляда.

Рази-Биби казалась Садихон странной женщиной. Хамдам женился на ней в шестнадцатом году, спустя неделю после своего прибытия из киргизских степей. Рази по своей воле пошла за него. Ее никто не принуждал. Но потом что-то произошло. Что именно, об этом она не рассказывала. Только однажды у нее вырвалось, что Хамдам — не тот человек, о каком она думала. Она терпимо и спокойно отнеслась ко второму браку Хамдама, и если кричала, так только из приличия, чтобы не показаться равнодушной. Садихон была ей почти ровесницей. Рази-Биби не требовала к себе никакого почтения, полагавшегося ей по закону. Она была сильной и рослой и часто в шутку надевала на себя чалму, и тогда Садихон говорила, что нет мужчины красивее ее.

Однажды Рази-Биби и Садихон вышивали в саду большое сюзане. Юсуп проходил мимо. Он поздоровался с женщинами и невольно остановился, залюбовавшись их работой. На огромном, сшитом из кусков полотна была вышита длинная дорога из черных цветов и желтых листьев. Возле дороги пылало двенадцать солнечных дисков. Сюзане уже заканчивалось, оставался только боковой бордюр. В бордюре тоже шли узоры, и среди них новые крошечные изображения солнца. Они разбежались, точно солнечные дети вокруг взрослых солнц.

Рази улыбнулась, увидев восхищенный взгляд Юсупа, и ушла за нитками.

Садихон, не отрываясь от полотна, быстро работала иглой.

День выдался знойный. Даже в тени, под широким, зеленым, пышным орехом, нечем было дышать. Лицо молодой женщины зарумянилось, затуманились от мелкой и пристальной работы глаза.

Юсуп долго смотрел на Садихон и вдруг почувствовал, что его лоб холодеет, покрывается потом. Он побледнел, подошел к ней и сказал:

— Хочешь, я увезу тебя отсюда?

Она с опаской посмотрела направо и налево.

— Ты сумасшедший, — сказала она.

Он сразу ушел. Она пожалела, что так резко оттолкнула его, и ей опять захотелось быть веселой и свободной и проводить время по своему усмотрению, как в доме отца, когда никто не стеснял ее. Она заплакала.

Рази вернулась и стала расспрашивать ее о причине слез. Садихон сказала, что Юсуп оскорбил ее, и она плачет от злости.

— Ты врешь, — сказала Рази и рассмеялась и принялась дразнить ее Юсупом. Она так расписывала его и все это было так смешно, что Садихон повеселела.

«Хорошо, что у нас такие отношения!» — подумала Садихон и бросилась на шею Рази и страстно поцеловала, сказав, что она счастлива только с ней.

...Когда начался сбор винограда, к Хамдаму приехали неизвестные люди, назвавшие себя покупателями. Секретно поговорив с ним, они быстро покинули Беш-Арык. В этот же день Хамдам отправил в Коканд телеграмму.

Юсуп заметил, что Хамдам взволнован, нервничает и торопится. Подали ужин. Хамдам усадил Юсупа. У себя, в мужской половине, он завел стол и стулья. Садихон подавала кушанья — шавлу в пиалах (жидкую рисовую кашу с овощами и мелко нарезанной бараниной), затем котел кавардаку\* из курицы. Хамдам жадно шарил пальцами в котле, вылавливал вкусные кусочки, плавающие в янтарном жиру, и, обсосав их, выбрасывал кости на пол.

Садихон не смотрела ни на Хамдама, ни на Юсупа. — Сердится! — подмигнул Юсупу Хамдам, указывая на жену. Потом он похлопал ее по спине. — Дьявол, дьявол, выйди из этого прекрасного тела! — сказал он, засмеявшись.

Садихон не улыбнулась и не поморщилась. Она будто не заметила шуточки мужа. Юсуп смутился.

— Ты любишь женщин? — спросил Хамдам, заметив его смущение.

Юсуп не знал их. Он крепко сжал пальцы и почувствовал, что румянец стыда заливает ему лицо. Он быстро встал из-за стола.

Хамдам расхохотался.

— Скоро все в Коканд поедет. Там есть женщины слаще меда. Я тебя познакомлю, — сказал он, — сватать буду.

— В Коканд? Почему в Коканд? — растерянно спросил Юсуп. Он задал вопрос только затем, чтобы хоть как-нибудь подавить свое смущение.

— Дела, — ответил Хамдам. — Я уезжаю сегодня и вызову всех, если надо. А ты пока приготовь полк!

— Наверно, ты нашел Иргаша, — сказал Юсуп.

Хамдам загадочно улыбнулся и, ничего не ответив, вытер рукой масляный рот.

Смеркалось. Вошел Сапар и спросил, кто будет сопровождать Хамдама.

— Ты, — сказал Хамдам.

Сапар оскандился и с гордостью посмотрел на Юсупа. Он был тщеславен и завистлив и по молодости не умел скрывать этого. Засмеявшись громко и нагло, Сапар побежал седлать лошадей.

Хамдам вышел на двор.

Алимат, один из джигитов личного отряда, подвел к Хамдаму текинца, только что вымытого, вычищенного, так блестящего от воды, словно он был покрыт лаком.

Откуда-то, будто из-под земли, вынырнул Абдулла и громко стал сетовать на то, что лавочники не доставили полностью контрибуции. Хамдам возложил на них доставку фуража и зерна.

— Рису нет. Рису заказал два мешка — привезли один. И тот — недовес. И тот — с мусором, — жаловался он.

— Второй мешок ты украл! — наугад сказал Хамдам. Он знал, что Абдулла нечист на руку. — Ишак! — выругался Хамдам.

Абдулла притих и, заворчав, отошел в сторону.

У дверей ичкари\* появились жены. Хамдам простился с ними. Джигиты растворили ворота и пожелали Хамдаму счастливой дороги. Один из них осветил двор керосиновым факелом. Хамдам, вскочив в маленькое казачье седло, на лету подхватил поводья, гикнул и поскакал. Когда всадники исчезли и прекратился лай кишлачных псов, жены скрылись.

Алимат затушил песком факел. От этого небо сразу спустилось ниже, и звезды выступили на нем.

— Сегодня моя Сурма родила уже третьего, — сказал Алимат. — Неужели правда, что мужчина может иметь столько детей, сколько звезд на небе?

— Не знаю, — ответил Насыров.

— Ничего-то ты не знаешь! — разочарованно сказал Алимат. — А я вот слыхал... люди говорили, что может.

— А зачем это тебе? Тебе мало троих?

Насыров удивленно взглянул на джигита. Маленький, кривоногий и тощий Алимат поражал его своей любовью к детям.

— Я бы... — мечтательно прошептал джигит, — я бы переехал в пустынную страну, выбрал бы себе тысячу женщин и всех бы сделал своими женами. Я бы хотел иметь много детей. Люблю детей!.. Ведь они не могли бы не слушаться, родные дети! И я бы научил их всех хорошей жизни!

Насыров засмеялся, потом прищурился и плюнул.

— Глупости у тебя в голове, Алимат, — сказал Юсуп. Он сидел тут же, на галерейке, вместе с другими джигитами. — Хорошая жизнь делается не одним, а всеми. И не по-дурачки. За хорошую жизнь люди умирают. Помнишь, на прошлой неделе мы проезжали через

Андархан? Помнишь мазар за рощей? — спросил он у Алимата.

— Ну, помню, — ответил Алимат.

— Помнишь груды камней, где я остановился?

— Ну, помню.

— Это могила. В ней человек, — сказал Юсуп.

Насыров лениво приподнял плечи и, зевнув, сказал:

— В каждой могиле человек.

— Нет. Не в каждой! — заспорил Юсуп. — Бывает человек — человек, а бывает человек — животное.

Юсуп приложил руки к груди. Он всегда сталкивался с Насыровым. Он чувствовал, что Насыров ненавидит его. Насыров был совсем не похож на Сапара. Сапар как бы все время соревновался с Юсупом и в ловкости, и в знании оружия, и в верховой езде. Сапар был гордецом, щеголем, нахалом, и Юсупу часто не хотелось с ним спорить, он просто отгонял его, как вредную муху. Насыров был немолод, нищ, ничего не имел за душой, поломан жизнью, и в то же время он, единственный из всех джигитов, был по-настоящему привязан к Хамдаму. Он любил его издали, даже не приближаясь к нему, не стараясь выказать перед Хамдамом свою преданность.

— Замолчи, богохульник! — крикнул Юсупу Насыров. — А вы не слушайте его! Он бредит, а вы развешили уши. — Насыров, обернувшись к джигитам, погрозил им кулаком.

— Иди спать! Иди, если тебе неинтересно с нами! — с обидой в голосе сказал Алимат. У него задрожал голос. — Иди же! Иди спать, бешеный!

Насыров, засмеявшись, побрел в сад.

Юсуп почувствовал, что невероятная и страшная скука давит джигитов, что, кроме лошадей, караульной службы и плохой пищи, они ничего не знают в жизни. Эта скука толкает их на распри и раздоры; они вечно бранятся и даже увечат друг друга в драках. Юсуп всматривался в их лица, неподвижные точно у рыб, в спокойные глаза, и ему захотелось зажечь их огнем. Он решил рассказать джигитам сказку.

— Человек — это огонь, это ветер, это вода. Он должен сжигать дурное, сдувать с лица земли пыль и утешать, как утешает вода. Вот что такое человек, — сказал Юсуп.

Джигиты сели в кружок и прижались друг к другу. — Такие люди бывали, — продолжал Юсуп. — Был таким кузнец, его звали Каве. Он жил при царе Зохаке. Зокак угнетал свой народ. Это случилось вот почему. Однажды Зокак поцеловал дьявола, и от этого у него выросли за плечами две змеи, и этим двум змеям каждый день необходимо было съедать человеческий мозг. Каждый день служители царя поставляли к царскому столу двух человек, палач их убивал, а мозг съедали эти змеи.

Джигиты вздохнули.

— Погодите, слушайте дальше! — говорил Юсуп. — У кузнеца Каве были сыновья, несколько сыновей. В числе других и они достались этим проклятым змеям. У кузнеца остался только один сын, последний. Это все, что было у кузнеца. Вся его надежда, все его счастье. Когда очередь дошла до этого сына, кузнец Каве явился к Зохаку и сказал ему, что он отказывается кормить мозгом своего сына царских змей. Каве хотели поймать, но он успел убежать к себе, на свою улицу. И криками и речами он поднял народ. Кузнец Каве снял свой кожаный фартук и прикрепил его к древку. И повел народ на соседнюю улицу. Так восстала улица за улицей, восстал весь город, и кузнец Каве убил жестокого царя. С тех пор, когда люди в этой стране заговорят о свободе, они всегда вспоминают знамя Каве, кожаный фартук.

Юсуп пошевелил пальцами, как бы показывая, что сказка кончена. Но джигиты молчали. Сказка, переданная им Юсупом, еще катилась медленно в их голове, как вода в сухой канаве, тихо увлажняящая дно. Первым вскочил Алимат.

— Вот это был кузнец! — сказал он. — Храбрый человек! Уважаю его. Не испугался он Зохака.

— Плохо ты понял, — сказал его сосед. Это был джигит лет тридцати, с горбатым длинным носом и синим, нечистым, будто порохом натертым лицом. Угри были у него всюду, не только на лбу и на носу, но и на щеках и на подбородке. — Тут дело не в Зохаке, а в змеях. Царские змеи сосут наш мозг.

— Да, пожалуй, это так надо понимать, — согласился третий джигит, желтый, весь в клочьях, курильщик анаши, с хриплым от курения голосом. — Это верно, что нас сосут эти змеи. И до сих пор, проклятые, сосут.



— Вот умрет Насыров. Что скажут люди про него? Как ты думаешь? — спросил Юсуп угреватого джигита.

— Ничего, — ответил джигит. — Да и сказать про нас нечего! Был грязь и умер грязью.

— А ты как думаешь? — Юсуп обратился к Алимату.

Но Алимат не слышал вопроса или нарочно не отзывался. Он печально и ласково посмотрел на звезды и шепнул:

— Все умрут.

Потом он вдруг оживился и, схватив Юсупа за руку, снова попросил его рассказать что-нибудь.

Юсуп начал рассказывать о могиле над Андарханом. И все, что он говорил про Аввакумова, эти люди тоже восприняли как сказку. Когда рассказ был кончен, первым опять откликнулся Алимат:

— Да, — сказал он, утирая лицо, — это был большевик!

Потом они начали спорить о том, возможно ли счастье на земле. Они так кричали, что Рази-Биби проснулась и разогнала их. Все разбрелось с неохотой, кто куда. Юсуп с Алиматом пошли в конюшню. Они легли возле стенки на соломе. Приятно было лежать и думать. В конюшне возились лошади, вздыхали, жевали сено.

— Тебе нравится Сади? — вдруг спросил Алимат Юсупа.

Юсуп не ответил. Алимат, приподымаясь, схватил за руку Юсупа:

— Будто у тебя на языке гиря, а? Язык не подымается? Отвечай!

— Не хочу. Ты тоже ведь не все говоришь.

— Нет. Я точно арык, который все течет. Я все говорю и ничего не могу скрыть. У меня гордости нет. А ты гордый! — с завистью сказал он Юсупу и, наклонившись над ним, обдавая его своим дыханием, зашептал лукавым и горячим голосом: — А ты укради ее! Попробуй! Ведь краденое — самое сладкое.

В его словах было спрятано волнение, и от этого они показались Юсупу еще более опасными.

— Укради, Юсуп! Я бы украл. Я, дурак, рано женился. Теперь и мать и жена — обе меня грызут. Да еще дети пошли! И жизни я не видал. А ты вольный человек. Что тебе? Укради! — шептал он. — Невжели ты боишься Хамдама?

— Я никого не боюсь. Не говори мне больше об этом. — Юсуп отвернулся от него.

Алимат опять лег на солому и начал рассказывать о своей Сурмахан.

Джигит говорил очень откровенно, рассказывал бесстыдные вещи. Юсуп слушал спокойно. В бесстыдстве джигита было столько чистого, прямого и наивного, что его слова казались неоскорбительными. Порой они даже были нежны, как песня, отчасти лукавы, отчасти добродушны. И Юсуп думал: «Бедный, хвастливый Алимат! Что-то будет с тобой?»

— А тебе не надоело жить, Юсуп?

— Нет. А почему?

— Ты молчишь все.

— Пригодятся еще слова, Алимат. Чего их зря тратить?

— А чего их жалеть? Слов у бога много. Сколько слов на всех языках! И не считаешь, наверно, — мечтательно сказал Алимат. — Знать бы мне все языки, я бы болтал на всех без умолку!

## 9

Федотка, часовой Кокандской крепости, чуть было не погибший от удара кинжалом при первом ночном налете на крепость, через два часа после этого налета был отправлен в железнодорожную амбулаторию, а потом в кокандскую городскую больницу. Все были убеждены, что мальчишка умрет, но Федотка выжил.

Старик Абит Артыкматов, работавший истопником в больнице, познакомился с Федоткой. Поправившись, Федотка не нашел в Коканде Лихолетова, а прочие солдаты крепостной роты были убиты. Узнав об этом, Федотка затосковал и решил переселиться к старику Абиту Артыкматову.

Но в Коканде было голодно. Тогда Абит вместе со своей семьей и Федоткой перебрался в Беш-Арык. Здесь вдвоем они занимались на базаре случайной работой, и от их достатков кое-как кормилась вся семья Абита. Все-таки в Беш-Арыке случалось найти и баранье сало, и крупу, и хлеб. Жить было можно.

Но однажды старика чуть не зарубил джигит Сапар.

Это произошло так: Абит пришел на базар без Федотки, Федотка заболел. Целый день одному из приезжих Абит помогал торговать, сторожил его товар, водил лошадей на водопой, таскал кули. Торгаш обещал ему щедро уплатить за труды, когда базар кончится. Время расплаты уже наступило, арбы, скрипя деревянными колесами, расползались с пыльной площади по домам.

— Ну, когда же рассчитаемся? — спросил Абит своего хозяина.

— Имей терпение! — ответил тот и, аккуратно сложив пожитки в арбу, накрыл все сверху старой попоной. Потом он подошел к лошади, заботливо подправил упряжь и, встав одной ногой на оглоблю, другую перемахнул через деревянное седло. Усевшись в нем, он уперся обеими ногами в оглобли и, подобрав поводья, крикнул: — Э-э!

Лошадь дернула арбу, заскрипели колеса, увязая в пыли. Хозяин даже не оглянулся на Абита.

— Это нечестно! — закричал Абит. — Что ж, я даром работал на тебя целый день?

— Я тебя кормил. Этого довольно.

— Я семье должен что-нибудь принести. Неужели я за целый день заработал только кусок хлеба? Побойся бога!

— Мне некого бояться, — спокойно ответил торговец, уверенный в своей правоте. — Ведь мы с тобой не договаривались! Значит, что я дал, за то и спасибо.

Он крепко хлестнул свою лошадь. Она понесла, и арба загромыкала по ухабам.

Артыкматов завертелся волчком от обиды. «Где искать помощи? К кому обратиться?» — подумал он. Прочие арбы разъезжались так же, как и эта. Кто-то из соседей захохотал, насмехаясь над стариком. Патруль — десять всадников, тянувшихся цепочкой, шагах в пятидесяти от Абита, — медленно проезжал через площадь. Во главе патруля ехал Сапар, вернувшийся из Коканда раньше Хамдама. Артыкматов кинулся в погоню за арбой и, вцепившись в задок ее, бежал за ней, умоляя крестьянина. На несчастье Абита, от тряски в арбе развязался мешок, полный лепешек. Две из них выпали из мешка прямо в руки старику. Он положил их за пазуху халата.

Дехканин, заметив пропажу, остановился и соскочил с лошади. Артыкматов побежал от него, испугавшись. Хозяин, догнав Абита, сбил его с ног. Артыкматов лежал на земле. Вынув из-за пазухи лепешки, он вернул их дехканину.

— Прости меня! — сказал он. — Их затоптали бы лошади. Моя жена и дети не ели два дня. Прости меня!

— Вор, вор! — вдруг закричал кто-то среди базара.

На месте происшествия быстро собралась толпа. Крестьяне, узнав, что какой-то нищий покусился на добро, принадлежащее одному из них, принялись вопить.

— Убивать надо этих нищих! — кричали они. — Попробовали бы кетменем ковырять землю с утра до ночи! Воры! Легкого хлеба ищут!

Всадники, увидав толпу, тоже прискакали на шум.

Сапар, расталкивая людей лошадиными боками, врезался в самую гущу народа. Остальные осторожно пробирались за ним. Уже на ходу, из возгласов толпы, Сапар узнал о воровстве. Он придержал коня возле Артыкматова. Конь, фыркая, нагнулся к старику и понюхал его.

— Где вор? — спросил Сапар, нахмурившись. Он важничал и веселился. Ему нравилось шуметь в толпе.

Лавочники загалдели и подняли с земли старика. Юсуп, бывший тут же в отряде, закричал:

— Абит?

Старик открыл глаза, побелевшие от страха. Юсуп вспомнил его. Старик выглядел еще ужаснее, чем в дни кокандского боя.

— Неужели ты вор? — тихо спросил его Юсуп.

Артыкматов стал кричать, призывая в свидетели бога. Трудно было уловить что-нибудь связное из этого рассказа — все перебивали старика, все угрожали ему. Старик схватился за стремя Юсупа. Юноша казался ему последним спасением среди голосов, кипевших злобой. Артыкматов, конечно, не помнил Юсупа. Но даже если бы он и помнил его, все равно сейчас трудно было узнать в этом молодом джигите маленького кучера мамедовской конюшни: юноша вырос и возмужал.

— Он говорит, что ему не заплатили, — горячо сказал Юсуп, едва разбираясь в жалобах старика. — Кто тебе не заплатил, старик? Можешь ты указать?

Старик растерянно оглянулся, но нигде не нашел своего хозяина: крестьянин успел удрать.

— Врут нищие! Народ перестал бояться. Нет власти! — орали лавочники.

— Молчать! — крикнул Сапар, осадив коня. Конь захрипел, и белая пена хлопьями облепила ему губы.

— Убей вора, тогда мы поверим вашей правде! — кричали Сапару.

— Молчать! — еще громче заорал на лавочников Сапар.

Из толпы все же кто-то перекрыл его острым и резким, что свисток, голосом:

— Есть власть или нет власти? Воров надо казнить. Казнить его на месте! Сейчас строгий закон! Сейчас голлод! Воров расстреливают!

Толпа лезла на всадников. Правда, не она пугала Юсупа. Юсуп боялся, что Сапар, человек жадный до крови, прирежет старика, как барана. Призыв толпы мог послужить только предлогом. Сапар скучал без убийств. Теперь люди требовали жертвы. «Это слишком много для воровства, — думал джигит, — но...» — Оскалив зубы, с веселой, наглой улыбкой он оглядел толпу. Трогая шашку, Сапар ощутил дрожь в руке. Растянув рот, он сквозь зубы глотнул воздух.

Юсуп, чувствуя, что джигиту хочется сейчас обнажить шашку, подлетел к нему и с размаху ударил его в правое плечо. Это было до того неожиданно, что лошади их от этой сшибки заржали на весь базар.

— Отряд! Люди! Расступитесь, — скомандовал Юсуп. — Я хозяин этого человека! — сказал он, указывая на Абита.

Юсуп стоял в стременах бледный и злой.

Тонкие, узкие, желтые пальцы впились в револьвер. Сапар не сробел.

— Кто ты, чтобы приказывать? — закричал он и, пригнувшись к голове своего коня, обнажил шашку.

Юсуп откинулся назад и поднял револьвер, показывая, что не боится удара. Сапар потерял размах. Повернув коня, он хотел столкнуться с Юсупом вторично. Тогда Юсуп ему ответил:

— Я правая рука Хамдама. Я командирован из Коканда. Приказываю джигитам отвести арестованного к Хамдаму!

Они окружили старика. Юсуп потрепал Грошика по холке. Грошик, взмахнув хвостом и короткой гривой и

покосив глазом на прочих лошадей отряда, выступил вперед на два корпуса. Все успокоились. Нервная дрожь пробежала по крупу лошади. Юсуп огладил ее сухой и горячей рукой.

Сапар с обнаженным клинком ехал позади всех. Он задыхался. Даже мерный, тихий шаг отряда не успокоил его, не затушил в нем смертельной обиды...

В этот же вечер Хамдам вернулся из Коканда.

Он был весел и озабочен в одно и то же время.

По секрету он сообщил Юсупу, что полк завтра выступает в Коканд и что необходимо хорошенько подготовиться к этому выступлению.

— Ничего без меня не случилось в Беш-Арыке? — спросил Хамдам.

— Случилось, — ответил Юсуп.

Он рассказал Хамдаму историю Абита Артыкматова. Хамдам видел, что Юсуп, рассказывая ее, волнуется и горячится. Юсуп просил зачислить старика в отряд.

— Ты ручаешься за него? — сказал Хамдам.

— Как за себя!

— Хоп! — сказал Хамдам, улыбаясь. — Возьми его в свою сотню. Сейчас нужны люди.

## 10

Было время, когда Сашка Лихолетов ревновал Юсупа к Аввакумову. Но четыре месяца тому назад, после боя у железной дороги, он, в память своего любимого друга Денниса Макаровича, лично сдал раненого Юсупа на руки главному доктору кокандской больницы, строго наказав ему: «Лечи, пожалуйста, этого пацана, как буржуя! А не вылечишь...» — Сашка помахал гранатой. Тогда седой маленький врач, презрительно покачав головой, обозвал Сашку «хулиганом».

Сашка не обиделся, все-таки, благодаря его настоянию, Юсупа положили в лучшую палату. Этот же самый заботливый Сашка, сделав благое дело, ни разу не навестил Юсупа в больнице. Он начисто забыл о нем и впервые только вспомнил, услышав от знакомых, что Юсуп давно выздоровел и служит теперь в отряде Хамдама. «Да, я это знаю, — беспечно соврал Сашка. — Юсуп — парень полезный».

Сейчас Сашка вдруг позавидовал Блинову. Смешно думать, что права, должность и обязанности Блинова вызвали это чувство. Нет, для Сашки дело было не в правах, не в чине и не в должности. Сашке показалось, что Василий Егорович Блинов, бывший товарищ по отряду, вдруг стал ближе к революции, чем он, Сашка. И это невероятно задело его. Он решил, что его обидели. Случилось это таким образом.

В штабе было назначено совещание по поводу басмаческих действий Иргаша. Обсуждалось очень важное дело. На днях от Хамдама было получено сообщение, где и с кем кочует мятежный Иргаш. После проверки сведения эти оказались правильными. Делу этому придавалось очень серьезное значение, так как силы Иргаша расценивались высоко и сам Иргаш считался неуловимым.

Для успеха этой операции решили сколотить сводный отряд из партизанских и красноармейских частей. В качестве партизан привлекались эскадроны Хамдама, а Сашке, как начальнику сводного отряда, поручалась вся операция, требующая и от людей и от командиров большой подвижности, быстроты и лихости.

Сашка был польщен и сразу согласился. Но в конце совещания он неожиданно узнал, что Блинов, также участвовавший в обсуждении всего этого дела, присутствует здесь не только как военный работник, но и как непосредственное начальство, стоящее уже над ним, Сашкой. Ему сообщили, что Василий Егорович вчера назначен комиссаром всех отрядов Ферганы.

Услыхав это, Сашка оторопел, ему будто иглой проткнули сердце. Если бы на эту должность вместо Блинова прибыл кто-нибудь посторонний из Ташкента, Сашка даже не задумался бы. Но сообщение о Блинове взволновало его. «Почему именно Блинов? Вот если бы покойный Макарыч, тогда это было бы ясно? — подумал он. — А Блинов? Тогда почему не меня? Почему не я?»

Сашка оттопырил губы, увял, и в глазах у него появилась горечь. Заседание кончилось, все разошлись. Один только Сашка сидел и, скучая, теребил кожаный темляк своей шашки.

— Что с тобой? Что случилось? — заботливо спросил его Василий Егорович.

— Так, — коротко ответил Сашка. — Заныл гнилой зуб.

— Это нехорошо. Вырви его! — сказал Блинов и продолжал дальше уже в деловом тоне: — Сегодня, значит, ты должен сговориться с Хамдамом, так как выйдете вы разными дорогами и соединитесь уже в пути.

В обыкновенное время это приказание было бы исполнено Сашкой моментально. Но сейчас все раздражало Сашку, все вызывало в нем недовольство. Совершенно ни о чем не думая, не рассуждая, подстегиваемый только желчью, он вдруг заартачился и отказался ехать с Хамдамом.

— Не надо мне его! — сказал он. — И без него у меня порошу хватит. Сами с усами.

— Район засорен. Саблей не разыщешь Иргаша. Неужели ты не понял? Об этом мы два часа толковали.

— Это уж моя забота. С Хамдамом не пойду, — категорически отрезал Сашка.

— Да ты что? С ума сошел? Сядь в угол и сосчитай до ста! — приказал ему Блинов. — А когда успокоишься, скажи!

Василий Егорович наклонился к столу, к бумагам. Сашка пробормотал:

— А рубать тоже со счетом?

— Тоже, — ответил Блинов.

Сашка сдернул с портупеи свою ободранную шашку, протянул ее Блинову и сказал:

— Опоздали меня сажать за парту! Прими клинок, Василий Егорович!

Блинов почернел от гнева и так трахнул всей пятерней по столу, что Сашке показалось, будто солнце за окном потухло. Вестовой распахнул дверь и замер. Василий Егорович распорядился вызвать конвоиров, потом сам позвонил в комендатуру и подтвердил свой приказ об аресте командира эскадрона Лихолетова.

«Не дамся, — подумал Сашка. — Не пойду на губу!»

Он схватил со стола свою старую шашку и только что собрался выскочить из кабинета, как появились конвоиры, звякнув винтовками. Блинов показал им на Сашку.

Конвоиры встали по бокам, справа и слева около Сашки. Один из конвоиров притронулся к его плечу. Другой взял шашку. Лихолетов побелел.

— Лапай! — прошептал он. Голос у него вдруг осип. Сашка сжал губы. Потом, обернувшись к Блинову, гордо сказал: — Спасибо, бывший друг!

Он сам встал между конвойными и сказал им:

— Пошли!

Василий Егорович посмотрел ему вслед и подумал: «Ну ладно, босяк! Я тебя выучу!»

## 11

Через час к Сашке в камеру явился Синьков. Подойдя к нарам, он окликнул Сашку:

— Уязвлен?

— Катись! — пробурчал Сашка и перевернулся на другой бок, спиной к Синькову.

Еще вчера они были приятелями, еще вчера он одолжил Синькову новую гимнастерку. «А сегодня этот же Синьков трубит надо мной, смеется!» — подумал он.

Синьков сказал:

— Блинов звонил. Спрашивает, одумался ли ты?

— Отстань! — отмахнулся от него Сашка.

— Что доложить?

— Что хочешь.

Синьков вышел из камеры. Сашка кубарем слетел с нар, чтобы задержать Синькова, но дверь уже захлопнулась. Сашка снова повалился и застонал. «Проворные! Бойцы! И Блинов — боец, и Жарковский — боец, и конвоиры — бойцы, и горбатый певчий — боец. А я не боец! Штрафной! Как это случилось?» — подумал он. — А все счет! Да знаешь ли ты сам счет, чтобы послать меня сюда? Нашелся тоже мировой бухгалтер томить бойцов! Хорошо. Допустим, я считаю до ста и думаю: «Сашка, Сашка, что случилось?» Считаю раз, два, три...»

Сашка загибал пальцы, чтобы не сбиться со счета. Сбился, начал снова. Опять сбился. Наконец плюнул и незаметно для себя заснул. Спал крепко. Во сне видел коров. Они двигались, как товарный поезд, гуськом, по шпалам. Сашка проснулся. Кто-то его тянул за ворот. Опять возле нар стоял Синьков.

— Выспался? — спросил он Сашку.

— Не твое дело, — зевнув, ответил Сашка.

— Блинов беспокоится. Одумался ли ты?

В душе Сашки боролись самые противоположные чувства. Он понимал, что с ним происходит что-то неладное, но никак не мог скрутить себя. Он выругался от огорчения и снова лег на нары.

— Товарищ комэск, — вдруг строгим голосом пропел Синьков, — с вами говорит начальник гауптвахты по приказанию комиссара Блинова. Встать, смирно!

Сашка вздохнул и нехотя поднялся.

— Что доложить? — спросил официально Синьков.

— Доложи: считал, да сбился! — ответил Сашка.

Синьков не понял, о чем говорит Сашка. Но в растрепанном, отчаянном взгляде его он увидел такую безнадёжность, что ему стало обидно за приятеля.

— Эх ты, дура! — снова пропел он. — Смотри, допрыгаешься.

Синьков вышел, щелкнув дверью и чиркая по каменному полу своими каблуками на металлических подковках.

Человек порядка, аккуратный, он не выносил неожиданных поступков. Сашка стал опасным. Вспоминая о друге, Петя Синьков затосковал. Много было спето вместе песен, и веселых и грустных, много чувства вложено в эти песни! И, что греха таить, вдоволь было выпито под старую гармонию! «Жаль по человечеству, — бормотал Синьков, сидя в канцелярии и раздумывая о Сашкиной судьбе. — Но «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!» С таким бесшабашным наживешь беду!»

Синьков вытащил из нагрудного кармана гимнастерки оловянное зеркальце, посмотрелся в него, поправил пробор. Шелковая шапка волос, брови навзлет — все это чрезвычайно подходило бы молодцу саженного роста. И все-таки, несмотря на горб, женщины не обходили своим вниманием Петю Синькова. И в этом, так же как в пении, он мог поспорить с Лихолетовым. Его любили за деликатность и щегольство, а Сашку за лихость.

После ухода Синькова Сашка опять лег. Мучительное, тупое отчаяние мешало ему заснуть. Манерку каши, поданную ему на ужин, он вернул дежурному нетронутой. Так он провел время до утренней поверки. «Сосчитай до ста!» Хорошо говорить: «Сосчитай до ста!» — бубнил он про себя. — А если, сосчитавши до ста, я сделаю совсем не то, что надо? Пока я не

считал, ничего плохого не было. Легко сказать: «Считай!» От счету сохнет человек. Нет! В пустыню! Уйду в пустыню! Там я сам по себе, вольная птица. Хочу — считаю, хочу — нет. Употребите меня в крайнем случае прямо для гроба. Дайте мне коня, оружие, буханку хлеба и четвертку соли и отпустите на все четыре стороны, как ветер! Я сам таких наделаю делов, спасибо скажете».

Сашка упорствовал. Это озлобляло его еще более. Он отлично понимал, что требует от него Блинов. Ясное дело, и в кишлаках и в бою командиру нужна не одна лихость, а и ум, и сметка, и учет сотни мелочей. Хамдам? Приказано? Значит, такая операция. Значит, надо. Приказ есть? Будет исполнено. Да и не в Хамдаме дело! Ясно! Взбеленился не от этого. Когда вожжа под хвост попала, тут уже не разбираешь, что к чему.

«Герой Кузьма Крючков! Василий Егорович, понятно, — человек сухой. Наверно, понял, почем соль? Случись это в моем эскадроне, я бы такому вояке снес башку, — подумал Сашка. — Ей-богу, снес! И не пожалел бы! Не форси! Собственноручно такого дурака, барана, ферта огрел бы. Не лезь в тузы, не твоя очередь! А что теперь скажут эскадронцы? Какой пример? А ведь они при Макарыче служили! Да ведь я Макарыча обидел! Память его оскорбил...»

— Врешь, Блинов! — крикнул Сашка. — За саботаж Сашка не живет. За саботаж, Блинов, протяни вперед клинок — и Сашка сам упадет на него грудью! Нет, Вася! Нет, друг мой ситный! Еще не кончен Сашка...

Всю ночь он бегал по камере, бормотал, вздыхал, садился, вскакивал. Часы летели в беспокойстве. Утром, попросив у Синькова лист бумаги, он нацарапал рапорт:

Комиссару осбых отрядов Ферганы, товарищу Блинову.

Есть сто. Казните или милуйте!

*Комэска Лихолетов,*

## 12

Мулла-Баба читал поэтов и любовался миниатюрами — красным небом, серебряной водой в лиловых разводах, малиновыми горами, золоченой сбруей коней, парчовым кафтаном Бехрам-Гура, лиловым платьем Азаде и розовой пронзенной газелью,

Два молодых студента, мусульманские семинаристы, бледные и плоские, как рыбы после зимней спячки, вяло слушали его. Мулла-Баба толковывал им правила мужества.

— Будьте подобны Бехрам-Гуру! — говорил он. — Азаде его попросила самку сделать самцом. Бехрам-Гур выпустил две стрелы, и они впились в лоб самки, как два рога. Тогда Азаде попросила самца превратить в самку. Бехрам-Гур сбил ему рога одной двужалой стрелой. Выполняя желание своей наложницы, он ранит третью газель в шею, и когда газель заносит ногу, чтобы почесать раненое место, он новой стрелой прикалывает ей ногу к шее. Показав всю свою ловкость, воспламененный гневом, Бехрам-Гур повергает наземь свою наложницу. «Азаде, ты нарочно предложила мне столь трудные задачи. Невыполнение их, — говорит он, — навлекло бы позор на меня и весь мой род. Пусть же теперь верблюд растопчет тебя!» И верблюд растоптал ее. Так же мы поступим со всеми неверными. Сейчас они приказывают нам. Но придет время — верблюд растопчет их, как нечестивую и требовательную насмешницу Азаде. Но обо всем этом надо молчать.

Семинаристы опустили глаза. Смысл этих проповедей был им знаком. Ученый Мулла, не надеясь на коран, подкреплял свои мысли старыми персидскими стихами; не боясь опоганить глаз, он рассматривал языческие изображения живых существ и показывал их ученикам.

В соседней комнате прятался Зайченко, невольный свидетель всех этих разговоров. Мулла-Баба говорил тихо: ему сообщили, что бывший комендант Кокандской крепости знает узбекский язык. Зайченко прибыл сюда после свидания с Корниловым и ждал здесь дальнейших распоряжений.

Фразы долетали кусочками, Зайченко не мог слышать всего. Иногда старик ругался. Зайченко казалось, что молчаливые и покорные семинаристы не верят старику. Тогда старик повышал голос.

— Не пытайтесь прятаться! Я вижу все ваши мысли. Я знаю, о чем вы думаете.

Один из семинаристов что-то тихо заметил.

— Русские уже растоптаны. Их нет! — в ответ ему горячо крикнул Мулла-Баба. — А те, что есть, скоро расплытся или сгрызут друг друга,

Семинаристы опять затихли. Вместе с Зайченко они отправлялись в качестве агитаторов к Иргашу, в банду.

Зайченко задыхался от жары. Обливаясь потом, он лежал на софе. Выбрав голову, отпустив короткие узенькие усики, он изучал теперь свое лицо в базарном мутном зеркале. В эту ночь он прощался с собой: терял свое имя и превращался в неизвестного киргиза. Этого требовала конспирация.

Когда семинаристы ушли, Мулла постучался к нему. Мулла выбрал место у стены. Зайченко сел напротив.

— Вы читали стихи? — спросил он Мулла-Бабу.

— Да, — ответил старик.

— Мне помнится, что эта книга с картинками? Не правда ли? Разве вам, мусульманину, полагается любоваться этим? Это же грех.

— Прекрасное не может оскорбить душу, — сказал старик, — кроме того, эти картины больше говорят о смерти, чем о жизни, а смерть — это венец жизни. Об этом не грешно думать.

— Вы не боитесь смерти?

— Нет.

— Вы фаталист. Верите в фатум? В судьбу?

Мулла-Баба подумал и сказал:

— Да, верю.

Зайченко рассмеялся. Ему захотелось позлить этого седого святошу.

— Тогда зачем же вы занимаетесь политикой? — спросил он. — Предоставьте все судьбе.

— Почему? — Мулла-Баба удивленно раскрыл свои зеленые глаза.

— Да потому, что человек, верящий в судьбу, на все машет рукой, а политик на что-то надеется, чего-то добивается, — сказал Зайченко.

— Я не политик, а божий воин... — с досадой и злостью сказал Мулла-Баба. «А ты жаба! — подумал он про Зайченко. — Что тебе надо? Зачем ты меня злишь, неприятный человек? И сам не знаешь...»

Усман за дверью произнес молитву и вошел, прикладывая руки к груди. Усман сперва оглянулся назад, потом зашептал:

— Ехать надо, начальник, скорее! Я узнал сегодня большую новость: кто-то выдал красным Иргаша. Надо торопиться. Я боюсь, как бы вам не опоздать,

Сборы были недолги. Забрав семинаристов, этой же ночью Зайченко вместе с Мулла-Бабой покинул Старый Коканд. По дороге Усман рассказал Зайченко о том, что большой соединенный отряд из узбеков и русских с орудиями и пулеметами, миновав город окольными дорогами, вышел в степь. Очевидно, они идут в предгорья Алайского хребта. А там со своим отрядом кочует Иргаш.

— Возможно, что Иргаш знает об этом, — сказал проводник. — Но возможно и другое.

— Это верные сведения? — спросил Зайченко, обеспокоившись.

— Длинное ухо — вернее телеграфа, — весело ответил Усман. — А мы обгоним их, будь спокоен! Я знаю самые короткие дороги.

### 13

Русский эскадрон выслал вперед дозор с Юсупом и Жарковским. В хвосте эскадрона двигались отряды Хамдама. Бойцы и джигиты, каждый на свой лад, пели песни. Русские слова смешивались с узбекскими. Хамдам ехал рядом с Лихолетовым в середине колонны, развернувшейся почти на версту.

Среди грохота и шума Сашка чувствовал себя лучше всех. Пахло пылью, лошадьми и человеческим потом. Он любил все неудобства похода, он наслаждался ими, и даже размышления не портили ему жизни.

Он думал о Варе. Накануне отъезда они вместе ходили сниматься. К ним пристала ее подруга Сима, жившая неподалеку от крепости. Фотограф усадил всех троих рядышком на бамбуковом диване. Сашка должен был обнять Варю правой рукой, а в левой он держал руку ее подруги. Он улыбался, потому что обе они были хорошенькие, и он знал, что потом можно будет этим хвастаться. Фотограф тоже улыбался и уговорил его заказать две дюжины карточек. Выйдя из фотографии, он не знал, как отвязаться от Вариной подруги. Они заходили в чайную пить чай с овсяными жесткими лепешками; Сашка нервничал, но когда подруга ушла, он сразу повеселел и предложил Варе погулять, так как вечер очень хороший.

Она сказала, что не может, что она устала как сабака, что еще не собрана аптечка. «Успеется», — прошептал он и сжал ей руку. «Что с вами?» — спросила она, удивленно посмотрев на него. Он разозлился и промычал что-то нечленораздельное: дескать, он — черная кость, и ему, конечно, не полагается делать то, что позволялось другим. Тут она тоже разозлилась и заявила: «Это безобразие, все мужчины одинаковы, точно две капли воды. Я считала вас более тонким человеком». — «Нет, я толстый», — ответил он. Тогда они поссорились, и теперь она пряталась от него в третьем эскадроне. И хотя он ее не видел, но знал, что она там. Оттуда неслись крики осла, нагруженного перевязочным материалом. Осел кричал, как труба, словно посылая ему знак: «Мы здесь. И вообще не робей».

В отрядах Хамдама загорячились лошади. Узбеки закричали друг на друга, спутав в одну секунду строй. Сашка покосился на Хамдама. Хамдам спокойно показывался в седле, закрыв глаза, не обращая внимания на окружающее. Сашка подумал: «Надо о чем-нибудь поговорить с ним, хоть из приличия. А то еще обидится». Сашка потер лоб. Минут через пятнадцать он что-то надумал, крикнул для солидности и почесал за ухом.

— Жарко! — сказал он.

Хамдам молчал.

— Я воздух люблю, — болтал Сашка, не обращая внимания на то, что Хамдам молчит. — Мать меня в портные хотела вывести, в мастерскую отдала. В подвале работали. А я, как возраста достиг, сбежал. В кондуктора пошел. Хорошо! Всю Россию изъездил. А потом война. Пошел в драгуны.

Хамдам вздохнул.

«Не понимает, — решил Сашка. — Надо его про что-нибудь знакомое спросить».

Он осклабился и, нагнувшись к плечу Хамдама, спросил:

— Ты женатый?

— Женатый, — угрюмо ответил Хамдам.

— А я нет! Женатому надо возле жены жить. А я солдат! Зачем мне жена? Лишние мысли только. Да и девиц подходящих нет. Вывелись. А как у вас, только на девицах женятся?

— Нет, — поджав губы, по-прежнему мрачно ответил Хамдам. Он считал, что чин у Сашки небольшой, и поэтому важничал и, чтобы не уронить своего достоинства, еле-еле разговаривал с ним.

Добродушный Сашка ничего этого не замечал.

— Значит, так же, как и у нас. Будь вдова или разведенка, сделай одолжение, женись! — продолжал Сашка разговор. — А скажи, пожалуйста, это верно, что за девиц у вас берут дороже? Больше калыма.

— Да, — ответил Хамдам.

— Скажите пожалуйста! — вздохнул Сашка. — Значит, женщины и вдовы идут у вас со скидкой?

— Да.

— Это почему же такая несправедливость?

— Коран!

— Неправильно! — сказал Сашка. — Иная девица в подметки не годится женщине. Иная женщина сто очков вперед даст любой девице. Разве Коран может все предусмотреть?

— Может.

Сашка свистнул:

— Брехня!

Но, взглянув на Хамдама, вдруг скис. Хамдам сидел насупившись и дергал за повод своего текинца.

У Сашки упало сердце: «Влип! Бухнул сдуру, не сосчитавши до ста! Союзника обидел, елки-палки! Ну ничего, сейчас поправлю...»

— Того, кто верит в Коран, я, конечно, не осуждаю. Что делать? Судьба, — вдохновенно сказал он, заглядывая в прищуренные глаза Хамдама. — Если верит, пусть верит. Он не виноват, что верит. Вот, например, чем же я виноват, что родился рыжим, когда хочу быть брюнетом? Теперь скажите мне, пожалуйста, что делает природа! Мать черненькая, отец черненький, а я рыжий, точно тульский самовар. Разве мне это надо? Разве я мечтал об этом? Мне-то, собственно говоря, плевать на свою физиономию. Мужчина хорош не этим. Ну, если дело в принципе — так в принципе я никого не просил об этом рыжем цвете. Случилось. Ну, что делать?

Хамдам вдруг осадил свою лошадь в сторону от дороги и умчался вперед, в авангард колонны, оставив Сашку с разинутым ртом.



Сашка оглянулся:

— Видали, ребята? Чего это с ним?

Эскадронцы зашевелились:

— Не любит правды!

— Закон свой защищает!

— Да он сам рыжий!

— Пора бы остановочку, начальство! Сдохли со всем, — вдруг обмолвился пулеметчик Капля. Капля ехал вразвалку, по-деревенски, проклиная и лошадь, и поход, и все на свете.

От жары у людей пропотели гимнастерки, песни стали утихать. Лошади устали. Солнце обрушивалось на колонну, будто желая выжечь ее и превратить в пыль. Все ждали привала. Один Сашка ничего не хотел замечать. Он расстроился.

В пути попадались одинокие всадники, съезжавшие с дороги при появлении отрядов. Пропустив колонну, некоторые из них скрывались в противоположном направлении, другие исчезали так ловко и незаметно, как будто проваливались сквозь землю. Иногда Сашка ловил взгляд кого-либо из хамдамовских есаулов, и ему казалось, что они каким-то образом переговариваются с встречными.

Иногда странный шум появлялся в узбекских отрядах, люди вступали в спор. Однажды Лихолетов увидел Хамдама, оживленно спорившего с пойманным им на дороге киргизом. Киргиз, в черной войлочной шляпе, на маленьком грязном коньке, нахально придвинулся почти к самому отряду. Сашка почувствовал, что степь подает незримые сигналы. Разгадать это в силах только Хамдам и его есаулы.

Это встревожило Сашку. Неужели попали в кольцо врагов? Если басмачи ждут случая, чтобы при поддержке хамдамовского полка расправиться с русскими и захватить оружие, тогда дело скверное. Перевес, вероятнее всего, окажется у басмачей. Если эти сигналы опасны для самого Хамдама, тогда почему он молчит? Сашка послал за Юсупом. Юсуп подскочил к нему, как лихой джигит, помахивая камчой. «Совсем выровнялся парень», — подумал Сашка.

— Ну, что? Стукнем Иргаша?

— Якши!

— В своих уверен?

— Конечно.

— И в Хамдаме уверен?

— Конечно, — ответил Юсуп, поводя глазами, точно лошадь, на многоголосый строй всадников в тюбетейках, войлочных шляпах, бараньих шапках и даже в чалмах.

— Ну ладно, — сказал Сашка и удобней уселся в седле. Потом, внимательно посмотрев на Юсупа, сказал: — Ты будто выдра стал.

Юсуп не понял его:

— Какой выдра?

— Похудел. Что с тобой?

— Ничего.

— Э-э! — Сашка махнул рукой и многозначительно подмигнул: — Химеры, брат! Все химеры! Ничем не огорчайся в жизни. «Жизнь на радость нам дана». И больше никаких. Барышни знакомые есть?

— Нет.

— Это плохо. Человеку нужен полный комплект всего. А ты в возрасте. Человек живет мало, ласку любит. Только баба ласку знает. А без ласки можно пропасть. А жизнь без ласки — что патрон без пороху. На этом весь мир держится, детей делаем. А без детей жизни нет, все умрет. Вот, говорят, французы без детей-то погибают. Они бесстыдники. Они баловство любят. А надо любовь любить. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил Юсуп, хотя мало что понял из Сашкиных слов.

В то же время Юсуп чутьем догадывался, что дело совсем не в этой болтовне, что Сашка все это бормочет лишь затем, чтобы заглушить какое-то внутреннее беспокойство, которое овладело им. Юсуп заметил, что Сашка беспрестанно озирается то на горизонт, то на степь, то на предгорье, то на людей.

Особенно пугал Сашку полк Хамдама. Хамдамовские всадники, конечно, были не слабее русских, но они не умели держать твердого строя, а непривычных к походу в колонне строй скорее утомлял, чем облегчал. Сашка всматривался в ряды, уже чувствуя, что недалеко то время, когда напряжение спадет и где-то в каких-то неожиданных точках цепочки всадников сломаются. Такая выбившаяся колонна при нападении противника уже не способна ни к быстрым перестроениям, ни

к атаке. Она уже плохо слышит команду, и обессиленные всадники готовы действовать на свой страх и риск. «Отдых, отдых, отдых!» — об этом говорило каждое движение в колонне.

«Да, требуется отдых», — решил Сашка.

Огромное солнце катилось к западу. Не слышать было ни крика, ни разговоров, и даже лошади не фыркали и не толкались. Всех занесло пылью. Колонна уже подошла близко к горам.

Сашка поднял клинок и приказал горнистам остановить колонну. В полку Хамдама раздались крики. В эскадроне запела труба. Командиры перекликались от взвода к взводу. Спешившись, всадники еле стояли на онемевших ногах.

Жарковский выслал вперед дозоры. Разведчики разыскали арык. Степь ожила. Везде суетился народ. После перехода надо было расседлать лошадей и напоить их, заняться проводкой. Арыки быстро обмелели. Лошади с раздутыми животами не хотели уходить от воды. Их отрывали от нее плетками. Джигиты скакали во весь опор, они обхаживали коней по-своему.

Командиры предупреждали людей по первой тревоге быть готовыми к бою. Бойцы расположились взводами вдоль тощего арыка, бежавшего медленной, беззвучной струей среди глины и черных отшлифованных гольшей. Кто переобувался, кто мылся у воды, кто грыз лепешку и запивал водой из горсти. Некоторые курили, думая о чем-то своем, уставившись в тусклое, желтое небо. Другие спали, опрокинувшись ничком к земле. Третьи ласково оглаживали своих коней, точно заранее возлагая на них все надежды. Некоторые шатались от зноя, словно пьяные. Не раздеваясь, они обливали друг друга из ведер, но через десять минут обмундирование на них высыхало.

Наконец приполз ослиный караван, нагруженный снарядами ящиками. Начальник каравана, толстый Абдулла, не обращая внимания на окружающий его переполох, выбрал в стороне место и, накрывшись халатом, молился.

Здесь же бойцы натягивали на орудийные колеса расшатавшиеся железные шины. Полуголый Жарковский без усталости работал молотком. Кричали голодные ослы. Джигиты резали баранов на обед. Один плохо

прирезанный баран вдруг вырвался из рук и завизжал, как ребенок. Эскадронцы ругались с караванщиками. Лошади, возбужденные жарой, кусали друг друга. Конюхи орали, разгоняя забияк плетками.

— Эй, земляки! — крикнул Сашка артиллеристам. — Поднажми, поднажми! Что копаетесь? «Эй, живо, живо, живо, подай бутылку пива!»

Без Лихолетова эскадрон скучал. Вот почему даже во время работы он не покидал своих бойцов.

В растерзанной лиловой трикотажной фуфайке, в легких грязных штанах защитного цвета, босой, он гордо сидел на снарядном ящике, разглядывая свою натертую ногу. Шум не удивлял его. Он знал: скоро все придет в норму. Бойцы разбредутся. Лошади успокоятся. Поспеет пища. А после еды наступит законный отдых.

Абдулла молился в трех шагах от Сашки. Сашка не мог отказать себе в удовольствии посмеяться над ним:

— С аллой беседуешь? Кувыркаешься?

— Да.

— Баранов просишь?

— Да.

— Сколько?

— Двадцать.

— Мало! — сказал Сашка. — Проси тридцать! Ты отвечать будешь, если бойцы останутся голодными!

— Больше нет, — грустно сказал Абдулла. — Я два барана богу обещал. Восемнадцать — нам.

— Плохо! — Сашка плюнул. — Значит, бог взятки берет?

— Десять процентов, — ответил Абдулла и снова припал к земле.

Сашка вскочил со своего сиденья.

— Ладно, черти драповые! — сказал он, толкая собаку, нюхавшую его ноги. — Когда-нибудь до вас доберусь!

Юсуп находился тут же. Он лежал на выжженной траве, неподалеку от Абдуллы.

— Не сходить ли нам в медицинский пункт? — вслух подумал Сашка и подозвал Юсупа. Обняв его, он пошел, хромя, стараясь не ступать на пятку.

Возле каравана, за ящиками они нашли Варю. Она раскинула свою палатку. Осмотрев Сашкину ногу, она сказала:

— Не мешало бы помыться!

— Да, не мешало бы, — признался Сашка. — Что ж, Юсуп, сбегай за водой!

Юсуп пошел к арыку. Сашке очень хотелось поговорить с Варей, но она делала вид, что необычайно занята, и перекладывала из одного ящика в другой какие-то пакеты, бинты и банки. Сашка не знал, как приступить к разговору.

Как во нашей во деревне,  
Во веселой слободе  
Ходит парень молодой,  
Неженатый, холостой...  
Как во нынешнем годочке  
Потерял сердечко он.  
Стал родителя просить,  
Стал серьезно говорить.  
Отец сыну не поверил,  
Что на свете любовь есть... —

запел рядом молодой и звонкий голос.

— Знато поет. И песня знатная. — Сашка печально посмотрел на Варю.

Примчался бледный и встревоженный Муратов с запасным конем.

— Наткнулись! — закричал он.

Сашка, забыв про боль в ноге, вскочил на коня, как был, босой, и поскакал в авангард.

Жарковский подал Сашке бинокль. Сашка приложил его к глазам и увидел, что на горном хребте стоит всадник, а за его спиной горит солнце. Лошадь и всадник неподвижны и кажутся черным силуэтом, наклеенным на желтую бумагу. Вдруг силуэт исчез. Сашка даже протер бинокль, но когда он вновь посмотрел в него, гребень был чист.

Хамдам подъехал к Сашке и, обведя пальцем горизонт, точно карандашом, пробурчал:

— Иргаш здесь.

Сашка мигнул так спокойно, словно эта новость была ему не интересна. Есаулы подали Хамдаму платок. Он вытер потное лицо.

— Слава богу, хоть вовремя заметили! — сказал Муратов.

— Иргаш может уйти? — спросил Юсуп.

— Куда он уйдет? Оставив нас на хвосте? Он не дурак, — ответил Сашка. — Это вор бежит, а противники,

милый мой, встречаются. Норовят друг друга кончить. В этом жизнь.

— Не знаю, в чем жизнь. Это пусть философы решают, — сказал Жарковский, поживившись, будто ему стало холодно от слов Сашки. — А сейчас перед нами стоит вопрос практический. Надо выяснить: сколько у него силы?

— Что там силы! — перебил его Сашка. — Восток есть Восток. Сейчас пусто, а через час густо.

— А если и сейчас есть?

— Разбегутся! — Сашка беспечно посмотрел на Жарковского. — Вырвался вперед, так уж бей, не зевай! А разведку засылать поздно.

Жарковский пожал плечами. Юсуп встал на сторону Сашки, не думая. Сашка быстро прикинул в уме план предстоящего боя и словно охмелел от веселой тревоги, и каждая жилочка в его лице заиграла, будто луч, попавший на воду.

Хамдам вдруг хлопотливо сказал Сашке:

— Возьмем Иргаша — добыча наша.

Сашка рассмеялся:

— Разжиться хотят твои мужички? Ладно! Не препятствуем. Босоту да голоту оделим байским добром. Я думал, ты — хан, а ты — торговец!

Хамдам успокоился.

Невдалеке артиллеристы готовили орудие. Это еще более придавало уверенности Хамдаму. А презрительных Сашкиных слов он не понял или недослышал.

Солнце скатилось за гору. Черные скалы расплылись, посерели. Их очертания сливались. Пропадали мелочи, трещины, исчезало в серой дымке все то, что пряталось за камнями. Благодаря ей противник становится невидимым.

Кавалерийская труба пропела сбор.

Волнение пробежало по лагерю. Лошади еще дожевывали корм. Всадники, отрывая их от пищи, спешно проверяли седловку и вставляли им в рот отпущенные трензеля. Возле Артыкматова сидел на корточках босой и косматый Федотка. Маленькая детская тюбетейка едва прикрывала ему темя. Опорки, коротко обрезанные штаны, голубая рубашонка, перетянутая солдатским ремнем, составляли все его обмундирование. За поясом у него торчал узбекский нож.

Когда Артыкматов ушел с отрядом в поход, Федотка решил не отставать от старика. Он увязался за обозом.

Сейчас они встретились, и между Абитом и Федоткой шел спор. Абит приказывал ему идти к Варе, а Федотка только что сбежал от нее. Всю дорогу он трясся в санитарной фуре. Ему это надоело.

— Воевать хочу! — упрямо говорил Федотка. — Что мне с Варькой? Я все равно бинтовать не умею.

— Иди туда...

— Не пойду, — твердил Федотка. — Что я, маленький?

— Коня нет. Как воевать?

— Украду, — наставлял на своем Федотка. — Или убьют кого — вот и конь.

Абит взял его за шиворот и повел насильно к перевозочному пункту.

В эту минуту тревожно и резко запела кавалерийская труба: «Всадники, по коням, по коням, по коням...» Федотка вырвался из рук Абита и побежал в русский эскадрон.

## 14

Под скалами гнезился глиняный кишлак. Женщины в цветных грязных рубашках хлопотали около лепешечных печек, больших, круглых корчаг, врытых в землю. Набирая шматок теста, они быстро раскатывали его на гладком, точно отшлифованном камне, затем раскатанными кусками облепляли стенки корчаги. Детвора купалась в черной луже у колодца. Визг, хохот, крики ребят оживляли кишлак.

Внизу, за кишлаком, по склону горы лежали пшеничные поля, казавшиеся издали желтыми заплатами. По полям шли обнаженные до пояса жнецы, взмахивая серпами. Они продвигались стройным рядом, одновременно, точно по команде, сгибаясь и разгибаясь. Позади, за спиной жнецов, оставалась волна скошенной пшеницы. И небо, и солнце, и мирный запах дыма — все говорило о том, что скоро наступят вечерние часы и отдых ждет людей. Скоро около очага люди соберутся семьями, чтобы радостно встретить покойный, благословенный час пищи и прохлады. У дороги замирала чистая трель

жаворонка, а в зарослях за кишлаком задорно бранились перепела.

Вдруг, нарушая мир и тишину, вынырнули из-за горы джигиты, за ними тяжело скакал Мулла-Баба с двумя семинаристами, а позади всех мчались порученцы Иргаша.

Они окружили работающих дехкан.

— Правоверные! — крикнул Мулла-Баба. — Бросайте все! Спешите на поле войны.

Жнецы прекратили работу, испуганно оглядываясь друг на друга и опустив свои серебристые серпы.

— Вы разве не знаете? — продолжал Мулла, раскачиваясь на огромной кобыле. — Славный Иргаш объявил джихад всем джадидам, большевикам и хулителям ислама. Все мусульмане присоединились к нему. Я, Мулла-Баба, — гордо сказал он, — я послан к вам самим Иргашом. Я объявляю вам: бросайте работу, вооружайтесь кто чем может, поедem к нам, на поле брани! Тот, кто ослушается святого призыва, будет на месте зарублен джигитами.

Мулла-Баба рукавом зеленого халата махнул в сторону своих джигитов. Они обнажили сабли.

— Тот, кто не послушается, умрет как собака, его семью мы предадим черному поруганию, а имущество будет разграблено. Кто же встанет под знамена ислама, тому уготовано место в раю. Это я, Мулла-Баба, обещаю вам. Небо ждет павших.

Дехкане жались, толкали друг друга. Многие опустили глаза в землю.

— Ну что же вы молчите, когда время не молчит?

— Мы мусульмане... Мы пойдем... Но сперва пусть идут молодые! — подобострастно сказал маленький лукавый старичок и сложил руки на животе.

Остальные переглянулись.

— Мы плохие воины, Мулла-Баба. У нас нет никакого оружия, — проговорил нерешительно высокий, обожженный солнцем молодец и выступил вперед из толпы.

Мулла-Баба злобно ожег его камчой.

— Собака! — выругался он и плюнул ему в лицо. — Если ты плохой воин, умирай! А хороший пусть живет!

Быстрые глазки Муллы прощупали толпу, сжатую со всех сторон конниками. Дехкане притаили дыхание и обтирали пот, выступивший на лицах.

— Джигиты! — крикнул порученцам Мулла-Баба. — Гоните их! Приказываю вам. Гоните этих людей во славу бога! А кто будет прятаться, убейте того во славу бога!

Замелькали плетки, сабли, и дехкан погнали в кишлак, как табун. Один из джигитов увидав молодого жёна, притановшегося за камнем, тут же несколько раз рубанул его шашкой. Парень упал под камень, в тень. Голова его превратилась в крошево, и рой мух налетел на нее.

Через полчаса все мужчины кишлака на оседланных лошадях, вооруженные серпами, палками, заржавленными клинками, старинными ружьями, зажигающимися от фитиля, окруженные тесным кольцом джигитов, двинулись в путь.

На крышах домов, у стен стояли молодые и старые женщины. Некоторые из них рвали на себе волосы и пронзительно вопили:

— Прощайте, сыны! Прощайте! Не видать мне очей любимого мужа! Дети, вы увидите своих отцов только во сне! Прощайтесь!

Ребята выли, хватаясь за поводья пробегавших мимо коней. Джигиты бранились и прикладами отпихивали их от себя.

Когда дехкане спустились в долину, они увидали там своих соседей, земледельцев других кишлаков, пригнанных таким же способом.

— Скорее, скорее, скорее! — кричали семинаристы Муллы. — Красные аскеры\* уже мчатся сюда.

Есаулы Иргаша, собрав палочников в отряды, повели их против эскадрона.

## 15

Дикая крестьянская конница, подталкиваемая с тылу плетками и выстрелами есаулов, бросилась вперед, издавая нечеловеческие крики отчаяния. Казалось, что этот страшный, несокрушимый поток все сомнет, все раздавит и растопчет на своем пути. Мергены\*, отличные стрелки, спрятавшись в надежных местах за скада-

ми, приготовились к стрельбе. Палочники служили им лишь средством, отвлекающим внимание красных.

Иргаш сэкономил свои силы. Он пускал в бой верные басмаческие отряды только в критическую минуту. Его люди сражались издали, под прикрытием несчастных крестьян, кинутых прямо в огонь.

Хамдам отправил навстречу этой коннице своих два отряда. Узбеки смело врзались к толпу и точно растаяли в ней. С горы звенели выстрелы.

Сашка берег свой эскадрон для преследования.

Орудие после первого выстрела дало в стволе трещину, и артиллеристы отказались стрелять из него. Тогда красноармейцы-пулеметчики пошли с левого фланга. С пулеметами на конях, обойдя место рубки, они должны были встать между мергенами и тылом басмаческой конницы. Под неистовым обстрелом мергенов, теряя людей, они неслись цепью к подножию горы, чтобы закрыть спуск для свежих резервов Иргаша.

Хамдам вздыхал, наблюдая этот сумасшедший галоп. Когда меткая пуля настигала кого-нибудь из пулеметчиков, цепь на секунду обрывалась, но пулеметчики не останавливали наступления.

Все преимущества были у мергенов. Неуязвимые в своих естественных бойницах, они спокойно выбирали цель. Они стреляли из расчета — один патрон на голову. Прикидывая глазом расстояние от степи до каменной лошадки, Сашка волновался за отделение Жарковского; при каждой новой потере боль искажала его лицо, как будто он обжигался. Ритмически покачиваясь, приседая на полусогнутых ногах и размахивая камчой, он орал среди визга и выстрелов:

— Делай! Делай! Делай!

При атаке нельзя было остаться спокойным. Он часто оглядывался назад, соображая, в каком положении окажутся бойцы эскадрона, спрятанные за арыком, если их послать сейчас в помощь Жарковскому. «Нет, я растеряю все... Нет... Послать их нельзя... Если Оська доберется хоть с одним пулеметом, и то хлеб», — думал он.

— И то хлеб... И то хлеб... И то хлеб... — продолжал он выкрикивать, точно подбадривая себя.

Приходилось оценивать обстановку мгновенно, даже доля секунды имела решающее значение. Страстно хотелось выскочить самому, чтобы прибавить пулеметной

команде еще больше стремительности и бешенства. Но обстоятельства обязывали его вести бой.

Жарковский на ходу перестроил людей, раскидав их звеньями. Они были уже так далеко, что Сашка не мог узнать отдельных бойцов. Только Жарковский заметно отличался от остальных. Подавая сигналы клинком, он несясь в центре своей команды на серой тонконогой кобыле; ее измокшие бока почернели.

Есаулы Иргаша, увидав натиск отдельной горсти, разобрали наконец, что к ним стремятся не кавалеристы, оторвавшиеся от общей атаки, а пулеметчики, угрожающие связи их с конницей. Тогда за скалами почувствовалось оживление, поплыли неясные пятна, — это есаулы выбросили свою кавалерию, чтобы перерезать путь Жарковскому. Теперь исход боя зависел от того, кто первый доскачет до каменной гряды, скрывавшей горную дорогу. Все преимущества в этой скачке достались басмачам. У них были свежие кони, они скатывались вниз, точно камни. А Жарковский взбирался вверх, на подъем. Еще две-три минуты — и пулеметчики были бы сбиты. Жарковский понял басмачей и разом остановил отделение.

Поле опустело, на желтой плоскости появились маленькие точки, гнезда. Лошади тоже были уложены на землю.

«Так, — сообразил Сашка. — Хорошо!»

Жарковский решил спокойно встретить противника. Но и тут перевес все-таки складывался в пользу басмаческого командования. Басмачи наступали на Жарковского с двух сторон: сверху — ружейный обстрел, внизу, с плоскогорья, — кавалерийская атака.

На высокой плоской вершине, куда не могла залезть даже шальная пуля, Иргаш наблюдал в бинокль за ходом боя. Он стоял на маленьком мохнатом коврике. Около него молча теснились курбаши и советники. Здесь же находился Мулла-Баба, а также большой отряд личной охраны. Над головой Иргаша, обмотанной белой легчайшей кисеей, развевалось шелковое зеленое кокандское знамя с вышитой надписью. К ней были прибавлены теперь два слова: «Смерть неверным!»

Ветер рвал длинные пучки конских волос, прикрепленных к головке древка.

Иргаш щурился, ему не нравился натиск:

— Мы уничтожим этих пулеметчиков?

— Конечно, уничтожим, — ответил Зайченко.

Он распоряжался всей операцией, он распределял силы, он намечал тактику боя. Но властолюбивый Иргаш держал его около себя, у своей руки. И штабу и басмачам казалось, что боем руководит сам Иргаш.

Отсюда, с вершины, не слышно было ни стонов, ни криков, ни человеческого иступления. Отчаянная борьба представлялась издали праздничной байгой\*, скачками, потому что никому из людей, находившихся здесь, не угрожала смерть. Кругом на скалах стояли дозорные отряды басмачей — при первой опасности они приняли бы на себя весь удар, дав возможность Иргашу вместе с его штабом отступить в полном порядке, без паники.

Иргаш увидел, что какая-то кавалерийская часть, минуя центр атаки, понеслась вдоль горы по пшеничному полю. Это был Юсуп, мчавшийся в обход с последним узбекским отрядом.

Вести этот отряд обязан был Хамдам, но Хамдам побоялся.

— Если пушка не действует, как я могу действовать? Я не успею доскакать до подъема в гору, — сказал он.

— Можно мне? — предложил Юсуп.

— Пробуй! — сказал Лихолетов.

Когда Юсуп выскочил в открытую степь, осыпаемую пулями, страх сдавил ему сердце. Грошик сразу оглох от криков и выстрелов и плохо слушался повода.

У Иргаша было два выхода: один — в горы, в ущелье, другой — на дорогу в долину. К этой дороге и стремился Юсуп, догадавшись, что он должен занять дорогу первым и что нужны какие-то нечеловеческие усилия, чтобы проскакать это расстояние как можно скорее. Когда Грошик вырвался из рядов, Юсуп приподнялся в стремених и, чтобы облегчить свой вес, даже бросил на землю винтовку.

У Сапара была лошадь моложе и сильнее, чем Грошик. Поэтому Сапар несясь первым, скорее всех. И, подчиняясь общему потоку, все лошади мчались за ним. Впереди было распаханное поле. Попад на мягкую, в бороздах, землю, эскадрон невольно бы замедлил свой аллюр. Надо было во что бы то ни стало догнать Сапара, чтобы повернуть всех влево. Кричать и командовать было бессмысленно. Как ни кричи, как ни надрывай

голос, все равно он потонет в том реве, с которым неслись джигиты.

— Юсуп не опередит... И Грошик не справится... Нет, нет... — бормотал Сашка. — Теперь завязнет эскадрон. Всех перехлопают.

Сердце билось у него в груди. Махнув рукой на весь свой план, на все свои расчеты, он уже готов был помчаться на выручку Юсупа.

— Эскадро-он! — закричал он.

Но в это мгновение обстановка в поле изменилась.

Юсуп решил обойти Сапара с правого бока. Когда Грошик поравнялся с лошадью Сапара, Юсуп увидел, что Сапар скачет с закрытыми глазами и дикий, дрожащий, бессмысленный вопль: «А-а-а!» — вырывается у него из горла. Юсуп камчой ударил лошадь джигита по морде. Она дернулась влево, и тут Грошик вылетел вперед, как былинка. Юсуп выхватил клинок из ножен и тоже закричал, как Сапар: «А-а-а-а!» Грошик прижал назад уши. Издали казалось, что он стелется по земле. Теперь Юсуп был спокоен, эскадрон повернул за ним. Пахота осталась в стороне.

В ложине за арыком, у своей палатки, стояла Варя и следила за боем. Раненых еще не принесли. Юсуп очутился на дороге почти один. Кругом него взбивались от пуль маленькие облачка пыли.

— Убьют! — шептала Варя.

И верно, к Юсупу нетрудно было пристреляться. Белая рубаха сверкала, как мишень.

Иргаш, наблюдая за всей этой скачкой, невольно залюбовался ею, щелкал языком от удовольствия и, опуская бинокль, сказал окружавшим его курбаши:

— Посмотрите на этого джигита! Он не скачет. Он летит, как белый кречет. Изловите его!

Несколько джигитов из личной охраны помчались вниз, с горы, чтобы исполнить приказание Иргаша...

В штабе Иргаша не знали результатов наступления до тех пор, пока есаулы не прискакали туда с долины.

Услышав от них, что палочники разбегаются и стрелки отходят с левого фланга, Иргаш посмотрел на Зайченко и сдвинул брови. Взгляд Иргаша был ужасен, тем более что только за минуту до этого Иргаш веселился. Он размахивал тяжелым полевым биноклем, привязанным к ремню. Зайченко отвернулся и присел на выюк.

Иргаш стал лиловым от гнева и крикнул Зайченко:

— Это ты виноват! Куда ты годишься? Встань!

Зайченко не встал. Он только положил руку на кобуру и проговорил, отчеканивая каждый слог:

— Я привык командовать солдатами, а не этой сволочью.

Иргаш скрипнул зубами и швырнул бинокль о камень.

Есаулы стояли, дожидаясь приказаний. Один из них, старый седой кипчак, с лицом, изрытым оспой, наконец не выдержал тягостного молчания и спросил у Зайченко:

— Что же делать?

Зайченко встал и, ткнув пальцем вниз, в то место, откуда выходила дорога из ущелья, сказал:

— Соберите все мясо и высылайте его туда! Да не сразу, а частями затыкайте дыру! — Потом он обернулся к Иргашу и тихо добавил по-русски: — А мы начнем отход. Сопротивляться не с кем.

Есаулы посмотрели на Иргаша. Он кивнул им. Тогда они вскочили на коней и поскакали вниз.

## 16

Раскаленные стволы жгли пулеметчикам пальцы. Во рту пересохло, и горло горело. Вся вода из фляжек была вылита на охлаждение стволов.

Каменная гряда прикрывала выход из ущелья. Поэтому, до тех пор, пока басмачи не выскакивали в долину, они шли за скалами, будто за забором, не боясь пулеметного огня. Запас пулеметных лент у Жарковского иссякал, и Сашка чувствовал, что, если басмачи кинутся еще раз на пулеметную цепь, многие из них прорвутся. Он послал записку Жарковскому: «Вызови охотников, чтобы доползти до горы, и там между камнями, в скалах, установи пулемет! Запри выход!» Пулеметчик Капля согласился выполнить эту задачу.

— Один пулемета не дотянешь, — сказал Жарковский Капле.

— Я не один. Я с Федоткой, — ответил Капля.

Тут только Жарковский увидел, что рядом с пулеметчиком стоит какой-то мальчишка.

— Кто это? — удивленно спросил Жарковский.

— Приблудный, — ответил Капля, ухмыляясь. — Он еще в Коканде болтался с нами. С обозом.

— Как он очутился тут? — нетерпеливо перебил пулеметчика Жарковский.

— Да очень просто, — бойко заявил Федотка, отвечая вместо Капли, — слышу, паника... стрелят. Думаю — куда спастись? Вскочил на первого коня. Со всей компанией!

— Способный, — подтвердил Капля, толкнув парнишку. — Разрешите? Ей-богу, мы с Федоткой мигом это сделаем.

— А пулемет он знает?

— Эка невидаль! — пренебрежительно заметил Федотка, сообразив, что вопрос касается его. — Да этих пулеметов я видал-перевидал!

— Ну, ваяйте! — сказал Жарковский.

Через минуту Капля и Федотка, прикрыв тряпками пулемет, поползли к горе.

Капля подтягивался вперед на локтях, по-казацки. Федотка старался не отставать от него. Иногда ему казалось, что Капля слишком забирает вперед, тогда он просил его потихоньку:

— Дяденька... Не могу... Обождите.

В ту минуту, когда отступавшие басмачи вновь выскочили на дорогу, пулемет был налажен. Банда, в лоб встреченная огнем, смешалась и ринулась назад в ущелье. Жарковский послал Лихолетову записку: «Дорога свободна».

Заиграл горнист. Эскадрон, подняв красное знамя, выехал из ложины. Сашка повел последнюю атаку. Хамдам скакал вместе с ним. Палочники были смяты сразу. Джигиты Иргаша хотели выстрелами остановить отступающих крестьян, но задние ряды его же бегущей конницы растоптали их. Все смешалось. Мергены скрылись из своих гнезд, решив подняться выше, на перевал. Частыми выстрелами они прикрывали отход Иргаша.

Иргаша могли взять в плен, если бы не произошли неожиданные события. Конница уже настигала его, охватывая с двух сторон. В пылу преследования никто не заметил нескольких легких толчков, предвестников бури. Она разразилась внезапно, с ревом проходя сквозь

ущелье. Пыльный туман закрыл и долину и горы. Буря бушевала до ночи и помогла скрыться Иргашу.

Утром конница обыскивала кишлаки. В одном из домов был найден оставший Мулла-Баба. Он упал с лошади и разбился.

Женщины, причитая, искали в поле погибших мужей и проклинали Иргаша.

## 17

Похоронив на месте убитых, а раненых отправив в Коканд, отряд продолжал поиски. Но Иргаша будто занесло песком, он опять исчез бесследно.

Осень эскадроны провели в горах, вылавливая остатки шаек. К зиме все вернулись домой. Блинов был очень доволен результатами экспедиции и многим роздал награды.

Хамдам получил почетное боевое оружие. Но это не успокоило его.

— Голова Иргаша — моя награда, — сказал он Блинову и попросил разрешения свидеться с Мулла-Бабой. Через старика он надеялся узнать, где может спрятаться Иргаш.

Мулла-Баба сидел в крепости. Небольшая камера, когда-то выбеленная известкой, пахла уборной, дымом. Оконное стекло было разбито. На дворе, рядом с тюремным помещением, жгли кучи мусора и нечистот.

Хамдам, войдя в камеру, почтительно приветствовал Мулла-Бабу. Мулла-Баба не ответил ему, не поднял головы и только плотнее запахнул свой зеленый халат: на него подуло сквозняком.

Хамдам стоял, разглядывая шелковую черную тюбетейку Мулла-Бабы, вышитую потускневшим уже серебром. Старик не проронил ни слова. Он предоставил выбор Хамдаму: уйти или первому начать разговор.

Мулла-Баба сидел на пятках с таким выражением лица, как будто собрался молиться. Он даже не пригласил Хамдама сесть. Тогда Хамдам сел без приглашения у двери, как мюрид, пришедший к наставнику. Всей своей фигурой, покорностью, молчанием он говорил Мулла-Бабе: «Я каюсь. Начни речь со мной».



Мулла-Баба молчал.

Промучив Хамдама около часа, Мулла-Баба спросил его наконец, зачем он пожаловал.

— Ты лучше меня знаешь об этом, — тихо ответил Хамдам.

— Я не знаю.

— Я хочу тебя спасти, отец, — сказал Хамдам, поглаживая ладонями свою бороду. — Я сам сидел здесь. Я знаю, как это приятно.

Мулла-Баба не выказал удивления. В своей жизни он видел многое. Он не поверил Хамдаму и усмехнулся:

— От тебя ли, джадида и красного, ждать мне спасения?

— Я не джадид и не красный. Я только сгибаюсь, когда дует сильный ветер. Я не хочу сломаться. Не мне тебя учить, Мулла-Баба. Ты меня можешь научить жизни. Что из того, что тигр смел, если комар может ослепить его? Может быть, Иргаш тигр, а я комар. Но я никогда не предаю ислама. А Иргаш губит его и губит народ. Те, кто погиб, уже не встанут. Те, кто спасся, постараются уйти от Иргаша. Только смерть или голод поведут их, как пленников, на цепи. Нет, Мулла-Баба, жизнь принадлежит настойчивым, а не храбрым.

Мулла-Баба захохотал.

— Твой красный полк тоже так думает? — спросил он.

Хамдам почувствовал издевательство, но сдержался и ответил спокойно:

— Люди есть люди. Я знаю, что они думают по-разному. Пусть мой полк будет красным, но у меня есть мои джигиты и мои есаулы, и я командую этим полком. Лошадь везет арбу и арбакеша, но дорогу указывает ей арбакеш.

Мулла-Баба поднял голову. Астма опять мучила его. Широкие ноздри его крючковатого, обгоревшего на солнце носа широко раздувались. Казалось, что он нюхает воздух. Он искоса, одним глазом, всматривался в Хамдама, изучая его.

— Что тебе надо? — будто нечаянно спросил он.

— Скажи, где Иргаш? — сказал Хамдам.

— Зачем тебе Иргаш?

— Это мое дело.

— Ты ненавидишь Иргаша. Ты думаешь, если все перевернется, ты опять будешь подручным у него. Ты завистник. Ты расчищаешь себе путь.

— Думай как хочешь!

— Я угадал.

— Пусть будет так! Я не хочу спорить об этом. Я предлагаю тебе жизнь. Это лучше, чем твои догадки.

— Значит, возможна смерть?

— Все возможно, Мулла-Баба. И уж скорее смерть, чем жизнь. Русские злы на тебя.

Хамдам хотел застрашать старика. Тот задумался, подкручивая конец бороды, словно купец, размышляющий о делах. Хамдаму эта медлительность становилась уже неприятной. Он не любил колебаний, он считал, что потрачено уже довольно времени на предварительные разговоры и пора приступить к делу. Хамдам спрятал руки, чтобы пальцы не выдали его волнения.

— А чем же смерть хуже жизни? — вдруг спросил Мулла-Баба.

— Ты думаешь о рае, почтенный Мулла-Баба?

— Нет, — старик безразлично махнул рукой, — я говорю о том, что смерть так же естественна, как жизнь. Только глупые люди никак не могут к ней привыкнуть. Это себялюбие. Человек принимает спокойно смерть животного, смерть дерева, смерть звезды, но никак не хочет принять собственной смерти.

— В этом его счастье. Жизнь хороша, — вежливо возразил Хамдам.

— Хороша? — Старик поднял глаза. — Тогда зачем же человек повсюду сеет смерть, убивая все живое вокруг себя, все, что дышит: рыб, птиц, животных, людей? И не жалеет собственной жизни, растрачивая ее на пустяки? Если бы он ее жалел, он бы врос ногами в землю, как дерево, пустил корни и жил, точно кедр, тысячелетие.

— Почему же ты не живешь так, отец? Жил бы, как кедр! — насмешливо перебил старика Хамдам.

— Потому что я человек, — ответил Мулла-Баба, — я не боюсь смерти. Все случайно на земле — и жизнь и смерть.

«Начались разговоры!» — подумал Хамдам. Он встал и резко сказал Мулла-Бабе:

— Мне некогда. Значит, об Иргаше ты ничего не знаешь?

Вставая, Хамдам нечаянно шелкнул шпорами.

Старик, прищурясь, осмотрел кожаную куртку Хамдама, кавалерийские штаны, обшитые кожей, фуражку защитного цвета с красной звездой.

— У тебя широкие шаги, Хамдам,— сказал он ему,— но короткий путь.

— Длиннее, чем твой! — пригрозил Хамдам и вышел из камеры.

Мулла-Баба улыбнулся.

## 18

Когда Хамдам вышел из крепости, вслед за ним появилась женщина в парандже. Он не заметил ее шагов. В Старом городе, в пустынном месте, он услышал ее голос. Она окликнула его. Он остановился.

— Агарь? — воскликнул он, обрадовавшись.

— У меня есть теперь дом в Коканде. Приходи ко мне, Хамдам!

— Ты что же, разбогатела?

— Немножко. Приходи!

— Когда?

— Когда хочешь. Хоть сегодня.

Показав ему свой дом, Агарь скрылась. Он подумал, не заманивает ли она его. Но потом отбросил все сомнения: «В конце концов Агарь принесла мне пользу».

Ночью он был на месте. Не успел он постучать в калитку, она раскрылась, и Агарь стояла на дворике. Она взяла Хамдама за руку. В комнате пахло керосином, горела маленькая лампа. За накрытым столом, убранном для ужина, сидел Джемс.

— Это тоже мой гость. Я не могла его прогнать. Хороший гость! — сказала Агарь, показывая на Джемса. — Он говорит, что знает тебя.

Хамдам нахмурился. Джемс, приветствуя его по-мусульмански, назвал себя.

— Я подсылал к вам людей еще летом, — сказал он. — Вам передавали, что я хочу видиться с вами?

— Нет, — ответил Хамдам.

— Ну, значит, они боялись вас. Я так и знал, что мне придется все-таки говорить с вами лично.

Хамдам подозрительно оглядел Джемса.

Джемс два дня тому назад приехал сюда из Ташкента. После падения кокандских автономистов он пробрался в Ташкент к знакомым узбекам, потом, с легализацией британской миссии, перешел туда на работу и жил в Ташкенте уже совершенно открыто. Сейчас миссия поручила ему съездить в Коканд, Наманган, Андижан и на Чимионские нефтяные промыслы, с этой целью он и предложил ей свои услуги, но главным было другое: он решил возобновить прежние связи, организовать явки и завербовать новых агентов.

Это было его действительным делом. Формально же он выехал как экономический уполномоченный. В связи с национализацией банков и приисков миссия предъявила туркестанскому правительству протест и требовала точного учета национализированного. Так как капиталы в предприятиях были смешанные — американские, английские, французские и русские, — миссия назначила Джемса контролером при этом учете.

Джемс давно думал о Хамдаме как о полезном для себя сотруднике. Приехав в Коканд, он увиделся с Назар-Коссаем, и тот по привычке решил воспользоваться услугами Агари, чтобы свести Джемса с Хамдамом.

За деньги Агарь могла сделать все, что угодно, а не только устроить свидание. Она даже не подозревала, кто такой Джемс. Этот вежливый человек, щедрый, спокойный, в кожаном пальто, в высоких сапогах, в мягкой серой шляпе, превосходно говорил по-узбекски.

Джемс протянул Хамдаму руку и пригласил его к столу. Хамдам поздоровался, покачал головой, вздохнул, но все-таки сел. Теперь ему стало ясно, что свидание было заранее подстроено. Боясь отравы, Хамдам брал со стола только то, что ел Джемс: баранину, рыбу, арбузы, дыни. Агарь сидела тут же. Эта неряшливая, но соблазнительная, как всегда, женщина обсасывала ломтики дыни и вытирала руки о бедра. Агарь молчала и улыбалась.

Покончив с едой, гость закурил и предложил Хамдаму папиросу:

— Вы сделали правильно. Теперь вам верят красные. Это хорошо.

Хамдам вскочил с табурета и ушел в темный угол. Он не понимал этого равнодушного и тусклого разговора. Он ждал ножа, выстрела.

— Вы предали Иргаша, — тем же холодным тоном сказал Джемс. — Вы предатель. И все-таки я сейчас вижу, что вы нужнее Иргаша. Иргаш — грубая сила, а вы умны.

Хамдам бросил папиросу.

— Вы останетесь красным вместе с вашим полком. Я ничем не угрожаю вам, не правда ли? Я раскрою вам очень важную тайну. В Ферганской долине будет съезд курбаши. Хотите быть на этом съезде?

— Зачем?

— Мне кажется, что вы не окончательно передались на сторону красных.

— Это мое дело.

— Ваше, конечно. Но я ведь знаю вас, Хамдам! Вот почему наши интересы сходятся. Мы хотим предоставить эту страну туземному управлению, а за нами останется только финансовая поддержка... ну, и контроль. Мы коммерсанты... Нас интересует процент, а не власть. Вы простите, что я даю вам уроки политической экономии. Но я вижу, что вы современный человек и что воскресить прошлое, то есть всех этих ханов, невозможно... да и незачем! — Хамдам улыбнулся. Джемс тоже. — Ведь без нашей помощи вы не справитесь! Но вы будете владыкой в Фергане. Народ будет все-таки верить вам, а не русским. Мы вас знаем давно. Мы же вам помогали в Киргизии. Помните, когда вы бежали из Сибири?

Хамдам молчал.

— Согласитесь! — сказал гость. — Это верное дело. Смешно думать, что большевики удержатся. Оставайтесь красным! Берегите себя! Сумейте так сочетать свои действия, чтобы вам верили большевики, но вы будьте верны нам. А потом придет момент.... Мы обменяемся услугами... Вот и все. Все останется в тайне.

— Какие услуги?

— Приезжайте, поговорим! Иргаша, конечно, на этом съезде не будет. Если понадобится, мы даже выдадим вам Иргаша.

Хамдам был испуган откровенностью этого, очень важного, по его мнению, разведчика. Он сразу раскусил

его и, чтобы не выдать своего испуга, решил держаться с ним дерзко, даже нагло.

Он усмехнулся и спросил, как бы издеваясь:

— Вы хотите меня убить?

— Тогда я бы не разговаривал с вами, — ответил Джемс. — Для этого вас не надо звать за десятки верст. Убить можно где угодно и когда угодно. Вы подумайте, Хамдам, не торопитесь! Я вам пришлю человека, и вы ему скажете либо «да», либо «нет».

При этих, уже знакомых, словах Хамдам вспомнил тюрьму и советы Агари.

— В крайнем случае вы там, на съезде, можете все решить. Там вы учтете обстановку. Видите, мы рискуем, а вы нет! Теперь мне надо идти.

Джемс встал, схватил Хамдама за плечи, дружески встряхнул, расхохотался и ушел, оставив его с Агарью.

Хамдам кинулся за ним в переулочек. Джемс уходил, постукивая тросточкой по глухой стене переулочка.

Теплые руки обняли Хамдама, слегка сдавили ему горло. Он услышал за спиной смех Агари. Она спросила:

— Это был бухарец?

— Не знаю. Кажется, — ответил Хамдам.

Он следил за длинной тенью Джемса. Тучка набежала на зимнюю луну. Человек, которого он тоже принял за бухарца, исчез.

Утром Хамдам озяб в постели. Он проснулся от холода: Агарь стянула на себя все одеяло. Одевшись, он вышел на цыпочках, чтобы не разбудить ее. Солнце горело над землей. Слезилась деревья, снег, выпавший за ночь, растаял. Все, что случилось, казалось Хамдаму необъяснимым и непонятным, существующим вопреки здравому смыслу.

Как он может ехать на съезд? Зачем посылать его туда? Легко было бы убить его этой ночью. Нет, не за смертью зовут его! Им интересуются. «Судьба — как птица. Куда полетит? Неизвестно», — подумал он.

В этот же день из дома Агари Хамдама увезли в Фергану.

На съезде Хамдаму оказывались почести, никто не говорил об Иргаше. А если и говорили, так дурно. Иргаш на этот съезд вовсе не явился. Вместо него был какой-то однорукий киргиз.

Хамдаму поручили наблюдать за красными, глубже войти в их ряды и подорвать Ходжентский мост. От басмачей он привез золото и еще больше обещаний. «Скоро наступит решительный час, — сказали ему. — Мы потребуем от тебя кое-чего, и если ты это выполнишь, ты получишь голову Иргаша».

Хамдам согласился.

В Коканде он сообщил Блинову о съезде, скрыв свое присутствие на нем, и получил именные золотые часы.

Перед отъездом в Беш-Арык он захотел опять встретиться с Агарью. Увидав его награду, она долго хохотала, гладила его по лицу своими грязными и сладкими пальцами. На прощание он подарил ей одну золотую монетку.

— Ты все-таки свинья, Хамдам, — сказала она, крепко зажав монету в кулак.

## 19

Год выпал тяжелый. Всю зиму Хамдам провел в Беш-Арыке, скучал и ссорился с женами. Они отказывались спать с ним, потому что он заболел чем-то дурным. Сперва он не обратил внимания на свою болезнь, запустил ее, и лишь теперь, когда она всерьез скрутила его, решил заняться лечением.

Чуть ли не каждый день он гонял Насырова в Коканд за лекарствами, но медикаментов не было, аптека пустовала, а китайские мази, купленные есаулом на базаре, причиняли страшную боль и ожоги.

Кроме медицинских поручений своего начальника, Насыров имел еще другие, более секретные. Хамдам приказал ему найти бухарскую еврейку и прирезать. Но как ни старался Насыров найти Агарь, как ни обыскивал старую часть Коканда, заглядывая в каждую щелку, всех расспрашивая об Агари, ее нигде не было. На базаре давно ее не видели. Дом стоял заколоченным, хозяйка пропала неизвестно куда.

Это исчезновение Хамдам расценил по-своему. Он заподозрил Агарь в том, что ее подослали к нему, и чем чаще он вспоминал свою ночную встречу с этим бухарцем или англичанином (только дьявол знает, кто он), тем сильнее росла в нем эта уверенность. Быть может, тайна

ственные силы мстили ему за измену? Такое подозрение возбуждало в нем одновременно и страх и гнев. Болезнь и нервное состояние помогали этим мыслям.

Никто не требовал от него взрыва Ходжентского моста. Главари басмачей, еще так недавно старавшиеся залучить его к себе, сейчас как будто совсем забыли о нем. В Коканд он тоже не ездил. Полк управлялся отдельными начальниками отрядов. Юсуп командовал первой сотней, а Насыров и Сапар были назначены Хамдамом командирами: один — во вторую, другой — в третью сотню. Они спорили между собой, желая урвать друг у друга добычу.

Юсуп мешал джигитам грабить и заниматься налетами. Сапар жаловался, что Юсуп, пользуясь болезнью начальника, хочет забрать полк в свои руки, командует джигитами, будто русскими аскерами, и стремится вести не подходящие для джигитов порядки.

— Мы вольные люди, — говорил Хамдаму Сапар. — Если дальше пойдет так, все разбегутся.

Хамдам, неожиданно для Сапара, остался равнодушен к этому заявлению, как будто ему было не до распрей. Казалось, что он ушел в свою болезнь и ни о чем другом не хочет слышать.

Болезнь действительно удручала его. Но дело было не только в ней.

Хамдам растерялся. Он вдруг поплыл, точно щепка, между двух берегов, не зная, на какой берег в конце концов выплеснет его волна.

Заигрывая с Блиновым, аккуратно выполняя все его поручения по выкачке оружия, по арестам подозрительных лиц, по ловле басмачей, он надеялся заслужить полное доверие Блинова. Все, что он делал, было противно ему. «Я должен быть на этой стороне все-таки, — думал он. — Отсюда я могу добиться настоящей власти. Только здесь порядок, а не у заговорщиков. А потом, когда я получу свое и когда приспее время, можно будет повернуть по-своему. Бухарец прав. Народ будет все-таки верить мне, а не русским».

Впоследствии он увидел, что в этой игре он не один, что целый ряд других курбаши также перешел на сторону русских. В особенности он завидовал Парпи и Ахунджану.

Ахунджан квартировал со своим полком в Андижане. Древний город, известный еще арабам, видел многое в своей жизни. В XVI веке при знаменитом уроженце Ферганы, султанине Бабуре, завоевателе Индии, основавшем империю Великих Моголов, Андижан был столицей, славился дынями, грушами, жирными фазанами и богатой торговлей своих купцов. Старинный город и его прежние величия еще более возвышали Ахунджана в ряду других курбаши. Ахунджан был сильный соперник, грубый, смелый человек, Хамдам предчувствовал, что когда-нибудь столкнется с ним: они не захотят разделить власти. «Если Ахунджан работает искренне, тем хуже для него, — решил Хамдам. — Если он такой же, как я, значит придет минута, когда кто-нибудь из нас должен съесть друг друга».

Ум Хамдама, не привыкший к размышлениям, к сложным комбинациям, изнемогал от такой непосильной работы.

Но больше всего досаждали ему Парпи и Ахунджан. Первого он еще кое-как выносил и считал, что с ним всегда сумеет справиться. Но когда командование наградило Ахунджана орденом за ликвидацию басмачей, Хамдам готов был задушить соперника собственными руками. Он не мог спокойно слышать о нем, но тщательно скрывал это от всех, даже от близких. «Я знаю — и доволен. Другим знать не к чему!» — думал он.

Юсуп догадывался только об одном, — так же как и другие командиры и порученцы Хамдама, — что Хамдам чем-то недоволен и что чувства его в разброде.

Насыров, командир второй сотни, не обращал на это внимания. Он один из всех понял настоящую причину. «Хамдама съедает тщеславие», — решил он. Но так как сам он не был тщеславным человеком, то и Хамдаму не сочувствовал в этом.

Сапар относился иначе. Он не понимал Хамдама и тайне упрекал его. Молодой, непоседливый джигит изнемогал от тишины беш-арыкской жизни. Она для него становилась тоскливой и невыгодной. С компанией таких же удалцов, под стать себе, он продолжал еще потихоньку заниматься мелкими разбоями, но это не утешало его души, искавшей крови и разгула.

Однако страшнее всего и оскорбительнее всего было другое. После похода на Иргаша совсем изменился

Юсуп. Сапару, ослепленному ненавистью, казалось, что этот юноша становится богатырем, что с каждым месяцем у него расправляется грудь и шире становятся плечи, все мужественнее делается он, все крепче звучит его голос, он уж не робеет, как прежде, и не опускает глаз. Тайная, затаенная вражда между Сапаром и Юсупом разрасталась все больше и больше, даже джигиты втянулись в нее. Они разделились и Юсуп видел, что нет никаких сил остановить эту борьбу.

Юсуп был спокоен только за свою сотню. Ее джигиты верили ему беспрекословно. И эту веру еще более укреплял Артыкматов — он был душой юсуповской сотни. Спокойный, честный, благородный старик, точно судья, разрешал все семейные дела джигитов, все их ссоры и распри. Если бы не эта сотня, первый тюркский полк давно развалился бы на отдельные шайки.

Такое положение в полку очень тревожило Юсупа. Но его ждало еще новое испытание.

## 20

В тот день, когда Хамдам уехал к врачу в Коканд, Юсуп неожиданно встретил Сапаров в саду. Эта встреча произошла с глазу на глаз, и оба они сразу почувствовали в ней что-то необычайное, хотя оснований для этого как будто и не было.

Вообще весь этот день казался необыкновенным, так же как и внезапный отъезд Хамдама.

Еще накануне Хамдам не думал ни о врачах, ни о поездке. Он лечился старыми народными средствами либо теми мазями, что Насыров привозил ему с кокандского базара. Мысль о настоящем лечении, о европейском враче не возникала ни у Хамдама, ни у тех, кто его окружал. Да и он сам считал свою болезнь обычной. В народе к ней давно привыкли, думали о ней не больше, чем о насморке. «Все, что случается, — случается по воле бога», — так говорят старики. Так же говорил и Хамдам.

Но, очевидно, действительно пришли новые времена, если даже жены из-за болезни мужа отказываются с ним спать! Он мог бы, конечно, принудить их, они в его власти. Но Хамдам чувствовал, что это несправедливо.

Он уступил. Он сделал эту уступку, даже не замечая, что делает. Он поддался уговорам Рази, этой хитрюги. «Какой тебе расчет, если мы будем больны? Ведь придется же лечить и нас! — говорила она. — Мы молодые. Мы можем зачать. Неужели ты, сильный и здоровый, захочешь иметь хилых и слабых детей?» Она упростила его потерпеть и вылечиться.

«Да, мир действительно изменился», — подумал он. Болезнь и уступчивость увеличили в нем злость. «Но я не изменился, я такой же...» — хотелось ему думать о себе. И он понял, что этого ему только хочется, а на самом деле все идет не так, и он считал, что всему причиной эта болезнь. Присутствие Садихон отвращало его от других женщин. Ее круглые плечи, ее тонкие, длинные розовые ноздри, ее пухлые вздернутые губы, ее ноги, созданные для танца, ее легкие шаги, ее улыбка, ее хрупкое тело возбуждали его сейчас так сильно именно потому, что они были недоступны. Больше того, он жалел ее и щадил, и эти чувства в нем самом возбуждали гордость. Он тешился и самоуслаждался своей уступчивостью.

Эти мучения продолжались до тех пор, пока ему не пришла мысль обратиться за помощью к европейскому врачу. До сих пор Хамдаму не случалось болеть. Недомогания переносились им всегда на ногах и без всяких лекарств. Поэтому мысль об европейском враче сперва даже поразила его. «Как я поеду? Что скажу? Как меня будут лечить? — думал он. — Но ведь русские же лечатся! И болезни проходят. И если я обращусь к европейскому врачу, он меня вылечит быстро. Я обращусь!» — решил Хамдам. Это решение пришло к нему ночью, во время бессонницы. Он едва мог дожидаться утра.

Утром весь двор был поднят на ноги. Жены и джигиты отправляли Хамдама в Коканд. Он велел собрать ему разных запасов, так как знал, что в городе сейчас лучше расплачиваться продуктами, а не деньгами. Вместе с ним ехал Насыров. Насыров выючил лошадь, пока Хамдам пил чай на галерейке, под навесом. Хамдам был весел, смеялся и шутил. Он так надеялся на европейское лечение, что готов был сорваться, как мальчишка, и галопом мчаться в Коканд, и лишь боязнь уронить свое достоинство удерживала его от необдуманных движений.

Но все в доме и без того чувствовали, что у Хамдама сегодня хорошее настроение, и все спешили воспользоваться этим. Рази попросила его достать в Коканде шелку для одеял; джигиты приходили с разными просьбами: кто домогался лошади, кто жаловался, что ему не хватает хлеба. Приходили и жители Беш-Арыка, обвиняя Абдуллу в лихоимстве. Хамдам удовлетворил всех, кого можно было удовлетворить сразу, и обещал исполнить все, о чем его просили.

«Одной тебе ничего не надо, скромница, — сказал он, увидев Садихон. — Что привезти тебе?»

Ее пухлые губы улыбались, и солнце сияло на ее лице. Хамдам заметил, что она сильно похудела за эту зиму и глаза ее изменились — в них пропало девичество. В них появилась ненасытная жадность, как будто она была голодна, и еще более почернели тени под глазами. Пожалуй, хрупкость ее увеличилась, однако она выросла и с виду стала крепче.

Двор и галерейка были битком набиты народом. В этой толпе среди провожающих находился и Юсуп. Садихон стояла неподалеку от него, возле столбиков галерейки, и смотрела в сторону. Ее голова была гордо закинута назад. Она следила за Юсупом, и то, что этого никто не замечает, приводило ее в восторг. Она, как дитя, радовалась своей хитрости.

Хамдаму пришлось повторить свой вопрос, потому что Садихон не слыхала его. Ее охватило неприятное ощущение. Она боялась, что Хамдам сейчас ее поймает, догадается о грешных мыслях, которые мучают ее целый месяц. Она вспыхнула от смущения и обернулась к Хамдаму.

— Спасибо! У меня все есть, — сказала она, показывая свои мелкие беленькие зубы, и у нее было такое выражение лица, как будто она хочет укусь Хамдама.

— Подойди ко мне, лисенок! — сказал он нежно.

Садихон подошла. Она была в шелковом халате. Он взял ее за руку, подержал руку в своей ладони, как драгоценность, и отпустил. Рука повисла. Хамдам заметил, что Садихон потихоньку вытерла ее о полу своего халата. Он покраснел, и сразу отвернулся от младшей жены, и не обращал на нее внимания до самого отъезда, и, даже уезжая, не сказал ей ни слова.

От Садихон не ускользнуло это. «Я же не виновата, что у него мокрые руки!» — подумала она. Садихон догадалась, что сделала промах, оскорбив Хамдама. Но ей уже было все равно. Ее терпение истощилось. Она уже потеряла все свои девические свойства: покорность, умение приспосабливаться и примиряться. Она испугалась старости, и ей захотелось жить. Она думала о любви. Это изводило ее. Первым, кто приходил ей на ум вместе с этими мыслями, был Юсуп, потому что других юношей она не знала.

Хамдам наконец уехал.

Ее знобило, ей не хотелось говорить, будто обруч стянул ей голову. Рази спросила ее: «Что с тобой?» Она сослалась на лихорадку и решила лечь, уснуть.

Проспав несколько часов, Садихон почувствовала себя легче, пообедала вместе с Рази. Рази заметила, что Садихон все время грустна, как будто скучает, и не принимала ее никакими расспросами. Вечер был близок. Раскалившаяся за день земля источала изнурительный жар. Сонно пахла трава, Садихон бродила по тропкам, от дерева к дереву. Чудесный зеленый мир окружал ее, и это еще сильнее угнетало душу. «Мне плохо, — думала Садихон. — Я погибаю». Она забрела в дальний угол сада и услышала шорох среди кустов. Она испугалась, увидев Юсупа. Он стоял с ножом в руке и смотрел на нее.

— Что тебе здесь надо? Твое место в конюшне с джигитами. Что ты подглядываешь за мной? — крикнула ему Садихон.

Юсуп спокойно принял все эти выкрики. Он понял, что она слаба, что от ее гордости и заносчивости даже следа не осталось. «Она несчастна», — подумал Юсуп и, спрятав нож за пояс, подошел к Садихон.

— Я пришел срезать себе палку для камчи, а вовсе не подглядывать, — сказал он. — Я не знал, что ты здесь гуляешь.

Садихон была утомлена и взволнована, словно она боролась с чем-то, стараясь защититься, как беспомощный ребенок. Глядя на это хрупкое существо, на эту тростинку, Юсуп забывал, что Садихон — женщина, изнемогающая от своих желаний. Садик казалась ему юной девушкой, и он смотрел на нее с нежностью.

— Год мы не разговаривали, — сказала Садик, облизывая сухие губы.

— Нет, меньше, — ответил он, улыбаясь.

— Помнишь орех? — спросила Садихон, отдаваясь воспоминаниям, и закрыла глаза.

Вдруг во дворе заскрипели большие деревянные ворота на железных петлях. Приехал Хамдам: ворота всегда раскрывались для него. Садихон сразу съежилась, точно комок из хлопка, губы ее задрожали, и она убежала.

## 21

Хамдам прибыл не один. Он привез из Коканда врача. В Коканде по-прежнему жилось голодно, а в Беш-Арыке Хамдам обещал врачу и квартиру, и баранов, и муку. Врач заявил ему:

— Я вылечу вас гораздо быстрее, если вы все время будете находиться под моим наблюдением.

— Чем скорее, тем лучше, — сказал Хамдам.

На этом они и сошлись.

Услыхав о приезде Хамдама, во двор сбежались джигиты. Опять поднялась суета. Хамдам приказал резать молодого барашка к обеду. После обеда врач сделал Хамдаму первое вливание.

Устав от поездки, от шумного и беспокойного дня, Хамдам захотел отдохнуть. Он ушел к себе на мужскую половину и прилег на софу.

Закатывалось солнце, сверкая в бутылочных осколках, вмазанных в глиняный гребень стены. Осколки эти служили защитой от воров и любопытных.

Жены сидели в саду. Хамдам думал о них и радовался семейной жизни. Он улыбался, вспоминая ум Биби и привлекательность Садихон. Конечно, Биби упряма, и все-таки она оказалась права. Доктор одобрил ее поведение. Теперь все пойдет на лад. Не дай бог ум женщине, но еще хуже, если она без ума. Он счастлив, жены его не строптивы. Он не знает тех страшных скандалов, какие бывают у всех многоженцев. Что может сделать мужчина, когда в его доме начинают ругаться между собой женщины? Умереть.

«За последнее время, правда, очень изменилась Садик, — думал Хамдам. — Вот и сейчас она ржет в саду, будто кобылица, а при разговоре смотрит в сторону. Она стала закрываться от всех. Даже у себя, в махалы\*,

на дворе, она носит чачван, и мне, мужу, приходится смеяться над этим. Конечно, это лучше, чем распутство, но всему есть своя мера. В таком затворничестве тоже нет добра».

Хамдам приказал приготовить ему постель и надел на себя теплый киргизский халат.

Приятно было размышлять в сумерках, в одиночестве. Этим, пожалуй, хороша болезнь. Никто тебя не беспокоит, никто не раздражает. Есть время подумать обо всем. Может быть, в этих мгновениях и заключается настоящая жизнь?

Окна стояли раскрытыми. Час тому назад прошел сильный дождь, в комнате пахло садом и цветами.

Сад еще не успел погореть от солнца.

На середине потолка висела клетка с перепелом. Хамдам не зажигал огня в комнате, и перепел заснул.

Из сада потянуло уютной горечью дыма. На дворе, возле очага, Биби варила суп, помешивая палочкой в котле. Около нее сидела Сади и весело напевала о бабочке, которая кружится возле горящей свечки.

Потом пришел Насыров и предложил Хамдаму поужинать. Хамдам отказался, Насыров вернулся к очагу, о чем-то начал спорить с Биби, и женщины засмеялись. В саду зашелкал молодой соловей. Он выводил только два или три колена, вдруг спотыкался и обрывал свою песню, будто смущаясь. В молчании проходило несколько минут. Соловей собирался, испытывал голос, потом храбро раскатывался трелью и, перебивая ее, снова умолкал. Нельзя было без улыбки слушать этого неопытного певца. Большая лохматая собака, жавшаяся к огню, всякий раз подымала голову, когда соловей начинал что-то выщелкивать.

Абдулла нарушил эту мирную и прекрасную минуту. Сальный, грязный, разъяренный, он ворвался к Хамдаму. Задыхаясь, размахивая огромными кулаками, он громко обвинял Юсупа.

— Сегодня, — рассказывал он, захлебываясь от негодования, — мы решили собрать контрибуцию для доктора. Правда, он слишком прожорлив и требует невероятно много. Я, конечно, ничего не пожалел ради твоего здоровья. Ну, и для нас тоже понадобились бараны. Я пошел по домам с джигитами. Об этом узнал Юсуп и устроил собрание. Сейчас на базарной площади пы-

лают костры, и люди кричат друг другу в лицо самые обидные слова. Юсуп бранит джигитов, называя их бандитами. Юсуп чуть не пристрелил Сапара и отнял у него всю муку и весь скот и возвращает все это владельцам, а владельцы вопят, что, несмотря на приказ Юсупа, им вернули не все. И сейчас те джигиты, которые на стороне Юсупа, обыскивают джигитов Сапара. Кишлак, понятно, за Юсупа, потому что этим жадинам жаль своих баранов. Ну, ведь не так легко разобрать сейчас, у кого что взято. Я счета не вел. А таиб \* твой испугался, побежал. Очевидно, он хочет удрать в Коканд.

— Насыров! — крикнул Хамдам, перебивая вопли Абдуллы.

Киргиз стоял у порога, спокойный, как всегда. Только шрам побелел на его порубленной губе.

— Я не хотел тебя беспокоить, отец, — сказал он. — Сейчас все кончится. Спи спокойно! А табиба мы догоним.

— Ослы! — сказал Хамдам. — Джигитам прикажи расходиться! С кишлаком я сам буду говорить завтра. И пусть все спят сегодня! И больше пусть никто не смеет будить меня!

Насыров поклонился и, пятась, вышел из комнаты. Абдулла заныл:

— Отец! Неужели все отдать? Я так старался...

— Убирайся! Из-за тебя шум. Ты надоел мне, жадный вор! — тихо сказал ему Хамдам, и Абдулла услышал ненависть в его голосе.

Когда Хамдам остался один, он подошел к окну. В саду очаг уже погас, светили звезды, и соловей в деревьях все еще пробовал щелкать.

Хамдам вздохнул.

— Боже... боже... — промолвил он, — как трудно жить!

Он закрыл окно.

Хамдам растер себе грудь и снова лег в постель, но сна как не бывало. Он ворочался, вздыхал и думал о женщинах.

Теплый пар окутал сад. Хамдам решил подышать свежим воздухом. Когда он проходил по галерейке, он услышал на женской половине тихий смех. «Значит, женщины еще не спят?» — подумал он. Смеялась Сади.



Босой, в одном белье, он остановился около ичкари и приник ухом к двери. Женщины беседовали в темноте.

— А как же это будет? Вы уедете к русским? — услышал Хамдам шепот. Это спрашивала Рази-Биби.

— Не знаю, — отвечала Садахон. — Это его дело. Я же еще не говорила с ним. Что он скажет.

— Ты глупая, — сказала Биби. — Ты не знаешь Хамдама. Он найдет тебя и зарежет.

— Лучше смерти! Я рада, что он болен и не прикасается ко мне.

— Ты подожди! Неужели ты думаешь, что наша жизнь не изменится? Русские женщины живут иначе. Мы тоже будем жить иначе: надо перетерпеть.

— Довольно! Я не могу больше.

— Ты очень своенравная, Сади. Тебя избаловали в детстве. Надо уметь дожидаться.

— Не вечно же Хамдам будет болен!

— Я придумаю что-нибудь.

— Нет, Рази, ничего придумать нельзя. Что бы ни случилось, на свободе лучше.

— А если Юсуп не захочет тебя? Откуда ты знаешь, что он согласится?

— Тогда я убегу одна. Все равно хуже не будет.

Хамдам услышал шорох. Очевидно, одна из жен подошла к окну, стукнула задвижкой. Хамдам попятился назад, прижимаясь всем телом к шершавой глиняной стене. Он скрылся, он подавил в себе крик. В темной комнате он искал оружие, чтобы убить Сади. Он шарил по столу, по стенам, в постели. Под руку ему попался револьвер. Он отбросил его. «Нет... Рано...» — подумал Хамдам.

Хамдам разорвал на себе рубаху. Он был мокрый от пота, у него оцепенели руки, и он шептал самому себе, еле сдерживая дрожь:

— Так вот какая у меня жена! Ну, подожди!

Он разбудил Насырова, спавшего возле него на полу, приказал ему всю ночь караулить во дворе.

Насыров хотел спросить Хамдама, чем он обеспокоен, но не осмелился. Любопытство и страх разъедали его. Но он не мог ничего придумать, ничем не мог объяснить состояние своего хозяина. «Дурной сон», — решил он. Верный джигит Хамдама расхаживал по двору до тех пор, пока не появилось солнце,

Куры, одна за другой выскочили из сарая и принялись бродить по двору. В конюшне проснулись спавшие там возле лошадей джигиты. Вышел Алимат с ведром и отправился за водой к колодцу. В воротах появился Юсуп.

## 22

— Насыров, — сказал Юсуп, — передай начальнику: я хочу с ним говорить!

— Он спит.

— Поди, ждать мне некогда!

— А что такое? Почему такая спешка?

— Я тебе сказал: поди! А почему — этого тебе не надо знать.

Насыров смутился, и маленькие желваки, будто шарики ртути, забегали у него под скулами. Ничего не ответив Юсупу, он ушел в дом.

Садахон, услышав голос Юсупа, выбежала на галерею. Юсуп так посмотрел на Сади, что у нее упало сердце. «Что-то случилось!» — решила она.

Вошел Насыров, покосился на них обоих и пробурчал Юсупу:

— Иди!

Единственный из всех джигитов он разговаривал с ним как будто нехотя, полупрезрительно.

Хамдам еще лежал в постели и усмехнулся, увидев Юсупа.

— Присядь! — сказал он.

В комнате был только один стул. Юсуп взял его и сел возле софы.

Юсуп вынул из кожаного планшета бумагу и предъявил ее Хамдаму. Реввоенсовет фронта немедленно вызывал полк в Коканд. Причины не указывались.

Хамдам повертел приказ в своих толстых, влажных, морщинистых руках, потер себе переносицу и спросил Юсупа:

— В чем дело? Не знаешь?

— Нет, не знаю.

Юсуп скрыл от Хамдама самое главное. Он все знал. Вчера вместе с официальной бумагой он получил через ординарца частное письмо Блинова. Блинов секретно сообщал ему, что изменил курбаши Парпи, начальник

Красного партизанского полка, что в Андижане так же подозрительно ведет себя Ахунджан и тайно подговаривает к восстанию своих аскеров. Блинов сообщал Юсупу об этом на всякий случай, и Юсуп догадался, что комиссар побаивался, как бы в Беш-Арыке не повторилась такая же история.

Этого же самого побаивался и Юсуп. Вчерашний скандал на площади из-за баранов мог вырасти в бунт. Джигиты второй и третьей сотен, решившие пограбить, были возбуждены и недовольны. Ведь у них отняли добычу! И если сейчас Хамдам захочет воспользоваться возбуждением джигитов, то момент для этого наиболее подходящий.

Юсуп догадывался, что полк вызывают в Коканд неспроста. Очевидно, его хотят направить в Ташкент для переформирования, чистки, для проведения лагерных занятий. Слухи об этом уже ходили неделю тому назад. Ясно, что Хамдам может воспротивиться этому. Он сразу почувствует, что его хотят лишить особого положения, самостоятельности, привилегий. На всякий случай к дому Хамдама Юсуп подвел свою сотню. Она сейчас стояла за стенами двора на улице.

Опасения Юсупа оправдались. Хамдам понял вызов правильно; он повертел бумажку и, бросив ее на стол, небрежно сказал:

— Я не поеду.

— Командующий вызывает. Как ты можешь не ехать?

— Я болен.

— Тогда полк уйдет без тебя, — твердо заявил Юсуп.

— Без меня? — Хамдам рассмеялся. — С тобой, что ли? Без меня не уйдет мой полк.

Юсуп вскочил и отбросил в сторону стул.

— Хамдам, не делай глупостей! — сказал он.

— Я болен. Я болен, — упрямылся Хамдам.

— Когда нас зовут, мы должны идти! — сказал Юсуп. — Красная Армия — это армия.

— Ты... учишь... меня?! — медленно, отделяя слово от слова, сказал Хамдам и встал с постели. Ему хотелось обрушиться на Юсупа, заткнуть ему глотку упреками и оскорблениями. Он даже замахнулся на Юсупа, желая его ударить, но не осмелился, отвел руку назад, за спину. Напряженный, острый взгляд юноши, его уверен-

ный голос вдруг смутили его. У Хамдама задрожала нижняя губа.

— Успокойся, Хамдам! — сказал Юсуп. — Ты старше меня, и я не учу тебя. Будем говорить о деле!

— Я не могу оставить Беш-Арык, — сказал Хамдам и прибавил тем же тупым и равнодушным голосом: — И весь полк не захочет ехать в другой город.

— Полк? — Юсуп снова сел, постучал кончиком шашки. — Полк зависит от тебя. Ты сам не хочешь.

Хамдам поджал губы и исподлобья взглянул на Юсупа:

— Я этого не сказал.

— Тогда почему ты отказываешься? В приказе нам предлагают выступить.

— Приказ... Приказ... Я не глухой! Что ты мне твердишь? — не сдерживаясь, закричал Хамдам. — Не верю я русским приказам.

— Кто им не верит, уходит в басмачи, — тихо сказал Юсуп.

Услышав это, Хамдам побелел от гнева. «Вот вырастил змею! — подумал он. — Теперь этот соплик командует мной и говорит так, будто начальник он. Вот эти русские порядки!»

Но в то же время он отчетливо понимал, что Юсуп прав. Он проклинал себя за то, что отошел от дел. Теперь джигиты больше, чем надо, привыкли к Юсупу. «Да, он прижал меня к стенке. Отказ — это бунт. Так поступать нельзя. Это будет неосторожно, — решил Хамдам. — Надо постараться найти какой-нибудь предлог».

— Съезди в Коканд, разузнай все-таки, что такое там случилось! — сказал он на ходу Юсупу.

Юсуп ничего не ответил.

Распахнув окно, Хамдам вместе с пением птиц услышал за стеной храп лошадей; голоса, команду, звон оружия.

— Это что? — удивленно спросил Хамдам.

— Моя сотня, — ответил Юсуп, как бы не придавая никакого значения шуму.

— А зачем она тут?

— Я решил поехать один, если ты не поедешь, — соврал Юсуп.

— Один? — пробормотал Хамдам.

«Не тебе обманывать меня, — подумал он. — Что-то случилось. Что-то тревожное. Этот мальчишка испугался. И он действительно может арестовать меня. А что сделают Сапар и Насыров? Пока они собираются, меня уже увезут».

Все эти мысли были настолько серьезны, что Хамдам забыл обо всем случившемся ночью. Он понял, что пришла серьезная минута. «Сейчас нельзя ошибиться. А вдруг Блинов узнал о моей связи с бухарцем?»

— Ну, говори, что случилось? — настойчиво и решительно сказал Хамдам.

Юсуп взглянул на посеревшее и влажное лицо Хамдама. «Да, вот теперь следует сказать», — подумал он.

— Парпи изменил, и в Андижане что-то нехорошее замыслил Ахунджан. Курбаши, награжденный Красным орденом! Смотри, что делается! Он отказывался на партийном совете уехать из Андижана.

— Еще бы! Он живет, как наиб, в своем Андижане, — пробормотал Хамдам. — Что же, его арестовали?

— Нет. Он еще не отказался решительно, но настаивает на своем. Сейчас туда поехал командующий. Положение выясняют.

— Значит, он не хочет ехать в Ташкент? — спросил Хамдам.

— Не хочет.

— И не поедет.

— Почему?

— Вот увидишь, увидишь! — быстро проговорил Хамдам. — Тигр заворчал — жди прыжка. Что ж ты мне раньше обо всем этом не рассказывал? Боялся, наверно, что и я поступлю, как Ахунджан? Так?

Юсуп ничего не ответил.

— И это все? — спросил Хамдам.

— Все, — сказал Юсуп.

Хамдам готов был расхохотаться. Он ждал более страшного, он боялся за себя. А это известие только порадовало его. «Вот что значат ум и терпение, — подумал он. — Враги мои впадают в ничтожество и гибнут. А я остаюсь! Как милостива ко мне судьба! Парпи полез в могилу. Ахунджан торопится за ним...»

— Послушай, — прервал его мысли Юсуп, — ты должен узнать правду об Ахунджане!

Говоря это, он все еще не надеялся на Хамдама. От него не укрылось, что Хамдам повеселел, но это можно было заметить только по особому блеску глаз. Во всем остальном Хамдам себя сдерживал и даже казался угрюмым.

— Хоп, хоп! — ответил он Юсупу. — Собирай полк! Едем в Коканд! Там увидим.

Юсуп оставил комнату. «Что происходит с Хамдамом? — подумал он. — Неужели пришла беда?» Юсуп приготовился ко всему.

Проходя по галерейке, он заметил Садихон. Она все еще стояла там, точно ожидая его. Она была бледна и держалась за столбик навеса. Босой Насыров, в штанах и в рубаше, стоял рядом с ней.

Юсуп подошел к воротам. Выстроившись вдоль улицы, его ожидала сотня. Впереди нее, в красноармейской фуражке, сидел на гнедом жеребце старик Артыкматов, держа клинок на плече. У всей сотни были обнажены клинки.

— Джигиты! — крикнул Юсуп. — Хамдам едет.

Артыкматов поднял вверх шашку и вложил ее в ножны, за ним вся сотня сверкнула клинками.

Юсуп повел ее на площадь.

## 23

Через полчаса полк стоял уже колонной, все три сотни, при оружии и с обозом.

Хамдам выехал на своем текинце. Шерсть коня ореховой масти блестела под солнцем. Хамдам сидел в седле согнувшись, точно на спину ему положили куль. Юсуп подскакал к нему и сообщил, что полк готов к отправке и телеграмма об этом уже послана Реввоенсовету.

Хамдам ничего не ответил, передернул плечами и отъехал от Юсупа к строю. Он остановился на середине площади и, прищурясь, долго и мрачно смотрел на джигитов. Юсуп встревожился. Неужели Хамдам хочет говорить? О чем? Ничего нельзя было прочитать в этих загадочных черных глазах. Что Хамдам скажет сейчас? Может быть, через секунду затрещат выстрелы второй и третьей сотен?

Юсуп предупредил своих джигитов, чтобы на всякий случай они были готовы отразить любое нападение. Перед выездом на площадь он приказал всей сотне зарядить винтовки.

Странное чувство ожидания и неизвестности, очевидно, волновало не одного Юсупа. Джигиты удивленно переглядывались. Жители, смотревшие на выступление полка, невольно попятились ближе к стенам, опоясывающим площадь.

Старик Артыкматов приподнял древко над отрядом Юсупа, и новое алое знамя, с кистями из конского волоса, взвилось в голове полка. Хамдам никогда не видел этого знамени. Это было новостью и для жителей Беш-Арыка. Они зашептались, подталкивая друг друга локтями.

Хамдам перебирал поводья. Его текинец танцевал под ним. Он успокоил его.

— Джигиты, — еле слышно сказал Хамдам. Но на площади была такая тишина, что даже слабый голос Хамдама отчетливо донесся до самых отдаленных уголков. — Парпи изменил. Ахунджан изменил советской власти. Может быть, кто-нибудь и подумал, что полк Хамдама тоже заразился изменой. Нет, никогда! В полку Хамдама есть беспорядки — в полку Хамдама их не будет. Полк Хамдама остается верным. Полк идет в Коканд.

Первая сотня оглушительно крикнула: «Ур-ра!» К ней пристали и вторая и третья. Рев раскатился по площади.

В эту минуту Хамдам понял, что все равно ему не удалось бы повернуть эскадроны против советской власти. Джигиты могли, конечно, грабить, могли даже раскандальиться и взбунтоваться, но в решительную минуту весь полк, не считая некоторых людей, раскаялся бы. Юсуп достиг своего... Да!

Хамдам стиснул зубы и, выхватив ловким, резким движением клинок, взмахнул им, подавая сигнал к походу. Вслед за этим по отрядам прокатилась команда. Всадники перестроились по трое в ряд. Полк тронулся, постепенно, точно по нитке, переходя в движение рысью. Юсуп ехал за Хамдамом. Он смотрел ему в затылок и улыбался. Мысленно он обращался к Хамдаму. «Я рад, — думал он, — что ты оказался честным. Я рад.

Не так уж просто тебе это далось! Да, да! Но ты поступил честно. Посмотрим, что будет дальше!»

Он приласкал Грошика, и Грошик, фыркнув, ответил ему. Кругом слышалось горячее дыхание коней и скрип седел и чувствовался запах пыли.

В прозрачном воздухе раннего утра сверкал Алайский хребет. Ослепительно сияли снежные пирамиды. Ни одна тучка не закрывала их. Солнце било прямо в горы низкими, бежавшими по земле лучами, и, несмотря на далекое расстояние, каждое ребро, каждый выступ гор легко ощущались глазом.

Тучи черных сытых дроздов, сорвавшись с телеграфной проволоки, пронеслись над джигитами. Полк шел рысью.

## 24

Поздно вечером, во время одной из своих поездок по Туркестану, товарищ Фрунзе, назначенный как раз в это время на должность командующего Туркестанским фронтом, говорил на докладе своему секретарю:

— Историю надо знать, дорогой мой... Без истории нет политики. Хотя политик до некоторой степени делает историю...

Усмехнувшись, Фрунзе добавил:

— Если, конечно, он понимает историю и народ... Какими невеждами нас выпускала школа? Что мы знали?.. Ну, скажем, о Тимуре? «Великий хромым». Некоторые историки всех стригли под одну гребенку. Аттила, Тимур, Чингисхан... Бич божий! Уничтожали города, жарили людей на кострах...

Он вытащил из-под дивана большой чемодан с книгами и тут же стал рыться в нем, отбирая одну книгу за другой и встряхивая их от пыли.

— Но никто не объяснил нам, почему же монгольские народы при Тамерлане так расширили свои владения... Почему Чингисхан начал свою историю с десяти тысяч кибиток, а затем ему повиновались страны?.. Какая причина? Разные языки, культуры, религии. Даже его внуки повелевали землями нынешнего Китая и частью Индии, владели Кореей, всей Средней Азией... Южной частью Инда и Евфрата... И почти всей

территорией Руси... Какие причины? Вот почитайте-ка... Небесполезно... Надо знать историю этого края.

Он передал своему секретарю, художавшему молодому человеку, пачку книг. Тот молча взял, достал из кармана веревочку и аккуратно перевязал их.

Разговор шел в купе. Фрунзе, покосившись на секретаря своими серыми глазами и увидев, что тот смущен обилием книг, продолжал с хитрой улыбкой, которая словно пряталась в рыжеватые толстые усы и бородку:

— Почему было все это? «Промысел божий»?.. — Фрунзе усмехнулся. — Надо знать и этот исторический этап... Ну, о подробностях, Николай Николаевич, потом... А пока что займитесь деталями такого частного вопроса... Военное дело?.. Нам, военным, нужно было бы знать, что такое представляли из себя в то время монголо-татарские войска. Они превосходили все прочие современные им... И качеством оружия... то есть техникой. И тактикой, то есть умением действовать. И стратегией, то есть способностью составить план войны... Дисциплиной... Да вообще всей организацией... И, очевидно, качеством рядового состава. Сейчас этого, конечно, нет и не может быть, но, что касается конницы... Нашим конникам есть чему поучиться! Монголы в составе сотен тысяч переходили такие степи, где мы с трудом идем сейчас в количестве трех или четырех тысяч... Вот штука! Подберите мне материал на эту тему... Ну, что на подпись? — добавил он, закуривая свою любимую трубку. — Давайте... Я спешу.

Подписав поданные ему бумаги (телеграммы в Москву, приказы по фронту) и отпустив Гринева, Фрунзе занялся работой.

...Тяжела была эта поездка, начатая еще в марте. Условия передвижения были неописуемы. Замерзали поезда, станции. Железнодорожные эшелоны двигались вперед чаще всего на том топливе, которое нужно было самим собрать, самим найти в пути, самим же и подготовить к топке в паровозах. Несмотря на это, по вечерам люди всегда собирались на огонек, чтобы послушать, как они говорили, «лекции» Фрунзе, побеседовать с ним, отужинать пшенной кашей или затеять хором песни, которые обычно начинал молодой комиссар

Дмитрий Фурманов. Многие, кроме командарма, называли его Митей. Это был общий любимец — высокий, худой, кудрявый юноша, с большими, вечно живыми, «думающими» (как говорил Фрунзе) глазами. Фурманов до Ташкента не доехал, оставшись по приказу командарма в городе Верном...<sup>1</sup>

Даже в ту пору, то есть почти за полгода до осени 1920 года, когда эмир Бухары, подстрекаемый агентурой Антанты, еще не открыл военных действий, направленных к свержению советской власти в Туркестане, Фрунзе как-то ощутил эту возможность и поспорил по этому поводу с одним из своих ближайших помощников и консультантов, бывшим полковником генерального штаба Несвицким, с мнением которого Фрунзе почти всегда считался. В генералы Несвицкий был произведен Керенским. Это был человек лет тридцати пяти, умный, желчный, много знающий и с такими манерами, что Митя Фурманов однажды назвал его «нашим Андреем Болконским». Это прозвище так за ним и осталось.

— Что вы твердите мне, что вожди басмачества сдались? — горячо говорил Несвицкому Фрунзе. — Разве все эти курбашы действуют самостоятельно? Ерунда-с...

— Они разбиты.

— Они могут взбунтоваться против нас в любой момент. Да и не только в них дело...

Фрунзе ознакомился с состоянием ряда частей фронта, начиная от Ташкента и кончая районами Красноводска и Кушки. И во многом это состояние никак его не порадовало.

— Нам необходимы два маршрута. Телеграфируйте Куйбышеву в Ташкент. Винтовки, сабли, револьверы, пулеметы... Обмундирование и седла... — перечислял он генералу. — Все... Вот мое личное распоряжение. Составьте в этом смысле доклад товарищу Ленину. Если у Куйбышева не найдется... я буду лично просить об этом Владимира Ильича. После проведенного нами съезда депутатов всех туркменских племен есть основания думать, что с туркменами все будет благополучно...

— По сведениям нашей разведки, англичане в Хорасане отчаянно нервничают, — как бы подсказал Михаилу Васильевичу докладчик Несвицкий.

<sup>1</sup> Сейчас Алма-Ата.

Фрунзе кивнул.

— Да?.. — он усмехнулся. — Надо полагать! Но в Бухаре далеко не так. Далеко не так... Эмир проводит мобилизацию и уже запасается современным оружием<sup>Ф</sup>, современным снаряжением... Все это идет к нему особыми караванами... Эти сведения я получил вчера.

— Сведения точные? — осторожно спросил Несвицкий.

— Абсолютно... — Ответив, Фрунзе покачал головой — Боюсь за Фергану.

Фрунзе оказался прав.

Через два месяца после этого разговора, то есть летом 1920 года, действительно начались волнения мусульманских частей, кем-то спровоцированных. Самым значительным из них было волнение узбекского кавалерийского полка, которым командовал Ахунджан.

Фрунзе немедленно отправился к месту событий.

Взвод курсантов сопровождал тот штабной эшелон, в котором он ехал. Вместе с ним прибыла и поездная команда. Поглядев на растерянные лица местных жителей, его встречавших, Фрунзе спросил с обычной для него требовательностью:

— Что же такое у вас? Открываете фронт Бухаре? До полного маразма дошли? Плохи у вас дела, товарищи... Вы — первые представители революции в крае... И как вы работаете?

Среди представителей города стоял и Блинов. Он только что, то есть одновременно с Фрунзе, приехал из Коканда в Андижан. Во время беседы, происходившей уже в вагоне, ему не пришлось разговаривать с Фрунзе. Не было повода, как он ни хотел этого. Но Фрунзе заметил его опущенную голову и угрюмый, пристальный взгляд.

— Кто это? — спросил он у Несвицкого, когда представители города уехали со станции. — Тот, с кем вы разговаривали?..

Несвицкий сказал, что это один из местных военных работников.

— Да вы видели его на съезде недавно. В Коканде! Он сидел неподалеку от вас в президиуме... — добавил Несвицкий, объясняя.

— Он кто? Казах или узбек?

— Нет... Он русский. Блинов по фамилии. Сейчас, по распоряжению товарища Куйбышева, Блинов пере-

веден на политработу... Да вот, посмотрите... От него есть донесение.

И Несвицкий вместе с бумагами разведки подал Фрунзе письмо от Блинова:

— Это лично вам...

Разведка сообщала о разных случаях тревожного настроения в Андижане, о действиях Ахунджана. Было ясно, что Ахунджан фактически властвует в городе и поэтому так юлит на переговорах.

Комиссар Блинов докладывал командующему, что «по справкам, наведенным одним из ближайших друзей Ахунджана, Хамдамом, начальником первого туземного полка, удалось узнать, что Ахунджан близок к восстанию».

Сведения сошлись.

— Блинов здесь?

— Нет, он уже уехал... Он в Коканд уехал... — сказал секретарь, только что подошедший к Фрунзе и Несвицкому.

— Жаль, черт возьми... Запоздала почта... Ну, в общем все тут ясно... Николай Николаевич, вы только запишите себе в блокнот: вызвать Блинова, когда мы будем в Коканде...

Была уже поздняя ночь. Фрунзе прилег отдохнуть, но сна так и не было. Покряхтев, продумав все, что довелось сегодня услышать, он и совсем потерял сон. Тут уже постучал к нему проводник.

— Да, я не сплю. Входите...

Одеваясь, он попросил проводника согреть ему чаю.

— Морковный, Михаила Васильич.

— Ну, давайте морковного... И позовите Николая Николаевича... И товарища Несвицкого. Или просто передайте им, что я прошу собрать людей.

В салон-вагоне поезда Реввоенсовета собрались все сотрудники штаба на ночное заседание.

— Вопрос ясен, — обратился к ним Фрунзе. — Национальные части дороги нам. Это дехкане, беднота, батраки. Еще сильны среди них националистические и религиозные предрассудки. Подчиняются им в силу привычки и обстановки. Этим пользуется верхушка — их начальники и курбаши. Они мутят им голову. Отдельные

группы головорезов и бандитов, втесавшиеся в эти полки, до сих пор живут налетами и грабежами. Это надо прекратить. Это унижает звание бойца Красной Армии. Что скажет население? — Фрунзе говорил не громко и спокойно, но в том чувстве, с каким была сказана последняя фраза, сквозило такое негодование, что всем показалось, будто он крикнул. — Словом, толковать не о чем! Надо лечить больные места. Ахунджан дважды обманывал наше доверие. На заседании здешнего горсовета и партийного комитета Ахунджан снова сказал, что не может подчиниться приказу Реввоенсовета. Он категорически заявил об отказе.

— Плюет! Он здесь царь, — вдруг долетело из коридора, из группы штабистов.

Фрунзе скользнул глазами, будто не замечая реплики.

— Он мятежник. И связан с мятежниками. Предположения подтвердились, — жестко заявил Фрунзе. — Значит, остался один разговор — оружием.

Было решено завтра утром вызвать Ахунджана и его командиров в Ревком на совещание. Фрунзе распорядился, чтобы полк, принадлежащий Ахунджану, был без патронов выстроен на городской площади и рядом с ним так же была построена татарская бригада, которая только что пришла с Поволжья и считалась дисциплинированной воинской частью. Кроме этого, Фрунзе приказал на все выходы из города выслать заставы.

Совещание открылось в городском клубе, в зале. По одну сторону длинного стола сидели Фрунзе, штаб, военные, по другую — Ахунджан со своими командирами. Ахунджан, не меняясь в лице, молча выслушивал все упреки командующего. Угрюмые курбаши в возбуждении хватались за кобуры, как бы проверяя сохранность своего оружия. Белые двери были плотно замкнуты, окна зала были тоже закрыты, несмотря на жару и яркий солнечный день.

— Я принужден разоружить полк, — сказал в заключение своей речи Фрунзе, обращаясь к Ахунджану. — Спрашиваю последний раз: подчиняетесь решению командования?

— Не могу, — глухо ответил Ахунджан. — Здесь дом, имущество, семья. Кто будет защищать наших детей?

— Так, — сказал Фрунзе. — Значит, если Андижан будет просить нашей помощи против басмачей, мы можем не прийти, тоже можем отказаться. Так? — спросил Фрунзе.

В правой руке у него был тоненький голубой карандаш. Он вертел его между указательным и средним пальцами. Фрунзе был совершенно спокоен.

В справедливости упреков командующего, кажется, не было сомнений даже у самого Ахунджана. Он понимал, что приказ разрушает все его планы, остается только довериться судьбе. Он и на этот раз обманул командование. Полк по его приказу вышел на площадь с патронами. В разных углах площади были расставлены люди, готовые начать мятеж. Понимая, что ему не верят, Ахунджан успел принять меры. Он надеялся на успех, выжидая решительную минуту.

Ни сам Фрунзе, ни присутствующие здесь сотрудники его штаба не знали о том, что приказ снова не выполнен и что полк Ахунджана с площади может открыть стрельбу. Но и без того всеми чувствовалась напряженность.

— Никуда не уйду, — так же глухо и с тем же упорством, как бы не замечая вопроса командующего, повторил Ахунджан и внезапно замолк, точно ему захлопнули рот.

В эту секунду около губ, у глаз, на лбу, в целой сети морщинок, вдруг разбежавшихся по сытому скуластому лицу Ахунджана, Фрунзе прочитал столько ненависти и злобы, что понял: продолжать совещание бессмысленно. Он поднялся и, согнувшись над столом, тихо сказал:

— Переговоры кончены. Сдавайте полк!

Ахунджан вскочил, вслед за ним вскочили его курбаши. Их цветные халаты были опоясаны ремнями. Все они были при оружии, с маузерами и шашками. Вдруг послышался треск кожи. Это Ахунджан, вырвав из кобуры маузер, нацелился в командующего.

Фрунзе постучал своим голубым карандашиком по столу.

— На стол оружие! На стол положите! — сказал он, пристально глядя в глаза Ахунджану.

Наступила тишина.

В эту минуту раскрылись двери зала, и вошел отряд курсантов. Ахунджан не выдержал. У него вдруг

дернулась в сторону рука, и он швырнул оружие. Маузер звякнул о стол. Вслед за Ахунджаном курбаши тоже стали бросать свои револьверы. Они подражали ему во всем.

Арестованных повели. Фрунзе покачал головой.

— Разве это красные командиры? — произнес он с презрением.

Потом, подозревая начальника татарской бригады, сказал ему:

— Прочитайте приказ полку! — И, обернувшись к остальным, добавил: — Все, товарищи! Собрание кончено.

На белой площади, залитой солнцем, в строю под ружьем стоял полк Ахунджана, а впереди него — спешенная татарская бригада.

Аскеры были рады тому, что они построены в тылу у бригады. Так было удобнее стрелять. Но это же самое обстоятельство как бы исключало возможность столкновения. Многие из них недоумевали: о какой вражде толковали им курбаши? И те и другие еще не предвидели последствий. Бригада знала, что готовится разоружение полка Ахунджана и шум поэтому возможен, но никто из бойцов не ожидал боя. А большинство аскеров, сбитых с толку Ахунджаном и не посвященных в его игру, вообще желало мирного исхода.

Когда начальник бригады вышел на площадь, молодой, сильный голос скомандовал:

— Смир-но!

Все замерли. Было тихо и солнечно. Как серебряные точки, сверкали на солнце кончики штыков. Прочитав приказ о разоружении, начальник оглядел площадь. Он обрадовался тому, что все проходит так благополучно. Почти парадным шагом к нему приближался молодой командир, молодцеватый, красивый парень. Выгоревшая и поношенная форма сидела на нем щеголевато, точно новенькая. Только пояс слегка оттягивался тяжелым кольцом в деревянной кобуре, с именной серебряной дощечкой. Это было наградное оружие.

Касимов, молодой татарин из-под Казани, волжский грузчик, полгода тому назад вступивший добровольцем в бригаду, за лихость в бою на Актюбинском фронте, за четкость в работе дослужился уже до командира роты. В каждом движении Касимова, любимца татарской

бригады, чувствовался веселый и смелый характер. Сегодня впервые в своей жизни Касимов исполнял такую почетную и ответственную задачу — он командовал на площади. В каждом звуке его голоса, в каждом движении заметна была наивная сдержанность.

Начальник бригады погасил улыбку и с официальной торжественностью вручил ему приказ.

Вдруг из полка Ахунджана послышались залпы. Красивый молодой татарин Касимов выпрямился, приподымаясь на носках, и закинул голову, точно готовый взлететь.

— Брига-ада, кругом марш! Винтовки наперевес! — звонко закричал он.

Бригада, сделав оборот, ошетибилась штыками против полка Ахунджана.

Выстрелы не прекращались. Они неслись из разных точек полка. Стреляли провокаторы басмачи, заранее расставленные Ахунджаном среди аскеров.

Первой жертвой был Касимов. Его убили на месте. Упав навзничь, в пыль, он не выпустил из рук приказа, и лицо его, за секунду до этого румяное и довольное, исказилось, и широкий белый лоб треснул, как кусок сахара. Басмачи стреляли разрывной пулей со срезанной головкой. Тут же упало еще несколько бойцов. Они падали сразу, даже не сгибаясь. Они выпадали из рядов бригады, будто карты, поставленные на ребро. Выстрелы басмачей были меткими.

Бригада пошла в штыки. Аскеры бросились врассыпную, отстреливаясь и атакая. На окраинах стояли заставы.

Начался бой.

Ахунджану не удалась провокация. К вечеру весь полк Ахунджана был собран и разоружен, из города никто не мог выйти.

## 25

Фрунзе прибыл в Коканд.

Поезд Реввоенсовета стоял у станции, на запасных путях, неподалеку от перрона. Железнодорожники забили, что возле вокзала свалена мусор, и сейчас шла уборка; метельщики подняли пыль столбом. Ремонтная бригада обходила пути, всюду наводя порядок. Разбитые



цветные стекла на фонарях стрелок, на которые до сих пор почему-то не обращали внимания, приказано было заменить новыми, и двое рабочих с алмазом, запасом стекол и шматком замазки бегали от стрелки к стрелке. Чувствовалось в этой суматохе, что прибытие командующего встряхнуло всех.

Горбатый Синьков, сегодня утром назначенный командантом, боясь повысить голос, тихим шепотом распекал дежурного по станции.

— Откуда швабра? Откуда тряпки? Тыщу лет не мыли пол, а вымыли — так грязь размазали. Вот погодите, будет вам ужо! — грозился он и, взяв дежурного под руку, понесся вместе с ним дальше по перрону.

Был теплый, душный вечер.

Длинный поезд притих. Кое-где в нем виднелся свет. Но по-настоящему были освещены лишь два вагона. В одном помещались радиосвязь и телеграф, до сих пор занятые передачами, а в другом, маленьком салон-вагоне, находился командующий фронтом Фрунзе. Несмотря на поздний час, он еще работал.

Все сотрудники штаба, кроме дежурных, уже разбрелись по городу. Однако на перроне еще толпились военные из тех, кому не приказано было отлучаться, да бойцы из татарской бригады, сопровождавшие поезд.

Мимо перрона, по путям, красноармеец провел кобылу с забинтованными бабками. Один из бойцов окликнул ее. Кобыла затеребила ушами и заскакала. Красноармеец ласково шлепнул ее поводом и сказал:

— Балуй, шельма!

Это была Лидка, любимая лошадь Фрунзе; он брал ее всегда во все свои поездки. На ней он участвовал в сражении под Уфой, там, где его ранили. Здесь, в Средней Азии, она была ему особенно необходима. Его поездки не ограничивались вагоном или автомобилем. Он подымался в горы, добираясь до Оша, до Вуадиля, до позиций, и вступал в схватку с басмачами, сам принимая участие в бою.

Так было и за Самаркандом, когда в горах он встретил отряд Лихолетова. Фрунзе прибыл сюда с небольшой группой своих военных сотрудников. Штаб отряда, дравшегося с басмачами, помещался в саманном домике между скал, заросших колючим кустарником. Только что прошел бой, и конный отряд после жаркой схватки

принужден был бросить ущелье. Лишь часть его удерживала предгорье, выставив заслон и преграждая дорогу басмачам.

— Почему вы отступили? — спросил Фрунзе у молодого командира, подбежавшего к нему.

— Так что, товарищ командующий, по причине невыразимых потерь! — стараясь выразиться круглее и, как он считал, «по-образованному», говорил Сашка. — Мы, осыпаемые пулями со всех сторон, не без потерь, известно, отошли...

Фрунзе знал, что отряд дрался лихо, но наивное широкое лицо молодого командира, густо обсыпанное веснушками, побагровевшие и будтодвигающиеся, оттопыренные уши, искорки в глазах — все обозначало такое смущение, что он решил испытать, правду ли ему докладывали. Не было ли тут оплошности со стороны командиров? И, в частности, со стороны этого самого широкоплечего молодца, который сейчас вытянулся перед ним.

— Вам в помощь был ведь дан броневик? Где он? Что вы с ним сделали?.. Ваша фамилия?

— Александр Лихолетов, — сказал Сашка, чувствуя, что краснеет еще больше. — Броневик в данный момент бездействует... Мотор испорчен.

— Вы конник. И не любите техники... Оттого, наверное, он и испортился! Ну, так?

Лихолетов обиделся:

— Совсем не так... Извиняюсь, товарищ комфронта... Я, так сказать, из прирожденных железнодорожников. Но вот судьба распорядилась, товарищ комфронта, что с лошадей не слезаю... Фатум! Прямо, так сказать, сплю в седле... Броневик не действует по причине отсутствия масла... — Увидав усмешку в усах у командующего, Сашка осмелел: — Никак не вру... Можете проверить. Постным маслом заправляемся. Сожгли мотор!

— Где сейчас идет бой? — заслышав выстрелы, спросил один из спутников Фрунзе. Это был Несвицкий.

— На вершине, — недружелюбно оглядев его изящную, щегольскую фигуру и даже ерзнув плечом, пробурчал Лихолетов. «Усатый идол... Тебя бы послать туда...» — подумал он. Тут же Сашка пробасил с небрежностью:

— Да это разве бой?.. Одна процедура. Уголька подбрасываем, чтобы не остыла топка.

— Едем к бойцам, — сказал Фрунзе, резко давая шенкеля своей лошади.

Она капризно засеменила ногами и даже вздыбилась.

— Товарищ Фрунзе!.. — взмолился Лихолетов и схватил за поводья лошадь командующего. — Вы у нас на ней не проедете, товарищ Фрунзе... на этой красавице... Возьмите нашу лошадку... Неказиста она, точно... да уж знает дело... Разрешите? Не бахвалюсь... На наших кое-как, а проедете с ручательством...

Не дожидаясь согласия командующего, Лихолетов позвал коновода.

Когда привели горных лошадей, Несвицкий презрительно поморщился:

— Букашки.

— Определенно! Но проползут в гору, — заявил Сашка. — И себя оправдают. Ну, подводи! Чего замер? Слушай меня! — грубо скомандовал он красноармейцам, отвернувшись от гостей и сам решая все за Фрунзе и за его свиту.

Приезжим сменили лошадей.

— Только вы им не мешайте, бросьте повод, — сказал приезжим Сашка.

Двигались вперед цепочкой по такой узкой тропе, что казалось, здесь не пройти даже горной лошади. В одном месте, на крутом повороте, где каменная осыпь поползла вдруг под лошадью Фрунзе и он стал ее осаживать, Сашка заорал:

— Поводья бросьте, я вас предупреждал! Не осаживай. Это умное существо, само комбинацию делает... И ногами и глазами! Да бросьте, говорю!

Фрунзе Лихолетова послушался, спокойно улыбнулся и только тут, с высоты этих троп, лепившихся к скалам, будто узкие полочки, понял, что Лихолетов прав.

— Да... На моей Лидке я тут и костей не собрал бы, — признался он вслух.

— Вы-то не собрали бы... А я бы получил кучу неприятностей! — нахально забормотал Сашка, не успев еще опомниться от страха за жизнь командующего.

...В цепи шел бой. На противоположной скале сидели басмачи. Завидев всадников, выехавших на откры-

тую со всех сторон поляну, они начали без толку и беспорядочно стрелять из винтовок.

Фрунзе спешил. Не нагибаясь, хладнокровно выслушивая «жиканье» пуль, он направился в цепь к стрелкам, терпеливо ждавшим приказа и пока еще не отвечавшим на огонь противника. Сашка шел за командующим, сжав кулаки, и успокоился лишь в окопе. Из окопа командующий начал рассматривать расположение противника.

В долине все цвело. Царствовал май. Горячее солнце палило так, что разожги костер — и его не увидишь в этом ослепляющем свете. Фрунзе навел свой бинокль на самый край голы, суровой скалы. «Зачем все это? Зачем сидят там эти люди, которые хотят убить меня... всех нас... Как они беснуются... Ничего не понимают...» — думал он, наблюдая за развивающейся стрельбой. Она стихла неожиданно, будто по команде, и на остром каменном гребне замаячила черная фигура, стоявшая спиной к солнцу и размахивавшая винтовкой.

Басмач бранился диким голосом.

— О чем он? — спросил Лихолетова Несвицкий.

— По-татарски, — сказал Фрунзе.

— Но о чем?

Фрунзе, знавший башкирский язык, а потому немного понимавший и по-татарски, сказал, улыбнувшись, Лихолетову:

— А вы понимаете? Переведите товарищу Несвицкому.

Лихолетов сконфузился, двумя пальцами вытер нос, и все его широкое довольное лицо пошло морщинками:

— Хурда-мурда! Ну, выражается человек... Нет образования, сознательности... Сшибать только жалко. Ведь дурак. А лихие джигиты... Молодцы! Сегодня ночью пойдем в обход скалы. Скинем их к черту.

Фрунзе одобрил план Лихолетова и засмеялся. Когда командующий укладывал свой дорогой цейсовский бинокль в футляр, он заметил быстрый, жадный взгляд Сашки.

— Нет, что ли, биноклей? Ни одного?

— Ни одного. Как без рук, товарищ Фрунзе.

— Ну, берите.

Сашка растерялся, повел глазами:

— Мне? Не может быть.

— Берите... Это вам боевая награда за сегодняшний бой. И за завтрашний.

Сашка весь осклабился, принимая подарок.

— Покорно благодарю. Ну, теперь мне крышка! — лихо сказал он. — Как узнают басмачи, что у меня такая штучка, так уж живым с этих местов не выпустят. Их ведь хлебом не корми... Хорошее оружие, бинокль... вот и вся культура, — скептически заметил он, в то же время сам чувствуя себя на седьмом небе и от подарка и от похвалы.

Обо всем этом вспомнил Фрунзе, когда разговаривал с комиссаром Кокандского района Блиновым, вызванным к Михаилу Васильевичу сразу же после прибытия того в Коканд. От комиссара командующий потребовал точного доклада. Блинов, почувствовав, что тут общими словами не отделаешься, да он и сам не любил этого, докладывал медленно, не спеша, с присущей ему обстоятельностью и в то же время с невольным волнением, опасаясь либо чего-то «недоговорить», либо, наоборот, как бы не «переговорить».

В раскрытые окна салон-вагона виднелись редкие желтые городские огни: электростанция не работала, Коканд нуждался в керосине. Фрунзе стоял у вагонного окна и глядел на пути. Возле письменного стола сидел Блинов, держа руки на коленях. Слышно было, как за окном шуршит гравий под ногами часовых, шагавших вдоль полотна. Разузнавая у Блинова о всякого рода военных действиях в горах, Фрунзе спросил:

— Лихолетова знаете? Жив? Сражается еще с басмачами? Есть у вас такой командир?

— Так точно, — подтвердил Блинов. — Жив... Лихой парень. Есть. До сих пор воюет.

— Мы встретились с ним однажды, — улыбаясь, проговорил Фрунзе. — Он у вас далеко пойдет...

Блинову думалось, что доклад прошел благополучно. Фрунзе сделал только ряд замечаний и вместо обсуждения доклада заговорил о другом.

— А как вы считаете, — неожиданно спросил он Блинова, — чем вызвано андижанское восстание?

— Международный империализм, торговый капитал... — начал, смущаясь, Блинов, но командующий, чуть улыбнувшись, мягко его прервал:

— Это понятно. Он подготавливает, вооружает. Но это силы, идущие извне. А внутри? Какие причины внутри?

— Антисоветские настроения у части... — нерешительно сказал Блинов.

— У части? Но ведь не у всех? Иначе ведь это так бы быстро не ликвидировалось? Не правда ли? Нет, нет! Вы скажите о наших собственных ошибках!

— Недостатки политработы, парткадров, — сказал Блинов и замолчал, встретив пристальный взгляд Фрунзе.

— Недостатки? А по-моему, больше, — сказал командующий. — Вы посмотрите на узбеков! Какой превосходный, замечательный народ! Ведь из них можно сделать непобедимых солдат. А как велась политическая работа в местных частях? — Фрунзе помолчал немного и, обойдя стол, сам ответил на свой вопрос: — Да никак! Никак, к сожалению! Я не говорю, что из курбаши Ахунджана мы могли сделать коммуниста. — Фрунзе, будто досадуя на что-то, махнул рукой. — Враг не опрешек: раскусил — и сразу видно. Но нельзя прозевывать настроения масс. Нельзя дело довести до того, до чего довели в Андижане. Ведь это... расхлябанность, разгильдяйство, распушенность, нерадивость, преступная небрежность! — Фрунзе сердито постучал пальцами о вагонную раму. — Во всяком случае, — прибавил он. — в Фергане создалось положение, требующее присутствия кого-нибудь из сильных работников. Здесь останется Куйбышев.

— Вот это хорошо! — вырвалось у Блинова.

Фрунзе усмехнулся.

— Плохо, комиссар! — сказал он, останавливаясь прямо против Блинова. — А где же вы?

Блинов под взглядом командующего почувствовал себя неловко. «Сейчас он мне скажет: так нельзя работать», — подумал Блинов.

Но командующий ничего не сказал. И все равно Блинов понял упрек. Хотя за андижанскую историю Блинов никак не отвечал, но он догадался, что командующий характеризует ею общее положение и тем самым все эти упреки косвенно падают и на него.

— Да, если не принять мер, получится снова каша, — раздумывая, как бы для себя, проговорил Фрунзе.

Фрунзе опять посмотрел на Блинова. Комиссар вынул носовой платок и высморкался. «Сейчас меня запустят», — решил он. Но Фрунзе не торопился. Он дружески спросил Блинова:

— Вы учитесь? Книги читаете?

— Учусь. Времени мало, товарищ командующий.

— Надо найти! В подполье труднее было учиться. От вас требуется много знаний, комиссар. Малейшая отсталость или невнимательное отношение к делу поведет к общей отсталости. И тогда — прощай авторитет! Вы хорошо знаете Хамдама?

— Думаю, что хорошо, — быстро ответил Блинов.

— Сегодня был у меня один узбек, военный, из полка Хамдама — Юсуп. Хороший парень! Вы знакомы с ним?

— Ну как же! Командир первой сотни!

— Вы давно его знаете?

— С Кокандской автономии. Парень — первый сорт, — радостно и даже громче обычного сказал Блинов.

— А почему он не в партии, если он, по-вашему, первый сорт? — спросил Фрунзе, опять остановившись возле письменного стола.

Блинов пожал плечами.

— Я спросил его: в партии ли он? Оказывается, нет. Почему? — настойчиво повторил свой вопрос Фрунзе, как бы выжимая из Блинова ответ.

Блинов почесал в затылке.

— Невдомек? — сказал Фрунзе. — Он мне рассказывал свою историю и про Аввакумова говорил. Здорово! Интересно! Вот я взял у него заявление.

Фрунзе подошел к столу, убранному очень аккуратно, живо перебрал папки, раскрыл одну из них и вынул оттуда просьбу Юсупа о приеме в партию.

— С курбаши носитесь, а первый сорт пропускаете сквозь пальцы. Оформить надо, — сказал Фрунзе, передавая листок Блинову.

— Молод, думалось, — пробормотал Блинов, спрятав заявление в сумку.

— В самый раз! Мы раньше начинали.

— Да я в смысле подготовки, товарищ командующий.

— Обстреляется. Выучится. Он мне рассказал много занятного про полк Хамдама. Меткий глаз! Такими людьми надо насыщать политсостав. Они будут делать узбекскую Красную Армию.

Проводник вошел в салон, прибрал стол и переменял свечу в фонаре. Четким и плавным офицерским шагом уверенного в себе штабиста он подошел к Фрунзе и сказал ему на ухо:

— Привезли Хамдама, товарищ командующий. Прикажете принять?

— Давайте, давайте! — закивал Фрунзе, взглянув на часы. — Время идет.

Блинов встал, но Фрунзе усадил его:

— Побудь! Может быть, вопросы будут.

Проводник поставил еще одну свечу на стол, прикрепив ее к пепельнице.

В салоне появился Хамдам. Гордо и даже высокомерно он сделал общий поклон и задержался около стола. Начальник штаба исчез. Блинов был старым знакомым. «Значит, маленький — командующий!» — понял Хамдам.

Окинув Фрунзе взглядом, он успел сразу заметить все: гимнастерку без единого знака различия, штаны защитного цвета, сапоги с короткими кавалерийскими голенищами, волосы ежиком, бородку, мягкое выражение глаз. «Невоенный», — подумал Хамдам. Он подошел к Фрунзе и приложил руку к козырьку фуражки.

Фрунзе предложил ему сесть. Хамдам придвинул к себе стул, раздумывая, имеет ли он право сидеть в присутствии командующего. Фрунзе протянул ему папиросы. Хамдам отказался. Усевшись, он снял с головы фуражку, так как увидел, что Блинов тоже сидит без фуражки.

— Кого встретили в Коканде? — улыбаясь, спросил его Фрунзе.

Хамдам встал.

— У меня здесь нет друзей, — ответил он резко, дав понять, что, кроме посещения командующего фронтом, он не имеет никаких интересов.

— Сидите, сидите! — успокоил его Фрунзе.

Хамдам снова присел на стул, с тем же напряженным выражением лица. Фрунзе стоял около вагонного

окна, опираясь одним локтем о спущенную раму, издали разглядывая посетителя.

— Вам известно о предположениях штаба... — начал Фрунзе.

— Да, — ответил Хамдам, перебивая его, и посмотрел на пол и на стены. Он впервые видел салон. «Дом на колесах», — подумал Хамдам. Это понравилось ему.

— Как вы относитесь к нашему предположению? — спросил Фрунзе.

Хамдам пожал плечами и сказал:

— Приказывай!.. Куда хочешь — туда поеду.

Наступило молчание.

— Значит, теперь не колеблется?

— Нет. Я не колебался. Я болен, думал: можно отложить. Когда узнал — измена, я сказал себе: «Нет, нельзя... Я — Хамдам!» Курбаши хитрые. Ахунджан — хитрый, изменник. А ему дали орден! Парпи, наверно, проданся англичанам. Дай мне застрелить изменников! — Хамдам побагровел и сжал кулак. — Изменников так! — Он щелкнул языком и рассмеялся.

— Ну, а как же? Я слышал, что джигиты будто бы не захотят ехать в другой город?

— Как не захотят? — сердито проговорил Хамдам и постучал ребром ладони по столу. — Мое слово — слово! Москва? Москва. Крым? Крым. Ташкент? Ташкент. Хоп...

— Ну, хоп! — сказал Фрунзе, повторив слова Хамдама.

Хамдам понял, что ему пора уходить. Поднимаясь, он поклонился и прижал руку к сердцу. Командующий ответил ему поклоном, но руки не дал.

Хамдам вздохнул, выскочив из вагона. Эта встреча с командующим дорого ему стоила. Он чувствовал, что в течение этих десяти минут каждое его движение, каждое слово, каждый взгляд были взяты на учет. «Я, кажется, ничем не выдал себя, — подумал Хамдам. — Это хорошо, что я ему отвечал так решительно».

Но Фрунзе как раз не поверил этой решительности, и в то же время он видел, что Хамдам не врет, когда с ненавистью говорит об Ахунджане.

«Возможно, личная вражда», — подумал Фрунзе.

Хамдам, выйдя на перрон, где гуляли русские военные, быстро подтянулся, принял надменный вид и не

спеша прошел мимо них, прислушиваясь к звуку своих серебряных шпор. «Надо уметь жить, — подумал он. — Не подал руки? Я это заметил. А лучше, если бы ты мне подал руку — тогда бы я ничего не заметил. Дичь осторожнее охотника. Ну ладно, поживем еще!»

## 26

— Твое мнение? — спросил Фрунзе Блинова, когда Хамдам оставил вагон.

— Что ж, в порядке, — ответил Блинов.

— А поверить ему можно?

— Хамдам много всяких услуг оказывал. Вы же знаете!

— А Хамдаму откуда все тайное известно?

— Связи!

Фрунзе подошел к столу и, что-то написав на блокноте, сказал Блинову:

— Влить к нему коммунистов, и комиссаром надо назначить Юсупа.

— Есть, товарищ командующий! — Блинов встал. — Разрешите идти, товарищ командующий?

— Пойдем, я провожу тебя, прогуляюсь немного, — сказал Фрунзе.

Они вместе вышли из вагона.

Фрунзе первый раз говорил с Блиновым, но он слышал о нем и сразу оценил его. «Верный человек, из народа. Первое, чему он научился, — это оружие, — подумал Фрунзе о Блинове. — Спокойствие, добросовестность. Постепенно он одолеет все. Не все, так многое. Конечно, звезд с неба он не хватает, но это человек!» Фрунзе дружески улыбнулся Блинову, понимая, что комиссара надо подбодрить.

Наоборот, от встречи с Хамдамом у Фрунзе осталось очень смутное и неприятное ощущение.

— Не нравится мне твой Хамдам, — сказал он откровенно Блинову.

— Что делать, Михаил Васильевич! — ответил просто Блинов. — Не детей мне с ним крестить. А пользу приносил! Сажа тоже не бела, а в дело идет!

Блинов привел случай с Ахунджаном, доказывавший, что до сих пор сомневаться в Хамдаме не приходилось.

Фрунзе принужден был согласиться с этим доводом, но непонятная тревога все-таки продолжала его мучить. «Быть может, у меня шалят нервы? Неужели враг может быть таким? — думал он. — Тогда это очень опасный враг».

К ночи воздух сделался знойным.

Фрунзе вышел из вагона без фуражки, как он предполагал — на минуту. Но разговор его увлек, и он не заметил, что они ушли слишком далеко, за семафор, стоявший в километре от станции. Мерцали огни стрелок. Фрунзе на пересечениях путей наткнулся на эшелон, окруженный караульными. Двери во всех теплушках были задвинуты наглухо, а верхние люки, вырезанные под самой крышей вагона, были открыты настежь. Из теплушек доносились крики. Скандалили люди, втиснутые в вагоны по сорок, по пятьдесят человек. Они задыхались там от тесноты.

— Что это? В чем дело? Вы не знаете? — сказал Фрунзе. Голос его сразу изменился. Из мягкого и спокойного он стал сухим и резким.

— Разоруженный мятежный полк идет в Ташкент. На переформо... на перифир... на переформирование, — путаясь, торопливо ответил Блинов.

— Это скот или люди? Как, по-вашему? Где комендант? — крикнул Фрунзе.

Блинов подбежал к составу. Началась суматоха. «Коменданта, коменданта!» — закричали постовые. Блинов бегал вдоль товарных вагонов.

— Откатывай! Откатывай! — кричал он.

С визгом откатывались раздвижные широкие двери теплушек. Аскеры выпрыгивали на пути, все еще продолжая шуметь и волноваться.

Издали, среди зеленых и красных огоньков, летела чья-то сгорбившаяся тень. Это был Синьков. Придерживая на бегу свою шашку, он мчался к семафору. Увидав командующего, он остановился и перевел дух.

— Комендант станции Коканд Синьков. Прибыл по вашему распоряжению, товарищ командующий, — отработовал он, захлебываясь и держа руку у козырька фуражки. Все его щегольство будто сразу сдуло ветром.

— Где мой приказ: по двадцать человек на теплушку?

— Я только что сегодня назначен, товарищ командующий.

— Не оправдывайтесь! Вы коммунист?

— Так точно, коммунист.

— Вы кого везете? Врагов или обманутых людей? Где ваша голова? Под арест на пять суток!

— Слушаю, товарищ командующий, — дрожащим голосом ответил Синьков. В душе он был рад. «Легко отделался», — подумал он.

Блинов стоял тут же. Фрунзе замолчал. Шагах в тридцати от него волновалась толпа аскеров. Оттуда неслись возгласы и крики. Фрунзе пошел к толпе.

Блинов и комендант испуганно переглянулись и побежали за командующим. Увидев их, он жестом приказал им уходить.

— Вы без оружия, товарищ командующий, — прошептал Блинов.

— Идите, идите! — нетерпеливо сказал Фрунзе.

Они отошли в сторону, за семафор, не переставая издали наблюдать за Фрунзе. Аскеры тоже следили за ним.

— Что это за человек? Без фуражки, — переговаривались они между собой.

Когда он подошел к ним ближе, некоторые из аскеров узнали его и передали об этом товарищам. Крики затихли. Возбужденная толпа насторожилась.

Фрунзе решительно вошел в середину толпы.

— Переводчик есть? — спросил он окружавших его людей. — Кто по-русски говорит?

— Есть. Можно. Бердыкул говорит. Газиев, — откликнулись со всех сторон аскеры. — Азамат. Азамат хорошо говорит.

— Я могу, — проговорил Азамат, расставив ноги ножницами. Будто на чудо, он посмотрел на командующего и протиснулся к нему.

— Говори, пожалуйста! — сказал он командующему.

— Красные аскеры! — крикнул командующий. — Вы едете в Ташкент не для наказания.

Азамат перевел.

— Ваши начальники обманули и вас и советскую власть. Честным людям нечего бояться советской власти. Пусть ее боятся басмачи!

Азамат перевел и это.

— За семьи не беспокойтесь! Они будут обеспечены всем необходимым. В Ташкенте вы будете учиться.

— ...будете учиться! — повторил по-узбекски Азамат.

— Тот, кто рассказывал вам басни о красных <sup>عش</sup> изменник и лжец, — продолжал Фрунзе. — Мы — бедняки, и вы — бедняки. А у всех бедняков мира одни, общие интересы.

Он говорил, что теперь пришло совсем другое время... Раньше местных людей от всего отстраняли. Царские чиновники дружили только с богачами и баями. Теперь все пойдет по-иному. Новый, свободный Туркестан будут строить трудовые люди и коренное население, а не только пришедшее, и для этого каждому крестьянину, батраку, рабочему надо скорее приниматься за дело, за работу.

Он говорил и о военной службе.

— Мусульмане-беднота... Они пошли в армию тысячами, как только мы объявили призыв... Это передовики... Но и другие... Есть кулацко-байские слои... Эти прибегают к самому гнусному способу: пользуясь нищетой бедняка, они покупают молодежь, сыновей бедняков... Платят им деньги. Ставят купленных рекрутов. Это гнусность, позорящая человечество. Это все еще средневековые. Этому раз навсегда надо положить конец. Таким мы не дадим оружие... Таких рекрутов отправим в тыл... В тыл всех мерзавцев, которые позорят имя честного красного воина. На грязные работы! Есть и такой элемент, из байских сынков... Они только и ждут минуты, чтобы навредить бедноте, чтобы получить оружие и спеться с какими-нибудь... шпионами. Из-за рubeжа, например! Из Бухары... Верно это?

— Якши... — раздалось из толпы. — Это верно.

— Они хотят убить Великую революцию... А ведь она непобедима... Где теперь все эти белые генералы, все эти богачи разных национальностей, которые восстали против рабочих и крестьян России? Где соблазненные ими войска?... Все разбито. Взято в плен. За короткий срок мы отобрали от них и Самару, и Баку, и Красноводск. Не помогли им ни английские, ни турецкие полки... Да, им ничто не поможет, — продолжал Фрунзе после некоторого молчания, когда он точно прислушивался к дыханию толпы. — Ничего не поможет этим вóронам... Они действительно вóроны. А вспомните, что

бывает, когда вóроны вздумают вести народ... Они приводят его на свалку, к собачьей падали. Так говорится у вас, в старой пословице. А мы, русские коммунисты, зовем вас к построению нового мира, где не будет ни цепей, ни рабства, которое и до сих пор процветает в Бухаре... Эмир и сюда хочет протянуть свои щупальцы... Но вы этого не захотите... Не позволите...

Фрунзе опять помолчал, точно впитывая в себя все происходящее в толпе. Ему даже показалось, что он видит, несмотря на темноту, горящие глаза аскеров. Вдали мерцали огоньки стрелок. На конце станции у вокзала светились окна поезда, оттуда же доносились и свистки паровоза, словно там был уже какой-то другой мир, то будущее, мирное и счастливое, к которому он призывал.

— Нам очень тяжело сейчас. Не легче, чем вам... — сказал он. — Но мы добьемся свободы. И вы добьетесь вместе с нами. Пускай тяжело. Но настоящий человек добудет хлеб даже из камня... Добудет, друзья! И я верю в это... И вы верите, я чувствую, потому что вы крестьяне...

В ночной тишине разносился над толпой чуть хриплый голос командующего, и по тому напряженному вниманию, с каким толпа слушала его, по той сосредоточенности, которая точно приковала к нему взгляды всех аскеров, невольно чувствовалось, что пройдут годы и что бы ни случилось в эти годы — все равно никто из стоящих здесь людей никогда не забудет этой жаркой ночи...





1

Лошади, склонившись над стойлом, жевали, позвякивая цепями. Другие уже спали, стоя либо лежа. Иной раз какая-нибудь из лошадей тихонько и нежно, точно жеребенок, ржала во сне. Сквозь верхние спущенные окна денников виднелось быстро темнеющее небо. В конюшне было жарко, приятно пахло лошадиным потом. На обоих ее концах, правом и левом, зажгли по фонарю. Наступал вечер.

Грошик стоял в станке, в самом конце конюшни, под фонарем, возле лавки, где дежурил конюх Нияз, отличный джигит, до революции работавший в цирке.

Нияз считал, что жизнь человека складывается из трех страстей: страсть первая — война, вторая — лошади и третья — цирк. Все эти три страсти принесли ему мало удовольствия. Война и лошади здорово его покалечили, для цирка он уже не годился. Это был одинокий,

странный и тяжелый человек, ссорившийся со всеми в эскадроне, кроме Юсупа. Нияз любил его преданно и беззаветно...

Когда хлопнула дверь конюшни, Грошик оглянулся, перебрал застоявшимися ногами, вытянулся, справился с нуждой, нагнулся к яслям, к охалке сухого клевера, и вдруг приподнял голову. Он услышал шаги Юсупа. Тот, отбросив дощатый барьер станка, подошел к Грошику. Лошадь потянула воздух влажными ноздрями и ткнулась мордой в плечо джигиту. Юсуп вытащил из кармана кусочек сахара и угостил Грошика, потом повернулся к стенке, доставая с гвоздя седло и уздечку.

Удивленный Нияз нехотя встал с лавки и остановился около станка.

— Уезжаешь? — спросил он Юсупа. — Что такое?

— Надо. К утру вернусь, — ответил Юсуп. — Если утром будут спрашивать, брал ли я лошадь, ты никому не говори!

Нияз кивнул головой. Зачем он будет говорить? Кому какое дело?

По голосу Юсупа Нияз понял: случилось что-то важное. Он решил помочь другу, сам подкинул под ленчик потник, сам подтянул подпруги, и через несколько минут Грошик застучал копытами по деревянному настилу конюшни. Лошади покосились на него. Час был неурочный...

Юсуп выехал из Коканда. Глухие дома, темные сады и рощи, темная степь — все чередовалось, точно на картине. Он думал только об одном: как он встретит Сади? Один его приезд может взбудоражить всех в Беш-Арыке.

«Все равно! Я должен видеть ее», — сказал себе Юсуп.

Это решение, родившееся как будто внезапно, на самом деле давно созрело в нем.

За полтора месяца стоянки полка в Коканде Юсуп не имел ни минуты свободного времени. Полк переформировывался, шло непрерывное переобучение джигитов. Но, несмотря на занятость, Юсуп не мог избавиться от мысли о Садихон. Он даже не раздумывал о том, любит ли он ее. Садихон страдает, он должен ей помочь, в этом он был убежден.

Юсуп надеялся выбрать удобный момент, чтобы тайно увидеть Садихон и поговорить с ней. Это было



невыполнимо, потому что Хамдам на время переобучения полка вернулся домой и почти не выезжал из Беш-Арыка. Правда, на час или два он появлялся иной раз в Коканде. Приезды эти были всегда неожиданны и случайны, и Юсуп никак не мог угадать, когда Хамдам отлучится из дому. Кроме того, Юсуп, как и все остальные, считал, что положение полка уже определилось и, пройдя переобучение, полк опять вернется на свои старые места, в Беш-Арык и в соседние кишлаки.

Поэтому никто не ожидал приказа о выступлении полка.

Вечером 13 августа Хамдам и Юсуп были вызваны в штаб, к Блинову. Блинов сказал им, что завтра полк должен быть готов к погрузке и стоять в два часа дня у станции Коканд.

— Куда же мы отправимся? — спросил Хамдам.

— В направлении Ташкента, — глухо ответил Блинов.

— Очевидно, в Бухару? — спросил Хамдам.

— Возможно, — ответил Блинов.

За полк Юсуп не беспокоился. Полк был в порядке. Отдав все необходимые распоряжения и узнав, что Хамдам остается ночевать в Коканде, Юсуп решил съездить в Беш-Арык.

Беш-Арык спал уже, когда он приехал туда. Только псы бешено лаяли в разных концах кишлака. Юсуп подъехал к усадьбе Хамдама со стороны сада. Возле низкого дувала он остановил Грошику, перелез через дувал и попал в сад. Пышные фруктовые деревья стояли в саду рядами, точно всадники. Мимо них неслась на Юсупа лохматая овчарка. Еще издали Юсуп услышал ее рычание. Он остановился и подозвал собаку. Она, подскочив к Юсупу, узнала его. Кругом от тихого ночного ветерка едва шелестела листва. Юсуп дошел до женской половины и осторожно сказал в раскрытое окно:

— Сади!

Первой, услышав голос Юсупа, проснулась Рази-Биби. Она переполошилась, вскрикнула, разбудила Садихон.

Садихон вскочила и растерялась, как будто ей сказали, что пламя охватило дом. Она показалась на галерейке полуодетая, забыв об одежде, не вздувая огня

все тело ее задрожало, будто пронизанное холодом. Вслед за ней на галерейку вышла Рази.

Юсуп стоял около столбиков. Не глядя на женщин, он рассказал им об отъезде полка. Сади заплакала.

— Что плакать? — сказал Юсуп. — Я уже давно почувствовал, что тебе плохо здесь. Поедем в Коканд! Я тебя там устрою. Ты поживешь в Коканде у моих друзей.

— Глупости! — проговорила Рази, не соглашаясь с Юсупом и даже замахав на него руками. — Разве Хамдам не узнает, где она? Он убьет ее. Пускай Сади еще немного потерпит! Тот, кто терпелив, даже из незрелого винограда получает сладость. Мы в Беш-Арыке проживем спокойно. А когда полк вернется, тогда уходите!

Рази посмотрела на небо, засмеялась.

— Простись с Юсупом, Сади... — прибавила она. — Я ведь никому ничего не скажу... Сегодня прекрасная ночь. А вот когда вернется Юсуп с войны, тогда вы и устраивайте жизнь. Вы не дети, а хотите поступить по-детски. Ну, простись... Ну, иди в сад, Сади... — повторила она, дотронувшись нежно до плеча Садихон и как бы подталкивая ее.

Юсуп взял Сади за руку. Они ушли в глубину сада. Ночь была душная.

— Ты недоволен?

— Я хочу увезти тебя. Ни о чем другом я не могу думать. Я вижу, что ты мучаешься.

— А почему ты не хочешь меня взять в Ташкент?

— Потому что мы идем в направлении Ташкента, а это еще не значит, что мы идем в Ташкент. Вернее всего, что мы идем на фронт, Сади. В Бухару.

— Может быть, я не увижу тебя больше?

— Почему?

— Ты же сам сказал, что идешь на фронт.

— Ну так что? Не всех же убивают! Поедем в Коканд! Ты уйди пока от Хамдама, а дальше мы увидим, что будет.

— Нет. Я могу жить только с тобой. Я пропаду одна. Значит, не судьба. Ты поезжай, а я буду тебя дожидаться, я послушаюсь Рази, она умная и ничего дурного никогда не посоветует... Прощай, Юсуп, — сказала Садихон и крепко обняла Юсупа...

Сколько времени длилось это, эти объятия и поцелуи?.. Оба они опомнились, когда на дворе опять залаяла собака, потом завизжала; ее, наверно, ударили плетью. Садихон опустила руки и прошептала:

— Прощай, Юсуп! Скорее... Прощай! Скорее!

Юсуп перепрыгнул через дувал. Грошик спокойно стоял у стенки. Вскочив в седло, Юсуп помчался обратно в Коканд. «Все случилось иначе, — думал он, — Сади трусит. Может быть, она права. Будь я на ее месте, может быть я тоже побоялся бы... Конечно... Хамдам уходит, значит ей спокойнее остаться пока в Беш-Арыке. Не следует раньше времени посвящать в это дело Хамдама. И правда, не вечно же будет война! Буду цел, вернусь — и тогда все это сделается проще».

Юсуп ехал со спокойным сердцем. Все эти размышления радовали его. Он чувствовал, что Сади его любит, и это чувство так волновало его, он так им гордился, что даже позабывал спросить самого себя: а любит ли он ее? Все личные мысли чем-то заслонялись. Он видел, как дрожащая и молчаливая Садихон уходила от него, как кругом стояли темные яблони, как сладко, почти зримо пахли яблоки, как сквозь облака горело нежное небо... «Этой минуты, — подумал он, — я никогда не забуду. Что случилось? Я ведь обещал ей. Значит, теперь я должен быть ее мужем. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Но минута эта была хороша. Очевидно, так бывает у всех».

Начинался рассвет. Грошик был мокрый от испарины.

— Ну уж теперь ты отдохнешь в вагоне! Повезут тебя, — говорил Юсуп, похлопывая Грошика. — Еще поднатужься. А уж овса я тебе задам вдвойне.

Грошик мотал головой, будто поняв, о чем говорит его всадник. Он часто и прерывисто дышал, будто стараясь этим дыханием возместить утраченные силы, однако шел без понукания, переходя по временам с иноходи на шаг и всхрапывая.

Появилась роса. По обе стороны мягкой грунтовой дороги потянулись густые и пыльные деревья, потом пошли хлопковые плантации, кусты осыпанные белыми пушистыми коробочками. В селениях, за глухими глиняными стенами, слышались голоса людей. Наступило свежее, прохладное утро. Как ручей, оно разлилось по

земле. Кое-где в кишлаках уже запахло дымом. И наконец показалось золотистое прозрачное солнце. Сразу все засверкало, все стало торжественным. Юсуп будто впервые в жизни увидел, каким прекрасным может быть утро...

## 2

К восьми утра Юсуп вернулся к Коканд. Полк готовился к отправке. Лошадей выводили из конюшен. Юсуп насухо вытер Грошика и выскреб его. В конюшне он узнал от Нияза, что Хамдам этой ночью выезжал в Беш-Арык и к двенадцати его ждут обратно.

Когда лошади и обоз грузились в вагоны, Хамдам вернулся. Он приехал прямо на станцию. Он опоздал. С ним вместе прибыли из Беш-Арыка Сапар и Абдулла. Они да еще Козак Насыров, как три тени, повсюду бродили за Хамдамом.

Хамдам был весел и шутил с джигитами. Юсуп решил, что Хамдам сейчас спросит его о поездке; возможно, что он как-нибудь узнал о ней. Юсуп приготовился отвечать честно. «Не боюсь, — подумал он. — Здесь, на виду у всего эскадрона, что он посмеет сделать?»

Юсуп ждал...

Хамдам, играя темляком своей шашки, направился к вагонам. Он остановился возле Нияза и спросил его о чем-то. Конюх отрицательно покачал головой. Тогда Хамдам толкнул локтем Насырова, и трое джигитов сразу, словно по команде, обернулись в сторону Юсупа. Поняв, что разговор шел о нем, Юсуп выдержал этот взгляд.

Вдруг Хамдам, продолжая смеяться, поднял руку и поманил Юсупа пальцем. Юсуп подошел. Хамдам посмотрел на его запыленные сапоги и, улыбаясь, спросил:

— Ну, как дела?

— Полк готов к отправке, — ответил Юсуп.

— Это я вижу, — заметил Хамдам, и левая бровь у него задергалась. — Я спрашиваю о твоих личных делах.

— Все мои дела в полку, — сказал Юсуп.

— А почему твой жеребец мокрый? Куда ты его гонял?

Юсуп посмотрел на Хамдама и по выражению его глаз понял, что тот ничего не знает.

— Надо было, — ответил Юсуп.

— Хоп, хоп! — сказал Хамдам, и лицо его перекопилось.

Юсуп, круто повернувшись, оставил Хамдама. Хамдам посмотрел ему в спину. Юсуп уходил широкими шагами, как русский солдат. Репеек низко спустившейся правой шпоры прочертил в пухлой пыли прямую, ровную линию. Хамдам, увидев ее, закрыл ладонью глаза. Никогда в своей жизни он не мог забыть эту минуту.

«Вот мой враг на вечные времена! — подумал он. — Терпение! Не торопись, Хамдам!» Своим звериным чутьем он чувствовал, что Юсуп мог быть в Беш-Арыке, но доказательств у него не было, и это приводило его в бешенство.

Он глядел злыми глазами на коноводов и порученцев. Никто из джигитов не мог понять, почему разозлился Хамдам.

Он поминутно смотрел на часы, вынимая их из кармашка гимнастерки, дергал головой, морщился. Командиры Сапар и Насыров боялись спросить его, чем он недоволен. Всем казалось, что он только ищет повода, к чему бы придраться. Но погрузка шла правильно.

Когда к станции на вороной сильной лошади подскакал Блинов, Хамдам мгновенно переменялся. Он быстро подошел к Блинову и поздоровался с ним за руку.

— Ну, едем! — сказал Хамдам, улыбаясь. — А тебя когда ждать?

— Да не задержимся, — ответил Блинов. — Гимнастерки ты получил?

— Гимнастерки получены? — спросил Хамдам Сапара.

— Получены, — оскалив зубы, сказал Сапар. Он вертелся тут же. Он любил быть на виду у начальства и ответил поэтому с большой охотой.

Засвистел паровоз, и начались крики:

— Скорей, скорей!

Блинов, соскочив с лошади, поднялся вместе с Хамдамом на платформу, к поезду. Первый поезд (теплушки, один классный вагон и вагоны для лошадей) стоял у товарной станции Коканд. Второй тоже был погружен и отправлялся через полчаса вслед за первым,

Блинов нашел Юсупа около вагона третьего класса. Юсуп беседовал с Абитом и еще тремя коммунистами, только что прибывшими в полк. Блинов подошел к ним, а Хамдам, не остановившись, прошел прямо в вагон и вслед за ним его порученец с двумя мешками.

Блинов переглянулся с Юсупом. Оба они улыбнулись. Улыбнулись и только что прибывшие коммунисты. Но никто ничего не сказал.

— Ну, желаю тебе счастья, — обратился Блинов к Юсупу и обнял его.

— А мы разве еще не встретимся? — спросил Юсуп.

— Да ведь неизвестно! Мы разными эшелонами пойдем.

По перрону пробежал комендант станции Синьков.

— Товарищи, отправляю! Садитесь! — закричал он.

Платформа сразу опустела.

Юсуп вскочил в тамбур. Абит вместе с остальными пошел в соседний вагон.

— А почему без митинга нас отправляют? — спросил Блинова Юсуп.

— Пока не надо. А ты в дороге подготавливай народ! Дело предстоит серьезное. Я думаю, что в Самарканде Фрунзе будет вас встречать.

Поезд тронулся. Поплыла платформа. Юсуп махнул Блинову рукой.

«Прощай, Коканд! — подумал Юсуп. — Все, что было хорошего и плохого, все прощай!» Юсуп, держась за поручни, высунувшись с площадки вагона, смотрел на платформу. «Прощай Коканд! — опять подумал он. — Увидимся ли мы, Садик?»

Блинов становился все меньше и меньше и наконец исчез, когда на закруглении поезд повернул вбок...

### 3

Джемс перебрался в Старую Бухару.

Старый город лежал на канале Шахруд, на равнине.

Он был опоясан глинобитными стенами, такими высокими и толстыми, что снаряды полевой артиллерии зарывались в них. Одиннадцать ворот выходили из города, и сто тридцать одна башня указывала людям, что здесь некогда была обитель славы, бога, владычества.

искусств и наук. В лабиринте кривых, узких и немощных улиц вечно шмыгал народ. Благородная Бухара, как звали ее в старину, была переполнена. В этом городе всегда жилось тесно.

Джемсу отвели в предместье большой каменный дом, стоявший в старом саду. Сюда сошлись агенты Джемса, информаторы и курьеры — люди разного рода и пола, различных характеров и национальностей. Джемс называл их просто «мои люди». Правительство эмира прикомандировало к Джемсу двух дворцовых офицеров в качестве почетной охраны.

Джемс злился. Работа его не клеилась, тормозилась, и он никак не мог раскрутить эти тормоза.

Сановники эмира наперерыв приглашали его к себе в гости, увеселяли охотой и всевозможными развлечениями. Он жил в Бухаре уже давно и все не мог встретиться с эмиром. Джемсу отказывали в аудиенции под самыми благовидными предложениями.

Эмир, приняв от него в подарок прекрасное охотничье, но с обоймой, ружье, прислал в ответ благодарственное письмо, но в письме этом даже не упоминалось о встрече.

События назревали. Всякий внимательный человек мог увидеть, что под внешним покровом обычной жизни, как под скорлупой зерна, кроется росток, который обладает такой силой, что вскоре расщепит пополам всю скорлупу.

Восстание было близко, и Джемс понимал, что бухарские революционеры скоро позовут на помощь Красную Армию, и тогда эмир умрет.

Однако жизнь двора протекала по-прежнему. Ничем не нарушался обычный церемониал приемов и заседаний. Эмир, приехав из загородного дворца, из Саттар-Махасы, молился, как молились в старину его предки, в одной из главных мечетей в Меджиди-Каллян, украшенной голубыми и зелеными изразцами. На ее большом дворе, под сводами ее галерей, толкались представители из провинций, беки, чиновники, приехавшие на поклон к эмиру. Здесь же возле мечети толпились разведчики различных европейских и даже заокеанских государств, жившие в Бухаре под самыми разнообразными предложениями, выдавая себя то за инженеров, то за коммерсантов. Здесь же были русские офицеры из бе-

лых армий, турки, персы и почетные гости из бухарских купцов.

Слоны и лошади, разукрашенные цветными и серебряными чепраками, тяжело шествовали в процессии эмира. На площади Регистана, окруженной фронтонами мечетей и духовных семинарий, около открытых восточных магазинов, возле чайных и ресторанов-ашхана стояли толпы народа. Все смотрели на пехоту и артиллерию. Войска выстроились на площади в каре.

На солнце горело оружие.

Солдаты и офицеры были одеты в самые разнообразные формы: русские — царского времени, английские, афганские, туземные. Все это пестрело, сверкало.

Эмир принимал парад.

Воспользовавшись праздником и личным пребыванием эмира в Бухаре, Джемс снова разослал подарки. Снова он добивался свидания. Ковры, драгоценности были отправлены не только министрам, но и многим русским советникам и даже офицерам бухарского штаба; белогвардейцы играли большую роль при дворе и в армии.

Ничто не помогало. С резидентом опасались говорить о самом главном — о связи с Англией.

Эмир чувствовал, что в задачу Джемса входит предложение прямой помощи против «красных». Такие вести приятно волновали его. Было лестно ощущать за своей спиной сильную державу. Это невероятно возвышало его в собственных глазах. Но все же он медлил прийти к определенному соглашению — политическая обстановка мешала этому.

Год тому назад, весной, Афганистан восстал. Афганцы были старыми соседями Бухары. Народ, не имевший счастья после мировой войны попасть в число победителей, попробовал объявить себя свободным и независимым от англичан.

Англичане бросили против нескольких десятков тысяч афганцев огромную армию, подкрепленную не только артиллерией, но и авиацией.

Совнарком отвечал Афганистану телеграммой:

«Получив первое послание от имени свободной самостоятельной афганской нации с приветом русскому народу, спешим от имени рабоче-крестьянского

правительства и всего русского народа принести ответный привет независимому афганскому народу, героически отстаивающему свободу от иностранных поработителей».

События развивались с переменным успехом.

Часть афганских войск потерпела поражение, зато другая, под командованием Мухамед-Надир-хана, успешно выступила и осадила англо-индийский форт Тол. Эти успехи вызвали восстание многих индусских племен. Англичанам изменила туземная пограничная милиция. Волнения перекинулись к вазирам, махсудам и даурам. Английские войска, триста сорок тысяч человек, в результате целого ряда военных операций оказались почти в мешке. Армия Надир-хана, обойдя Пешавер, могла соединиться с восставшими командами. Правда, Надир-хан не использовал своего выгодного положения. Дело ограничилось угрозой.

Тогда английская авиация принялась громить Кабул. Но воздушные атаки не усмирили афганцев. В тылу английской армии восстали аффридии, напав на хайберские англо-индийские форты, и по всей пограничной полосе северо-западной Индии протянулась линия партизанской войны.

Повстанческое движение бурно росло, к нему примыкали дезертиры из мусульманских частей англичан. Среди английских войск вспыхнула холера. Индийское правительство, опасаясь затяжной войны, пошло на переговоры с Амануллоу; оно боялось за Индию и в августе 1919 года подписало мир, признав независимость Афганистана.

Слава об этой победе перелетела, как птица, через Пяндж и Аму-Дарью. Не было крестьянина, который не знал бы о ней. Афганские племена проклинали англичан на всех перекрестках. На англичан косились, презирали их, и где-нибудь в глухом углу каждый англичанин мог подвергнуться серьезной опасности.

Вполне понятно, что такие важные события не могли пройти без следа и для ближайших соседей. Они поколебали в народах Средней Азии прежнее представление о могуществе Англии.

Джемс не мог считать свое пребывание в Бухаре приятным. Он не сомневался в симпатиях эмира, но эмир опасался народа. Открытая связь с иностранцами в эту

минуту обнажила бы игру знати. «Ничем не прикрытый личный интерес! Борьба за власть и богатство! И ради этого, ради земных благ, связь с неверными, измена исламу...» — вот как могли говорить об этом. Яркие афганские вожди не стеснялись в средствах, чтобы разжечь своих зарубежных соседей. Они натравливали эмира против чужеземцев, поставив его между двух огней.

Эмиру тоже было известно, что афганская дипломатическая почта прошла через руки Джемса. Джемс поймав курьеров, ознакомился с интересующими его афганскими дипломатическими документами, а потом, точно нарочно, переслал их с извинениями эмиру. В этих письмах афганцы умоляли эмира не верить «инглизам». Они писали:

«Инглизы слишком продувной народ. Попросту говоря, они, конечно, играют на темноте узбеков и турецком происхождении. На самом же деле им хочется овладеть Туркестаном так же, как раньше владели им русские. Но завтра они будут хуже русских, и если они говорят, что они не имеют никаких претензий на вашу территорию и с вами дружны и посему предоставьте им проход через вашу территорию на Самарканд и Ташкент, чтобы они смогли выбить оттуда большевиков, — не верьте им, ваше высочество, не давайте им этого права! Как только инглизы ступят одной ногой на вашу территорию, они лишат вас власти в еще большей степени, чем это в свое время сделали русские».

Эмир все-таки думал, что встреча с Джемсом необходима. Но придворные стояли стеной около него, эмир не имел смелости разбить эти препятствия. Он понимал, что встрече мешает значительная часть придворной знати. Он не хотел вступать с ней в пререкания, а в среде англофилов не находил надежных людей. Он ворчал и колебался, обвиняя кушбеги, своего канцлера и первого министра, в ошибках.

К концу лета многие стали замечать, что бухарское правительство скрипит, как арба, что оно малонадежно... Но что это значит? Близко ли оно к падению? Этого нельзя было знать. Можно было только это чувствовать, бояться этого... Но ни у кого уже не хватало ни умения, ни энергии заняться государственными делами.

Джемс имел приятелей в военной среде. Это были инструктора, ранее служившие в афганской армии. Они тайком провели его в покои кушбеги. Случилось это днем, неожиданно. Джемс решил просто ворваться к министру без всякого приглашения.

Был яркий, солнечный день. Кушбеги только что вернулся с доклада. Эмир нервничал, и кушбеги чувствовал, что только обстоятельства сдерживают его. В иное время эмир сменил бы всех министров, и в первую очередь опала коснулась бы кушбеги. Министру не хотелось ни о чем думать. Все надоело. Все раздражало. Даже цветущее небо, даже воркованье серебристых голубей, бродивших по карнизам внутренних построек, казалось ему невыносимым. Сарбазы дремали на карауле у ворот дворца.

В эту минуту появился Джемс в сопровождении своих офицеров. Министр сделал вид, что рад его приходу.

— Неприлично, что я пришел незванным, — сказал Джемс. — Но я ваш гость.

— Такой гость — благословение бога, — ответил, улыбаясь, министр и приказал подать угощение. Слуги принесли маленький низкий столик, чай, вазы с вареньем, персидские серебряные тарелки с орехами, фрукты.

Джемсу надо было во что бы то ни стало выполнить свою основную миссию: не порывать с эмиром связи, держать его в своих руках и сохранить ему жизнь в случае восстания. Обо все этом не скажешь прямо, сразу. Он начал издали. Он принялся рассказывать о своем путешествии по Фергане, о Коканде, о советских порядках. Старик слушал, покачивая головой.

Джемс играл, как обычно, сам несколько тяготясь своей постоянной ролью. Основной сюжет этой роли: он — купец, он не заинтересован, политика Англии бессмысленна, он рад его высочеству посоветовать. Эта часть ему давалась вполне. Он исполнял ее неоднократно. Он уже не замечал ни движений, ни интонаций. Настроения и мимика въелись так крепко, что даже при чрезмерной подозрительности Востока трудно было хоть на чем-либо поймать Джемса.

Но предстояло еще разыграть самое главное — дружбу к Востоку. Это место своей роли он считал самым

опасным. Тут надо было умение. Без действительного знания Востока, без учета всех его слабостей и характера Джемс провалился бы. С умным кушбеги нельзя было действовать так же примитивно, как с беками. Жадные и грубые беки покупались просто: отличные пулеметы Виккерса, хронометры, бинокли и патефоны убеждали вернее слов, остальное дополнялось пьянством, и дружба считалась закрепленной. Это напоминало сделку воров в трактире. Кушбеги так не купишь! Надо было иметь сильно действующее, оглушающее, как наркотик, средство. И Джемс его имел.

Поговорив о пустяках, Джемс встал, как бы заканчивая свой визит. Вставая, он сунул руку за борт своего френча и вытащил из внутреннего кармана пакет, захваченный им на всякий случай.

— Здесь кое-какие неожиданные бумаги, протокол Чарджуйского съезда, который я достал, — сказал он с улыбкой. — Вы знаете, что там произошло? — спросил он так небрежно, как будто сам не придавал значения своему вопросу.

— Слышал, — равнодушно ответил кушбеги. — Бухарские коммунисты объединились с джадидами. Но в их среде нет единодушия. Некоторые, наиболее ярые коммунисты требовали расстрела Карима Иманова. Они обвиняли его в измене. Я знаю, что этот скандал потушили. Но скандал был. Он нам на руку.

— Что еще знаете вы?

— Все... и еще кое-что, — сказал кушбеги. — Они переругаются, их революция лопнет. Новый Чарджуй — еще не Бухара.

— Вы знаете, что и Старый Чарджуй волнуется? В Карши тоже беспокойно.

— Но ведь слуги эмира везде оказывают сопротивление!

— Оказывают. Но режим обречен. Беднота на стороне красных, — упрямо сказал гость.

— Это эмигранты и сбежавшие эмирские солдаты, а народ религиозен. Он побушует и одумается. За нас ислам.

— Джадида тоже говорят об исламе. Вы читали их листовки?

— Читал.

— Вы помните то место, где говорится, что эмир не признает народного достояния, убивает кого хочет.

Деньги, имущество и жизнь всех правоверных находят-ся в его руках.

— Разве это противоречит исламу?

— А вы как думаете?

— Эмир — это эмир. Это не Карим Иманов, который хочет стать эмиром, — уклончиво ответил кушбеги.

— Сейчас Карим — коммунист. Но не в этом дело! — улыбнулся Джемс. — Главное заключается вот в чем... Вы, несомненно, помните конец этой листовки?

— Нет.

— Они вас обвиняют в дружеских связях с Англией.

— Это глупо.

— Они пишут, что эмир отправил в Лондон все золото, серебро, драгоценности и каракуль. Все достояние, принадлежащее бухарскому народу.

— Писать можно! Мы, конечно, немало отправляли, — вздохнув, сказал кушбеги.

— Но не все! — перебил его Джемс. — А теперь время пришло! Готовьте караван!

Эти слова были так грубы и наглы по своей откровенности, что даже опытный и привыкший ко всему кушбеги растерялся. «Вот как!» — подумал он, но сделал вид, что ничего особенного не произошло. Он улыбнулся и вежливо спросил резидента:

— Какой караван? Простите, я вас не понимаю! Я повторяю, что Бухара — это не Чарджуй.

— Когда она будет Чарджуем, тогда будет поздно! — закричал Джемс. — Вы что же... вы хотите совсем порвать ваши взаимоотношения с английскими коммерсантами?

— Простите еще раз! — сказал кушбеги. — Я хочу только вам напомнить, что по существу дела мы и не порывали наших взаимоотношений. Сколько хлопка и каракуля в течение двух последних лет мы переслали за границу, английским купцам!.. Это вам известно?

— Известно. Но мне известно еще и другое. Сколько денег, а не товаров, его высочество вложил за эти годы во французские банки! А не в английские! Повторяю, не в английские!

— Что вы хотите? — уже нетерпеливо, обозлившись, спросил кушбеги.

— Готовьте караван! Готовьте караван! — сказал гость. — Франция вам не поможет. Два месяца тому на-

зад вы не послушались меня. Вы верили афганцам. Вы избегали помощи Англии.

— Мы сами умеем казнить коммунистов.

— Дело не в коммунистах. Народ надо держать под пулей. Сейчас уже поздно. Красная Армия в Кагане. О чем вы спорите, ваше превосходительство? На этих днях будет восстание в Новой Бухаре. Так сказать, под боком. Верите ли вы этому или нет?

— Да, я знаю что это — гнездо, но...

— Господин министр, мои сведения не подлежат сомнению. Ваши шпионы рыщут в Новом городе. Вы осматриваете каждый поезд, каждый вагон, проходящий через станцию Каган. По несколько раз в день ваши курьеры скачут к вам с донесениями о том, что делается в Новой Бухаре. Вы подтянули к ней свои войска, и горе тем смельчакам, которые пытаются пробраться через эту линию! Мне все это известно. И все-таки вы ничего не знаете! Я говорю вам в третий раз: готовьте караван. Я скажу точно: тридцатого августа из Новой Бухары красивые начнут наступать. Можете ли вы исполнить мою просьбу?

Кушбеги, удивленно посмотрев на него, изъявил полную готовность, — точность Джемса испугала его.

— Я не уеду отсюда до падения эмирата. А когда его высочество принужден будет бежать, обеспечьте место моим верблюдам и людям в его караване! — сухо сказал Джемс. — Вот и все.

Старик покраснел. Джемс почтительно поклонился:

— Я имею еще частное предложение, ваше превосходительство. Я покорнейше прошу не медлить, собрать всех купцов Бухары и приказать им сегодня же составить несколько транспортов.

— Опять кара-ва-ны?

— Да. Вьючите золото, серебро, каракуль, шерсть, кожу, шелк и хлопок! Все ценное. Направление — Афганистан и Персия. Через эти страны все дойдет до нас. Уверяю вас, ваше превосходительство, что мы никогда не забудем этой услуги. Да помилует вас аллах! Я говорю откровенно, из дружбы. Когда вы прочтете эти документы, вы поймете меня.

Помедлив секунду, Джемс прибавил:

— Я согласен с мнениями, высказанными там. Мы делаем ошибки, мы не бескорыстные друзья, но все-таки

друзья. Большевики уйдут, а мы останемся. Вот что надо помнить, господин министр. Нам с вами по пути, что бы там ни случилось в Афганистане... Не правда ли?

Сказав это и точно издеваясь, Джемс взглянул на кушбеги своими вдруг повеселевшими глазами, передал ему секретный пакет и, крепко пожав ему руку, быстро вышел.

В соседнем зале его ожидали адъютанты и дворцовые слуги. У входа стояла машина. Джемс вместе со своими спутниками выехал из цитадели на Регистан.

Там, как обычно, толкался народ. Возле ларьков вертелись женщины в поисках товара. Они рассматривали разные материи, пробовали их крепость на зуб, тянули их, бранились и торговались с продавцами. В харчевнях пахло дымом, салом и жареным луком. На пыльных коврах сидели люди и ели из чашек, похожих на полоскательницы. У входа сидели на корточках бродячие певцы и задумчиво наигрывали что-то на дутаре\*, пощипывая струны. Брели по площади ослы, навьюченные бочонками с водой. Большие мухи гудели над белыми корзинами с матовым крупным виноградом и золотыми августовскими дынями, разложенными прямо на земле. Пахло толпой и пылью.

Оборванные и босые дервиши в халатах, сшитых из лоскутьев, с обнаженными головами либо в остроконечных шапках с меховой оторочкой, с посохами в руке, с продолговатыми чашками из скорлупы кокосового ореха, толпились тут же среди прохожих, останавливали их, выпрашивая подавание, и оглашали воздух громким пением: «О боже! О вездесущий!»

Приближался вечер. Вспыхивали огни в чайных. С минаретов, надрывая голоса, азанчи вопили о боге. Автомобиль Джемса медленно двигался по узкой улице среди всей этой толпы, среди уличного шума и возгласов. Рядом с машиной вприпрыжку бежал дворцовый слуга в красных штанах. Он замахивался на встречающих палкой и кричал им: «Берегись, берегись, берегись!»

В пакете, полученном от Джемса, была копия документа, повлиявшего на эмира.

Эмир, небольшой толстенький человек, всегда державшийся, даже со своими приближенными, как важная

и никому не доступная персона, на этот раз потерял свое самообладание. Полное, чрезвычайно курносое, плоское и желтое, как медный диск, лицо его покрылось пятнами, вспотел затылок. Он поминутно обтирал его большим фуляровым платком. В то же время он делал вид, что не придает этим известиям особенного значения.

Разговор шел в маленьком кабинете рядом со спальней.

Из открытого широкого окна виднелся дворик, засаженный цветущим кустарником и остролистыми кленами. Было тепло. По-вечернему, сильно и пряно, пахли цветы. Журчал фонтанчик. Из его чаши переливалась в водоем стекающая тихо струйка. Журчание воды сплеталось с журчанием из крана в ванной. В атмосфере покоя казалось, что воздух не движется.

Эмир был в туфлях и домашнем халате, стеганном на гагачьем пуху: он готовился принимать ванну.

— Ты волнуешься, как женщина... — сказал эмир министру. — Или как мальчик... Что с тобой? Ну, прочитай еще раз эти известия... Только спокойно... Мы обсудим сейчас каждую фразу.

Чарджуйский агент Джемса, богатейший фруктоторговец, общался о конференции бухарских революционеров в Новом Чарджуе.

— Да, я знаю это, это не новость, — нетерпеливо проговорил эмир, сидя на низком диванчике и выпятив брюшко. — Мы ведь арестовали одного из главарей.

— Да, ваше высочество... И не только одного. Многих, кто не успел удрать. Я был предусмотрителен. Но дело не только в этом... Агент пишет, что генерал Фрунзе по прямому проводу разговаривал с ними...

— С кем? С этими революционерами? Ну и что?

— Да вы почитайте сами, ваше высочество... Умоляю вас. Вот его отчет.

«Мне известно, — писал агент, — что генерал Фрунзе заявил нашим большевикам, этим собакам, которые путаются с кяфирами, что в первую очередь все от них зависит. Он им прямо заявил: «Мне вашей Бухары не нужно. Если вы восстанете и сами победите эмира и народ будет с вами, а не против вас, то есть если сам народ победит и выберет свою трудовую власть, тогда



я окажу помощь народу...» Вот что он сказал... А они сказали ему, тоже в письме, что сумеют объединить революционные элементы».

По лицу эмира пробежала раздраженная усмешка. Он скомкал и швырнул письмо.

— Революционные элементы? Да они перегрызутся, как собаки... Эти джадиды. И поганые большевики. Они всё шутят. Мало их ловил и вешал русский царь. Не придет сюда этот генерал... Наш народ не понимает этой агитации. Наш народ — это солома. Или вода... Прольется через решето... А революционным *элементам* следует снести голову долой! — решительно сказал правитель Бухары. — Здесь не Москва.

— Ваше высочество... Джемс нас уверяет... Коварный человек, но все-таки... Я, ваш низкий раб, не должен знать ваших сокровенных намерений. У народа не должно быть никаких подозрений... Что же вы прикажете мне?.. Что мне заявить этому Джемсу?.. Согласны вы с ним или нет?

— Молчи... — сказал эмир.

— Я опасуюсь, что сегодня вечером он снова будет у меня. Он так настойчив, ваше высочество.

— Что в Новой Бухаре?

— Сегодня то же, что вчера. Воистину собаки, ваше высочество. Джадиды говорят, что у них есть теперь своя красная армия... Бухарская. Но, конечно, это только лай, ваше высочество. Это не настоящие аскеры. При первом выстреле они разбегутся, так я думаю... Они с берданками... Оружие нищенское. А наши аскеры — с винтовками.

— «Ремингтоны»? Купили наконец? Караван с оружием вчера пришел?..

— Пришел, ваше высочество. Купили. При содействии Джемса... Оружие передано войскам.

— Так чего ж ты виляешь, как лиса?.. Где у тебя да? Где у тебя нет?.. Я не понимаю тебя. Да и наш народ не поверит этому русскому генералу... Пусть он приходит.

Кушбегн вздохнул:

— Он не генерал... Это только мы так говорим... Но с ним, с этим Фрунзе, есть и генералы. Они перешли на службу к Москве, ваше высочество. Столько слухов...

— Ну, какие?

— Их много, ваше высочество... Они, точно верблюды на большой тропе пустыни, так и ползут... У меня сотни перебежчиков... Из разных кишлаков...

— Говори... — приказал эмир.

— Ваше высочество!.. Вы можете казнить меня, но я не скрою правды... Ваше высочество! Перебежчики говорят... Этот Фрунзе говорил им о Ленине... И будто бы это слова Ленина...

— Какие слова?

— Прийти, когда позовут... Но это опасные слова. Ведь революционеры позовут!

— Они позовут?.. Разве ты не знаешь, что Новая Бухара уже нами оцеплена? Сегодня ночью она станет могилой джадидов. Ее не будет... К кому же он пойдет? А в остальных городах будет тишина и покой. Муллы всюду поднимают народ; собирается народное ополчение всюду. И генерал Фрунзе уйдет ни с чем... Много ли красных? У меня пятьдесят батарей. Пулеметы! Пятнадцать тысяч аскеров. Это регулярное войско. Да больше сорока тысяч ополченцев. И это только начало. А что у красных? Фрунзе не наберет и десяти тысяч солдат... Эти сведения — точные... А тех, кто сошел с ума в Бухаре, я и не считаю. Разве это сила? Вы меня пугаете. И ты и твой Джемс... Что вы меня пугаете? — повторил эмир.

Уже осмелев теперь, он почувствовал свою правоту. Все, что он говорил о числе своих солдат и своего вооружения, было истиной. Он точно знал силы русского командования. Он был возмущен, что кушбегн, который должен был все это знать отлично, приходит к нему с такого рода разговорами, с таким неверием в душе. Тот, кто всегда считал народ соломой или водой, проливающейся сквозь решето, конечно, не мог допустить даже мысли о возможности огромных, все переворачивающих событий. Гневные ноты зазвучали в голосе эмира. Куда делся европейский лоск, которым всегда гордился эмир, разгуливая как франт по бульварам Парижа?.. Куда делось все его достоинство, с которым он обычно держался в Петербурге или в Петергофе, при царском дворе?

Грубо, с нетерпимостью деспота эмир затопал ногами.

— Усман-бек, ты осел... — крикнул он кушбеги. — Очнись! Если луна с тобой, не заботься о звездах. Мне все известно и без тебя... Вот фирман\*.

Он бросил Усман-беку бумагу, которую тот на лету подхватил. Эмир приказывал сегодня же вечером казнить всех заключенных молодых бухарцев, заподозренных в революционных намерениях. Одни были взяты несколько дней тому назад, по распоряжению кушбеги, другие — только сегодня. Их похитили из Новой Бухары. Все они были закованы в цепи, брошены в зловонные ямы бухарской тюрьмы и ждали часа своей смерти. Заключенным не давалось ни пищи, ни воды.

## 5

Вечером 28 августа опустели, обезлюдели улицы Новой Бухары. В Комитете бухарской коммунистической партии и военном штабе на всех окнах были спущены глухие шторы. Одинокие всадники проносились точно тени. Красноармейские взводы молодой революционной армии Бухары молча проходили по городу. Шли они быстро, не так, как обычно ходят патрули. Враг был рядом. С окраин можно было услышать голоса сарбазов.

Войска эмира полукольцом оцепили Новую Бухару. Жители предместья видели ночные костры противника, а крики часовых ежеминутно напоминали им о пуле и смерти.

Небольшой городок Новая Бухара вплотную примыкал к станции Каган Среднеазиатской железной дороги. С трех сторон городок врезался, как зеленый оазис, в солончаковую степь. К северу от него тянулись поля и кишлаки, орошенные водой благодаря сети арыков. Только двенадцать километров отделяли его от столицы эмира. Здесь, в Новой Бухаре, собрались все, кто поднял знамя восстания. В столице же еще сидел эмир и контрреволюция готовила свои отряды.

Вечер был спокойный, без ветра. Все притихло в аллеях города, все в нем замерло. Тенистые бульвары, широкие европейские улицы, сады, отделения банков, транспортные и торговые конторы, общественное собрание, больница, училища, особняки, дома, халупы,

лавки, гостиницы и чайные, караван-сарай, ларьки и магазины — все погрузилось в темноту. Огонь пугливо пробегал и прятался. Все заволакивалось мраком от облаков, скользивших по небу.

Чем ближе к Новой Бухаре придвигались красноармейские эшелоны, тем сильнее и громче кричали люди о ненависти к эмиру. Этому можно было не удивляться в городах. Но за последний месяц даже в кишлаки проникли революционные мысли, и все то, о чем народ раньше молчал, сейчас стало явным. Люди ходили по улицам с ведром и кисточкой и расклеивали воззвания на глиняных стенах:

«Эмир знает Москву, Ялту и Петроград»... (Это писалось, конечно, о царских столицах и о царской резиденции в Крыму, другого народ еще не знал либо знал плохо...) «Вот на что были промотаны наши деньги... На французских певиц! — писалось в этих воззваниях. — То, что отбиралось от нас на школы и на поддержку больных, пошло в широкие карманы знати... Судьи и беки вопиют о шариате, они же в первую очередь посылают своих дочерей эмиру... Почему молодежи запрещают учиться? Разве шариат против ученья? Русские сбросили Николая в черную яму, вот из-за чего ополчился эмир! С гибелью своего покровителя он лишился веселой жизни. Нет Ялты, нет царских столиц... Приснитесь, братья! Дорогие братья, обращайтесь в Каганский комитет! Да здравствуют бухарские красные войска! Да здравствует союз русской Красной Армии с бухарскими красными войсками!»

В Новой Бухаре оказались все нити подпольных бухарских организаций. Все, что осмелилось поднять голос против эмира, находилось здесь.

У здания военного штаба отцветали одичавшие розы, воздух становился сладким, и тополи, освещенные одиноким фонарем, стояли точно черные колонны. То и дело из подъезда выскакивали ординарцы и, отыскав возле ограды своего коня, скрывались в темноте.

Все боевые организации Эмирабада, Кагана и Новой Бухары уже мобилизовали свои отряды. Во всех ротах, эскадронах и батареях были прочитаны воззвания бухарского ревкома, призывающего Красную Армию на помощь. Люди готовились к смелому и решительному натиску. Сосредоточение частей происходило

в полной скрытности от противника. Войска все время пододвигались к исходным для наступления пунктам.

К утру 29 августа это сосредоточение войск заканчивалось. События бухарской революции развивались быстро, и командование Красной Армии решило оказать содействие восстанию. Политическая цель операции была изложена товарищем Фрунзе как революционная братская помощь бухарскому народу в его борьбе с деспотией бухарского самодержца.

Начало операции назначалось в ночь с 28 на 29 августа.

Тогда же бухарские революционеры должны были захватить город Чарджуй, а части чарджуйского отряда — двинуться на переправы через Аму-Дарью, чтобы перехватить всех беглецов, в том числе эмира и членов правительства, если бы они попытались по этим путям спастись бегством в Афганистан. С этой же целью надлежало захватить районы, лежащие на запад от Старой Бухары, — город Каракуль и железнодорожную станцию Якка-Тут. Туда посылались стрелковые полки и кавалерийские части.

Железнодорожное сообщение в ряде мест было перерезано, так же как и телефонно-телеграфная связь. Часть мостов была разрушена действовавшими в тылу басмачами. Поэтому почти вся связь между городами и кишлаками, между воинскими частями и штабами, и даже связь Новой Бухары со штабом Фрунзе, нередко осуществлялась конной почтой.

Это затрудняло военные действия, однако это же самое мешало и правительству эмира, и даже в большей степени. Сидя в своем гнезде и не зная истинной картины событий, эмир все еще упорствовал, когда ряд таких городов, как Чарджуй, Наразым, Бурдалык, Карши, Китаб, Шахризьяб, Чиракчи, Яклабаг, Хатырчи, Зияэдин, Кермине, был уже занят краснобухарскими войсками и повстанцами.

В Самарканде днем и даже ночью шли митинги. Люди забыли о сне, о своих домашних делах. А в северной Бухаре освобожденный народ приветствовал отряды революционной бухарской армии. Все ждали русских, русские красноармейские части. На воинских и гражданских митингах, на манифестациях говорилось об

одном — о братстве между трудящимися Бухары и России.

Восставшая Бухара взывала о помощи, ждала Красную Армию.

Но эмир недаром надеялся на свои силы. Его войска, превосходившие и вооружением и амуницией повстанческие и русские части, наносили бухарской революции такие потери, что командование принуждено было пускаться в дело последние резервы.

Фрунзе находился в Самарканде. Через каждые три часа он требовал сведений с фронта. Особо важные ему передавались вне всякой очереди.

В ходе действий создались три группы фронта: одна шла на Бухару от Чарджуя, другая из Катта-Кургана, третья из Кагана.

Утром 30 августа Фрунзе увидел по сводкам, что наступил перелом, что красные войска перешли в наступление и что оно развивается успешно.

Он был настолько поглощен операцией и настолько сосредоточен и напряжен все эти дни, что глубокая маленькая черточка между надбровьями врезалась крепко, будто навсегда, в лоб. Его состояние передавалось всему штабу, начиная от ближайших сотрудников до часовых-армейцев, стоявших караулами по городу.

Прекрасен осенний Самарканд. Под мягким золотистым солнцем он нежится, раскинув сочную, богатую листву своих садов и парков. Золотится Регистан. Золотятся и длинные улицы нового города. Золотятся садики вокруг домов, наполненные яблонями. Золотится виноград. Золотится даже воздух, насыщенный всеми ароматами созревания.

Но никто этого не замечал. К станции тащились арбы с фуражом и снарядами, тут же проходили навьюченные военным грузом ослы и верблюды. Всюду на площадях, на улицах толпились приезжие, наехавшие из окрестных кишлаков. Грамотные читали приказы и листовки, расклеенные на стенах. Лошади тянули орудия, покрытые слоем пыли. Лафеты задевали за тонкие большие колеса арб. Кричали арбакеши, кричали солдаты.

Сотрудники Фрунзе не ложились спать в эту ночь, 31 августа. Им было не до красот местной природы, не до исторических мест этого любопытного города,

бывшей столицы Тимура. Многие из них, только накануне прибыв сюда, сразу с поезда были уже заняты штабной работой. В помещении штаба не хватало ни столов, ни стульев. Писаря сидели даже на ящиках.

В аппаратной стоял побледневший и осунувшийся Фрунзе. Широкий пояс, как всегда, туго стягивал его гимнастерку. Сапоги были начищены. Фрунзе почти не выпускал трубки изо рта. Стоя возле телеграфного аппарата и обмениваясь телеграммами, он уже налаживал связь с командованием войск, сходявшихся как раз в эту минуту в Бухаре.

В форточку вливался прохладный утренний воздух. Несвицкий находился неподалеку от командующего, прислушиваясь к его словам и к тем словам приказа, который только что был Несвицким составлен и сейчас передавался по проводу. Генерал нервничал и барабанил по подоконнику пальцами своей холеной руки. Здесь же наготове стоял и секретарь, крепкий, невысокого роста человек, с решительным взглядом, сегодня чем-то даже напоминавшим взгляд самого Фрунзе.

Мерно потрескивал телеграфный аппарат. Крутилось колесо ленты, нанизывающее фразу за фразой.

«Все будет исполнено... — отвечал по телеграфу командующий каганским направлением, приняв приказ и распоряжения Фрунзе. — Но желательна присылка нескольких хороших командиров высшего и низшего состава, так как потери громадны...»

После этого было еще несколько вопросов и ответов, и в конце этого разговора Фрунзе спросил командующего каганской группой, надеется ли он хоть завтра овладеть Бухарой.

Фрунзе прочитал ответ на ленте: «Во всяком случае, завтра к вечеру можно надеяться достигнуть центра города». Фрунзе не выдержал и, несмотря на свою постоянную сдержанность, громко, молодо, от всей души рассмеялся и показал обрывок телеграфной ленты Несвицкому:

— Хорошо... А ведь он молодец! Надо дать ему миллион патронов. Он просит патронов. Наскробем, Несвицкий? Дайте телеграмму в Баку. Соберем все, что возможно...

И хотя никто не говорил об исходе операции, будто боясь «сглазить», но все в аппаратной — и военспецы

и телеграфисты — вдруг поняли по голосу Фрунзе, что Бухара будет взята, и только сейчас, расходясь, обратили внимание на чудесный осенний день и золотое небо Самарканда.

Каганская группа войск готовилась к штурму Старой Бухары. Группа эта делилась на две колонны. Левая колонна (западная), в составе 1-го Восточно-мусульманского стрелкового полка, стрелкового и кавалерийского полков, отряда особого назначения, при двух легких орудиях, высадившись в четырнадцати километрах западнее станции Каган, шла на юго-западные, Каракульские ворота города. А правая (восточная), состоявшая из партизанских отрядов, 10-го и 12-го стрелковых татарских полков, 1-го кавалерийского полка, четырех орудий 53-го автоброневоего отряда и бронепоезда № 28, была направлена на юго-восток. Она должна была выступить со станции Каган по шоссе и железнодорожной ветке на юго-восточную часть городской стены, где находились Каршинские ворота.

Авиация и особая артиллерийская группа из 122-миллиметровых и крепостных орудий, погруженных на платформы, предназначались для поддержки правой колонны.

## 6

На площади, неподалеку от станции Каган, строились национальные батальоны. Около складов и воинских эшелонов, у цистерн с горючим, несли караул часовые в цветных выгоревших халатах, опоясанные пулеметными лентами. Артиллеристы, взявшись за канат, стягивали орудия своей батареи по доскам с товарных открытых платформ. Орудия были закутаны в брезентовые чехлы.

Когда Федотка выскочил из теплушки и увидел на станции и на путях огромное количество народа, партизан и красноармейцев, он испугался. Ему показалось, что толпы эти стоят точно косяки больших рыб, застрявшие в устье реки. «Как бы не затеряться мне в этой толчее!» — подумал он.

Всюду станционные огни были потушены, костры затоптаны. Только маневровый паровоз, шмыгавший

с главного пути на запасные, окруженный розоватыми облаками пара, вдруг выбрасывал из своей топки целый сноп искр. Сноп этот на мгновение освещал рельсы, платформу и людей.

— Дяденька Капля, будьте добренькие, пройдемся вместе! — крикнул Федотка.

Капля спрыгнул вслед за Федоткой и, обняв его за плечи, пошел с ним вдоль состава.

— Гудит народ, — сказал Капля, оглядываясь. — Будто рой домом ищет.

— Это вот и есть Бухара? — спросил Федотка разочарованным и дрожащим голосом. Ему казалось, что Бухара должна быть сверкающей и яркой, что она, как в сказке, вся сделана из бриллиантов и золота. А тут мрак окружает все, не видно города, и люди, и лошади, и пушки тонут в ночной мгле.

— Нет, это еще не Бухара, — ответил Капля. — Бухара — эмирская столица — будет подале. А это называется Каган, что значит по-татарски «князь». Понятно?

— Понятно, — равнодушно сказал Федотка, даже не вдумываясь в то, что говорит ему Капля.

— Новая Бухара — это фальшивая Бухара. Это — что опенок супротив боровика. А Старую Бухару мы сегодня заберем. Вот та Бухара так Бухара! Та, друг мой ситный, — корень здешний! Одно слово: Бу-ха-ра! — сказал Капля со вкусом, будто откалывая каждый слог, как сахар, и рассмеялся.

Эти объяснения мало успокаивали Федотку. «Кто их знает, может, и Старая Бухара не лучше этой», — подумалось ему.

— Врешь, поди? Такая же жарница да пылица, — сказал Федотка.

Капля обиделся:

— Как это такая же? Там сам эмир живет.

— Бухар! — серьезно поправил его Федотка.

— Не бухар, а эмир.

— А мы его поймаем? — спросил Федотка.

— Конечно, — сказал Капля. — Сегодня ему будет точка.

Они проходили мимо штабелей старых шпал. На них кучками расположились джигиты партизанского хамдамовского полка. Возле одной из кучек столпилось много

народа, узбеков и русских. Капля с Федоткой решили протолкаться в самую середину этой толпы. Капля увидал Юсупа.

Юсуп сидел на корточках и напевал песню. Его окружали джигиты. Он пел, то опуская голову вниз, к желтой земле, то закидывая ее вверх, к небу. Джигиты, и старик Артыкматов, и русские красноармейцы слушали его с напряженным вниманием.

Милая моя, из-за тебя я молчу!

Я всегда буду любить одну тебя.

Я для тебя пойду далеко, за горы,

Я для тебя готов пожертвовать душу,

Твоя китайская косичка будет всем для меня.

Я хочу тебя видеть свободной.

Если б ты захотела сесть на коня рядом со мной,

Мы не были бы так бесприютны,

Наш дом был бы за нашей спиной,

Милая, милая! Мир создан для борьбы, а не для

покоя.

Я жажду видеть тебя. Где ты? Где ты?

Никто из русских не понимал смысла этой заунывной песни. Федотка упорно наблюдал за горлом Юсупа. Ему казалось странным, что оттуда вылетают звуки, похожие на пение нежной трубы.

— Диво! — прошептал он, прижавшись к своему спутнику, пулеметчику Капле.

Капля тоже разбирался во всем этом не больше Федотки, но делал вид, что ему известно в этой песне все до последнего слова. Юсуп прикрывал глаза, замирал — замирал и Капля. Иной раз Капля одобрительно показывал головой или приподымался на цыпочках, отвечая улыбкой на улыбку Юсупа.

Кончив песню, Юсуп неожиданно вскрикнул. Капля растерялся, раскрыл рот и стукнул Федотку по затылку.

— Чего ты, леший? — заныл Федотка.

— Не смейся! — сказал Капля, показывая глазами на узбеков.

Узбеки переглянулись спокойно и гордо. Тогда из толпы закричали русские:

— Товарища Лихолетова просить! Командира, командира!

Красноармейцы захотели ответить песней на песню. Кто-то бросился, расталкивая толпу, к теплушкам,

Через несколько минут вместе с двумя бойцами появился возле насыпи Сашка.

Ему расчистили место. Юсуп махнул ему рукой. Сашка поправил на голове кожаную фуражку, откашлялся и, подцепив патронный ящик, сел на него.

— Ребята, — сказал он, почесав затылок, — гармошки нету?

— Как нету? Есть. Спирька, Спирька! Гармошку! — закричали бойцы.

Мигом из толпы пошла по рукам вятская потертая гармошка. Сашка подхватил ее; взяв несколько торжественных и сильных аккордов, он молча обвел всех взглядом и тихо запел:

Она взшла, моя звезда,  
Моя подруга боевая,  
Прощай, невеста молодая,  
Меня зовет моя судьба...

Толпа придвинулась ближе к певцу.

Узбеки стояли серьезные, сосредоточенные: ни улыбки, ни движения. Многие из них почти не говорили порусски, они не понимали, о чем поет русский командир, но напев этой песни коснулся их души. Они взволновались. Кто-то прощелкал себе под нос: «Це-це!» Другой подтолкнул локтем соседа, будто подбадривая его. Юсуп, впившийся в Лихолетова восторженным взглядом, вдруг вытянул на два вершка шашку из ножен и с треском вдвинул ее обратно.

Тут пулеметчик Капля не выдержал и наставительно сказал Федотке:

— Смотри, какой понятливый и вежливый народ!

Никто не хотел расходиться. Кто-то в толпе вздохнул:

— Ночь-то, братцы, какая! Какая теплынь!

Ночь действительно была мягкой и нежной.

— Благодать, — сказал Капля. — Пойдем, Федотка, понцем кипяточку!

Внезапно мимо толпы, со свистом, рассыпая на лету искры, промчался паровоз. Застонали буфера. Замахал издали стрелочник красным фонарем. Лязгнули в темноте колеса и заскрежетали вагоны, и кто-то прокричал хриплым, простуженным голосом: «Собирай бригаду!»

Босой сценщик, схватившись за поручни паровоза, уже мчавшегося обратно, опять кому-то сигнализировал, будто

зажигая воздух. В эту минуту взволнованный Жарковский подбежал к Сашке и, доложив, что полк выгружен, спросил его, будет ли он говорить речь.

— Обязательно, — ответил Сашка.

## 7

Возле насыпи, полускрытый мглой, стоял полк.

— Знаменосцы, вперед! — пропел Муратов с правого фланга.

Наступила тишина.

— Пошли! Проводи меня! — сказал Сашка Юсупу.

Они шагали вдоль строя, притаившего дыхание. Сашка шел, молодцевато подрагивая плечами, хватаясь перед Юсупом, и думал о том, что сейчас ему надо сказать бойцам. Рассеянным взглядом он обводил бойцов, потом не удержался и, скосив глаза, шепнул Юсупу:

— По ниточке! Не то что в восемнадцатом году!

Песок скрипел под ногами. Над головой висело бездонное небо, облитое россыпью уже белеющих, мутных звезд.

Строй был великолепный. Сашка вскочил на лошадь, подскакал к знамени, остановился и, прижав ноги к корпусу своей кобылы, закинув голову, чтобы набрать в грудь побольше воздуха, громко крикнул:

— Товарищи бойцы!

Эхо ответило ему:

— Цы-цы...

Жарковский, стоявший вместе с Юсупом в стороне от строя, улыбнулся и шепнул Юсупу:

— Слушай, что дальше будет!

Юсуп посмотрел на него, но не понял, что Жарковский хочет посмеяться над Лихолетовым. Лихолетов всей бригаде был известен своей ораторской беспомощностью. Сашка не умел говорить речей, мямлил всегда и оговаривался. Недавно, в Самарканде, он оговорился настолько глупо, что и сам был смущен не меньше остальных.

Это было на встрече с командующим фронтом. Сашка выступал с приветствием. Он говорил командующему, как он любит, ценит и уважает его, и закончил свою речь так: «Вот все, что я хотел сказать вам, товарищ

командующий. Очень мне трудно было это говорить. Не специалист. Потому что я думаю одно, а говорю всегда другое». Все расхохотались. Фрунзе, конечно, понял огорчку и улыбнулся, дружески пожимая руку Сашке. С тех пор Сашку стали дразнить: «Думаю одно, говорю всегда другое». После этой истории его репутация как оратора окончательно испортилась. И, несмотря на это, все-таки при каждом случае Сашка стремился говорить речи, как будто он нарочно хотел пересилить самого себя, свою неловкость, свое неумение.

Сейчас все ждали, что Сашка скажет дальше.

Сашка наморщил лоб.

— Бухарский пролетариат просит нашей помощи, — твердо произнес он. — Поэтому думать нечего. Раз просят, значит, надо. Кто мы? Пролетарии. Свой своему поневоле брат.

Сашка запнулся, почувствовав, что он завирается, говорит что-то не то и не так... Он ладонью обтер себе шею, будто там жгли его какие-то муравьи, и продолжал речь:

— Но в данном случае не поневоле, а из любви, от братских чувств идем мы. Вот позади меня стоит товарищ Юсуп... — Сказав это, Сашка обернулся, поискал глазами стоявшего в отдалении Юсупа и протянул к нему руку. — Мой любимый друг. Брат мой по сердцу, завещанный покойным моим командиром Макарычем. И каждый трудящийся в ситцевом халате и с винтовкой в руке — брат мой. По сердцу брат! За счастье братства мы ложим сегодня свою жизнь, товарищи. Правда? Ведь что я думаю — думает каждый из вас, — сказал Сашка, и голос у него задрожал.

Сашка был в коротком старом френчике, туго перетянутом крест-накрест ремнями. У пояса были прикреплены кобура и шашка. Как обычно перед боем, так и сейчас он испытывал бодрое и радостное знакомое волнение. Это волнение Сашка шутливо называл «холодком в печенке». Он знал, что через какие-нибудь четверть часа его может настигнуть смерть, так же как и любого из товарищей, стоящих теперь в рядах и слушающих его. Но сознание смерти и опасности его не пугало. Оно поглощалось другим чувством, что он не одинок. Он верил в цель боя и, так же как в себе, был уверен в своих товарищах, начиная от самого по-

следнего коновода. Это чувство общности (в строю ли, в бою или на параде) всегда веселило и возбуждало Сашку.

— Долой эмира! Долой душителей народа! — крикнул он, и ненависть словно звенела у него в голосе. — Дадим жизни этим басмачам! Вот наш лозунг, — закричал он, потрясая кулаком. — Пошли долбать эмира! Всё! — Сашка резко взмахнул рукой.

— Ура! Ура-аааа! — громким раскатом ответил ему полк. К этому «ура» присоединились и узбеки из партизан, стоявшие поодаль, возле насыпи.

— Тише! — закричал на них комендант станции.

Сашка засмеялся, говоря ему:

— Опоздал, брат!

У Юсупа показались на глазах слезы. Он бросился к Сашке и крепко обнял его. Жарковский пробормотал: «Молодец Сашка!» Послышалась негромкая, певучая команда взводных: «По отделе-ниям!» Всадники перестраивались в походную колонну.

— Здорово хватанул наш Сашка!

— Не оскрамился. А какой это Макарыч?

— Командир его бывший.

— Ах, вот как!

Так переговаривались между собой всадники.

Речь Сашки растрогала всех.

Погода была прекрасная. Дорога посветлела.

Юсуп побежал к своему полку. Там тоже собирали лошадей, проверяли оружие и седловку.

Полк Сашки от станции свернул на шоссе, покрытое булыжниками. Лошади, засекая иной раз подковой о камень, выбивали из него искру.

Утренний полумрак окутывал пышные сады, глухие, низкие, темные дома в садах, посеревшие за лето тополя. Полк шел, стараясь, согласно приказу, соблюдать тишину. Но трудно было удержать лошадей. Они фыркали, некоторые ржали, перекликаясь. Всадники ударили их кулаком по морде, чтобы они замолкли. Звякала амуниция. Под мостиками, на маленьких запрудах, звенела вода в арыках.

«Скоро начнут стрелять по нас», — подумал Сашка. Он ехал еще как на параде, впереди полка, а сзади за ним трусили легкой рысью три его ординарца: Спирин, Куличок и Матюшенков.

Полк уже подступал к той границе за Каганом, к цепи, за которой стояли кавалерия и пулеметные отряды эмира. Как всегда при утренней росе, посвежел воздух. Когда полк приблизился к предместью, раздался первый орудийный выстрел, и, рассекая воздух, со свистом пролетел над Каганом снаряд, ухнув в глинобитную стену одного из дворов в предместье, где размещалась конница эмира.

Муратов, ехавший в первом эскадроне, посмотрел на часы. Было ровно четыре. Этот выстрел был сигналом к общим действиям по всему фронту. Так и указывалось в приказе. Муратов подскакал к Сашке.

— Пошла работа! — рассмеявшись, сказал ему Сашка и быстро вытащил клинок из ножен.

## 8

Вслед за этим на северной окраине города, по обе стороны шоссе, затакали пулеметы, затрещали ружейные выстрелы. Красные отряды двинулись двумя колоннами. Левая пошла к Каракульским воротам, вторая, правая, — на восток. В ней и был Сашка.

Атака началась внезапно и бурно. Сарбазы эмира растерялись и, не выдержав ошеломительного удара, бросая оружие, боеприпасы и обозы, стали отходить к Старой Бухаре. Кое-где по пути, в кишлаках, они попытались задержаться, отстреливались, но в конце концов не выдержали натиска. Это отступление было типично для наемников. Многие из них просто подымали руки и сдавались в плен. Крестьяне из кишлаков присоединялись к революционным отрядам и быстро вооружались; дорога была усеяна оружием. Опрокинутые арбы с патронами и винтовками валялись прямо на дороге.

На аэродроме 43-го отряда в Кагане около старых летных машин возились люди. Все эти «фарсали», «фарманы», «сопвичи», «нюпоры», «вуазены» и «альбатросы» давно просились на свалку, но летчики храбро грузили их бомбами. Техники и мотористы доливали бензин, промывали свечи, зачищали потрепанные от песка и бурьяна пропеллеры. Командир отряда спрашивал мотористов:

— Моторы проверены?  
— Каждый миллиметр ошупан, товарищ командир.  
— Смотри! — Командир кулаком грозил мотористам. — Чей сдаст, в пекло спроважу.

Еще раз он собрал летный состав и повторил задание.

Аэродром имел в длину всего четыреста шагов. Это был обыкновенный кавалерийский плац для обучения верховой езде, с четырех сторон обсаженный пирамидальными тополями. Приспособленный для лошадей, он, конечно, не годился для самолетов. Летчикам предстоял опасный трюк. На «гробах», отяжеленных бомбами, они должны были взлететь с этого блюдечка, окруженного частоколом.

Еще не рассвело. В сумерках расходились летчики к своим машинам, с тревогой поглядывая на проклятые тополи.

Сразу после выстрела первая машина, дряхлый «фарман», побежала по полю, подпрыгивая на буграх. Она отделилась от земли, неохотно набирая высоту, и тяжело пронеслась, чуть не задев за верхушки тополей.

— Шик! Лихо развернул, — сказали летчики, увидав, что «фарман» уже сделал круг над площадкой. Вслед за первой машиной взлетели и закружились другие.

...Пехота, с боем, только к полудню добралась до предместий Старой Бухары. Стены города, прилегавшие к нему кладбища, дома, улицы — все было приспособлено эмиром для обороны. Наступающие красные войска обстреливались артиллерией эмира. В предместьях города уже завязался горячий бой. Упорен он был до крайности. Кладбища несколько раз переходили из рук в руки. Несколько раз красные бойцы добивались до городских ворот, но, осыпаемые пулями и камнями, вынуждены были с большими потерями отходить назад. Авиация, отбомбив, уже вернулась на аэродром.

Русские белогвардейцы, вельможи и чиновники эмира, уездное дворянство — беки и баи, бухарские купцы собрали внутри города свои отряды. Они комплектовали их из рыночных торговцев, слуг, ремесленников, приказчиков, из того мелкого люда, что живет возле богатей, их милостью, их волей. Запуганные начальниками и хозяевами, сбитые с толку яростными проповедниками и крикунами, отравленные анашой, которой они



накуривались до одурения, эти сотни напоминали стадо, заболевшее бешенством. Муллы, разрывая одежды на себе, с Кораном в руках, вопили из-за стен:

— Смерть большевикам!

— Да здравствует революция! В яму эмира! — кричали красные бухарские отряды, бросаясь на штурм. Навстречу красным неоднократно раскрывались ворота, и яростные толпы, возбужденные муллами, выскакивали из ворот с возгласами: «Алла, алла!» Они шли, размахивая ножами и винтовками.

— Во имя бога! — орали они.

— Да здравствует народ! — отвечали им партизаны. Белобухарцы, закрыв глаза, доходили до пулеметов и бросались в рукопашную.

Командование эмира внезапными конными ударами, направленными на фланги революционных войск, пыталось привести их в беспорядок.

Несмотря на это, два раза левая колонна красных проникала через Каракульские ворота в Старый город, но, встреченная с крыш ожесточенным огнем, забросанная гранатами, уходила обратно, оставляя на узких улочках убитых бойцов.

Даже ночь не остановила боя. Он продолжался на следующий день. Он не стихал ни на минуту. Гул артиллерийской канонады и зарево пожаров сопровождали его...

## 9

Полк Сашки стоял на правом фланге. Он несколько раз участвовал в атаках, то поддерживая своим маневром наступающих партизан и пехоту, то отбиваясь от нападений эмирской конницы. Конский и людской состав полка выбыл уже наполовину. Прошли третьи сутки. Люди за это время почти не пили и не ели. Измотанные боем, ободранные и грязные, они укрылись от огня за стенами одного из кишлаков в предместье Бухары. В большом байском доме был развернут полевой лазарет. Раненые лежали на соломе посередине двора и на галерее.

Двор был освещен кострами. Здесь оказывали только первую помощь. Тяжелораненых отправляли на арбах в Каган. В комнатах была устроена операционная. Го-

рели керосиновые фонари. Народу собралось много, и раненые стояли в очереди.

Сашка тоже появился на дворе. Ему порубили правую щеку. Угол ее около рта свисал, точно козырек. Сашка перетянул щеку носовым платком. Из раны хлестала кровь. Попав на двор, он первым делом решил разыскать Варю. Он оглядывался, но ничего не мог разобрать среди тьмы. Бегали какие-то люди с фонарями, кричали раненые и санитарки. Здесь же стояли верблюды из обоза. Наконец, привыкнув к этой суматохе, осмотревшись, Сашка увидел распределительный пункт и санитарку с фонарем. Он подошел к ней и спросил:

— Где работает сестра Орлова?

Санитарка еще ничего не успела ответить, как раненые загалдели со всех сторон:

— В очередь, в очередь! Порядок соблюдай! Тоже ловкач!

Сашка замахал рукой:

— Я не по этому поводу. Я без очереди не иду.

— Орлова в операционной, — сказала санитарка и осветила Сашкино лицо фонарем.

— Да это командир! Товарищ Лихолетов! Пропустить его! Пропустить! — закричали эскадронцы. — Прости, что не узнали! Иди, иди!

Сашка отказался, но его все-таки протолкнули вперед, в дом.

— Здорово! — проговорил Сашка, глотая кровь. Он остановился у входа в операционную.

— Здорово — ответила Варя и, подняв голову, увидела Сашку.

Молодой чернобровый хирург, стоявший рядом с ней, не дотрагиваясь до Сашки руками, осмотрел рану и молча кивнул Варе. Варя вычистила рану, обработала ее и, обмазав окружность раны йодом, так же молча передала Сашку хирургу.

«Во! Даже глазом не моргнула! Нарочно форсит передо мной... — подумал Сашка про Варю. — Стоящая баба! Вполне!»

Хирург сделал ему первичный шов. После этого Сашка опять вернулся к Варе. Она начала бинтовать ему голову. Сашка не спускал глаз с Вари. Он следил за ее быстрыми ловкими движениями. Ее белый халат от шеи до подола был обгазен кровью, руки, с закатанными до

локтя рукавами, тоже были в крови, и даже на лбу засохли брызги крови. Кончив перевязку и отправив Сашку к санитарке, она крикнула:

— Следующий!

«Лихая баба! Лихо работает. И откуда в ней столько силы, в закорючке?» — удивлялся он и мысленно одобрял ее.

После перевязки Сашка опять вышел на двор. По двору ходила женщина с кувшином и кружкой. Лицо ее все-таки осталось закрыто чачваном. Она поила водой раненых. Среди крика и грохота взрывов мерцало небо, будто обожженное йодом. Сашка привалился спиной к сарайчику и тихо сполз на землю. Его знобило, он пожалел, что оставил свою шинель в обозе. Он задремал под выстрелы.

## 10

Сашка открыл глаза и увидел, что его перенесли. Теперь он лежал уже возле стенки на галерее. Кто-то заботливо укрыл его зеленой шинелью. «Варькина», — догадался Лихолетов.

На дворе по-прежнему толпилась очередь.

Варя все еще работала в операционной. Начиналось ясное раннее утро. Артиллерийская стрельба ослабела. Костры потухли. Бурый дым струйками полз к небу. Низко, чуть ли не задевая крыши, опять летели над кишлаком машины.

— Наши! Наши! — радостно закричали раненые.

«Славно, черт побери! — подумал Сашка. — Сейчас грохать будут».

За стеной он услышал разговор трех своих ординарцев: Куличка, Спирина и Матюшенкова. Говорил Матюшенков:

— Пролом хотят устроить. Разбить вдребезги ворота. И ворваться.

— Ворваться? Легко это ворваться? — спросил Куличок. — Сколько жизней будет стоить!

— А что поделаешь? Эта война справедливая, от рабства народ освобождается. Последний приступ! Не выдержим, отойди — и кончено. Эмир себя покажет. Кровь брызнет из бухарца.

— Бухарцы разные бывают, — сказал Спирина.

— Я говорю про нашего бухарца, про рабочего.

— Ну, революцию кровью не затушишь! Ежели она должна быть — будет.

— Глупости говоришь, Спирина. Куй железо, пока горячо! Храбр ты вроде зайца.

— Храбе-ер... Я не храбр. Вот ты храбр. Так попробуй! Просись в группу.

— И попрошусь.

Сашка приподнялся на локтях, ощупал голову.

— Эй, ординарцы! Ко мне! — крикнул он.

Бойцы Спирина, Куличок и Матюшенков вошли во двор.

— Сюда! Я здесь, — подозвал их Сашка.

Они подбежали к галерее.

— Вы что это митинг развели за стенкой?

— Какой митинг! Обсуждение, — сказал серьезно Куличок, коренастый боец в расстегнутой гимнастерке, бо-сой, с нахмуренными густыми бровями, с приплюснутым и обожженным, точно свекла, носом.

— Ты где ботинки потерял?

— Невозможно, товарищ командир. Жарища! Гниют ноги.

— Попить мне дайте и пожевать что есть!

Ординарцы мигом притащили кувшин, краюшку хлеба и две головки луку. Есть Сашке было больно, при движении челюстей щеку будто разрывало, но, кое-как пожевав на левой стороне, Сашка немного подкрепился. Отдав Куличку остатки лука и хлеба, Сашка его спросил:

— От кого ты слыхал про группу?

— Товарищ Муратов сообщил. Он был в штабе, в Кагане.

— Наши идут?

— Нашего полка много.

— Ну так и я иду! Приведите ко мне Машку! — сказал он о своей кобыле.

— Что вы? Товарищ командир! Вам не полагается! — сразу трое, в голос, закричали ординарцы.

Лихолетов скинул шинель, встал, попробовал бинт на голове. «Силы хватит», — подумал он.

— Быстро! — Он повторил приказание.

Ординарцы не посмели ослушаться и привели Машку, большую серую кобылу в черных яблоках. Она была такая пестрая, будто ее кто-то раскрасил.

Лихолетов с трудом влез на нее, вставил ноги в стремя, покачался в седле, точно пробуя, крепко ли сидится, ощупал на себе шашку, деревянную кобуру с маузером, расправил поводья в пальцах левой руки и сказал:

— Кто со мной? Ты, что ли, спорщик?

Куличок подергал себя за нос, раздумывая, потом высморкался, вытер пальцы о штаны и, ни слова не сказав, побежал за лошастью.

Варя, увидев в окно Сашку, вышла на галерею.

— Вы куда? — спросила она.

Он молчал.

— Вам нельзя уезжать, товарищ командир. Слезьте! Вы раненый. Ведь осложнение может быть! Надо понимать.

— Ладно, — пробурчал Сашка.

— Что ладно? Я говорю: слезай с коня! — закричала она раздраженным голосом и подошла к Сашке. — Что вам жизнь — копейка, что ли?

— Нет, Варюша, — сказал Сашка и улыбнулся. — Без меня, боюсь, не обойдутся. На счастье ручку! — лукаво проговорил он, протягивая руку, и прищурился. Варя рассердилась.

— Я вам категорически запрещаю, — заявила она, переходя уже на официальный тон. — Извольте слушаться! Я сейчас позову бойцов, чтобы вас сняли, силой. Я здесь начальник. Заприте ворота! — приказала она красноармейцам, стоявшим на улице, возле въезда в курганчу\*.

Никто не успел опомниться, как Сашка, дав шенкеля своей кобыле, мигом вынесся из усадьбы, еле успев под аркой ворот пригнуть голову.

— Прощай, Варюша! — крикнул он ей на ходу, помахал рукой и поскакал по дороге.

Варю обдало таким облаком пыли, что она расчихалась.

Раненые бойцы, штабисты, санитарки, обозники посмотрели вслед всаднику с забинтованной головой. Он галопом промчался по кишлаку. Догоняя его, на гнедом туркмене летел босой Куличок. А за Куличком скакали двое других ординарцев.

Красноармейцы, толпившиеся возле ворот, засмеялись, увидев, что Варя обескуражена этим бегством.

— Что, сестрица? — сказали они. — Не подчиняется наш брат-то вашей команде, а? Самостоятельность любит.

— Ваш брат, ваш брат! — передразнила их Варя, и на лице у нее появилось что-то презрительное. — А вы чего тут стоите, околачиваетесь?

— Мы раненые.

— Вот возьму да и отправлю всех на фронт! Вот и будете самостоятельные! — сказала она и пошла обратно к своей операционной.

Возле дверей опять стояла очередь.

— Следующий! — крикнула Варя и, принимая нового раненого, заставила себя забыть о Сашке.

## 11

Утром 30 августа Хамдам занял станцию Якка-Тут, расположенную западнее города Бухары, на железнодорожной линии, идущей от Кагана.

В тылу завели подозрительную игру басмачи. Было ясно, что они собрались здесь с определенной целью: если нужно будет — поддержать отступление эмира.

Хамдаму было приказано держать в своих руках железную дорогу и выставить заслон против басмачей.

Его отряд, обогнув Бухару и не встретив никакого сопротивления, появился внезапно в селении Якка-Тут и разместился вдоль железной дороги.

Предписание командования выполнялось Хамдамом правильно до той минуты, пока не вмешался Джемс. Когда днем 30 августа Бухара узнала, что Якка-Тут занят войсками Хамдама, Джемс решил послать туда одного из своих агентов, старика Ачильбая.

Старик к вечеру добрал до Хамдама. Он потолкался среди дозоров, разыскивая кого-нибудь из близких к Хамдаму. Никто не попадался. Узнав, где квартирует Хамдам, он спрятался неподалеку от этого дома, присел на корточки к арыку и решил ждать.

Хамдам был на станции. Он сидел около телеграфиста в аппаратной, передавал свою сводку и принимал распоряжения. Уже стемнело, когда он окончил переговоры с Каганом.

Хамдаму сообщили, что хотя Бухара еще не взята, но возможно бегство эмира, и поэтому ему предлагается два эскадрона разместить в Якка-Тутском районе, в северном направлении, а третий послать к югу Хамдам заверил, что все приказание штаба будут исполнены в точности.

Якка-Тут почти опустел. Лишь кое-где кучками толкались жители, но когда на коне появился Хамдам, растаяли и эти жалкие кучки. Рядом с Хамдамом ехал Сапар, за ними — личная охрана. Юсуп с первым эскадронном остался на станции, на случай экстренного вызова из Кагана.

Пастухи повстречались с Хамдамом. Быстро, при помощи собак и палок, они очистили улицу. Стада знаменитых каракульских овец шли к загонам. Замечались между лошадьми курчавые ягнята на неуклюжих прямых пожках. Заблеяли овцы, тесно прижимаясь друг к другу. От стада шел теплый и острый запах. Уже смеркалось.

У Сапара жадно поблескивали глаза. Он тихо нашептал Хамдаму:

— Хорошие бараны! Хороший скот! А шерсть какая! Здесь много богачей. А в древности было больше. Неподалеку отсюда был город, старинный. Древнее Бухары. Пайкан. В храмах там стояли золотые идолы с огромными жемчужными глазами, с голубиное яйцо. Арабы наворовали так много золота. Но осталось еще! Мне рассказывал отец, что один англичанин рыл землю и нашел золотого идола в полпуда весом...

Хамдам невнимательно слушал командира. Он беспрестанно озираясь, предчувствуя что-то. Он приучил себя к мысли о том, что на каждом шагу неизвестность ждет его, надо быть настороже. Днем, при солнце, уверенность не покидала его, но стоило спуститься сумеркам — он становился тревожным.

Отряд проезжал мимо Ачильбая, отца Садихон. Старик съезжился, подобрал ноги и рукавом закрыл лицо. Лошадь Хамдама, почувствовав какой-то живой комок на дороге, испугалась и дернула головой. Хамдам тоже насторожился, но ничего не увидел в темноте. Прижавшись к стенке, Ачильбай пропустил отряд. Вот уже два года, как, потеряв все и дойдя до нищенства, Ачильбай

очутился в Бухаре. Там его нашли агенты Джемса и пристроили к Джемсу на службу.

Сегодня старик выполнял одно из ответственных поручений Джемса, даже и не догадываясь о том, что он делает.

Когда всадники свернули в переулочек, за их спиной вдруг зашелкал соловей.

Хамдам остановился. «Соловей в сентябре? — подумал он. — Это знак».

Сапар бросился назад. Улица была пуста.

— Никого? — спросил Хамдам, дождавшись Сапара.

— Никого, — ответил Сапар. — Я все обыскал. Никого.

— Хоп, хоп! — сказал Хамдам. — Поедем дальше!

Сапар, по приказу Хамдама, выставил кругом дома усиленный караул.

Хамдам беспокоился. Несколько дней тому назад он получил из Беш-Арыка письмо. Верный Насыров писал ему, что Садихон ночью бежала из кишлака, идут поиски, но сбежавшую еще не нашли. Хамдам знал, что ее не найдут. Это письмо было только условным сигналом. Он знал все. По его поручению, через неделю после отъезда полка из Коканда Насыров, оставшийся в Беш-Арыке, устроил мнимый побег Садихон. Два басмача за плату похитили ее и увезли в горный кишлак, в место, назначенное Хамдамом, к одному из его старых знакомцев, богачу Баймуратову. «Теперь она сидит на цепи, — думал он. — И никто не услышит ее голоса...»

Это письмо Хамдам, конечно, скрыл от всех, и в первую очередь от Юсуфа.

Полужинав и выйдя на улицу, он отослал от себя джигитов, сказав им, что хочет прогуляться один.

В узком переулочке среди стен воняло отбросами, конской мочой и горькой пылью. Тут Хамдам натолкнулся на Ачильбая. Старик окликнул его. Они обнялись.

— Я знал, что ты выйдешь, я понял, что это ты свистишь соловьем... — сказал старику Хамдам. — Ты откуда?

— Я из Бухары.

— Эмир еще не убежал?

— Нет еще. Замир-паша послал меня.

— Кто? Какой Замир-паша? В первый раз слышу, —

недовольно сказал Хамдам, хотя он уже сразу понял, от кого пришел этот вестник.

— Замир-паша тоже не знает тебя, — проговорил старик. — Но он предупредил меня. Он сказал: «Назови Хамдаму имя торговли-еврейки! Хамдам поймет. Агарь ее зовут».

— Не знаю такой, — на всякий случай отрекся Хамдам. — А что? Зачем тебя сюда послали?

— Сегодня ночью на Якка-Тут нападет Исламкул. Ты не окажешь ему сопротивления.

— Сдамся?

— Да.

— Румяному паршивцу?

— Так сказал Замир-паша.

— Это все?

— Да.

— Прощай, отец!

Старик вдруг схватил Хамдама за рукав, удерживая его:

— А как живет Садихон? Ты счастлив с ней?

— Да.

— Дети у вас есть? — жалким и несчастным голосом спросил старик.

— Нет. Некогда, отец! Прощай! — Оборвав разговор, Хамдам ушел.

Рванный, несчастный старик не посмел его удерживать.

«Конечно, я нищий, — подумал он. — А Хамдам в чести и у нас и у красных. Но все-таки я не собака, а человек. Зачем же со мной так говорить? Да, как переменится судьба, так и все переменится», — с горечью решил Ачильбай.

Обиднее всего ему было, что Хамдам презирает его. Он пожевал на деснах корку, напился воды из арыка и, подобрав полы халата, побрел по проселку в сторону Бухары. «Да, — думал он, взывая, — когда у меня были зубы, была улыбка, был голос, было богатство — тогда и Хамдам был другой...»

Этот артист, певец и танцор, привыкший к толпе и восторгам, тащился сейчас по дороге, как старая, ненужная даже живодеру кляча.

А когда-то Ачильбай был недосыгаем и в то же время доступен всем, как солнце. Он приносил с собой вино, песни, счастье. В короткие дни его гастролей по городам

и кишлакам жизнь становилась веселей. Когда он уходил, точно саранча съедала поле: так он опустошал кошельки и сердца.

Ачильбай-бача мог бы стать богатейшим человеком, если бы не азартные игры, свита и роскошь. Чем больше расшвыривал он свое состояние, тем больше притекло к нему. Он любил пышность, шум, суету. Разные подозрительные люди, авантюристы, разорившиеся богачи, музыканты окружали его. Он содержал всю эту ораву, кочуя вместе с ней с места на место.

Певец Ачильбай был соловьем оазисов. Его загорающий взгляд расценивался на чистое золото. Он был жаден, и он же был расточителен, когда страсть овладевала им.

Хамдам впервые познакомился с Ачильбаем в юности, года за три до андижанского восстания. Это случилось в Андижане, в доме известного купца Сеид-Абдул-Ахадова. На всю жизнь запомнились Хамдаму эти волшебные времена.

Шли праздники. Широкий двор купца был покрыт коврами, камышом и кошмами. В гостях, на представлении, которое обещало быть долгим, на несколько ночей, находились люди богатые, знатные, уважаемые. Все они вносили свою долю в расходы. Кроме гостей, — а их набралось человек пятьдесят, — возле стен двора стояли толпы зрителей. Ревел карнай \*, играли мальчишки на сурпаях \*, ухал чильманды — бубен с погремушками, и дрожал барабан. Гости обносили всевозможными сладостями, фисташками, фруктами, пили шур-чай \*, бузу и вино.

Ачильбай вышел к гостям в роскошном халате, раскрашенный, как персиянка, легкий и тонкий, точно розовый куст. Его окружали хор мальчиков, певцы, танцоры и музыканты. Он никогда не ездил один. На празднике певец увидел юношу Хамдама. На третий день к его ногам он бросил кожаный мешок, наполненный золотыми монетами, и пел ему всю ночь. Двор был освещен огнями. Триста человек были свидетелями этой соловьиной песни. Хамдам ушел за Ачильбаем. Он бродил с ним недели три, до тех пор, пока отец не вырвал его из рук Ачильбая.

В шестнадцатом году, уже вернувшись из Сибири и женившись, Хамдам встретил Ачильбая в Ташкенте. Он пришел к нему, будто в свой дом.

Ачиљбай был давно женат, дети его стали взрослыми. Вторая половина жизни певца оказалась менее блистательной. Ачиљбай теперь уже не пел, он держал школу бачей-плясунов. Деньги кончались. Он проживал их, а школа рассыпалась с начала войны. Только три-четыре мальчика остались у него.

Вечером старик пригласил Хамдама к себе в гости: он воспользовался тем, что женщины праздновали весну, варили сумалак — жидкий кисель из пшеничного соеда. В этот день, в случае прихода постороннего мужчины, женщинам разрешалось не прятаться.

Ачиљбай появился так же торжественно и спокойно, как в старину, прямой и сильный. На нем был истрепанный парчовый халат. Парча потускнела, но Хамдам заметил, что старик подчеркнул себе брови и наложил румяна на щеки. Ачиљбай поклонился Хамдаму:

— Ас-салам-алейкум! Окажи милость и займи место среди нас, дорогой гость!

Хамдам сел рядом с дочкой Ачиљбая, Садихон. Она понравилась ему.

Около арычка рос миндаль. Под его кустами на глиняной широкой софе, покрытой ковром, лежал жирный сын Хамдама, Абдулла.

Хамдам приехал в Ташкент с Абдуллой. Абдулла не понимал: зачем кривляется этот старик, приятель отца? Абдулла-джан любил фокусников, плясунов, движущихся кукол. «Что может показать эта обезьяна? Зачем отец привел меня сюда?» — думал он.

Ачиљбай поднял руку.

Хамдам, вдруг ставший ловким и молодым, словно юноша, подбежал к певцу, подавая ему дутар. У Хамдама вспыхнуло сердце, когда он увидел пальцы своего друга.

Старик улыбнулся и нежно дотронулся до его руки, потом протянул пальцы к струнам, уверенно оглядел своих немногочисленных слушателей, сидевших у огня, и начал песню:

Любимый мой! Я рад тебе,  
Из-за тебя меня постигла печаль.  
И год, и десять, и двадцать лет разлуки  
Я не забыл тебя.  
Я рад, что ты пришел.  
Неужели тебе не жаль меня?

Я устал от базара жизни,  
Я поседел на дорогах греха,  
Но, если хочешь, возьми мою душу —  
Это все, что я могу подарить тебе.  
Напой меня, о виночерпий!  
Дай мне лекарство!  
Я ранен тобой навек...

Хамдам сидел на галерейке, за столиком, глотал водку и плакал. В тот же вечер Ачиљбай привел к нему Садихон...

...Сейчас, после встречи со стариком, трудно было освободиться от всех этих воспоминаний. Они невольно приходили в голову. Поэтому Хамдам вернулся к себе на квартиру злым и раздраженным. Сам прикрыл ставни, запер в своей комнате дверь и зажег свечу.

«Старость — плохая пора, — подумал он. — Как запаршивел старик! Неужели и я буду таким же, как Ачиљбай?»

## 12

Но надо было думать о другом, более существенном, надо было торопиться. «Значит, этот Джемс принял имя Замир-паши, — думал Хамдам. — Неужели эмир сегодня проходит здесь? Никто ничего не знает. Но есть вещи, которые лучше не знать... Откуда я знаю, что его зовут Джемс? Не помню».

Но потом он вспомнил. Это сказал ему однорукий киргиз, с которым он встретился на съезде курбаши.

Хамдам отлично понимал, что, разбив Исламкула, он приобретет полное доверие. «Надо сейчас же решить, — думал он, — что делать? Перейти окончательно на сторону красных или...»

Внезапное желание все изменило в нем. Снова он вздумал сыграть в обе стороны и послал ординарца за Юсупом.

Когда Юсуп пришел, он спросил его:

— Как ты думаешь, какой эскадрон послать на юг?

Задавая этот вопрос, Хамдам угадывал совершенно правильное желание Юсупа. Юсупу хотелось, чтобы в погоню за эмиром послали первый эскадрон. На этот эскадрон Юсуп больше всего надеялся. Естественнее всего было предположить, что эмир побежит к югу или к юго-западу, и поэтому Юсуп желал, чтобы его эскадрон

отправился на поиски в этом направлении. Он был убежден в том, что его джигиты найдут и поймают эмира.

— Ты спрашиваешь моего совета? — сказал Юсуп и взглянул в глаза Хамдаму.

В глубине души он не собирался даже спрашивать Хамдама. Он намеревался на свой риск и страх отправить первый эскадрон. И если бы Хамдам его не вызвал, он так бы и сделал. Но сейчас этот вопрос Хамдама заставил его задуматься. Он не хотел прямо высказывать свое желание и поэтому на вопрос Хамдама ответил тоже вопросом.

Хамдам щурился, глаза у него были серьезные и немножко испуганные.

— Ведь кто-то должен остаться здесь, — сказал он. — Мы ведь не можем обнажить линию, а в твоём эскадроне более свежие лошади. Значит, ты и отправишься на юг!

Юсуп покраснел. Хамдам увидел, что Юсупу самому хочется кинуться в погоню за эмиром.

— Мне трудно отказываться от этой чести — поймать эмира, — будто нехотя проговорил Хамдам. — Мне кажется, что если эмир побежит — так на юг. Куда же ему бежать, если не к афганской границе? Ведь правда?

— Да, я тоже думаю так, — сказал Юсуп.

Хамдам встал и обнял Юсупа.

— Ну, ты молод! Тебе и честь! Желаю тебе счастья. Но если ты не хочешь, оставайся здесь, — прибавил Хамдам. — Тогда я с твоим эскадром пойду на юг.

Хотя Юсуп был уже комиссаром, но Хамдам еще по привычке называл первый эскадрон эскадром Юсупа.

На лице у Юсупа невольно отразилась радость. Все, что говорил Хамдам, было правильно. Отказаться от поимки эмира, от такого знаменитого дела, он не мог, он честно признался в этом Хамдаму.

— Спасибо, что ты мне уступил эту честь! — задыхаясь от волнения, сказал Юсуп.

Хамдам протянул ему руку и, ласково посмотрев, обратился к нему:

— Я понимаю тебя. Это действительно большая честь. — Хамдам важно кивнул головой. — Отличайся!

Юсуп, волнуясь, готов был благодарить Хамдама без конца, готов был простить ему все прегрешения. В эту

минуту он забыл о всяком недоверии к Хамдаму. «Он благородный человек, а я нехорошо о нем думаю, я плохой», — решил Юсуп.

Эту перемену к себе сразу почувствовал Хамдам. Ему стало стыдно. Он затеребил свою бородку, засунул ее в рот, пожевал.

— Так. Торопись! Мешкать нечего, — проговорил Хамдам.

— Все готово. Я могу отправиться хоть сейчас, — сказал Юсуп.

— Хоп, хоп! Помолись аллаху, и эмир попадет в твои руки!

Юсуп вышел из комнаты. Хамдам проводил его. У ворот они расстались. «Да, и я был когда-то таким же...» — подумал Хамдам о себе, и ему стало жаль свою погубленную чистую молодость. И лишь для того, чтобы опровергнуть самого себя, из стыда перед самим собой, когда Юсуп скрылся из глаз, он обозвал его дураком.

Через несколько минут Хамдам услышал крики джигитов и команду. Он разделся и лег в постель.

Первый эскадрон ушел, включенные в полк коммунисты уговорили Юсупа взять их с собой. Второй и третий эскадроны, по распоряжению Хамдама, отправились на линию железной дороги. А в кишлаке расположился на ночлег личный отряд Хамдама из тридцати джигитов. Хамдам снял караул, приказав спать всем джигитам.

Комната была пуста, как белый гроб, известковые стены сверкали от сияния свечки. Хамдам лег на грязное ватное одеяло, разложенное на полу, прикрылся другим, почище. Потушил свечу и уснул.

Около трех часов ночи басмачи Исламкула налетели на Якка-Тут, зарезав двоих сопротивлявшихся джигитов. Хамдам крепко спал. Все джигиты, оставшиеся с ним, и сам Хамдам были взяты в плен и обезоружены.

Несколько ослабевший за 31 августа бой в ночь на 1 сентября разгорелся, и военные действия закипели по всей линии. Все бойцы чувствовали, что если теперь их постигнет поражение, вопрос бухарской революции

может быть отсрочен на долгие годы, а восстание будет подавлено эмиром с неслыханной жестокостью.

Сарбазы упорно и отчаянно сражались. В особенности у Каршинских ворот. Там был их главный опорный пункт.

Красная артиллерия стреляла по городу. Над густой рощей, сверкая своей оболочкой, взвился аэростат с наблюдателями. Он корректировал стрельбу. Летчикам была поставлена задача — долбануть бомбами дворец эмира и наблюдать за окрестностями Бухары.

Усиленный расход огнеприпасов уже истощил наши оружейные парки, и артиллеристы стали жаловаться на недостаток снарядов. Положение осложнялось еще тем, что и Чарджуй и Карши не давали о себе никаких известий, — таким образом, трудно было рассчитывать на их помощь. Иссякающий артиллерийский запас очень беспокоил командование. Дороги были сильно разрушены, и на быстрый подвоз и пополнение этого запаса невозможно было надеяться. Когда воздушная разведка сообщила, что Карши занят нами почти без боя, а первая армия, взяв Новый Чарджуй, подходит к Бухаре, тревога рассеялась. Участь Бухары решалась с приходом этих сил...

Утром 1 сентября Сашка, сбежав из госпиталя, попал в первую штурмовую группу. Лошади и люди, раскиданные по полю, ожидали сигнала; шла оружейная стрельба. Орудия стреляли сейчас уже прямой наводкой по стенам города и по Каршинским воротам.

Был пятый час утра. Сашке стало жарко. Решив прохладиться, он улегся прямо в арык. Вода в арыке едва достигала трех сантиметров. Она струилась вокруг Сашкиной спины, облизывая ему затылок и коричневые, ссохшиеся сапоги. Вместе с Жарковским появился на позиций комиссар бригады Блинов. Увидав забинтованного Сашку, он крикнул:

— Что с головой? Почему оставил госпиталь?

— Поправился, — ответил Сашка, встав как по команде «смирно», и вытянул руки по швам.

— Через двадцать минут наступление. Приготовиться! — сказал торжественно Блинов.

— Есть через двадцать! — повторил Сашка.

Блинов прорысил дальше, сопровождаемый Жарковским и двумя порученцами. Он уже был в том предбоевом настроении, когда некогда ни останавливаться, ни расспрашивать, ни интересоваться мелочами.

...Жарковский только вчера устроился в штаб. Это было давнишнее его желание. Он стремился туда не из трусости. Будучи в штабе, сегодня он уже по личному желанию шел в бой. Это выдвигало его. Умный и самолюбивый парень, бывший гимназист, недоучка, таким путем он надеялся быстрее сделать карьеру. Гордо гарцуя на коне, Жарковский подскакал к Сашке и сказал ему:

— Я пристану к твоей колонне. Идет?

— А ты разве тожеходишь в нее? — спросил его Сашка с недоумением.

— Да. Если ты ничего не имеешь против... — весело ответил Жарковский, похлестывая сапог тонким стеком из кизила.

— Приставай! — сказал Сашка. Он не терпел самодовольного тона, но противиться было нечему. Он разрешил Оське пристать к своей колонне.

Жарковский закурил папиросу, повернул коня и поспекал за Блиновым.

«Все чудно, — подумал он. — А дальше будет еще лучше. Немногие в мои годы могут похвастать таким положением, как я. Я здоров. Бухара будет взята, и я буду участвовать в деле. Именно в первой группе. Весьма шикарно!»

Среди всех этих мыслей ему ни разу не пришло в голову, что через полчаса одна из пуль или один крошечный осколок снаряда может ухлопать его и прекратить его великолепное существование.

...В разных концах степи горнисты пропели атаку.

— По коням! — пронеслась команда.

Взводные прокричали о том же.

Дымные облака, будто испугавшись боя, прижались к горизонту. Пылью пахла земля.

Всадники строились поэскадронно. Фыркали и толкались лошади.

Сашка посмотрел вдаль.

Противник стоял в километре. Сашка видел в утренней дымке его цветные халаты, кушаки, пики, яркие красные шаровары, пестрые куртки.



Подготовка кончилась. Орудия замолчали. Эскадроны противника строились возле Каршинских ворот; ворота были уже разбиты. Наши строились в степи.

Сашка потуже стянул свои бинты, принял повод от Куличка и вскочил на кобылу. Он поскакал галопом вдоль колонны, выкрикивая на ходу каждому взводу одни и те же слова:

— Бойцы, товарищи коммунисты! Бухара будет красной. Бойцы, товарищи коммунисты! Бухара будет красной.

Вдали шумела Бухара.

В разных концах поля горнисты пропели второй сигнал. Колонна пошла в атаку, и через минуту возле ворот уже сшиблись с врагом первые взводы.

## 14

Ни конница эмира, ни сарбазы не сумели долго выдержать этого сумасшедшего натиска. После нескольких атак их смяли, и как огонь бросается в цель — так бросились красные всадники в образовавшийся от артиллерийской стрельбы пролом. Все новые и новые силы вливались в город, не давая опомниться врагу.

Неприятель, изнемогая от непрерывного трехсуточного боя, не выдержал, подался, погнулся, основные силы его, состоявшие из наемников, ослабли, напряжение у сарбазов упало, и они стали разбегаться, как работники от невыгодной и непосильной работы. Сейчас они стремились только сохранить свою жизнь, как бы предчувствуя, что дни эмира все равно сочтены.

Эмира уже не было, он бежал в ночь на 31 августа, но в Бухаре мало кто знал об этом, так же как не знало об этом и наше командование. Несмотря на то, что бегство было обставлено величайшей таинственностью, все-таки кое-что о бегстве должно было просочиться в народ. Никому не было известно ничего достоверного. Люди в городе питались слухами, слухи эти разъедали их, как ржавчина. Это еще более ослабило сопротивление эмирских войск. Только отчаяние придавало им силы. Но что может дать отчаяние, когда дух наступающих революционных отрядов возрастал с каждым часом. Казалось, что затруднения и опасность только

увеличивают их решимость твердо и до конца выполнить свой долг.

Красные шли на штурм эмирата с полной уверенностью в победе. С возгласами торжества ворвались в город первые смельчаки. Успех был тотчас подхвачен остальными. Бой завязался на улицах. Осыпаемые со всех сторон пулями и ручными гранатами, ошпариваемые кипятком из окон, с крыш, прорываясь сквозь пламя, ворвались в Бухару красногвардейцы, партизаны красных бухарских частей, кавалерия и пехота.

Узкие, кривые улицы, толстые глинобитные стены создавали естественные препятствия на каждом шагу. Штурмующим пришлось отвоевывать дом за домом, квартал за кварталом.

Отступая, враг зажигал город. Горели дворцы, богатейшие базары и амбары, в огне погибали хлеб, сотни тысяч пудов сахара, чай, краски, ковры и шелка. Купцы хотели уничтожить все, что они не успели вывезти.

Каждый квартал укреплялся пехотой. Только к пяти часам вечера, то есть после двенадцатичасовой атаки, наши передовые отряды добрались до центра Старой Бухары.

Сашка с разведкой пролетел за дозоры и очутился на площади перед цитаделью, окружавшей дворец эмира. К цитадели вела широкая дорога. Она подымалась вверх и замыкалась воротами с двумя башнями. Подножия башен были залиты кровью: еще вчера на этом месте эмир казнил большевиков.

Разведчики, разбив ворота, вбежали в крепость. Их встретили залпами. Ранило одного разведчика и двух лошадей. Сашка приказал разведчикам спешиться и открыть ружейный огонь. Но продвинуться дальше было невозможно, так как всех их непрерывно обстреливали какие-то люди, засевшие в одной из придворных построек. Капля и Спирин вошли в первый попавшийся им на пути дом и пробрались на крышу, а отсюда уже по крышам дворцовых строений доползли до засады и забросали ее ручными гранатами. После этого выстрелы смолкли.

Сашка тоже поднялся на крышу.

Жирный фиолетовый дым повис над Бухарой. Оглядывая желтое скопище плоских крыш, круглых куполов, высоких минаретов, башен и арок, Сашка сказал:

— Пойдем, ребята, во дворец!

Оставив на крыше наблюдателей, он спустился вниз.

На площади около него собрались бойцы, пыльные, с воспаленными глазами, в разорванных рубахах и штанах. Каждый, сжимая карабин, ожидал нападения из десятка узких закоулков, расползавшихся, точно черви, в разные стороны.

Кровли дворца сверкали от солнца. Заглядываясь на них, Сашка таил тщеславную мысль, что ему удастся поймать здесь, в этом дворце, самого эмира. Но он никому не говорил об этом. «Еще сглазят», — подумал он.

Жарковский вынул из кармана чистый носовой платок и вытер лицо. Платок сразу стал черным. Жарковский поглядел на него и протянул Федотке:

— Возьми. Вытираешь. Пригодится тебе.

— Не брать! — крикнул Сашка и прибавил, с озлоблением глядя на Жарковского: — Тоже новоявленный барич... Паренек обойдется и без твоего носового платка: он еще в пальцы сморкается. И не смотри ты на меня с презрением. Хотя ты и храбрый, а все равно грош тебе цена... Гимназист!

Сашка выразился крепче. Жарковский вспыхнул и смолчал.

Мальчишка ничего не понял, удивленно посмотрел на командира и отошел от Жарковского.

Бухара ему нравилась. Атаку он провел как во сне, будто с закрытыми глазами. И если бы его спросить, что он видел: «Да ничего, — ответил бы Федотка. — Чего видеть? Ворвались — и все!»

Жарковский мечтательно глядел в небо.

— О чем думаешь? — спросил его Сашка.

— Орденки заработали.

— Эх! — с жалостью в голосе произнес Сашка. — На орден ты работаешь или на совесть?

— Одно другому не мешает, — ответил весело Жарковский.

В эту минуту их опять обстреляли.

Жарковский и Сашка бросились в переулок, швыряя по сторонам гранаты, и выбежали на маленькую площадь. Здесь опять сходились какие-то другие переулки, в глубине их пылал огонь и валил дым.

Через несколько минут оттуда, из дыма, послышался многоголосый вой, плач и странный металлический звон.

Огромная толпа полуголых кандалников выползла к разведчикам, протягивая худые руки. Арестанты хохотали и плакали, падая к ногам бойцов и целуя землю. Бойцы подымали их. Кандалники прижимались и терлись около ног, точно собаки. Спины их были исполосованы кнутом, изъедены лишаями. Многие из них свыше двадцати лет просидели в ямах бухарской тюрьмы. Многие не верили своему освобождению, слепли сейчас от солнца и тряслись, точно в лихорадке.

— Вот зрелище! Хотя поливай их из кишки! — ужаснулся Сашка. — Что мы будем делать, ребята? — сказал он бойцам.

Сашка растерялся. Арестантская толпа забила все проходы, не давая возможности отряду двинуться вперед. Сарбазы, оставляя цитадель, с умыслом освободили казематы. Арестованные невольники задерживали наступление разведчиков. Сашка стал кричать по-узбекски. Разведчики попробовали протиснуться сквозь толпу. Ничего не удавалось. Только случай помог им выбраться.

В одном из тупичков разведчики поймали старого длинного человека в дорогом шелковом халате. Не успели они подвести его к Сашке, как толпа, точно зверь, набросилась на старика, готовая его растерзать.

— Кушбеги... Кушбеги... — завопили арестанты.

Старик спрятался за спины бойцов и, умоляя их, прикладывал руки к сердцу. Чалма у него распустилась, он держал ее в руке, как полотенце. Губы кушбеги были серыми, и лицо серое, неживое, будто ему впрыснули под кожу ртуть. Увидав Сашку, он упал перед ним на колени, решив, что от этого командира он должен добиться спасения, и целовал пыльные, рваные сапоги Сашки. Лихолетов брезгливо отдернул ногу.

— Ты что же? Арестантам своим подражаешь? — сказал он.

— Милости, милости! — шептал старик.

Освобожденные узники, отпихивая бойцов, плевали ему в лицо. Кто-то из них схватил его за крашеную красную бороду и вырвал клоч.

— Отдай его нам! Это первый друг эмира и враг народа! Это Усман-бек! — кричали люди в толпе, окружавшей Сашку.

Сашка велел бойцам арестовать старика. Взяв карабины на изготовку, бойцы заслонили кушбеги от нападения.

— Он будет расстрелян здесь же, в Регистане, — пообещал толпе Сашка. — Но сперва советская власть снимет с него допрос. Разобраться надо. Может, он тайны расскажет. Понятно вам? — спросил Сашка толпу.

Старик кивал головой и целовал в плечи бойцов.

— Все расскажу. Все. Я приведу вас к подвалам эмира, — забормотал кушбег. — Идем скорее, идем!

Отряд вместе с толпой двинулся к южной части цитадели.

Там, под покоеми эмира, на большом четырехугольном дворе тянулась двухэтажная галерея, застланная коврами. Огромные замки висели на дверях галерей. Переводчик из освобожденных, бывший раньше придворным служителем эмира, рассказал Сашке, что в этих амбарах хранятся ценности, золото и серебро. Сашка расставил часовых.

— Ломайте замки! Там богатство, — сказал кушбег.

Он думал, что раскрытые кладовые могут свести с ума людей и благодаря этому он спасется. Он обвел рукой галерею, точно хозяин, приглашающий гостей.

— Теперь все ваше, — добавил он. — Берите!

Сашка мигнул бойцам.

— Вести его? — спросил Капля.

— Веди скорей! — шепнул Сашка.

— Ну, иди! — сказал Капля старику. — Ну, ну... трогай, почтенный!

Кушбег помигал глазами, как будто не понимая, что ему говорят.

— Мы васведем к высшему начальству, в штаб группы. Оружия при вас нет? — спросил его Жарковский и своими маленькими, ловкими руками быстро обшарил халат старика.

Старик простер руки к небу и заплакал.

Конвой тронулся. Толпа расступилась.

Когда конвойные вместе с кушбегим исчезли за углом, Сашка крикнул:

— Курить, бойцы!

Куличок, свернув сигарку, обратился к Сашке за огнем.

— А дипломат хотел купить вас, — сказал он Сашке.

— Какой дипломат? — спросил Сашка.

— Старче преподобный, — ответил босой ординарец, всем раздавая огонь. — Сам, поди, воруга и нас почитает за воров. Кабы не вы, товарищ Лихолетов, я бы этого министра карабином треснул по башке.

— А ты успокойся! Что у тебя руки-то трясутся?

— Затрясутся! На богатства зол я. Запалил бы все богатства сразу с четырех концов!

— Зачем добро палить? Народу отдадим, — сказал Лихолетов.

— Народу, конечно, хорошо. Да ведь на всех его не хватит!

— Конечно, не раздавать его, — сказал Сашка. — Но на эти богатства можно сделать какое-нибудь хорошее дело, в общую пользу.

— Так-то оно так. Да я боюсь, — спорил Куличок, — как бы вместе с общей пользой к рукам бы кое-кому не прилипло. Золотишко-то само прилипает. И не хочешь, а возьмешь.

Бойцы засмеялись.

...Через полчаса подошла пехота. Цитадель занял 3-й Казанский стрелковый полк, все посты были переданы ему, а Сашка с разведчиками отправился во дворец искать эмира. Но его нигде не было.

— Тю-тю эмир-то! — бормотал Сашка. Он совсем расстроился.

— Плохой хозяин, гостей не дождался! — шутили бойцы.

В одном из внутренних помещений они наткнулись на группу испуганных женщин. Женщины были с открытыми лицами и, перешептываясь, глядели на бойцов. Грязные всадники, обвешанные оружием, внушали страх этим гаремным затворницам, привыкшим к благочинию шпорами. Потом махнул рукой сперва в сторону эскадронцев, потом в сторону женщин и весело сказал:

Сашка немного приосанился, стряхнул с коленок пыль, выбрал одну из бухарских дам повидней и помоложе и, подойдя к ней, ловко откозырнул и щелкнул шпорами. Потом махнул рукой сперва в сторону женщин и весело сказал:

— Знакомьтесь, граждане!

Женщина улыбнулась и поклонилась ему. Сашка осклабился, вытер руку о шаровары и протянул ей. Но вдруг у него закружилась голова. Он отошел от женщины,

присел на какой-то низкий диванчик, потрогал свой лоб пальцами и сказал бойцам:

— Ребята! А у меня, видимо, температура градусов сорок. Не удастся мне познакомиться с дамочками! Ну, вы оставайтесь! Только вежливо, предупреждаю! За баловство убью.

...Он прискакал на первый из перевязочных пунктов. Они шли за войсками и придвинулись почти вплотную к Бухаре. Когда Сашке разбинтовали голову, принимавший его врач поморщился:

— Гм... запах!

— Обойдется, товарищ доктор?—пролепетал Сашка.

— Ладно, почистим вашу ранку,—рассматривая Сашкину щеку, сказал хирург.— Вы что? Удрили, наверное, из госпиталя?

— Да, в этом роде. По совести скажу, удрал,—ответил Сашка.

Сашке понравилось, что врач не торопится, не ругает его. «Сразу видно: человек обстоятельный»,—подумал он о враче. Ему понравились его рыжие щетинистые усы, спокойный говорок. Врач как будто ничему не придавал серьезного значения. Это вполне устраивало Сашку.

— К сестре! Пусть приготовит!

Сказав это, толстенький широкоплечий хирург с папирской в зубах отплыл к другим раненым.

«Вот это не Варька!—подумал про себя Сашка.— Не будет зря орать».

## 15

Утром 1 сентября Исламкул покинул кишлак так же неожиданно, как и пришел. Хамдам был удивлен.

Басмачи, уходя, не взяли с собой даже отобранного от джигитов оружия.

«Действительно, что-то странное есть в этом налете,—подумал Хамдам.— Неужели эмир прошел через Якка-Тут?»

Когда к вечеру этого же дня Хамдам узнал о взятии Бухары, он поспешил донести штабу о своем бое с басмачами в ночь на 31 августа, об однодневном плене. Он изложил факты и так их приукрасил, так завуалировал правду, что поведение его стало выглядеть доблестным и мужественным. Кто мог проверить его? Кто угод-

но. Но все свидетели, тридцать человек личной охраны, из которых осталось только двадцать восемь, думали так, как думал Хамдам. Это были головорезы и слуги, специально подобранные Насыровым. Да и обстановка была не такова, чтобы кто-нибудь имел время в чем-нибудь заподозрить Хамдама. Наоборот, напильши в новом бухарском правительстве люди, которые отнеслись к Хамдаму с полным доверием.

Хамдаму передали, что сам Карим Иманов одобрително отзывался о нем. Хамдам торжественно на радостях роздал своим джигитам подарки. Это еще более привлекло к нему сердца джигитов.

Эмир исчез. Это исчезновение очень обеспокоило всех. Штаб дал задачу во что бы то ни стало выследить бежавшего. Воздушная разведка ничего не обнаружила. Ни на востоке, ни на юге, ни на севере, ни на западе—нигде не оказалось никаких следов. Ни одного облачка пыли на верблюжьих тропах, ни одной группы всадников у колодцев. Безжизненная, мертвая степь... Ровный блеск тяжелых соленых озер... Тишина...

Штаб уже думал, что эмир упущен, когда неожиданно один из летчиков, Ухин, искавший эмира на западе и юго-западе, сообщил, что верстах в сорока южнее станции Кызыл-Тепе им замечен отряд в сотню всадников и караван из сорока арб и двадцати верблюдов с грузом.

Никто не мог сказать, является ли подозрительный отряд действительно отрядом эмира или это маскировка. Некоторые считали, что в этом отряде нет эмира и нужно продолжить дальнейшие поиски, так как естественнее всего предположить, что поезд эмира раскололся на части и движется в двух или даже в трех направлениях, чтобы тем самым затруднить преследование и лишить уверенности преследующих. Другие отрицали это предположение, но все-таки настаивали на развертывании разведки. Третьи успокоились и радостно вызвали по всем телефонам и выстукивали по телеграфу, что эмир найден, надо не дать ему уйти. Словом, началась горячка.

В Карши полетел самолет с предписанием каршинской группе летчиков следить за продвижением замеченного отряда и не пускать его к афганской границе.

От приезжих из Бухары Хамдам узнал, что Юсуп тоже гонится за эмиром, что в степи он наткнулся на

хвост неизвестного каравана, отбил несколько арб, груженных золотом и драгоценностями, и взял в плен каких-то сановников. Один из них был в шелковых алых шароварах с золотыми лампасами, в голубой венгерке, на левом плече у него висела старая, потемневшая генеральская эполета. Другой — в орденах, в обер-офицерских погонах царских полков.

Хамдам смеялся над добычей Юсупа и при всяком случае распускал слух, как бы подсказывал своему собеседнику, в особенности военному начальству, что если бы не судьба, если бы он, Хамдам, участвовал в погоне за эмиром, все кончилось бы иначе, то есть эмир был бы уже закован в цепи. Хамдам иначе и не мыслил ареста эмира.

## 16

Пятого сентября, вместе с эскадроном, Юсуп вернулся в Якка-Тут. Он был угнетен, разбит. Бегство эмира, неудача с ним портили ему настроение. «Уж лучше бы погибнуть, да кончить его! Вот это было бы дело», — думал он.

Джигиты развели костер. Юсуп сидел на станции, дожидаясь ординарца. Никто не приходил. В кишлаке было тоскливо и тихо. Кое-где во дворах горели огни. Юсуп встал и нехотя пошел к Хамдаму. Ему сказали, что Хамдам допрашивает пленных.

...За этот день разъезды Хамдама несколько раз сталкивались с басмачами, рассеивая их шайки. От пленных Хамдаму стало известно, что среди эмирских частей действовали отряды Иргаша и что Иргаш, в числе других курбаши, поддерживал отступление эмира. Джигиты, болтавшие обо всем, сообщили Юсупу все эти новости. От них же Юсуп узнал о внезапном ночном нападении Исламкула.

Юсуп почувствовал, что все события в Якка-Тут идут как-то по-своему, необычно. Все имеет свой странный неуловимый привкус.

...Хамдам допрашивал каждого пленного. Сортировка затянута.

Если наивный, усталый, измученный человек отвечал ему без колебаний, он отправлял его в Бухару. Плен-

ные — простоватые дехкане — были искренни. Они не умели прятать чувств.

Если же Хамдам замечал хоть каплю смущения в ответе пленного, или уловку, или старание замаскироваться, пленный оставался в Якка-Тут. Сомнительным Хамдам решил лично подарить свободу. Отпуская этих людей, он давал им понять, что с этой минуты их судьба в его руках.

Последним оставался Дадабай.

Хамдам сидел во дворе за маленьким деревянным столиком. За спиной Хамдама стояла личная охрана. Два тусклых фонаря слабо освещали двор.

Хамдам спросил Дадабая:

— А Иргаш тоже скрылся с эмиром?

— Не знаю.

— А как же ты очутился здесь? Значит, ты изменил советской власти? Перебежал к белобухарцам? Понимаешь ли ты это? Ведь ты теперь дважды изменник!

— Почему дважды?

— А первый раз, помнишь, я простил тебя. А теперь ты опять принялся за старое.

Дадабай молчал. Он был почти раздет, в ободранной рубашке, в грязных штанах. Хамдам с презрением посмотрел на бывшего богача.

Дадабай пугливо озирался. Его глаза всюду встречали либо винтовки, либо огни фонарей, либо взгляд Хамдама. Он подумал: «Я сейчас умру. Сейчас Хамдам рассчитается со мной». Тогда, желая хоть чем-нибудь застраховаться от опасности, надеясь на невозможное, он закричал, чтобы пригрозить Хамдаму:

— Я не хочу отвечать тебе. Ты двоедушный человек! Если ты с большевиками — будь с большевиками. А если против большевиков, за басмачей, — то иди против! Ты думаешь, я не знаю, зачем сюда при...

Но Дадабай не успел договорить: Сапар, по знаку Хамдама, бросился на него и воткнул свой кулак прямо в глотку ему. Дадабай замычал, Сапар пинком опрокинул его. Схватив за ноги визжавшего Дадабая, Сапар поволок его в сторону конюшни. Хамдам отвернулся, чтобы не видеть, как Дадабай колотится головой по земле.

Через минуту в глубине конюшни Дадабай был расстрелян. Из конюшни вышел Сапар, облизывая руки, искусанные в кровь.

В эту минуту Юсуп появился в воротах.

Узнав Юсупа, Хамдам вскочил.

— Приехал уже? Так скоро? Дорогой гость! — воскликнул Хамдам.

Юсуп нахмурился.

— Ну, отправляй всех в Бухару! — крикнул Хамдам Сапару. — Чего стоишь!

Несколько конвойных окружили десятка полтора басмачей. Басмачи, глядя исподлобья на Хамдама, прошли мимо него со связанными руками.

— Кто кричал здесь? Что случилось? — спросил Юсуп, озираясь.

— Сейчас, сейчас! Все расскажу, — хлопотливо ответил Хамдам.

— Это пленные?

— Сторонники эмира. Зверье! — сказал Хамдам, потряхнув головой. — Я расстрелял одного из них за мятеж. Он набросился на меня.

Хамдам вздохнул и вытер мокрый лоб.

Ночь была теплая.

— Пойдем к пруду! — сказал Хамдам.

— Но ведь это бесчинство!

— Я защищался.

— Но ты не имеешь права расстреливать.

— Он враг. — Хамдам повысил голос. — Все знают Дадабая как врага советской власти. Это дело политическое. И всю ответственность за это дело я беру на себя.

— Какой Дадабай? — вдруг вспомнил Юсуп. — Из Андрахана?

— Ну да! Тот самый. Уж не он ли подослал убийцу к Аввакумову? — вдруг, точно обжигаясь, проговорил Хамдам, чувствуя, что за этого человека Юсуп вступаться не будет.

— Все равно. Нельзя было без суда. Ты же знаешь! Запрещено.

— А зачем он возмущает народ? Здесь фронт. Зачем он порочит власть в глазах джигитов? Я и так потерялся. Не понимаю, что делаю.

В глазах Хамдама появилась скорбь. Юсуп удивленно посмотрел на него.

Хамдам схватил его за локоть:

— У меня горе. Садихон убежала,

Лицо Юсупа на мгновение застыло, как будто Хамдам оглушил его.

— Куда убежала? Что такое? — упавшим голосом спросил он.

— Неизвестно. Ничего не известно, — сказал Хамдам. — Я и сам не понимаю. Скорей бы домой!

Хамдам сложил руки, как для молитвы, и прошептал:

— Великий боже, помоги мне стерпеть это!

Он сдвинул ладонью рот как будто бы затем, чтобы сдержать рыдание.

Если бы Хамдам в другой раз вздумал сыграть эту сцену, он бы, наверное, многое испортил в ней. Но сейчас вдохновение и удобный момент помогли ему. Вспомнив веселую Садихон, он заплакал, как великолепный актер, потом вытер слезы, раскрыл полевую сумку, вынул письмо Насырова и отдал его Юсупу.

— Вот прочитай! — сказал он. — А потом приходи, будем ужинать!

Он ушел в дом.

Юсуп бросился во двор к мигающему фонарю и прочитал письмо. Насыров писал:

«...Сегодня ночью случилось страшное дело: двое людей напали на женщин. Люди были в масках. Они увезли Сади. Я не знаю, что думать. Или Садихон убежала сама и все это бегство было подстроено, или, как говорят в Беш-Арыке, твои враги мстят тебе за то, что ты стал красным. Да помилует тебя аллах! Я буду искать днем и ночью твою любимую жену».

Двор был пуст. Реяли над фонарем летучие ночные мыши. Юсуп присел к деревянному столику, стоявшему около столба, и просидел там до тех пор, пока керосин не истощился в фонаре. Когда фонарь потух, Юсуп вышел к воротам.

## 17

Все чувства, все мысли Юсупа вдруг притупились. Мозг оцепенел. Ноги отяжелели. Каждый шаг становился мучительным. Ему казалось, что на него обрушилась гора и засыпала его.

«Ведь час тому назад все было хорошо, — подумал он. — Правда, я был расстроен, но это не то... А что же

теперь? Страшнее всего, что за последнее время я не вспоминал Сади. Я был спокоен. Я был слеп и глух...»

Он опустился на камень возле ворот. Он сидел, собравшись в комок, прижавшись к стене. Баранья шапка с красной жестяной звездой спустилась ему на глаза. Он почувствовал, что он один в мире, что его окружает глубокая тишина.

Мысленно он вновь видел большой дом Хамдама в Беш-Арыке, резные красивые ворота, длинную галерею, ряд столбиков, густой, тенистый сад, окна женской половины, зеленые ставни, стены, выкрашенные белилами, стертые каменные ступени, старый пышный орех...

Юсуп опустил голову.

...Начиналось утро. Юсуп и не заметил, как улица сделалась веселой, оживленной, солнечной. Конюхи вели с водопоя коней с блестящими от воды губами. Скакали всадники. Полуголые мальчишки стайками вертелись возле стен и показывали пальцами на понравившихся им джигитов.

Алимат подошел к Юсупу и поздоровался с ним.

— Ординарцы приехали, — сказал он. — Привезли приказ: в Бухару идем! А там погрузка... Коканд! Отвоевали! Домой! — радостно повторил он.

— Что ты слышал о Садихон? — тихо спросил его Юсуп, подымая голову.

Алимат засмеялся и подмигнул ему:

— Будет тебе! Это же твое дело, я понимаю.

— Какое дело?

— Да ведь по твоему приказу ее украли!

— Да ты что, с ума сошел? — накинудся на него Юсуп.

— Не ты? — удивленно прошептал Алимат. — Ну, тогда я не знаю... Тогда это враги Хамдама...

По улице пронесся ветерок, заблеяли овцы. Нияз подвел к Юсупу Грошику. Юсуп вскочил в седло и поехал к своему эскадрону.

Из ворот выехал Хамдам.

— Ты почему не зашел? — крикнул он Юсупу.

— Некогда было. Получи! — ответил Юсуп, передавая Хамдаму письмо.

— А куда мне его? — со злостью отозвался Хамдам и, вздыбив без нужды коня, помчался в сторону обоза: там кто-то из обозников скандалил с жителями.

Через полчаса полк тронулся.

...Эскадроны растянулись по дороге. Ехали почти без строя, гурьбой, вразвалку. Навстречу эскадронам попадались гонцы из Бухары. Они останавливались в кишлаках и кричали:

— Есть ли здесь беженцы? Возвращайтесь в Бухару! В Бухаре мир и спокойствие, мир и спокойствие!

По всем дорогам брели пешеходы, шли покорные ослики с домашней поклажей.

Полк в один переход дошел до предместья Бухары. Вонь, отбросы, собаки, глухие дома, суета, Кругом глазели любопытные: дети, женщины, торговцы, ремесленники. Под навесом кожаной мастерской стояли чаны. В чанах мокла кожа. Город принялся за работу. Война кончилась, и снова надо было пить, есть, добывать для этого деньги, думать о завтрашнем дне. Сапожники, портные, грузчики, хлебники, мастера — каждый принялся за свое дело и ремесло. Снова на базар потянулись продавцы и покупатели. Молодой полуголый кожевник, заслышав шум идущего полка, бросил свою работу и выскочил к всадникам на дорогу. За ухом у него торчала маленькая осенняя роза — обычное украшение узбека. Черная, грязная жижа стекала с рук кожевника. Он улыбался, приветствуя всадников. Около знамени гремели литавры.

«Быть может, больше настойчивости — и все случилось бы иначе? — упрекал себя Юсуп. — Быть может, силой надо было посадить ее к себе на седло? — думал он. — Но что делать с женщиной, которая привыкла к подушке и чачвану, скрывающему ее лицо?»

Торговцы протягивали джигитам сочные матовые гроздья зеленого винограда. Женщины, встречаясь, кокетливо прикрывали чачваном только половину лица.

Когда эскадроны вошли в город, они увидели красное знамя на башнях дворца. Возле цитадели несли караул стрелки татарской бригады.

— Да здравствует Красная Бухара! — крикнул им Юсуп и отсалютовал шашкой.

— Ура! — закричали джигиты.

— Ура! Ура! — улыбаясь, отвечали часовые. Их голоса тонули среди возгласов джигитов.

Хамдам ехал задумавшись. Он тоже вынул шашку и помахал ею. Он не чувствовал ни радости, ни

ликования. Он кричал и приветствовал народ, но делал все это, пересиливая себя.

Когда они проезжали мимо эмирских казарм, там стояли русские части. Из раскрытых окон громко доносилась песня:

Нам ненавистны тиранов короны,  
Цепи страдальцев народа мы чтим...

«Быть может, Сади действительно сбежала в Коканд и прячется там?» — думал Юсуп. Он старался убедить себя в этой мысли и не мог: «Непохоже, чтобы она делала так. Что же случилось?»

Пожелтело небо, приближался вечер...

Десятого сентября, рано утром, Фрунзе получил постановление Революционного Военного Совета Республики: он назначался командующим войсками другого, Южного фронта.

Фрунзе шагал по коридорчику вагона, обдумывая свою предстоящую поездку в Харьков, и вспоминал все то, что было пережито здесь, под этим среднеазиатским небом, таким любимым и таким ему знакомым с детства... Обдумывал он и то, как нужно будет действовать в дальнейшем, отражая удар Врангеля, белого генерала, который начал действовать из Крыма и, по слухам, так же как и эмир, снабжался Антантой.

Мысли командующего были прерваны приходом секретаря.

— Ах да... Приказ! Будьте добры, зайдите через полчаса...

Фрунзе вернулся в купе и на краешке стола, опираясь грудью о его ребро, начал быстро писать свой последний, прощальный приказ туркестанским войскам.

С каждой строчкой он как бы погружался в свою жизнь за последние два года, с ее важными событиями и тревогами, с ее тяжелой военной работой, начатой еще в декабре 1918 года, когда он был назначен комиссаром Ярославского военного округа... И как потом пошло все другое... то есть Самара, командование 4-й армией, Восточный фронт и борьба с колчаковщиной. Как после Восточного фронта вместе с Валерианом Куйбышевым они спешили сюда, в Туркестан...

«Я рад отметить, — писал Фрунзе, — что армии Туркестанского фронта до сих пор честно выполняют свой долг. Начав с разгрома колчаковских, дутовских и толстовских банд, они довершают ныне свою работу, очищая Туркестан от контрреволюционных полчищ местных самодержавных властителей. Уверен, что и впредь красные полки Туркестанского фронта, куда бы их ни поставила рука Революции, сумеют поддержать свою боевую революционную славу.

Мой прощальный привет вам, товарищи!»

— Да, вот и все, — с грустью сказал он и поставил точку.

В тамбуре послышался шум, кто-то ругался с проводником. Громко звеня шпорами, широкоплечий командир вошел в узкий коридор и протискивался вперед боком. Часть лица у него была забинтована.

— Разрешите? — сказал он, вваливаясь в купе к Фрунзе. — Поскольку желаю лично поблагодарить за орден... Товарищ Фрунзе, это правда? Покидаете нас? Мне Блинов сказал...

— Лихолетов?

Сашка схватил обеими руками руку Фрунзе, которую тот подал ему, потряс несколько раз, как драгоценность:

— Только проститься... Извиняюсь. И более не задержу. Я от имени всего полка. Возьмите и нас, если понадобится. Хоть в Крым, хоть к черту на рога. Полк жизни своей не жалеет.

Сказав это, Сашка откозырял и выскочил из вагона. Фрунзе послал за ним, но буйного Сашку уже не могли отыскать. Он со станции исчез.

## 18

Вернувшись в Беш-Арык, Юсуп стремился повстречаться с Рази-Биби, старшей женой Хамдама. От нее он надеялся получить хоть какие-нибудь сведения об исчезновении Садихон. Часто, даже излишне часто, с подозрительной настойчивостью он навещал дом Хамдама, но ни одна из его попыток не имела успеха. Биби не покидала своей половины. Он не мог с ней встретиться.



Однажды, нечаянно увидав Юсупа, почти наткнувшись на него во дворе, Рази попросту сбежала от него. Он успел только заметить ее испуганные и дикие глаза.

От джигитов Юсупу удалось узнать не больше того, что было в письме Насырова. Многие думали вначале, что бегство Сади было действительно устроено Юсупом. Очевидно, Алимат еще в Бухаре наболтал об этом. Теперь люди отказались от этой мысли, но не все: некоторые еще продолжали шептаться и судачить по-прежнему. Юсуп же был убежден, что Сади похищена людьми Хамдама. Откуда у него родилось это убеждение, он и сам не знал. Он ничем не мог его подкрепить. Он принужден был молчать.

Каждый день велись энергичные поиски. Отряд джигитов был отправлен в горы. Они обшарили все кишлаки, поговорили с жителями — нигде не оказалось даже следа Садихон. Юсуп чувствовал тщетность всех этих поисков. Если Садихон убита, поиски бессмысленны. Если она жива, спрятана и заперта, тогда лишь исключительное счастье могло обеспечить удачу.

Дело в том, что, ввиду особых обычаев, ввиду священной неприкосновенности мусульманского дома, никто из джигитов не мог заглянуть в тайное тайных. Обыск домов производился поверхностно. Джигиты не имели права заглянуть к женщинам. Поэтому только слух или донос мог бы на что-то натолкнуть. Однако ни добровольных свидетелей, ни сплетников, ни доносчиков не нашлось. Никто ничего не знал о Садихон, никто не слышал о ней, никто ее не видел. Она исчезла, как будто ее спрятали в земле.

Хамдам упорно продолжал поиски, рассылал всюду своих людей, делая вид, что не оставляет надежды найти пропавшую жену. А Садихон жила в горах, в усадьбе Баймуратова. Ее держали в яме, и Хамдам отлично знал не только о местонахождении Садихон, ему известно было каждое ее слово, ему доносили о каждом ее вздохе. Хамдам усмехался, и ненависть его к Садихон ничуть не смягчалась. Джигиты Хамдама искали пропавшую жену всюду. Но тот, кто не хочет найти, не находит. Тот же, кто хочет, не имеет возможности.

Юсуп лично участвовал в поисках. Однажды Насыров заметил ему, что так искать, как ищет он, способен только муж.

В конце октября Хамдам прекратил игру. Он ходил хмурый и печальный, жалуясь всем и каждому на свое горе.

— Моя потеря невозвратима, — лицемерно вздыхая, заявлял он. — Садихон в Китае. Наверно, ее продали туда.

Вначале, приказав упрятать Садихон, он еще не помышлял о том, что же он сделает с ней. Затем военные дела отвлекли его от этих забот. Сейчас же снова встал вопрос: продолжать ли ему медленную казнь или убить Садихон?

Он ни на что не мог решиться и все откладывал, все дожидаясь, как будто надеясь, что жизнь сама распутает эту загадку. Он заскучал. Он почувствовал, что его дом пуст. Он постоянно думал о Садихон. «Она оживляла мой сад, и комнаты, и двор, точно стеклянный колокольчик. Теперь, что бы ни случилось, мне уже не слышать ее голоса. Уж лучше, как это ни больно, выбрать смерть», — думал он.

Но тут он увидел, что любит ее, что он не в силах лишить ее жизни. Он гнал эти дикие мысли, пил водку с Насыровым, смеялся сам над собой, никому не раскрывая своих секретов, ездил в Коканд, заставлял Сапара приводить к нему женщин.

В доме стало шумно и скандально, и чем больше шуму, чем больше было в доме криков, тем разнузданнее и страшнее становился Хамдам.

Однажды после особенно громкого скандала, когда приезжие женщины перебили в доме стекла, Рази-Биби утром явилась к Хамдаму. На ней был зеленый халат, на голове белый шелковый шарф. Хамдаму показалось, что она уезжает в гости.

— Ты куда? — спросил он.

Биби попросила у него лошадей, ничего не ответив на его вопрос. Тогда он ехидно покачал головой:

— Чего же ты не сбежала вместе с твоей подружкой Садихон? Или у тебя нет родственников? И нет любовника?

— Ты пьян, — сказала Биби.

— Я трезвею, когда вижу тебя.

— Мне неприятно здесь жить. Я еду в Андархан. Пока я остановлюсь в твоём доме.

— Скажи, Рази: Садихон любила меня когда-нибудь?

— Не знаю.

— Как будто женщины когда-нибудь умеют любить! — сказал Хамдам, рассмеялся и, махнув рукой, приказал Насырову выдать все то, что просит Биби. — Наряды, платья, денег, лошадь — отдайте ей! Дайте все, что она пожелает! — сказал он Насырову.

Он отсылал ее с охотой, потому что в этом доме даже она напоминала ему Садихон.

Он был доволен. Все устроивалось само собой. Рази уезжала к своим. Если она попросит развод, он даст его. Он даже подарит ей дом в Андархане. Все равно там никто не живет, а жилище без людей разваливается и гибнет.

Он останется одиноким, и у него начнется третья часть его жизни. Он так и делил всю свою жизнь на три части: первая — юность, вторая — Садихон, третья — все, что случилось сейчас. Иногда ему казалось, что никогда Садихон не была для него столь желанной и единственной, как это представляется сейчас, но тут же отбрасывал эту мысль. Он уверял всех, что нет в мире человека с более горькой судьбой, чем его судьба. Смешнее всего, что в конце концов он убедил в этом даже самого себя. Многие жалели Хамдама и высказывали ему свое сочувствие.

## 19

Полк Хамдама готовился к Октябрьскому параду. Торжества должны были состояться в Коканде. Ожидались награды. Настроение у всех военных было приподнятое и возбужденное.

Хамдам заявил Юсупу, что ему сейчас не до этого, что он отстраняется от этой суеты и всю подготовку полка передает в руки Юсупа.

Каждый день в степи за кишлаками шло военное обучение. В Коканде предполагались военные состязания, поэтому всадники тренировались в джигитовке.

Ежедневно, в три часа дня, Хамдам приезжал для проверки занятий. Сопровождаемый Насыровым, он объезжал эскадроны, здоровался с джигитами и, не сделав

никому никаких замечаний, молча покидал поле. Полк, разбросанный в разных кишлаках, после тренировок разъезжался по своим квартирам.

Почти накануне праздника, перед отправкой полка в Коканд, к Хамдаму приехал Жарковский. Он прибыл по особому, секретному поручению штаба.

Юсуп подал в штаб рапорт о незаконном расстреле Дадабая и настоял на том, чтобы делу дали ход. Жарковского направили для расследования. Повертевшись около суток в Беш-Арыке, побеседовав с некоторыми беш-арыкскими жителями, допросив Сапара и еще нескольких джигитов из личной охраны, пообедав с Хамдамом, Жарковский уехал.

Ему казалось, что он все понял, все узнал. Расстрел Дадабая, старого врага советской власти, однажды уже арестованного, перебежчика, активного участника бело-бухарских отрядов, не представлял ничего особенного. Такие случаи бывали на фронте. Ничего личного, никакой мести Жарковский в этом деле не отыскал. Из расспросов жителей Беш-Арыка выяснилось, что Хамдам не имел с Дадабаем никаких личных счетов. Упреки Дадабая в двоедушии были слишком обычны: многие курбаши попрекали этим друг друга. Конечно, нельзя было считать Хамдама революционером, но также глупо было обвинять его в связях с басмачами. Хамдам совершенно резонно доказывал, что только благодаря этим связям, в силу своего особого положения, он успевал вовремя узнавать о собирающихся шайках, разгонять их и держать район в порядке.

Словом, вернувшись в Коканд из Беш-Арыка, Жарковский доложил в штабе официальную сторону своего следствия. Хамдамовское дело прекратили.

Были обстоятельства, которые заставляли Блинова осторожничать. Советизация Бухары не остановила басмачества. Наученный горьким опытом прошлого, Блинов понимал, что именно теперь, после победы советской власти, ее враги возьмутся с удвоенной, даже утроенной энергией за организацию восстаний. И слабость местных советских органов, и неумение сочетать разнообразные способы борьбы с басмачами, и явная измена, и предательство, и работа шпионов, и контрреволюционная проповедь мулл, и задержка с земельной

реформой — все это заставляло его опасаться, что басмачи зашевелиятся снова, и тогда опять понадобится Хамдам.

Из Восточной Бухары уже доносились неприятные вести. Там оказалось несколько племен, которые под патиском главарей объявили себя сторонниками эмирского строя. Блинов, как и многие, не знал еще самого главного: что «бежавший» эмир вовсе не бежал, а скрылся в горной части Бухары и оттуда подымал мятеж.

Сведения из России также принуждали к раздумью. Правда, предварительный мир с Польшей был уже подписан в Риге, советские войска, под руководством Фрунзе, уже овладели Перекопом, но Врангель еще сидел в Севастополе. Чувствовалось: чуть только пошатнутся дела Советской России, и это немедленно отзовется в Туркестане. Зараза басмачества, распolzаясь из горных районов, опять угрожала Фергане.

Вот почему Блинов не обострял отношений с Хамдамом. Он отлично помнил наставления Фрунзе. Он не забыл его оценку Хамдама. Но обстановка была настолько сложной, что он не хотел ссориться с Хамдамом, тем более что внешне Хамдам держал себя отлично. Кавполки нуждались в конских резервах, в пополнениях. Хамдам прекрасно провел конскую мобилизацию, умело уничтожал шайки басмачей, хорошо выполнял приказание на фронте, — в свете всех этих дел однодневный его плен в Якка-Тут исчезал из внимания Блинова, стусевывался, казался самым обыкновенным и даже естественным случаем.

В обстановке военных действий, в маневренной войне, когда часто трудно было разобрать, где фронт и где тыл, некоторым отрядам не раз случалось попадать в мешок и подвергаться разгрому или плену. История с Хамдамом поэтому не представлялась чем-то особенным. Такие истории происходили не только у Хамдама. Обвиняя его, надо было обвинять и других. Стоило ли из-за этого ссориться с Хамдамом? Нет, Хамдам мог еще пригодиться! Его знание местных людей, его авторитет среди других курбаши — все эти качества невольно заставляли Блинова дорожить Хамдамом. Поэтому натянутые отношения Юсупа с Хамдамом не вызывали

в Блинове одобрения. Настроенный Жарковским, Блинов считал это даже вредным. Он сам был не из доверчивых людей. «Но всякому недоверию должны же существовать какие-то пределы!» — простосердечно думал он.

## 20

За неделю до парада Блинов встретил в военкомате Сашку и спросил его:

— Юсупа мало вижу. Не знаешь, что с ним?

— Не знаю. Ничего, по-моему.

— Как ничего? Почему в Коканде не показывается? — сказал Блинов.

— Парень молодой. Может быть, завертелся. Амур! — расхохотался Лихолетов.

— С кем? — сказал Блинов. — Нет, брат, не в этом дело. — Блинов загадочно оттопырил губы.

— А в чем же?

— Если бы знал, тебя не спрашивал. Ты вот ведь дружишь с ним? Ты бы как-нибудь по душам с ним поговорил. Тебе-то он раскроется!

— Это еще вопрос. Он ведь не я, что вся душа нараспашку.

— Нараспашку — нехорошо. Но и скрытность чрезмерная — неладно. Все они такие, — проговорил Василий Егорович, думая об узбеках. Узбекского языка он совсем не знал, при разговорах с узбеками ему приходилось трудновато, поэтому он считал, что они скрытны.

— Ну, положим, они разные, — ответил Сашка и прибавил не без ехидства, с улыбкой: — Взять вас, Василий Егорович. Вы ведь тоже сундучок на замочке!

— Ну, какой я сундучок! — добродушно усмехнулся Блинов. — Я сундук, если уж на то пошло. Да о чем мне говорить прикажешь? Не о чем! Как я живу, все видят: бригада да койка.

Блинов поскреб подбородок, седоватую щетину, и болтнул рукой, как бы отсекая разговор о себе.

— Покойный Макарыч однажды мне сказал про Юсупа, — продолжал Блинов. — Ежели, говорит, этому парню голову не сломают раньше времени, он будет полезный для здешних мест.

— Не сломали еще. О чем же вы беспокоитесь? — с обычной своей беспечностью заявил Сашка.

— Как о чем? Что ты говоришь? — закричал Блинов, рассердившись. — Ходит между нас человек. Дело делает. А что еще? Что в нем? Внутри?

— Да ничего, господи! — вздохнул Сашка. — Пар! Ему восемнадцать лет только что исполнилось. Что вы от него хотите?

— Выглядит больше.

— Народ здесь рано зреет.

— Невесел.

— Характер такой. Замкнутый. Спрятался, как ерш в ил, в дно, и держится. Наружу не идет. Вот и все. Погодите! Придет время, выскочит!

Сашка тоже закипятился и даже обиделся. «Об Юсупе говорит, — подумал он. — А у меня, может, не меньше душевных неполадок? А никто и не спросит!»

— Ну, ладно, — согласился Блинов. Подумав, опять спросил: — А то, может, ему скучно среди нас? Непохожий он на всех. Странноватый.

Сашка молчал.

— Ты дружи с ним!

— Есть! — равнодушно сказал Сашка.

Он не любил, когда ему что-то навязывали. Он даже подумал: «Тоже няньку нашли!»

## 21

Коканд был разукрашен красными флагами. Победа советского оружия в Бухаре создавала особенное, приподнятое настроение. В демонстрации участвовали, помимо войск, население Коканда, школьники, рабочие с хлопковых заводов, с мельницы, с шелкомотальной фабрики. Среди демонстрантов было несколько женщин-узбечек. Они шли еще закрытые паранджой, но уже одно появление их среди колонн казалось чем-то необыкновенным.

Блинов стоял на трибуне, среди кокандского начальства. После чтения приказа Лихолетов, командующий парадом, подскакал к Блинову. Блинов и командующий сошли с трибуны, им подвели лошадей. Они вскочили в седла. Лошадь Блинова сразу же запрыгала под ним,

пугаясь шумной толпы, знамен и лозунгов, развешанных на длинных шестах.

Шесть горнистов на рыжих лошадях, украшенных белыми попонами с красными большими звездами, поскакали к центру площади. Став в ряд, они одновременно подняли вверх, к небу, свои медные трубы и провозгласили начало парада.

Сашка сидел на лошади героем. Он был в новенькой, только что сшитой шинели. Его правую щеку стягивала черная повязка. Так как рану приходилось несколько раз чистить, образовался грубый, узловатый рубец, шрам, и рана еще не совсем зажила. Обычно Сашка ходил с марлевым бинтом, но сегодня, для парадности, сверх марли он надел черную шелковую повязку. Сашка обожал первые минуты парада, когда после сигнала горнистов на площади возникала тишина. Чуть приподнявшись в стременах, он оглядел два батальона пехоты, построенные в каре.

— Церемониальным маршем! На двуххвздную дистанцию! — запел Сашка, выдерживая паузы и прислушиваясь к тому, как летят над войсками слова его команды. Сильный и глубокий голос Сашки волновал всех. — Лнейные вперед!

Тонкой цепочкой, по одному человеку, побежали стрелки с ружьями в руках, устанавливая на площади линию.

— Шагом марш! — круто оборвал Сашка. Последний звук его голоса был подхвачен оркестром, и первой тронулась пехота, отбивая шаг.

Парад принимал командующий бригадой. За ним стоял Блинов, и в двух шагах от него Жарковский, дежурный по штабу. Все они были на одномастных лошадях.

Вслед стрелковым частям двинулись партизанские отряды.

— Революционным отрядам у-ра! Да здравствуют славные партизаны! Да здравствуют бойцы за Красную Бухару! — приветствовал их Блинов.

— Ура! Ура! Ура! — отвечали троекратно партизаны, стараясь ответить так же, как красноармейцы, слаженно и единодушно. После прохода партизан ожидали кавалерию.

Требовалось совершенно очистить от войск площадь, так как кавалерийские части должны были проскакать через площадь галопом с обнаженными клинками. Это было финалом парада, и вчера его репетировали. Все ждали этого, как ждут всегда самого занимательного и красивого зрелища, то есть с некоторым волнением и любопытством. И на трибуне и в толпе народа все ожились, все заговорили более шумно, все тянулись в ту сторону, откуда должна была вылететь конница.

Оркестр вдруг замолчал. Некоторые из музыкантов, опрокинув свои трубы, вытряхивали из них слюну. Толстый капельмейстер, прищурясь, смотрел куда-то влево, ожидая знака, потом поднял палочку. На площади все снова затихло. Музыканты приложили инструменты к губам. Капельмейстер взмахнул рукой, из труб вырвался веселый, скачущий кавалерийский марш.

Конница вынеслась молниеносно. Запестрели значки. Зрителям живая, скачущая, широкая лента всадников казалась непрерывной, веселой стрелой. Многие из них завидовали всадникам, некоторым думалось, что и они могли бы пролететь мимо трибун так же весело и стремительно. Те же, кто никогда в жизни не садился на коня, чувствовали, будто они сами незримо несутся в этом галопе, будто их взмыло с земли, и ощущение легкости и радости переполняло их. Эффектный вылет конницы всеми зрителями был встречен громкими и длительными аплодисментами.

Юсуп скакал вслед Хамдаму, в двух шагах от него. Сзади, за его спиной, слышались топот, храп и дыхание лошадей. Впереди летел полк Лихолетова.

Всадники тихо переругивались между собой: «Эй, нажимай!», «Подтягивай», «Отстаешь!» — но никто из толпы не слышал этих перекличек. Издали все выглядело свободным и легким движением. Кавалеристы знали, что стоит им потерять такт, стоит лошади оторваться, как мгновенно нарушится вся картина скачки, лошади вдруг сойдутся, а если какая-нибудь из них споткнется и упадет — всадники могут затоптать. Задача красиво и легко пронестись на коне, держа строй, играя клинком, была вовсе не такой простой, как это представлялось со стороны.

Все, однако, сошло отлично.

Уже после того, как эскадроны миновали трибуну

и ехали вольным шагом, Юсуп оглянулся. Напряжение пропало, всадники улыбались и переговаривались между собой. Вдали шумела толпа, на площадь вышли колонны гражданской демонстрации, и площадь загорелась от знамен.

Гул улицы, группы прохожих на тротуарах, звуки оркестра, доносившиеся с площади, ноябрьское подмерзшее солнце, высокие тополя с облетающими листьями — все это настраивало Юсупа на особый лад. Ему хотелось смеяться, радоваться, и в то же время он не мог оторваться от ощущения грусти, как будто в этом празднике чего-то не хватало ему.

Хамдам следил за ним. Он ехал рядом. Когда лошади прижались друг к другу, Хамдам касался ногой ноги Юсупа. Хамдам улыбался. День прошел приятно. Он любил такие дни. Все эти новые обычаи, парады, знамена, речи вызывали в нем мысль, что он не напрасно перешел на сторону красных. Как скучно было бы жить сейчас, прячась где-нибудь в горах, в кругу оборванных джигитов, вечно ожидая тревоги, вечно беспокоясь о добыче, подстерегая жертву. «Где-то сейчас мечется Иргаш? Удрал в какие-нибудь горы, наверно? Что стоит теперь его голова? Три копейки...» — подумал Хамдам.

Хамдам засмеялся и потрепал по холке своего коня. Потом, обернувшись к Юсупу, он спросил беззаботным тоном:

— Сегодня будет той \* у Блинова. Ты идешь?

— Он меня не звал, — ответил Юсуп.

— Не звал? — Хамдам удивился. — Значит, еще зовет.

Помахав плеткой, он прибавил, по-прежнему улыбаясь:

— Хотя у русских разве бывают такие пиры, как у нас? На месте Блинова я пригласил бы тысячу человек.

Эскадроны разъезжались. Полк Лихолетова поехал в казармы. Полк Хамдама направился в Беш-Арык и в другие кишлаки, где он был размещен.

Сашка подлетел на коне к Хамдаму и Юсупу. После того разговора с Блиновым он, конечно, не нашел времени съездить в Беш-Арык и поэтому видел Юсупа впервые после возвращения из Бухары.

— Здорово, начальство! — весело воскликнул он и предложил сейчас заехать к нему: — Умоемся. А потом к Блинову! Пировать!

— Юсупа не пригласили, — сказал Хамдам.

— Ерунда! Как это не пригласили? — Сашка покраснел. — Блинов специально просил меня передать. Вспрыснем ордена.

## 22

Они остановились около Вариной квартиры. С ординарцем отослали на конюшню лошадей. Варя встретила их на дворе. Руки у нее были запачканы в муке, и не только руки, даже щеки. Она раскатывала тесто для пирога. Рядом с тестом в латочке лежал мясной фарш.

— С праздником! — сказала Варя, увидев гостей.

Потом отвела Сашку в сторону, зашептав ему, что он сошел с ума, что ей неудобно встречать гостей в таком виде.

— Подумаешь! — громко сказал Сашка. — Они не гости. И ты одевайся! Все идем к Блинову.

— А пирог?

— Никакого пирога! Завтра спечем.

— Но ведь тесто перестоится!

— Ладно, — сказал Сашка. — Взойдет — больше будет.

Варя ушла в дом переодеваться.

Через полчаса они отправились в казармы. По дороге Хамдам не мог отвести глаз от Вари. Он шел с Варей впереди, а Сашка и Юсуп плелись позади них. Хамдам глядел ей то на грудь, то на ноги. Он смотрел на нее точно на лошадь. И Сашке по движению Вариных плеч было понятно, что это раздражало ее, и она злилась на Сашку, а в то же время отстать от Хамдама ей было неудобно, она боялась, что Хамдам обидится. Варя обернулась назад и, увидев смеющиеся глаза Сашки, ответила ему таким немым, но красноречивым взглядом, что Сашка только поежился. «Влётка будет,» — весело подумал он, но это ни капли не огорчило его.

Он уже не скрывал перед товарищами своей совместной жизни с Варей и даже готов был объявить ее женой, но Варя категорически запретила ему это.

— Что такое: муж да жена? Это было в прошлом веке, — сказала она.

— А дети в каком веке? — лукаво спросил ее Сашка.

— Дети — это мое дело.

— Почему?

— Ну, мое дело! — краснея, сказала Варя.

«Опять фокусы!» — подумал Сашка. Предлагая брак, он считал себя по меньшей мере благодетелем и героем. Получив отказ, он подумал: «Вот она, женская неблагодарность!» Сашка разозлился и дня три не разговаривал с Варей. Но потом, как говорится, все улеглось. Не в характере Сашки было долго злиться. «Ее дело, ее право», — решил он и больше уже никогда не касался этой темы...

## 23

Блинов жил неподалеку от казарм, в отдельном флигеле. Там ему отвели две комнаты. В первой стоял длинный кожаный диван, попавший сюда из уездного присутствия. Кожа на диване вытерлась и продралась, кто-то даже вырезал из нее целый кусок. Сейчас на дыры были наложены заплаты из простого серого холста. Выгнутая круглая спинка и ручки красного дерева потускнели и облезли от неаккуратного обращения. Этот ветеран занимал половину комнаты. Возле него стоял обеденный стол на четырех точеных ножках. На столе, покрытом цветной скатертью, были расставлены тарелки с закусками, блюдо жареной молодой баранины, горшок соленых огурцов, корзинки с хлебом, пироги с рисом, а посреди всех этих яств — два кувшина с водкой. На углу стола кипел никелированный самовар, и рядом с ним на подносе грудкой лежали стаканы, нарезанные из зеленых бутылок (посуды в Коканде не было).

Ничем не убранные окна, полы без единого коврика, голые стены — все говорило о том, что здесь живет холостяк, даже не замечающий, каково его жилище. Так это и было на самом деле. Блинов здесь не жил. Это было место ночлега, он приходил сюда спать после работы.

Во второй комнате помещались тахта, бельевая корзина с газетами (Блинов любил собирать газеты), комодик и вешалка. На вешалке висели старая шинель

и овчинная куртка, на подоконнике лежала мыльница, а из-под тахты виднелись старые, пыльные голенища. Эта крохотная, как каюта, комната, служившая Блинову спальней, казалась более обжитой и уютной.

Все в хозяйстве Блинова было случайно, по-походному, на живую нитку. Да и некому было искать здесь особой домовитости! Встречая у себя знакомых, Блинов всегда жаловался, что у него беспорядок, и просил извинения.

Зато сегодня все выглядело иначе. Полы, двери, рамы и подоконники вымыты. Окна протерты до блеска. Паутина исчезла. В холодной передней на подоконнике стояло маленькое зеркальце, а рядом с ним лежали щетка и гребень. Начатый флакон одеколона распространял благоухание, и даже баночка с ваксой намекала гостям о невероятной заботливости хозяина этого дома. Тазик и ведро воды, кусок желтого мыла на блюдечке и полотенце, повешенное на спинку стула, — все указывало на то, что гости могут здесь заняться своим туалетом.

В эти мелочи было вложено столько внимания, что ординарцы, помогавшие Блинову убирать квартиру, только ахали и удивлялись.

Блинов ходил по комнатам точно именинник, застенчиво потирая руки.

Позваны были старые приятели из партизанских отрядов: Муратов, Жарковский — да кое-кто из городских властей. Из партизанского узбекского полка был приглашен Абит. Кроме всех этих гостей, Блинов ждал еще коменданта Синькова, Сашку с Варей и особенно Хамдама с Юсупом.

Приглашая к себе, Блинов несколько перемудрил. Он действительно вначале не позвал Юсупа.

— Боюсь я, — сказал он Сашке перед парадом. — Не позвать Хамдама не могу, а позвать Хамдама и Юсупа вместе... Что-то у них там происходит, а что — не понимаю.

— Да ведь служат они вместе! Что понимать-то, Василий Егорович? Чего вы бонетесь?

— Одно дело — служба, а другое — дружба. Я лучше потом откровенно скажу Юсупу. Объясню: так, мол, и так...

— Я без Юсупа не приду, — решительно заявил Сашка.

— Понимаешь, Жарковский мне наговорил, будто бы... в Беш-Арыке были слухи. Ну, конечно, это обязательские сплетни. Будто Юсуп завел какие-то шуры-муры с одной из жен Хамдама.

— Да, я знаю. Бойкая девчонка.

— Та, что сбежала?

— Ну да, Сади. Я ее видел, — соврал Сашка. — А при чем же здесь Юсуп?

— Да ни при чем, а слух был... Чуть ли не из-за него сбежала. Может, она и с Юсупом крутила?

— Ну, знаете! Тогда несдобровать бы Юсупу!

— Да я и сам это понимаю, что тогда ему бы несдобровать. Но все же, понимаешь, для спокойствия души...

— Все это, Василий Егорович, ерунда на постном масле. Все эти разговоры гроша медного не стоят. Дурак распустил, а вы слушаете. Да разве в ихних нравах такие-то дела? Да разве после этого Юсуп ходил бы живехонек?

— Все это верно, Сашка, но...

— Что но? — спросил Сашка. — Сами вы меня учили дружить с ним, а теперь, когда гостей сзываете, его обходите. Нехорошо!

— Это верно, что нехорошо. Дал я маху! — признался Блинов.

— Не сосчитали до ста? — лукаво, не без желания поддеть Блинова, свернул Сашка.

Блинов рассмеялся, но тут же вздохнул:

— Вот оказия с этими гостями! — Он даже расстроился. — В кои веки соберешь людей... Прошу тебя, приведи Юсупа! Уговори. Ну, соври что-нибудь. Юсуп поверит.

Лихолетов пообещал. На этом они и расстались.

Теперь, поджидая гостей, Блинов очень волновался: «Как Юсуп? Не обиделся ли он? Придет ли?»

Первыми пришли представители горсовета, узбеки, несколько человек. Затем Синьков, потом Жарковский с Муратовым. Потом Абит, приглашенный как представитель хамдамовского полка. Ни Хамдама, ни Сашки, ни Юсупа не было. Блинов не знал, что ему делать. Он

улыбался, слушал анекдоты, но чувствовал себя очень неловко. Время шло. Надо было садиться к столу.

Совсем растерянный, принуждая себя быть любезным, Блинов сказал:

— Ну что же, товарищи, пора! Остальные подойдут, а не подойдут — так уж сами виноваты. Барашек стынет. Начнем!

Гости сели к столу.

Как всегда бывает, вначале беседа не клеилась. Разговаривались уже после выпивки и закуски. Блинов тоже что-то жевал, чокался, о чем-то говорил, но одна мысль непрестанно сверлила ему голову: «Никогда в жизни не буду я больше собирать гостей. Одни неприятности!»

...Когда в дверях появился Сашка с Варей, а за ними Хамдам вместе с Юсупом, Блинов покраснел и выскочил из-за стола. Метнув взгляд на Жарковского, будто желая ему сказать: «Что ж ты, черт, напелел?», комиссар бросился навстречу пришедшим.

— Ну, слава богу! — сказал он, обнимая Юсупа. И действительно в эту минуту Юсуп был для него самым милым и желанным среди прочих гостей. Он чувствовал, что поступил некрасиво и что сейчас все это исправилось и сгладилось. Он сам стаскивал с Юсупа шинель, толкал в бок Сашку и подмигивал ему.

Еле-еле удалось успокоить Василия Егоровича. Стульев уже не хватало. Блинов сел на какой-то ящик, уступив свой стул Юсупу. Собственной рукой он наложил Юсупу угощения, поднес ему чарку и вообще ухаживал за ним, точно за невестой.

Когда почти все было выпито и съедено, Синьков вышел в переднюю и вернулся оттуда с гитарой. Хамдам, раскинувшись в кресле, вытянул ноги, царапал шпорами пол и тихо посмеивался, замечая, что Варя до сих пор сердится на Сашку.

Внимательный человек мог бы почувствовать, что, несмотря на всю свою благопристойность, Хамдам все же презирает всех сидящих здесь. И тяжелый, неуклюжий Блинов, и Синьков со своей гитарой, и скромные узбеки, державшиеся несколько обособленно, и задумавшийся о чем-то Муратов, и Сашка, нежно глядевший на Варю, — все вызывало в Хамдаме странное чувство. «Я лучше и умнее всех, — думал он. — Они — стадо, а я один. Нет мне никакого начальства! Все меня побаи-

ваются, как прирученного тигра. Чем меньше я буду говорить, тем лучше. Высказываясь, человек теряет...»

Поэтому Хамдам, пока шла беседа, либо отвечал односложно, либо помалкивал. Иногда он останавливал свой взгляд на Варе. Ему нравились ее пушистые, легкие волосы, голубые глаза, круглые щеки, розовая кожа лица. Иногда, стараясь не смотреть на нее, он опускал глаза и, когда неожиданно подымал их, встречал направленный прямо на него, чуть ли не в упор, взгляд Юсупа.

«Сумасшедший, — подумал он. — Что ему надо?»

— Цыганскую, Петя! — закричал Сашка.

— Цыганскую, цыганскую! — поддержал его Василий Егорович.

Недавний бухарский поход, бои и связанные со всем этим тревоги, тяжелая служба, наконец хлопоты с наградами и новыми назначениями, приготовления к параду, самый парад — все прошло, все кончилось благополучно. «Все довольны. Все утряслось. Можно отдохнуть и поблаженствовать», — думал Блинов. Он был в том компанейском и добродушном настроении, когда все соседи по столу кажутся самыми милыми людьми на свете, когда все в мире просто и хорошо.

И погода была чудная. В комнатах стало душно. Блинов встал, чтобы открыть окно. Со двора пахло свежим, но не холодным воздухом. Небо торжественно сверкало. В казармах всюду горели огни, видно было, что и там шло веселье.

Синьков запел:

На небе вспыхнула звезда...

Не успел он кончить одну песню, как его попросили спеть другую. Перебирая струны, радуясь своему счастью утешать людей, Синьков готов был петь без конца, всю ночь. Что бы ни пел он, какие бы глупые слова ни слетали у него с языка, он так облагораживал их своим мягким, нежным и красивым голосом, своим сердцем, вложенным в звуки, что слушали его всегда с большим удовольствием. Гитара, «верная подруга», дополняла все то, что не успел сказать Синьков. Иной раз он пропускал слова, которые ему не нравились, и тогда каждый мог думать про себя все, что хотелось.

Варя слушала коменданта с закрытыми глазами. Ей было жалко Синькова, этого красивого и несчастного



человека (так думала она). На Варя было надето старое, — но выглядело оно новым, — шелковое черное платье, совсем гладкое, с очень короткими рукавами, завязанными немного пониже плеч маленькими черными бантиками. Рукавчики были с разрезами, а бантики соединяли их. Такой же разрез, только длиннее, шел от горла и до груди. Все мужчины, каждый по-своему, разговаривая с Варей, скользили взглядом по этому разрезу. Варя это чувствовала, но делала вид, что не замечает. Она выпила две или три рюмки водки, у нее слегка кружилась голова и блестели глаза.

Несколько раз в течение вечера она поглядывала на Юсупа.

Она сидела выпрямившись и даже немножко закинув голову, как будто приготовившись дать кому-то отпор. Только к Синькову она относилась совсем просто, точно к подруге, и он чувствовал это. Покачивая над ее плечом свою гитару, он шепотом напевал ей:

Паа-чему, пачему... ты непокорна.

Варя засмеялась:

— А что хорошего в покорных?

Блинов, услышав это, тоже засмеялся. Он нагнулся к Сашке и тихо сказал ему:

— Смотри, твоя тихоня глазищами так и брызжет!

— Пускай! — сказал Сашка.

Они сидели на другом конце стола. Сашка крикнул в тот конец:

— Петя, «Не говори!»

Синьков начал:

Не говори: любовь пройдет,  
О том забыть твой друг желает...

## 25

Возле стола, на диване, сидели узбеки, члены горсовета. Они уже пили чай. Все они, кроме Хамдама, почти не притрагивались к вину. Абит Артыкматов занимал их рассказами о том, что делалось на фронте в Бухаре: никто из них там не был, это были нефронтовые люди. Хамдам, сильно выпивший, тоже слушал этот рассказ, слегка покачивая головой, и невозможно было понять:

не то он не соглашается с Абитом, не то одобряет его. Разговаривали по-узбекски.

Абит рассказывал, как они мчались по степи за эмиром. Хамдам, слушая этот рассказ, вдруг расхохотался. Юсуп встал, прищурился, и по его лицу Василий Егорович решил, что Хамдам чем-то оскорбил своего комиссара. Блинов сразу утерял свое блаженное состояние, хмель выскочил у него из головы. Он подбежал к Хамдаму, беспокойно спрашивая:

— Что такое? В чем дело?

Хамдам пожал плечами. Юсуп ответил по-русски:

— Хамдам смеется: зачем мы ловили эмира? Хамдам прав: эмира на Аму-Дарье не было.

— Вот это номер! Да что с тобой? А куда же он делся? — закричали приятели Юсупу.

— Не было! — упрямо подтвердил Юсуп.

— Ты задаешь загадки, — сказали недовольно узбеки. — Не было, так где он был, по-твоему?

— Не знаю. Думаю, на границе не было.

— Как не было, когда штаб имел сведения от летчиков, что эмирский караван перебрался через афганскую границу? — сказал запальчиво Жарковский. — Это выдумки, по-твоему?

— Не знаю, какой караван. В степи я поймал генерала, три арбы золота забрал. Эмира не было. Он к границе не пошел.

— Завели разговорчики! — протянул лениво Сашка. Ему не понравилось, что из-за Юсупа прервались песни.

На этом бы и кончилось все, если бы старик Абит Артыкматов вдруг не выскочил из-за стола. Кроткие маленькие глазки его засверкали, пот мелкими росинками выступил на бритой голове. Он хлопал себя по желтому, точно выкрашенному охрой, затылку и кричал, путая узбекские слова с русскими:

— Штаб все понимает! Все понимает? А зачем эмир уводил тысяча джигит? Тысяча, тысяча! И пять тысяч потом. Пять! — повторил Абит, подымая вверх согнутый, будто крючок, черный, отмороженный палец.

— Какая тысяча? — спрашивали его. — Какие пять тысяч? Что за околесица?

— Народ в Бухаре видел. Тысяча джигит эмир брал отряд и караван. А степи сколько видел? Сто джигит? Сто! Куда другой джигит ушел? Исламкул тебя плен

брал? Тебя брал? — Абит ткнул пальцем в Хамдама. — Зачем Якка-Тут приходил Исламкул? Зачем? Зачем?

Хамдам позеленел от ярости и сказал:

— Выходит, там эмир прошел. Я пропустил эмира?

— Не в этом дело, — сказал, волнуясь, Юсуп. — Выходит, эмир пошел на север. Вышел из Бухары в северо-западном, якка-тутском направлении и потом поднялся вверх на север.

— Да, — закричал Хамдам, — выходит! Выходит, я пропустил его! — Он схватился за маузер. — Клянусь именем аллаха, всемогущего и всезнающего, — выкрикнул Хамдам, помахивая маузером, — никто в жизни еще не оскорблял меня так!

— Не кричи! Тебя никто не оскорбляет. Ты был арестован Исламкулом? Был арестован. Разве ты виноват? Но где эмир? И как ушел эмир? Никто не знает. Разве об этом мы не можем говорить? Нельзя каждое слово принимать себе в обвинение, — сказал Юсуп.

— Скажи прямо: не веришь? — Хамдам маузером стукнул об стол. — Не верят? Да?

— Оставь свою пушку! — проговорил Муратов, испугавшись, и, подойдя к Хамдаму, положил руку на его маузер.

— Не тронь! Награда! — опять крикнул Хамдам.

Все загалдели, все столпились около Хамдама. Но никто не мог успокоить его. Он грозил Юсупу кулаком и продолжал выкрикивать:

— Ты враг мой! Ты думаешь, а твой Абит говорит. Ты хитрый! Я пришел к вам на праздник, а вы... Застрелю!

Пена появилась на губах Хамдама. На висках вздулись синие жилы.

— Собака! Все люди собаки! — закричал он.

Муратов и узбеки кинулись к нему и держали его за руки. Муратов старался вырвать у него из руки маузер, наконец ему это удалось. Узбеки, окружив Хамдама плотной стеной, притиснули его к дивану и усадили.

— Я плюю на тебя, Юсуп! — сказал Хамдам, задыхаясь. — Собака лает, караван проходит мимо.

— Ай, как тебе не стыдно, Хамдам! Зачем ругаешься, Хамдам? — заговорили узбеки. — Нехорошо!

— Нехорошо? — завопил Хамдам, потрясая кулаком. — Нехорошо, когда узбеков обижают. Вот нехо-

рошо! Позвали в гости и обидели. Я не обижу нищего, если я его позвал. Вот как принято у нас. А тут меня обидели. За что? За то, что я проливал кровь. За мои дела. Невежи! Я не позволю этому сопляку, этой бродячей собаке, потерявшей свой угол, оскорблять меня! — еще сильнее прежнего заорал Хамдам, показывая на Юсупа. Белки глаз у него налились кровью, пожелтели. Тесный ворот гимнастерки мешал ему, душил. Хамдам так его рванул, что пуговицы все разом отлетели от ворота. — В правительство поеду жаловаться. В Самарканд! Карим — правительство. В правительство! — добавил Хамдам, оборачиваясь к Блинову. Потом затрясся весь и, ослабев, прижался головой к спинке дивана. Его небольшое плотное тело сразу обмякло. Через минуту Хамдам захрапел.

— В стельку пьян, — сказал про него Жарковский.

Ужасная, неприятная тишина наполнила комнату. Всем стало не по себе, всем захотелось уйти отсюда.

Жарковский, брезгливо ковырнув вилкой ломтик огурца, съел его, потом помолчал, повертелся, что рыба, которая мутит зоду, незаметно пожал руку Блинову и вышел первым, тихонько позвякивая шпорами.

За ним, пошептавшись между собой, все разом вышли узбеки.

Один Абит сидел, ничего не понимая, как ребенок, поджегший дом. Сперва, когда Хамдам начал размахивать револьвером, он даже улыбался. Но потом улыбка сползла у него с лица. Он понял, что случилась какая-то неприятность и что он — причина этой неприятности.

— Что говорил? Ничего. Я говорил: эмир пошла туда, — снова начал он, подходя к Блинову.

Блинов сидел насупившись, не слушая его бормотания. Абит пожал плечами, похлопал глазками, надел свою баранью папаху, с которой никогда не расставался, и тоже ушел.

Хамдам по-прежнему храпел, ноги у него спускались на пол. Сашка переложил их на диван, как будто они были неживые. Хамдам даже не проснулся, только подергал веками.

Юсуп, побледнев, стоял около стола. Варя, подойдя к нему, обняла его за плечи:

— Ну, не горюйте! Не надо, Юсуп! Ничего плохого. Вы же не виноваты.

— Теперь буду виноват, — тихо сказал он и вышел в переднюю.

Варя вышла за ним. Юсуп тыкался то туда, то сюда, разыскивая свою фуражку.

— На зеркале, — сказала Варя. — Погодите, Юсуп! Сейчас пойдем вместе.

Синьков завертывал свою гитару в кусок черной материи: он очень дорожил инструментом. Синьков и во время скандала и после скандала молчал, точно ему отрезали язык. «Неизвестно, что из этого выйдет», — подумал он.

Блинов сидел в кресле, откинувшись назад, прижав ладонь к щеке. Он думал. Мысли у него перескакивали с одного на другое. Он знал, что Карим Иманов действительно ценит услуги Хамдама и что теперь на этой почве могут возникнуть какие-нибудь разговоры.

Его смущало еще и другое обстоятельство. «Как бы не упрекнули, что мы срабатываться не умеем! Узбеки обидчивы. А тут еще кто-нибудь раздует, что все это нарочно. Не мы начали, но у меня все это произошло, вот что скверно, — подумал он, — а потом все считают, что Юсуп — мой человек. Да и действительно он как-то особняком держится. Прямо беда!»

Сашка видел, что Блинов мучается. Чтобы отвлечь Василия Егоровича от неприятных размышлений, он вздумал заговорить с ним о чем-нибудь совершенно постороннем. Он сказал:

— Василий Егорович, а верно, будто в коннице у нас мулов думают вводить?

— Каких мулов? — наморщив лоб, спросил Блинов, не соображая, о чем это вдруг спрашивает его Сашка.

— Да помесь кобылы с ослом! Как у англичан, — сказал Лихолетов.

Блинов что-то замычал в ответ. Варя, выглянув из передней, резко сказала Сашке:

— Ну, домой!

Тогда Сашка стал прощаться с Блиновым. Комиссар, смертельно устав от всего этого вечера, от выпитого за столом, только кивнул:

— Всего, ребята! Всего!

Тихий Муратов, покосившись на храпевшего Хамдама, вышел в соседнюю комнату, чтобы прилечь там и не покидать Блинова. Он осторожно стащил с ног сапоги,

снял френч, затем свои чикчиры и аккуратно развесил все на стуле.

В два тридцать свет всюду погас. Станция выключила ток.

Юсуп, Варя и Сашка шли втроем по Скобелевскому проспекту. Варе хотелось приласкать и успокоить юношу: она чувствовала, что этот скандал неприятно подействовал на него. Ей нравились в Юсупе прямота и сдержанность, она угадывала, что он весь натянут сейчас, как тетива. Но она не знала другого, самого главного.

Юсуп думал, что на оскорбления Хамдама ему надо ответить. От этих мыслей его бросало то в жар, то в холод. Он понимал, что ни с кем об этом поделиться не посмеет и все это дело должно закончиться чем-то страшным...

Юсуп стал прощаться.

— Куда? Мы доведем тебя до общежития, — пообещал ему Сашка.

Юсуп не успел ответить, как Варя, крепко державшая его за руку, сказала:

— А зачем ему в общежитие? Пусть у нас ночует! И ему будет веселей.

Она взглянула на Юсупа. Он опустил глаза.

— Смотри, какой он! — прибавила она и, обернувшись к Сашке, рассмеялась. — Будто с цепи сорвался. Отпускать его нельзя.

— И то правда! — сказал Сашка и нахмурился.

## 26

Утром Хамдам проснулся как ни в чем не бывало. Вспомнив про скандал, он немного скис, надул губы. За чаем, будто между прочим, Хамдам сказал Блинову:

— Хорош Юсуп! Трудный человек! Что ему надо? Горб мой! — Хамдам поколотил себя по спине и поморщился.

Блинов на это ничего не ответил Хамдаму... Тогда Хамдам заговорил о другом — на самые разнообразные темы, уже не касаясь Юсупа.

Из казармы Блинов и Хамдам вышли вместе. Хамдам поехал к себе в Беш-Арык, Блинов пошел пешком в штаб.

Уезжая, Хамдам все-таки снова решил напомнить Блинову о своих взаимоотношениях с Юсупом.

— Не знаю, что будет. Плохо! Сам понимаешь. Думай, что делать! — сказал он.

Блинов в ответ молча кивнул ему головой. На этом они и расстались.

Днем Сашка появился в штабе, у Блинова, а через час вызвали туда же и Юсупа. Блинов не стал вспоминать о вчерашнем, но только угрюмо пощелкал пальцами и пробормотал:

— Обстоятельства, брат. В Москву бы тебе! На учебу. Да годик вредный наступает... Людей нет... Побудь здесь годик! В Бухару хочешь? Басмачи там, повозиться придется.

Юсуп понял, что добродушнейший Василий Егорович, во избежание всяких недоразумений, решил перебросить его в Бухару. «Опять драться с басмачами? — подумал он. — Что ж? Хоп, хоп!» Но это сейчас совсем не интересовало его. Юсуп в данную минуту думал только о том, как он встретится с Хамдамом. И что выйдет из этой встречи?

Сашка сидел тут же, возле письменного стола, пошмыгивая, покручивая усы. Он уже обо всем заранее переговорил с Блиновым.

— Слушаю, товарищ комиссар, — равнодушно сказал Юсуп, соглашаясь на предложение Блинова. — Можно в Бухару.

— Вот едет туда Лихолетов, в особую бригаду. Хочешь к нему?

— Конечно, — коротко сказал Юсуп и смутился. Ему захотелось поговорить о самом главном, что теребило его душу. Он в конце концов не выдержал и спросил Блинова: — Я поеду, а Хамдам останется? Скажи пожалуйста! Хамдам! Зачем такой человек нам?

Блинов закашлялся, почесал в затылке.

— Зачем? — загорячился Юсуп, и пятна выступили у него на щеках. — Не понимаю я. Я вижу: грязь. Говорю: грязь! Я вижу: солнце. Говорю: солнце! Хамдам? Не знаю, что у него здесь! — Юсуп прижал руку к сердцу.

Блинов встал с кресла, прошелся по комнате. При всем своем недоверии к Хамдаму он считал, в особенности после скандала, нетактичным порочить его. Поэтому он ответил неопределенно:

— Чужая душа — потемки.

— Плохой человек! — воскликнул Юсуп.

— Не знаю, — сказал Блинов.

— Что такое — знаю, не знаю? Что такое? — быстро заговорил Юсуп, вспыхивая как спичка. Он видел, что Блинов умалчивает о чем-то и скрывает, и это вело его из себя. Он хотел ему наговорить сейчас много обидных слов. У него затряслись руки.

— Да успокойся ты! — заговорил Сашка, подходя к нему. — Разбушевался!

В комнате находились три человека, и каждый об одном и том же думал по-своему.

Сашка считал, что все возбуждение Юсупа вызвано личным оскорблением и что это может закончиться очень плачевно, то есть резней.

Юсуп находил, что, отсылая его в Бухару, Блинов больше не доверяет ему.

А Блинов думал о том, что Юсуп настаивает на снятии Хамдама с должности полкового командира.

Кроме своих соображений, Блинов знал также соображения Сашки, но не верил им. Он руководствовался только тем, что при сложившихся обстоятельствах совместная служба Хамдама и Юсупа невозможна. Он решил разделить их, решил перевести Юсупа и не касаться пока Хамдама.

Чтобы объяснить это, он сказал Юсупу:

— Нельзя задевать сейчас Хамдама. Сейчас враги используют это как предлог для смуты. Так? Советская власть еще слаба. Со многим приходится считаться, мил человек! Тронь Хамдама, сколько темного люда в киш-лаках заволнуется! Да и не в одних кишлаках! Везде разговоры пойдут. Понимаешь? Надо считаться.

Юсуп стоял возле письменного стола точно стальной прут. Казалось, что его можно только сломать, а не согнуть. Он был глух к этим увещаниям.

— Есть... Слушаюсь! — сказал Юсуп, чтобы отговориться. В глазах у него остался тот же упрямый блеск.

После вчерашнего скандала он не спал всю ночь и уверился в измене Хамдама. Все, что возникало у него раньше в связи с якка-тутским пленом как неясное подозрение, за минувшую ночь выросло в убежденность, основанную только на чувстве. «Как всегда, так и сейчас, у меня нет никаких доказательств, — подумал

Юсуп. — А положение действительно такое, что Блинов и говорить об этом не будет. Ведь они уже выяснили! И во всем оправдали Хамдама. О чем же говорить? Бессмысленное дело. Я всем им надоед...»

Наклонившись к Блинову, точно желая влезть к нему в душу, Юсуп горячо зашептал:

— Скажи одно слово! Только одно! Веришь Хамдаму или нет? Одно слово. Одно: да или нет?

Блинов, взглянув на Юсупа, сказал:

— Нет. — И сейчас же поспешно прибавил и даже погрозил пальцем: — Но это между нами. Оснований для этого нет. Мало ли что я могу думать? А может, я ошибаюсь? Понятно?

— Понятно! Спасибо! — ответил Юсуп и рассмеялся. Будто камень упал у него с души. Но решение его не изменилось, а, наоборот, еще более окрепло. Теперь он уже не сомневался в том, что Хамдама надо убить. «Как это делается, не знаю, но сделается, — подумал Юсуп. — Возьму все на себя. В такое дело никто мешаться не может. Все они боятся. Чувствуют так, а поступают не так...»

Для виду он поговорил о подробностях своей командировки в Бухару и, условившись обо всем, подошел к Василию Егоровичу и крепко обнял его, сказав еще раз:

— Спасибо, спасибо!

Прощаясь, он сказал, что сегодня же вечерним поездом направится в Беш-Арык, чтобы забрать оттуда свои вещи.

— Нет, этого не надо, — твердо заявил Блинов. — За чем? Вещи тебе привезут в Коканд.

— Я должен поехать... — Юсуп запнулся, — проститься с друзьями.

— Дальние проводы — лишние слезы, — улыбаясь, сказал Сашка.

— Не поедешь! — сказал Блинов, заволновавшись. Его большие уши порозовели. — Приказ есть приказ. И я не отменю его.

В кабинете наступила тишина.

Юсуп умолк, лицо у него будто съежилось.

— Резаться, что ли, хочешь? — вдруг неожиданно спросил его Блинов.

Юсуп молчал.

Он опустил глаза, ресницы у него задрожали. Ему казалось, что все в нем кипит, как в котле. Теперь ему стало ясно, что его просто принуждают покинуть эти места. Он не раздумывал, из каких это делается соображений, хорошо это или плохо. Он был вне себя.

— Прощай! — сказал Блинов и, чуть улыбаясь, протянул ему руку. — Не горячись, потом всю жизнь раскаиваться будешь!

Юсуп ответил ему пожатием. Юсуп и Сашка пошли из кабинета. При выходе Блинов на секунду остановил Сашку, сказав:

— Смотри!

— Да уж... — пробормотал Сашка, показывая и глазами и губами, что за него пусть Блинов не беспокоится, что он не выпустит Юсупа из-под своей опеки.

— Увидимся еще! — крикнул Блинов с порога. Он проводил их до дверей своего кабинета.

Но увидеться им так и не пришлось. В этот же день Блинова вызвали по срочному делу в Ташкент. А когда он вернулся, их уже не было. Сашка сдержал слово, данное Блинову: он не отходил от Юсупа ни на шаг до тех пор, пока они не попали в Бухару.



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



1

Лихолетов вместе с Юсупом попал в особую сводную бригаду. Через два месяца после отъезда Лихолетова из Коканда Варя тоже перевелась в особые отряды и очень скоро устроилась на санитарную службу в лихолетовский полк.

Двадцатый и двадцать первый годы прошли в розыске эмира, так как разведка выяснила в конце концов, что эмир не думал покидать Бухары, а спрятался в горной, восточной ее части и оттуда — сперва из Байсуна, потом из Дюшамбе — руководил мятежами. Только в 1921 году Гиссарская военная экспедиция, продвинувшись в глубь Восточной Бухары, выбросила эмира и его приверженцев из пределов Бухарской Народной республики. Эмир опять не был пойман...

Лихолетов по этому поводу смеялся над Юсупом:

— Ну, а теперь кто виноват: опять Хамдам?

Юсуп отшучивался, хотя убеждения своего в отношении Хамдама не менял. Но иногда, при получении писем от Блинова, в которых Блинов писал о добросовестной работе Хамдама, Юсуп начинал сомневаться в своих подозрениях. Ненависть к Хамдаму постепенно затухала, ослабла. А боевая, полная опасностей и лишений жизнь приглушала все то, что казалось раньше таким серьезным и важным, тем более что каждый текущий день приносил свои новости, не менее волнующие.

С уходом эмира вражеские гнезда не распались. Басмаческие конные отряды прятались всюду — и в горах и в степи. Организованные по казачьему образцу, они легко передвигались, избегая встречи с военными частями, и, вечно беспокоя наши тылы, нападали на советских работников и продовольственных агентов, резали их, уничтожали телеграфную связь, сжигали селения, посеы и превращали дехкан в нищих. Чем меньше было басмачей, тем отчаяннее они становились. Не было таких дел, которые испугали бы их. В бандах оставались только самые закоренелые, самые яростные головорезы.

Жизнь бригады протекала по-походному, в сражениях. Было поймано немало шаек и отдельных курбаши, предупреждено огромное количество басмаческих налетов.

Вместе с Лихолетовым Юсуп нес все тяготы этой жизни. Время катилось незаметно. Жили дружно. Случались, конечно, между командирами кое-какие стычки, недомолвки, но тот, у кого сдавали нервы, быстро отправлялся в отпуск, и таким образом, по выражению Лихолетова, «очищалась атмосфера».

Несмотря на вечную кочевку, Юсуп начал учиться. Варя давала ему уроки русского языка, литературы, арифметики, истории, географии. Стоило полку осесть где-либо недели на две, на три, как Юсуп все свободное время проводил в занятиях, не вылезая из сакли. Варя относилась к этому делу восторженно, увлекаясь успехами своего ученика.

Поздней осенью 1922 года эти занятия неожиданно прекратились. Юсуп получил от Блинова путевку на военные курсы в Москву. Юсупа проводили, и жизнь на пограничной линии опять потекла по-прежнему. Из дня в день шли непрерывные поиски шаек и столкновения с басмачами.

Богатый край за это время руками бандитов был превращен в развалины, разорены хлопковые поля, разрушены железные дороги, расхищено имущество заводов. Народ чувствовал, что до тех пор, пока басмачи существуют, ему не вернуться к человеческой, спокойной жизни. Жители кишлаков и городов на всех общественных собраниях единодушно требовали окончательного уничтожения басмачества.

В глухих местах население, конечно, еще боялось басмаческой мести, но даже и там крестьяне деятельно помогали красным отрядам, участвовали в разведках, сообщали о басмачах командованию Красной Армии и сражались вместе, рука об руку, с красноармейцами против банд. Лозунг «Добьем басмачество» стал всеобщим. Конец этой войны был близок. Военные и гражданские газеты ежедневно помещали сводки о ходе борьбы.

Лишившись поддержки в кишлаках, увидав, что кровавые расправы, грабежи и месть только увеличивают сопротивление народа, басмачи растерялись. В их среде началось разложение. Главари переходили через границу в Афганистан. Шайки мельчали.

Советская власть сама призывала их к сдаче, объявив, что всех сознающих свою вину она примет с искренней радостью. Вначале к этим обьявлениям басмачи относились настороженно. Но усталость, голод и нужда заставляли одиночек сдаваться. Были случаи сдачи целых отрядов, вместе с начальниками. Все явившиеся с повинной получали амнистию. Советская власть предавала суду лишь тех, за кем числилось столько зверств и свирепости, кто был залит такими обильными потоками крови, что слово оправдания замирало на устах даже самого мягкосердечного человека. Карались только закоренелые враги, для которых нельзя было подобрать ни одной оправдывающей их причины.

Это поразило людей, привыкших к мести.

Такое доверие всколыхнуло многих и окончательно раскололо басмаческие ряды.

Не только властям и командованию Красной Армии, но даже и многим жителям кишлаков было известно, что всякого рода иноземцы-разведчики немало «поработали» среди басмачей, помогая им в организации банд, снабжая их оружием и деньгами, посылая к ним своих

инструкторов. Кроме того, бежавшие за границу начальники басмачей в своих листовках и в письмах, отправленных на родину, сами откровенно говорили об этом.

Кишлак, так же как и город, многое пережил и поэтому сильно изменился за эти годы. Кое-где женщины стали снимать паранджу. Старики еще косились и ворчали, но даже в захолустье ни один мулла не осмелился бы сказать что-нибудь плохое про Ленина.

На базарах бродячие певцы пели о нем:

«Он любит правду. Если кто-либо обидит бедного деханина, он железной рукой схватит обидчика и будет с ним жесток, как тигр. Он любит правду и бедняков, он дал им власть и свободу, он утер слезы женщин и, как солнце, обогрел землю...»

## 2

Летом 1923 года командир бригады, в которой служил Лихолетов, заразился во время отпуска черной оспой и умер. Хоронили его очень торжественно. После его смерти Александра Лихолетова назначили временно командовать бригадой. Лихолетов командование принял.

Шел месяц за месяцем, окружное начальство не могло подобрать подходящей кандидатуры. Дело тянулось... Округ ни присылал нового командира, ни утверждал Александра. Александр считал себя обиженным, нервничал и злился.

Осенью того же года Варя уехала из Бухары. Историю ее отъезда никто в точности не знал. Известно было только одно, что Варя, получив путевку на медицинский факультет Ташкентского университета, покинула бригаду.

Без Вари Александр заскучал еще больше и даже отпустил себе бороду. Но горевал недолго. «И без баб дела хватят», — надменно решил он. Дела действительно хватало.

В горной Бухаре опять появились банды басмачей. Во главе их стоял Иргаш. Банды были многочисленны, превосходно вооружены и не давали покоя населению. Это были осколки эмирских отрядов. Части лихолетовской бригады неоднократно вступали с ними в бой, разбивали их, но победы эти не решали главного. Рассеянные шайки вновь собирались и опять принимались за

грабежи и террор. Надо было кончить самого Иргаша и его штаб.

Лихолетов скитался со своими эскадронами из киш-лака в кишлак. Но все усилия его оказались напрасными. Иргаш был вездесущ и неуловим, и никак не удавалось нащупать его гнездо.

Как-то раз, после одной из стычек, разговаривая с пленным басмачом, Лихолетов случайно узнал от него, что здесь, в этом районе, орудует Насыров, сотенный командир Иргаша.

Лихолетов (в мрачном настроении, как обычно за последнее время) сидел на камне возле чайханы. Около него стояли ординарцы и несколько эскадронных командиров. Лихолетов в упор рассматривал босого, оборванного басмача. Тот старался не встретиться с ним взглядом и вертел головой то вправо, то влево. Трудно было поймать какое-нибудь выражение на усталом и безжизненном лице басмача. Он опускал глаза.

— Не сладко, поди, живется? — промолвил Лихолетов.

Басмач вздохнул. Лихолетов встал с камня и подошел к басмачу.

— Знакомый ты мне или нет?

— Нет, — сказал басмач.

— Незнакомый... — задумчиво проговорил Лихолетов. — Вот что, брат, отправляйся ты к своему сотнику и узнай у него: служил он у Хамдама или не служил? Если он — тот Насыров, что служил у Хамдама, так я его знаю. Пусть приедет ко мне поговорить! Я обещаю ему полную неприкосновенность. Понятно?

Переводчик пересказал слова Лихолетова. Выслушав его, басмач равнодушно кивнул головой.

— Передашь ему? — спросил Александр.

— Да, — сказал басмач.

Басмачу привели захудалого неоседланного коня и сунули за пазуху кусок хлеба. Басмач пугливо озираясь, стараясь понять, что ожидает его.

— Ну, поезжай! — сказал Лихолетов, усмехнувшись. — Я тебя отпускаю.

— Спасибо... — пробормотал басмач. Потом, подумав, улыбнулся.

От улыбки лицо басмача вдруг преобразилось, ожили глаза — редкий, почти безбородый, он показался

Лихолетову юношей. Только морщины на лбу и возле глаз старили его, они же придавали ему лукавство. Это остановило внимание Лихолетова. Он еще раз оглядел басмача с ног до головы. Он почувствовал, что уже видел раньше это лицо и даже в свое время обратил внимание на особенность этого лица, то есть на его быстрые, резкие переходы от одного настроения к другому. Но где могло быть и с чем это связано, никак не мог вспомнить.

— Отвечай честно! Ты меня знаешь? — спросил он басмача во второй раз.

Басмач шелкнул языком и сказал:

— Ты Сашка!

— Откуда ты меня знаешь?

— Тебя все знают, — ответил басмач и легко, как прирожденный наездник, вспрыгнул на неоседланную лошадь.

— Погоди, погоди, — сказал, недоумевая, Александр, — но почему ты зовешь меня Сашкой? Моя фамилия Лихолетов, я командир бригады. Кто называл меня Сашкой?

— Все называл, — сказал басмач и засмеялся, показывая на Сашкину бороду. — Молодой был, борода брил?

Затем тощими и кривыми ногами басмач крепко сжал бока коня, свистнул и помчался из кишлака.

Эскадронные командиры и ординарцы засмеялись.

— Кончен бал! — сказали они. — Не видать нам этого басмача! Напрасно вы его отпустили, товарищ командир.

Александр ничего не ответил. Он был уверен, что басмач не только вернется, но и непременно приведет Насырова.

Он посмотрел внимательно на ординарцев и ушел в чайхану, чтобы скрыть свое неудовольствие. Больше всего его разобидело даже не недоверие к его приказу, а совсем другое. «Вот черти драповые, — подумал он, — значит, до сих пор все зовут меня Сашкой...»

Снег появился уже на склонах гор, о басмаче же не было ни слуху ни духу. В бригаде потихоньку трунили над Сашкой. Как-то в разговоре с товарищами Сашка назвал пропавшего басмача «хвостиком Иргаш-бека».



К этому прицепились. Остряки приходили в штаб и, сделав грустное лицо, спрашивали Лихолетова:

— Ну, где же хвостик?

Лихолетов багровел от злости.

В конце января через кишлак, в котором стоял штаб бригады, проезжала свадьба. Десяток размалеванных арб был битком набит людьми. Люди пели веселые песни, но лица у них оставались совершенно серьезными.

Красноармейцы высыпали отовсюду, чтобы посмотреть незнакомое им зрелище — свадебный поезд. В закрытой арбе ехали молодые. Впереди нее шли узбеки. Они ударяли в бубны и приплясывали по грязи. Дул ветер, и весь кишлак был окутан туманом и дождем.

Лихолетов тоже вышел из штаба взглянуть на шумную процессию. Ординарцы, толпившиеся возле штабных ворот, вслух обсуждали все подробности свадьбы.

— Жених богатенький... — говорили они. — Калыму дал шестьсот рублей, пять мешков рису да пять баранов.

— И девчонка хороша! Только мала еще, жидковата, — весело сказал Жилкин, один из ординарцев. Держался он независимо и свободно, и видно было, что Жилкин верховодит над товарищами.

«Пронюхали уж всё, стервецы! Всё знают!» — с удовольствием подумал Александр об ординарцах. Он любил этих хитрых бойких парней.

Десятая, последняя арба остановилась возле штабного помещения. Узбек-возчик соскочил с деревянного седла, и из повозки вылез военный в шлеме и длинной новенькой шинели с красными лацканами на груди. Возчик вытащил чемодан и парусиновый дорожный мешок своего пассажира.

Лихолетов увидел высокого и стройного человека. Что-то знакомое было в чертах его лица, голова его была слегка закинута назад. Возраст незнакомца трудно было определить сразу. Он был очень молод, и, не смотря на это, Лихолетов не мог его назвать молодым. Он стоял выпрямившись, несколько живописно. Обычная военная выправка сочеталась в нем с какими-то другими, уже не физическими качествами. Он поражал особенностью своего взгляда. Из-под шлема в упор на вас смотрели глаза. Казалось, что мысли этого человека — такие же прямые, смелые и стройные, как и тело его, тело гимнаста.

— Юсуп! — радостно закричал Сашка.

Он подбежал к приезжему, и они долго стояли под дождем, обнимая друг друга и крепко целуясь.

Юсуп стал шире в плечах и даже как будто вырос, загар почти сошел с лица. Московское обмундирование, тщательно сшитое, щегольское, аккуратно пригнанное, еще больше оттеняло все эти перемены.

— Ишь, как тебя выскоблила Москва! — сказал с завистью Лихолетов.

Юсуп улыбнулся. Он был очень рад, что опять вернулся на старое место службы. Округ назначил его комиссаром Сашкиной бригады.

#### 4

Юсуп остановился у Лихолетова. Он выкладывал из чемодана вещи, купленные в Москве для подарков: две пачки табаку, трубку, одну бритву, несколько книг и несколько плиток шоколада. Вынув шоколад, он сказал:

— Это все тебе, Сашка. А шоколад — Варе.

— Ей сам передавай! — нахмурившись, заявил Лихолетов.

Ничего не понимая, Юсуп кинул шоколад обратно в чемодан.

Узнав о приезде комиссара, первым прибежал в штаб Капля. Все здесь жили запросто, без церемоний, являясь друг к другу без спросу, не дожидаясь приглашения.

— Федотка еще здесь? — спросил Юсуп у старика.

— Здесь. Служит. Куда деться пацану? Вырос. Ка-ланча! — ответил Капля. — А я сивым стал?

— Немножко.

— Немножко? — Капля засмеялся. — Ну, а ты? Песни еще поешь?

— Да некогда! Забыл, когда пел, — улыбаясь, сказал Юсуп.

В соседней большой комнате, в столовой штаба, ординарцы накрывали стол. Сашка, засучив рукава, ходил из комнаты в комнату, почесывая свои белые, жирные, заросшие рыжими волосами руки, и всем распоряжался, точно шафер на свадьбе.

В кухне два бригадных повара готовили плов. Красноармеец Стамбулов, третий бригадный повар, стоял на

дворе, возле окон своей кухни. Ему было жарко. Он был в нижней рубашке, в штанах, залитых салом, и в опорках на босу ногу.

— Пеструх давай! Белух молода еще, — кричал он красноармейцам, бегавшим по двору за неистово кудахтавшими курицами. Куры предназначались для плова.

Та же суматоха, что и на дворе, поднялась в помещении штаба. Приходили неизвестные Юсупу люди, со всеми пришлось знакомиться. Все изголодались по России и закидывали приезжего самыми разнообразными вопросами. Всем надо было что-то ответить. Вопросы задавались несущественные, вроде: долго ли ехали? Да где теперь пересадки? Сколько стоят сапоги в Москве?

В этой толчее невозможно стало разговаривать о чем-нибудь серьезном. Когда Юсуп спросил Каплю: «Где же Варя?», Капля только замахал рукой. Один из младших командиров, улыбаясь, сообщил Юсупу по секрету, что Варя уехала в Ташкент учиться и что Сашка на нее сердит.

Обед удался на славу. Собралось порядочно народу — полковые командиры, работники штаба, врачи. Приезд Юсупа был для всех праздником. Много съели и плова, и дичи, настрелянной охотниками, и выпили немало.

В три часа дня пришел кишлачный учитель и пригласил всех на спектакль, устроенный школой.

Все вышли на улицу. Дождь прекратился. Кишлак сразу ожил.

Лихолетов шел вместе с Юсупом позади всех. Как всегда бывает после длительной разлуки, он в первые минуты встречи не сразу нашел тон для разговора, но теперь, после обеда с выпивкой, все наладилось. Александр начал рассказывать Юсупу о Варе.

В своем путаном и хаотичном рассказе он все время вспоминал о «сродстве душ». Видно было, что это недавно подхваченное им выражение очень понравилось ему и он никак не может от него отделаться. Юсуп ничего не понял.

— Значит, вы жили душа в душу? — спросил он. — Так почему вы разошлись?

— Мы не разошлись! — горячо сказал Лихолетов. — Мы разъехались. Это разница.

— Какая же разница?

— Ну, как же! Это совсем другое. — Александр даже рассердился, говоря это. — Ты понимаешь... сродство душ у нас полное, а жить вместе не можем. Понятно? Вот Варька и предложила дать отдых нашим нервам.

— Теперь понятно, — сказал Юсуп.

Но Лихолетов, почувствовав, что и на этот раз Юсуп ничего не понял, снова пустился в объяснения.

— Ведь нервы — одно, а душа — совсем другое, — говорил он. — Душой чувствуешь одно, а нервы тебя толкают на другое. Вот и получается противоречие. Вот поэтому-то мы и решили дать отдых нашим нервам.

— Понятно, — опять сказал Юсуп. — Значит, вы разъехались, а не разошлись.

— Ну да! — Лихолетов грустно ухмыльнулся. — А впрочем, это тех же щей, да пожиже влей! Обещает ко мне на каникулы приехать.

— Ну, это хорошо! — воскликнул Юсуп, стараясь подбодрить друга.

— Чего хорошего? — вскипел Александр. — Обещает! Что такое обещание? Если жена — так обязана приехать. А она, видишь, «друг»! Так друга извольте упрашивать?

Юсуп уловил в его голосе обиду.

— Химеры! Всё химеры! — ворчал Лихолетов. — Вот мы трубим здесь. Оберегаем советскую власть. А ведь тоже бы хотели пожить так, как люди! А не выходит... Гоняйся за басмачами — вот и все развлечения в жизни. Ты не поверишь, до чего мне надоели эти проклятые басмачи! От одного вида их меня тошнит.

Лихолетов хотел было рассказать Юсупу о случае с пленным («как его подвел один подлец»), да раздумал. Он боялся, что Юсуп будет того же мнения, что и остальные.

— А вот и наша школа! Это мы построили, — с гордостью говорил Александр, показывая на длинное, сбитое из глины здание с красным флагом на крыше. — Своими руками все сделано. Учитель хорош. Хват-парень! Сколько, брат, здесь работы! Да если все отсюда уедут, кто же здесь делать дело будет?

Юсупу показалось, что это ворчание как-то относится и к нему. Он улыбнулся и сказал:

— По-твоему, и я напрасно уезжал?

— Ну, ты! Ты — дело другое.

— Варя тоже учиться поехала. Разве это плохо? Я тоже хочу учиться. Что я знаю? Что за два года узнаешь? Ничего.

Александр подозрительно посмотрел на него:

— Опять удирать хочешь? Ну, ясно! Тут тебе не Москва.

— Конечно, — засмеялся Юсуп. — Москва немножко лучше.

Они присели у ворот школы на каменную скамеечку.

Дехкане, проходя мимо них, кланялись Лихолетову и приезжему и отходили в сторону, собираясь в кучки и поглядывая на Юсупа. Юсуп понял, что разговор идет о нем. Молодые парни, комсомольцы кишлака, следили за Юсупом, за его папирсой, за тем, как он курит, и тоже о чем-то переговаривались.

Лихолетов кивнул на них:

— Хорошие ребята! Завидуют тебе.

— Я сам себе завидую.

— Да, ты счастливчик! — сказал Александр. — Что ж... Послужишь годика три, а потом в Академию махнешь. А дальше — открытая дорога.

Юсуп от души рассмеялся. Все сказанное Александром было выполнимо, просто. В эту минуту Юсуп действительно ощутил себя счастливчиком. Ему даже стало стыдно, что его судьба сложилась иначе, чем у этих парней, с такой жадностью рассматривавших его.

— А ты не думаешь в Академию, Сашка? — спросил он.

— Нет. Я и в разверстку не попал. Да ну их! Не всем быть генералами. Надо кому-нибудь и лямку потянуть. Да уж и поздно мне учиться! Башка не та.

Юсуп взглянул на него. Большой Сашкин живот, и борода, и лень в глазах не понравились Юсупу.

— Что такое? Ожирел ты! — сказал он. — Рано! Рано! Надо живее быть. Теперь понятно, почему Варя уехала.

— Возможно, — пробормотал Лихолетов.

Увидев дрожащие Сашкины губы, Юсуп опомнился, схватил его за руку:

— Ты обиделся? Прости меня! Я пошутил.

— Понятно, понятно,

— Плюнь на меня, пожалуйста! Глупо сказал.

— Ничего страшного. Сказал — значит, думал. — Александр вырвал свою руку из рук Юсупа.

Дехкане с интересом наблюдали за двумя командирами. В эту минуту во дворе послышался крик. Учитель сзывал всех на спектакль.

Александр и Юсуп молча вошли во двор, украшенный красными флагами. Спектакль был новостью в кишлаке. В школу пришел весь кишлак. Не удержались даже старики, несмотря на ветер и холод.

Пьесу исполняли комсомольцы кишлака и красноармейцы. Сюжет пьесы был прост. Она рассказывала о басмачах, о нападении на кишлак, о доблести мальчика, который, не побоявшись опасностей, прорвался сквозь басмаческие заставы и добрался до города, чтобы сообщить о случившемся. Дехкане с помощью взвода красноармейцев изгнали басмачей из кишлака. Начальник басмачей, курбаши, очутившись в плену, прикинулся бедняком, и красноармейцы его отпустили. Курбаши через несколько дней поймал в степи мальчика и, после издевательств, убил его. Мальчик умер героем.

Зрители угадывали в актерах своих сыновей и знакомых, смеялись, переговаривались между собой, иногда замолкали, если какое-нибудь место в пьесе захватывало, иногда подбадривали актеров. Когда злодей-курбаши сказал красноармейцам, что он простой хлопкороб, кто-то из зрителей не выдержал и крикнул:

— Врет! Не верьте!

По окончании спектакля люди высыпали на двор школы. Судьба героя пьесы еще продолжала всех интересовать.

— Неправильно сделал он, — сказал о мальчишке высокий, с посохом, седобородый, как патриарх, старик. — Он должен был бежать.

— Куда?

— В степь!

— Хорошо тебе говорить, а курбаши вскинул бы ружье да выпалил по мне! — возразил старику бойкий черноглазый мальчуган, исполнявший главную роль.

— Все равно ты умер!

— Умер, да не как собака!

— Вот верно. По крайней мере он ответил хорошо курбаши, а так бы, как собака, на бегу упал. А тут он

душу отвел перед смертью. Так-то лучше... — поддерживали мальчика красноармейцы из толпы.

— Еще неизвестно, попала бы пуля или нет? — серьезно пробормотал старец, приподымая свой посох.

— Попала бы. Курбаши-то ловкий!

— А вдруг не судьба?

— Да чего там не судьба? — заговорили красноармейцы. — В мальчика попасть — не в копейку.

— Ну, теперь закрутится машина часа на два! Хлебом их не корми, дай поговорить, — сказал Сашка и позвал Юсупа в столовую пить чай.

## 5

Неожиданно для всех, точно угадав приезд Юсупа, заехал в штаб Жарковский. Он, по поручению Самарканда, инспектировал отдельные части бригады, стоявшие в соседних кишлаках. Жарковский встретил Юсупа объятиями и расспросами. Но, удовлетворив свое первое любопытство, быстро отошел от него. Сашка посадил Жарковского рядом с собой и во время чаепития говорил с ним о делах бригады. Он ухаживал за Жарковским, подкладывал ему то пирогов, то лепешек.

Лихолетов думал, что утверждение в должности командира бригады зависит сейчас исключительно от рапорта Оськи. Поэтому он хотел быть с Оськой возможно любезнее. Жарковский видел это. Поведение Лихолетова забавляло его. Он понимал, что Лихолетов насилует себя. Это же самое замечали и остальные командиры, сидевшие в столовой, и каждый из них жалел парня. Все они, почти без исключения, любили его. Им неприятно было видеть, как строптивый, вспыльчивый командир суетится возле штабиста.

Александр сам ругал себя за это. Иногда, как будто стесняясь, он умоляющими глазами взглядывал на Юсупа. Юсуп понимал его состояние и весело подмигивал ему. Сашка уже забыл про свою размолвку с Юсупом. Он подсаживался к нему, но, посидев с ним некоторое время, опять перескакивал к Жарковскому.

Аккуратный, подтянутый, уверенный в себе, Жарковский принимал Сашкины ухаживания как должное.

Капля сидел с Юсупом на конце стола. Возле них собралось несколько человек: два полковых командира, их комиссары — петроградцы, бывшие рабочие с Леснера и Парвиайнена, прошедшие военно-политические курсы.

Здесь же сидел Федотка. Он вытянулся, похудел и почернел. Федотка ни одной минуты не мог спокойно усидеть на месте. Он то вскакивал, то опять садился, то подходил к одному из командиров и таинственно сообщал ему:

— Сегодня выжал пуд пятнадцать. А пудовиком уже крещусь!..

— Ты вот что объясни мне... — громко говорил Капля, обращаясь к Юсупу. — Что там в Москве? Чего такое? Чего бунтует Троцкий?

— Дяденька, это не бунт, это... — сунулся Федотка.

— Молчи! Не тебя спрашивают, — оборвал его Капля. Юсупу пришлось рассказать о всех московских событиях, связанных с дискуссией, возникшей после апрельского съезда партии<sup>1</sup>. На этом съезде Троцкий предлагал вернуть Европе царские долги, а также передать иностранцам на правах концессий тяжелую промышленность.

Юсуп увидел, что отклики этой дискуссии отразились даже здесь, в глухом углу. Правда, некоторые, как, например, полковой врач Федосеев, относились к этому делу безучастно. Сашка многого не понимал. Один из комиссаров открыто говорил, что «Троцкий хочет нас продать варягам». Жарковский не высказывался никак, но в то же время задавал ехидные вопросы. Особенно волновались Капля и какой-то высокий, угрюмый военный (звали его Константиновым).

Сейчас Константинов командовал полком. Во всей его повадке и даже в голосе (тяжелой, глухой октаве), в спокойном и глубоком взгляде, в тихой усмешке невольно чувствовался человек, проживший тяжелую, может быть каторжную жизнь, немало трудившийся на своем веку, немало видевший опасностей и горя.

— Это что же? В нас не верит? — горячился Капля. — На нас, сиволапых, не надеется? Так, что ли? Не справимся?

<sup>1</sup> XII съезд партии, в апреле 1923 года.

— И не верил никогда, — слышался голос Константинова. — Вот на Волге дело было... В восемнадцатом году... Коммунистов он пачками расстреливал. За что?

Жарковский будто нехотя подсказал:

— Дисциплину нарушали, товарищ Константинов.

— За пустяки расстреливал, — пробасил командир. — Я сам чудом спасся. Показное все у него было. А беляков к себе на службу сманивал, милости сулил. Беляки ему нужнее?

Ординарец Жилкин притащил новый чайник кипятку и тут же за столом заварил свежую порцию чаю. Ему не хотелось уходить, интересно было послушать все эти разговоры, и он копался около стола, а потом встал у притолки.

— Троцкий все трудностями нас пугает, — сказал Константинов. — И большие заводы... Брянский, Путиловский... закрыть предлагает. Не прибыльно... Тоже коммерсант! А когда они давали прибыль? Это ж оборона.

Капля усмехнулся:

— Нервный господинчик! Трудности...

Эти слова задела Жарковского. Передернув плечами, он сказал Капле злым голосом:

— А что, мало их? Деньги обесценены. Надо выпустить валюту? Надо. Промышленность работает с перебоями? Да. Безработица есть? Есть.

Юсупу вдруг захотелось вскочить, закричать на Жарковского, — так он был взбешен его тоном; особенно его возмутило подрагивание плечами.

— А ты видал, как в горах делают дорогу? — сказал он. — Как режут землю? Взрывают скалы?

— Не видел... Но... но если ты хочешь провести аналогию, то есть сказать, что, дескать, *трудно*, но делают... Так, что ли? — спокойно и в то же время с какой-то внутренней, затаенной насмешкой заметил Жарковский, — то я согласен.

— Нет, не то! — перебил его Юсуп. — Я хочу сказать другое. Когда первый человек дорогу делал в гору... Работал! Пот с него градом катился. А другой пришел и сказал: «Зачем? Гора есть гора. Никогда этого не было. Брось! Зря работаешь». Тогда работник сказал: «Не мешай!» А другой стоит и говорит: «Не выйдет, не выйдет!» Тогда работник взял лопату и ударил его по голове.

Жарковский улыбнулся.

— Я не мастер притчи разгадывать. Ты что? Меня, что ли, хочешь лопатой по голове?

— Я хочу сказать, что тот, кто работает, не любит того, кто мешает. А кто мешает? Предатели. Вот что такое оппозиция... Это известно тебе? Так и на съезде говорили.

— Предательские предложения... Так говорилось, — пробормотал Жарковский.

— Ты знаешь... — Юсуп взглянул ему в глаза.

Взгляд Юсупа смутил Жарковского. Он понял, что ему надо отступить, отойти от спора.

— О чем ты? — быстро, как бы удивляясь, проговорил Жарковский. — Я ведь хотел только сказать, что все это не так просто.

— Просто водку пить да ребят плодить, — неожиданно для всех засмеялся Сашка.

— В общем и целом, расщелкали наркома! — точно присоединяясь к остальным, проговорил Жарковский. Затем, не желая объясняться с Юсупом, он решил сделать то же самое, но иным путем. Он подошел к эскадронному командиру Капле и, потрепав его по плечу, сказал: — Я понимаю тебя, Капля. Но в идейной борьбе следует все-таки сохранять уважение к противнику.

Капля пожал плечами, явно показывая, что он сомневается в этой идейности. Жарковский вспыхнул.

Тогда Юсуп обратился к Оське, прямо поставив ему вопрос:

— Идейной? Ты троцкист? У тебя троцкистские идеи.

— Что ты! — воскликнул Оська. — Я только с точки зрения...

— С точки зрения... — сказал Юсуп, так оттенив это, что все расхохотались и Жарковский ничего не смог ответить.

— Ну да... — пробормотал он, вскидывая головой, хорохорясь, как это называл Сашка. — Все же он наркомвоенмор пока.

— Пока... — глухо повторил Юсуп.

«Отбрил!» — подумал Лихолетов об Юсупе и просто душно взглянул на Жарковского. Но Жарковскому было не до Лихолетова. Он встал из-за стола, покусывая губы.

— Оппозиция, оппозиция! А зачем все это? — сказал один из петроградцев.

— Просто пользуются болезнью Ленина. На этом сыграть хотят. Ясно? — сказал Юсуп.

— Правильно! Момент ловит! — опять закричал свое Капля.

— Не словит! Мы ему стеклышки протрем! В пенсне-то...

В столовую, запыхавшись, вбежал ординарец Пучков и доложил:

— Дежурный на передовом посту, возле мазара, просит непременно вас, товарищ Лихолетов.

— Что такое? — спросил Лихолетов, вставая.

— Да не знаю, неизвестно, — таинственно сказал ординарец и подмигнул Жилкину.

Гости стали подыматься из-за стола.

— Нет, нет, пожалуйста, сидите! Чего вы? Я сейчас вернусь. Я только на минутку, — сказал Лихолетов и вышел вместе с ординарцем из столовой.

— Ильич поправляется. Крепко идет на поправку, — сказал Юсуп. — У меня приятель служит в Горках. Все знает. Все хорошо идет.

— И не лежит? — спросил Константинов.

— Да нет! Работает. Гуляет каждый день. Давно гуляет.

— Да что ты! Даже так? — радостно воскликнул Капля.

— Да, это вполне возможно, — подтвердил полковой врач Федосеев, Василий Васильевич, молчавший до сих пор. — Владимир Ильич не старик ведь вовсе... И при режиме локализуются все поражения. Здесь нет ничего удивительного.

Капля просиял.

— Елка была для ребят в Горках. Ильич радовался. В санках теперь ездит, — сказал Юсуп.

— Ну и как, как? — раздался голоса.

— Хорошо.

— Вот это здорово! — закричал Федотка, да от радости так громко, что все оглянулись на него.

Штабной ординарец ввел в столовую человека в стеганке, в большой меховой шапке с наушниками, в тупоносых солдатских сапогах, промокших насквозь, и с плеткой в руке. Судя по плетке, можно было предположить, что он приехал верхом. Ординарец показал ему на Юсупа.

Приезжий прошел через столовую на цыпочках, стараясь не запачкать высокобленного песком, белого деревянного пола. Но все-таки от каждого его шага оставалось на полу черное пятно. Подойдя к Юсупу, он снял шапку и вытащил из-под подкладки телеграмму. Юсуп принял ее, распечатал, и все черты его лица перекошились.

В коридоре, соединявшем комнаты штаба со столовой, слышались Сашкины шаги и его веселый, возбужденный, раскатистый смех. Лихолетов о чем-то разговаривал с дежурным. По голосу, по шагам, по смеху можно было догадаться, что Александр счастлив безмерно. Он смеялся так, как не смеялся уже несколько месяцев.

Полчаса тому назад красноармейцы, стоявшие за версту от кишлака, привели перебежчика. Пропавший басмач явился с эскадронной лошадью, с двумя женщинами (женой и матерью) и с двумя детьми. Это был именно тот самый басмач, которого пять месяцев тому назад отпустил Александр.

Александр послал всю семью на бригадную кухню греться. Он не знал, будет ли ему от этого перебежчика какая-нибудь польза, но уж одно то, что перебежчик не подвел его и вернулся, приводило Лихолетова в полный восторг. Ему не много было нужно для того, чтобы стать веселым.

Никто из сидевших в столовой не обратил внимания на Сашкин смех. Лицо Юсупа всем показалось страшным, багровым, как будто его вывернули наизнанку. Все смотрели на Юсупа с изумлением и непонятным страхом. Все молчали.

— Хвостик-то мой вернулся? А вы говорили: «купаться»! — заорал Лихолетов, входя в столовую и скидывая с плеч мокрую шинель. — А вы всё говорите: «Сашка»... Вот вам и Сашка! — с хохотом прибавил он. Но, увидев Юсупа, тоже замолчал.

Юсуп бросил телеграмму на стол и, вставая, прошептал:

— Ленин умер.

Александр схватился за голову и прислонился к стене. Капля крикнул:

— Что? Нет... Не верю, не могу поверить!

Из командиров кто вскочил, кто остался сидеть, растерянно оглядывая соседей. Врач Федосеев побледнел.

Жарковский подошел к Юсупу, взял телеграмму и, просмотрев ее, громко сказал:

— Вчера еще!

Он начал читать ее кусками, проглатывая отдельные слова, запинаясь и тоже волнуясь:

— «Можно было ожидать... однако... разразилась катастрофа: почти в течение часа продолжался остро развившийся и бурно протекающий припадок, выразившийся в полной утрате сознания и в резком общем напряжении мускулатуры. В 6 часов 50 минут последовал смертельный исход, вследствие паралича дыхания».

Юсуп зарыдал.

Ординарцы испуганно глядели в глаза друг другу.

— Да... в шесть пятьдесят! — подтвердил нарочный и, встряхнув свою шапку, опустил голову.

Комната потемнела, но никто не замечал темноты. В стекла бил порывами, нахлестывая, зимний, злой дождь.

## 6

Три дня шли траурные собрания. В тот час, когда Москва хоронила Ленина, в кишлаке был назначен общий митинг. Огромная толпа народа стояла на площади. Возле мечети разместились батальон стрелков и батарея. После речей батарея дала прощальный салют. Женщины закричали в толпе: «Горе нам!» Старики послали муллу на минарет. Затем вышли из толпы и опустились перед мечетью на колени. Над кишлаком пролетел жалобный крик муллы: «А-иль-ла-а-а...»

Юсуп провел все эти дни точно во сне. Лишь на четвертый день, опомнившись от горя, он спросил Сашку о перебежчике.

Сашка с удивлением посмотрел на него и подумал: «Запомнил все-таки!»

Разговаривали они в саманном домишке, который Сашка называл своим кабинетом. Тут был маленький столик, пузырек заменял Сашке чернильницу. На полке лежали в самодельных папках «дела» бригады. На голую глиняную стену была приклеена вырезанная из

газеты фотография Фрунзе. Ящики полевого телефона стояли у окна.

Когда какой-то басмач появился в этом кабинете, Юсуп вытаращил глаза.

— Алимат! — с ужасом сказал он.

Басмач прикрыл ладонью глаза.

— Ты его знаешь? — спросил Лихолетов.

— Как же! Он был джигитом у Хамдама.

Сашка хлопнул себя по лбу.

— Батюшки! — проговорил он.

Басмач опустил голову. Александр увидел его испуганные глаза, прокушенную до крови губу и тощее, зеленое, как чай, лицо.

— Я изменник, — прошептал басмач. — Я помирать пришел. Семью привел. Бабы, дети... Возьми их, Сашка! Спаси! А меня застрели! — Считая Сашку главным начальником, он упал перед ним на колени.

Лихолетов вскочил:

— Ну, ну... Нечего! Я тебе не курбаши.

Алимат встал и оправил на себе халат.

Сашка не сводил глаз с Алимата. Юсуп, наоборот, ни разу не поглядел на него. Он расхаживал по комнате. Тяжелые походные сапоги, приобретенные в Москве, совсем меняли его походку.

Алимат взглянул на Юсупа. В углу, в чугунном котле, пламенели уголья, согревавшие воздух. Пахло дымом, махоркой и сапожной кожей. Алимат протянул руки, грея их над котлом.

Остановившись около басмача, Юсуп спросил его:

— Ты убежал от Хамдама? Из полка?

— Нет, — ответил Алимат. — Полка не было. В прошлом году распустили полк. Я в милицию поступил. Хамдам стал начальником милиции.

— Так ты, значит, милиционер?

— Милиционер был... — со вздохом подтвердил басмач и снова заморгал глазами.

— Ты расскажи все подробно! Все, что случилось с тобой. Ничего не скрывая, — сказал Юсуп.

— Что говорить? — ответил Алимат. — Хорошо служили. Бараны были, мука была. Очень хорошо. Сапоги имели, как у тебя. Форму. Хорошо... Однажды вышел нехороший случай на базаре. Это Насыров виноват. Насыров каждый базар по сто баранов продавал. Плохих,

худых баранов, а продавал их торговцам за хорошую цену, будто эти бараны сытые, жирные. Торговцы боялись, брали. А кто отказывался, Насыров говорил одно слово: «Хамдам», — и все слушались. В народе был разговор: «Хамдам торгует, его бараны».

— А ты тоже торговал? — перебил его Юсуп.

— Нет.

— А баранов получал?

— Получал. По барану в месяц.

— За что?

— Чтобы молчал. Сам знаешь! Длинный язык — беда. Хамдам не любит. Жалобы были, народ жаловался. А Хамдам ругался. Хамдам говорил людям: «Вы, торговцы, позорите советскую власть. Вам конец будет. Хотите жить — живите тихо, без скандала! Все будет хорошо». А скандал вышел. Артыкматов начал. Исполком. Председатель.

— Председатель? — крикнул Юсуп. — Да что же это у вас происходит в Беш-Арыке? Абит — хороший человек, но ведь он неграмотный!

— Имя пишет. — Алимат покачал головой. — Плохой человек! Был нищий, теперь нищий. Кто такого будет уважать? Артыкматов говорит: «Не позволю. Надо уволить Насырова». Хамдам к нему пришел и говорит: «У меня ордена. А у тебя что? Кто здесь больше?» Артыкматов говорит: «У меня Совет». Хамдам говорит: «Мои люди, я начальник». Артыкматов говорит: «Начальники — мы». Хамдам говорит: «Нет, я. Я тебе дал исполком. Ты без меня — ничто!»

Алимат вздохнул.

— Артыкматов сказал: «Я — закон!» Тогда Хамдам стукнул кулаком: «Ты за частников». Артыкматов говорит: «Нет, за закон!» Тогда Хамдам: «Нет закона защищать частников». Тогда Артыкматов тоже стукнул кулаком: «Молчи! Я сам знаю, когда надо защищать, когда не надо! Дело в баранах». — «Это не мои бараны». — «Пусть им конец будет!» — «Им будет конец, — сказал Хамдам и опять стукнул кулаком. — И тебе конец!» — «Хорошо, — сказал Артыкматов. — Насырова ты уволь и Алимата уволь!» Мы были старшие на базаре. Хамдам вертелся-вертелся, уволил... Позвал нас: «Поезжайте, говорит, в Бухару! Там мои люди. Вас устроят». Я спросил про семью. «И семью бери», — сказал Хамдам. Взял

я семью, и мы поехали в Бухару. Очень хорошо ехали. Приехали. Вечером Насыров приходит в караван-сарай и говорит мне: «Есть работа, Алимат». — «Где?» — «В Карши. Я сейчас был на базаре, встретил человека, мы получим от него деньги и поедем в Карши». Я испугался немного, стал спрашивать: «Почему в Карши? Почему все ехать?» Насыров говорит: «Ты хочешь уморить свою семью? Или у тебя деньги есть? И бараны? И хлеб?» — «Нет». — «А если нет, что спрашивать? Не хочешь ехать — попробуй устройся здесь!» Я стал думать: «Куда поступить? Работы нет в Бухаре, да еще русских там стало много, работу знают... А я ничего не знаю, не умею. Что делать с семьей? Пять человек!» Пришлось поехать... Здесь я ошибся. Теперь я понимаю, не надо было слушать. Но я боялся. Из Карши мы поехали на границу. В одном кишлаке я оставил семью. Ей дали дом, корову, пять баранов, а меня взяли в басмачи к Иргашу. У Иргаша много отрядов. Один из них собрал Насыров. Насыров взял меня. Тогда я стал басмачом...

Алимат спокойно и неторопливо рассказал, как он срывал проволоку с телефонных и телеграфных столбов, как рубил столбы, отводил воду из арыков, питающих поля, как устраивал засады на больших дорогах, грабил караваны с продовольствием, как в налетах убивал и резал людей.

Вдруг он внезапно замолчал и опустил голову. Так, в молчании, прошло минут пять. Ни Лихолетов, ни Юсуп не понукали его вопросами. Помолчав, басмач тяжело вздохнул и вновь начал свой прерванный рассказ:

— Моя мать, моя жена не могли выйти из дому. Стоило появиться на улице, — даже дети проклинали их. Тогда я говорю Насырову: «Ты говоришь, мы за ислам? Против русских?» — «Да». — «А почему наши сородичи плюют нам вслед?» Тогда по приказу Иргаша самого... Сам Иргаш повелел так, чтобы мне дали баранов и пять коров... И Насыров дал мне это. Я был рад, разбогател, тайком пригнал стадо домой. Как вор, взял у жены то, что мне принадлежало по праву мужа, и потом уехал. Без меня соседи отобрали у семьи весь скот. Тогда я взял семью с собой. Мы скитались. Я прятал семью в горах, в пещерах, в степи. Часто мы должны были убегать. Убегали ночью, потеряли ребенка. — Алимат



плюнул. — Потом мать заболела. Я решил зажить честно. Вернулся в кишлак. А мне жители говорят: «Уйди, ты басмач! Нам плохо будет». Я ушел. Опять меня подобрали Насыров.

— Почему же ты не пришел к нам добровольно? — спросил Юсуп.

— Я пришел.

— Ты сдался в бою.

— Сейчас я пришел добровольно, — сказал Алимат.

— Ты видел Иргаша?

— Нет. Что мы видим? В его ставку нас не пускают. Там только его охрана и офицер-начальник. Русский. Одна рука.

— Как его зовут?

— Не знаю.

— Он с Иргашом?

— Да.

— Уж не Зайченко ли это? — сказал Сашка. Он обратился к Алимату: — А ты не помнишь, какой руки у него нет?

— Я не видел его, — сказал Алимат.

— А Насырова ты видел?

— Видал. Говорил ему: «Сашка тебя вызывает!» Он рассмеялся.

Наступило молчание. Юсуп постучал в стену. Явился дежурный. Юсуп приказал ему увести перебежчика.

## 7

Алимат сидел в соседней комнате на полу и думал о своей судьбе. Он слышал, что простых басмачей, аскеров, отпускают. «Но я так наговорил о себе, что вряд ли это сделают со мной, — подумал он. — Что же, я поступил правильно, — убеждал он самого себя. — Если бы я не говорил правду, я бы запутался».

Алимат, опустив голову, привалился к подоконнику.

Три красноармейца сидели за столом и составляли списки на денежное довольствие. Работая, они курили и разговаривали.

Алимат слышал за стеной громкий спор Юсупа и Сашки. Алимат старался разобраться, о чем они спорят, и не мог. Он устал, им овладело безразличие, почти ту-

пость. Ему стало жарко, он не привык долго находиться под крышей и задремал. Совсем неожиданно, как будто из бочки, он услышал за своей спиной грубый голос дежурного:

— Заснул! Тебя зовут.

Алимат поднялся. Войдя в комнату, он встал неподалеку от дверей. Взглянув на Юсупа, Алимат невольно вспомнил Беш-Арык, ночные беседы о счастье; тогда Юсуп казался мальчиком. Сегодня на его лице ссохлась кожа. Юсуп казался ему угрюмым, орден блестел на его груди. «Да, это уже не тот человек! Трудно мне ожидать милости», — подумал Алимат.

— Ты свободен, — сказал ему Юсуп. — Мы не расстреливаем сдавшихся.

Алимат посмотрел на Юсупа с недоумением: «Может быть, я не расслышал или не понял?» Он наклонился вперед, как бы подставляя ухо, и спросил:

— Вы пощадили меня?

— Да, — ответил Юсуп. — Ведь ты был откровенен!

Алимат бросился к ногам Юсупа.

— Юсуп! — вскрикнул он. — Я клянусь... я кровью заслужу прощение. Недалеко отсюда, в горах, стоит моя сотня. Я приведу ее сюда, до одного человека. Они такие же, как я. Пусть, как верный залог, останется у вас моя семья!

Тело его с головы до ног сразу покрылось испариной. Когда Юсуп поднял Алимата, басмач едва держался на ногах.

## 8

Зима выпала жестокая. Над горами пронеслись бураны, птицы мерзли на лету, и ни один человек не осмеливался подняться на занесенный снегом горный перевал.

По словам Алимата, Иргаш стал невероятно осторожен. Ставка охранялась очень тщательно. Чтобы попасть в это затерянное логовище, нужно было иметь искусных и опытных проводников. На протяжении многих километров в горах стояли пешие часовые с винтовками. Кроме них, в горных кишлачках прятались конные караулы басмачей с лошадьми и коноводами. Над дорогами от долины до ставки велось постоянное

наблюдение. Не то что чужой отряд, — ни один посторонний человек не смог бы проникнуть в ставку, если бы вздумал отправиться туда без проводников, принадлежащих к службе охраны Иргаша.

Юсуп понял, что за спиной вымуштрованных конников и стрелков, окруженный своей гвардией, Иргаш чувствует себя спокойно. Поэтому весь план окружения ставки надо было построить на том, чтобы не вспугнуть Иргаша раньше времени.

Юсуп вздумал сам пробраться в ставку. План был чересчур смелый и рискованный. Сашка долго не соглашался, но в конце концов Юсуп его уговорил.

...Стоял март. Долина потеплела. На гребнях гор еще держался снег. Однажды вечером из штаба вышли два узбека: Алимат и переодетый басмачом Юсуп. Их провожал Лихолетов.

Юсуп был в рваном халате, подпоясан перекрученным платком, на уши у него была натянута лисья шапка. Трудно было заподозрить в этом басмаче комиссара лихолетовской бригады. Все московское сразу соскочило с него. Это мгновенное превращение поразило Сашку. Ему показалось, что Юсуп, будто рыба в воду, нырнул в свое новое обличье. Одни глаза вспыхивали как прежде, то потухая, то загораясь.

— Возможно, что меня убьют, — сказал Юсуп и засмеялся. — Но это случится уже после того, как я сниму голову с Иргаша. Довольно, пожил! Во всяком случае, никто, кроме меня, туда не проберется. Я здесь свой. Русского обязательно поймают, а кого пошлешь другого?.. Некого. — И молодой рваный и грязный басмач (так теперь выглядел Юсуп) весело подмигнул Лихолетову.

Ординарец Жилкин, по распоряжению Лихолетова, принес две английские винтовки. Юсуп презрительно отказался от них.

— Ты что? Да ведь это соблазн для любого басмача. Хочешь, чтобы нас ухлопали на первой версте? Да за такое оружие я сам убью человека! — пошутил Юсуп.

Лихолетов простился с Юсупом, но Юсуп как будто бы уже не замечал его. Он был возбужден предстоящей поездкой и что-то говорил Алимату. Спрятав под халаты маузеры, они вскочили на коней. Лихолетов стоял возле дома до тех пор, пока слышно было цоканье подков, стучавших о подмерзшую землю. Наконец все стихло...

Во дворе негромко переговаривались между собой ординарцы. Сашке стало грустно. «Черт бы побрал басмачей! Лишь бы Юсуп как-нибудь выскочил из этого грязного дела!» — пробормотал он.

План, представленный командованию, был одобрен только условно. Никто не верил, что Юсупу удастся сговориться с басмачами.

Всю ночь Лихолетов ходил по комнате, под утро лег спать и никак не мог уснуть. Ему казалось, что Юсуп лежит где-нибудь, сброшенный в пропасть, умирает, и он ничем не может ему помочь. Лихолетов условился ждать от Юсупа известий в течение недели. «Неделя? Да за эту неделю я сойду с ума!» — подумал он.

## 9

Юсуп и Алимат ехали сперва по главной, колесной дороге, вьющейся вдоль берега реки, потом, миновав ряд мелких селений, добрались до гор. Горы сжимали реку и, повышаясь к северо-востоку, превращали широкую долину ее в узкое ущелье. Бока его были совершенно отвесны, оно казалось мрачной трещиной. Внизу бурлил поток. Этот дикий путь имел дурную славу.

Ехали они медленно, делая в день не больше пятнадцати верст. Наконец сквозь десятки кордонов, благодаря Алимату, Юсуп достиг становища одного из передовых постов Иргаша, охранявших подступы к ставке. Алимат сказал, что хотя Иргаш довольно часто меняет свое местопребывание, но все равно искать его надо в этом районе.

Всадники въехали в горный кишлачок, чудом державшийся на скалах. В полосу дождей такие селения нередко смывались потоками воды; тогда погибало все: и сакли, и скот, и люди. Несмотря на эти бедствия, горцы все-таки не покидали своих любимых, насиженных гнезд. Они жили как деды и прадеды, спускаясь в долину только ради грабежей, и каждое поколение, ссылаясь на своих отцов, не мечтало о лучшей жизни.

Десяток домов приткнулся к скале. Голые горы поднимались к востоку все выше и выше.

Было раннее утро. Внизу дымилось нагорье. Редкие ветренные, увидав Алимата, спрашивали его о здоровье

семьи. Они думали, что он уезжал навещать своих и сейчас вернулся с каким-то новым джигитом.

— Кто этот приезжий? — спрашивали его.

Алима́т отвечал:

— Знакомый коканец.

Юсуп прижимал руку к сердцу и бормотал приветствие.

Рядом с мечетью, в маленькой сакле, под деревянным навесом, чайханщик кипятил воду. Всадники здесь остановились и, прыгнув с коней, привязали их к колышкам.

Алима́т, узнав, что Насыров уехал в ставку, пошел по саклям, сзывая джигитов на собрание.

— Приходите к мечети! — кричал он на пороге каждой сакли.

— Зачем? Что случилось? — спрашивали его.

Алима́т отвечал:

— Приходите! Всё узнаете.

Через полчаса джигиты насыровского отряда собрались во дворе мечети. Люди недоумевали. Одни принимали приезжего за какого-то посланца эмира. Другие говорили, что он прислан от басмачей Ферганы.

Юсуп встал на ступеньки мечети возле самого входа и оглядел разношерстную толпу, обвешанную оружием. Винтовки, револьверы и шашки, видимо, сняты были с убитых красноармейцев.

Юсуп улыбнулся и произнес обычное приветствие. Ему ответили.

— Давно не видели красных? — спросил он басмачей.

— Порядочно. Давно, — слышались голоса. Басмачи принялись ругаться.

— А Сашку знаете? Про его бригаду слыхали?

— Слыхали.

— Так вот я приехал к вам от нее. Я комиссар бригады Юсуп. Хамдама знаете? Я был комиссаром у него в полку. Бухару брал. Эмира ловил. Не слыхали про такого?

— Верно! Мы слыхали про Юсупа. Правильно! — ответили джигиты, бывшие когда-то на бухарском фронте.

Но другие их перебили.

— Разве комиссар придет один? Врет! Врет он! — закричали они, окружив Юсупа и наблюдая за каждым его движением.

— Я делегат, — сказал Юсуп.

— Какой там делегат? Еще что выдумал! — засмеялись в толпе.

Другие закричали:

— Заковать его! Он не один. Он не может прийти один. Он врет! Сюда сейчас войдут кзыл-аскеры.

Многие из джигитов испугались. Они так верили в неприступность своего гнезда, что одно заявление Юсупа испугало их. Его бесстрашие показалось им неестественным.

— Ты что, в ловушку нас заманить хочешь? Окружить думаешь? Все равно ты не спасешься! — кричали они, потрясая оружием и наскакивая на Юсупа.

— Успокойтесь! — сказал Юсуп джигитам. — Послушайте меня! А потом делайте что хотите!

— Все равно надо его зарезать! — закричали из толпы наиболее трусливые.

— Убивайте! — заявил Юсуп, улыбаясь. — Я открыто называю себя. А вы трусите! Я свой человек и пришел как свой.

— Обратно не выйдешь! — загалдели басмачи.

— Сумел прийти, сумею и выбраться, — ответил Юсуп. — Дайте же мне сказать, зачем я пришел!

— Ну, говори! Послушаем, что ты наврешь, — раздались голоса.

Басмачи стали смеяться. Разговор им показался развлечением, они любили поговорить.

Юсуп понимал, что убедить этих людей можно только одним: надо, чтобы они почувствовали пользу в его предложении. Он сказал:

— Если вы сдадитесь, советская власть наделит вас землей, скотом и всем, что вам нужно в хозяйстве. Думайте!

— Степные басмачи сдаются, а не горцы... Обман — твоя сдача и твоя власть! — вопили ему в ответ джигиты.

— А кого мы обманули? Назови!

Джигиты молчали.

— Это верно, при сдаче обмана не было, — послышался в толпе робкий голос.

— Слушай его больше! Сперва у них сладко на языке, а потом будет горько, — крикнул молодой басмач, обернувшись в ту сторону, откуда поддерживали Юсупа.

Этот юноша, красивый и стройный, стоял почти рядом с Юсупом. Чуть заметные усики придавали ему какой-то капризный, избалованный вид. Вся повадка его, манера держаться говорили о том, что он не кишлячник, что он привык к сытой городской жизни.

— Ты откуда? — спросил его Юсуп.

Басмач гордо повел плечом и отвернулся от Юсупа. За него ответили товарищи:

— Камаль из Ташкента. Его отец торговцем был. С Осиповым в восстании участвовал, — слышались голоса.

— Из богатых? — опять спросил его Юсуп.

— Да. Не из нищих, — гордо ответил Камаль.

— Почему же ты убежал сюда?

Камаль молчал. Снова другие ответили за него:

— Он мать свою зарезал.

— Мать? За что?

— В женотдел ходила, — ответил Камаль с такой усмешкой, что многие из басмачей нахмурились.

Юсуп покачал головой.

— Счастливая мать, — сказал он Камалю. — Хорошо, что она не видит тебя.

Все невольно примолкли, а Камаль, скривив рот, вышел из толпы.

Басмачи стояли около Юсупа, переминаясь с ноги на ногу.

«Здесь старики держат в страхе всех остальных», — подумал Юсуп. Он сказал:

— Ну, кончим дело! Я вас прошу. Я обещаю. Но без конца просить не буду. Басмачи издыхают. Старикам — все равно, а молодежи из-за чего умирать? То, что я вам даю, вы никогда не наgrabите. Без конца же нельзя разбойничать, в конце концов поймают, а уж тогда... не пеняйте на советскую власть! Карать она тоже умеет.

К Юсупу вдруг подошли три молодых басмача с веревкой.

— Мы тебя сейчас свяжем, — простодушно, как дети, заявили они. — Давай руки!

— Зачем? Я один. Чего вы боитесь?

— Мы не боимся. А связать надо!

— Нет. Резать хотите — режьте! — сказал Юсуп. — А рук вязать не дам.

Он вытащил маузер из кобуры. Джигиты переглянулись, не зная, что же им делать. Но некоторым из толпы ответ Юсупа понравился. Юсуп как будто угадал их вкус.

Они одобрительно зашумели. Нашлись и такие, что похлопали его по плечу. Посоветовавшись между собой, басмачи решили, что к ним пришел человек смелый и гордый.

— Оставьте его! — заявили старики. — А мы пока подумаем... Такое дело сразу не делается.

— Думайте! Понятно. Да только скорее! — сказал Юсуп.

Старики ушли в мечеть совещаться. Молодежь осталась на дворе.

Хитрый чайханщик вынес из своего заведения блюдо с едой и так умильно посмотрел на Юсупа, что басмачи рассмеялись.

— Он в Красной Армии служил, — сказал Алимат, подталкивая чайханщика локтем. — Ну, сознавайся, Исмаил!

— Служил. Полтора года. — Исмаил еще раз поклонился Юсупу. — Коканд — хороший город. А здесь плохо, — сказал он, приглашая Юсупа отведать баранины.

Юсуп сел. Возле него уселись на корточках молодые джигиты.

— Ты к нам из Коканда? — спросил Юсупа Исмаил.

— Нет, из Москвы, — сказал Юсуп.

Он показал на Алимата, и Алимат поклялся, что месяц тому назад *этот человек* приехал из Москвы.

Джигиты были поражены такой честью. Двое из них быстро вскочили и убежали, чтобы поделиться со стариками важной новостью.

Горячее солнце выкатилось из-за гор и принялось немилосердно жечь землю. На крышах кишляка появились жены басмачей, раскладывая и развешивая тряпье для просушки. Полуголые ребята бегали с крыши на крышу и швырялись камнями. От земли пошел пар. К ручью гуськом потянулись женщины за водой. Мужья ругали их, когда они останавливались. Жены тоже отвечали им бранью.

— Ты, наверно, из джадидов? — презрительно обратился к Юсупу один басмач.

— Я проданный. Конюхом работал у Мамедова, — сказал Юсуп, рассмеявшись.

— Да у джадида духу не хватило бы сюда прийти! Они ученые, городские, — засмеялись басмачи. — А ты джигит!

— А кого мне бояться? Вас? А что я вам сделал плохого? Ничего. Наоборот, я вам лучше хочу сделать.

— А как же ты попал в Москву?

— Ну, как... Поехал. Конечно, из такой трущобы, куда вы засели, никуда не попадешь и ничего в жизни не увидишь.

— Это верно.

— Ведь здесь сгниешь! А жизнь у нас одна. Чего ради вы так живете? Не понимаю.

— Живем — и все, — ответили ему басмачи.

Незаметно молодые джигиты втянулись в беседу с Юсупом. Он им пришелся по душе своей простотой. Начали они говорить о боях, случившихся за эти годы, а потом перешли на другое. Многие из них жаловались, что им действительно надоело уже драться. Они же рассказали Юсупу о том, что Насыров уехал пировать в ставку.

Алима́т забыл все утренние неприятности. Он важно сидел в чайхане, ел баранину и пил чай.

— Только я мог провести тебя в эту берлогу, — похвастался он. — Смотри, я тебе говорил! Какие люди!

На подносе лежали ядрышки урюка. Алима́т грыз их и чувствовал себя героем. Возле него толкались товарищи, шепотом рассказывая друг другу о приключениях тощего Алимата. Впрочем, сейчас Алима́т даже не выглядел тощим. Ни страха, ни скорби, ни отчаяния не чувствовалось в нем. Он принадлежал к числу людей, легко и быстро все забывающих. Сейчас он храбрился, задира́л голову, надувал щеки и весело кричал чайханщику:

— Исмаил, позови сюда муллу! Пусть он заберется на минарет и прокричит мне сверху: «А-а-иль-лаа... Ресюль-ла-а...»

Алима́т очень верно передразнил муллу.

Услыхав голос Алимата, из мечети вышел широкоплечий и круглый мулла. Запахнув халат, он издали внимательно поглядел на Юсупа.

— Повесить надо тебя! — крикнул он Юсупу.

— Ах, какой ты нерасчетливый! — сказал Юсуп. — Ведь живой-то я дороже, чем мертвый.

Джигиты захохотали.

Вслед за муллой вышли старики. Они объявили Юсупу, что так как начальства нет, они не знают, как им поступить.

— Вот приедет Насыров... тогда решим. Ты останешься или уедешь? — спросили они его.

— Останусь, конечно, — весело сказал Юсуп. — Ведь Насыров — мой приятель. Я вместе с ним воевал. Мы кокандцы!

Ответ удовлетворил стариков. Вопрос был задан ими неспроста: они хотели испытать Юсупа. Если бы Юсуп заявил им, что он уезжает, его бы схватили, связали и бросили в яму. Сейчас же они ходили возле Юсупа, как барышники около дорогой лошади.

Чайханщик вытащил все имевшиеся у него постельные принадлежности и принялся их выколачивать палкой. Он уже готовился встречать красноармейский отряд, зная, что понадобятся и кошмы и одеяла.

Юсуп почувствовал, что теперь ему необходимо больше, чем раньше, выказать полное спокойствие и полную уверенность в своей безопасности. Он держался как гость. Он достал деньги и кинул их Исмаилу.

— Угощай всех! — сказал Юсуп. — Будем пировать!

## 10

Выйдя из Старой Бухары в ночь на 31 августа 1920 года вместе с караваном и конным отрядом эмира, Джемс не пошел ни на юг, ни на юго-запад. Он вообще решил не приближаться к границе. Наоборот, он удалялся от нее в глубь страны.

Исчезновение эмира было рассчитано им умно и толково. Джемс знал, что бежать в Афганистан при данных условиях можно только в трех пунктах, то есть там, где на Аму-Дарье имеются переправы: через Старый Чарджуй, Нарызым и Бурдалык. Он подозревал, что эти пункты будут захвачены красной конницей и бухарскими партизанскими отрядами.

Действительно, они поджидали там эмира и членов правительства, намереваясь затянуть их в мешок. В этих же целях красным войскам было поручено захватить город Каракуль и станцию Якка-Тут.

Джемс решил остаться в Бухаре. Покинув столицу, он двинулся в противоположную сторону — вывел отряд эмира на север, где его не искали. Утром 2 сентября, проскочив через Гыш-Дуван, Ваганзи и Багаудин, Джемс скрылся. Затем, когда преследование стихло, он спустился в Восточную Бухару, сначала в Байсун, потом в Дюшамбе. Здесь были организованы им гнезда мятежников.

Только в 1921 году угроза, созданная Гиссарской военной экспедицией, заставила эмира и его приверженцев бежать из пределов Бухарской республики. Джемс вместе с отрядом эмира перебрался через границу и, оставив эмира в Афганистане, отправился в Индию. Он был принят там некоторыми английскими чиновниками очень милостиво, щедро награжден теми из коммерсантов, в руки которых перешли бухарские караваны, и, таким образом увеличив свой «жизненный счет», отправился отдыхать. Три с половиной года он прожил на континенте, в Париже, почти не бывая в Лондоне, однажды съездил вместе с женой к тестю в Нью-Йорк, потом снова его направили в Среднюю Азию.

Снова был проделан тот же самый путь, и в марте Джемс достиг ставки Иргаша — это был один из пунктов горной Бухары.

Проводники-горцы, содействовавшие переходу Джемса, были опытными и бывалыми людьми. Они все знали в жизни и привыкли ко всему. Они не боялись ни снежных бурь, ни смерти в перестрелке.

Они сами отличались храбростью и этого же требовали от других. Они никогда не отчаивались и спокойствие считали необходимым качеством человека. Но все-таки им был знаком страх, и, как настоящие смельчаки, они не стыдились его.

Джемс удивлял их. «Кто он? — думали они. — Почему он в нашем отряде? Зачем он идет?» Имя его их не интересовало. Платил он щедро, большего они не требовали. Они видали многих людей, непонятных, странных, необычных. Но этот человек, называвший себя афганцем, чем-то превосходил остальных. Они приглядыва-

лись к нему на остановках, на ночлегах. Джемс засыпал сразу, как оглушенный. Он не кричал во сне, не бормотал, не смеялся, не шептал, не ворочался. «Значит, он не видит снов», — решили проводники. Сперва они подозревали его в обмане, думая, что он делает вид, что спит. Потом им удалось приметить, что он погружается в сон, точно в воду, его лицо размякает и распускается, как вата.

Когда отряд проходил по узким карнизам, когда приходилось искать места, куда бы можно было поставить ногу, когда мелкие камни, выскальзывая из-под ноги и падая, наполняли шумом пропасть, даже у привычных людей сжималось сердце. Джемс прошел, ничего не заметив; он ни разу не заглянул вниз.

Проводники, придя в ставку, сказали:

— Иргаш, мы привели к тебе деревянного афганца.

Иргаш улыбнулся. С тех пор все басмачи так называли Джемса.

## 11

Иргаш решил встретить Джемса торжественно. Он разослал гонцов, сзывая к парадному обеду гостей, начальников отрядов и духовных лиц. По существу, это был съезд генералитета Иргаша, его офицерского и агитационного состава. Иргаш любил пышность.

На этот раз судьба помогла ему. За несколько дней до приезда Джемса в ставку прибыл Ачильбай. Старик неожиданно разбогател. Кто-то поручил ему собрать труппу бачей. Ачильбай нашел в кишлаках семь юношей — танцоров и певцов. Вместе с ними он должен был пробраться в Афганистан и передать их одному богатому узбекскому магнату, землевладельцу, жившему вблизи Кабула.

На самом деле из этих юношей сторонники эмира намеревались создать не певцов, а своих агентов, обучить их и потом перекинуть в Бухару. Старик Ачильбай не интересовался подробностями этого предприятия. Деньги опьянили его. Все бедствия его раскиданной и растерянной семьи теперь казались ему дурным сном. Сейчас он даже не вспоминал о Садихон. Ачильбай чувствовал, что жизнь уходит, и остаток своих дней ему хотелось провести в удовольствиях и наслаждениях. Легкомысленный старик радовался тому, что он опять

один, как в молодости. «Всю жизнь семья причиняла мне только заботы и неудобства. Наконец я свободен. Увижу Кабул. И проживу там, как хочет моя душа, — думал он. — А потом помру».

Иной раз, начиная размышлять о своем предприятии, он чувствовал в нем что-то таинственное. Но сейчас же отгонял эти мысли. «Не стоит углубляться в размышления, не стоит доискиваться, — успокаивал он самого себя. — Жить в страхе под постоянной угрозой, конечно, плохо. Переходить границу — целое событие. Раньше все было проще. Всюду меня встречали гостеприимно. Пусть теперь этого нет, но могло быть и хуже. Я пережил это худое. Вот когда снаряды летели на Бухару, когда смерть шла по улицам — вот когда было плохо... Так стоит ли ворчать, если теперь встречаются какие-то невзгоды? Какими мелкими кажутся они, когда вспомнишь о Бухаре!» Он опять ходил в шелковом халате, в шубе из лис, носил на руке перстень, брился, подкрашивал бороду и был счастлив...

Иргаш принял поручение перебросить Ачильбая и его трупку через советскую границу. В благодарность за это Ачильбай обещал дать в ставку концерт.

## 12

Горный кишлак наполнился шумом. Отовсюду съезжались приглашенные к торжественному обеду.

Сам Иргаш жил в большом доме, недавно отремонтированном. Там был назначен прием. Иргаш объявил всем, что приехал афганский принц, имя которого должно остаться в тайне. Только Зайченко знал правду.

Джемс отоспался за сутки и явился к Иргашу такой свежий и бодрый, как будто он переночевал в лучшем европейском отеле. Мирза, секретарь Иргаша, лакей по профессии, иранец, скопец, был приставлен к Джемсу в качестве его адъютанта.

Десять лет назад Мирза служил в Кабуле, у англичан. Он прекрасно изучил их, и ему показалось, что гость Иргаша тоже англичанин, хотя скрывает это. «Неужели он афганский принц? — робко думал Мирза. — Эти афганские принцы учатся в Англии и привыкают ко всему английскому. Во всяком случае, обо всем этом нужно

молчать». Он не осмелился даже заговорить с Джемсом по-английски. Зная все английские привычки и желая угодить Джемсу, он устроил для него утреннюю ванну. Джемс купался в огромном котле, наполненном горячей водой.

После купания Джемс чувствовал себя отлично. Он сидел с Иргашом в одной из комнат, неподалеку от балкона. День выпал солнечный, из распахнувшейся двери виднелись снежные склоны. Джемсу было приятно ощущать на себе свежее, чистое белье, надушенное по английскому обычаю лавандой. Хозяин и гость полулежали на софе и мирно беседовали. Курбаши и духовные особы разместились возле стен на подушках. Из соседней комнаты слышался шум. Там приготавливали все необходимое к обеду.

Зайченко сидел на подоконнике раскрытого окна. Полудиккий русский офицер не правился Джемсу. Джемс боялся таких людей. Он чувствовал, что этот человек знает обстановку здешних мест лучше него, и уже одно это напоминало ему о соперничестве. Джемс понял, что Зайченко — это мозг Иргаша, что в течение последних пяти лет именно Зайченко, а не Иргаш, являлся организатором всех мятежей.

Ни курбаши, ни шпионы, ни турецкие авантюристы, перешедшие границу с диверсионными целями, не стоили, по мнению Джемса, клочка волос этого инвалида, засевшего в горах и занимавшегося жестокой и упорной войной с большевиками. Джемс не понимал ярости Зайченко, и это смущало его. В лице Зайченко он видел не только разведочного офицера, — это был, по его мнению, прекрасный тактик. Вот почему Иргаш дольше всех продержался в горах.

Джемс имел специальное задание: вновь собрать все те кадры, которые можно было бы бросить в Бухару. Ему поручили из остатков мятежников выжать все возможное, создать при Иргаше резерв и мобилизационный мятежный штаб. Джемс решил до поры до времени не раскрывать своих карт. Он прощупывал обстановку, настроение, подсчитывал силы, оценивал возможности. Он видел, что новые цели потребуют еще большей работы. Он был любезен с Зайченко. Он не обиделся, когда тот, выслушав его комплименты, молча ему поклонился и не сказал в ответ ни слова.

Впрочем, только один Зайченко держался небрежно и независимо. Все приглашенные, наоборот, хотели угождать почтенному гостю. Они наперебой говорили ему любезности и ласково смотрели в глаза. Среди них особенно выделялся один высокий, красивый мулла в желтых щегольских сапогах, в богатом халате и великолепной чалме. Джемс заметил, что среди кочующих сановников этот человек пользовался особым уважением. Когда все выговорились, он просто, без всяких словесных украшений, спросил Джемса:

— А вы не боялись идти к нам? Вы не испугались опасностей?

— Бог за меня, — ответил Джемс, улыбнувшись.

Мулла посмотрел на него умными и блестящими глазами, как будто раздумывая о чем-то. Потом ресницы у него дрогнули, он засмеялся. После этого засмеялись и все остальные.

Иргаш, увидев мелкие и острые, что стружки, зубы Джемса, вспомнил слова проводников о «деревянном афганце» и тоже улыбнулся.

Духовные лица, сидевшие здесь, жаловались на то, что теперь народ ослаб и меньше верит своим наставникам.

— Раньше мюриды верили нам, как раб своему господину, — говорили они.

— Наказывайте людей — и вам будут верить, — сказал Джемс. — Люди ведь — те же животные!

Юноши, бачи Ачильбая, внесли в комнату медные тазы и кувшины с водой. На шее у них висели чистые полотенца. Кланаясь, они подходили к каждому гостю. Гости, умыв руки, отправились обедать. Впереди всех шел Иргаш с Джемсом, около Иргаша шел Муса, его палач и телохранитель, потом молодой щеголь мулла, затем приближенные курбаши и духовные лица.

### 13

За обедом опять прислуживали бачи. После того как мулла прочитал молитву, все принялись за еду.

Обед был обильен, но не богат разнообразием. Самые важные гости сидели в доме с Иргашом. Военные начальники, есаулы разместились во дворе вместе с пору-

ченцами. Для некоторых приглашенных расстелили ковры за оградой двора, — это были старосты-аксакалы окрестных кишлаков и лавочники. Обедали по-восточному, сидя на коврах, брали пищу руками прямо из котлов. Отдельные приборы были поданы только Иргашу, Джемсу и Зайченко. Несмотря на то, что здесь присутствовали духовные особы, освящавшие трапезу, никто из гостей не отказывался от вина. Пили коньяк, привезенный Джемсом.

Зайченко сидел по левую руку от Джемса. Ему пришлось промолчать весь обед, потому что Иргаш забросал Джемса вопросами. Иргаш спрашивал про Афганистан и Турцию. Только два человека в мире интересовали его: Аманулла и Кемаль, два властителя. Он хотел знать подробности их политической деятельности; он спрашивал об образе их жизни, о состоянии армии. Джемс, беседуя с ним, в конце концов догадался, что живой любопытный Иргаш интересуется ими. Тогда об этих двух властителях он отозвался брезгливо, как о смутьянах.

Джемс, принимая от бачи тарелку с вялеными фруктами, отвернулся от Иргаша. Он наклонился к Зайченко и сказал:

— Только на Востоке можно узнать жизнь. Вы, наверно, любите Восток?

Вопрос был задан из вежливости. Каково же было удивление Джемса, когда Зайченко вдруг оскалился и, проведя указательным пальцем по горлу, с брезгливостью ответил:

— Я до сих пор сыт Востоком. Иногда мне кажется, что в моей жизни уж слишком много Востока.

Вспышка Зайченко показалась Джемсу неуместной. Он улыбнулся.

— Вы правы отчасти... — сказал он. — У нас с вами есть что-то общее... Мне тоже чертовски надоела моя деятельность... Я ведь попал на эту работу случайно, в годы мировой войны... И теперь мне нет выхода. Я не верю в политику. А вы верите?

— А вам разве не все равно, во что я верю? — пробормотал Зайченко с такой откровенной грубостью, что Джемс, вопреки своей обычной выдержке, не смог удержаться от хохота.



— Да вы не смейтесь, — оборвал его поручик. — Я из-за вас влип в грязное дело... А впереди смерть. Ну вас к черту... Вы лучше расскажите о последних новостях... Что нового? — добавил он уже мирным тоном.

— Я понимаю вас, — сказал Джемс. — Но что поделаешь! Судьба заставляет нас бороться за Восток. — Он приподнял свою чашку, как бы приветствуя соседа. Затем выпил коньяк и, закулив папиросу и продолжая разговор, рассказал о статье Ленина, недавно напечатанной в газетах.

— Ленин считает, будто исход борьбы за социализм зависит в конечном счете от Востока... От России, Индии и Китая. Он думает о большинстве населения...

— Большинство? — прервал его Зайченко. — Какое большинство?

— Ну, в массе это, конечно, дикари!.. — самоуверенно проговорил Джемс. — Но нельзя пренебрегать и этим... В противовес этому мы должны объединиться. Все изменилось в мире.

Он оглянулся, чтобы посмотреть, не подслушивает ли их кто-нибудь... Все сидели в стороне от них. Все-таки, из присущей ему осторожности, Джемс, узнав, что Зайченко немного говорит по-французски, перешел на французскую речь.

Зайченко отвечал ему на «волапюке» из смеси французских и русских слов. Джемс, улыбаясь, прибег к этой же манере.

— Тридцать лет назад... ни я, офицер англо-индийской армии, ни вы, русский офицер, не могли бы пировать так дружно, как сейчас, — сказал Джемс и сейчас же поправился: — То есть пировать мы могли бы, конечно, но мы не могли бы иметь одну общую цель.

— Вы о чем изволите говорить? — холодно перебил его Зайченко. — Вы, очевидно, желаете сказать, что Англия и Россия — это две великие державы, два вековых соперника в Средней Азии?

— Именно так, — подхватил Джемс.

— Да, — сказал Зайченко, — яицкие казаки производили набеги на Хиву еще в семнадцатом веке. Купцы ходили в Афганистан... Ну, а ваш Дженкинсон?..<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дженкинсон А. (XVI век) дважды, с разрешения Ивана IV, ездил в Среднюю Азию.

— А ваш Петр Великий? Поход Бековича? А завещание Петра о походе в Индию?

— Неужели за границей до сих пор говорят об этом? Это миф.

— Нет... — Джемс не согласился. — Если бы не было этого завещания, тогда вы не явились бы сюда.

— Мы никогда не исполняли завещания наших царей, — улыбаясь, сказал Зайченко. — Никто не видел этого завещания.

— Позвольте, мистер Зайченко! Но политика России говорит об ином. А поход на Индию, задуманный Павлом?

— Авантюра! — Зайченко засмеялся. — Кстати, интересно было бы у вас узнать, вы принимали участие в убийстве Павла или нет?

— То есть как я? — удивился Джемс.

— Не вы, конечно, как физическое лицо. Я думаю о разведке.

— Не знаю, — сухо сказал Джемс. — Я не англичанин... Это раз! И не работаю в «Интеллидженс сервис». Это два.

— Кто же вы? Неужели мы не можем разговаривать друг с другом как профессионалы? Меня только теоретически занимает этот вопрос. Имеются исторические сведения, что Англия будто бы участвовала в этом заговоре, во всяком случае все это дело случилось не без ее участия в той или иной мере. Да и в художественной литературе имеются об этом сведения. Вы читали, конечно, статью Стендаля о его встрече с лордом Байроном?

— Нет, не читал.

— Жаль! Стендаль был осведомленный человек. Как настоящий писатель, он занимался политикой. Он говорил с Байроном о смерти некоторых русских императоров, случающейся *так кстати* для интересов Англии. Это был намек на убийство Павла, сказанный в салоне и поэтому наполовину замаскированный.

Джемс молчал.

— Да! — проговорил Зайченко, задумавшись. — Вещь поучительная! Двенадцатого января Павел решил начать этот злосчастный поход и отослал свой приказ о выступлении в Среднюю Азию донскому атаману Орлову — и ровно через два месяца, двенадцатого марта, Павел был убит.

Джемс приподнял брови.

— Не знаю, — сказал он. — Я не занимался этим вопросом. Но все-таки девятнадцатый век вы кончили овладением Средней Азией. А это угроза Индии. Разве не говорил ваш Скобелев, что Средняя Азия — это плацдарм для сосредоточения войск против Индии?

— А разве мало глупостей говорили ваши генералы?

— Но эта глупость не такая уж глупая!

— Оставим этот разговор! Я понимаю, что Британскую империю до сих пор тревожит этот вопрос, — сказал Зайченко, с раздражением бросив нож, которым резал дыню. — Я не русский офицер, и за моей спиной нет никакой державы. Я — никто. И вы никто. И вам, как не англичанину, нечего бояться... Тем более что Гиндукушский хребет еще не развалился.

— Да, да, правильно! — хихикнул Джемс. — А все-таки ваш Скобелев говорил: «Дайте мне сто пятьдесят тысяч верблюдов, и я завоюю Индию!»

— Сейчас с верблюдами не завоюешь, — усмехнулся Зайченко. — Теперь идеи, кажется, сильнее пушек, караванов и прочего... Колониальная политика проваливается... Вы читаете русские газеты? — вдруг спросил Джемса Зайченко.

— Случается, — ответил тот.

— Говорят, что большевики очень заняты национальным вопросом. Очевидно, серьезно, если были даже выступления по этому поводу на партийном съезде? Был разговор и о великорусском шовинизме и о местных буржуазных националистах... Как их там называют — национал-уклонисты! Было даже как будто специальное совещание по национальному вопросу... И там разоблачались эти буржуазные националисты! В частности, и по Узбекистану. У нас об этом говорят! (Джемс молчал.) Почему их так поддерживает оппозиция? Что связывает этих людей?

— Я этим не занимаюсь, — тупо ответил Джемс.

— Разве вы не следите за деятельностью оппозиции, уклонистов?

— Я слежу только за тем, что меня непосредственно касается, — сказал Джемс, скользнув глазами, и взглянул на Зайченко, на его космы (они казались странными, в особенности здесь, среди людей, обритых наголо), на жирное, запущенное, обветренное лицо, на

мечущиеся глаза, на стеганный ситцевый поношенный халат, на рукав, пришпиленный булавкой, на горные мягкие мукки\*, сшитые из кожи...

От внимания Зайченко не ускользнул полупрезрительный взгляд Джемса. Зайченко смутился и, чуть-чуть покраснев, отвернулся от Джемса. В эту секунду он возненавидел его. «Я подчиняюсь тупице».

Зайченко давно уже слышал о Джемсе. В разговорах, в сплетнях, в слухах этот человек казался ему таинственным. Джемс появлялся, точно Летучий Голландец, в самых разнообразных местах, всегда вовремя. Это представлялось Зайченко гениальным. Сейчас же, увидев его, он решил, что Джемс — ловкий исполнитель и что многие из его удач только случайность.

Иргаш издали следил за спором, возникшим между Зайченко и Джемсом, хотя и не понимал, о чем они спорят.

Хитрый Иргаш догадался, что только независимостью и свободой можно купить уважение «деревянного афганца», поэтому дерзкое поведение Зайченко ему понравилось. Он видел, что по окончании спора Джемс остался чем-то недоволен. «Это хорошо, — подумал Иргаш, — это собьет с афганца спесь».

Когда Джемс замолчал, Иргаш, чтобы оказать внимание Зайченко, подозвал к себе Мусу, человека невероятного роста и необыкновенной силы, и громко, на весь стол сказал ему:

— Поддай вина моему другу! Пусть веселится!

Иргаш, улынувшись, передал чашку с коньяком Мусе. Палач Муса понял, что Иргаш говорит о русском офицере, сидевшем с краю, рядом с «деревянным афганцем». Поставив чашку на ладонь вместо подноса и вытянув руку, он прошел между пирующими, как фокусник, не пролив ни одной капли из чашки, налитой до полна. Подойдя к Зайченко, он остановился.

Посмотрев на зверские глаза Мусы, на огромные руки, которыми Муса душил коней, Зайченко улыбнулся, встал и принял подношение.

— Спасибо, дорогой Иргаш! — сказал он. — Желаю тебе счастья. Пронеси свою жизнь так же твердо до конца своих дней, как твой телохранитель пронес это вино!

Выпив, Зайченко разбил чашку об стену.

После обеда на дворе зажгли костры. По кишлаку забегали басмачи. «Томаша! Томаша!»\* — весело кричали они, оповещая людей о предстоящем зрелище.

Гости расселись рядами. Среди рядов расхаживали юноши с большими круглыми блюдами, наполненными сладостями. Всем был предложен зеленый чай. Особенно важным людям бачи раскуривали чилим\* и подавали с поклоном.

На спектакль сбежался почти весь лагерь. Только караульные не покидали своих постов.

Томаша началась к вечеру, при больших кострах. Старик Ачильбай, вместе с тремя певцами, торжественно вышел на середину двора. Заревел медный карнай, забил барабан, загудели бубны, отороченные погремушками. После певцов появились танцоры. Пляски пользовались у зрителей наибольшим успехом.

По окончании каждого номера старик Ачильбай выпускал младшего ученика. Румяный юноша, проходя по рядам, собирал деньги в шелковую тюбетейку. Когда гости говорили ему нежные слова, он кокетливо улыбался.

Иргаш блаженствовал. Он чувствовал себя богачом и властителем. Деловую часть программы он решил отложить на следующий день. Но Джемс спешил. Не дожидаясь конца спектакля, он шепнул Иргашу:

— Скоро это кончится? Я намерен уехать отсюда рано утром.

— Так нельзя, — сказал Иргаш, нахмурившись. Гость был невежлив, и это ему не понравилось. — Я отпущу тебя, когда можно будет. Я отвечаю за твою жизнь.

— За мою жизнь отвечает советская власть, а не ты, — сказал Джемс.

Иргаш посмотрел на своего гостя с удивлением, он не знал, что Джемс перешел советскую границу совершенно легально, через пограничный пункт, получив разрешение по афганскому паспорту как специалист-охотник. В документах значилось, что цель его поездки — охота на тигров в тугаях\* на Аму-Дарье. Из конспиративных соображений Джемс скрыл это.

«Он дурачит меня. Он обходится со мной как с дикарем», — подумал Иргаш, вставая.

Джемс понял, что и курбаши чем-то недоволен, как и Зайченко, но ему лень было исправлять свою ошибку. «В конце концов, какая ошибка? — подумал он. — Эти лилипуты-феодалы, эти косматые предатели из среды белых царских офицеров должны прислушиваться ко мне, а не я к ним».

Спектакль еще продолжался, когда Иргаш, Зайченко и Джемс покинули двор.

Зайченко жил в войлочном шатре, который назывался кибиткой. Там и назначили заседание. Иргаш, Зайченко и Джемс пошли по дороге, проложенной к ставке.

По случаю съезда гостей кишлак был переполнен.

Лошади приезжих гостей стояли как попало, где придется: одни у коновязей, другие возле кольев, третьи были просто стреножены, четвертые притянуты попарно головами к седлам. Тут же сновали басмачи. Некоторые из них, получив за обедом водку, перепились и теперь ругались друг с другом. Где-то перестреливались из револьверов. У чайханы дрались мальчишки. Наскакивали друг на друга большие лохматые собаки. Женщины, жившие в кишлаке, бранились между собой. Согласно обычаю, женщинам и собакам швырялись остатки пищи, поэтому как те, так и другие всегда были полуголодные.

Иргаш шел молча, точно он не слышал ни шума, ни визга, ни криков. Искоса наблюдая за Джемсом, он спросил Зайченко:

— Кто сегодня отвечает за порядок в стане?

— Насыров, — сообщил Зайченко.

— Позови его!

Зайченко приказал шедшему за ним ординарцу позвать Насырова. Сквозь толпу, точно пароль, пронесся крик: «Насыров, Насыров!»

Когда они подошли к черной войлочной, перетянутой белыми лентами куполообразной кибитке, Иргаш вытянулся и, не подымая глаз, сохраняя величественный вид, сказал Джемсу:

— Прошу извинить, если в нашем лагере мы встречаем знаменитого гостя не так, как подобает! — Затем Иргаш распахнул полог.

Джемс кивнул в ответ и первый вошел в кибитку.

Кроме стола, в ней помещались два табурета и походная раздвижная койка. Свеча стояла в бутылке. На койке лежали бинокль, пачка топографических карт и коробки револьверных патронов.

Взяв табурет, Джемс сел первым, не дожидаясь приглашения. Зайченко поймал усмешку Иргаша и очистил для него койку. Но Иргаш остался стоять, приложив правую руку к груди.

— Вы получили оружие? — спросил Джемс по-узбекски, обращаясь к Иргашу.

Иргаш молча склонил голову.

— Сколько?

— Через Памир вы перебросили нам сорок выюков. Это все.

— Это стоит денег. Как вы думаете? — сказал Джемс.

Иргаш пожал плечами.

— Что же вами сделано?

Самолюбивый Иргаш взглянул на Зайченко и оставил кибитку. С него спрашивали отчет? Он не мог вынести этого.

Зайченко, кликнув своего ординарца Усмана, послал его в канцелярию за отчетом.

## 16

Походная канцелярия была заведена Зайченко еще в 1919 году, когда Иргаш объявил себя главнокомандующим всех кокандских басмаческих отрядов. Каждый вечер после занятий она выучилась. Все ее имущество, пишущая машинка, бумаги аккуратно складывались в курджуны. На всякий случай канцелярия всегда была готова к перекочевке.

Сейчас она помещалась в маленькой сакле, стоявшей рядом с кибиткой Зайченко. Там работали двое: писец-узбек и заведующий, Иван Иванович Белуха, бывший счетовод термезской таможни, попавшийся на контрабанде и сбежавший от наказания.

Иван Иванович спешно готовил отчет. Он устал, замучился, и на его бабьем лице, с такими мелкими и не приметными чертами, как будто оно было выглажено

утюгом, появилась испарина. Ему было жарко. Он скинул с плеч свой полосатый туркменский халат.

— Сожжено урожаю пшеницы... кукурузы и прочего на сумму... Также посевов хлопка... Также хлопка... тысяч пудов на сумму... — бормотал Иван Иванович, стараясь не спутаться, так как он одновременно работал и на счетах и на пишущей машинке. — Испорчено телефонного, телеграфного и прочего имущества связи на... Разрушено ирригационных сооружений протяжением... Вырезано скота... Угнано скота... голов... мелкого, крупного...

Версты, головы и рубли мелькали у него перед глазами. Он торопился, был голоден. У него сосало под ложечкой и накапливалась во рту слюна.

— Убито совработников... человек. Красноармейцев... Командиров... человек...

Он отщелкивал многозначные цифры. Количества не поражали его. Он ведь *только* считал.

## 17

Когда Усман принес отчет, Зайченко, быстро у себя на колене перебрав листки, протянул их Джемсу:

— Это, так сказать, в черновом виде. Завтра все будет готово окончательно. Здесь еще неполная сводка.

Джемс просмотрел ее и, поджав губы, сказал:

— Мало!

— Видите ли, — проговорил Зайченко, обидевшись, — если вы приехали сюда как инспектирующий генерал, вы должны остаться довольны. Вас приняли именно так, как принимают генералов. Обед, концерт. Чего же вам еще? Если же вас интересуют суть дела и цифры, то должен вам заявить, что азиаты работают на вас почти даром. Будем откровенны, как европеец с европейцем!

Джемс повысил голос:

— То есть как это почти даром? Война здесь приносит доход, и мы даем эту возможность, снабжая вас оружием.

— Страна разорена. То есть разорили ее мы. Дохода нет.

— Но советская власть есть! — возразил Джемс.

Зайченко покачал головой:

— Сколько столетий ваша разведка борется за этот край? Надеюсь, вы это знаете лучше меня?

Джемс смолчал, только губы его искривились.

— Сколько голов, своих и чужих, англичане оставили здесь? Неужели вы еще не научились ждать и надеяться?

Джемс опять смолчал.

— Здесь нельзя работать с уверенностью в результате. Здесь надо надеяться на случай, — продолжал Зайченко. — Здесь все случайно, как папа и мама.

Джемс не улыбнулся.

— Мы не выбираем родителей, — сухо ответил он. — Мы выбираем наших служащих.

— Ваши служащие тоже не родились с мыслью об Азии! Разве вас не втянуло сюда, как воздушный поток втягивает в себя песчинку? Разве вам все известно? Разве вы все предусмотрели?

— Не понимаю, о чем вы говорите? Яснее отвечайте на мой вопрос! — сурово, но в то же время безразлично сказал Джемс.

Зайченко обозлился. Он достал из-под подушки портфель, порылся в нем и вытащил документ, напечатанный на плотной синей бумаге. Это была копия договора, заключенного представителями бухарского эмира с военным атташе английского генерального консульства в Мешед. Договор состоял из восемнадцати параграфов.

Содержание его сводилось к следующему: англичане обязываются оказывать помощь в деле низвержения советской власти в Бухаре — взамен этого эмир предоставляет им на будущее право влияния и руководства.

— Даже бухарскую армию вы хотите забрать в свои руки. Не так ли, согласно этого пункта? — сказал Зайченко, ткнув пальцем в бумагу. — Даже Самарканд вы присоединили к Бухаре? Этот договор предусматривает даже способ управления новой провинцией. Договор, очевидно, дело ваших рук? В Афганистане вы тоже рветесь к власти, к влиянию. И думаете: «Мы своего добьемся, мы победим». Это ошибка. Это блеф. Это глупость. И этой вашей глупостью прекрасно воспользовались большевики. — Зайченко спрятал документ в портфель. — Вы не предусмотрели, что об этом документе могут узнать они? Они узнали. Теперь я выражаюсь ясно? Ну, так и я, работая на вас, не могу всего преду-

смотреть. Учтите, в каких условиях я работаю и в каких вы! Я, очевидно, так и погибну в этой дыре, а вы здесь не задержитесь. Теперь все вам ясно, не так ли?

Джемс не удостоил Зайченко ответом, но Зайченко не унимался:

— Вы работаете как «герой»? Это ваша «историческая задача»? Не так ли? — сказал он, издеваясь над Джемсом. — Если вы «честный человек», — а я не сомневаюсь в этом, — вы работаете для вашей «истории»? Не так ли? Я же работаю из-за денег. Я наемник! И даже без вдохновения! У меня нет никакой исторической задачи. Поэтому у меня более спокойное отношение к вопросу. Я больше вас понимаю, что здесь надо делать. Мой мозг не затуманен никакими посторонними идеями в этой игре, кроме личного расчета. Шесть лет крови убедили меня в том, что такая борьба бесполезна. Энвер-паша, которого вы перебросили сюда к нам на помощь, погиб. Кстати, был ли он действительно Энвер-пашой? Ведь тот Энвер-паша был питомцем германского генерального штаба. Я не ошибаюсь? Я так слышал еще на службе в русской армии. Как же вы с ним поладили? Впрочем, дело не в этом. Вернемся к нашим баграм, как говорят французы. Много видных курбаши сдаются. Отряды тают. Население против нас. Красная Армия — это больше чем армия, это идея. Отправьте сюда еще сорок тюков оружия — оно будет захвачено Красной Армией...

— Не агитируйте меня! Я тоже читаю советские газеты, — насмешливо перебил его Джемс.

— Очень рад за вас, — с раздражением сказал Зайченко. — Но вы их, очевидно, плохо понимаете. А мне помогает их понимать опыт. Я дошел до многого своим личным опытом. Значит, это правда. Я не отвергаю сегодняшнего способа борьбы, пусть существует диверсия! Но это мелочь, игрушки. Надо бросить силы в политику. А вы лишь калечите ноги!

Джемс улыбнулся. «Дурак! Кого учишь?» — подумал он.

Теперь его смешил этот поручик. Но Зайченко в запальчивости уже ничего не замечал.

— Вы подписываете прежде времени эти бумажки, которые нас только компрометируют, — продолжал он. — Если ваш штаб о чем-нибудь думает, так пусть он

думает и об этом! Так вот, предложите ему мои услуги в этом направлении. Я могу быть полезным, вы это знаете по моей работе за эти годы.

— Хорошо. Я подумаю... Между прочим, я хочу предупредить вас... Вы не переставая, на разные лады твердите мне: «Англия то... Англия это...» Ошибка! Так нельзя, мой дорогой. Прежде всего это неверно, это все ваши фантазии. И откуда вы можете знать, на кого я работаю? Я работаю совсем не на Англию. Клянусь вам, как офицер. А на кого, это уже мое личное дело. Что вам известно обо мне? Ничего. Поэтому позвольте дать вам дружеский и в то же время официальный, служебный совет: побольше дисциплины, поменьше болтовни! Англия уже не та держава... — как бы случайно проговорился Джемс, немедленно подавил свою улыбку и продолжал строго и серьезно: — Если вы желаете, чтобы наша связь продолжалась, вы знаете только меня... Больше вы ничего не знаете... И не имеете права знать. Понятно вам это? Или нет? Если же будете рассуждать и заниматься болтовней всякого рода, я поступлю с вами по-иному... И это, надеюсь, вам понятно?

Зайченко смутился. Он опустил глаза и сказал нехотя, с зевком:

— Вы же сами наболтали мне, что были офицером англо-индийской армии...

— Ну и что? Мало ли кем я был? Вы тоже были офицером русской армии, а кто вы теперь? «Кто вам целует пальцы?» — Джемс тут рассмеялся и добавил: — Вам надоело работать на Иргаша?

— Нет, — резко ответил Зайченко. — Мне надоел бандитизм.

— У вас есть какой-нибудь план?

— Да.

— Какой?

— План сдачи шаек. Это успокоит нервы большевиков. А мы займемся другим.

— Хорошо, — коротко сказал Джемс. — Отложим решение до утра! «Если у Иргаша заговорили о сдаче, значит положение угрожающее», — подумал он.

Они вышли из кибитки. Джемс молчал. Этот маленький однорукий офицер сейчас удивлял его, и он решил ему задать вопрос:

— Может быть, вы богаты, составили здесь состояние? Может быть, вы действительно хотите отдохнуть?

— Мне не от чего отдыхать! Я мог бы работать двадцать часов в сутки. Но то, чем я здесь занимаюсь, — это не работа.

На вопрос о состоянии Зайченко ничего не ответил. Джемс догадался, что слова его о работе из-за денег были только фразой. Действительно, деньги не интересовали Зайченко. Он не знал, что с ними делать. Их куда было тратить. Бежать за рубеж и жить там на проценты — его не увлекало.

Он наполнял жизнь кровью, убийствами и несчастьями, он только регистрировал это и скучал от однообразия. Он презирал всех и не мог никому сказать об этом. Он любил выстрелы и боялся смерти и ненавидел все на свете, даже себя.

## 18

Когда они вернулись во двор усадьбы, где жил Иргаш, веселье уже кончилось, костры потухли и в темноте раздавались только крики часовых и конское ржанье. Зайченко вызвал Мирзу, чтобы тот позаботился о ночлеге Джемса.

Джемсу уже приготовили комнату, кошму, подушки, одеяла и принесли теплую воду. Мирза предлагал свои услуги ловко и незаметно. Джемс почти не ощущал его присутствия. Когда ночной туалет был окончен и наступило время сна, Джемс закурил папиросу. «Иргаш горит, — решил он. — Интересно, знает ли Иргаш о мыслях этого русского офицера? Или этот план — чистейшая импровизация? Офицера надо отправить в Самарканд, его место там. А Иргаш пусть, пока можно, продолжает свое собачье дело».

Подведя итоги, он лег на бок, вытянулся и приготовился спать.

На дороге отчаянно лаяли псы. За стеной визжали бачи. Джемс, слушая их звонкий, почти девичий смех и шлепанье босых ног по галерее, долго не мог уснуть.

«Завтра я налажу отношения с Иргашом, — думал он. — Иргаш, очевидно, обижен. В сущности, как глупые люди и как смешны самолюбия! Завтра я оставлю ему подарки, и он будет счастлив. И будет думать, что он

ошибался. Этот русский — тоже только баран. Его когда-нибудь прирежут. Вот и все».

Джемс приподнялся, прислушался, как бы вылавливая из темноты каждый тревожный звук. Потом опять откинулся на подушку. Его гладко выбритое лицо размякло, распустилось, кожа на лице образовала складки возле глаз и губ. На подушке лежала плоская, желтая голова.

Мирза стоял за стенкой. Он прислушивался к дыханию «афганца». Когда тот заснул, он на цыпочках бо-сиком вошел в комнату.

Джемс вскочил. Его лицо мгновенно преобразилось. Оно стало похожим на парус, туго натянутый ветром.

— Простите, сэр! Я пришел задуть свечу, — прошептал по-английски Мирза.

— Не надо, — недовольно сказал Джемс.

Мирза попятился к двери и ушел. Потом он появился во дворе и зашикал на визжавших бачей.

Наконец вся усадьба заснула. На дворе и на улице вдоль глиняной стены сидели караульные с винтовками на коленях. Некоторые из них даже спали, прислонив свою винтовку к стене.

Не спал один Мирза. Он не мог простить себе случившейся оплошности. «Если бы еще я не сказал: сэр!» — думал он. Но в конце концов он тоже успо-коился.

## 19

Когда Иргаш вернулся из кибитки, Насыров давно уже дожидался его около входа в дом, на дворе. Народ еще не разошелся. Многие из гостей еще сидели на галерейке, беседовали о делах и жизни и покуривали табак, передавая друг другу общий чилим. Увидав Иргаша, все встали.

Иргаш встретил Насырова молча и осмотрел его с ног до головы. Увидев на нем шапку из красной лисьей шкуры, широкие штаны из бараньей кожи, выкрашенной в розовый цвет, пояс с бляхами, нож в богатых ножнах, кошель, в котором хранились зубочистка и перстень, Иргаш освирепел. Наряд киргиза разозлил его.

Насыров спокойно глядел в глаза Иргаша, закинув голову назад; шея его при этом вытянулась.

— Как ты стоишь передо мной? Верблюд! — крикнул Иргаш. — Плетей ему! Плетей гордецу!

Насыров отступил от Иргаша.

— Я ни в чем не виноват, — с дрожью в голосе произнес он.

— А кто отвечал за порядок? — сказал один из курбаши, стоявший подле Иргаша. — Ты же знал, что здесь за всем наблюдал «деревянный афганец». Ты осрамил нас!

— Что я мог сделать с приезжими? Они не слушались, — сказал Насыров.

Иргаш отвернулся, показывая, что разговор кончен, и кивнул своим порученцам. Когда они подошли к Насырову, тот крикнул:

— Иргаш, что ты делаешь? — Его шрам на порубленной губе побелел.

— Мы еще в Бухаре, — тихо, точно про себя, ответил Иргаш и вступил на галерейку дома.

Порученцы сорвали с Насырова халат и рубашку. К нему подошел Муса с длинной плетью. Насырова положили на земле, возле виселицы, стоявшей во дворе, и началась экзекуция...

Иргаш сидел, поджав ноги и опираясь спиной о подушки, и почти бессмысленно глядел на то, как Муса отсчитывал удар за ударом. Высохшими пальцами, напоминавшими птичьи когти, Иргаш теребил свою курчавую седеющую бороду. Его халат распахнулся, на груди от волнения появились пятна, и бритый затылок стал темно-красным, как печенка.

Курбаши, не смея сесть, толкались около стены. Все чувствовали, что Иргаш чем-то смущен и что он только срывает свой гнев на киргизе. Но никто не понял самого важного.

Иргаш был больше чем смущен или раздражен. Иргаш растерялся. Еще до приезда Джемса, так же как и Зайченко, он видел, что надежды на власть с каждым днем тают. Конец близится, скрываться некуда, курбаши стерегут его. Он уже не раз ловил на себе подозрительные, темные, как он их называл, взгляды своих сотоварищей. «Пока грабеж еще приносит доход, они меня терпят... Надоело... Низко — зависеть от них! — думал Иргаш. — Но стоит судьбе моей покач-

нуться, как все эти твари заспорят о моей голове и продадут ее как выкуп».

Ожидая Джемса, он предполагал договориться с ним об отходе в Афганистан. Но после беседы в кибитке понял, что договариваться не о чем. «Джемс смотрит на меня как на собаку: отслужила свой срок — подыхай, или служи до тех пор, пока не подохнешь! Надо надеяться только на себя», — решил Иргаш.

У Насырова вздулась и полосами побагровела спина. Когда Муса ударил его по рассеченной коже, Насыров не выдержал и крикнул. Иргаш остановил палача.

Насыров встал. А Муса, бросив плетъ, вытер рукавом пот со лба и осторожно, чтобы не причинить боли киргизу, надел на него рубаху. Иргаш ушел в дом и через своих порученцев передал Насырову, чтобы тот немедленно возвратился к своей сотне.

## 20

Ночью от низких облаков воздух стал мягче и теплее. Дорога была темная, звезд не было видно.

Насыров мчался наудалую, всецело доверяясь коню. Он не думал об опасности пути. Ни крутизна, ни обрывы не пугали его. Он до сих пор не мог прийти в себя от обиды. «Проклятый Иргаш! Это он — гордый верблюди! Второй раз он меня оскорбляет...» — думал Насыров. До сих пор киргиз не забыл удара, нанесенного ему Иргашом в Коканде, в ночь мятежа. «Терпению бывает конец. Теперь награблю кое-что для себя и вернусь к Хамдаму. Никто не узнает, где я был. Заживу богачом».

Насыров гнал безжалостно коня, взмылив его до пены. В этой бешеной скачке он хотел забыть все случившееся. Он прискакал, когда люди в кишлаке еще спали. Насырова удивило отсутствие караулов. Прежде чем объявиться, он решил постучать в дом муллы, чтобы узнать у него, не произошло ли чего-нибудь в кишлаке.

Насыров обошел мечеть. Около нее, в небольшой пристроечке, жил мулла. Насыров тихонько постучал пальцем в дверь пристройки. Заспанный мулла, зевая, вышел и, увидев Насырова, сразу оживился. Он сообщил Насырову о приезде комиссара, а также о том, что

сотня заколебалась, желает сдаться, но все-таки ждет его.

— А если ты сейчас зарежешь приездего, тогда опять наступит порядок! Я знаю, где спит он. Пойдем, я тебя провожу! — промолвил, озираясь, мулла.

Мулла надел сапоги и вышел на улицу. Они пошли на край кишлака. Насыров вел за собой в поводу своего взмыленного коня. По пути Насыров узнал от муллы, что комиссар пришел с помощью Алимата.

— Эта змея обманула все наши посты на сорок верст. Не будь этого предателя, ни одна душа сюда не попала бы, — сказал мулла и прибавил: — Его ты тоже должен резать.

Насыров молчал.

Не доходя до ручья, мулла ткнул пальцем в сторону крайней сакли.

— Здесь, в доме или во дворе, — сказал он и стал пробираться обратно, как вор, прижимаясь к стене, чтобы его никто не заметил на дороге.

Насыров оставил коня у стены и три раза обошел саклю. Выбрав удобное место, он перемахнул через стену и очутился на маленьком дворе.

На дворе, закутавшись в кошму, и в сакле, дверь которой была распахнута настежь, спали люди вповалку.

Киргиз стал обходить спящих, легко переступая через тела. Правой рукой он сжимал нож, спрятанный в рукав. Тех, кто спал на боку или на спине, он узнавал в лицо. Среди них не находилось чужого. Но многие спали лицом вниз или прикрытые. «Не переворачивать же их! Не может быть, чтобы мулла наврал!» — подумал Насыров. Он вышел из сакли и, еще раз обойдя двор, остановился в недоумении. Небо стало серым. Начинался рассвет.

«Если разбудить кого-нибудь и спросить? — размышлял он. — Но кого же спрашивать? Чаймахану, или Камалю, или Исмаилю?»

Он перебирал в памяти имена богачей, которым верил.

«Да, — твердо решил он, — я разбужу кого-нибудь из них, потом с его же помощью отрежу голову комиссару. И тогда сотня — опять моя!»

Насыров вернулся в дом. Он замер у притолоки и только что хотел толкнуть ногой Камалю, как вдруг



среди своих джигитов увидел Юсупа. Юсуп был прикрыт рваным, сальным халатом. Он вспотел во сне, и черные его брови сходились к переносице. «Неужели это Юсуп?» — подумал Насыров. Сердце заколотилось у него в груди, как птица в мешке. Он только что хотел наклониться, как Юсуп вскочил и, выставив вперед револьвер, тихо сказал киргизу:

— Выйдем на двор!

Во дворе Юсуп дружески хлопнул Насырова по спине и удивился, когда Насыров сморщился от боли и даже застонал.

— Что с тобой?

— Ничего, — ответил Насыров.

— Давно не виделись.

— Давно.

— Ну, как пировал у Иргаша? Хорошо он тебя угостил? — спросил Юсуп.

— Хорошо.

— Сытно?

— Сытно, — ответил киргиз и нахмурился.

Они шли вдоль ручья, и Юсуп рассказал Насырову, что сотня сдалась.

— Но они еще ждут меня. Слово за мной, — с некоторой гордостью, показывая, что он здесь начальник, промолвил Насыров.

— Да, за тобой! Но все равно плохо будут драться твои джигиты. Это я вижу. Они — не дураки. Положение безнадежное. В долине стоят мои эскадроны.

— Ты их привел?

— Лихолетов.

— Сашка... — сказал киргиз.

— Да.

— Це-це...

Насыров вытянул губы и взглянул в глаза Юсупу.

Юсуп сам не знал, удался ли Александру его маневр. Но мешкать было некогда, надо было действовать. Юсуп поэтому сказал Насырову:

— Сдаешься или нет? Решай!

— В тюрьму идти?

— Тюрьмы не будет, если ты мне поможешь. Мне надо внезапно окружить Иргаша, чтобы он не успел удрасть, как всегда. С твоей сотней мы это сделаем. А эскадроны пойдут за нами. Хочешь?

— Я подумаю, — ответил киргиз и, отойдя в сторону, сел на камень возле воды, звеневшей по гальке.

«Иргаш — собака и мой враг. И Хамдаму он враг, и я ничего не сделаю плохого, если предаю его», — решил Насыров.

Он поднял голову и сказал Юсупу:

— Хорошо. Приди ты в другое время, неизвестно, что бы вышло...

— Все то, что вовремя, то и хорошо, — заметил Юсуп, улыбнувшись.

Обеспокоенные джигиты появились на дороге. Проснувшись, они узнали от муллы о приезде Насырова и сейчас с трепетом ожидали конца переговоров.

Юсуп, увидав в толпе Алимата, крикнул:

— Пойди сюда!

По веселому голосу Юсупа басмачи догадались, что разговор окончился благополучно. Они как будто дожидались этого: сразу загалдели между собой, зашумели. Многие из них стали приближаться к ручью.

Когда Алимат подошел к Юсупу, Юсуп достал блокнот и написал записку:

«Насыров сдался. Входите! Сообщите комбригу! Юсуп».

Передавая записку Алимату, Юсуп сказал:

— Поезжай вниз! В долине ты встретишь наш разъезд. Отдашь ему это и потом всех приведешь сюда! — Юсуп задумался. — Там уже скажут тебе, что делать. Поезжай!

## 21

Утром Иргаш, ссылаясь на болезнь, отказался принять Джемса. «Афганцу» пришлось обо всем договариваться с Зайченко.

Он сообщил, что на летний и осенний периоды не стоит распускать басмачей, и обещал Зайченко в самое ближайшее время дать ответ на его предложение. Зайченко согласился. Он понял, что Джемс действует по инструкции и не может решить самостоятельно такой важный вопрос.

Передав Джемсу сводку, Зайченко поставил перед ним ряд новых требований. Одно из них (об уплате золотом, а не бумажными деньгами, как раньше) в особен-

ности поразило Джемса. Зайченко объяснил, что советское правительство выпустило твердую валюту и потому бумажки теперь не соблазняют Иргаша.

— Головорезы тоже стали дороже, — заявил Зайченко, улыбаясь.

Разговор шел за завтраком. Прислуживал Мирза.

В беседе с Джемсом Зайченко рассказал ему о всех новостях, случившихся за последний год: казенная цена на хлеб стала выше рыночной — «90 червонных копеек за пуд, а на базаре в нашем районе пуд стоит 40 копеек», — поэтому люди рвутся к земле, вновь засеваются хлопком, государственные агенты раздают задатки, в Голливудной степи пошел первый трактор, из России ввозятся лес, металл, мануфактура, металлические изделия, галоши, стекло; крестьянские союзы — кошчи — почувствовали за своей спиной силу, даже в отдаленных районах осмеливаются спорить с баями; даже женщины вступают в этот союз — узбечки появились на фабриках и в учебных заведениях; женщины, еще в прошлом году выступавшие на собраниях в парандже, сегодня сняли ее, надели кепку и европейское платье; в советских учреждениях собираются горы жалоб — баи еще избивают своих батраков и чайрикеров\*, запирают их под замок, запугивают и даже убивают, но кажется, что конец недалек; все ждут правительственного акта о земле; пятница все еще считается общим праздником, но старые обычаи начинают исчезать; муллы полевели, они читают молитвы за советскую власть и требуют при браках повышения брачного возраста до шестнадцати лет; в газете «Заврашан» 8 марта появилась статья одного из видных улемистов, доказывающая, что Коран никогда не предписывал ношение чадры.

— Вы вчера мне сказали, что читаете советские газеты? — перебил поручика Джемс.

— Иногда читаю. К сожалению, очень нерегулярно, — сказал Зайченко, улыбнувшись. — Доходят они к нам весьма оригинальным путем — от экспедиций.

— То есть как это? Не понимаю. Каких экспедиций? — спросил Джемс.

— Видите ли, в чем дело: большевики принялись за ремонт водной системы. Их разведочные экспедиции попадают к нам. Ну, а у геологов и ученых всегда бывают газеты.

— А что вы делаете с экспедициями?

— Я? Ничего. А басмачи либо их убивают, либо продают в Китай. Я лично получаю только газеты.

— Да, это удобно, — сказал Джемс.

Пришел отряд, с которым он направлялся дальше, и проводники заявили ему:

— Пора уходить!

Прощаясь, Джемс сообщил поручику, что через месяц он направит к нему курьера, деньги и оружие.

— А пока примите кое-какие подарки для вас и для Иргаша, — сказал он, передавая Зайченко выючную сумку.

Когда Джемс отбыл, Иргаш нашел в ней много интересных предметов: духи, дюжину носков, носовые платки, автоматическое перо с плоской банкой чернил, коробку мыла, презервативы, аптечку с хиной и пирамидоном, шерстяную пижаму и маленький Коран, прекрасно изданный, карманного формата, на тончайшей бумаге и в сафьяновом переплете. Иргаш отдал Коран мулле, а все остальное сгреб в кучу и унес к себе в дом.

## 22

Столкновения на передовых, отдаленных заставах Иргаша начались ночью на следующие сутки. Это были мелкие и ничтожные стычки, где люди дрались исключительно холодным оружием. Курбаши, командовавшие отдельными отрядами, не придавали этим стычкам никакого значения. Они узнали джигитов из сотни Насырова и решили, что Насыров, оскорбленный Иргашом, поднял мятеж и хочет покинуть Иргаша. Их не смущало, что Насыров пробивается сквозь левый фланг ставки. Они полагали, что, прорвавшись здесь, Насыров думает вместе со своим отрядом уйти в горы. «Ведь не в долину же ему уходить, там не скроешься!» — рассуждали они. Они были в полной уверенности, что из попытки Насырова ничего не выйдет, и обеспокоились только к рассвету.

Утром, по данным разведки, стало ясно, что фронт слишком растянулся, движение противника можно было обнаружить уже не в одной точке, а в нескольких. Тогда только курбаши сообразили, что за насыровской сотней, идущей в голове, могут скрываться еще какие-то

другие, неизвестные силы. В шесть утра курбаши сообщили об этом Зайченко.

Выслушав донесения, он успокоил начальников отрядов.

Зайченко всегда считал их паникерами и поэтому не очень доверял их донесениям.

— Красных ведь вы не видели? — спросил он.

— Нет, — ответили начальники отрядов. — Но из-за этого праздника по случаю приезда гостя уже двое суток не сменялись передовые охранения.

— Если бы что-нибудь случилось, мы бы узнали, — сказал Зайченко. — На всякий случай приготовьтесь к бою, стяните к ставке огневые средства!

Иргаш спал. Услыхав шум в кишлаке, он проснулся и послал за начальником своего штаба.

— Что там? — спросил он у Зайченко, когда тот явился к нему.

— Насыров хочет сбежать, — ответил Зайченко.

— К Насырову кто-нибудь присоединился?

— Некому. Вряд ли, — сказал Зайченко.

Иргаш замолчал, потом протер заспанные глаза и вздохнул. За последние годы с его ставкой не случилось ничего подобного. В сердце его закралась тревога. Он беспокоился. Но беспокойство это прошло при взгляде на Зайченко. Бывший поручик хладнокровно распоряжался. Через полчаса весь этот шум на левом фланге показался Иргашу самым обыкновенным пустяковым эпизодом, и он попросил Мирзу побрить ему голову.

## 23

Установив связь с Лихолетовым, Юсуп дождался прибытия первого эскадрона Капли. С эскадроном и с насыровской сотней Юсуп двинулся вперед. Снимая эти ми силами все попадавшиеся навстречу сторожевые группы басмачей, он остановился в ущелье, уже вблизи от ставки, дожидаясь, пока к нему подтянется второй эскадрон и еще рота пехоты. Юсуп принял на себя командование всем передовым отрядом, Сашка остался в долине с резервом.

К ночи спешенный эскадрон и стрелки обложили ставку. Ночью все бойцы сильно поморозились. Не по-

могали им ни шинели, ни одеяла. С некоторыми из бойцов были обмороки из-за разреженного воздуха.

Сейчас, при свете солнца, все радовались тому, что успели подойти так близко и что сегодня наконец все должно кончиться. Условия были невыносимы. Артиллеристы по узкой горной тропе почти на своих руках внесли орудие. Несколько десятков человек тянули его на канатах. Одним колесом орудие шло по тропинке, а иной раз и по искусственному выбитому желобу; другое колесо висело в воздухе. Люди и лошади двигались гуськом.

Басмачи, заметив движение отряда, начали его обстреливать.

— Спокойнее! — кричал бойцам Юсуп. — Если кто высунет голову — смерть. Неверно шагнет — смерть.

Бойцы горячились. Командирам приходилось их удерживать.

Юсуп сам выпускал бойцов из-под прикрытия и учил их не торопиться, осматриваться, следить за каждой складкой местности. Они молча выслушивали все эти наставления. Один боец прошел мимо него с закрытыми глазами.

— Эй, — окликнул его Юсуп, — ты что? Помереть хочешь?

Боец молчал.

— Мне покойников не надо. Назад! — закричал Юсуп на бойца и толкнул его локтем.

Боец не ушел; он покраснел и остался стоять подле Юсупа. Его лицо покрылось сетью мелких морщинок, зубы стучали от страха. Юсуп не обращал на него внимания. Каждый из проходивших бросал на бойца удивленный взгляд. Постояв минут десять, боец высморкался, схватился за ремень винтовки и решительно сдернул ее с плеча. Он увидел, как его товарищи карабкаются по крутому склону, опираясь о штыки винтовок. Он выскочил из-под прикрытия, упал на землю и тоже пополз вслед за другими.

Пулеметчики еще ночью, за полтора часа до общего наступления, начали взбираться на гребень горы. Люди лезли туда, цепляясь за каждый выступ руками. Когда щебень выскальзывал у них из-под ног и с шумом катился вниз, они останавливались и отдыхали. К утру все доползли до гребня.

— Батюшки! — сказал Федотка, увидев справа и спереди от себя крутой и глубокий обрыв.

Слева легкий склон вел к плоской макушке, усеянной черными скалами.

— Иргаш... — шептали бойцы, показывая на кишлак, разместившийся за этими природными стенами.

После орудийного выстрела началась атака. Бойцы двинулись вверх. Заставы басмачей встретили их огнем.

«Жвик, жвик, жвик...» — запели пули. В кишлак полетели снаряды. Они разбивали поверхность скал, обдавая штурмующих дождем каменных мелких осколков. Басмачи ответили пулеметным огнем.

— Не торопись, ребята. Спокойнее, — переговаривались между собой бойцы, разрывая ямки для головы прикладом или руками.

Один из красноармейцев не выдержал и вскочил, за ним поднялся другой. Они побежали полусогнувшись. Первый вдруг остановился, завертевшись на одном месте волчком.

— Сволочи, сукины дети, мерзавцы! — завопил он. Кровь фонтаном хлестала у него из горла. — Убью! — захрипел он и, упав, начал стрелять в воздух, пока не сунулся ничком в бледно-желтую сырую траву. Другого подстрелили на бегу. Свалившись, он покатился по крутому склону головой вниз...

## 24

Услышав орудийный выстрел, Иргаш вскочил.

К усадьбе прискакали на лошадях есаулы. Они доложили Иргашу, что за спиной возмущившейся сотни появилась красная пехота и отрезала горный проход, взорвав подъем в гору, а по тропе прошла горная пушка.

Иргаш пожал плечами.

— Что это? — упавшим голосом спросил он. — Почему же наша связь молчала?

— Мы это выясним потом, — сказал Зайченко. — Сейчас мы примем бой... и отобьем их.

— Отбить мало. Надо разбить, — сказал Иргаш.

— Разбить можно только в атаке, — возразил Зайченко, — то есть броситься на орудие. Это невозможно. Всех перещелкают. Участок очень узкий. Надо быть

экономными. Идти в противоположную сторону, в горы, то есть туда, где разрушена дорога, и быть обстрелянными сверху, с гребня, тоже нельзя.

— Все-таки кто-то пройдет, если наладить дорогу, — сказал Иргаш.

— Кто-то пройдет, не спору. Но кто? Неизвестно. Если вы хотите бежать — пожалуйста! — ледяным тоном продолжал Зайченко. — Я подчиняюсь.

— А что ты предлагаешь? — проговорил Иргаш, кусая губы.

— Предлагаю отбить красных. То есть превратить нашу ставку в крепость. Организовать оборону легко. Надо последовательно отражать их атаки. Узнаем, что это за силы. Я не думаю, чтобы их было много. Человек триста — четыреста не больше. На пятой-шестой атаке они выдохнутся. Мы их потесним. Пулеметчики тоже отступят с гребня вместе с остальными.

— А если они останутся?

— Тогда мы пошлем туда один, два, три, четыре отряда и в конце концов уничтожим их сами. Позиция у нас неприступная. Пока они только пугают нас. Ведь важно уйти вам целым и невредимым. Мы это можем сделать, только обеспечив общее отступление, — сказал Зайченко.

— Так... — задумчиво пробормотал Иргаш. — Ты прав. Но если они не пойдут в атаку... Если они решат ждать своих... Что тогда? Если к ним помощь придет...

— Тогда мы в мешке.

Иргаш засмеялся:

— Мешок, по-нашему, нужен только покойнику. Хорошо! Делай пока по-своему, а там увидим!

Иргаш, как всегда в момент боя, успокоился. Взять ставку действительно было нелегко, и бой мог затянуться на несколько суток. Иргаш вернулся в дом, вынул из сумки флакон духов, надел чистое белье и сел на галерейке, ожидая Мирзу.

Начальники отрядов держались в стороне и не подходили к Иргашу. Они о чем-то переговаривались между собой, шептались. Видно было, что они встревожены, возбуждены и боятся глядеть на Иргаша. Иргаш заметил, что среди них возник спор. Он усмехнулся, подумав, что все эти люди невольны, сами не понимая того,

что делают, уже избегают его. «Так было и в Коканде», — вспомнил он и выругался, обозвав их собаками.

Мирза, вытянув вперед безусые, тощие губы, принес подносик. На подносике стояла пиала с водой, лежали бритва и мыло. У Мирзы, когда он переступал через порог, было такое выражение лица, точно он боялся споткнуться. Он был испуган выстрелами и, может быть, поэтому, из-за нетвердости в руке, брея Иргашу голову, сильно порезал ему ухо. Брызнула кровь.

— Что с тобой? Принеси зеркало! Скорее! — приказал ему Иргаш. Он хотел сам осмотреть порез.

Возвращаясь с зеркалом в руках (это было круглое небольшое зеркало, в стальной оправе, прекрасной английской работы), Мирза вдруг споткнулся и выронил его. Оно вдребезги разбилось о каменную ступень галерейки.

Иргаш заметил, что джигиты, стоявшие во дворе, переглянулись (переглянулись же они потому, что Иргаш вдруг побледнел). Он не верил приметам. Но эта примета, означающая у русских смерть, взволновала его. Она была ему известна, потому что он долго жил в России.

Иргаш вымыл лицо духами и вытер кровь, потом позвал палача и на клочке бумаги написал приказ казнить Мирзу. Он обвинил его в покушении. Без письменного документа палач мог отказаться от исполнения приказа. Таков был старый закон в Бухаре.

...На дворе стояла виселица. Там обычно происходили все наказания.

Мирзу, так же как вчера Насырова, подвели к ней и поставили на колени. Скопец опустился. Он улыбнулся, надеясь своей покорной улыбкой умиловить палача, чтобы он полегче бил. Мирза ждал только плетей. Толпа джигитов, жадная до всякого зрелища, окружила Мирзу. Муса сбросил свой халат на землю, засучил рукава и, вытащив из-за пояса нож, принялся его натачивать об оселок тут же, перед глазами Мирзы.

Джигиты переговаривались между собой о самых обычных делах и в то же время не спускали глаз с ножа.

— Скоро будет дождь, — сказал Муса.

— Да, скоро. Птицы летают вниз, — ответили ему джигиты.

Палач был спокоен, и окружающие были тоже совсем спокойны.

— Ты одинокий человек? — спросил Муса у Мирзы.

— Одинокий, — прошептал Мирза.

— Ну вот.. ты помрешь... Попадешь в рай? Да? — пошутил Муса.

— Да, — оспишим, еле слышным голосом повторил скопец. Он все еще надеялся на то, что его только пугают.

Муса задал ему несколько вопросов, не переставая точить свой нож, и медленно приблизил его к глазам Мирзы. Мирза следил за этими движениями. Когда нож удалялся от него, он вытягивал шею.

Кто-то из зрителей сказал:

— Теперь все наши несчастья Мирза унесет с собой.

Продолжая натачивать нож, Муса поднял вверх руки. Взгляд Мирзы последовал за огромными руками палача, как будто он был прикован к повизгивающей стали. Мирза поднял голову и этим невольно открыл шею. В эту минуту Муса вонзил нож ему в горло и распорол его поперек, то есть так, как режут баранов.

Через несколько минут на шею трупа накинули веревку и подняли его на виселицу. Зайченко, выйдя на галерею, увидел болтавшегося Мирзу. Он удивленно посмотрел на Иргаша.

Иргаш бросил на землю пустой флакон из-под духов и вызвал коноводов. Он даже не взглянул на труп. Вместе с Зайченко он решил объехать отряды и лично поговорить с джигитами. Он был накален, как шашка, опущенная в пламя. Казалось, что брызги на него водой — и вода зашипит. Никто не осмеливался ни подойти к нему, ни спросить его о чем-нибудь.

В ту минуту, когда Иргаш и Зайченко вскакивали на коней, над ставкой загудел самолет. Со всех сторон загремели по самолету выстрелы. Выстрелы не причиняли ему вреда. Какой-то темный предмет промелькнул в воздухе и хлопнулся на землю.

Джигиты опрометью бросились в сторону. Они думали, что это бомба. Конь Зайченко испугался, дал свечку. Зайченко не мог как следует удержаться и внезапно соскользнул с седла. Джигиты не успели подхватить его. Взбешенный Зайченко, вставая, вытер лицо полым халата и погрозил самолету кулаком.

Предмет оказался связанной гимнастеркой. В ней был спрятан пакет. Его принесли Иргашу. Иргаш передал пакет Зайченко. Пакет был обклеен облатками. Отковырнув их, Зайченко прочитал:

«Иргаш, довольно крови! Я предлагаю тебе сдаться миром. Не сдашься, на аллу не надейся, буду бомбить с неба. Джигитов лихих пожалей! Обещаю сдавшимся джигитам свободу.

*Комбриг Лихолетов».*

«Прав Сашка, пришел час смерти! — подумал Иргаш. — Ну что ж, я теперь уйду на тот свет». Он в душе будто обрадовался тому, что у него вырвали последнюю надежду и что теперь, когда кончены все расчеты, он свободен по-настоящему.

— Самолет еще не страшен. Понесем потери, но провремся, — заметил Зайченко, желая успокоить Иргаша.

— Калека! Зачем! — Иргаш засмеялся. — Как будешь биться? Опять свалишься! Нет в тебе гордости.

Смехом своим он никак не хотел обидеть Зайченко. Просто в эту минуту все старания Зайченко показались ему ненужными и лишними.

Зайченко покраснел, скатал записку в шарик. Бросил его. Затем, ни слова не говоря, ушел в свою кибитку, на конец кишлака.

Иргаш подозвал к себе есаулов.

— Передайте джигитам мою благодарность! — торопливо сказал он. — Русские обещают им жизнь. Им это главное. А мне...

Он махнул рукой, так и не закончив своих слов, потом потер лоб под чалмой, как будто у него болела голова. Брезгливо взглянул на своих курбаши.

Старые и молодые начальники молча толпились около него.

— Пусть курбаши выйдут к русским! — тем же торопливым голосом продолжал Иргаш. — Пусть скажут, что я кончил драться. Отойдите от меня! — Он повернулся лицом к толпе джигитов. — Прощайте.

Муса, увидав нож в руках Иргаша, испугался.

— Опомнись, ты мусульманин! — закричал он.

Иргаш проколол себе сердце и, не качаясь, упал тут же, как столб. Когда сотники окружили его, он еще

имел силу перевернуться на бок и закрыть лицо полкой своего зеленого халата. Вскоре на груди шелк почернел от крови... Жестокий и дикий человек умер...

Когда трясущийся Белуха прибежал в кибитку к Зайченко и сообщил ему о сдаче и самоубийстве Иргаша, Зайченко крикнул:

— Жгите все, всю канцелярию!

Через минуту возле кибитки вспыхнул огромный бумажный костер, а пишущая машинка была зарыта в землю.

Самолет кружил над ставкой до тех пор, пока курбаши не вышли к эскадрону и пехоте, осадившей кишлак. Увидев условленный сигнал ракетой, самолет покачал крыльями со стороны на сторону в знак приветствия и повернул обратно, взяв направление на Шир-Абад.

## 25

Всегда, во всяком человеческом сообществе, находятся такие люди, для которых похоронные или свадебные хлопоты представляют интерес. Так же случилось и в ставке. И здесь нашлись люди, азартно схватившиеся за похороны Иргаша. Они выполнили весь похоронный обряд, они же сообщили в бригаду, осадившую ставку, о смерти своего главаря и о готовности к сдаче. Зайченко отстранился от всех переговоров.

В этот же день труп Иргаша омыли, убрали и поставили в доме. Он лежал, одетый в две белые рубахи без рукавов и в камис, так назывался погребальный мешок из белой бумажной материи, подвернутой и завязанной на голове и в ногах. Подбородок Иргаша был подтянут косынкой, чтобы не отвисла нижняя челюсть. Даже после омовения от трупа пахло духами. Труп, прикрытый ковром, положили на носилки и понесли вперед ногами. Во дворе подошел к носилкам мулла и начал читать суры \* из Корана. После прощания похоронная процессия двинулась мимо виселицы, на которой еще болтался, всеми забытый, несчастный Мирза...

Могила была выкопана за кишлаком. Дно ямы было так скошено, чтобы покойника можно было опустить в нее в полулежачем виде и таким образом покойник мог «глядеть» в сторону Мекки. Перед тем как зарыть

могилу, мулла заставил одного джигита семь раз повторить, что он принимает на себя все грехи Иргаша. Это полагалось по обряду. Потом все отошли от могилы, и мулла остался один возле нее. Чтобы прочитать последнюю молитву, надо было подойти близко к яме, заваленной по краям влажными комьями земли. Мулла подошел осторожно, на цыпочках, стараясь не запачкать грязью своих щегольских желтых сапог. Когда он кончил обряд, джигиты начали забрасывать яму землей. Рассыпающиеся комья мягко шлепали по труп, завернутому с головы до ног в матерiu.

Необычная смерть Иргаша вызвала среди его приближенных споры. Мулла плевался, упрекая его в том, что он поступил не по Корану, что он должен был терпеть все ожидавшие его мучения. Курбаши оправдывали этот поступок, доказывая, что Иргаш был в полном сознании, «но во время джихада самоубийство воину разрешается, если он не хочет сдаваться в плен, — уверяли они. — Он убил в себе человека, знающего все тайны других, и тем спас всех. Аллах внушил ему эту мысль... Аллах!»

Ни эскадрон, ни пехота в этот день не зашли в кишлак. Туда явился только один Юсуп, даже без конвоя. Тело Иргаша пронесли мимо него. Он присоединился к процессии и проводил труп до самой могилы. Вечером, когда похороны кончились, Юсуп собрал начальствующий состав Иргаша и указал порядок сдачи. Сдача была им назначена на следующий день.

Курбаши, молча выслушав Юсупа, приняли его предложение. Юсуп заметил, что некоторые из присутствующих как-то по особенному переглядываются с молодым муллой.

Огладив свою черную жесткую бородку, мулла обратился к Юсупу.

— Мы сдаемся, потому что Иргаш завещал это нам, — любезно сказал он.

— И сообщил об этом джигитам, — добавил Юсуп.

— Да, да, правильно... — подтвердил мулла с улыбкой, показывая, что он и не собирался этого отрицать. — Но аскерам обещана свобода. А нам что? — спросил мулла.

Его слова тотчас же были подхвачены одобрительным гулом всех курбаши и есаулов.

— Вы понимали всё, они — ничего. Надо же быть справедливыми! — сказал Юсуп. — Но и в наказании есть степени. Вы — умный человек. — Юсуп тоже улыбнулся мулле. — Вы один стоите ста есаулов. Так как же вас равнять с простыми джигитами? Но всем я обещаю милостивое снисхождение, выгодное для вас. Подумайте об этом!

Курбаши стали переговариваться друг с другом. В общем, они пришли к согласию, за исключением муллы и некоторых его сторонников, боявшихся суда. Эти, как понял Юсуп, наблюдая за ними, согласились на сдачу только из необходимости, не видя другого исхода. Они были в ничтожном меньшинстве.

Юсуп решил, что сейчас ему следует крепко взять власть над лагерем в свои руки, что он не смеет покидать его. «Мало ли что может произойти ночью? — подумал он. — Ввести сейчас эскадрон, ночью, тоже опасно. Это может озлобить джигитов, да и гарантии нет. Останусь здесь я. Рискну. Это сдержит».

И он объявил собравшимся, что остается ночевать в ставке.

Курбаши сразу засопели, зашумели, некоторые упрекнули Юсупа в том, что он не доверяет им, и говорили о своем дружеском настроении.

— Все это так, — с усмешкой сказал Юсуп, — но на дороге хорошая палка лучше неизвестного друга.

Муллу ласково улыбаясь, разъяснил Юсупу, что любой головорез может совершенно безнаказанно расправиться с ним, так как для кочевника убить человека легче, чем примять сапогом траву.

Юсуп, выслушав всех, внимательно оглядел каждого из присутствующих (он заметил, что есаулы молчали). Он остановил свой взгляд на мулле и спросил его:

— Вы боитесь за меня?

— Да, конечно, — ответил ему мулла.

Муллу поддерживали все остальные.

— Вы подчиняетесь мне?

— Подчиняюсь.

— Молодцы, — сказал Юсуп. — Тогда вы знаете обычай: если сдаются командиры, сдается и войско. Завтра день серьезный. Надо, чтобы завтра все катилось как по маслу. И я не хочу слышать ни о каких головорезах.

Вы — командиры. За каждую каплю крови вы будете отвечать своей головой. Ясно вам?

Курбаши нахмурились.

— Ну? — крикнул на них Юсуп. — Поняли?

— Поняли, — ответили они.

— Тогда идите! — сказал Юсуп.

Курбаши, взволнованные неожиданным для них приказом, удалились.

Юсуп спросил джигитов, стоящих тут же на дворе:

— Вы все слышали?

— Да, — ответили они.

— Приготовьте комнату Иргаша! Я буду спать у вас.

Джигиты не осмелились ослушаться. Среди них пошли разговоры, что комиссар принял над ними командование. Уверенность и настойчивость комиссара понравились басмачам.

Всюду пошли толки об Юсупе. Джигиты толкались возле курганчи, где остановился на ночлег Юсуп, и заглядывали к нему в окна.

В комнате Иргаша все оставалось по-прежнему, как будто Иргаш был жив. Свернутые в одеяло постельные принадлежности лежали на маленьком толстом коврике; тут же стоял чемодан и лежали походные сумки. И всем казалось, что Юсуп действительно заменил умершего.

Через час возле курганчи выстроился отряд джигитов. Они отогнали от окон любопытных.

К Юсупу явился есаул отряда и доложил, что он явился для охраны. Юсуп посмотрел на высокого босого юношу и спросил:

— Что говорят в лагере?

Юноша осклабился:

— Всех не переслушаешь!

— В бригаду ко мне хочешь?

Есаул покраснел и принялся благодарить Юсупа.

— Я возьму тебя. Позови ко мне русского офицера!

Есаул ушел.

На дворе джигиты опять разожгли костры и расселись возле них. Эти люди, оборванные, исхудавшие, впервые сели к огню спокойно. «Что случится завтра — грабеж, смерть или казнь?» — так думали они всегда. Сегодня об этом никто из них уже не думал.

Ночь выпала холодная. Звезды застыли в небе.

На дворе кричали и ругались раненые. Среди них ходил какой-то рваный бродяга, которого они называли табибом. Он прямо из бутылки поливал им раны йодом. Они скрипели зубами, как будто желая стереть их в порошок. После йода каждый из раненых бинтовался сам либо марлей, либо тряпками, или затыкал рану хлопком. Нашлись и такие, которые заставляли собак выливать им раны.

## 26

Когда Зайченко появился в дверях комнаты, Юсуп сидел на полу около низенького столика и писал донесение. Он сразу узнал вошедшего, бросил карандаш и пригласил Зайченко сесть. Зайченко сел на пятки, поджав ноги, и приветствовал его, произнеся обычный селям.

— Здравствуйте, Зайченко! — сказал по-русски Юсуп. — Вы стали настоящим мусульманином.

— Да? — Зайченко усмехнулся. — Во всяком случае, я не похож на коменданта Кокандской крепости.

Юсуп сделал вид, что не слышал этой шутки. Юсуп смотрел на него и думал: «И это — тот, первый, воспитавший во мне человека? Какая судьба!»

— Простите, я не осмелился явиться днем. Все произошло так неожиданно... — забормотал Зайченко, перебивая мысли Юсупа.

— Очевидно, вы надеялись скрыться в массе? Все равно, гражданин Зайченко, мы бы вас обнаружили. Мы знали, что вы тут.

— Да, да... — Зайченко закивал. — Я и не скрываюсь. Я просто... — Он запнулся. — Я не знал, как мне начать с вами разговор. Скажите, что со мной будет?

— Ваше дело решит Особая комиссия по борьбе с басмачеством. Мы передадим вас трибуналу.

— Да, да... — опять перебил Юсупа Зайченко, — я понимаю, что я — не обыкновенный басмач. — Он сказал это таким тоном, будто объяснения Юсупа вполне удовлетворили его. — Вы теперь прекрасно говорите по-русски, — заметил он Юсупу.

— Я больше двух лет прожил в Москве.

— Что же там, в Москве? Изобилие? Магазины, женщины, рестораны? Все это есть? Это верно, что там танцуют фокстрот?



Юсуп отклонил беседу на эту тему, заявив, что в Самарканде Зайченко все узнает из газет.

— Скажите, — опять спросил Зайченко, — я могу надеяться на какое-либо снисхождение или нет? Я совершил ошибку, я готов работать где угодно, как угодно. Мои знания могут пригодиться в разведке.

— Это решаю не я.

— Да, да... Конечно, конечно... снова забормотал Зайченко.

Он думал, что посещение сложится иначе, и сейчас чувствовал себя совсем раздавленным. Сегодня на побеге он впервые встретился с Юсупом.

В широкоплечем комиссаре, одетом по-басмачески, Зайченко не сразу узнал старого знакомого, мальчишку с кокандского базара. Зайченко, естественно, не мог думать, что теперь Юсуп будет держаться с ним как босногий кучеренок. Это было бы наивно. Но все-таки в нем тлела какая-то надежда на то, что комиссар Юсуп заинтересуется им, начнет расспрашивать, захочет узнать до конца все его приключения. «И может быть — чем черт не шутит, — подумал Зайченко, — облегчит мою участь».

Юсуп же принял его спокойно, не вспоминая о прошлом. Сейчас, кончая беседу, Зайченко почувствовал, что Юсупу действительно не о чем с ним говорить, а ему нечего ожидать от него каких-нибудь послаблений. «Зачем же тогда он меня звал? — подумал Зайченко. — Чтобы удостовериться, что ли?»

Зайченко встал. Встал и Юсуп. Зайченко хотел протянуть ему руку, но вовремя догадался, что этого делать не следует. Он поклонился Юсупу.

— Разрешите идти?

— Пожалуйста! — ответил Юсуп.

— Я вам хотел еще доложить, что позавчера ночью у нас был разведчик... Кажется, англичанин... хотя он это отрицает... Либо это ложь, либо он «двойник»... Выдает себя за афганца. — У него афганский паспорт...

— Мы имеем о нем сведения, — сказал Юсуп с таким видом, будто ему все известно.

Этим он совершенно сбил Зайченко, и тот, чтобы его не заподозрили в сокрытии каких-то тайн, торопливо добавил:

— Я думаю, он недалеко. Не прошло еще и двух суток, как он уехал. Он собирался ехать на Гиссар.

Увидев напряженные глаза Юсупа, Зайченко перестал бормотать.

— Скажите, — вдруг спросил его Юсуп, — Хамдам был связан с Иргашом?

— Нет. Нет, не слыхал. Ведь они старые враги! — с готовностью ответил Зайченко.

— А как попали его джигиты в ваши шайки?

— Кто именно?

— Насыров, Алимат.

— Не могу знать. Случайно. Организационной связи между нами и Хамдамом не было. Но позвольте, разве Хамдам изменил? По-моему, нет? Тогда какая же связь?

Юсуп, ничего не ответив ему, кивнул головой. Зайченко вышел.

Во дворе все еще горели костры. Джигиты варили себе пищу и обсуждали поведение комиссара на похоронах. Здесь же сидели бачи, но никто из них сейчас не пел, не плясал, не веселился. В воздухе пахло салом. Никто не заметил Зайченко, быстро пробежавшего среди толпы. «Болван! — обругал себя Зайченко, придя в кибитку. — Чего я разболтался?»

Он лег на койку. Размышления овладели им. Он старался представить себе суд, разбор дела в трибунале, свое поведение на суде, свои ответы. Но чем больше он думал об этом, тем все хуже и хуже становилось у него на душе. Только физические муки и боль могли бы облегчить его угнетенное состояние. Он вытащил из кобуры маузер. «Как все противно! Как надоела мне вся моя жизнь!» — подумал он, подержал револьвер в руке и с отчаянием сунул обратно в кобуру...

## 27

Сдача состоялась на следующий день в послеобеденное время. Она назначена была на утро, но ее пришлось отложить из-за обильного и бурного дождя. Внезапно пролившись, он напомнил о весне. Воздух после него стал мягким и тепловатым. Солнце грело горы и влажную, скользкую дорогу, но на вершинах сверкал лед.

Басмачи растянулись в рядах по всему кишлаку. После команды «смирно» Юсуп сказал им короткую речь.

Затем отряды гурьбой подходили к знаменщику бригады и сбрасывали около знамени свое оружие: шашки, револьверы, винтовки, патроны. Ножи, как «бытовой предмет», разрешено было оставить при себе. Начальники отрядов, курбаши, приближенные Иргаша и есаулы отходили влево, а простые басмачи — направо.

Через час первый эскадрон и стрелки пошли в Шир-Абад. Туда же поехали начальники басмачей и Зайченко, окруженные конвоем. Второй эскадрон остался в кишлаке, но большая его часть, с Юсупом во главе, должна была отправиться в горы на розыски Джемса.

К эскадронному командиру Капле прибежал Федотка, старшина разведки. Юсуп приказал выделить для Федотки еще один взвод. Капля заорал, будто его ошпарили кипятком:

— Что я вам, рожаю людей взводами? Не дам!

— То есть как это «не дам»? Вы, дяденька, спятили, что ли?

Капля сказал:

— Чем трепаться по разведкам, ты бы, дурак, хоть на фершала учился!

— Во-первых, на фельдшера, а не «на фершала».

— Это несущественно.

— Именно существенно! Вы старый солдат, должны понимать: есть приказ — значит, будет исполнено. Это ведь не мое частное дело. А вы мне про фельдшера толкуете! — Федотка сердито поправил на сапоге шпору: — Блажите вы, дяденька!

— У меня взвод только что набранных киргизов да взвод свежих пополненцев из России. Кого же я дам? — ответил Капля.

Он курил трубку и думал о Федотке. Не нравилась ему Федоткина лихость. Он сам был храбрым человеком, но войны не любил. «Пустое дело! — говорил он про войну. — Из нужды воюешь. А щегольство в этом деле — враг».

Он боялся, что походы и кочевая жизнь, без заботы о завтрашнем дне, окончательно избалуют Федотку. Капля, точно мать, беспокоился о его будущем. Целый день наедине с собой, он так и этак переворачивал все особенности того или другого занятия. Он мечтал о самых разнообразных профессиях для Федотки. Сперва ему хотелось, чтобы из него вышел доктор или инже-

нер, потом ему казалось, что выгоднее пустить парня по авиации, пусть летает. «Хорошо, если Федотка пойдет по партийной линии!» Но в конце концов и это не удовлетворяло его. «Нет, — говорил он себе, — у нас есть много людей, которые хотят быть комиссарами, а не хотят учиться. А я хочу, чтобы он был комиссаром, но я хочу, чтобы он был настоящим комиссаром. Поэтому надо, чтобы он учился».

Достав из переметной сумки две жестяные кружки, Капля налил в них чаю: себе и Федотке. После ссоры он пригласил Федотку пить чай.

Федот пил жадно, обжигаясь, хрустел сахаром.

— Не лакай! — наставительно сказал Капля. — Желудку вредно.

Выпив полчайника, Капля спросил Федотку:

— Ушел шпион? Не поймали?

— Не поймали. Ушел, — ответил Федотка.

Капля засмеялся, будто ответ Федотки доставил ему удовольствие.

Федотка обиделся и сказал:

— А чем мы виноваты? Поймай ты, коли больно ловкий!

— Что ж, возможно! — сказал Капля и опрокинул чайник, чтобы он высох на солнышке. Потом, будто невзначай, спросил Федотку: — Кого дать: киргизов или пополненцев?

Федотка вскочил и закричал:

— Да кого хочешь! Только не томи ты мою душу! Обязательно вам надо помолиться, дяденька!

Отправив бойцов, Капля остался в кишлаке с одним взводом. Последними снялись артиллеристы.

Басмачи быстро расходились по своим кишлакам. Они шли группами и в одиночку, как кому удобнее. Каждый старался стянуть что-нибудь в лагере для своего хозяйства: муку, сбрую, кошмы, скрытое оружие (револьверы).

Ачильбай распустил свою группу (надеяться сейчас на переход через границу было немыслимо). Но старик не огорчился. «Пока я в прибыли», — думал он.

Весь день в ставке стоял шум, из-за дележки вещей поднялись крики, споры и смех.

Под вечер ставку будто вылизало. Все опустело. Скрылись даже собаки. Только кости, объедки, мусор,

разбитые ящики да отбросы остались на месте. Бойцы избегали даже заходить в загаженные дома разоренного кишлака. Они устроились на воле, в палатках.

Ничего не осталось от Иргаша. Сейчас казалось страшным: каким образом так долго длилось это сопротивление? Иргаша зарыли — и с ним будто все исчезло. Только Мирза до сих пор висел на своей перекладине.

Похоронив убитых, эскадрон, вместе с ранеными в санитарных повозках и пленными, спускался с гор на запад. Зеленые заросли, лежавшие по течению реки, темной рамкой охватывали долину. Стайка джейранов, изящных и грациозных животных, похожих на газелей, испуганная грохотом орудийных колес, стрелой пронеслась через дорогу. Некоторые из них, остановившись в отдалении, на скалах, с любопытством глядели на горное орудие. Среди зарослей виднелись какие-то развалины. Они имели вид неправильного четырехугольника и занимали довольно большую площадь. Остатки ворот и крепостных стен угрюмо высились над равниной, как будто вспоминая то отдаленное время, когда эта твердыня служила ее защитой.

Кто-то из бойцов сказал, что эта крепость принадлежала раньше Александру Македонскому и в этих местах на дне бурной реки лежат его воины.

Громадные кузнечики и стрекозы пронзительно стрекотали. Пели птицы, радуясь вечерней заре. Со всех сторон кричали перепела, отвечая на подкликивание самок, притаившихся в душистой траве и кустарнике. Вдали темнела река, как бы врезавшаяся в берега. На лиловом горизонте среди равнины показалась высокая и узкая одинокая гора, похожая на сахарную голову с отколотой верхушкой.

## 28

В конце мая состоялся суд над приближенными и начальниками отрядов Иргаша. Часть арестованных была приговорена к тюремному заключению на разные сроки. Некоторых осудили условно. Насыров, ввиду оказанных им услуг, был вовсе прощен. Зайченко направили в Москву. Там коллегия ОГПУ приговорила его к расстрелу, но потом он был помилован и сослан на десять лет в Соловки.

...Только через месяц после суда Юсуп вернулся в бригаду.

Весну он провел в горах, гоняясь за «афганцем». Но Джемс пропал. Люди, с которыми он вышел из ставки Иргаша, тоже рассеялись. Юсупа измучили эти напрасные поиски, тем более что чуть ли не через неделю он уже понял всю их безрезультатность. Смешно было с целым эскадром разыскивать «афганца». Джемс мог сидеть месяцами в какой-нибудь норе, в щелке, и спокойно выжидать благоприятных обстоятельств. Но начальство настаивало на своем и Юсуп исполнял приказание поневоле. Он с эскадром дошел до Гиссара и готов был двинуться дальше, когда совсем неожиданно пришло к нему распоряжение вернуться.

Возвратившись домой, Юсуп заметил в Лихолетове много перемен.

Сашка оживился. Теперь ничто его не грызло, он уже не ворчал и не сомневался в себе.

Ликвидация Иргаша вызвала среди военных много разговоров. У всех создалось убеждение, что Лихолетов способен не только рубать, в нем нашли большие тактические способности.

Это невероятно льстило ему.

Товарищи смеялись, говорили, что талант тактика открылся в Лихолетове так же, как открывается золото в породе, то есть, промыв двести пудов песку, можно намыть один грамм золота. Но до сих пор никто из них и не старался разыскивать в нем этот грамм.

Юсуп был прав, говоря в первый день своего приезда из Москвы, что Сашка ожирел и распустился. Упрек, брошенный тогда Юсупом, конечно оскорбил Лихолетова. Ему показалось, что «москвич» Юсуп кичится. Это его задело. Самолюбие заиграло в нем. «Юсуп так думает. Значит, так могут думать и другие. Значит, на мне скоро поставят крест. Нет, товарищи! Шалишь! Не дамся!» — решил он.

Вот почему, когда Юсуп, переговорив с Алиматом, предложил Александру план ликвидации басмачей с их же помощью, он, для виду поколебавшись, жадно схватился за это рискованное дело.

Отправив Юсупа к Иргашу, Лихолетов еще сам не знал, чем все это кончится. Он начал выполнять свою

задачу, получив от Юсупа записку. Маршрут Юсупа стал ему известен.

Заслуга Лихолетова была в умелом окружении противника. Незаметные группы всадников, высланные из разных точек района, соединились в ущелье. Агенты Иргаша принимали их за случайные разъезды.

Благодаря такой осторожности Лихолетову удалось сосредоточить вблизи ставки силы, равные двум эскадронам. Туда же, в горы, он провел роту пехоты и оружие. Бойцы шли очень быстрым, форсированным маршем. Это обеспечило успех.

План Лихолетова свелся к системе занятия всего басмаческого района летучими, маневренными отрядами. Одновременное окружение всех банд заставило Александра применить в качестве поддержки воздушные средства борьбы. Он поскакал в Шир-Абад, затребовал самолет и в день общего выступления вылетел на нем.

Машина, конечно, сыграла свою роль. Но не она дала результат боя. Она была для Иргаша только последней каплей, переполнившей чашу. Несмотря на всю свою грубость и стихийность, Иргаш понял, что в конце концов его участь решена, пришел тот срок, когда сопротивление оказалось бессмысленным и все события обернулись против него. Он угадал час своей смерти...

Лихолетов пожинал лавры. Однако он возмутился, узнав, что все это боевое дело приписывается ему. Он говорил, что инициатива принадлежала комиссару Юсупу. Однако сотрудники штаба, настроенные Жарковским, стояли на своем.

— Мы от твоего комиссара ничего не отнимаем, — говорили они Александру. — Он молодец! Но операцию проводил ты. И провел превосходно.

Лихолетов доказывал, что без Юсупа он не провел бы ее.

— Да, Юсуп выказал большую смелость. Но одной смелостью ничего не сделаешь, — возражали ему.

— Повторяю, — говорил он, — в этом деле его идея.

— Идея — идей, но всякую хорошую идею можно загубить. Непонятно, о чем ты споришь? — убеждал его Жарковский, как всегда иронически пожимая плечами.

Так понемножку Лихолетов и сам уверился в том, что без него операция не вышла бы. Но не будь записки от Юсупа, не удайся Юсупу разговор с насыровской

сотней, Лихолетов, очевидно, на все махнул бы рукой, тем более что и командование не настаивало на операции, считая, что она недостаточно подготовлена. Ее разрешили лишь как пробу, как прощупывание Иргаша.

Зато теперь Лихолетов ходил именинником.

По возвращении Юсупа в бригаду он честно рассказал ему обо всем и даже прибавил, что намерен бороться с этой несправедливостью. Юсуп принял его слова очень спокойно, даже рассеянно. Он сказал:

— Какая же несправедливость? Не нахожу. Нет несправедливости. Действительно, без тебя можно было бы загубить все.

— Но ведь идея — твоя, а я за нее славу имею!

— Ты заслужил. Не беспокойся, Сашка! Мое ко мне придет, — сказал Юсуп, усмехнувшись. Он сумел сдержаться и даже не показал виду, что хоть как-то огорчен.

Лихолетов ничего не заметил. Он от всей души был рад тому, что Юсуп, так же как и остальные, хвалит его. Сейчас это было ему вдвойне приятно, и ощущение какой-то неловкости, которое мучило его раньше, совершенно прошло...

## 29

На второй день после прибытия Юсупа в бригаду Юсуп получил приказ из Самарканда выехать туда для доклада.

Накануне отъезда к нему пришел Лихолетов. Он был чем-то смущен, мялся и объявил, что у него есть большое и важное дело, о котором ему хотелось бы посоветоваться.

— Пожалуйста! Какое дело? — спросил Юсуп.

Лихолетов смутился:

— Личное. Принципиальной важности.

— Какое личное? Пожалуйста, говори!

— Я прошу тебя как друга заехать в Коканд, — сказал Лихолетов, покручивая пальцами бороду.

Юсуп удивился:

— Как заехать? Коканд в стороне.

— Да ведь не один день ты пробудешь в Самарканде! Там и отдохнуть тебя заставят. А от Самарканда до Коканда — ночь. Может, самолет попадетсЯ, тогда и

совсем мигом, — пробормотал Сашка. — Слетай! Ну что тебе стоит? Я же летаю.

— А зачем мне лететь в Коканд? — спросил Юсуп.

Лихолетов нагнулся к уху Юсупа и шепнул:

— Варька там.

Юсуп посмотрел на Александра, все еще не понимая, чего тот хочет.

Лихолетов отвернулся и подошел к окну.

За окном показался верблюжий караван. Впереди него брел верблюд-вожак, позвякивая колокольчиком на шее.

Лихолетов медлил, как будто дожидаясь того мгновения, когда караван пройдет мимо.

— Видишь, какое дело, — сказал Лихолетов, набравшись смелости. — Заела меня Варька! Сплю — ее вижу. Не сплю — опять вижу. Сосет! Как заноза сидит во мне! — Лихолетов потряс кулаком. — Честно тебе скажу... Она прямо поставила меня в тупик. Что мне делать, ума не приложу? Как будто она в меня пустила какую-то бактерию.

— Послушай, я в семейных делах ничего не понимаю. О чем мне говорить с ней? Я ведь даже толком не знаю, что у вас случилось, — сказал Юсуп.

— Да и я сам не знаю, — легкомысленно ответил Лихолетов. — Поругались — вот и все. Ну, а мало ли из-за чего можно поругаться. Из-за всего. Курятник, одно слово.

— Да ведь вот мне говорили, что ты ей даже не пишешь!

— Не пишу, — признался Лихолетов. — Да и о чем писать? А теперь мне порадоваться хочется, поделиться с ней. И не могу...

— Разве она в Коканде?

— Да. Я узнавал. Она на летнюю практику приехала в городскую больницу. Я даже знаю, где она живет: все там же, в Старом городе. Блинов ведь в Коканде, в ГПУ.

— Вот ты бы и поехал сам! Возьми отпуск!

— Нет, Юсуп. Она человек с гонором, коза, интеллигентка. Ну, я тоже не лыком шит. Не лаптем щи хлебаю.

— Сашка, но ведь, наверно, виноват ты?

— Ей богу, клянусь тебе, Юсуп! Никакой вины не знаю.

— Ну, так из-за чего же вы разошлись? Говори прямо!

Лихолетов нахмурился:

— Не люблю я об этом говорить.

— Говори, а то не поеду! Обижал? Или нет? Из-за чего у вас расходятся?

— Нет, что ты! Я мухи не обижу. И не пил и не гулял. Не до того было... — Лихолетов, покраснев, принялся соскабливать с гимнастерки пятно. — Впрочем, было. Подвернулась тут одна дивчина...

Юсуп улыбнулся:

— Одна? Мало!

Лихолетов фыркнул, но, сообразив, что смеяться сейчас как будто не совсем удобно, снова принял серьезный вид:

— Дело все-таки не в этом. Не в этом, Юсуп, уверяю тебя. Я знаю, что не в этом, — горячо сказал он. — Вот ты сам увидишь, в чем. Только не в этом.

Говоря с Лихолетовым о семейных делах, Юсуп, собственно, не понимал, что такое измена мужа жене. Ему было известно, что по европейским понятиям есть в этом что-то преступное. Но Коран тоже запрещает пить вино, однако мусульмане пьют. Европейцы говорят о верности своим женам — и живут с чужими.

Вздохнув, он снова спросил Лихолетова:

— А почему все-таки ты сам не напишешь? Напиши! Хорошо будет. Лучше будет, чем я поеду. Позови ее сюда!

— Звать? Нет! — вспылал Александр. — Это она подумает, что я ее умоляю. Нет, лучше слдохнуть! Да я и писать об этом не умею. А ты передай ей на словах: «Сашка, мол, задумал в академию... И перед академией желал бы проститься...» Именно проститься! Так и скажи! Не наладить отношения и тому подобное, а проститься! Я порвал решительно.

Лихолетов будто пропел последнюю фразу (врал он немилосердно).

— Ты с ней поговори дипломатически! Ты же дипломат! Поезжай прямо как полпред! Будь моим полпредом! Ничего ей не объясняй, потому что она хитрая и злючка. Ты только посмотри: какое на нее произведет впечатление?

— А про академию верно? — спросил Юсуп.

— Что верно? Конечно верно, — Александр заговорил нарочито грубым голосом. — Да ты же знаешь все это не хуже меня! Что тебе говорить? Ты же читал предложение штаба?

— Читал, но решения твоего не знаю.

— Мое решение? — Лихолетов фыркнул. — Посылают — вот и решение. Ерунда одна на постном масле! Надо же кого-нибудь посылать. Подходит академия ко мне, как седло к корове, — сказал он пренебрежительно.

Но Юсуп заметил, что на самом деле командировка очень волнует Александра. «Что ж, он прав», — подумал Юсуп.

— Я очень рад за тебя, Сашка. От всей души рад, — искренне сказал он. — Ты способный, только лентяй!

Лихолетов ухмыльнулся. Он в эту минуту даже ощутил некоторое превосходство над Юсупом.

— Учебники достал, — как бы поддразнивая себя, иронически заметил он. — Учитель ко мне ходит. Обучает недоросля. С последнего ума свихнусь. Все равно провалю экзамены.

Юсуп почувствовал, что и на этот раз Лихолетов хитрит, прикидывается, чтобы как-то застраховаться на случай провала. Юсуп понял эту игру самолюбия. В особенности его поразило то обстоятельство, что Сашка тайком занимается с полковыми учителями. «Если он пошел на это — значит, дело серьезное», — решил Юсуп.

— Ладно! Еду в Коканд, — сказал он ему.

За разговором приятели не заметили, как потемнело небо. Не зажигая огня, они улеглись на кошмы. Было жарко. Оба они были почти голые. Спать не хотелось.

Сашка думал, что Юсуп настоящий, хороший товарищ и что его зря обидели. «Юсуп, конечно, еще покажет себя», — решил он.

— Ты в следующую разверстку попадешь! — наивно сказал он Юсупу, желая его утешить.

— Может быть, — уклончиво ответил Юсуп. Он не желал об этом говорить и даже покраснел от Сашкиных слов.

На какую-то секунду у него мелькнула мысль: «А вдруг Жарковский нарочно затирает меня?» Подумав так, он вспомнил свой спор с Жарковским и пове-

дение Жарковского. Но связывать все это сейчас с личными обстоятельствами ему показалось совсем неудобным. Из гордости он запретил себе даже думать об этом.

Размышляя о Лихолетове, Юсуп понял, как много значит одобрение для людей с таким характером, как у Сашки, и как Сашка мог бы заглухнуть, если бы кто-то не поощрял его вовремя. Юсуп не догадывался, что именно он был тем первым человеком, который встряхнул Лихолетова. Именно он, совсем не думая об этом, помог ему...

Юсуп перевернулся на бок, стараясь заснуть, но ничего из этого не получалось. Вспомнился ему Беш-Арык, вспомнились какие-то нерешенные жизненные вопросы. Неприязнь к Хамдаму затихла от времени, и его вдруг потянуло в Коканд...

Он взволновался от одной мысли, что скоро увидит любимые, знакомые места...

У окна, зажав голову в кулаки, безмятежно спал Александр. Рыжая борода его тихонько подрагивала. Он, очевидно, видел сон. «Варьку!» — подумал Юсуп, улыбаясь.

...По пыльной, жаркой ночной улице стайками, как в станице, бродили красноармейцы с гармошкой, напевая казачьи песни. Это был молодой призыв, кубанцы и украинцы.

### 30

Варя считала себя другом Александра и обижалась, когда ее называли женой. Она говорила, что в этом слове есть что-то рабское, старое, приниженное и что для новых взаимоотношений между мужчиной и женщиной требуется выдумать какое-то новое слово. Но не придумывались ни это слово, ни отношения. Все сбивалось на старое, брак был браком. Отношения были нежны и грубы и часто зависели от минуты, от мгновенной вспышки настроения. Все это было внове, все это раздражало ее. Варя вначале думала, что она капризна. Она постаралась смирить свои капризы. Но, смиряя их, злилась и упрекала себя: «Я подлаживаюсь к привычкам Сашки, как любая девчонка, цепляющаяся за мужа. Это гнусно!»

Одинокая и самостоятельная жизнь приучила ее с юности ценить свою свободу. Варя бунтовала сейчас даже не против брака, а против самой себя.

Деятнадцатый год Варя считала своей лучшей порой. Быть вместе и любить друг друга — вот все, о чем она тогда мечтала. Но когда желания притупились и потеряли остроту, началось сожительство. Варя этого испугалась. Рушилось главное — душевная близость. Сутки разделились на две резкие половины. Днем — можно ворчать, вступать в пререкания. Ночь как будто все примиряла.

Несмотря на постоянные размолвки, Варя все-таки считала, что она любит Сашку и даже любит его недостатки. Но все они были терпимы, если смотреть на них издали и только изредка сталкиваться с ними, а не ощущать их непрестанно бок о бок. Она любила бесшабашный, вспыльчивый и легкий характер Сашки, но ненавидела в нем «то», когда он становился мужем. В «то» входили: грубость, себялюбие, невнимательность, равнодушные.

Лихолетов был прав: Варя даже не заметила его случайной измены, даже не оскорбилась. Для нее было гораздо оскорбительнее другое. Изменив ей, он хотел исправить это приливом нежности. «Он сунул мне подачку», — думала она. Но даже и это простилось ему. Ее раздражало самое состояние при «нем», при муже...

«Еще больше я погружаюсь в это рабство, — рассуждала она. — Либо я против измены, либо я даю Сашке полную свободу. Но ведь свобода — вещь условная. Изменяют мужья, изменяют жены. Изменяют тайно или открыто. Но ведь при этом их отношения тоже изменяются. Не могут они остаться прежними. Значит, к чему это сводится? Каждый из нас, в угоду своему желанию, волен вступить в случайную связь. Тогда что же такое наша брачная связь мужа и жены? Чем эта постоянная связь будет лучше или интереснее случайных связей? Может быть, она станет хуже, как связь из привычки? Тогда зачем постоянство?»

Задавая себе такие вопросы, Варя старалась из добросовестности, присущей ей, сейчас же ответить на них. «Ведь помимо физической близости между мужчиной и женщиной еще существует дружба...» — говорила она.

Но в этом своем мнении она всегда ощущала какой-то порок. «Так, конечно, говорят. Но это смешно, — думала она. — Разве друзья должны спать в одной постели?» Она припоминала десятки наивных доводов в пользу такого брака, то есть взаимная помощь, и прочее, и прочее. «Но ведь это кооператив на паях, а не любовь и не дружба».

Варя отказывалась от такой дружбы. «Нет, этого я не хочу, — решила она. — Я люблю Сашку. Я не хочу довести себя до отвращения к нему».

Их жизнь напоминала молчаливый договор людей, заранее решивших, что они никогда не столкнутся. Таким образом, все держалось на молчании. Оба они никогда не верили в то, что сумеют вместе прожить всю жизнь. В их отношениях всегда чувствовалось что-то беспокойное и случайное. Обоих это дергало. Варя изводилась, худела. Лихолетов был недоволен, но нервничал меньше, потому что не хотел, да и не умел, думать об этом.

Вот почему, когда в бригаду пришли путевки, Варя почувствовала, что она спасена. Уезжая учиться, она как бы назначала испытательный срок своей любви.

Александр понял, что в ее отъезде не все просто, что она уезжает не так, как уезжают другие. Он терпеть не мог всяких осложнений, считал это химерами, и поэтому не верил, что из Вариных занятий получится что-нибудь путное.

...Учеба отвлекала Варю от размышлений. Варя была аккуратной студенткой. Учебный год, расписанный по часам, шумная толпа студентов, жизнь, лишенная всяких семейных всплесков, — все это пришлось ей по нраву. Правда, первое время она скучала. Но постепенно привыкла и в Коканд явилась уже отдохнувшей, точно девочка, прнехавшая с каникул.

Ей было грустно, потому что она не нашла здесь никого из старых знакомых. Все разбрелись, кроме Симы. Варя навестила ее. Та по-прежнему служила телефонисткой и ничего в ее жизни не изменилось. Сима как будто застыла. Бывшая подруга показала Варю пресной и скучной. Блинова Варя стеснялась. Кроме того, он вечно был занят. Здесь, в одиночестве, почти на отдыхе, она постаралась уйти поглубже в больнич-

ную практику. Иногда ей вспоминался Александр. Но его молчание ей показалось настолько красноречивым и оскорбительным, что она запретила себе думать о нем.

Встреча Вари с Юсупом произошла совсем неожиданно.

### 31

Юсуп выбрался из Шир-Абада вместе с Алиматом и его семьей. В Самарканде они остановились на двое суток, а затем отправились в Коканд. Ехали долго, с бесконечными остановками.

Железные дороги в те годы только еще восстанавливались. Классных вагонов не хватало, пассажирские поезда составлялись главным образом из теплушек. Кондуктора переходили из одного вагона в другой, путешествуя по крышам, влезали в теплушку на ходу, через люк, прорезанный под самой крышей. Поезда ходили так медленно, что пассажиры, проезжая мимо своих кишлаков, часто не дожидались остановок на станциях, а просто выпрыгивали из поезда на ходу, как с телеги.

Алиमत со своими домочадцами тоже ехал в теплушке — он экономил на билетах. Юсуп решил не отставать от него. Это медлительное, по старинке, путешествие напоминало ему юность.

Поезд с грохотом полз по серой, раскаленной равнине мимо таких же серых кишлаков, сбитых из глины. В долине мелькали сады, запудренные пылью. На горизонте желтели и дымились горы.

Юсупу было приятно бегать на станциях за кипятком, доставать еду для ребят, беседовать по вечерам о том, как устроится жизнь Алимата в Беш-Арыке, найдется ли для него дом, хватит ли у них денег на первое время, а если не хватит — куда следует пойти на работу.

Алиमत высаживался в Посьетовке. Юсуп выбросил ему багаж и помог сойти женщинам и ребятам.

— Передай Артыкматову: я приеду к нему завтра на денек повидаться. Пусть меня ждет! — сказал Юсуп.

Алиमत и женщины помахали ему, когда поезд тронулся. Юсуп остался один. Чем ближе подъезжал поезд к станции Коканд, тем сильнее волновался Юсуп. «О чем я беспокоюсь? — думал он. — Встречать меня некому. Дел в Коканде никаких. Отчего же я так волнуюсь?»

Он объяснял свое волнение все теми же воспоминаниями. Вообще вся эта поездка казалась сейчас погружением в прошлое, и Юсуп не раскаивался в том, что решил отколоть от своей командировки два дня, чтобы провести их так, как ему хочется. «Очень хорошо, что я поехал в Коканд, — убеждал он самого себя. — Мне надо повидать все это. Надо найти Рази-Биби, поговорить с ней. Надо поговорить с Хамдамом. Посмотреть на него. Ведь я был еще мальчишкой, когда поссорился. И поступал безрассудно. Да, да, надо поехать в Беш-Арык и еще раз посмотреть на все».

Приехав в Коканд, он прямо прошел в комнату дежурного по станции и попросил разрешения воспользоваться телефоном (Юсуп хотел сговориться с Блиновым). Дежурный, увидав его петлички, молча показал ему на аппарат. Юсуп позвонил, но ему сообщили, что Блинова вчера вызвали в Москву.

Юсуп очень расстроился. «Жалко, не дал телеграммы! Ну, не судьба», — подумал он и, поблагодарив дежурного, вышел на площадь. Узбеки-извозчики разом накинудись на него со всех сторон. Взяв одного из них, он решил ехать прямо к Варя в Старый город.

Проезжая мимо здания Совета, Юсуп увидел неподалеку от него молодую женщину в голубом коротком (до колен, по моде тех лет) батистовом платье.

Сверкало солнце. Женщина стояла на самом солнцепеке, как будто не замечая полуденного жара.

Юсуп, остановив извозчика, соскочил с пролетки. Варя с изумлением поглядела на военного, шедшего к ней. Юсуп исхудал после похода, лицо у него заострилось. Но когда он улыбнулся, Варя, узнав его по улыбке, вскрикнула и бросилась ему навстречу. Обняв Юсупа, она смотрела ему в глаза, точно не веря, он ли это.

— К вам еду, Варя, — сказал Юсуп.

— Ко мне? — Варя удивилась, скосила глаза, усмехнулась.

— Конечно, к вам! — со смехом повторил Юсуп. Потом прибавил: — Нет. Мне в Беш-Арык надо! Сперва решил в Коканде побывать. Повидать вас.

— Значит, по делам сюда?

— Да. На день.

— Нет, это просто чудо, просто чудо! — непрестанно повторяла Варя, не зная, о чем дальше говорить. Она



тоже взволновалась, сама не понимая, откуда и почему возникло у нее это волнение. — Я тут справку жду... Ладно, возьму завтра... Я только сейчас заеду по дороге в больницу и попрошу подругу заменить меня... Поехали, Юсуп! — весело сказала она. — Мы вместе проведем этот день.

Они сели в пролетку. По дороге Юсуп рассказал Варю о всех событиях в бригаде, но как только он заговорил о Лихолетове, Варя моментально сделала вид, что это ее совершенно не интересует.

«Она без Сашки совсем другая», — решил Юсуп.

— Как живете? — спросил он Варю.

— Вдовею, — ответила она с таким лукавством, что Юсуп захохотал.

Ему показалось, что никогда еще он не видел женщины более красивой, чем Варя. «Почему раньше я этого не замечал?» — подумал он.

Юсуп опустил глаза и увидел голые Варины ноги. Варя была без чулок, в белых, ярко начищенных мелом парусиновых туфельках. «О чем я думаю?» — оборвал он свои мысли и принялся говорить о Москве, о военных курсах, о своем желании учиться дальше.

Варя слушала его очень внимательно, невольно заражаясь его уверенностью. Он так говорил о жизни, как будто она давалась ему без труда, легко и просто, и только маленькая паутина около глаз показывала, что этот двадцатидвухлетний человек уже немало пережил. Но о чем бы он ни говорил, одна непрекращающаяся мысль беспокоила его. Тут же он осуждал себя, понимая, что ему даже думать о Варе как о женщине бессмысленно и ненужно. Он тушил эту мысль и все равно никак не мог отвязаться от нее, «преступной и нехорошей», по его мнению, мысли.

## 32

Юсуп остановился у Вари.

Днем, после обеда, они отправились гулять по Коканду. Юсупу захотелось посетить все знакомые места. Прогулка удалась. Юсуп много шутил, смеялся. Они бродили по городу, зашли в ресторан, чтобы съесть мороженого, в чайхану, чтобы выпить чаю. Варе казалось,

что она давно не чувствовала себя так опьяненно, молодого, легко. Невольно ей вспомнилась юность.

День пролетел незаметно.

В темных улицах пахло пылью, загорелись огни. Варя опиралась на руку Юсупа, Юсуп молчал.

Оба они устали и вернулись домой в том приятном состоянии утомления, которое всегда наступает после хорошей прогулки. В голове пробегали неясные, взволнованные мысли, когда думаешь сразу о многом и в то же время ни о чем не хочется думать.

Варя вошла в дом, чтобы принести оттуда тюфяк, одеяло, подушку. Юсуп должен был спать в саду.

Он стал прислушиваться к тому, как Варя возится в доме. Она отодвигала ящики, что-то доставая. Затем он услышал, как она чиркнула спичкой и зажгла свечу.

Пронесся через сад теплый, нагретый за день ветер, точно дыхание огромного человека. После этого птицы, заснувшие уже, вновь зашуршали в листве деревьев. Летучие мыши, заметив огонь, бесшумно пролетели через галерею. Зазвенели цикады.

Варя раскрыла окно, звякнув задвижкой. Очевидно, от сквозняка растворилась в доме какая-то дверь, хлопнула об стену и запела, качаясь на петлях туда и обратно. Потом Юсуп услышал крик Вари:

— Забирайте тюфяк!

Когда постель была приготовлена, Варя сказала:

— Ну, спите! Здесь всегда снятся хорошие сны.

Юсуп засмеялся.

Было душно, пахло созревающими абрикосами.

На Варе был надет легкий халатик (она уже успела переодеться).

— Варя... — тихо сказал Юсуп, взяв ее за руку... — Мне надо поговорить... Это очень важно.

— О чем?

Варя покраснела, ладони у нее сразу стали влажными. Юсуп увидел, что она опустила глаза, но руки не вырвала. Тогда он сам выпустил ее.

— О Сашке я не все сказал, — проговорил Юсуп.

— Нет, это невозможно. Не надо! — перебила его Варя.

Тон Вари, движение всего ее тела, ее нервный голос смутили его.

— Сашка едет в академию, — точно через силу сказал Юсуп.

Варя приблизилась к нему, и он невольно окинул ее взглядом с ног до головы.

— В академию? — с любопытством переспросила Варя.

— Да. Если выдержит экзамен. Я уверен, выдержит. Хочет перед Москвой заехать к вам.

Юсуп смотрел на ее голые колени.

— Так, так... — тихо шепнула Варя. — Что ему надо?

— Проститься.

— Хвастать хочет? — сказала Варя, обдергивая на себе халатик.

— Варя, это неправда.

— Да, да... Тщеславие! Ну, ладно... И почему все это на меня обрушивается? Обрушились вы неожиданно. Потом оказалось, что вы только адвокат.

Она смотрела на его губы, ожидая, что он ответит. Поняв это, он подумал: «Опять я буду говорить не о том».

— Спокойной ночи! — вдруг неожиданно сказала Варя и быстро ушла в дом.

«Рассердилась?» — подумал Юсуп.

Дом, изнутри казавшийся розовым, вдруг исчез, утонув в темноте (Варя задула свечу). Юсуп разделся, лег, десятки раз переворачивался с одного бока на другой, хотел заснуть и никак не мог.

Обычно Варя спала на террасе, но в эту ночь она нарочно пошла в дом. Спалось ей тоже плохо. Она поднялась, чтобы пойти к Юсупу в сад. Но потом ей захотелось продлить это состояние взволнованности и тревоги. Варя снова легла, немножко поплакала. «Я люблю Юсупа», — подумала она.

Варя стала вспоминать свои уроки с Юсупом, когда она еще служила в бригаде, и любовь свою к Сашке в то время (как будто сейчас она его уже не любила) — любовь большую и невероятную... И она думала при этом, что эту любовь, конечно, разрушил Сашка. Он виноват! И как бы она смеялась, если бы тогда в бригаде кто-нибудь мог сказать, что она полюбит Юсупа! Что же с ней сегодня? Но разве известно, когда любовь начинается, когда кончается, ничего ведь в жизни не бывает сразу. Нет, все это выдумка. «Я блажу...» Ничего не было, они гуляли по городу, вот и все. Он молод и красив. И тут она стала мечтать: а что, если действительно все случится так, что она полюбит Юсупа, и как

у них тогда сложится жизнь? Они, конечно, поедут в Москву, потому что Юсуп должен непременно учиться дальше. Какая у них будет комната? Где? Будут ли дети? Кто (мальчик или девочка)? Только об одном ей совсем не думалось: нравится ли она Юсупу? Ведь он может полюбить так же внезапно, как и она, — здесь она вспомнила о Лихолетове. «Бедный Сашка», — искренне сказала она. И вдруг, сообразив, что все это вздор, она заплакала, жалея теперь себя. Она долго плакала, она вспоминала при этом все, что ей приходило на ум (и жизнь в Бухаре, и порубленную щеку Сашки, шрам на которой он «прикрывал» теперь бородой, и мальчишку-узбека, бегавшего когда-то к Зайченко в комендантский флигель)... Все спутывалось в этих воспоминаниях. Это была совсем не та Варька, решительная и суховатая, которая сумела поставить в тупик даже Сашку Лихолетова. Она долго плакала, желая любви, ясности, а не путаницы, — так в слезах она и заснула.

...Утром она напоила Юсупа чаем. Они почти ни о чем не говорили. Оба торопились: Юсуп спешил на вокзал, Варя — в больницу. Утром все было другим, и Варя тоже была другая. Она посмеивалась совсем иначе, чем вчера ночью, и глаза у нее были утренние, будто вымытые мылом.

Расставаясь с Юсупом возле больницы, Варя сжала Юсупу руку.

— Я все-таки напишу Сашке, — сказала она. — И спасибо вам за то... — она не докончила фразы. — Хороший вы человечина! Ну, желаю вам счастья! И хорошо, что вы не любите болтать.

Она крепко поцеловала его и скрылась в подъезде.

Всю дорогу, пока он шел до вокзала, и по пути в Беш-Арык, пока ехал в поезде, мысли о Варе не давали ему покоя. Он жалел (ничего не зная о мыслях Варе), что эта душная ночь миновала и что она не повторится.

После разгрома Иргаша Джемс ушел в горы, на Гиссар. Все сводки, полученные им об Юсупе от разных агентов, сообщали одно: «Прямой человек, с каждым днем становится опаснее, догадлив...»

Прежде всего Джемс решил рассчитаться с Юсупом за ликвидацию Иргаша. Но ему не хотелось, чтобы Юсупа убили в Шир-Абаде. Надо было создать видимость случая. Для этой цели Джемс надеялся сговориться с Хамдамом и обязать его найти убийц, которые следили бы за Юсупом. По плану Джемса, убийцы должны были подстеречь свою жертву в одном из больших городов, в Самарканде или в Ташкенте, чтобы нападение выглядело обычным городским налетом. Джемс предполагал, что совершение этого акта может состояться не ранее чем через полгода, даже позднее, в зависимости от обстановки.

Для окончательного выяснения всего этого дела он спустился в Фергану и поехал поездом в Коканд. Хамдам даже не подозревал, что его ждет. Он забыл о Джемсе.

Несколько лет тому назад Хамдам еще боялся ареста, теперь же он обнаглел. Однако осторожность приучала его проверять каждый свой шаг, она же воспитала в нем дерзость. Он не выглядел тихоней. Он понял, что жить в открытую и веселее и безопаснее, и перестал стесняться. Хамдам проникал на партийные собрания; он добивался того, чтобы его выбирали на советские съезды; он говорил от имени народа; он всегда устраивался в президиум, носил ордена, был на виду. И всем казалось, что его жизнь каждый может прощупать, как товар, лежащий на прилавке.

Хамдам тоже решил убить Юсупа. Он опередил Джемса. Целую ночь он обдумывал это убийство. Решение покончить с Юсупом возникло в нем самостоятельно, вне всякой связи с Джемсом. Оно родилось в ту самую минуту, когда он узнал от Алимата о приезде Юсупа в Беш-Арык.

Сперва он думал, что Юсупа можно будет подкараулить в поезде или на станции. Но потом отказался от этого плана, как слишком опасного. «Юсупа надо убить в центре Беш-Арыка, неподалеку от милиции, среди дня, на базарной площади. Это самое удобное место. Чем откровеннее — тем лучше!» — решил он.

Чтобы отвести от себя возможные подозрения, он взялся устроить чествование Юсупа. Он сговорился с беш-арыкскими властями; все они были приглашены на встречу с победителем Иргаша. Хамдам понимал, что

и без этого чествования даже тень подозрения не может коснуться его. Он ведь не приглашал Юсупа в Беш-Арык! Да и потом, какой дурак может подумать, что сам начальник милиции устраивает своими силами это убийство?

То, что Юсуп должен быть убит, не вызывало в нем никаких сомнений. Он чувствовал, что в конце концов все может распутаться и этот человек доберется до него. Хамдам боялся, что Юсуп держит его под прицелом. «Не зря же он сюда едет, наверное хочет меня закопать, — думал Хамдам. — Так уберем его с дороги!» Одиночные, неизвестные выстрелы случались и раньше, им не придавали особенного значения. «Ну, еще один случай, какая разница?» — решил Хамдам. — Хотя впоследствии я могу найти какого-нибудь уголовника и примажу его к этому делу. Отличусь. Мне опять будет польза».

Он вызвал Сапара и обо всем с ним условился. Джигит, обязанный ему всем и преданный ему точно раб, даже не удивился этому поручению. Он принял его как необходимость, как долг.

Хамдам, чтобы подкрепить свою просьбу, сказал:

— Я тебе все время оказывал услуги. Теперь ты должен сделать мне услугу.

— Хорошо, сделаю, — сказал Сапар.

— Если будет неудача, если ты попадешься, — молчи. Я тебя освобожу.

— Освободи, пожалуйста! — с благодарностью проговорил Сапар.

### 34

Ранним утром Юсуп прибыл в Беш-Арык. Встречные на дороге не узнавали Юсупа, да и он никого не узнавал. Очевидно было, что за эти годы здесь многое переменилось. Переменились и люди. Кто умер, кто исчез... Менялись и дома: Рядом с глинобитными, глухими, старыми домами Юсуп увидел новый, высокий, с окнами на улицу. Двое рабочих, взобравшись на гребень стены, подводили ее под крышу. Возле дома стояли серые штабеля кирпича-сырца.

Юсуп, поздоровавшись с узбеком-рабочим, спросил его:

— Что строишь?

— Школу, — ответил тот.

— Это очень хорошо, — сказал Юсуп.

— Да, школа — не тюрьма. Скоро люди перестанут кричать: «Мануфактуры, мануфактуры!» А будут кричать: «Просвещения! Просвещения!»

— Совет строит? — весело спросил Юсуп.

— Нет, Хамдам.

Юсуп посмотрел на рабочего. Рабочий, очевидно, заметил изумление в глазах Юсупа, но, ничего не объясняя, отвернулся.

Юсуп зашагал дальше в том бодром, восторженном настроении, когда достаточно мелочи, чтобы на душе стало еще радостнее и веселее.

Пройдя квартал, он наткнулся на другую постройку. Здесь тоже успели возвести только стены. Здание делали по-восточному, глухо, с крошечными окнами и небольшими стрельчатыми арками. Рядом стоял глиняный временный сарай. Возле него какой-то старик рубил ножом ветки. Юсуп спросил у старика, для чего предназначается здание.

Старик подозрительно взглянул на Юсупа и нехотя ответил:

— Мечеть.

— Мечеть? Кто же ее строит?

— Хамдам, — сказал старик и ушел, согнувшись под вязанкой хвороста.

«Начинаются беш-арыкские чудеса!» — подумал Юсуп и, пожав плечами, пошел дальше. Мимо него проехал в таратайке какой-то человек в полосатой кепке, в белой рубашке и в штанах из чертовой кожи.

Большая чайхана на площади оказалась еще закрытой. Юсуп постучался в запертую дверь. Хозяин подошел к окошку и знаками показал Юсупу, что места нет, что вся чайхана заполнена ночующими гостями. Во дворе караван-сарая шумно кашляли и плевались верблюды.

Юсуп свернул в сторону от площади. В переулке стоял дом Хамдама, окруженный большим садом. Юсуп остановился около ворот.

Он почувствовал, как у него забилося сердце. Все сразу вспомнилось: и каждая трещинка в стенах, и зеленые ставни на окнах, и даже скрип ворот.

Возле дома шагал рябой милиционер, обвешанный оружием. Юсуп спросил его:

— Где исполком?

Милиционер показал в противоположную сторону и поправил на плече винтовку. Юсуп уже тронулся дальше, когда милиционер, чем-то заинтересовавшись, вдруг остановил его.

— Елдаш, товарищ... — окликнул он Юсупа, — ты откуда будешь?

«Откуда? Ну что я ему буду говорить?» — подумал Юсуп. Он махнул рукой в сторону Коканда и сказал:

— Оттуда.

— А куда идешь?

— Туда! — Юсуп опять махнул рукой, но уже в другом направлении.

— Документы! — вдруг проговорил милиционер.

Юсуп рассмеялся, однако показал ему свое удостоверение. Милиционер долго рассматривал бумажку, потом, вернув ее Юсупу, снова спросил:

— Откуда ты все-таки?

— Ты же читал! Там все ясно, — ответил Юсуп.

— Тебе ясно, а мне не ясно. Я неграмотный, — сказал милиционер.

— Ну, а мне какое дело? Каждый встретившийся милиционер будет меня допрашивать? Ты что, с ума сошел? Иди ты к черту! — по-русски выругался Юсуп.

Милиционер засмеялся, как будто он был доволен тем, что на него накричали. Он бросился к воротам и, распахнув калитку, заголосил:

— Сапар, Сапар, Сапар!

Из ворот выскочил босой, но в форме милиционера, небритый человек. Юсуп не сразу узнал в нем Сапара. Сапар опух, его красивое лицо было обезображено лишаями. Сапар держал в руке железное ведро и мочалу. Прищурившись, он поглядел на Юсупа, потом, ни слова не говоря, скрылся за воротами и закричал:

— Юсуп, Юсуп приехал!

А вслед за этим на улицу выскочил Хамдам, полуодетый, в одном белье. Он бросился навстречу Юсупу.

— Я тебе рад, как сыну, — сказал он, протягивая к нему руки и кланаясь. — Мой дом — твой дом. Что ты так рано приехал? Я сам собрался встречать тебя. Вот Сапар моет коляску. Мы с почетом хотели встретить тебя. А ты мне весь парад испортил! Скорей, скорей! —

крикнул он женщинам, показавшимся на галерее. — Приготовьте гостю теплую воду помыть ноги! — Потом опять обратился к Юсупу: — Я ведь знал, что ты сегодня приедешь, богатырь, спасибо тебе! Спасибо! — сказал Хамдам, хлопнув Юсупа по плечу.

Странное чувство охватило Юсупа. Хамдам действительно встретил его по-отцовски, торжественно и сердечно. Юсупу неудобно было повернуться и уйти.

— Откуда ты узнал, что я приезжаю? — спросил он Хамдама.

— В Беш-Арыке всё знают, — рассмеялся в ответ Хамдам. — Здесь мы живем без секретов, Алимат вчера заходил ко мне.

— Ну, как? Ты устроил его?

— Конечно. Я взял его к себе в милицию. Дом дал. Женщины принесли теплую воду.

— Я обещал Абиту прийти к нему, — проговорил Юсуп. — Отпусти меня!

— Этого нельзя, — заявил Хамдам. — Зачем ты меня обижаешь? Я не могу отпустить тебя. Стыд мне, позор, если я это сделаю. Артыкматов знает, что ты у меня. Весь Беш-Арык знает, что ты у меня. У Артыкматова нет квартиры, семья большая. А в Беш-Арыке один я принимаю гостей. Все большие люди живут у меня. Неужели ты меня обидишь? Вечером у меня будет той. Все власти будут. Уполномоченный ГПУ будет. Мы будем праздновать твой приезд. Все хотят тебя видеть, — важно закончил Хамдам. — Ведь Беш-Арык все равно что твоя родина!

За спиной Юсупа уже стояли милиционеры, готовые принять от него сумку, плащ, фуражку.

— Раздевайся! Давай вещи! Ты у себя дома, — кричал Хамдам.

### 35

Когда Юсуп вышел к завтраку, Хамдам, показывая на расставленное по столу угощение, сказал, усмехнувшись:

— Ну, ты видишь здесь все, кроме свинины. С нее меня тошнит.

— Да и меня тоже, — ответил, смеясь, Юсуп.

Они сели за стол.

— Жить теперь хорошо, а дальше будет еще лучше, — говорил Хамдам.

Занимая гостя, он вспомнил о голодных годах, о войне с басмачами и прославлял советскую власть. Он познакомил Юсупа с новой молодой женой, молчаливой стройной женщиной. У нее были красивые глаза, но косые, глядевшие в разные стороны, точно от стыда. Сквозь яркое шелковое платье, сшитое по старине, в широкую складку, выдавались ее узкие груди, острыми сосками впивавшиеся в шелк.

— Хороша? — хвастался Хамдам. — Большой калым дал.

— А где Рази? — спросил Юсуп.

— В Андархане, — ответил Хамдам. — Сегодня Насыров ее туда повез. Она больна.

И, не желая больше говорить о Рази-Биби, он быстро перевел разговор на другую тему. Он заговорил об Артыкматове.

— Меня хочет съесть твой друг. Но меня знает высшее начальство. А кто знает Абита? Я вместе с ГПУ уничтожал басмачей. И теперь у меня есть враги. Но я не боюсь. Они хотят съесть мою голову, а выйдет так, что они сами останутся без головы.

— Ты, видно, хорошо борешься за советскую власть?

— ГПУ знает, как я борюсь. Меня завалили подарками. Золотые часы дарили несколько раз. Оружие... — гордо ответил Хамдам. — Когда после областного съезда мобилизовали здесь ответственных работников на борьбу с басмачами, начальство спросило: «А где Хамдам? Почему его нет?» Сам Карим это сказал. И я поехал первый.

Хамдам поднял вверх указательный палец:

— Меня все знают. Я тогда многое сделал.

— А твой джигит Алимат стал басмачом? Нехорошо получилось.

— Нехорошо. Это Насыров виноват. Он подвел. Я послал их в бухарскую милицию. А Насыров пошел в басмачи. Но ведь он помог тебе. Мне рассказали. — Хамдам помолчал. — Я доверчив, — продолжал он. — А ты подозревал меня... Я помню это. Правильно! Всех надо подозревать... Я тоже всех подозреваю.

Сказав это, Хамдам покраснел и стукнул кулаком по столу:

— Что человек? Что есть в мире хуже его? Только Тимур умел править людьми. Русские не понимают жизни.

Хамдам откинулся на стуле, делая вид, что опьянел. Он обдумывал сказанное. Он десятки раз переворачивал в уме фразу, только что произнесенную, по-разному ее расшифровывая, стараясь представить себе, как она может прозвучать для Юсупа. Наконец он успокоился.

— Трудные времена! Но чем трудней, тем веселей, — сказал он, засмеявшись, глядя Юсупу в глаза. — Я мало видал чистых людей, но когда вижу — верю, что они бывают. Это ты... Ты как стекло.

Юсуп посмотрел на дрожащие губы Хамдама. Теперь Хамдам для него был понятнее, чем несколько лет тому назад. Тонем своего голоса, словечками, лестью Хамдам, сам того не замечая, выдавал себя.

Он скользил в руках, как рыба, и Юсупу было противно смотреть на него.

— Я дурной, — грустно сказал Хамдам, будто поймав мысли Юсупа. — Это верно. Я не скрываю своей души. Если бы ты знал мою жизнь! Нет, ты не добрый! Ты тоже злой. Да и нельзя быть добрым! Загрызут! Тут еще много черных людей. Я тебе обо всем расскажу, — пробормотал Хамдам и залпом выпил стакан водки. Потом наклонился к Юсупу, дыша ему в лицо: — Все против Артыкматова. Однажды басмачи напали на него. Чем у него поживишься? Нечем! Голо в доме. Никого не убили. Гости ранили. Одному басмачу было заплачено шестьсот рублей, чтобы убить его. Это я знаю. Я расстрелял этого басмача. Артыкматов — дурак. Так ему от бога положено. Он думает, что я враг ему. Из-за чего? Из-за баранов. Да если бы не я, здесь и советской власти не было бы. Что мне бараны? Если хочешь, я сегодня тысячу достану. Я власть держу. Останься Беш-Арык без меня, тут муллы такое наговорят! При людях они — одно, а без людей — другое.

— А сам мечеть им строишь?

— А ты заметил? Кость надо кинуть, Юсуп. Выпьем!

Он выпил еще водки, ничем не закусывая.

— Все-то ты видишь, — сказал он, улыбаясь и покачивая головой. — Зоркий ты человек. Большой будешь человек. За твою судьбу... — прибавил он и разлил вод-

ки еще по стакану. Сейчас он выпил, уже не дожидаясь Юсупа. — На меня Артыкматов еще донос пишет.

— Зачем?

Хамдам, погладив себя по коленям, ответил неохотно:

— Пойди к нему, спроси! Он уж обвинял меня. Он прав... Я признаю... Прав! Только одного дурак не понимает: в чем дело? Я мира хотел. А он говорит: «Ты деньги брал!» Да, брал... Не отказываюсь. Ничего без денег не сделаешь. — Хамдам плюнул. — Деньги! Я их всегда достану. — Он протер глаза. — Пойдем спать!

Он устал, качался. Теперь он был пьян по-настоящему. Он позвал джигитов. Они стянули с него сапоги. Он лег во дворе под орехом и уложил Юсупа рядом с собой.

— Сейчас жарко. В четыре пойдем к Абиту. Сейчас рано, Абит уехал. А в четыре он ждет тебя. Ждет не дожидается! Хороший старик, глупый как муха. Надоел! — бормотал Хамдам, уже засыпая. — Освежи меня! — приказал он Сапару.

Сапар принес кувшин с холодной водой и лил воду на голову Хамдама длинной, тонкой струйкой. Хамдам кряхтел от удовольствия и даже закрыл глаза. Подложив под щеку кулак, он скоро захрапел на весь двор.

Сапар бросил кувшин и сел на корточки возле Юсупа.

— Пьет наш начальник! — сказал он, подмигнув Юсупу. — Спит много. Иргаша ты зарезал?

— Нет. Он сам зарезался, — ответил Юсуп.

— Сам? — Сапар пожевал губы, удивился, не поверил. — А у нас говорили: ты!

Посмотрев на солнце, Сапар сказал:

— Дежурить пора!

Потом встал, распрямился и пошел к воротам, выставляя ноги, как лошадь, коленками вперед. Пройдя шагов десять, он вдруг обернулся и хотел что-то сказать Юсупу, но, видимо, передумал и ушел в дом.

Из сада слышались осторожные шаги. Юсуп по шагам определил, что где-то рядом бродит между деревьями женщина. Юсуп приподнялся, но никого не увидел. Потом донесся оттуда, из зеленой глубины, женский голос, тихо напевавший песню о бабочке, влюбившейся в огонь. Песня была знакомая, та самая, кото-

рую так часто напевала Садихон. Все джигиты знали эту песню.

Юсуп вспомнил свою мать, она тоже, кажется, знала ее. Юсуп уже забыл лицо матери. Вспомнилась опять Садихон, вышивающая сюзане под орехом. Потом вспомнились Грошик и бунт джигитов. Вспомнилась та ночь, когда он примчался сюда из Коканда, вспомнились объятия Садихон. Вспомнил все свои чувства, и желание отличиться, и Бухару, и жажду славы...

Юсуп вскочил. Больше он уже не мог лежать. Все эти мысли взбудоражили его.

Хамдам тоже проснулся, так как, вскакивая, Юсуп нечаянно толкнул его локтем.

— Не спится? — спросил он Юсупа.

— Да.

Они замолчали, каждый думая о своем.

— А где Грошик? — вдруг спросил Юсуп.

— У Блинова, — ответил Хамдам. — Постарел конь! Василий Егорович отобрал его у меня.

Юсуп засмеялся. Он был рад, что Грошик попал в хорошие, верные руки. Хамдам удивленно посмотрел на него, перевернулся и опять захрапел.

Его приплюснутое лицо с вздернутым носом было спокойно, на висках бились багровые узлы.

Юсупу казалось, что день тянется лениво и медленно. Неподалеку шумел базар. Кто-то яростно торговался за стенами:

— Пять рублей... Четыре... Давай, хозяин, четыре! Три! Хочешь три? Даром! Три!

Потом наступило молчание. Отдохнув, липкий и настойчивый голос начинал снова:

— Два, хозяин? Рубль. Рубль — конец! Хочешь рубль?

Под это взвизгивание и бормотание Юсуп наконец задремал.

### 36

В четвертом часу к воротам хамдамовского дома лихо подъехал на таратайке заместитель председателя исполкома Шипков — веселый, общительный человек, еще не так давно работавший слесарем в Самаре. Сюда он прибыл во время голода в Поволжье. Попросту го-

воря, забрав свою семью, он удрал тогда из Самары. Прожив полгода на кокандском маслобойном заводе, он вступил в партию. Коканд был небогат толковыми и грамотными людьми; вскоре его назначили на советскую работу. Таким образом он попал в Беш-Арык. Абит Артыкматов очень любил своего заместителя.

В обращении с людьми, в привычках, в поведении Шипков остался прежним самарским слесарем. Он был прост и добросердечен. Хамдам, узнав про это, завел с ним дружбу и приучил его к себе.

Артыкматов предупреждал Шипкова:

— Матвей, водка — враг. Погубит тебя.

— Водочка? У человека, друг, миллион врагов. Всех не осилишь, — смеялся Шипков.

— Пьешь ты с плохим человеком!

— С хорошим много не выпьешь, — говорил Шипков. — С тобой, например.

Сейчас Матвей Шипков заехал к Хамдаму, чтобы вместе с ним отправиться на заседание в милицию. Кроме того, Шипкову захотелось взглянуть на Юсупа. Еще вчера Хамдам расхвастался всему беш-арыкскому начальству, что у него остановится комиссар особой бригады Юсуп («человек, поймавший Иргаша»). Шипков был любопытен. Он знал, что вечером состоится встреча с этим комиссаром. Он, конечно, тоже был приглашен на нее. Но ему не терпелось увидеть Юсупа раньше всех.

Отпустив таратайку, он вошел во двор и наткнулся на Хамдама.

Хамдам был уже одет. Рядом с ним стоял Сапар с кувшином в руке. Хамдам утирал полотенцем лицо.

— А где твой гость? — громко спросил Шипков.

— Спит, — ответил Хамдам.

Сапар засмеялся и поставил кувшин на землю. Шипков увидел под орехом Юсупа. Юсуп крепко спал.

— Утром я встретил его на площади. Значит, это он? Да ведь он молодой совсем! — точно удивляясь, проговорил Шипков.

— Молодой, — ответил Хамдам и бросил полотенце Сапару. Потом, взглянув на часы, сказал Сапару: — Пора будить!

Сапар подошел к Юсупу и крикнул:

— Вставай, сейчас тебя резать будем!

Юсуп вскочил. Хамдам расхохотался, вслед за ним засмеялся Шипков.

Хамдам познакомил Юсупа с Матвеем. Смеялись и Сапар и Юсуп. Вместе с Матвеем Шипковым направились в милицию, на базарную площадь. Базар кончался, площадь уже опустела. Разъезжались последние арбы. Встречные почтительно раскланивались с Хамдамом. Около управления Хамдам простился с Юсупом.

— В шесть часов. Не забудь! — предупредил его Хамдам.

— Если Абит захочет, — сказал Юсуп.

— Как не захочет? Все ждут! Я не пить зову, не гулять, а праздник устраиваю в твою честь. Отсюда ты начал жить!

— Абит обещал, — как бы упрасывая, проговорил Шипков и улыбнулся Юсупу.

— Спасибо! — сказал Юсуп, тоже улыбаясь в ответ. Шипков ему понравился. «Славный человек», — подумал он.

Хамдам поднялся по ступенькам в управление милиции и, оглянувшись на Юсупа, еще раз напомнил:

— Смотри не обижай Беш-Арык!

Юсуп кивнул в ответ и прошел мимо табиба-лекаря, сидевшего под дырявым навесом одного из ларьков и смотревшего вдаль на запад, где солнце уже начало терять свой блеск. Над головой туземного врача висела дощечка с надписью: «Лечит все». Рядом с ним, на табуретке, стояли банки с целебными мазями, затянутые тряпочками, и бутылка йода; здесь же лежали мешочки с какими-то порошками, щипцы и ланцет. Мухи ползали по лбу, он не замечал их. Казалось, что он спит с открытыми глазами.

### 37

В кабинете председателя беш-арыкского исполкома были открыты окна. На стене, расписанной трафаретом, висела Конституция. На шкафу виднелся детский школьный глобус. Зачем он здесь, никто не знал. Иногда лишь кто-нибудь снимал его со шкафа и крутил пальцем.

Юсуп стоял у окна и смотрел на площадь. Артыкма-тов сидел за письменным столом. На Абите был белый

короткий халат, белые холщовые шаровары, заправленные в мягкие сапоги. На голове была надета черная сатиновая тюбетейка, вышитая белой ниткой. Абит постукивал пальцем по столу, как бы придумывая: «Что же еще следует рассказать Юсупу?» Ему казалось, что он сообщил уже обо всем самом важном — о своей работе, о своих детях. Но Юсуп старался вытянуть из него еще что-нибудь. Он начал расспрашивать его о Хамдаме. Абит поморщился:

— Ты жадный! Много будешь знать, скоро составишься. Так русские говорят.

Юсуп засмеялся:

— Да ведь Беш-Арык — словно моя родина! Я должен все знать.

— Все? — проговорил Абит и оглянулся, как будто кто-нибудь мог караулить у него за плечами. Потом достал ключ, отпер этим ключом один из ящиков письменного стола, пошарил в нем, вынул оттуда небольшую тетрадку в коленкоровом переплете и, таинственно помахав ею, передал Юсупу.

Юсуп начал просматривать. Он увидел газетные вырезки, наклеенные на листы.

Это была коллекция преступников и преступлений: бая, убившие своих батраков, басмачи, воры-кооператоры, взяточники, бюрократы; здесь же были отмечены потомки Худояр-хана, пробравшиеся обманным путем в Совет. Ненависть и злобу должны были вызвать эти строчки. Дела, запечатленные так неприхотливо и коротко, выглядели обнаженнее, чем в жизни. Это была война, более страшная, чем на фронте, и более опасная, чем бои с басмачами.

Юсуп посмотрел на старика, на его занозистые, колючие глазки и подумал: «Зачем это ему?» Все заметки были помечены подписью: «Махмутов».

— Кто это? — спросил Юсуп.

Абит, наклонившись к Юсупу, испуганно прошептал:

— Я. Начал селькор Махмутов. Его сразу зарезали. Тогда я стал писать. А подпись мертвого. В кишлаках забеспокоились: «Опять Махмутов жив! Жив Голос Бедных!»

Старик улыбнулся, точно торжествуя, и затем вытащил из-за пазухи платок, свернутый конвертом; среди



всяких документов в этом платке он отыскал потерянный листок бумаги. Мелким, почти микроскопическим почерком на этом листке было написано: «О несоветских делах в советском кишлаке».

Один из жителей Гальчи, Баймуратов, убил свою жену. Милиция арестовала нескольких подозреваемых в убийстве. Хамдам за взятку освободил их, он же объявил себя посредником между родственниками убийцы и убитой. Он воскресил старый обычай — денежное возмещение в пользу родственников убитого человека. Все остались довольны: и убийца, и семья жертвы, и начальник милиции.

— Я послал эту заметку. Не напечатали, — сказал Абит.

Юсуп молча взял ее и спрятал в свою кожаную полевую сумку.

— Товарищ комиссар! — вдруг закричали с улицы. Выглянув в окно, Юсуп увидел конного милиционера, гарцевавшего почти у самых окон. — Я за вами. Все гости собрались. Вас ждут. Вы идете?

— Сейчас! — ответил Юсуп.

Милиционер поскакал, взрывая облака пыли.

Наступило молчание. Юсуп задумчиво глядел на пустынную площадь.

— Идем, сынок! — сказал Абит, подходя к нему.

### 38

Сапар стоял за стеной, окружавшей площадь, неподалеку от большой чайханы. Шесть лет назад на этом самом месте, в центре беш-арыкского базара, Юсуп оскорбил его. «Бог видит все», — думал Сапар. Солнце на желтом небе стало лиловым, и желтые дома, сделанные из той же желтоватой земли, как и дорога, также стали лиловыми. Сапар проломал в стене маленькую бойницу и внимательно осмотрел затвор винтовки.

Юсуп и Абит вышли из дверей исполкома на площадь. Зарывшись в горячую пыль, отсыпались на площадях уставшие за день собаки.

— А кто же пишет тебе? — спросил Юсуп Абита.

Абит засмеялся.

— Син. Никому не доверяю. А то, знаешь...

Абит не успел договорить, как по площади раскатились два винтовочных выстрела подряд, один за другим. Старик упал. Юсуп выхватил маузер, но никого не увидел, кроме собак. Собаки, вскочив, завывали. Это все, что Юсуп запомнил. Он даже не слышал третьего выстрела, которым его сразу сбило. Он только ощутил удар. Сапар попал Юсупу в голову, так, как целил.

На площадь выскочили купцы, отдохавшие в чайхане, зарыскали собаки, поднялся крик, прибежали вместе с Хамдамом его гости и конные милиционеры, среди них был и Сапар. Они оцепили место убийства, отгоняя любопытных, быстро сбежавшихся отовсюду.

Из больницы пришли люди с носилками. Абит лежал на земле, раскрыв рот, в котором чернели огрызки зубов. Когда Абита укладывали на носилки, розовое пятно появилось у него на спине, окрасив белый холщовый халат. На Юсупе даже не было видно крови. Обоих понесли в больницу. Конные милиционеры окружили носилки, впереди ехал угрюмый и мрачный Хамдам.

В больнице раздели и Юсупа и Абита. Хамдам составил протокол и забрал себе полевую сумку Юсупа. Абита снесли прямо в мертвецкую. Юсуп был еще жив. После составления протокола Хамдам приказал врачу отправить раненого в Коканд.

— Лучше в Ташкент, — предложил врач. — Доведем — вдруг выживет, не довезем — все равно. Только в Ташкенте можно оперировать.

— Далеко. Вынесет ли? — пробормотал Хамдам.

— А в Коканде этой операции не сделать, — сказал врач.

Хамдам согласился на отправку раненого в Ташкент.

В Коканд послали телеграмму с просьбой выслать отдельный вагон. Врач поддерживал сердце раненого впрыскиваниями камфоры.

Сапар быстро разогнал толпу. Кто-то из детей сообщил, что в минуту убийства на площади находился табиб. Хамдам немедленно арестовал табиба.

Саид-Ахмет, мусульманин, на допросе показал, что он эмигрант из Индии, живет постоянно в Ташкенте, в Старом городе, в Беш-Арык приехал ненадолго, на лето,

работает в Ташкенте четвертый год, выслан из Индии за революционные взгляды, не кончил медицинского факультета Деллийского университета.

Ночью врачи повезли Юсупа, но Юсуп все еще не приходил в сознание.

Ночью же Хамдам собрал к себе на двор милиционеров и объявил им, что они должны дать клятву найти убийцу. Милиционеры поклялись.

Две лампы-молнии, подвешенные к потолку галерейки, освещали стол с вином и закусками, приготовленный для встречи. Гости, после отправки Юсупа опять собравшиеся у Хамдама, ни к чему не притрагивались: всем было не до того. Выпили только несколько бутылок пива. Все были подавлены случившимся.

Шипков сказал:

— Может быть, это месть людей Иргаша?

Хамдам не принимал никакого участия в разговоре. Все видели, что он измучен и потрясен. Время от времени он проводил пальцами по глазам, как бы снимая с них паутину. Он удивлялся своей судьбе, точно помогавшей ему. Однако убийство Артыкматова его тревожило. Он боялся, как бы оно не навлекло на него подозрение. «Известно людям, что Абит — мой враг», — думал он.

Наконец все посторонние оставили дом, все в доме затихло, и дежурные милиционеры ушли к воротам. Хамдам сидел на галерейке, всматриваясь в темноту, и вздыхал. Даже жены не осмеливались к нему подойти.

Он вздрогнул, когда Сапар неожиданно очутился возле него.

— Отец, — умоляющим голосом проговорил джигит, — скажи мне что-нибудь!

— Зачем убил Абита? — вяло, с брезгливостью спросил его Хамдам.

— Ошибся, ствол оказался неисправен, — шепнул Сапар.

Хамдам пихнул Сапара ногой в живот, Сапар присел на корточки от боли и, завизжав как собака, пополз в сторону.

Хамдам до утра сидел на галерейке, потом пошел к молодой жене на женскую половину, чтобы унять свою тоску. Но ничто ему не помогало. Лаская жену, он не

в силах был освободиться от своих мыслей. Он заснул поздно, перед зарей.

Днем Хамдам поехал в Коканд, чтобы разузнать, не идут ли там какие-либо разговоры, нет ли чего подозрительного? Но в Коканде все было спокойно. Юсупом мало кто интересовался, состав кокандских властей изменился, и никто из них не знал Юсупа. Говорили больше об Абите. Некоторые даже сочувствовали Хамдаму и высказывали сожаление, что в его районе случилось такое дерзкое убийство, обещающее столько хлопот. Хамдам всех уверял, что преступники будут разысканы, хотя бы для этого пришлось ему арестовать половину района.

Уезжая из Коканда, он зашел в буфет на вокзале выпить чего-нибудь. К столику, за которым он сидел, подошел какой-то русский, в летнем легком костюме, с портфелем. Он присел к Хамдаму и пролепетал, как бы пугаясь своего голоса:

— Я от Замира. Вы угадали его желание.

Хамдам нахмурился.

— Он благодарит вас.

— Я тебя сейчас отправлю в милицию, — медленно, почти не раскрывая губ, промолвил Хамдам.

Посетитель быстро покинул буфет.

### 39

Следствие пошло вилкой, в две стороны. Одни утверждали, что Юсуп пал случайной жертвой, что террористический акт был направлен не на него, а на Артыкматова, что председатель Артыкматов имел много врагов, и поэтому убийц надо искать в той среде, которая была заинтересована в смерти этого человека. Другие думали иначе. «Конечно, — говорили они, — Артыкматов имел врагов, но ведь сейчас не восемнадцатый год! Враги стали хитрее. Решившись на такое дело, они обрекли бы себя на провал. Они не могли не предугадывать, что после убийства сразу начнут искать виновника в их среде. Неужели все эти взяточники, воры и мерзавцы настолько глупы, чтобы мстить столь наивно? Вернее всего, убийцы стреляли в Юсупа, а несчастный Артыкматов случайно попал под выстрел».

И тот и другой варианты сходились в одном, что убийц было несколько.

Возник еще и третий вариант. Сторонники этого варианта осмелились высказать предположение: «Не Хамдам ли пожелал разделаться с Абитом? Но подосланные убийцы, испугавшись, заодно расправились и с комиссаром Юсупом».

Над этим, третьим вариантом смеялись сторонники первого и второго. Уж очень было смешно! Неужели для убийства Хамдам не мог выбрать другой, более подходящий день? Не говоря уж о том, что самая мысль о Хамдаме — просто вздорная.

Случилось так, что уголовный розыск, еще не разобрав ничего, не приступив еще к выяснению дела, уже очутился в тупике. Следователи никак не могли придумать цели этого убийства.

Кое-что из третьего варианта все-таки просочилось в допросы. Так, например, допрошенный Шипков сообщил следователю, что Хамдам — человек, несомненно, загадочный, но все его действия были продиктованы трезвым учетом обстановки; что же касается его взаимоотношений с покойным Артыкматовым, то здесь не было ничего странного. Хотя Хамдам ясно видел, что Артыкматов ненавидит его, он все-таки всегда стремился к миру с Артыкматовым. Хамдам всюду отзывался об Артыкматове очень хорошо. В день убийства, то есть в день приезда комиссара Юсупа, он, Шипков, слышал от многих, что Хамдам ждет обоих на той, где должно было состояться чествование Юсупа. Об этом знали все в городе. Он, Шипков, также был приглашен Хамдамом.

В протоколе допроса Шипков показывал: «Я спросил Хамдама: по какому случаю торжество? Хамдам сказал: «Сегодня самый радостный день в моей жизни. Я воспитал Юсупа. Я праздную смерть моего врага Иргаша». Хамдам рассказывал мне об Иргаше, за которым он будто бы гонялся всю жизнь и не мог его поймать, а Юсуп поймал его и ликвидировал. Он сказал, что теперь Юсуп для него дороже сына. В Беш-Арыке действительно все слыхали об Иргаше, и местные жители рассказывали мне, что действительно Хамдам враждовал с Иргашом и гонялся за ним».

Вызванные в уголовный розыск милиционеры и старший надзиратель Сапар Рахимов подтвердили эти показания.

Хамдам тоже был вызван к следователю.

Когда Хамдама спросили, являлся ли Иргаш его врагом, Хамдам ответил утвердительно и сослался на Блинова.

Блинову послали по этому поводу письменный запрос сперва в Москву, а потом в Минск (он находился там в комендировке). Блинов ответил официальным отношением:

Начальнику Фоур

В период ликвидации Кокандской автономии и в связи с развернувшимся басмачеством с 1918 по 1924 год на территории Ферганской долины мною неоднократно использовался в оперативной работе Хамдам. Ему давались ответственные поручения, каковые он исполнял. Лично я не помню, в каких он был отношениях с главарем басмачей Иргашом, но он участвовал в операциях против него и добивался, как мне передавали сотрудники, его «головы». За время моей работы в Фергане Х. Х. использовался по целому ряду поручений, о чем прекрасно были осведомлены органы ГПУ.

Справка представляется мною с запозданием, ввиду моего отсутствия в Минске.

## 40

В связи с допросами, с очными ставками, с установлением алиби, дело невероятно распухло. Было привлечено по нему около пятидесяти человек. Были арестованы все те, кто раньше служил у Иргаша, и те, кто считался врагом Артыкматова. Но чем более числилось допросов, чем более записывалось показаний, тем все яснее было видно, что можно исписать несколько тысяч листов бумаги и увеличить дело еще на несколько томов, но от этого истина не приблизится, а действительные убийцы просто потонут в бумажном море...

Старший следователь Гасанов, взявший на себя это дело, не спал ночами. Он увлекся делом, сразу почувствовал его необычность. Он отвергал все варианты обвинения, так как они казались ему чересчур логическими. Он говорил:

— Жизнь полна беспорядка. У жизни есть своя логика, более железная, чем придуманная нами, но не

столь видная невооруженным глазом. Биолог пользуется микроскопом. Свой микроскоп надо иметь и следователю. Надо видеть микроскопические мелочи жизни. В них — всё!

Гасанов отважился на смелое решение. Он прекратил вызов свидетелей и попросил у начальства временно притушить все дело.

— В этой каше сейчас трудно разобраться, и сейчас не надо мутить воду, — говорил он. — Пусть все отстоится!

Дело было бы отобрано от Гасанова и передано другому следователю, если бы все остальные не отказывались от него под самыми благовидными предложениями. Начальник угрозыска скрепя сердце согласился ждать. Среди следователей дело окрестили провальным и посмеивались над беднягой Гасановым (сколько уже было таких выстрелов!). Гасанов терпеливо выносил все насмешки.

Этот человек, казавшийся маленьким, у всех посетителей вызывал улыбку. Люди, знавшие Гасанова, поражались, когда он внезапно вставал из-за стола и вытягивался перед ними. Его длинные ноги были представлены к худенькому, короткому туловищу. Всегда аккуратно одетый (он носил рыжий френч и галифе), Гасанов казался военным, хотя никогда не был на военной службе.

Начальство считало его способным работником, но никто про него не говорил: «Дайте Гасанову, он делает!» Говорили иначе: «А не попробовать ли Гасанова? Может быть, он чего-нибудь добьется?» Часто случалось, что невыгодные в служебном смысле дела попадали именно к нему. Он их разрабатывал иногда удачно, иногда наоборот, но даже в случае удачи успех, достигнутый Гасановым, скрадывался обстоятельствами. И всегда бывало так, что случалось какое-нибудь другое громкое дело, которое вел его приятель. Почему-то все говорили об этом деле и забывали Гасанова.

Надо сказать, что Гасанов сам не любил выжимать из своего следствия эффекты. Он интересовался только сутью своей работы и смотрел на нее как партиец, выполняющий свой долг, как честный человек, желающий найти истину. Связанные с этим служебные выгоды мало

увлекали его. Это был человек решительный и в то же время робкий, малообразованный, но много знавший понаслышке, старый наборщик мусульманских газет, издававшихся еще до революции в Казани и Баку. Молодость он провел на Кавказе, дружил со студентами. Начитавшись Горького, он много бродил по России, перепробовал ряд профессий, был пекарем, гуртовщиком скота, официантом. Только в двадцать четвертом году, после смерти Ленина, Гасанов вступил в партию.

В этом же году у Гасанова родилась дочка. Гасанов оказался заботливым отцом. Двухмесячному ребенку он заготавливал подарки впрок: детские книги, азбуки, куклы. В нем вдруг появилась непривычная хозяйственность. Он никогда не покупал один коробок спичек, а непременно пачек десять сразу. Даже лекарство, не говоря уже о продуктах, он приобретал в увеличенных размерах. Эта страсть к приобретению, это старание заставить вдруг проснулось в бродяге. Как будто Гасанов хотел возместить все за те годы, когда не знал, будет ли сыт, будет ли у него угол, где бы он мог приклонить голову.

Гасанов был упорным, скромным и трудолюбивым человеком. Но после женитьбы сразу изменился его характер. Жена сыграла в этом немалую роль: она привила Гасанову тщеславие. Он стал ревниво следить за успехами товарищей и ждал случая проявить себя. Поэтому с такой жадностью он схватился за беш-арыкское дело и крепко держал его, не отдавая никому.

#### 41

Двадцать первого июля делопроизводитель Майборода доложил Гасанову, что какой-то милиционер из района с утра ждет его в коридоре.

— По какому делу? — спросил Гасанов.

— Не знаю. Он плохо говорит по-русски. Что-то о базаре толковал.

— А ну его! Мне некогда, — сказал Гасанов.

— Да вы примите хоть для виду, минут на пять! А то неудобно! Сидит парень три часа, — уговаривал его делопроизводитель, толстый, тщательно выбритый старик, бывший чиновник ферганского суда. По своему

костюму (краги и старая с круглыми фалдами визитка) Майборода, если бы не его толщина, был больше похож на жокея, чем на чиновника. Ему не хватало только стека.

Гасанов согласился:

— Ну, черт с ним! Давай!

Майборода ушел в коридор и привел оттуда Алимата. Стараясь не стучать тяжелыми сапогами, Алимат на цыпочках подошел к письменному столу Гасанова и воизился в следователя маленькими глазками.

— Садись! — сказал Гасанов.

Алимат сел.

— Какое у тебя дело?

Алимат смутился.

— Не мое дело, — вздохнул он. — Общее дело.

— Снимите фуражку! Здесь не мечеть! — брезгливо сказал делопроизводитель, оглядывая посетителя сквозь пенсне на широком черном шнуре.

Алимат, сдернув фуражку с головы, положил ее себе за спину на стул.

— Ну, рассказывай! Кто ты такой? — спросил его Гасанов и взял перо.

— Я из Беш-Арыка. На базаре мой пост.

— Ну и что же? — Гасанов, задавая вопросы, даже не смотрел на Алимата. Он быстро подмахивал бумаги, подготовленные ему на подпись. — Как тебя зовут?

— Алимат Алимов.

— Давно в милиции?

— Давно. Потом басмачил три года. Теперь в милиции месяц.

— Только месяц? А до этого — басмач? Где же ты басмачил?

— У Иргаша.

Гасанов бросил перо:

— Ну-ка, расскажи все по порядку!

И Алимат подробно рассказал ему всю свою жизнь. Когда он кончил рассказывать, Гасанов, внимательно взглядываясь в его глаза, спросил:

— Значит, тебя простили за услуги?

— Да, — ответил Алимат. — Теперь я стою на базаре. Базар — мой пост в Беш-Арыке. Слышу, люди говорят. Говорят раз. Говорят два. Говорят три. Я пришел тебе сказать.

— Что же говорят люди?

— Много.

— Что именно?

— Хамдам убил, — сказал Алимат и закрыл глаза. Открыв их, он увидел улыбку следователя.

— Все эти слухи, о которых ты говоришь, нам известны. Но ведь ты бывший басмач? — сказал, точно не доверяя ему, Гасанов.

— А Сапар? А Хамдам? — горячо перебил его Алимат. — Я-то знаю, что Хамдам боролся против советской власти. Сидел!

— В восемнадцатом году? Мало ли что было в восемнадцатом году! А потом?

— Не знаю.

— Вот видишь! Ты сейчас служишь у Хамдама?

— Да.

— Почему ты служишь у Хамдама, а сам показываешь против него?

— Я не против него, я правду говорю. Я сам видел через пять минут после убийства бойницу в стене.

— Бойницу?

— Да. В стене на площади. Я стал показывать. Хамдам молчит. Я говорю: «Надо сказать об этом». — «Хорошо», — сказал он. Я потом его спросил: «Сказал ты?» Он сказал: «Сказал». Теперь бойницы нет. Заделана!

— Ты думаешь, что слухи правильные?

— Народу верю.

— Кого называют? Ведь не сам же Хамдам стрелял?

— Не сам.

— Тогда кто?

— Не знаю. Свои! Насыров Козак. Или кто? Кто раньше у него служил...

— Насыров был в эти дни в Андархане. Он сопровождал жену Хамдама.

— Да, Насыров не был. Ну, Сапар! Ну, еще есть люди, которые у него в восемнадцатом году были. Сейчас вся милиция новая. Новые джигиты. Старики теперь начальниками стали. Они председателями сельсоветов служат. Тут не Абита били. Тут Юсупа били.

— А как Юсуп относился к Хамдаму?

— Плохо. Сапар не скажет. А я помню!

— Почему? Они ссорились? Что между ними было?

— Це-це! Если бы я знал!

— Скажи, Алимат... Это дело серьезное, ответственное... Ты можешь лично назвать имена тех, которых ты подозреваешь? Можешь перечислить их? Но я тебя предупреждаю, ты должен не только подозревать, но быть убежденным в своем подозрении.

— Как быть убежденным? Своими глазами видеть? Тогда зачем ты? Я бы сам всех зарезал! Без тебя.

Следователь отпустил Алимата. Вечером он долго совещался со своими товарищами; он объяснял, что слова милиционера действуют на него почти гипнотически.

Товарищи пожимали плечами. Некоторые говорили, что не следует трогать Хамдама. Другие — что базар есть базар, мало ли там болтают глупостей. Третьи считали, что этот бывший басмач просто подослан убийцами, чтобы еще более запутать следствие. Четвертые весь разговор с басмачом называли бредом.

Всю ночь Гасанов не мог заснуть, а утром он написал ордер на арест Сапара Рахимова и еще трех милиционеров, старых прислужников Хамдама. Он будто прыгнул в ледяную воду, когда выпустил ордер из рук. «Что делаю — не понимаю, но так именно и надо поступить», — подумал он.

## 42

Арест Сапара прогремел в Беш-Арыке точно взрыв бомбы. Обыватели, шепотом говорившие о Хамдаме, подняли головы. Пыльный, ничтожный Беш-Арык наострил уши, ожидая событий. Шипков, опомнившись, вдруг отошел от Хамдама и сообщил приятелям: «Ребята, шьется дело!» Хамдам приостановил постройку мечети. В чайных пошли разговоры о том, что Хамдам жалуется всем на несправедливость советской власти. Действительно, он приходил в райком и просил разъяснить ему происхождение слухов. Там пожали плечами, отозвались незнанием, сославшись на Коканд. Он стукал кулаком по столу и орал, не стесняясь: «Советская власть использовала нас и выбросила!»

Росли сплетни, усиливался шепот. Многие, чтобы обезопасить себя, вдруг вспомнили все старые обиды и навалились на Хамдама. Соучастник его подвигов в еврей-

ском квартале Коканда показал следователю, что в 1919 году Хамдам поймал одного из начальников басмачей, издевался над ним и потом отправил в Коканд, а жену, красивую и необыкновенную женщину, приказал привести к себе на ночь, изнасиловал, мучил, а потом расстрелял под предлогом связи с басмачами. Так же говорилось о расстреле Дадабая, с которым Хамдам расправился, будто бы боясь его разоблачений. В кишлаках его бывшие джигиты рассказывали, что когда их полк был направлен в Таганрог, туркестанское правительство прислало им в подарок вагон сушеных фруктов и вагон риса, но все это по дороге Хамдам будто бы продал и они не получили ничего. Мелочь путалась с серьезным...

Хамдам, похудевший, желтый и мрачный, не выходил из дома, закрылся от людей, запер жен, отобрал от них драгоценности. Часть слухов, конечно, докатывалась до него. Во всех кишлаках сидели его люди, обязанные ему должностью, или услугой, или молчанием, так или иначе преданные ему. Преувеличивая или недоговаривая, эти люди сами создавали глухой шум.

Хамдам почувствовал тревогу, но держался твердо. Однажды утром среди бумаг Хамдам нашел отношение ферганского угрозыска. Следователь Гасанов просил его «лично прибыть для некоторых дополнительных объяснений в связи с новыми обстоятельствами по делу убийства председателя исполкома, товарища Артыкматова, и покушения на убийство комиссара бригады, товарища Юсупа». Эти простые канцелярские слова ударили его как пуля. Он побледнел, кинул бумажку и позвонил по телефону в Коканд, где Карим Иманов. Ему ответили, что Иманов в Коканде, а завтра вечером уезжает в Самарканд. «Передайте Кариму, — сказал он, — есть большое политическое дело. Завтра я приеду утром. Говорил Хамдам».

Он решил выйти навстречу опасности. Хамдам экстренно вызвал к себе председателей сельсоветов. Все прибыли аккуратно. Он ни с кем из них не говорил предварительно, хотя некоторые приходили к нему на дом; ведь большинство из них в той или иной степени были его ставленниками. Собрание в милиции назначено было на пять часов вечера. Он заставил всех прождать его до девяти.

Люди гудели в темном кабинете, как встревоженный рой, испуганные, взволнованные, истомленные. Кабинет наполнился запахами садов и земли, запахом сада и дыма. Наконец два милиционера вошли в комнату и внесли две лампы. Другие двое встали у дверей. Вслед за ними появился Хамдам, вооруженный, одетый как на парад, с орденами. Все встали. Он прошел к письменному столу и сел, не здороваясь.

— Садитесь! — сказал он.

Все увидели, что он не изменился. «Все слухи ложны», — подумали приглашенные. Никто бы из них не поверил, что только усилием воли Хамдам стряхнул с себя болезнь. Румянец играл на его щеках. Он был спокоен. Лишь багровый цвет лица выдавал напряжение. Каракулевая кубанка с красноармейской звездой была отважно сдвинута на затылок. Хамдам, прищурясь, посмотрел на лампы, потом на собравшихся и сказал обычным голосом:

— Спасибо, что пришли! Я решил, что говорить нам не о чем. Я хочу только известить вас: ГПУ поссорилось со мной. Все ясно. Я сейчас еду в Коканд и, наверно, буду арестован. Если вы узнаете, что я арестован, устройте массовое выступление всех кишлаков, Карим ждет вас. Он за меня. Идите к нему! Он все сделает. — На секунду Хамдам задумался, почесал бородку. — И не уходите до тех пор, пока меня не выпустят! — Потом, хлопнув ладонью по столу, он простился с председателями.

У крыльца стояли верховые лошади. Он вскочил на своего коня и, пригнувшись к передней луке, не оглядываясь, промчался через Беш-Арык, а за его спиной неслись два милиционера. Изумленные жители провожали его взглядами. Весь Беш-Арык заговорил об исчезнувшем Хамдаме.

## 43

Когда в бригаду пришло сообщение о случае в Беш-Арыке, Лихолетов, не долго думая, захотел вылететь в Коканд, но вслед за этим сообщением прибыла телеграмма из Ташкента. Ташкент извещал, что товарищ Юсуп находится здесь на излечении. Переменить маршрут, конечно, ничего не стоило, но округ запретил Лихо-

летову покидать бригаду, так как в июле ожидался переход через границу нескольких контрреволюционных групп.

Тогда Александр решил непосредственно снестись с клиником. Главный врач каждую неделю, по его просьбе, посылал ему телеграмму, извещая, что «положение прежнее». Лихолетова эти известия измучили. Он решил лично, своими глазами увидеть Юсупа. Наконец в первых числах августа он добился отпуска на пять дней и вылетел в Ташкент.

Прямо с аэродрома он поехал в клинику. Его провели в приемную главного врача. Александр просил, чтобы ему дали возможность повидать Юсупа. Доктор Самбор отказывался.

— Головное ранение! Так что, вы сами понимаете, какое это состояние, — говорил он.

— Операция удачна? — спросил Лихолетов.

— Профессор Юрезанский — наш лучший хирург, — уклончиво ответил Самбор. — Но ведь тут дело не в одной операции! Предстоит длительное лечение. Я думаю, что потребуется еще и повторное оперативное вмешательство. Кроме того...

Самбор внезапно замолчал. Он подумал, что вряд ли здесь, в Ташкенте, они рискнут на такие сложные операции. Всем своим видом, неуверенным тоном, пожатием плеч, неопределенным выражением лица главный врач как бы показывал Лихолетову, что он не знает исхода, что они, по существу, не лечат, а только наблюдают больного, Самбор сказал:

— Все зависит от природы. Ваш комиссар сейчас в ее руках, а не в наших.

— Хотя бы взглянуть одним глазком! Мать моя, мать моя, что же это такое? — заныл Александр.

Доктор Самбор, похожий на француза, высокий и тучный человек, с поседевшей бородкой, в белом подкрахмаленном, шуршащем халате, в золотых очках, впервые видел такого расстроенного посетителя, как Лихолетов, хотя с несчастьем ему приходилось не так уж редко встречаться. Он молчал, потому что ему неудобно было сказать «Успокойтесь!» обожженному солнцем и ветром, бородатому командиру, о лихости и дерзости которого шли разговоры даже в Ташкенте. Он взглянул на часы:

— Сейчас идут операции. Но профессор Юрезанский скоро кончит. Вы можете подождать?

Лихолетов кивнул.

— Поговорите с ним! Он курирует вашего больного. Он поможет дать разрешение. Ему виднее. Я на себя этого дела не возьму.

Доктор Самбор вызвал санитарку и послал ее в операционную.

Солнце сверкало на стекле, на инструментах, лежавших в белом шкафчике. Пахло йодоформом. Это напоминало раны и кровь, и странным казался в этой подчёркнутой чистоте доносившийся из коридора запах щей.

Мимо раскрытой двери прокатилась операционная тележка на шинах. На ней лежал человек, покрытый простыней с ног до головы. В кабинет вошел молодой, бритый, длинноносый хирург. Едва поклонившись, он спросил Самбора:

— Вы меня спрашивали?

— Да... Вот тут... По поводу товарища Юсупа... Лихолетов. Командир бригады, — сказал Самбор, представляя Лихолетова.

Лихолетов встал. Хирург небрежно поздоровался с ним, сел, закурил. Александр обратил внимание на длинные и сильные, облитые йодом пальцы хирурга. Когда хирург перебирал ими, его рука становилась похожей на инструмент из железа.

«Кромсать бы ему у меня в бригаде!» — подумал Александр.

— Ну, пустим! — ответил профессор, улыбнувшись. — Но ведь помочь вы ничем не можете. Так чего же смотреть?

— Это уж мое дело, — сердито заявил Лихолетов. — В конце концов что такое? Не личное дело, вся бригада желает знать подробности.

— Мы телеграфировали, — сказал Самбор.

— Два слова! Что вы мне голову морочите? Человек лежит, а вы даже взглянуть не даете. Что за фокусы! — Александр вскочил и заволновался.

— Как, Викентий Викентьевич? — сказал Самбор, взглянув на хирурга.

Тот пожал плечами:

— Что как? Пусть смотрит, если хочет!

Юрезанский лениво встал и сказал Лихолетову:

— Я сейчас пойду к нему в палату. Он — в отдельной. Погляжу, в каком он состоянии, и потом пошлю сиделку за вами. Но предупреждаю: никаких вопросов, никаких разговоров, ничего! Понятно? Его нельзя тревожить.

Когда профессор Юрезанский ушел, Самбор зашептал Александру:

— Вы напрасно так! — Он кивнул в сторону ушедшего. — Это будущее светило. Самородок. Подождите, скоро о нем вся Европа заговорит! Рана была смертельной. Юрезанский вынул ему пулю. Надо ждать.

— Чего ждать? — так же тихо, как Самбор, спросил Александр, чувствуя, что у него замирает сердце, как будто он летит с горы.

Вошла сиделка и протяжно сказала:

— Пожалуйте!

Они пошли по коридору. Лихолетов шел на цыпочках. У него звенели шпоры, он стеснялся этого звона и поджимал ноги.

Некоторые больные сидели в коридоре, смеялись, играя в шашки. Другие передвигались на костылях. Третьи лежали на койках — цвет лица у них был серый, как газета.

Когда доктор Самбор приоткрыл дверь в палату Юсупа, Лихолетов увидел маленькую комнату с длинным окном вверху. Очевидно, здесь раньше была ванная. Лихолетову показалось, что и до сих пор оттуда тянет сыростью.

Голова Юсупа, лежавшая на узкой подушке, вся, кроме лица, была забинтована. Юсуп смотрел вверх, в потолок, бесконечным взглядом, не замечающим ни посетителей, ни стен, ни окон, ни солнца, игравшего на потолке.

Александр шепотом спросил стоявшего за его спиной хирурга:

— В лоб пуля-то?

— В затылок, — ответил хирург.

Александр заметил, что в эту секунду Юсуп сделал какое-то движение ресницами. Хирург сейчас же тронул Лихолетова за локоть, и они вышли в коридор.

«Он мертв, — подумал Александр. Только внезапная дрожь ресниц говорила ему, что в этом неподвижном



человеке, лежавшем как огромная кукла, еще бьется какая-то капля жизни. Александр посмотрел на хирурга.

— Паралич, — спокойно сказал Юрезанский.

— Он онемел? Или ослеп? Или что, что с ним?

— Зайдите ко мне вечером в гостиницу! Комната семь. Я вам все объясню.

Лихолетов молчал. Хирург притронулся к его плечу:

— Простите, я тороплюсь. Мне надо идти, товарищ Лихолетов. Комната семь. Не забудьте! — еще раз повторил он.

Александр побрел обратно по коридору, уже не замечая ни врачей, ни больных, ни сиделок, ни звона шпор. Только запах щей все время преследовал его.

#### 44

— И долго это продлится? — спросил Лихолетов.

Юрезанский пожал плечами:

— Я не бог. Тот, говорят, в шесть дней скроил мир. А Еву — мигом, из ребра. Превосходный хирург! Я не такой.

Взяв стул, он встал на него и вытащил из шкафа анатомический атлас. Юрезанский выбрал из пачки лист, изображавший разрез человеческой головы, центральную нервную систему.

— Пуля попала сюда, скользнула и, ударившись в левую височную часть, не пробив ее, оттолкнулась и скользнула по мозгу обратно, — говорил Юрезанский, проводя пальцем по листу. — Здесь она остановилась... Что нарушено? Смотрите сюда: вот левая височная доля, это — центр Вернике, центр чувств. Юсуп плохо видит. Не понимает речи. Но не потому, что не слышит. Он слышит, но не понимает. Так же, как вы не понимаете китайского языка. Аппарат уха работает прекрасно, но больной не понимает смысла звуков. — Юрезанский прибавил: — Также и зрение ослабело. Он полуослеп. Это мы называем сенсорной афазией. Афазией чувств. Но у него еще и моторная афазия, то есть двигательная. Вот здесь — центр Брока. Нет производства сложных движений, нет координации движений языка, губ, всех речевых мышц. Он способен только лепетать, мычать. Так

как пуля попала в левую часть центральной нервной системы, то правая половина тела парализована.

— И нет никакой надежды? — закричал Лихолетов.

— Не знаю, — сказал Юрезанский. — Эти центры могут быть не разрушены, а шокированы.

Комната, где жил Юрезанский, в гостинице, была зеленой, потому что свет в нее шел с улицы, сквозь стену из ветвистых высоких тополей. Юрезанский полез под кровать, достал бутылку вина и открыл ее без штопора, проткнув указательным пальцем пробку внутри бутылки. Встряхнув бутылку, он поглядел, как в вине плавают пробка. Александр смотрел на профессора и думал: «Неужели вот от этого человека с распушенными подтяжками все зависит? Все! Вся жизнь! Все будущее Юсупа! Поменьше бы пил он!»

Хирург разлил вино в два стаканчика и чокнулся с Лихолетовым. Александру казалось странным, что Юрезанский о таком важном и серьезном деле, как человеческая жизнь, говорит просто и обыкновенно, то есть так же, как сапожник может говорить о починке сапог. Ему хотелось спросить хирурга еще о чем-нибудь профессиональном, медицинском, но хирург его перебил:

— Расскажите-ка вы лучше что-нибудь свое! А то моя материя неинтересная. Как бьете басмачей?

— Что же тут рассказывать? — буркнул Александр. — Бьем — вот и все.

— Но не добиваете? А вас потом в затылок: хлоп! — вдруг сказал Юрезанский.

Лихолетову было не до споров и не до рассуждений. Слова Юрезанского даже не задели его. Думая все об одном и том же, то есть о жизни Юсупа, он спросил:

— Выживет?

— Когда вы брали Иргаша, вы надеялись?

— Ну, было и то и другое! Но в общем — наше дело обеспечить победу. А тут ведь...

— Вот и у нас так же! — ответил Юрезанский.

Он устал. День был тяжелый, операционный. Юрезанский сел на кровать и, стянув с ног сапоги, сказал Александру:

— Слепые вы еще, товарищи! И мы слепые... Медицина — это, конечно, наука. Но чаще всего мы бродим впотьмах... Я разулся, не протестуете? Мозоли.

Сашка впервые видел таких людей. «Ну и тип же ты, братец, — подумал он о хирурге. — Образованный человек, и такое... А еще Варька меня упрекала, что я дома босиком хожу!» Но, несмотря на это, бесцеремонный тон хирурга понравился ему. Сашка решил, что пора уходить. Он подошел к Юрезанскому и дружески протянул ему руку. Александр улыбнулся Юрезанскому. («Надо на всякий случай полюбезней. А вдруг и верно он хват в своем деле...») Но улыбка у него вышла довольно жалкая.

— Вот тут адресок мой, — забормотал Александр, протягивая хирургу клочок бумаги. — Адрес части, в случае чего, умоляю вас...

— Понятно, — коротко сказал хирург и сунул бумажку в карманчик жилета. «Потеряет, — с тоской подумал Лихолетов. — Ох, попади к ним в лапы, закаешься».

Но делать было нечего. Он снова выдавил на своем лице что-то вроде улыбки. И вдруг наморщился, и лицо его стало серьезным.

— Между прочим, — сказал он, будто спохватываясь. — У нас в бригаде пропасть винограду, куда девать, не знаем. Если бы вы разрешили...

— Что вы, милый! — Юрезанский засмеялся и замаскировал руками. — Куда мне, я холост, и посему предпочитаю виноград в переработанном виде.

На этом они распрощались.

Из больницы Лихолетов отправился на вокзал и оттуда дал Варе в Коканд телеграмму: «Встречай. Еду следователю. Сашка».

## 45

Хамдам, добившись приема у Карима, разговаривал с ним не стесняясь.

— Какне-то твои мальчишки хотят меня сжить со свету! — кричал он. — Я не говорю, что я праведник. Но праведнику на моем месте нечего делать. Может быть, у меня были преступления? Кругом творились преступления. Меня десять раз могли расстрелять и те и другие. Пусть бы повернулись эти сыновья собаки, эти сыновья ишаков.

Карим Иманов, маленький, по-европейски одетый человек, внимательно слушал ругань Хамдама. Но это только казалось. На самом деле он думал о своих делах, о своих отношениях с Москвой, о своей жене, об особняке, который он имел как член правительства, словом — о чем угодно, только не о кишлячных приключениях Хамдама.

Карим молча смотрел на свои изящные, узкие, как у женщины, маленькие руки, исписавшие много бумаги: в детские годы — в Бухаре, в школе, затем позже — в московской гимназии и лондонском университете, руки, написавшие много писем, докладов, листовок, воззваний, рапортов и донесений — опять в Бухаре, в Москве, в Коканде, Самарканде и Ташкенте, руки, привыкшие к роялю и книге. Сейчас он был совсем не похож на того полувзрослого человека, с которым когда-то встретился Хамдам в Кокандской крепости. Там был тощий мальчик с маузером, который тяготил его, в простенькой вытертой гимнастерке, еще более подчеркивающей его молодость. Прежними остались глаза, внимательные и напряженные.

— Помнишь... — зашептал Хамдам, наклонившись к нему и прислушиваясь к оглушительному шуму двух пишущих машинок, доносившемуся сюда в кабинет, несмотря на двойные двери. — Помнишь, ты мне сказал тогда: «Если жизнь не подходит к тебе, подойди к ней»?

— Наверно, что-нибудь не так, я сказал как-нибудь иначе.

Хамдам резко оборвал его:

— Так! А не так — все равно об этом! Я тогда не понял, но потом я имел случай убедиться. Да-да...

Карим слегка приподнял веки:

— В чем ты убедился?

— В чем? — Хамдам встряхнул на себе оружие. — Не улыбайся, Карим! Ты человек большой и образованный. Ты по коврам въехал в Бухару.

Говоря так, Хамдам намекал на сплетню: про Карима шел слух, что после взятия города Бухары он въехал туда верхом по коврам, разостланным на дороге. Карим сейчас только презрительно пожал плечами.

Хамдам не заметил этого презрения, был слишком разгорячен.

— Я по сравнению с тобой — грязь, — продолжал он. — Но тоже себе цену знаю. Сейчас не всегда говорят языки. И ружья могут сказать, если понадобится. Всему свое время. Ослабли люди. А я не ослаб. — Хамдам сидел, расставив ноги, как бек, и положив оба кулака на колени.

— Я думаю, для тебя же лучше, если я не стану говорить о тебе прямо в лоб. Я подхожу к жизни. Чего тебе еще надо?

Карим зевнул. Он уже понял, что Хамдам пришел договориться. Надо было скорее кончать этот визит, его ожидали на совещании с кокандскими властями, ждал правительственный поезд, отправлявшийся в Самарканд.

— Беш-Арык за тебя? — спросил он.

— Да, все сельсоветы! — ответил Хамдам.

— Не время волновать людей! Успокаивать надо. Поезжай домой!

Хамдам покраснел. Он хотел спросить о следователе, но Карим мягко и тихо повторил:

— Домой!

Тут Карим постучал по столу, но не кулаком, как Хамдам, а согнутым пальцем, точно вызывая из-под стола кошку.

— Не умеешь жить...

— Как умею, так и живу, — проворчал Хамдам.

— Надо помнить, кто ты. Свое место следует знать на советской работе.

Карим встал. За ним поднялся и Хамдам.

— А как же быть со следователем? Являться мне? — спросил он.

— Поезжай домой! — опять повторил Карим.

Хамдам понял, что не стоит уточнять вопроса.

— Хоп, хоп! — сказал он, вытер пестрым платком потный лоб, попрощался с Каримом и вышел в приемную.

Карим был очень рад, что Хамдам оказался умнее, чем он думал. Даже в таком разговоре с глазу на глаз он избежал прямых объяснений начистоту. Он подумал при этом, что такая осторожность является нелишней даже между своими. Можно *чувствовать*, чувство неуловимо. Но лучше *не знать*, потому что слова — как роди-

мые пятна: их не скроешь и потом не сотрешь. А мало ли что может еще случиться в жизни? Еще неизвестно, в каких отношениях они будут через год, два, три. Для каждого из них безопаснее все понимать, но ничего не объяснять.

«Да, Хамдам — молодец! Надо на него обратить внимание. Конечно, он связан с кем-то и подозревает меня...» — решил Карим. Потом он позвонил в прокуратуру.

Хамдам ушел, в свою очередь презирая Карима. «Жалкий человек, тянется за чужим. Ничего из него не выйдет, — подумал он. — Все напускное!»

Вечером в своем салон-вагоне Карим рассказывал спутникам, русским военным, только что прибывшим из Москвы, интересные, выдуманные им самим анекдоты о дикаре и номаде \* Хамдаме. Он любил угощать новичков экзотикой.

## 46

Из конторы станции Коканд I вышел начальник ее, седобородый, красивый, румяный старик (некоторые служащие называли его «серафимом»). Ташкентский поезд подходил уже к первому семафору.

Неподалеку от главного здания станции на перроне стояла Варя. Утром она получила от Сашки телеграмму и, взволновавшись, бросив все больничные дела, поспешила на вокзал. Смысл телеграммы ей был непонятен. Она решила, что следователь вызывает Сашку для дачи каких-то показаний.

На самом деле Сашка послал телеграмму сгоряча, даже не подумав, зачем он, собственно, едет в Коканд. После катастрофы, случившейся с Юсупом, в особенности после посещения ташкентской клиники, ему захотелось увидеть кого-нибудь из самых близких и дорогих ему людей. «Поеду к Варе», — решил он и, чтобы оправдать свой приезд, тут же на ходу сочинил, что едет к следователю.

Эта таинственная краткая телеграмма заставила Варю задуматься. Варя подыскивала самые разнообразные причины, по которым Сашка мог бы понадобиться следствию. Варя знала, конечно, что убийц ищут, но до телеграммы мало размышляла об этом. Как и многие

в городе, она считала это убийство мстью басмачей, и больше волновалась об Юсупе, чем о том, будут или не будут найдены бандиты.

Знакомые врачи ей сообщили, что положение комиссара Юсупа безнадежно. Она была угнетена. В мыслях Варя уже похоронила Юсупа. Ей казалось, что, потеряв его, она потеряла самое лучшее и светлое в своей жизни. Чем больше она размышляла об этом, тем сильнее, невольно для самой себя, она преувеличивала эти чувства. Она убедила себя, что случившееся в Беш-Арыке — дата ее жизни и что теперь она может сказать: «Молодость кончена».

Поезд подходил к перрону. Варя всматривалась в окна мелькавших мимо нее вагонов, но нигде не могла найти Александра. Вагоны будто выбрасывали людей, сразу наполнив ими платформу. Началась суета.

Варя среди шума толпы чувствовала себя одинокой. У нее, как всегда при долгожданной и неожиданной встрече, заныло сердце. Но Александра не было.

Когда рыжебородый военный, с шинелью, перекинутой на руку, подошел к Варе и нежно притронулся к ее локтю, Варя испугалась. Взглянув на него, Варя вдруг заплакала. Слезы, помимо ее воли, брызнули из глаз. Она припала к Лихолетову.

— Какое несчастье! — шептала Варя, глотая рыдания. — Сашка, дорогой мой... Сашка...

В эту минуту пропали вся ее резкость, все ее мысли о самостоятельности, о личных правах. Ей захотелось сразу выплакать все горе, ее томившее, прижаться беспомощно, по-женски к мужу, то есть поступить вопреки всем своим мыслям и привычкам.

Проходившие мимо пассажиры — одни с любопытством, другие с улыбкой, третьи сочувственно — глядели на них. Александр, держа в объятиях Варю, стоял пунцовый от смущения.

— Варенька! Смотрят! — бормотал он. — Варенька...

Крупные слезы у нее на щеках, точно капли от большого дождя, так его расстроили, что он сам чуть не рыдался, крепко сжимая Варины плечи.

Наконец он ее успокоил. Они вышли на площадь. Попался как раз тот же самый извозчик, который возил

Варю с Юсупом. Он оборачивался, слушая их разговор об Юсупе. Разговаривая, каждый из них, конечно, умалчивал о самом главном. Ни Варя не сказала Лихолетову о своих настроениях в тот вечер, ни Лихолетов не обмолвился словом, что вся эта поездка была предпринята Юсупом исключительно по его просьбе. «Не попроси я его поехать в Коканд, он не попал бы в Беш-Арык, — подумал Александр. — Выходит, я своими руками толкнул его сюда». От одной этой мысли жар охватывал Александра.

— Когда же к следователю? — спросила сквозь слезы Варя.

— Да вот сразу по дороге, — ответил Лихолетов. — Узнать надо подробности. Я слезу, а ты поезжай домой! Меня, наверное, недолго задержат.

— Но в чем дело?

— Сам не понимаю. Я все равно хотел поехать. Все мы заинтересованы.

— А помнишь скандал у Блинова? — вдруг проговорила Варя. — Ведь Хамдам тогда накинулся на Юсупа!

— Вздор! Да и как было не накинуться Хамдаму? История с эмиром проверена! По пьяной лавочке нашу-мели.

— Но ты скажи об этом! Непременно, Сашка... Слышишь?

— Сказать следует, — согласился Лихолетов.

Мысли эти были неприятны и тяжелы, потому что, думая об Юсупе, о живом Юсупе, он сразу вспоминал ташкентскую больницу. Встреча с неподвижным телом Юсупа угнетала его. Это было хуже, чем смерть. «Варь-ке легче, не видала», — думал он.

Стол старшего следователя находился почти возле самого балкона. Дверь на балкон была раскрыта. Из сада веяло теплом и запахом цветов.

Гасанов работал над делом самоотверженно. Может быть, впервые в своей жизни ему хотелось в этом деле проявить себя целиком. Он забывал, что он в канцелярии, что рядом болтают о кинокартинах машинистки,

что стены комнаты засажены мухами, папки воняют клеем и бумаги вопиют о человеческой жестокости, что в чайнике жидкий, пахнущий жестью чай, что дело-производитель вчера проигрался «в очко». Иногда он так уставал, так изнемогал от своей работы, что доходил до иступления, и в эти минуты ему казалось, что он теряет веру в прекрасное назначение человека, в доблесть, в самопожертвование, в мужество, в любовь и ум. В клубке преступлений, в скопище их можно было растеряться, проститься с доверием к человечеству, заболеть подозрительностью и весь мир расчленить на две группы: первую — уже определивших себя, то есть показавших всю свою низость, глупость, жадность, предательство, и вторую — еще не успевших обнаружить свои пороки.

Посматривая в сад на вздрагивающие от ветра деревья, следователь писал свой доклад о Хамдаме. Много в деле было туманно, противоречиво, случайно, запутанно. Трудно было разобраться в событиях, протекавших не так давно, но уже ставших почти забытыми. Дело требовало огромного количества свидетелей. Гасанов раскапывал восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый годы. В них он хотел найти ключ к июлю 1924-го. Он знал, что большинство из свидетелей этих лет недоступно; все смертно, но человек — самое яркое и самое смертное. Одни стали слишком важными, другие убиты в боях, третьи расстреляны, погибли без вести, некоторые эмигрировали или затерялись. Жизнь раскидала многих. Иные же, очевидно, сами сознательно избегали явки.

Но, вопреки всем трудностям, он решил поднять дело, взворошить его, потому что чувствовал в нем большой политический смысл. О политическом характере его он сообщил и прокуратуре. Поэтому чуткий, как зверь, Хамдам, не зная ничего, не осведомленный ни о каких деталях, понял если не умом, то сердцем всю опасность и правильно сказал, что его ждет арест ГПУ. Дела в ГПУ еще не было, но несомненно, что оно должно было поступить туда.

Следователь принужден был дополнять воображением, а потом проверять анализом имевшиеся в деле пробелы. Он не спал ночами, точно поэт, оканчивающий свою поэму, понукаемый гением, и если гений не любит

торопливости, то он не любит и медлительности. В горячке Гасанов кое-как ел, отдыхал еще меньше, и в больших перерывах от своей работы, возбужденный ею, наполненный одними и теми же мыслями, опьяненный жарой, выбегал на балкон глотнуть хоть каплю чистого воздуха.

В саду уже запахло плодами, все говорило о венце лета, о созревании и завершении тяжелых летних трудов.

Иногда Гасанову не хватало знаний, иногда ему приходилось строить домыслы и доказательства на каких-то обрывках. Он прибегал почти к ясновидению, к воображению, стараясь вкопаться глубже в прошлое, так как современники мало помогали ему. Они либо видели истину очень близко, в событиях вчерашнего базара, либо людей расценивали очень мелко, каждый на свой лад и всегда поверхностно. Поэтому приходилось не только взвешивать показания, но и развивать их, расшифровывать.

Впервые, работая над этим делом, он почувствовал в себе мастера. Дело началось именно с микроскопической мелочи, с заявления бывшего басмача Алимата.

Разбираясь в событиях после взятия Бухары, следователь наткнулся на сообщение одного из свидетелей:

«Комиссар Юсуп внезапно, по неизвестной причине, оставил полк, и Хамдам некоторое время командовал полком один, без комиссара».

— Юсуп внезапно оставил полк... Внезапно... Почему внезапно? — бормотал Гасанов, заглядывая в протокол, точно для сверки. — Внезапно? По неизвестной причине? Но неизвестных причин не бывает.

Он вскочил, походил по кабинету, потом опять подсел к столу, задумался. Его глаза упорно смотрели в чернильницу, точно там под черной глянцевиной жидкостью лежало объяснение поразившего его обстоятельства.

Потом он снова вскочил и зашагал от письменного стола к дивану, от дивана к двери на балкон. Потом пожевал губами, рассмеялся, прошептал себе под нос:

— Какие же мы дураки! Дураки-канцеляристы! Да, несомненно дураки!

Он посвистал и бросился опять к столу; взял лист бумаги, лихорадочно, будто боясь упустить каждую секунду времени, торопливо принялся набрасывать письмо Блинову.

«Многоуважаемый Василий Егорович, — писал он. — Полученное вами отношение за № 1475/13-В, к сожалению, было составлено моим делопроизводством в канцелярских тонах. Да надо сказать, что в то время нас интересовал только один узкий вопрос, то есть в каких отношениях Хамдам был с Иргашом. Об этом мы вас и запрашивали, причем, как водится, в погоне за оперативной краткостью мы упустили самое главное — что все дело возникло в связи с убийством товарищей Юсупа и Артыкматова, павших от выстрелов неизвестных людей на базарной площади города Беш-Арык. Мы не упомянули об этом. Сейчас у меня другая просьба. Вы — единственный человек из кокандцев, который как-то может осветить нам взаимоотношения между Юсупом (он еще жив, но безнадежен совершенно и опрошен быть не может) и теперешним начальником милиции Хамдамом. По моим сведениям, Юсуп служил комиссаром в его партизанском полку. Прошу вас наиболее подробно, не стесняясь никакой формы, совершенно частно изложить ваши впечатления...»

В эту минуту в канцелярии зазвонил телефон. Делопроизводитель Майборода подошел к телефону, потом, держа трубку за шнур, сказал следователю:

— Гасан, тебя!

Следователь не слышал, Майборода повторил. Тогда Гасанов поднял голову и, будто высунув ее из кадки с водой, отряхиваясь спросил:

— Что? Кто там?

— Тебя из прокуратуры.

Гасанов бросил перо и подскочил к телефону. Он отвечал только одним словом:

— Да... да... да...

Это «да» через короткие перерывы звучало все тише и тише. Наконец Гасанов замолчал. Пошевелив губами, он тихо повесил трубку и поплелся к своему столу. Он постоял около него, потом упал на стул.

— Что случилось? — закричал делопроизводитель и выплюнул изо рта желтый комок, табачную жвачку. — Гасан! тебе плохо?

Следователь не ответил. Облокотясь на спинку стула, он сидел в обмороке, с открытыми глазами. Спустя несколько минут он вдруг усмехнулся, скомкал письмо к Блинову, потом разорвал его на мелкие кусочки и отшвырнул от себя все бумаги.

— Я покойник... — пробормотал он. — Не видишь, что ли? — Губа у него задергалась.

— В чем дело? — спросил делопроизводитель.

— Ни в чем. Его нет, — ответил следователь. — Оказывается, я его выдумал. Прокурор говорит, что я взбодоражил район. Не время, говорит. Запретил вызывать Хамдама. Раздул? Я раздул? Может быть, — сказал он прерывисто, почти задыхаясь. — Все может быть.

— Словом, заткнитесь, сэр! Так понимать? — спросил Майборода, не удержавшись от улыбки.

Следователь не ответил. Тогда на лице делопроизводителя, в его опухших старческих глазах отразилось что-то похожее на трепет.

Гасанов молчал. Его собеседник быстро опустил глаза и как ни в чем не бывало отошел к своему месту. Висморкавшись, он принялся строчить какую-то бумагу. Следователь посмотрел на него, потом оглядел свою канцелярию, и все в ней показалось ему настолько омерзительным, что он встал и вышел на балкон.

«Что делать? Ну, что делать? — думал он и ничего не мог придумать. — Оспаривать? Кого оспаривать? Кто меня будет слушать? Согнут меня в бараний рог...»

Вернувшись в канцелярию, Гасанов обратился к своему делопроизводителю.

— Слушай, Костя, — сказал он, — ты старый спец, составь все, как полагается, в соответствии и прочее...

Майборода ухмыльнулся.

— Пара пива за благополучный исход! За прочее, — снисходительно сказал он Гасанову.

Гасанов его не слышал. Сняв с вешалки свою фуражку, следователь очутился у зеркала; напивлив ее поглубже на лоб, он пристально посмотрел на себя в зеркало и затем молча вышел из канцелярии.

Сразу же после ухода Гасанова приехал к следователю Лихолетов. Он вошел в канцелярию, звеня шпорами, возбужденный и взволнованный. Его принял

Майборода и заявил ему, что следствие уже закончено, но виновных, к сожалению, не нашли.

— Найдем, но не сейчас. Пока отложено, — прибавил он.

— Отложено или закончено? — спросил Лихолетов.

Майборода, сразу увидев, что его посетитель — человек горячий, отправил его к прокурору. Прокурор принял Александра очень любезно, внимательно выслушал от него всю историю взаимоотношений между Юсупом и Хамдамом и в конце своего приема сказал:

— Все это очень интересно. Но к делу, конечно, отношения не имеет. Хамдам — проверенный человек. Ведь сам Карим интересовался этим делом. Вы понимаете, как мы вели следствие...

— Ах, даже так! — проговорил Александр, понимая, что большего требовать уже нельзя. Он встал, раскланялся с любезным прокурором и поехал к Варе. Прокурор его убедил.

В этот же вечер Гасанов запил и пил три дня. Когда он явился на службу, делопроизводитель Константин Сергеевич Майборода подсунул ему отношение в прокуратуру. Следовательская часть сообщала, что от обвинения надзирателя Сапара и трех милиционеров надлежит отказаться за отсутствием улик. Гасанов не глядя подписал эту бумагу. Всех арестованных выпустили.

Огромное дело, несколько томов, со всеми протоколами, где некоторые из свидетелей показывали против Хамдама, с докладом Гасанова о Хамдаме, было отослано в прокуратуру. А через месяц Гасанов узнал, что все это из прокуратуры пропало неизвестно куда.

## 48

В декабре 1924 года по всем городам, начиная с Ташкента и Коканда, прошла волна собраний, митингов. Мусульмане в своих соборах выносили резолюции протеста против иноземного вмешательства. Печатные воззвания наклеивались в городах на стены домов, а по кишлакам муллы читали их в мечетях.

«Откройте свои глаза, дети ислама! — было напечатано в этих воззваниях. — Взгляните, как живут народы

Востока соседних стран! Взгляните на угнетенную Индию! Десятки лет индийцы стонут, и все их попытки к освобождению тонут в море крови. Розовые обещания потом оказываются весьма черным обманом. Довольно лжи! Будь проклято все то, что идет навстречу английскому империализму!»

Понятно, что среди лиц, подписавших такие документы, попадались люди, делавшие двойную игру. Они не могли поступить иначе, боясь потерять свое влияние в народе, возненавидевшем басмачество и, главное, все те бедствия, которые были вызваны людьми, создавшими его. Духовенство поэтому решило изменить свою тактику. Были муллы, которые сделали это искренне, от души. Но остались еще и такие, которые только прикрылись воззванием, как ширмой...

Хамдам тоже подписал это воззвание.





1

Юсуп шел через площадь Жертв революции, мимо памятника Суворову, прямо к мосту, повисшему над Невой, как легкая длинная арка. Раньше, до революции, это место называлось Марсовым полем. Это был огромный прямоугольник для парадов и военных смотров империи, окруженный с двух сторон садами (Летним и Михайловским, возле Инженерного замка). Сейчас это поле было превращено в чудесный сквер с широкими аллеями, цветниками, газонами, с кустами сирени. Юсуп очень любил это место. Он остановился на набережной, чтобы полюбоваться простором, раскинувшимся перед его глазами.

Нева была покрыта рябью. Ветер дул со взморья, против течения, и закручивал воду в пенистые кудри. Вода казалась тяжелой и сильной. Буксирные пароходы, опуская трубы перед мостами, кланяясь, медленно про-

ходили пролеты, волоча за собою барки, груженные доверху кирпичами, песком, дровами. В этот ранний час мелкая рыба подымалась со дна. Над поверхностью воды кружились белые острокрылые чайки. Подхватив рыбу, они пронеслись над мостом, над звенящими трамваями и снова опускались на воду. На небе уже сияло солнце. Дышать было легко и приятно. Здесь, около Петропавловской крепости, Нева широко разливалась и очищала душный, загрязненный летний воздух огромного города. Сверкала роса на низких, подрезанных куртинах. Кусты куртин тянулись вдоль тротуара набережной, вымытой дочиста почным дождем. Опираясь на розовые граниты, закинув в Неву свои удочки, стояли молчаливые рыболовы. За мостом виднелись серые верки крепости, ее башни и бастионы, за ними дымилась зеленая роща парка, — прямо от моста, как стрела, летел проспект, начинающийся липовым бульваром, а справа, играя на солнце голубыми изразцами, среди зелени стоял минарет мечети.

Город просыпался. От его первого дыхания над Петроградской стороной поднялась легкая завеса дыма.

На набережной почти не было пешеходов.

Юсуп жил неподалеку от этих мест. Каждое утро, перед тем как пойти в Публичную библиотеку или в Комакадемию, он прогуливался здесь от одного моста до другого. Восемь лет было прожито под этими холодными небесами. И каких лет!..

В 1925 году профессор Юрезанский привез Юсупа из Ташкента в Ленинград. Здесь в травматологическом институте Юсупу делали операцию и удалили костные обломки. Одной операцией дело не обошлось, хотя организм Юсупа мужественно боролся с болезнью. Процесс «самопроизвольного выздоровления», как говорил Юрезанский, начался у него еще раньше, в Ташкенте, однако он приводил к новому заболеванию. Как это ни странно, здоровье вызывало болезненную реакцию. Когда параличное состояние подходило к концу и Юсуп уже готов был подняться, нарушенная нервная система отвечала на это припадком. Рубцы и кисты, образовавшиеся на месте ранения, снова давили на нервные центры и раздражали их. Припадок (называвшийся врачами джексоновской эпилепсией) всегда начинался с правой половины лица. Лицо перекашивалось, затем сводило



правую руку, правую ногу, потом все тело немело, и кончалось все общими судорогами. С потерей сознания наступал сон. Потом наступал паралич. Организм снова боролся, состояние больного улучшалось, но вслед за улучшением опять возникал припадок. Много месяцев Юсуп провел на больничной койке, несколько раз переходя с нее на хирургический стол. Наконец Юрезанскому удалось победить болезнь...

В 1928 году Юсуп поступил в Комкадемию, здоровье его исправилось, он чувствовал себя отлично. Результаты головного ранения, конечно, сказались. Юсуп двигался, хромя на правую ногу, чуть шаркая ею по земле, правая его рука была немного прижата к плечу, а пальцы на ней остались в полусогнутом состоянии. Во всяком случае, он владел и рукой и ногой; на военную службу Юсуп вернуться уже не мог, да и не хотел... Слишком многое прошло за это время, и сейчас было даже страшно думать о юношеских, давно пролетевших днях.

Все-таки, несмотря на болезнь, он не потерял времени даром... Это было своего рода утешением.

В книгах раскрылся ему новый огромный мир. Он овладевал им так же ненасытно, как путешественник, открывающий новые страны, как жадный завоеватель...

О том, что делается на родине, он узнавал из газет.

Все менялось на родной земле. Подросла молодежь, обучавшаяся в советских школах, в техникумах и в университетах своей страны, еще так недавно знавшей только религиозные училища, и женщина стала участницей государственной и общественной жизни. В кишлаках почти исчезла паранджа...

«Смешнее всего, что в Ташкенте ты встретишь закутанных женщин гораздо чаще, нежели в селениях. Причем это жены ответственных работников... Вот фокус! Прямо комедия...» — писал ему Лихолетов.

С Лихолетовым Юсуп переписывался довольно часто.

Однажды Юсуп получил письмо от Алимата и даже от Хамдама... Узнав о выздоровлении Юсупа, Хамдам первый прислал ему письмо.

«Какая радость для меня, что ты встал и ходишь... — писал он. — Темные люди, из всего желающие извлечь

пользу, чуть было не обвинили меня в этом убийстве. Как будто на тебя у меня могла подняться рука... Велика злоба, но еще больше правда, и какую бы чудовищную клевету ни возвели на невинного, правда сама себя обнаружит. Мне было страшно, я сознаюсь. Потому что ведь только ты, с которым я провел все эти часы перед убийством, с которым я так много беседовал обо всем, мог бы подтвердить: каков я?.. Я ведь не скрывал от тебя моей души. Но ты не мог свидетельствовать в мою пользу. Я благодарю бога, что все обошлось благополучно и для тебя и для меня. Жизнь трудна и жестока, мы не знаем нашего будущего, но мы можем радоваться в настоящем. Вернись ты сейчас в родимую Фергану, я буду оберегать тебя, как слезинку на веке, потому что теперь твоя жизнь дороже мне своей собственной и всего моего рода».

Юсуп ответил ему, что он его ни в чем не подозревает. На этом их переписка прекратилась.

Юсуп не лгал, так отвечая Хамдаму. Чувства его к Хамдаму не изменились, по-прежнему он считал его способным на что угодно... Но ему казалось, что именно в тот день — в день их первой встречи — у Хамдама действительно не поднялась бы рука на него, и даже убийство в тот день Абита по воле Хамдама казалось ему неправдоподобным. «Ведь Хамдам должен был знать, что я пойду вместе с Абитом?» — доверчиво думал он.

Когда Алимат сообщил Юсупу о базарных слухах, Юсуп остался при своем мнении.

Летом 1933 года Юрезанский разрешил Юсупу съездить на родину. Сегодняшняя прогулка Юсупа по набережной была последней... Вечером он уезжал.

Стройный, слегка прихрамывающий человек, с поседшими висками, в полувоенной форме, как будто ничем не обращал на себя внимание, но если бы кто-нибудь взглянул ему в лицо, то, несомненно, догадался бы, что видит перед собой самого счастливого человека в мире.

Железнодорожный билет лежал в кармане гимнастерки. Юсуп шел к Юрезанскому проститься. День отъезда совпал как раз с выходным днем, и они уговорились провести его вместе.

...Юрезанский провожал Юсупа. Оба они были в приподнятом настроении и от разговоров, и от вина, и от предстоящей разлуки. Когда поезд тронулся и Юсуп высунулся из окна, Юрезанский крикнул Юсупу:

— Напиши... Что там теперь?

Но за суетою в вагоне и на платформе, за грохотом поезда Юсуп не расслышал слов Юрезанского... Он замахал ему рукой и тоже закричал:

— Спасибо. Прощай... Прощай!

Поезд шел мимо заводов, расположенных вдоль Октябрьской железной дороги, мимо огромных окон, блестящих голубым, ослепительным огнем сварки, мимо заводских литейных. Багровые облака над корпусами озаряли ночное небо.

Ворота корпусов и дворы были освещены яркими грушевидными лампами.

Такие же яркие огни горели в вагонах. Поезд неслся, вздрагивая на стрелках и стыках. Закрыв глаза, Юсуп лежал на нижней полке вагона и мечтал о том часе, когда он поедет на арбе по мягкой, пыльной степи... Вечер будет тих и прохладен. Подъехав к маленькому кишлаку, он остановится там, чтобы побеседовать с людьми.

Сидят ли они по-прежнему, собравшись в тесный кружок около чайника в чайхане? Что горит у них над головой — электрическая лампа или старый керосиновый фонарь? А жизнь? Неужели все изменилось и она уже не течет по-прежнему медленно и спокойно?..

Вспоминалась золотистая Фергана, вспоминались ее желтые пески, ее кудрявые сады, тенистые платаны, серебристые тополя, душистый воздух, горячее солнце, холмные арыки.

Юсуп незаметно для себя заснул и во сне увидел степь и перестрелку. Когда он очнулся, все вокруг спало.

Вагон потряхивало. Вровень с поездом бежали по черному полю отраженные огни окон. Около станций поезд усиливал ход и проносился мимо них с такой быстротой, что Юсупу не удавалось даже прочитать названия станций.

«Все какие-то старые сны...» — подумал, улыбаясь, Юсуп.

Низенькие сосны острова тесно жались друг к другу. Ветер свистел в этой чаще. Под соснами можно было заметить опустившиеся, старые могилы. Среди древних, почерневших от времени, но еще крепких крестов тянулась протоптанная во мху, едва видная тропка. На плоском песчаном берегу горели, залитые солнцем, огромные цветные камни — розовые, рыжие, зеленые. Возле пристани стоял серый бревенчатый дом. Около него на перекладине висел ржавый колокол, снятый с монастырской колокольни. Длинный человек, похожий на перодетого монаха, дергая веревку от колокола, смотрел вдаль на свинцовое озеро...

Услышав колокольный звон, Зайченко прекратил работу. Сигнал к обеду застал его на лесной полянке. Заключенные, бросив топоры и пилы на месте работы, построились и, под командой надзирателя, пошли к баракам на обед. Зайченко остался...

— А что же прораб? — крикнули ему из рядов. — Забастовал, что ли?

Зайченко усмехнулся и махнул рукой. Заключенные, в распушенных рубахах, кто в сапогах, а кто и в лаптях, промаршировали мимо него. Позади рядов шел надзиратель. Когда полянка очистилась от народа, в лесу сразу все затихло.

Зайченко занимал в лагере особое, привилегированное положение. Он считался специалистом, кормился из особого котла, носил полувоенную форму, жил не в бараке, а в отдельной комнате. Как заключенный он был на хорошем счету. Его знания, его выдержка и умение командовать людьми были учтены администрацией лагеря.

Но никто в лагере не любил его. Причины этой не любви были самые разнообразные. Зайченко всем казался замкнутым и нелюдимым человеком. Бандиты и воры презирали его. Он отвечал им равнодушием. Те же из заключенных, которые по роду своей работы так же, как и он, занимали командное положение, считали прораба Зайченко неприятной личностью, и ни у кого не находилось охоты дружить с ним.

Зайченко тоже не искал дружбы, ни, тем более, покровительства и в одиночестве чувствовал себя неплохо.

Нередко он даже думал, что жизнь его сложилась если и неудачно, то все-таки терпимо, он смирился и, в сущности, ничего не желал.

За эти годы он пополнил, освоился с жизнью. Теперь, в ссылке, положение его стало легальным. Это успокаивало нервы. Все скверное и опасное было уже позади, и времена, когда он, сидя в одной из московских тюрем, числился за ГПУ как приговоренный к расстрелу, даже и не вспоминались им. До сих пор Зайченко не понимал: почему расстрел ему заменили десятилетним заключением? От него, очевидно, ждали еще каких-то разоблачений. В Москве на допросах он почти ничего не раскрыл, он разговаривал независимо, от показаний формально не отказывался, но и нового ничего не давал. Следователи заслушивались его рассказами, но из этих рассказов трудно было выудить необходимые оперативные сведения. Отправленный в Соловки, он написал там дневник, сообщающий кое-что из истории басмаческого движения.

На Соловецких островах Зайченко пробыл пять лет, потом его перевели на материк, на Баб-губу. Зайченко из Баб-губы ездил по делам службы в Кемь. Когда он бывал на станции и видел полярные поезда или заходил в вагон-ресторан, чтобы выпить бутылку пива, в голове у него не раз возникала мысль: «А что будет, если я сейчас удеру?» Но он отгонял ее. Бежать было некуда. Да и не было цели, ради которой стоило бы подвергать себя риску.

Новые поселки, люди, природа — все в этом северном крае напоминало ему первые, суровые дни Америки. Это нравилось ему, он даже чувствовал себя пионером, открывающим новые места для человеческой жизни. Это чувство заполняло ту душевную пустоту, которая раньше мучила его и заставляла играть в прятки с жизнью.

Словом, он привык к своему положению, поэтому, когда несколько дней тому назад пришел приказ об отправке Зайченко в Москву, у бывшего поручика вдруг сжалось сердце. Администрация в лагере завидовала ему, заключенные и подавно... Все, кроме Зайченко, видели в этом вызове добрый признак.

Но Зайченко был угнетен.

Сегодня он понял причину этой странной тоски. Ему было жаль расстаться с тишиной и покоем, обретенными наконец после долгой и мучительной кочевки.

Зайченко пошел по тропке в гору, к белым стенам бывшего монастырского скита. В лесу пахло хвоей, куковали кукушки, от больших муравьиных куч струился едкий, острый, щекочущий ноздри аромат. С вершины горы виднелся остров, и синел в тумане материковый бор, блестя озеро, возле голого мыса гулял ветер и накатывал на берег волну за волной, а по берегу сушились длинные сети, развешанные на козлах из жердей. На горизонте, покрытом круглыми и толстыми, точно олады, облаками, чернел рыбацкий парус... Трудно было оторваться от этой тихой картины. «Ну зачем еще в Москву?» — подумал Зайченко.

Он уехал из Кемь в сопровождении конвоиров. Подавленное состояние не покидало его. Ему казалось, что его песенка спета... Он ожидал катастрофы с той безнадежностью, с какой мог бы ждать ее человек, вдруг попавший под горный обвал. Зайченко чувствовал, что ему некуда скрыться.

### 3

В 1925 году Жарковский оставил военную службу и перешел в органы ГПУ. Эта служба, как и все до сих пор, удалась ему.

После разгрома троцкистской оппозиции и высылки Троцкого из пределов СССР возник ряд троцкистских дел... Жарковский, тогда еще молодой работник, показал себя с отличной стороны. Свои прошлые троцкистские симпатии он так ловко завуалировал, что даже самый строгий контроль не нашел бы в мыслях Жарковского ничего подозрительного.

Жарковский перевелся на работу в Москву. Вначале его приняли там очень холодно, но постепенно он вошел в доверие, заслужил его и начал быстро продвигаться вперед.

Два месяца тому назад, еще зимой, высшее начальство Жарковского, один из членов коллегии ОГПУ, Николай Францевич Пишо, вызвал Жарковского к себе в кабинет и передал ему список дел и фамилий. Среди

них значилось и дело Зайченко. Пишо поручил Жарковскому вызвать всех поименованных в этом списке людей в Москву и на всякий случай побеседовать с ними еще раз.

— А потом, освободив, на жительство вышлите обратно... в те места, откуда они взяты, — неожиданно сказал Пишо.

Заметив удивление в глазах Жарковского, Пишо улыбнулся и добавил:

— Понятно?

Жарковский, решив, что это странное распоряжение является служебным секретом и что ему в данную минуту не следует интересоваться подробностями, почти кивнул Пишо. Вообще с некоторых пор Жарковский заметил, что Пишо стал благоволить к нему... Пишо лез вверх... Поэтому Жарковский, не доискиваясь причин этой благожелательности, старался неизменно нравиться начальству.

Он был далек от Пишо. Николай Францевич держался со всеми подчиненными холодно и даже подчеркнуто официально, ничего не признавая, кроме субординации. Но, несмотря на это, Жарковский видел, что к нему Пишо всегда внимателен. Он не преминул воспользоваться этим расположением высшего начальства и всегда выказывал себя как отлично дисциплинированный и ловкий подчиненный.

В августе Пишо снова пригласил Жарковского в свой кабинет и спросил его: закончено ли данное ему поручение?

— Так точно! — отрапортовал Жарковский. — Я сегодня собирался вам доложить... Осталось только дело Зайченко. Но там нет ничего особенного. Он вызван, уже прибыл, сегодня я покончу и с этим.

Пишо молча выслушал ответ Жарковского. Он о чем-то думал, потом поднял голову и прямым пристальным взглядом посмотрел в глаза Жарковскому.

Взгляд Пишо всегда поражал Жарковского.

Пишо сейчас находился в самой лучшей своей поре. Он сам это чувствовал. Люди, стоявшие близко к нему и участвовавшие в его планах, никогда не знали точно его желаний и стремлений. Он поражал их неожиданностью своих выводов. Его тощее лицо, его голова, склоненная набок, говорили о мечтательности. Однако это

был ум авантюриста, игрока и комбинатора. Людские пороки и добродетели были только картами в его руках.

Пишо было около сорока лет, но выглядел он моложе. Вялая, полупрезрительная складочка около губ (некое подобие улыбки), слегка развинченная походка, умение приказывать и слышать только самого себя, ощущение отчужденности от всех, кто был хоть несколько ниже его по общественному положению, холодное высокомерие, пронизательность и жестокость — все это составляло облик и характер Пишо.

Несколько лет тому назад он проник в органы ГПУ. Вся его тактика и все его поведение были безупречны; вернее — они казались безупречными. Никто не подозревал, что этот человек является злейшим врагом революции.

Пишо долго смотрел в окно, выходившее на Лубяnsкую площадь. Одной рукой он держался за портьеру, другая была опущена вниз. Потом он отошел от окна, зашагал по мягкому ковру, растянутому на середине большого и хорошо обставленного кабинета.

— Знаете что... — вдруг сказал он Жарковскому, останавливаясь около него. — Вам сегодня придется полететь в Ташкент. Вы ведь среднеазиатец?

— Да, — ответил Жарковский.

— Там что-то недовольны Блиновым. Вы, кажется, служили с ним? Это верно, что он ломовик? — быстро сказал Пишо и, усмехнувшись, прибавил: — Не в буквальном, конечно, смысле...

Жарковский, не зная, что ответить на такой вопрос, пожал плечами. «Очевидно, что-то случилось», — подумал он.

— Разберитесь... Потом доложите. Я думаю — Карим прав! — проговорил Пишо.

Жарковский понял, что разговор кончен, и, официально вытянувшись, спросил:

— Больше никаких приказаний не будет?

— Пока нет... — сказал Пишо.

Пишо протянул Жарковскому руку. Теплое чувство благодарности охватило Жарковского. Он так крепко пожал своему начальнику руку, что тот улыбнулся и даже, вопреки своему обыкновению, ответил ему на пожатие. Это случилось впервые за семь лет их совместной службы.

«Во всяком случае, командировка ответственная!» — подумал Жарковский и, войдя к себе, в свой отдел, весело сообщил секретарю:

— Я сегодня уезжаю. Приготовьте материалы по Средней Азии.

По его тону и по манере двигаться секретарь сразу догадался о настроении своего начальника и с той же веселостью в голосе, что и у Жарковского, сказал:

— Зайченко доставлен... Ввести его?

— Введите! — приказал Жарковский и прошел, поскрипывая сапогами, в свой кабинет.

#### 4

Никогда Зайченко так не волновался, как в этот раз, увидя за письменным столом против себя молодого подтянутого военного, в прекрасном обмундировании (шитом с гвардейским шиком), в меру вылощенного и тщательно выбритого. Жарковский с изысканной любезностью протянул ему свой кожаный портсигар и предложил папиросу. Зайченко папиросу принял и, вынув коробок, вытащил спичку... Потом, прижав коробок краешком ладони к груди, ловко чиркнул спичкой о коробок... Спичка загорелась. Жарковский, внимательно наблюдая за всеми этими манипуляциями однорукого человека, даже и не подумал помочь ему. Когда Зайченко закурил, он спросил его, уже холодно и безразлично (он подражал в этом Пишо):

— Что скажете?

— О чем? — спросил, недоумевая, Зайченко.

— Как доехали?

— Прекрасно.

— Как жили?

— Всяко, — сухо ответил Зайченко.

Жарковский привык работать по-разному. Иногда он задавал прямые вопросы и по мелочам, то есть по интонации или по характеру ответов, догадывался об истинном настроении человека, которого он допрашивал. Иногда он заводил самый обычный разговор, тщательно пряча то, что стремился узнать, и когда заговаривали о чем-нибудь близком к этому, незаметно наводил допрашиваемого на интересующую его тему. Так же при-

ходило ему уличать обвиняемого или подследственного путем столкновения с неопровержимыми фактами. На этот раз он избрал самый обычный прием и прямо завел речь о Джемсе. Он спросил Зайченко:

— С кем из курбаши, кроме Иргаша, разведчик Джемс имел непосредственную связь?

— Не знаю, — сказал Зайченко. — Мне уже задавали этот вопрос... И я тогда на него не мог ответить. Прощу верить, что я видел Джемса только один раз...

— Только раз?.. — живо, будто удивляясь, промолвил Жарковский и, оглядывая Зайченко, задал ему новый вопрос: — А вы слышали, что басмаческие вспышки продолжают до сих пор?

— Вспышки... — пробормотал Зайченко. — Не знаю.

— Ну да. Только вспышки. Ведь иначе не может быть... — как бы объясняя, сказал Жарковский.

— Конечно... — сейчас же согласился Зайченко. — Движение быстро выдохлось. Уже давно... Я сам чувствовал его крах.

— Вы чувствовали?

— Да.

— Давайте вернемся к началу, — проговорил Жарковский. — Вы знали, кто руководил организацией в Ташкенте?.. В самом начале?

— Нет.

— От кого же вы получали поручения? Кто снабжал вас?

— Организация... Но людей я не знал. Это были анонимы.

— Зачем вы лжете?

— Я не лгу... Я называл Назиева и Кудашевича. Но это было по девятнадцатому году... Других не знал.

— Вы знали английскую разведку! — делая вид, что сердится, сказал Жарковский.

— Вы ошибаетесь! Она знала меня, — заметил Зайченко. — Если это была английская разведка... В чем я теперь сомневаюсь. Черт знает, на кого он работал.

— А Чанышева знали?

— Очень мало... До кокандского восстания. Потом он был убит в тюрьме пьяным красногвардейцем. В Скобелеве.

— Ведь вы привлекались по делу о сдаче Кокандской крепости?

— Да. Привлекался.

— Это так и осталось невыясненным...

Зайченко опустил глаза.

— Вы можете мне верить или не верить, но ни восемь лет тому назад, ни в девятнадцатом году, ни сейчас я даже сам себе не могу ответить на этот вопрос... — сказал он.

— Но если бы обстановка была более определенной для сдачи, сдали бы, конечно?

— Затрудняюсь ответить! — проговорил Зайченко.

Жарковский думал, что он упорствует. Но Зайченко действительно, при всей готовности к измене в ту ночь, все-таки сам для себя не знал и не помнил, как он собирался поступить в последний момент. Сейчас же это давнее дело совершенно не волновало его, и ему было трудно говорить о нем по существу. Он даже забыл о всех своих настроениях тех дней.

Расценивая его молчание по-своему, Жарковский заявил:

— Вот! До сих пор вы продолжаете служить иностранной разведке. Что ж, надеетесь, что она поставит вам памятник?

— Я не службу, — ответил Зайченко.

— Служите молчанием! Определенно служите. А когда встречались с этим резидентом, вы, наверное, были разговорчивее? Иначе бы вас не держали? Не правда ли?

— Да.

— О чем же вы говорили?

— Я заявлял о развале басмачества...

— Информировали?

— Да, можно и так сказать... Я убедился на опыте, что Красная Армия имеет все предпосылки к победе.

— Агитировали?

— Внешне это выглядит, конечно, глупо... Но у нас было трудное положение... Надо было разъяснить эту трудность. Я понимал, что от организации диверсии, от диверсионной борьбы этот разведчик, вернее говоря этот резидент, не откажется, хотя я и говорил, что заниматься этим все равно, что черпать воду решетом.

Увидев насмешливые глаза Жарковского, Зайченко добавил:

— Не совсем, конечно... Иначе он не покупал бы меня.

— Но вы предлагали ему что-нибудь иное?

— Я вообще хотел смыться.

— Как смыться?

— Как-нибудь...

— Куда?

— Ну, достать паспорт... Поступить куда-нибудь на службу счетоводом... Техником...

— Но ведь резидент не выпустил бы вас из виду... Разве вы не понимали этого?

— Понимал... Но не хотел об этом думать.

— Зайченко, вы опять лжете... Вы не из таковских, чтобы жить не думая. Скажите честно: о чем был разговор в двадцать четвертом году, в ставке Иргаша?

— Я сказал. Только об этом.

Жарковский во многом верил Зайченко. Даже в самом себе он находил с ним что-то общее. У него ведь также бывали в жизни такие неопределенные минуты.

«Но я счастливее его, потому что умнее», — самодовольно подумал он про себя и при этом потянулся всем телом. «Хотя он не глуп», — опять подумал Жарковский.

Из дела, а также из личного свидания с Зайченко Жарковский убедился, что этот человек играл жалкую роль кастета в чьих-то руках. «Неужели он этого не понимает? Или притворяется, что не понимает?»

— Вы ведь, кажется, очень хорошо знали комиссара Юсупа?

— Да. Знал, — ответил Зайченко.

— Вы беседовали с Юсупом... в лагере Иргаша?

— Я был у него после нашей сдачи.

— А с «деревянным афганцем» была у вас беседа об Юсупе?

— Не помню... Нет, не было.

— Подумайте...

— Кажется, да.

Зайченко покраснел (выходило так, что его поймали)...

— Понимаете... — пробормотал он. — Я не помню. По-моему, мы не беседовали на эту тему. Нет... Это уж потом, когда я в тюрьме узнал о нападении на Юсупа, у меня это как-то связалось с тем лицом, которое было в ставку Иргаша. Я вспоминаю, что я тогда подумал:

«Не резидент ли сделал это?» Я сейчас просто спутал... Нет! Конечно, нет! Тогда мы оба еще ничего не знали об Юсупе.

— Позвольте... Но в ставке Иргаша говорили о комиссаре Юсупе?.. Это есть в деле.

— Но, по-моему... Да! По-моему... — несколько растерявшись, возразил Зайченко, — комиссар бригады Юсуп тогда не ассоциировался у меня с тем Юсупом... Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. То есть с тем Юсупом, которого я знал мальчишкой... Да, не ассоциировался. Об Юсупе с этим шпионом я не говорил.

— Что вы знаете об убийстве в Беш-Арыке?

— Ничего не знаю. Кто-то выстрелил в Юсупа.

Жарковский вдруг открыл ящик, где у него лежало дело, и, вынув оттуда бумажку, протянул ее Зайченко.

— Читайте отчеркнутое красным карандашом.

Это был рапорт Юсупа от 4 апреля 1924 года.

...Начальник штаба Иргаша Зайченко является звеном между какой-то, вероятно зарубежной, разведкой и мятежным курбаши. Запутался. Упрям. Операции ведет умело. Большие связи в Средней Азии. Профессионал-диверсант...

Зайченко отложил пожелтевший листок бумаги.

— Читайте дальше...

...все это говорит против него. Я его давно знаю. С юности. Он был моим учителем русской грамоты. Тогда он мне казался прекрасным человеком. Доложить об этом считаю своей обязанностью.

Зайченко улыбнулся.

— Почему это не отчеркнуто? — спросил он.

— Очевидно, особый отдел не счел нужным... — ответил Жарковский. — Но разве что-нибудь от этого меняется?

— Да, вы правы. Не меняется, — заметил Зайченко.

Жарковского удивило равнодушие, с которым были сказаны эти слова.

— Я имею о вас хорошую характеристику, — проговорил он.

Зайченко поднял глаза и спросил совершенно спокойно, будто заранее уверенный в ответе:

— Из лагеря?

— Да... — ответил Жарковский. — Хотите досрочное освобождение?

«Странный вопрос... — подумал Зайченко. — Может быть, он думает, что я могу ему быть полезным? Но в чем?»

Досрочные освобождения случались довольно часто, в них не было ничего сверхъестественного. Единственное, что поразило Зайченко, это специальный вызов в Москву. Все эти мысли отразились на лице у него. Понимая их, Жарковский, слегка наморщив лоб, как бы вспоминая что-то или размышляя о чем-то, сказал:

— Ну ладно, на днях вас освободят... Вернетесь в Среднюю Азию... — скучным голосом прибавил он.

— Мне все равно, — ответил Зайченко.

Позвонив секретарю, Жарковский зевнул. Зевок этот не мог ускользнуть от внимания Зайченко. Он снова почувствовал себя маленьким и ничтожным человеком. В комнату заглянул секретарь.

— Проводите... — сказал ему Жарковский и небрежно кивнул в сторону Зайченко.

Зайченко встал...

## 5

Каменный дом был окружен густым, тенистым садом. В саду бегали две большие собаки. На кухне слышалась возня, кто-то спорил, переругивался, стучали ножи, пахло жареным. Дом этот находился в десяти километрах от Ташкента и считался загородной дачей. Василий Егорович Блинов на лето обыкновенно переезжал сюда. Сам он бывал здесь редко, только по выходным дням, и то не всегда. Здесь жила семья — жена, Александра Ивановна, и двое детей, Шурик, девяти лет, и Капочка. Шурик был сыном Александры Ивановны от первого брака, Капочка же родилась недавно. Дачный участок был огорожен глухой глиняной стеной. В саду росли чинары и орехи. Клумбы были густо засажены цветами. Дорожки посыпаны песком. Через сад протекал большой и глубокий арык. Вода в нем была ледяная, она обжигала даже в знойные дни. Эта дача и вся ее меблировка не принадлежали Блинову. Все числилось за учреждением. Он пользовался всем этим как человек, занимающий видное положение, он был одним из тех, кто возглавлял органы ГПУ в Средней Азии. Жена Василия Егоровича невольно привыкла все это считать

своим... Она всегда говорила: «наша квартира», «наша дача», «наша машина». За ней то же самое повторяли в семье другие, а вслед за всеми так же стал говорить и Василий Егорович, хотя никогда не ощущал все это своею собственностью.

Отец Александры Ивановны до революции служил ночтовым чиновником в Минске. Всю свою юность Шурочка притворялась барышней, стараясь не отстать от дворянских, помещичьих дочек. Когда ей исполнилось двадцать лет, она притворилась влюбленной и вышла замуж.

Муж Шурочки, Андрей Андреевич Бергер, работал директором одного концессионного предприятия в Москве. Вместе с ним она уехала в Москву. Бергер зарабатывал огромные деньги, Шурочка привыкла к роскоши, но в 1928 году вся эта великолепная жизнь кончилась. Инженер Бергер застрелился по неизвестным причинам. Шурочка вернулась в Минск. Через полгода она познакомилась с Блиновым на вечеринке у своих приятелей. Знакомство это неожиданно закончилось браком. В начале 1930 года Блинов получил повышение и переехал в Ташкент.

Очутившись в Средней Азии, Шурочка почувствовала себя крепко и прочно.

Она любила сытую, беспечную жизнь, любила свое хозяйство, любила быть красивой, обожала своих детей, чрезмерно балуя их... Она была глупа, но так себя держала, что никто этого не замечал. Втайне она даже гордилась своим умом — умом дуры. В ясных глазах Шурочки, в мягких ее движениях, в капризном голосе сохранилось столько женственности, что, глядя на нее, нельзя было не поддаваться ее очарованию. Она была ленива, но даже суровый Блинов прощал ей эту лень. «А что ей делать? — говорил он. — Трещать на машинке? Тоже работа...»

Это был смешной и непонятный брак. Все это видели, за исключением Василия Егоровича.

## 6

На дачу Блинова для встречи Юсупа съехались все его старые приятели и знакомые, — одни случайно, как Жарковский, другие нарочно. Лихолетов был инициато-

ром этой встречи. Он явился в Ташкент к Блинову и вызвал из Ферганы Муратова. Жарковский сам пристал к этой компании.

Московский поезд приходил рано... Все собрались еще раньше, надеясь позавтракать на даче. На террасе, увитой плющом, был накрыт стол. Среди разнообразных закусок на столе стояли бутылки с вином, цветы. Плющ слегка дрожал, и колеблющиеся пятна света скользили по белой скатерти, по салфеткам и по сервировке. У ворот стояли две машины: Жарковского и Блинова.

Лихолетов всех торопил и никому не дал притронуться к закускам.

— Нечего тут... Надрызгаете! — говорил он. — Полчаса осталось потерпеть!

Блинов улыбнулся. «Сашка не может без аффектации», — подумал Жарковский.

Муратов молчал. Среди старых своих друзей он вдруг ощутил себя лишним. Жизнь всех устроилась. Все были в чинах, жили в довольстве, и Муратову казалось, что только он один от всех отстал и плетется где-то в хвосте. Военная карьера ему не удалась. Учиться он не захотел, не хватало для этого ни воли, ни способностей. Муратов ушел в запас и поступил на работу в кооперацию. Балансы, деньги, товары испугали его. Проболтавшись года три на хозяйственной работе, он уехал в Фергану, организовал там музей революции, собирал воспоминания партизан, создавал военные землячества, покупал для городов коллекции растений, почв, минералов, охотился, заказывал чучела птиц, волков, тигров и распределял все это по музеям. Такая деятельность отнюдь не успокаивала его. Он терпел ее, как терпят нелюбимую жену.

В полувоенном костюме, сшитом из тонкого синего сукна, в мягких сапогах, с маленьким карманным браунингом в аккуратной кожаной кобуре на командирском, широком поясе, — он выглядел военным. Он цеплялся за былое, оберегал свою тень... И это невольно чувствовалось всеми его товарищами.

Возвращение Юсупа он воспринял как приход старых дней. Жизнь как будто повернулась вспять, — однако он понимал, что это только миг, что после встречи



приятели опять разъедутся, каждый по своим местам... Он молчал, потому что ему не о чем было говорить. Лихолетов дружески похлопывал его по плечу; Муратов смущался, стараясь увернуться. Он думал, что эти дружеские ласки только унижают его.

— А где же Александра Ивановна? — вдруг спросил Александр, взглянув на часы.

— Пока спит, — равнодушно ответил Блинов. Но равнодушие это было мнимое, наигранное. Еще вчера Василий Егорович просил жену встать пораньше и рассказал ей о приезде Юсупа.

— А кто он такой, — заинтересовалась она.

— Старый приятель по гражданской войне, — объяснил Василий Егорович. — Аспирант Комакадемии.

Александра Ивановна кивнула головой. Но уже по движению ее ресниц Блинов понял, что вряд ли его жена станет себя беспокоить из-за приезда какого-то аспиранта. Опасения Василия Егоровича оправдались. Жена еще спала... А он прислушивался к возне на кухне, беспокойно осматривал накрытый стол и не ощущал никакой радости...

## 7

Через четверть часа машины мягко подкатили к правительственному подъезду ташкентского вокзала. Швейцар стоял на подъезде. В одной руке у него была фуражка, другой он придерживал распахнутую дверь. Блинов, Муратов, Лихолетов и Жарковский вошли в правительственную комнату при вокзале. В комнате было прохладно. Возле длинного полированного стола стояли мягкие стулья, по стенам мягкие диваны. На мебель были надеты белые глухие чехлы. В комнату немедленно явился дежурный по станции и доложил Блинову, что московский поезд опаздывает на семь минут. Отпустив дежурного, Блинов обратился с вопросом к Лихолетову: знает ли он, в каком вагоне едет Юсуп? По растерянному виду Лихолетова и по тому, как Сашка почесывал затылок, Василий Егорович понял, что его друг совсем забыл об этом обстоятельстве... Блинов прищелкнул языком.

— Ну вот! Ах ты, Сашка... Вечно что-нибудь с тобой... — сказал он с раздражением. — Придется нам растянуться по всей платформе.

Жарковский встал с дивана, тоскливо поглядел сквозь окно на пыльный сквер привокзальной площади. Там уже собирался народ, шныряли мальчишки, около ларьков с продовольственными припасами толклись люди, к вокзалу подъезжали извозчики и машины.

Когда московский поезд подошел к платформе, Лихолетов, забыв все на свете, выскочил без фуражки на перрон. Вслед за ним появились на перроне Блинов, Жарковский и Муратов. Железнодорожные милиционеры встали в разных точках вокзала. К вагонам, занесенным мелкой желтой пылью, побежали носильщики. На вокзале началась суета. По платформе шли пышные дамы, военные, артель плотников из России, дехкане. Все смешалось...

Юсуп ехал, конечно, в жестком вагоне. Когда поезд подходил к перрону, Юсуп еще издали, еще из вагона заметил среди толпы бритую круглую Сашкину голову. «Встречает!» — радостно подумал он. Люди, нагруженные пожитками, стояли в тамбуре вагона. Когда поезд остановился, Юсуп увидел Блинова, Муратова и Жарковского. Блинов и Жарковский были в летней полотняной форме, в подкрахмаленных белых кителях, в белых, тщательно выутюженных брюках. На петличках у них краснели ромбы, на левой стороне груди — ордена. У Юсупа заныло сердце... Непонятное чувство неловкости овладело им. Он надеялся увидеть только Сашку или Блинова. Но то, что здесь же стоял Жарковский, сразу испортило ему настроение. Он растерянно оглянулся. Рядом с ним собирали вещи какие-то женщины. Перс-спекулянт, ехавший из Москвы с мануфактурой, что-то кричал в окно встречавшим его приятелям. Старухи узбечки быстро закутывались в паранджу. Молодые, глядя на них, смеялись. Крестьянин заматывал тряпкой свою пилу, хозяйственно засовывал в свою лыковую котомку краюху хлеба и две пустые бутылки из-под пива. Среди пассажиров много было русских сезонных рабочих, ехавших на работу в Ташкент. Всех их легко было узнать по деревенской одежде, по самодельным чемоданчикам из фанеры; многие из них везли с собой свои инструменты — топоры, пилы, копачи.

Юсуп смутился, взглянув на свою изжеванную шинель, на пыльные, нечищенные сапоги, на фибровый старый чемоданчик.

«Им будет неудобно встретить такого гостя... — подумал он о своих друзьях. — Не надо стеснять их. Я немытый, грязный... Я лучше сперва почищусь с дороги, побреюсь...»

Решив так, он замешкался в потоке пассажиров. Рядом с ним шли женщины с узлами. Он спрятался за эти узлы. Одна из женщин, несмотря на жару надевшая на себя овчинный тулуп, опасливо следила за Юсупом. Почувствовав, что он держится возле нее, она толкнула его в бок локтем.

— Ты что? Что трешься? — сказала баба Юсупу.

— Я не трюсь, — ответил Юсуп.

— Знаем!.. А потом имущества недосчитаешься? — затараторила она.

Жарковский стоял тут же, возле прохода, где теснились пассажиры. Юсуп загадал: «Если Жарковский узнает меня, тогда не судьба. Ну что поделаешь? А если...» Но Жарковский шмыгнул глазами по бабам, по Юсупу и отвернулся. Юсуп, улыбнувшись, прошел мимо него и вышел прямо на площадь. Машин он не видел, они стояли влево, за подъездом.

Вокзал опустел. Дежурный милиционер, проходя по платформе, удивленно посмотрел на Жарковского, Блинова и Муратова. Лихолетов подошел к Блинову.

— Ну, где Юсуп? — угрюмо и с укоризной сказал Блинов и, показав на Жарковского и Муратова, прибавил: — Все глаза проглядели.

— Только не ворчи, только не ворчи, — проговорил Лихолетов. — Неужели он не приехал? Быть может, лучше нам стоять кучей? Идем, — решительно сказал он. — Юсуп, очевидно, прямо прошел к машине.

Они вышли на площадь. Около машин, кроме шоферов, никого не было. Лихолетов выглядел совершенно растерянным.

— Ну как ты писал ему? — закричал на Лихолетова Блинов. — Ты писал, что мы его встретим?

— Нет... Я хотел сделать сюрприз, — сознался Лихолетов.

Жарковский захохотал. Обиженный своей неудачей, Александр с ненавистью взглянул на него.

Александра Ивановна вышла к гостям в легком летнем платье, шитом весною в Москве по последней заграничной моде, на ногах у нее были заграничные сапалеты с небольшими каблучками. Она только что приняла ванну и чувствовала себя прекрасно. Блинов представил ее Жарковскому и Муратову. С Лихолетовым Александра Ивановна была уже знакома.

— Ну, где же ваш таинственный гость? — пропела она, разводя руками.

— Не приехал... — мрачно ответил Лихолетов.

Блинов по глазам Александры Ивановны догадался, что она довольна. Он знал, что жена любит принимать только именитых гостей. Муратов молчал. Жарковский рассыпался перед Александрой Ивановной в комплиментах, стараясь перевести разговор на другую тему.

— Безмятежный дом! Помещики! — говорил он. — А Василий Егорович по-прежнему хмурится! — Жарковский кивнул на Блинова. — Бросьте его, — сказал он Александре Ивановне.

Александра Ивановна рассмеялась.

— Но где же гость? — повторила она уже с любопытством.

— Неизвестно, — пробормотал Муратов.

— Ну-ну! Садитесь... — сказал Блинов. Обернувшись к жене, он прибавил: — Найдется! Я уже сказал дежурному в комендатуре, чтобы ему дали машину.

— А ты уверен, что он приехал? — спросила Александра Ивановна.

Блинов пожал плечами. Все сели завтракать.

Во время завтрака Жарковский увивался за Александрой Ивановной. Василий Егорович искоса, точно недоверчивый покупатель, поглядывал на жену.

Лихолетов завтракать отказался... Он сидел в шезлонге в саду — у него пропал всякий аппетит — и с осуждением смотрел на террасу. Ему не нравилось, что Блинов спокойно пьет водку и закусывает икрой, намазывая ее на свежий огурец. Вся жизнь этого дома показалась ему неправильной, слишком переполненной удачей. С таким же осуждением он смотрел на хозяина и думал: «Икра с огурчиком! Скажите... Забыл, как лаптем щи хлебал!»

Вдруг сидевшие за столом услышали возле ворот звук машины. Лихолетов, ни слова не говоря, первым побежал по аллейке, обсаженной бересклетом. Вслед за Лихолетовым поднялись со своих мест Блинов и Муратов и тоже спустились в сад. Александра Ивановна повела на Жарковского глазами, как бы спрашивая его: «Почему спешка? Неужто нельзя быть более сдержанными?»

Жарковский, усмехнувшись, встал. Оставив террасу, он медленно пошел по аллее. Александра Ивановна подошла к перилам террасы и, с любопытством вглядываясь вдаль, увидела приезжего гостя. Он шел, слегка опираясь на руку Александра. Блинов, Муратов и Жарковский окружали его. Все они о чем-то говорили, смеялись... «Пожалуй, мне тоже следует выйти к нему?» — подумала Александра Ивановна. Она сбежала с террасы. Гость шел навстречу Александре Ивановне. Тут только она подметила, что, двигаясь, он немножко хромает и слегка волочит за собой правую ногу. Александра Ивановна решила, что он выделяется среди всех своей худобой, стройностью и что хромота не портит его.

Подойдя к Юсупу, Александра Ивановна сказала: — Наконец-то! А я вас так ждала... Я так много наслышана о вас.

«Ну и врет!» — подумал Блинов. Но ему было приятно это вранье.

## 9

Юсуп проснулся ранним утром. Когда он попытался представить себе вчерашний день, ему показалось, что дня этого как будто бы и не было... Правда, был обед, потом купанье, после купанья был ужин, были разговоры, воспоминания, анекдоты, но во всем этом не хватало чего-то существенного, ради чего только и стоило собираться. Друзья шумели, пили вино, перебивали друг друга рассказами, но чем больше было шуму, тем менее верилось в искренность этого веселья. Как будто шумом и случайными разговорами люди хотели заткнуть тот провал, который годы создали между ними.

Юсуп заметил, что Муратов перестал быть равным Блинову и остальным. Его как будто жалели... Жарковский нещадно трещал, рассказывал анекдоты и всех ве-

селил за обедом, но когда Карим Иманов вызвал его к себе на свою роскошную дачу, Жарковский не без удовольствия покинул компанию. У Лихолетова с Блиновым было что-то общее. Но это касалось их совместной службы в Средней Азии. Интересы эти были настолько узко служебные, что, когда они обменивались репликами, их никто не понимал. Юсуп невольно почувствовал себя посторонним... Ощущение это было не из приятных, и он утешал себя тем, что после стольких лет разлуки смешно требовать чего-то иного. Но все-таки какое-то непонятное чувство недоумения грызло его душу. «Разве я стал другим? Или они стали другими?» — думал он. С этим чувством внутренней неудовлетворенности надо было покончить. Юсуп решил встать... Он спал в кабинете Блинова. Кабинет казался необжитым. В углу между окном и диваном стояли американские книжные полки, но чувствовалось, что в этом доме книг не любят и читают мало. У другой стены помещалась радиолла. Рядом с ней в резном шкафчике черного дерева Юсуп нашел богатое собрание пластинок; большинство из них было заграничного производства.

В комнату заглянул Александр. Он был уже одет.

— Завтракать! — закричал он Юсупу. — Сейчас едем в город. Егорыч тебе дело придумал!

— Какое дело?

— Чудесное! Останешься у нас...

За завтраком Блинов рассказал Юсупу, что через две недели в районы выедет комиссия под председательством Карима Иманова. Комиссия нуждается в людях, отлично знающих места. Особые уполномоченные до прибытия в Коканд Карима должны произвести расследования по районам и доложить комиссии о результатах.

— Беш-Арык — самое слабое место! Очень плохо по Беш-Арыку... — сказал Блинов. — Колхозы разваливаются. Население недовольно. Заготовки хлопка срываются... Тяжелое положение! — проговорил он. — Вот и возьми на себя Беш-Арык... — предложил он Юсупу. — Знаешь его как свои пять пальцев.

— Опять Беш-Арык? — сказал Юсуп и покачал головой.

— Теперь не стреляют... — мрачно заявил Муратов.

— Подумай... — сказал Блинов.

Юсуп быстро прикинул в уме, что работа эта тяжелая и неприятная. «Ну, тем лучше... И думать тут нечего, — решил он. — Сразу нырну в самую гущу».

— Идет! Поеду! — сказал он.

Когда слова эти сорвались у него с языка, он смутился, почувствовал неловкость, было что-то случайное в этом ответе. Он даже струсил и покраснел, заметив взгляд Блинова. Василий Егорович потирал переносицу, наблюдая за Юсупом.

— Ты подумал?... — еще раз сказал он.

— Да, я уж подумал... — ответил Юсуп. — Судьба, верно...

Муратов вдруг быстро, будто спросонья, спросил:

— В судьбу веришь?

— Верю... — ответил Юсуп.

— Вот это академик! Вот это правильно! — сказал Александр.

— Егорыч! — закричал он. — Где малага? Малаги хочу.

Блинов достал из буфета початую бутылку и стаканчик. Александр всем разлил вина.

— Мне не надо! Нельзя с утра... — поморщившись, сказал Блинов.

— Какое же это утро? Уже десять часов. Позднее у вас утро, голубчики! — кричал Лихолетов, распорядившись бутылкой. — Кроме того, это вспрыски. Надо понимать! А ну, Егорыч, распечатывай новую. Этой не хватит.

— Сашка, мне ж на работу надо, — пробормотал Блинов.

— Ладно! Слушай мою команду, — сказал Александр, оглядев стол. — У всех налито?

Он протянул Юсупу свой стаканчик, чокнулся и воскликнул: — Ну!.. Желаю! Надеюсь! Ни пуха ни пера! Рад, что ты здесь! Эх, Юсуп, душа моя милая, если бы ты знал, как я рад. Ну, за тебя, за твою судьбу... За счастливую звезду твою, дорогой мой! За пески Средней Азии!

— Вот это тост, — сказал Жарковский.

Сашка, не почувствовав иронии, добродушно и самодовольно сказал:

— А что, в самом деле — хорошо? Напрактиковался.

И тут глаза его подернулись хитринкой. Он нагнулся к Жарковскому:

— А ты Суворова читал? Нет?.. А я, брат, читаю.

Конечно, Александр больше всех суетился, больше всех говорил за завтраком, им же были предложены и торжественные тосты, — он так распоряжался за столом, что казался хозяином, а не гостем. Но именно благодаря неугомонному Александру завтрак получился дружественным, — и Юсуп почувствовал себя легко и свободно.

При разъезде Лихолетов отвел в сторону Василия Егоровича; почти вплотную прижав того к стене, он стал шептать ему на ухо:

— А что, я не очень шумел? Александра Ивановича не будет сердиться? Ты извини меня, Егорыч, я боялся, как бы Юсуп не подумал, что мы стали сухие... Посмотри, какая у него молодость в глазах! Эх, молодость... — Сашка прищурился, вздохнул, чему-то улыбнулся, все в одно время. Потом повторил: — Молодость!.. — и, нагнувшись, стал поправлять шпору на сапоге.

...Через неделю Юсуп выезжал из Ташкента в качестве уполномоченного Особой комиссии. Вместе с ним в этот же день выехал и Лихолетов, только в другом направлении. Он возвращался в Самарканд.

Все устроилось очень просто, легко, и то чувство неудовлетворенности, с которым Юсуп проснулся в первый день своего пребывания на родине, исчезло.

## 10

В доме Хамдама в Беш-Арыже по-прежнему ярко зеленели ставни на окнах. Большой орех во дворе неподалеку от дома стал тенистее, и сад еще больше разросся. Глухой глиняный дувал, так же как и раньше, охранял владения Хамдама. Под навесом во дворе стояли лошади. Сарай были набиты клевером, в кладовых хранились бочки с маслом, зерно и мука. Но сам Хамдам отказывался от богатства...

— Это семейству да старым джигитам. А мне ничего не надо. Лепешку да чашку риса, — говорил он, усмехаясь, когда его спрашивали о доходах.

Новые жены жили с ним в курганче, Рази-Биби жила в Андархане, в старом доме. С ней он теперь не виделся. Часто к нему приезжали важные гости из Коканда и Ташкента. Нередко бывал двоюродный брат Карима, сам Курбан Иманов. Тогда Хамдам затевал пир на три дня.

Хамдам перестал служить в милиции, но от этого власти у него не убавилось. Он наслаждался жизнью, как наиб на покое, от времени до времени забавляя себя охотой. Когда какой-нибудь приезжий из России удивлялся его особому положению, местные люди говорили: «Хамдам — человек заслуженный. Зачем его трогать? Пусть доживает».

Слухи о старости Хамдама были ложными. Он поседел, но еще далеко было и до погребального камиса \* и до могилы. Седые волосы украшали его. Лицо, казавшееся раньше злым, теперь облагородилось сединой. Время, точно лучший гример, помогало ему, и, глядя на Хамдама, никто не мог уже сказать, что этот человек не внушает доверия...

Спокойный взгляд маленьких, будто ушедших в себя, задумчивых глаз, седая бородка, виски, после бритья казавшиеся серебряными, неторопливые движения, рассудительная речь — все говорило о необычайном душевном мире. Он жил, как ветеран на пенсии, — вдали от повседневной суеты и забот.

Но если наступали решительные дни, Хамдам снова появлялся среди народа, и достаточно было сказать ему одно слово — оно звучало сильнее, чем тысячи других.

Когда в 1930 году началась массовая коллективизация, Карим Иманов через Кокандский Совет обратился за помощью к Хамдаму. Хамдам все устроил с поразительной быстротой. За семь дней он организовал сорок семь колхозов. Приезжая в кишлак, Хамдам назначал собрание и объяснял собравшимся, что они должны делать. Если кто-нибудь возражал, он говорил: «Ким? (Кто там?)» Все смолкали, потому что боялись его. Пользуясь этой боязнью, он насадил в колхозы своих, преданных ему джигитов. Затем дехкане решили переизбрать правления, так как все увидели, что Хамдам действовал самочинно. Но ставленники Хамдама от-

стаивали свои права, не брезгая никакими средствами. Они травили выступавших против них людей, ходили с жалобами из учреждения в учреждение и писали доносы. Сторонники Хамдама объявили себя «передовиками», борьба с ними была невозможна, потому что сам Хамдам поддерживал их. Никто не смел сказать это в лицо Хамдаму. На него жаловались, писали заявления, но жалобы оставались без последствий. Хамдам видел, что его деятельность угодна Кариму. Это чувствовали и другие, но никто не мог понять их отношений. Одни объясняли их особым покровительством Карима, другие — заслугами Хамдама перед советской властью. Районное руководство считалось с Хамдамом, те же, кто был им недоволен, только шептались, но бездействовали. В первый же год коллективизации один из больших колхозов в Андархане был торжественно назван именем Хамдама, и председателем там назначили сына его, Абдуллу.

Так, обходя все законные постановления, пользуясь тысячами обстоятельств, Хамдам еще раз сумел утвердить себя. «На этот раз я тоже рассчитал все правильно... — говорил он своим друзьям. — Жизнь есть жизнь. Лучше заскочить вперед, чем плестись позади. Отстать вы всегда успеете...»

Джигиты, когда-то воевавшие под его командой, снова доверились ему, как звериная стая доверяется опытному вожаку.

Сапар, сделавшийся, как и многие из его бывших охранников и командиров, председателем колхоза, открыто говорил:

— За тобой, отец, пойдем куда угодно, хоть в капкан!

Власть Хамдама упрочилась, она стала неписаной тайной, но от этого не менее сильной. Это ощущалось даже за пределами Беш-Арыка.

Все было у Хамдама — и власть и почет, он не знал нужды, все желания его исполнялись. Мужчины и женщины с охотой шли к нему, когда он приглашал их к себе в дом. Ведь Хамдам был почтенным человеком! И даже Рази-Биби, отпущенница, жившая в Андархане, не осуждала Хамдама.

Она жила, как мужчина, отдельным домом. Рази-Биби подчинила своему влиянию многих женщин, все

они слушались ее и даже выбрали бригадиром... Но когда в народе заходила речь о Хамдаме, Рази-Биби бледнела, потупляла глаза, и в такую минуту трудно было выдать из нее хоть слово.

Когда люди сообщали ему об этом, Хамдам усмехался.

«Никогда не пройдет моя власть!» — хвастливо заявлял он.

Однако среди всего этого благополучия жизнь все-таки не казалась ему прочной. «Она и без того мгновение... Все уже прожито. Надо доедать остатки. Чего же я достиг?» — думал он.

В такие дни тоски и размышлений он устраивал пир, наслаждался вином, пищей, любовью. Когда все это надоедало ему, он, не стесняясь, выгонял приглашенных женщин, а потом, проводив гостей, предавался одиночеству. Тогда только Насыров осмеливался разговаривать с ним.

За эти годы Хамдам неоднократно предлагал Насырову самые выгодные должности в милиции, в кооперативах, в Совете, но киргиз отказывался от всего.

— Неужели у тебя не хватит прокормить меня? — говорил он Хамдаму.

Он до сих пор жил при Хамдаме как его телохранитель, конох, ординарец. Он стал тенью Хамдама. В нем исчезла прежняя гордость, он никуда не торопился, не спорил с людьми и не обижался, если его оскорбляли.

Когда Хамдам сидел на галерейке курганчи, напряженный, взволнованный, размышляющий, с припадочными глазами, только один Насыров понимал его. Он читал в его глазах жажду убийства и жалел, что сейчас нет войны...

Если случалось в это время какое-нибудь ответственное дело, Хамдам брался за него с удовольствием и этим удовлетворял свою жестокость. Так, в 1931 году в окрестностях города Сох появились басмаческие банды. Хамдам присоединился к особому отряду, направленному против этих банд, и заслужил благодарность.

Правда, в этой же экспедиции от человека, посланного в Ташкент за деньгами, он получил письмо: «Хамдам, вы слишком доверчивый человек; имейте в виду, что вас направили исключительно затем, чтобы в одном из боев вы были убиты своими же людьми, подосланными ГПУ...» Хамдам спрятал письмо в карман. Он не

поверил. «Либо это пишут люди, которые мне завидуют, — подумал он, — либо это пишут наши. Им неприятно, что я участвую в таких делах».

— А я буду делать то, что мне выгодно... — решил он, усмехнувшись. Он был прав. Хамдам знал, что его работа в особых отрядах будет учтена и об этом доложат Блинову... «Такие дела — все равно что крепость...» — подумал он. — Хорошее мнение обо мне будет...

Он видел, что район постепенно наполняется новыми работниками. Они выходили из низов и занимали места вопреки воле Хамдама. И, может быть, вопреки желанию Карима (так думалось Хамдаму)... Этот новый слой людей никак не был связан с Хамдамом. Новая жизнь настойчиво требовала изменений. Эти люди не могли уже согласиться с привилегиями Хамдама, и Хамдам чувствовал, что они готовы в любой удобный момент покуситься на его авторитет. Надо было бороться с этими людьми, надо было иметь за своей спиной поддержку помимо Карима. Терять хорошее мнение о себе было опасно, вот почему он с такой покорностью выполнял все особые поручения, вполне справедливо рассчитывая, что Блинов не забудет этих услуг. Даже свои страсти Хамдам умел сочетать с выгодой. Все шло ему на пользу. Он ничего не делал зря. Сейчас даже больше, чем раньше, он взвешивал каждый день своей жизни. Дни эти становились для него все дороже. Он дрожал над ними, как голодный над хлебом.

Люди избегали ссориться с Хамдамом. Везде, и в милиции и в райсовете, были его ставленники, доносившие ему о всех советских мероприятиях. Он знал все, что происходит в районе, не хуже любого руководителя: Благодаря непрерывной бдительности, благодаря умению обороняться и нападать, Хамдам сохранял себя. Все, что хоть как-то шло против него, он старался пресечь, а если и пропускал, так только затем, чтобы не вызвать излишнего подозрения. Он жил, не забывая ни одной мелочи. Хамдам учитывал важность мелочей. Его маленькие безмятежные глазки всё замечали. Даже заготовители, приезжавшие за продуктами в Беш-Арык от районных потребительских обществ, от кооперации Среднеазиатского военного округа, от промышленности — в первую очередь обращались к Хамдаму. Он устраивал все заготовки. Правления кишлаков были

послушны его указаниям. Хамдам получал премии либо с вагона, либо с товара... Денег у него было много. Он был щедр с приемщиками, поэтому они никогда не забывали его. Райснаб только формально регистрировал сделки.

Так жил Хамдам, часто думая про себя: «Я здесь бог. Чего мне еще надо?»

Связь с Джемсом у него была порвана. Однажды только, в 1930 году весной, появился на дворе у Хамдама неизвестный человек и заявил ему, что друзья о нем помнят... Человек этот оставил подарки и ничего не потребовал.

— Замир-паша вам кланяется... — сказал он. — Он шлет тысячу приветов.

«Опять я стал нужен...» — подумал Хамдам, усмехаясь. Посланцу он ответил только согласием принять подарки. И отпустил, больше ничего не спрашивая.

Все эти годы Хамдам встречался с Курбаном, двоюродным братом Карима. Хамдам недолюбливал Курбана. Курбан работал в Ташкенте, в кооперации, занимал солидное место, и от него зависели все районные заготовки. Он брал с Хамдама большой процент... Но на это Хамдам плевал. «Обидно другое... — думал он, — Обидно, что от Курбана приходится зависеть».

Курбан был членом тайной националистской организации «Милли Иттихад» в Ташкенте. Он передавал Хамдаму все приказания своего центра.

Дело в том, что в эти годы велась война более опасная, чем на поле сражения. Раньше, в гражданскую войну, сражались открыто, враг разоблачал себя, и можно было предусмотреть, откуда следует ожидать его удара...

Все иначе было теперь, в тайной войне. Главарем этой тайной войны был Карим, и никто не предугадывал, что это прославленное имя принадлежит предателю, ведущему войну в темноте.

В период составления плана первой пятилетки у буржуазных националистов возникла мысль — организовать в Средней Азии замкнутое хозяйство. Они составили пятилетку, шедшую вразрез с директивами союзного правительства. Этот план был в Москве расшифрован. Был поставлен новый вопрос о пересмотре хлопковой программы. Но чтобы не дать хлопка, они создали новый, дутый, значительно преувеличенный план. Они стали проводить теорию монокультуры (единичной куль-

туры). Такой исключительной культурой был избран хлопок...

«Хотите хлопок? Пожалуйста!» — говорили они, и для изобретенной ими монокультуры они уничтожили луга, то есть клевер и корма для скота, вытеснили на поливных землях не только пшеницу и ячмень, но даже такую необходимую для Средней Азии культуру, как рис. Это привело к снижению поголовья скота, к сокращению шелководства и даже к уменьшению урожайности хлопка.

Но самое серьезное было еще не в этом. Провокационный план был тоньше и, если можно так выразиться, значительнее.

Когда все эти меры вызвали в народе вполне естественное недоумение, недовольство, Карим Иманов послал в кишлаки своих агентов.

— План московский! — скромно говорили эти провокаторы. — Что поделаешь? Директивы!.. Недовольны? Жалуйтесь.

Хамдам был одним из проводников этой программы. Люди, послушные его указаниям, исполняли все то, чему учил их Хамдам. Резиденция его по-прежнему была в Беш-Арыке. Но влияние его распространилось на всю Фергану, и он нередко думал, что еще придет та минута, когда он поспорит о власти даже с Каримом — всюду он старался иметь своих людей.

Но за все это время он ни разу не видел Карима. Ему запрещены были эти встречи. Хамдам, конечно, понимал смысл этого запрещения, но все-таки оно уязвляло его самолюбие.

— Я — бог... А Карим — три бога! Его больше берегут... Хоп, хоп! — говорил он. — Посмотрим еще, кто из нас настоящий бог? Бог один. И Магомет его пророк.

Хамдам всегда считал, что все его действия — правильные, и жизнь — правильная, поэтому он всегда был спокоен. Только в одном поступке раскаивался он до сих пор, но ничего уже не мог поделать. «Все грехи с меня снимутся, когда буду умирать, а этот нет... — думал он. — Исправить его невозможно!...»

До сих пор Хамдам не мог себе простить заточения Садихон. Десять лет она жила взаперти, в усадьбе Баймуратова. Потом, когда она стала вести себя как безумная, Баймуратов испугался, спрятал ее в яму и хотел убить, но Хамдам не позволил. Он считал, что его жизнь связана тайной нитью с жизнью пленницы. Хамдам сам не помнил, как эта мысль взбрела ему в голову, как он выдумал это, но освободиться от нее никак не мог. Иногда он заезжал в Гальчу к Баймуратову, говорил ему:

— Хорошо ли кормишь? Смотри...

Послушный Баймуратов, многим обязанный ему, старался как мог... Он угадывал, что это желание, высказанное Хамдамом, имеет таинственный смысл.

В середине сентября, узнав о назначении Особой комиссии, Хамдам рассмеялся.

«Умен! — подумал он о Кариме. — Недаром в Лондоне учился...»

Приезд Карима его, конечно, не пугал, но вот когда ему сказали, что в состав этой комиссии включен Юсуп, приехавший из Ленинграда, настроение его изменилось. Он почувствовал толчок в своем сердце и даже расстроился. А когда ему донесли, что Юсуп уже в Коканде, он приказал Насырову заседлать лошадей.

— Куда поедет? — спросил Насыров.

— В Гальчу... — коротко сказал Хамдам.

Он ехал туда точно к оракулу, точно желал посмотреть на свою судьбу, спрятанную в яму.

Хамдам появился в усадьбе Баймуратова внезапно, без предупреждения.

Увидав гостя, Баймуратов проворно подбежал к стрелени, желая помочь Хамдаму. Но Хамдам, не приняв его руки, сам ловко соскочил с коня. Выслушав приветствие, Хамдам отказался от посещения дома.

— Некогда, — заявил он и оглянулся по сторонам.

Баймуратов повел гостя через сад. Там, за бахчой, стоял полуразрушенный сарай. Над бахчой, раскаленной солнцем, струился полдневный, слегка дрожащий горячий воздух. В сарае на полу лежали свежие, душистые дыни. Баймуратов расшвырял их ногой и поднял доски пола.

Хамдам подошел к яме, похожей на кувшин с узким горлом, и взглянул внутрь. С трудом он разглядел Садихон в глубине ямы.

Сади прикрыла глаза рукавом отрепья, накинутого на плечи. Даже скудный свет слепил ее. Она сидела, прикованная цепью к стене каменного стока, давным-давно устроенного под сараем. Руки ее не достигали соседних стен. Цепь позволяла ей только лежать или сидеть возле стены.

— Дышит?.. — спросил Хамдам.

— Щели есть! — ответил Баймуратов.

Хамдам поморщился, вздохнул.

Отекшее, толстое, бледно-желтое тело Садихон напоминало ему большую булку.

— Ничего не жалею! — сказал он тюремщику. — Бросай в яму жирное, сладкое.

Баймуратов обещал.

— А как ты думаешь, она все понимает? — вдруг спросил его Хамдам.

Баймуратов пожал плечами.

— Она молчит?.. — продолжал спрашивать Хамдам.

— Да, — равнодушно сказал Баймуратов. — Наверное, немая...

«Это она-то! Певунья!..» — невольно подумал Хамдам и опять заглянул в яму.

В обезображенных чертах лица все-таки можно было признать Садихон. Он наклонился ниже над ямой. Сади, услышав наверху движение, отвела руку от лица, и Хамдам увидел ее глаза. Хамдаму захотелось позвать ее. Он нежно сказал: «Садихон». Вдруг Сади плюнула ему в лицо и крикнула. Хамдам затрясся, схватился за револьвер, но тут же сдержал себя, вытер на щеке слезы и молча вышел из сада. Следом за ним тащился хозяин. Но Хамдам забыл про него, он вскочил на коня и точно бешеный помчался по дороге. Вслед ему поскакал Насыров.

«Не мучай. Так тебе и надо...» — подумал он про Хамдама.

Юсуп исколесил весь Беш-Арыкский район. Ночи он проводил в первой попавшейся по пути чайхане. Но и здесь часто не удавалось ему отдохнуть. Да и не до отдыха было. Встречаясь с людьми, он хотел вычерпать их до дна, не уставая расспрашивал их и за эти



несколько дней узнал столько, что даже в год ему не узнать бы, если бы он сидел в Ташкенте.

Пыльный, грязный, полуголодный, он добрался до ночлега, перегруженный такими впечатлениями, что не сразу мог уснуть...

...На хлопковых плантациях бурно раскрывались коробочки. Почти половина их уже раскрылась, и следовало давно приступить к сбору хлопка. Газетные корреспонденты, объезжавшие район, сообщали, что во всех кишлаках уже проведены бригадные собрания и население ознакомились с нормами выработки и сроками сбора, везде подготовлены арбы и мешки, мосты и дороги везде ремонтируются. Корреспонденты также писали о том, что в кишлаках налажено общественное питание, заготовлены мясо и овощи и при бригадах устроены ясли, куда матери могут отдать своих детей.

Газета была заполнена сведениями о хлопке. Приводились цифры сбора хлопка, отмечались кишлаки, идущие впереди, — отстающие записывались на черную доску. Очень много уделялось места тому, чтобы побудить мужчин выйти на сбор. Мужчины считали это для себя низким делом и неохотно откликались на призывы. С этим явлением велась борьба путем агитации в заметках и даже в стихах. Прочитав газету, забитую до отказа вопросами о хлопке, сведениями о хлопке, тревогой о хлопке, можно было подумать, что вся жизнь людей только в том и заключается, чтобы оборвать с густо-зеленых длинных стеблей как можно больше чашечек, наполненных драгоценным волокном и семенами, дающими после переработки ткань и порох.

На самом деле жизнь шла не так...

Юсуп видел другое: то обнаруживались злоупотребления на приемочных пунктах, то не хватало рабочих рук, то исчезал транспорт, то пропадали мешки и приходилось хлопок грузить просто в арбу навалом, а потом вся дорога была усеяна хлопьями. Словом, не было дня, не отмеченного неудачей. Казалось, что все думают только о хлопке, но в то же время Юсуп ясно видел, что кто-то незримый нарочно тормозит дело...

Хлопок поступал невероятно медленно. Даже Коканд еще не дал своей нормы, не говоря уже о Фергане. А Беш-Арык плелся за Кокандом, позади всех районов, Дехкане жаловались Юсупу на свою судьбу.

— Что хлопок? Разве один хлопок? Опускаются руки... — говорили они, обступая Юсупа и перебивая друг друга. — Работаем... А что получается?

— Что делается? Непонятно... — ругались старики.

Молодежь их останавливала, успокаивая. Особенно старались те, кого сейчас назначили в старшие, то есть либо бригадиры, либо нарядчики. Юсуп видел, что они тоже чувствуют неурядицу, но для собственного спокойствия хотят все это представить в лучшем свете.

Юсуп сердился и требовал откровенности.

— Надо называть черное черным, а белое белым! Молчали весной... — упрекал он бригадиров. — А теперь спохватились. Да и опять замалчиваете. Ведь не с неба разверстку культур делали! Могли спорить.

— Поспоришь... Обещали, что корма привезут и нам и скоту... Обнадежили. Да и привезут, конечно.

— А где наше? Что сейчас есть? Вот ты послушай, как мы арыки чинили... — сказал старик в чалме. — Ремонт назначили. Сделали... На одних участках получился излишек. Воду сбрасывали!.. А на других водяной голод. Нет ничего, все горит! Пришлось посев уменьшить, чтобы все не сгорело. Ну, что это? Опять работать? Заново?

— Да! Будем работать! В этом спасение!.. — говорил Юсуп. — А что ты предлагаешь? Бросить все? Рассердившись на блох, сжечь одеяло? Так, что ли? Нет!

Иногда он сам чувствовал, что у него, как у споривших с ним стариков, тоже опускаются руки, что он ничего не понимает в этой каше и только барахтается в ней. Не раз он вспоминал времена гражданской войны и думал о том, как проще тогда было жить, как все было ясно, понятно и легко. Сомнения одолевали его. Однажды он даже решил отказаться от взятых на себя поручений... Такие мысли обыкновенно приходили к ночи. Он почти не спал, вставал рано утром с дрожью в ногах и только усилием воли заставлял себя подойти к умывальнику и сполоснуть лицо свежей водой. «Нет, не отступлюсь... — думал он. — Костями лягу! А уж там пусть будет что будет».

С утра он впрягался в работу, разъезжая по кишлакам, устраивал там собрания и принимал жалобы.

В колхозе имени Хамдама в Андархане Юсуп нашел Алимата...

Алилат ощупывал Юсупа, точно новую попку, прищелкивая языком. Потом он потащил Юсупа к себе.

Дом Алимата стоял в саду. Это был маленький участок земли, но чего только не насадил на нем Алилат! Вдоль дувала стояли тополи. Против дома был вырыт маленький пруд. Вырытая земля образовала террасу-айван, над ней Алилат поставил навес с глинобитной крышей. За домом росли персики, два тутовых дерева и широколистая, сочная айва. На солнце возле огорода стояли рядком яблони и молодая груша. Хна, мальва, гребешок пестрели на грядке около террасы.

— Всё мои дети... — сказал Алилат, улыбаясь. — И в доме пять детей. Двое уже работники. Все учатся. Вот смотри, как я живу. Бек!.. Эмир!

Любовным взглядом он обвел свои строения и каждую травку.

После обеда Сурмахан убрала всю посуду, и Алилат позвал соседей... Пришли Джурабаев и Максуд, близкие приятели Алимата. Алимату хотелось похвастаться, почваниться тем, что у него в доме появился важный гость.

Уже стемнело. Алилат вынес лампу и поставил ее на ковер. Из сада навстречу огню кинулись мошки. Они падали прямо в стекло и сгорали на лету.

— Разве столько мы имели бы, если бы не Абдулла?.. — сказал Джурабаев, когда Юсуп спросил его о колхозных доходах.

Живой, с острыми ныряющими глазками старичок чем-то напоминал Абита.

— Ведь земля наша — золото! Не будь Абдуллы, богачами были бы... — говорил он. — Но разве это хозяин? Разве это хозяйство? Это — базар. Сколько зря идет...

— Я проверку делал! Я! — кричал Алилат, тыча себя пальцем в грудь. — Одному Хамдаму сколько идет? А за что? Что он — работник?

— Ну, не только Хамдаму... — заспорил Максуд. — Абдулла сыну обрезание делал? Делал! Гостей собрал? Собрал. Две тысячи гостей было... Вот был той! И Хамдам был на нем. Три дня веселье шло. Обрезание было.

Абдулла сыну обрезание делал. А называлось это праздником в честь весеннего сева. Вот такая вывеска!

— Для Хамдама той устраивали! Хамдам собирал народ! Вот что было по-настоящему, — сказал Джурабаев. — Хамдама чествовали!

— И Хамдама чествовали и обрезание! — стоял на своем Максуд.

Максуд, уже не молодой человек, лет сорока, но еще стройный, с большими желтыми, кошачьими глазами и с беззубым ртом, считался лучшим работником в колхозе Хамдама.

Он важно сидел, скрестив ноги, на айване, покрытом дырявым ковром, и с удовольствием рассказывал Юсупу о богатом пире:

— На две версты тащились арбы. Не с одних нас... Со многих колхозов поборы были. Везли пищу! Муки! Сала! Сахару! Баранов стадо пригнали.

— Зачем вы дали... — сказал Юсуп.

— А как не дать? — ответил Джурабаев. — Не шулка... Речи говорили. Из Ташкента приезжал Курбан, брат Карима. Ели, пили, гуляли!

Максуд захохотал:

— Одних орехов гору нагрызли. Танцы были. Попировали!

Джурабаев встал и не торопясь надел кожаные туфли с кривыми, стоптанными каблуками. Туфли стояли подле столбов, у террасы...

— Не в нас дело, дорогой Юсуп, — сказал он, кланяясь. — Пока Хамдам здесь, тронь кого... Что будет?.. Одного снимешь, Хамдам другого поставит...

Юсуп заметил, что наедине с ним колхозники говорят более открыто, чем при народе.

Юсуп ночевал у Алимата. Так же, как и в старину, они спали с ним вместе на одной кошме. А утром вместе поехали на поля.

Среди председателей многих колхозов Юсуп встретил старых джигитов из личной охраны Хамдама. Все это были отпетые люди. Юсуп отлично помнил их. Как раз у них в кишлаках и случались все беды сразу. У них хозяйство велось как придется и вызывало ропот в

народе. Сапар Рахимов и его помощник Баймуратов вконец разрушили свой колхоз. Они не сумели даже обеспечить сдачу хлопка, хотя оба были выбраны по району уполномоченными. Сырой, влажный хлопок без просушки начал поступать на пункты, половина его погибала. Остальную часть Юсупу удалось спасти. Комсомольцы с утра до ночи перекапывали огромные преющие груды. К Хамдаму Юсуп даже не заглянул, и это удивило старика. «Странно! — подумал Хамдам. — Что-то случилось... Он должен был меня почтить. Неужели он точит на меня зубы? За что? Не заглянул хоть на минуту! Это следовало бы ему сделать! Если он этого не сделал, значит — война... Значит, ему все известно... Но каким образом? Дошли какие-нибудь слухи? Но какие? О слухах я сам писал ему... Он искренне ответил мне, что не верит этому. Это видно было из письма... Быть может, теперь он узнал что-нибудь... Но что он мог узнать и от кого? Не Сапар же будет говорить! А кроме Сапара — кто знает! В конце концов, я видел еще не таких, позубастее. И тем обламывал зубы! — самонадеянно размышлял старик. — Со мной ничего не сделаешь».

Хамдам всегда верил в то, чего желал, и опьянялся собственными желаниями. Даже накануне своего падения он не усомнился бы в собственных силах... Хамдам ошибался, думая, что Юсуп помнит о прошлом. Юсуп не испытывал к Хамдаму ни злобного чувства, ни гнева, как будто все это прошлое было засыпано песком. Только непонятное, старое, инстинктивное отвращение было причиной того, что Юсуп не захотел видеть Хамдама. Он привык мыслить своего убийцу безыменным человеком, — это был даже не человек, а только выстрел из пустоты. От прежней, почти животной ненависти, какая у него была к Хамдаму в дни юности, сейчас не осталось и следа. Прежний Хамдам померк, он уже представлял нечто иное. Юсуп чувствовал, что не без участия Хамдама совершались все эти преступные дела, что не без его помощи пускались безобразные слухи и ссылки на Москву, не без его указки творился развал. Люди Хамдама, полуграмотные и вовсе неграмотные старики джигиты, не могли бы так стройно спеться, если бы кто-то не руководил ими. Так думал Юсуп... «Но как ухватить Хамдама? Хамдам всегда отговорится: «Я — никто! Я не распоряжаюсь ничем!» Как его можно обвинить,

если он не занимает никакой должности и ни в чем не попался?»

Юсуп устроил в Беш-Арыке собрание районного актива, он рассказывал все, что видел: о всех безобразиях, о всех разрушениях, о миллионных убытках, о вредительствах, о контрреволюционных разговорах, которые велись среди дехкан, и потребовал, чтобы все «подножие» Хамдама, все его ставленники были сняты со своих мест. Список начинался с Абдуллы, сына Хамдама, вторым шел в списке Баймуратов и третьим — Сапар Рахимов; следом за ними шли еще сорок семь человек. Это были опорные точки Хамдама, его негласные командиры, старые его джигиты (не из полка, а из личной охраны). Кроме того, Юсуп предложил собранию возбудить ходатайство о переименовании колхоза имени Хамдама... О самом Хамдаме он ничего не говорил. Он решил не торопиться и на время оставить Хамдама в покое. Собрание было шумное, но предложение Юсупа приняли.

## 15

Сапар и Абдулла вечером прямо с собрания прибежали к Хамдаму. У Абдуллы тряслись губы. Сапар выглядел тверже.

Выслушав рассказ и того и другого, Хамдам рассмеялся.

— Хоп, хоп! Хорошо! — сказал он. — А что люди говорят?

— Разное говорят, отец... — ответил Абдулла. — Одни так, другие так... Сегодня один кричал, что нас выслать надо. Плохо, отец.

— А наши как? — спросил Хамдам.

— Наши?.. — Абдулла почесал рыжую бровь и ответил: — Что — наши?.. Много ли наших? Да и чего стоит человек? Сосед руку подымает — я тоже! Люди есть люди...

— Навоз! — выругался Хамдам.

Он приказал Абдулле сейчас же забрать все ценности и ехать в Андархан, спрятать их на кладбище, в ямах, потом позвал Насырова и сказал ему:

— А ты тоже торопись в Гальчу. Предупреди Баймуратова. Мало ли что может быть... Сегодня одно,

завтра другое! Пусть яму зароет... Абдулла прав. Время — ветер, люди — пыль.

— Какую яму? — спросил киргиз. — Ту?

— Ну да, — ответил Хамдам.

Насыров нахмурился.

— Пес! — закричал Хамдам, увидев это. — Все мы скоро накормим червей! Смотри, кругом загорается! О чем думаешь?

Насыров ничего не ответил. Сняв со стены галерейки седло, он пошел под навес, к лошадям.

## 16

Абдулла и Насыров уехали.

Хамдам сидел на галерейке, прислушиваясь к шуму в Беш-Арыке.

«Вот жизнь! — думал он. — Ничего нет твердого. Сегодня ты — голова, а завтра — ноги. Сегодня — дуб, завтра — солома!..»

Сапар поместился возле него, на деревянной приступке. Он вздыхал, поглаживая себе колени.

— Не бойся, — сказал ему Хамдам. — Пойдем посмотрим, что делается.

Он крикнул женам:

— Заприте калитку... Я скоро приду.

Потом взял плетку, чтобы отгонять собак, надел на себя летний серый плащ и вышел вместе с джигитом из ворот. Ночь была прохладная.

Несмотря на поздний час, по Беш-Арыку ходили люди. На площади еще была открыта чайхана, и Хамдам решил зайти в нее, выпить чаю. Толкнув дверь, он замер от удивления. В чайхане он услышал голос Юсупа. Хамдам не сразу понял, в чем дело... Но, оглядевшись, увидел черную тарелку репродуктора, висевшую на стене около керосиновой лампы.

«Колхозы — крепкое дитя... — говорил Юсуп. — Оно закалилось! Но каждый час, каждую минуту враги готовы отравить его. Советская власть много помогла колхозам. Но я буду несправедлив, если скажу, что у нас все благополучно. Нет. Колхозник понимает свои обязанности? Нет! Он часто не понимает их. Почему? Потому что их не хочет понимать колхозный руководи-

тель — чужой человек, готовый в любую минуту предать колхоз... Крестьяне требуют руководства, а он молчит. Но хуже, когда он вредит! Так было у нас в Беш-Арыке...»

Хамдам заметил, что люди, сидевшие в чайхане, зашептались.

«Снова зашевелились наши враги... — продолжал Юсуп. — Они упрекают нас в беспокойстве... Конечно, им было бы приятнее, если бы мы не заметили их. Убийца не любит, когда его хватают за руку, он кричит: «Я же не убил...» Да, еще не убил, но ты занес руку, и мы знаем — ты способен убить, ты ведь убивал...»

Хамдам увидел, как один из сидящих в чайхане толкнул локтем своего соседа. Этот человек внимательно посмотрел на Хамдама, и вся чайхана снова стала шептаться.

— Полио! Негде сесть, — сказал Хамдам Сапару и вышел вместе с ним из чайханы.

— Видел, как посмотрели? Никто не встал. Места мне не нашлось, — проговорил он, обращаясь к Сапару. — Как будто меня можно унижить! Скоты...

Он мрачно зашагал по беш-арыкской площади.

«Плохо! Вот что сделаю... — подумал он. — Схожу к Юсупу и объявлю ему, что уезжаю на покой в Андархан... Скажу: «Возвращаюсь туда, откуда жить начал...» Потом у Карима спрошу: что мне делать?»

Темные щели переулков и тупиков, редкие огни, яркое небо — все казалось Хамдаму тревожным в эту ночь. Сапар шел сбоку. Хамдам опирался на его плечо и все время оглядывался назад.

Люди прошли мимо Хамдама, не узнав его... Хамдам зевнул. Сердце его успокоилось.

Он хорошо спал. Однако через два дня («ах, лучше бы никогда не было этого дня!» — не раз впоследствии думал Хамдам) вернулся Насыров из Гальчи. Все устроилось как будто нельзя лучше для Хамдама. Но жизнь человеческая подобна песку. «Куда сыплется? В какую сторону? Неизвестно». Теперь он встревожился уже не на шутку, потому что все случилось не по его воле... Значит, в это дело вмешалась судьба. Ее испугался Хамдам.

Он после обеда пил чай, держа в растопыренных пальцах пиалу. Как раз в это время появился на дворе

Насыров. Перед балаханой (род галерейки, балкона) он молча прыгнул с коня и пошел к Хамдаму. Конь же сам побрел в сторону конюшни. Уже вечерние сумерки стояли на дворе.

— Хорошо съездил? — спросил Хамдам.

— Да, — по привычке ответил киргиз, но совсем не веселым голосом.

— Ну как?

— Ее нет... Не было!

— Как не было? — глухо сказал Хамдам и расплескал чай из пиалы. Нахмурившись и обтирая ладонью мокрые штаны, он повторил уже шепотом: — Почему не было?

— Ночью, после того как мы уехали, она умерла.

— Он врет, собака! — закричал про Баймуратова Хамдам. — Он убил ее! Он выпустил? Он ее выпустил... Врет!

— Нет, — сказал киргиз. — Он не врет. Бог так хотел. Слава богу, она умерла своей смертью. Она лежит теперь в саду. Зарыта. Я знаю это место. И в погребке теперь все чисто. Вчера утром, как раз после того, как мы убрали тело Садихон, пришла комиссия. Дворы сейчас обыскивают. Ищут заточенных женщин не только в Гальче. Ты слышал об этом?

— Нет... — Хамдам покачал головой. Ему ничего не было известно. — Вот как!.. — прошептал он. — Ему захотелось водки. Но он сказал себе: «Нет, не надо». Он закрыл лицо руками.

Киргиз Насыров сказал Хамдаму чистую правду, он мог бы даже подробно рассказать своему хозяину о смерти Садихон. Но, пожалев, не сказал всего услышанного им от Баймуратова. Это была страшная, жуткая смерть. Встреча с Хамдамом в последний раз, когда он приезжал в баймуратовскую усадьбу, потрясла безумную. Два дня она плакала и стонала, после вдруг успокоилась. Баймуратов поднял доски, когда она притихла, и следил за ней; у сумасшедшей глаза стали вдруг такими красивыми, что Баймуратов не мог ими налюбоваться; она что-то шептала про себя и будто баюкала кого-то, потом вдруг начала говорить, болтать всякий вздор, упоминала Юсупа, затем ласкала рукой воздух — воображаемого ребенка. Наконец, измаявшись, легла на бок в яме. Баймуратов все смотрел на нее, сердце у него

сжалось от боли. Прекрасные глаза Садихон были открыты, мечтательны, даже счастливы, словно она видела что-то хорошее, потом икнула несколько раз и вытянулась. Это был ее конец.

## 17

Юсуп временно остановился в новом доме, где жили беш-арыкские власти... Хамдам два раза проходил мимо этого дома, желая встретиться с Юсупом, но все было напрасно. Юсуп вместе с Алиматом уезжал опять в Ан-дархан. Это было 15 сентября, через два дня после собрания. А 16-го случились такие события, от которых Хамдаму хотелось бы очутиться подальше. Кто-то бросил камень в окно квартиры, где остановился Юсуп. Кто-то в парандже и в черной маске днем заходил на эту квартиру и расспрашивал домработницу: где и в какой комнате спит комиссар Юсуп? Какие-то неизвестные напали ночью 17 сентября на комсомольца Хашима, работавшего сельхозинспектором. Они ударили его по голове железной палкой и проломили ему голову. Хашим слышал, как один из неизвестных сказал другому: «Это не Юсуп». И в довершение всего по Беш-Арыку вдруг поползли слухи. Они начались с чайханы. В базарный день съехались на беш-арыкский базар окрестные колхозники. Отсюда все и пошло. Кто-то сказал, что Хамдам грозился съесть голову Юсупа так же, как он съел голову Абита...

Хамдаму сообщили об этом. Он вызвал Сапара:

— Пока я здесь, чтобы тихо было. Понял? Поди передай.

Сапар ушел. Но власть вырвалась из рук Хамдама. Да и не мог Сапар обойти всех. Кто-то из обозленных в первом часу ночи 18 сентября ружейным выстрелом с улицы разбил окно той комнаты, где спал Юсуп. Юсупа в комнате не оказалось. Он был на заседании в исполкоме. В комнате спал Алимат, с которым Юсуп проводил вместе все эти дни. 19-го утром Юсуп собрался ехать в Коканд, так как 20-го туда прибывал Карим с Особой комиссией...

Перед отъездом Юсуп послал Алимата к Хамдаму:

— Поди узнай, что он собирается делать.

— Как я пойду? Я к нему не хожу.

— А ты что-нибудь выдумай... Какой-нибудь предлог, — сказал Юсуп.

Алимат взял анкету на получение партизанского значка и с ней отправился к Хамдаму. Для оформления этой анкеты необходима была подпись Хамдама, бывшего командира полка.

## 18

На Рази-Биби была надета пестрая юбка, голова у Рази была не покрыта, волосы заплетены в косички, в ушах висели серьги.

— Значит, ты пожаловала жен моих забирать на работу? — спросил ее Хамдам, выходя из комнат на галерею.

— Когда надо, так надо... Жены твои нигде не работали, — мирно ответила Рази-Биби.

Хамдам сделал вид, что не слышал ее замечания.

— А это что у тебя? — сказал он, покосившись на портфель Рази, и рассмеялся. — Комиссар! — проговорил Хамдам и прибавил: — Почет с меня задумали снять... Слыхала?

Рази ответила шуткой:

— Один сняли, другой наденут!

— Наденут? Не знаю.

Хамдам дернул головой, высморкался и, постукивая плеткой по столбику галереи, приказал Насырову подавать ему лошадь. Потом обернулся к Рази.

— Жен я в Андархан отправлю. Сегодня едут... Так вот, не могу дать, — сказал он, заботливо осматривая седловку подвешенного ему текинца.

— В Андархане тоже советская власть, — сказала Рази.

Хамдам смолчал. Поставив ногу в стремя, он сел на коня.

В это время в раскрытые ворота вошел Алимат. В руке у него была анкета.

— Ну и день! — крикнул Хамдам. — Всем я стал нужен! Ты зачем? — спросил он у Алимата.

Алимат протянул ему анкету. Хамдам, едва взглянув на нее, сразу понял, в чем дело.

— А ордена не хочешь?.. Пора бы тебе орден! — со злостью проговорил он. — Некогда мне. Потом приходи.

— Ну, поставь подпись. Долго ли это? Что мне ходить?

— А на собрания ходишь, продажная шкура! — закричал Хамдам и бросил анкету на землю. — А кто говорил на собрании, что в Беш-Арыке две власти: одна советская, а другая Хамдама?.. Ты говорил!

— Я говорил... — признался Алимат, глядя снизу вверх на Хамдама. — Все равно! Подпись ты обязан дать по закону. Закон есть закон... — упрямо проговорил Алимат.

Хамдам рассмеялся, потом повертел плеткой перед носом Алимата и сказал:

— Закон? Хорошо. А клеветать на меня можно? Есть такой закон? Вот я тебе и говорю по закону. Приходи завтра. Сейчас я уезжаю в Коканд.

Вздвигнув коня, он выскочил на дорогу и поскакал в Коканд, к Иманову.

Хамдам предчувствовал, что разговор будет неприятный, и все-таки, вопреки всем запрещениям, он решил добиться личной встречи с Каримом и с ним поговорить. Он надеялся отстоять если не всех, то часть своих джигитов.

Через полчаса после его отъезда Юсуп тоже поспешил в Коканд. Он уехал поездом... Проводив его, Алимат отправился домой.

## 19

Солнце уже поднялось над горизонтом. На плантациях появились женщины. А мужчины либо путались по базару, либо сидели в чайных. Проходя мимо полей, Алимат стыдливо опускал глаза.

— Плохо... — сокрушался он. — Очень плохо идут дела! Осыпятся коробочки! Ну что же делать... В конце концов, конечно, можно пойти в рик, можно сказать им: «Смотрите, коробочки осыпаются». — «Да, осыпаются...» — «Почему?» — «Опять не хватает рабочей силы...» — «Почему не хватает, раньше ее хватало?» — «Многие ушли в Ташкент на строительство... Здесь строят клуб... Каждый колхоз что-нибудь строит. Либо красную чайхану,

либо школу, ясли... Строится много, Алимат. Много строится...» — «Да, много строится... Это верно. Но в нашем колхозе сто сорок мужчин, а на работе пятнадцать... Где остальные?» — «У каждого есть свои дела. Но это хорошо, что ты сказал... А почему ты не в поле?» — «Я ходил к Хамдаму. Мне свидетельство надо... По закону! Закон требует подпись командира». — «Пусть закон требует подпись, но ведь коробочки осыпаются... Ты читал в газетах призыв ленинградских рабочих?» — «Да, я читал... Но Хамдам — председатель партизан. Я от него завишу. Хамдама нет, подписи нет, значка нет... Что делать? Торопиться надо». — «Ну, так он дал тебе подпись?» — «Нет, не дал. И не надо мне подписи».

Алимат подошел к полю, покачал головой, поздоровался с женщинами, посмотрел на небо. С поля крикнули ему:

— Где Сурмахан?

— Больна... — ответил Алимат.

— Чем?

— Сыпь... — сказал Алимат.

— Сыпь? — женщины засмеялись. — Все вы, мужчины, бездельники... И женщин учите безделью... Подойди сюда, Алимат.

— Вот видишь? Сурма, — указала ему одна из женщин.

Да, действительно это была Сурма. Она много хворала этим летом, ее мучила малярия, и все-таки она вышла в поле. Алимат покраснел. Женщины стояли рядом, они рады были поиздеваться над мужчиной. Алимат прищурился, чмокнул губами.

— Ваша правда... — сказал он. — Сурма вышла, потому что нельзя не выйти, когда вы кричите на весь колхоз.

— Вставай вместо нее.

— Я?

Алимат засмеялся: «Ну виданное ли дело, чтобы мужчина заменял женщину?»

Но когда из толпы женщин показалась Рази-Биби, он струсил. Он боялся старухи.

— Ну, как? — сказала Рази-Биби, подходя к нему. — Пришел?

— Завтра приду, — ответил Алимат.

— Завтра? Я так и думала... Видно, и ты такой же, как Хамдам! — сказала Рази.

Алимат улыбнулся.

— Не смейся... Все вы джигиты на словах!

Рази отчитывала Алимата на глазах у всех женщин, все они прервали работу. Алимат гордо закинул голову, стараясь показать, что он презирает женские крики. Потом мрачно вздохнул и, приказав Сурме идти домой, подошел к белой шелковистой куче хлопка, выбрал мешок и полотенцем подвязал его к бедрам. Затем, ни слова не говоря, вышел на край плантации и начал собирать коробочки.

Рази увидела, что его душа кипит. Щеки у него покраснели, как перец на солнце. Усмехнувшись, Рази отошла.

Женщины переглянулись. Алимат медленно шел по полю. Пот выступил у него на висках. Когда его окликали женщины, он молчал.

«Ладно... — думал он, стиснув зубы. — Я покажу вам! Десять женщин все-таки одна курица... Что там ни говори... А если бы у курицы был ум, разве стала бы она клевать сор?»

Солнце находилось в зените. Небо побелело от зноя. Хлопок сверкал в глазах. Густые кущи ореха манили Алимата к отдыху. Земля накалилась, отливала медью. В сухом, прогретом воздухе каждый крик казался коротким и резким выстрелом. Птицы запрятались в кусты. Даже придорожные воробьи шныряли только в сожженной траве, точно не доверяя дороге, покрытой трещинами. Алимат давно уже косился на кусты. Черная, яркая тень соблазняла его. Он не один раз поглядывал туда, мечтая о прохладе. Но когда женщины присели закусить и пригласили его, он презрительно повел плечом... Стоило дотронуться ему до лица, как рука у него становилась мокрой, будто он опускал ее в воду, — так он вспотел...

Рази-Биби насмехалась над ним.

— Видали скакунов? — говорила она. — Он думает, что сбор — это байга. Терпение, женщины. Нахал свалится!

Алимат уже нагнал их, хотя начал много позднее. Теперь предстояло их перегнать. Если уж он взялся за такое позорное дело, отступать поздно... Ладно, пусть

узнают, как задевать такого человека, как Алимат. Рази-Биби злилась не на шутку. Конечно, она была рада такому помощнику. Но все послушны ей, только он, этот упрямец, идет своей межей, в одиночку. Сам по себе! Вот мужчины... Чего же упрекать мулл в презрении к женщинам? Алимат не лучше их. Она стала покрикивать на женщин, чтобы они поторапливались...

«Хоп, хоп... Разевай шире рот... — думал Алимат. — На то ты и женщина, чтобы устраивать базар. Спокойней, Алимат. Представь себе, что хлопок твой враг... Вот враг... И вот враг... Свертывай врагам головы... Отрывай их основательно! Выбирай врагов покрепче! Раз, два, три... В мешок их! В мешок, Алимат. Великолепные головы!»

Так, подбадривая себя, он выдумывал различные истории. Солнце тоже обходило свой путь. Алимат подмигивал ему. Начинаясь вечер. С базара на ослах и арбах потянулись мужчины. Увидав Алимата на поле, они остановились.

— Алимат! — закричали они. — Хочешь паранджу?

— Принеси... — добродушно сказал он. — Тогда я не увижу, что такой мудрец, как ты, задает дурацкие вопросы.

Соседи покачали головой. Огромные колеса арба снуют по колее... Упрямый человек шел среди поля, никого не стесняясь. Он уже не чувствовал усталости. Чем больше появлялось народу на дороге, тем торжественнее держал себя Алимат. Старец, проезжая мимо плантации, не удержался и крикнул ему:

— Давно ли ты занялся женским делом?

— Я знаю одно женское дело... Это самое лучшее из всех дел, но и оно не обходится без мужчины... Для него ты тоже не годишься, старый сучок! — ответил Алимат.

Старик плюнул и хлестнул палкой своего осла. Проехали мимо поля приятели, с которыми он любил провести время, поболтать. Оставив свои повозки, они также подошли к Алимату.

— Алимат... Алимат... — заговорили они. — Подойди-ка сюда. Сегодня на базаре нам рассказали про тебя одну новость!

— Поезжайте обратно! — отвечал он. — Завтра весь Коканд будет говорить обо мне.

Они недоумевали. Правда, мужчинам иной раз приходится собирать хлопок. Но где видано, чтобы мужчина влип в это дело, как муха в мед?

— Да оглянись хоть ты! — кричали они.

— Жаль взгляда! — ответил Алимат.

— Что случилось с тобой? Скажи!

— Жаль слов! — проговорил он, точно ножом отрезая от себя все насмешки.

Из кишлака стали подходить новые люди. Проезжающие тоже скопились возле плантации... Здесь же толкались женщины и дети.

«Моя взяла! — подумал Алимат. — Сейчас они пошумят вдосталь».

Он шел, точно актер. Прохладный вечерний ветерок высушил и освежил ему лицо. Около кучи хлопка, собранной им, стояли любопытные... Мужчины смеялись над бригадиром Рази-Биби, отставшей от Алимата.

— Правда, это не мужское дело... Но мужчина — все-таки мужчина, — говорили они.

В толпе начались споры. Алимат делал вид, что все происходящее никак его не интересует. Он упорно продолжал трудиться, уже увлекшись. Некоторые, чувствуя, что его поведение переходит всякие границы, что шутки шутками, но об Алимате действительно начнется разговор, попытались унижить его.

— Алимат, уж не хочешь ли ты поступить ко мне в ясли? — крикнули из толпы.

Тогда кривоногий, тощий Алимат остановился и посмотрел на кричавшего.

— Кто сказал это? — спросил он.

В толпе засмеялись.

— Я сказал! — ответил Сапар. Он ловко сидел на коне, поигрывая плеткой, и надменно глядел на Алимата.

— К тебе пойти? — сказал Алимат, прищурясь. — Разве ты еще жив?

— Медная башка... — выругался Сапар.

— Она лучше твоей золотой! Твоя — наперсток, а моя — котел!.. Котел все-таки получше наперстка!..

Сапар поерзал в седле и, не зная, что ему ответить, шлепнул своего коня камчой. Алимат, вывалив мешок хлопка в кучу, поглядел из-под ладони на отъезжающего джигита и сказал:



— Красив... Но если бы Рази-Биби захотела мужа, она выбрала бы меня... Так, что ли? — сказал он, обернувшись к бригадирше и подмигнул ей. — Ну? Сколько я набрал?..

— Килограммов шестьдесят.

— А норма?

— Тридцать два...

— Так... — засмеялся Алимат. — Значит, я стою двух человек... А Сапар? Он ничего не сделал? Значит, он не человек... Ну, я говорил, что его нет. Лучше иметь двух мужей, чем ни одного. Рази, запиши меня. Завтра я опять приду. Я не из тех, про которых говорится в пословице: «Много мужчин — дров нет, много женщин — воды нет». Алимат — один! Сильный, как лев!

Он гордо бросил мешок... На следующий день в поле вышли мужчины. Но, конечно, не все.

## 20

У Карима был свой специальный вагон, его сопровождал специальный штат, а также — машинистки, секретари, повар... Первую остановку Карим сделал в Коканде. Туда и вызывали районных работников.

Утром в первый же день приезда он просмотрел сводки уполномоченных. Ознакомившись с присланным ему докладом Юсупа и с постановлением собрания, Карим задумался, почесал красным карандашом тонкие, как ниточки, брови... Доклад был убедителен. Карим вздохнул и, точно желая с чем-то развязаться, красивым, ясным почерком быстро написал на полях доклада два слова: «Согласен. Карим».

## 21

Хамдам приехал в Коканд при орденах, одетый как на парад, в новой форме комсостава милиции. Он, конечно, не имел права носить эту форму, но ему все прощалось; больше того — пошивочная мастерская кокандской милиции до сих пор его обслуживала.

Каримовский салон-вагон стоял на запасном пути на станции Коканд II.

Хамдам увидел на путях охрану и группу людей, ожидавших приема... Он подскакал к платформе и передал повод своего коня одному из красноармейцев; затем цветным платком смахнул пыль с сапог и подошел к секретарю Карима Вахидову.

Вахидов выделялся среди пестро одетой толпы своим черным обмундированием. Будто не видя Хамдама, он с кем-то говорил тихим полупрезрительным голосом, почти не раскрывая своих синих, слегка потрескавшихся, точно от постоянной лихорадки, губ. Казалось, что этот человек должен был отказать в любой просьбе, если к нему за чем-нибудь обратится. Хамдам подошел к Вахидову, требуя, чтобы его пропустили вне очереди. Секретарь Вахидов молча выслушал Хамдама и, кивнув головой, сразу пригласил его в салон-вагон.

Это поразило Хамдама. Он ожидал другого. Поднимаясь по ступенькам вагона, он оглянулся на всех тех, кто стоял на железнодорожном полотне. Увидав их удивленные взгляды, он самодовольно подумал: «Смотрите, выскочки! Хамдам — всегда Хамдам...»

Карим с 1924 года не видал Хамдама, но встретил его так спокойно, как будто они только вчера разговаривали.

Хамдам возмущался всеми действиями комиссии.

— Что такое? — говорил он, размахивая руками. — Стариков, джигитов моих — Сапара, Баймуратова — сняли... сына... Что это? Старых джигитов снимают. Какие джигиты? Храбрецы... Что такое? Как мне жить?

— Короче. Что тебе надо? — спросил Карим.

— По рукам надо... Руки руби! Людей надо выручать. Как можно... — Он нагнулся к столу и, усмехаясь, тихо сказал: — Так и до меня доберутся?

Карим пожал плечами.

— Что за стрельба у вас в Беш-Арыке? — спросил он.

— Кто-нибудь попугать вздумал. Не знаю, — ответил Хамдам.

— Дураки, — сказал Карим. — Врага бьют, а не пугают.

Слова эти точно ледяной водой обдали Хамдама.

В эту минуту в салон-вагон зашел Юсуп. Увидев Хамдама, он хотел повернуть обратно, но Хамдам уже протянул Юсупу руку и подмигнул.

— Здравствуй. Бранюсь... — проговорил он.  
— Зря. Не стоит, — сказал Юсуп, потом улыбнулся, подошел к Иманову и поздоровался с ним.

— Зря ты пожар затеял... Вот что! — сказал Хамдам и оглянулся на Карима.

Карим сидел в кресле, сжав губы, равнодушно поглядывая на обоих. Юсуп подошел к письменному столу. Вид Хамдама поразил его.

— Ты важный стал! — сказал он. — Но лучше было бы тебе прийти в район на наше собрание, чем отнимать время у товарища Карима. Там бы мы поговорили. Лучше бы было!

Хамдам усмехнулся:

— Район! А с кем мне там разговаривать?

Он торжественно приложил руку к орденам и сказал:  
— Если бы не Карим, я бы по-своему поступил! Знаешь, как мы привыкли... — он стукнул кулаком по столу. — А то район!

— Тише, — перебил его Карим.

— Да как же?.. Я не скрываю своей души. Я весь тут! — сказал Хамдам, взмахнув руками и представляясь несчастным. — Всё клеветают!.. А клевета хуже пули. Вот дело Абита! Алимат болтал, а я расплачивайся.

— А при чем теперь дело Абита? — сказал Юсуп.

— Ну как при чем? Тогда была клевета. И сейчас клевета.

Хамдам погрозил Юсупу пальцем:

— Все случается в мире из-за клеветы.

— Я не понимаю, чего ты беспокоишься? Кто тебя трогает? Никто, — сказал Юсуп.

— Я не из тех, у которых за чужим делом и в июне рука зябнет. Я не за себя хлопочу... — ответил Хамдам. — Ну, не справились люди. Вот и все! А если и был у кого какой непорядок или неправда, ну что поделять... Люди! И мулла сбивается с пути, если увидит золото... Пересмотреть надо! Быстро решаете.

— Мне сейчас некогда... — вдруг прервал его Карим. — Заявление твое мы обсудим в комиссии. Вызовем тебя, если надо будет!

Хамдам вытер ладонью бритую вспотевшую голову. «Что-то я сказал? Не то я говорю, что ли? — подумал он. — Уходить надо?»

Не прощаясь ни с Юсупом, ни с Каримом, он надел фуражку. Затем вышел из вагона, тихо позвякивая шпорами. Весь его пыл, вся его злость, с которыми он поехал сюда, куда-то рассеялись. «Что со мной? — сказал он себе. — Или правду говорят, что у ветхой одежды нет тепла!»

Он не понимал: что случилось?

## 22

Хамдам и не мог этого понять... Случилась очень простая вещь. Карим, прочитав внимательно доклад Юсупа, сразу догадался, что своим острием он направлен против Хамдама, хотя Юсуп не предъявлял Хамдаму никаких обвинений. Однако постоянные указания и упоминания, вроде «ставленник Хамдама», «родственник Хамдама», «человек Хамдама», «испуганный Хамдамом», «бывший джигит Хамдама», ясно намекали на то, что эти люди были орудиями одной воли. Вывод этот напрашивался сам собой, и у человека, ознакомившегося с докладом, не оставалось никаких сомнений, что лица, перечисленные в списке, как рабы, послушны Хамдаму.

Поступки их — систематическое разрушение колхозов, расточительность, вредительство в самой разнообразной форме, воровство, провокации, антисоветский дух и антисоветские высказывания — также не подлежали сомнению... Все это было подкреплено наблюдениями, выводами.

После прочтения доклада вставал вопрос: а где Хамдам? Почему он не попал в список?

Поэтому, когда Хамдам выступил защитником поименованных в списке людей, Карим сразу почувствовал всю неловкость положения. «Дурак!» — подумал он о Хамдаме и немедленно прекратил разговор.

После ухода Хамдама Карим встал с кресла и подошел к вагонному окну. Окна были наглухо закрыты от пыли. Карим поглядел в окно... На полотне железной дороги возле вагона расхаживали люди, собравшиеся на прием. Неподалеку от вагона стоял Хамдам и, размахивая плеткой, висевшей у него на правой руке, разговаривал о чем-то с Вахидовым. За насыпью стоял караул, красноармейцы из войск ГПУ.

— Скажите, это в вас стреляли в Беш-Арыке, в двадцать четвертом году? — вдруг тихо проговорил Карим, обращаясь к Юсупу.

— В меня, — ответил Юсуп.

— А я этого не знал... — сказал Карим. — Садитесь, пожалуйста. Что вы стоите?

Юсуп сел.

Доклад Юсупа лежал сверху на папке. Взяв его и подержав перед собой, точно любуясь им, Карим сказал:

— Прекрасный доклад. Я уже поставил резолюцию.

Юсуп обрадовался. Маленькие розовые пятнышки от волнения показались у него на щеках.

— Я хотел откровенно заявить, товарищ Карим... Это еще полдела... — проговорил он, кивнув на свой доклад. — По совести, район заражен. Я не предлагаю решительных выводов. Формального права не имею... Доказать ничего не могу. Формально, конечно! Надо ревизию бухгалтерскую, техническую... Расследование надо сделать уже не моими средствами, а соответствующими органами.

— Так, так... — пробормотал Карим. Он медленно покуривал папиросу. — То есть органами Блинова.

— Конечно... — сказал Юсуп. — Что я один? Но я убежден: в районе сидит контрреволюционная организация... А во главе ее Хамдам. Он прячется, но это чепуха. Организация — пятьдесят точек... Вот тут Хамдам вам жаловался. А он именно такой, у которого даже в июне за чужим делом рука зябнет... Хамдам хитер. Он понимает: хлопотать можно... Это еще не преступление. И пророк ласкал зятя. Дело не в этом... Ну, как по-вашему... — продолжал Юсуп. — Неужели эти стрелочники не имеют начальника станций?

— Хамдам? — полуспрашивая, полуюдивляясь, проговорил Карим.

— Кто в Беш-Арыке самый большой человек? — тем же тоном сказал Юсуп.

— Он участвовал в целом ряде противобасмаческих операций... Неужели это — маска? — спросил Карим.

— Ну, а что! — волнуясь, ответил Юсуп. — Я давно знаю Хамдама. Две души! Но две ноги в одном сапоге не уместятся... Также и две души спорят в теле. Хамдам ста-арый враг... советской власти... у-укрытый враг! — сказал Юсуп, заикаясь.

Это внезапное заикание было результатом все той же травмы, нанесенной в 1924 году. Но проявлялось оно чрезвычайно редко, только в минуты сильного волнения, — тогда речь Юсупа замедлялась, он произносил слова, как будто скандируя их, и от этого они становились более выпуклыми.

— Хочу поднять этот вопрос в комиссии... Как вы смотрите на это? — спросил Юсуп. — Стоит подымать?

Карим почесал подбородок, будто пробуя — хорошо ли он выбрит... «А ведь хромой будет настаивать, не остановится... Да, да!» — подумал он об Юсупе. Он почувствовал, что в эту минуту защищать Хамдама невозможно и опасно и нет никакого смысла вовлекать еще в это дело комиссию. Он улыбнулся.

— Значит, Блинов прохлопал Хамдама? А? — сказал он с легкой иронией.

Юсуп смутился и опустил глаза.

Карим вплотную подошел к Юсупу. Юсуп ощутил на своем плече короткое пожатие крепкой маленькой руки Карима.

— Вы правы. Надо обратиться в ГПУ. Надо прошу-пать Хамдама... — сказал он искренним и чистым голосом. — Какой негодяй... Как он опутал нас! — На лице Карима отразились негодование и безразличность. — А мы еще заступались. Дальше мы этого не потерпим! — резко сказал он.

Карим решил участь Хамдама. Даже всевидящий, стоглазый Аргус не смог бы ни в чем заподозрить Карима. Здесь же, при Юсупе, Карим позвонил кокандскому уполномоченному ГПУ. Юсуп был приятно поражен стремительным, прямым и твердым отношением Карима к этому делу.

— Вам все будет ясно из доклада товарища Юсупа... — отрывисто, точно приказывая, говорил в телефон Карим (разговор шел с уполномоченным). — Доклад у меня... Чего еще? Да что Блинов? Что мне ваши обстоятельства? — раздраженно крикнул Карим.

Юсуп видел, как презрительно подрагивают длинные ресницы Карима. Юсупу стало не по себе. Он отвел глаза в сторону, на стену. Он пытался успокоить себя тем, что не все ли равно — *каким* тоном говорит Карим и *какие* у него привычки. Бросив телефонную трубку, Карим посмотрел на Юсупа с той преувеличенной

ласковостью, с той улыбкой, про которую он знал, что она подкупает людей.

— Ну, вот и все... — сказал он, легко вздохнув. — А вам спасибо. — Он был доволен и дважды пожал руку Юсупу.

Юсуп вышел от Карима, чувствуя странную тяжесть в душе. Казалось бы, все случилось именно так, как и должно было случиться. В Кариме он нашел полную поддержку. Арест Хамдама и разгон хамдамовского гнезда — это именно то, о чем он думал, чего добивался... В чем же дело? Он решил, что у него перенапряглись нервы. «Я просто устал», — подумал он.

На вокзале стояла делегация от дехкан с военным оркестром. На площади перед вокзалом было необычайное оживление. Из города к вокзалу шел на рысях конный отряд милиции. Суeta на путях, волнующиеся люди, красноармейцы с винтовками — все это напоминало Юсупу годы войны.

## 23

Карим опасался Блинова.

Правда, он видел, что Блинов действует еще по старинке, мало интересуется работой заграничной разведки, плохо учитывает международную обстановку, но все-таки он мешал. Обстановка внутри страны с каждым днем усложнялась для Карима Иманова. «Да... — думал он, — на этом месте лучше иметь своего человека...»

Даже при всей конспирации и осторожности невозможно было уберечься от случая. Карима все время преследовала одна мысль: «А вдруг? А вдруг ломовик на что-нибудь наткнется?» Поэтому Карим задумал убить Блинова. Карим не остановился бы даже перед насильственными способами. Но в отношении к Блинову они были неприменимы. Здесь Блинов был защищен.

Был еще один способ, самый верный. Использовать всемогущего Пишо. Но такая тактика не совпадала с расчетами его покровителя. Пишо понимал, что Блинов, как старый среднеазиат, имеет среди партийного актива Ташкента крепкие связи, пользуется уважением, и с ним не рассчитаешься так легко и просто, как с другими. Карим даже боялся, что в результате беспричин-

ного снятия как по ведомству Блинова, так и среди партийцев подымутся разговоры, дойдут до Москвы, и тогда хлопот не оберешься. Он решил выждать благоприятных обстоятельств, и теперь доклад Юсупа ему помог... Теперь надо было этим воспользоваться. Кроме того, он не хотел, чтобы дело Хамдама попало в руки Блинова.

Через несколько часов после разговора с Юсупом он пригласил к себе Жарковского — посовещаться. (Жарковский тоже был членом Особой комиссии.)

Окна вагона теперь были раскрыты. У задней стенки, возле огромного зеркального окна, на маленьком столике в ведерке со льдом стояла недопитая бутылка боржома. На подзеркальнике в квадратном кожаном футляре тикали часы. Было уже четверть десятого. В салоне ярко горело электричество. С путей доносились свистки маневровых паровозов... Сверкая огнями, замедлив к станции свой ход, прогремывала занесенный пылью поезд из Ташкента...

Карим сидел в мягком кресле и, медленно потягивая охлажденную льдом воду, слушал рассказ о роли Хамдама в годы гражданской войны. Он улыбался своими насмешливыми тонкими губами и слушал очень внимательно, хотя историю Хамдама знал не хуже Жарковского.

— Я только не понимаю, что все-таки нужно было Хамдаму? — говорил Жарковский. — Ведь все у него было. Отчего же он так настроен?..

— Власти хочет, — коротко заметил Карим.

— Но ведь у него была власть?

— Но не та, — ответил Карим, улыбаясь.

Жарковский рассмеялся.

— Да, власть, — сказал он мечтательно. — Пожалуй, верно, она только и дает настоящую жизнь.

— Знаете что... — сказал вдруг Карим. — Вы напишите по своей линии доклад о Блинове для Пишо. А я поддержу.

— Я не обвиняю Блинова... Но объективно — это попустительство явное. Он же все время его как-то поддерживал. Чуть ли не с двадцатого года, — пожав плечами, добавил Карим.

Жарковский стиснул зубы.

Выскочка, попавший в революцию случайно, он быстро делал карьеру. Люди, для которых и жизнь и революция сливались воедино, люди, не умеющие

спекулировать своими заслугами, всегда чувствовали в Жарковском беспринципного ловкача. Но одни смотрели на него равнодушно, — его беспринципность их не беспокоила. Другие с затаенным любопытством следили, до каких же высот доберется Жарковский, и как будто только ожидали минуты, когда этот ловкач споткнется.

Отношение Блинова к Жарковскому было несколько сложнее. Блинов презирал Жарковского, он не выносил людей этого типа; ловкачество и карьеризм были ему органически противны. В своих взаимоотношениях с Жарковским он оставался вежливым, но даже и эта внешняя вежливость стоила ему большого труда. Если он не выдавал себя в словах, то его презрение проступало иногда в какой-нибудь интонации, в каком-нибудь невольном жесте, — в соединении с обычной, ни к чему не обязывающей вежливостью это еще больше оскорбляло Жарковского. Жарковский молчал, но в то же время испытывал к Блинову тайную, задавленную ненависть.

Карим понимал ситуацию и решил ею воспользоваться.

Жарковский, конечно, догадался, что его покупают, — предложение Карима было чересчур ясное... Но это его не смутило. «Очевидно, я за этим сюда и командирован, — подумал он. — В чем дело? Чего стесняться?» Мысль о том, что он заменит Блинова, невероятно воодушевила его. Он старался быть сдержанным. Он встал молча, одним поклоном, поблагодарил Карима...

## 24

Хамдам сидел на галерейке и спокойно пил чай. На дворе дымился небольшой костер из жмыхов, согревая чайник.

Хамдам говорил о жизни:

— Жизнь идет по-разному. У одних умная, у других глупая. У иных жизнь бывает как книга, в которой перепутаны страницы. Где конец, где начало, где середина — не поймешь...

— Конец — всегда конец! Смерть! — сказал киргиз, разводя руками.

— Да ведь человек-то не знает смерти... Разве он знает свою смерть, хоть за час? — спросил Хамдам. —

А уж когда помер, тогда и говорить нечего. Тогда нет тебя... Нечего думать. А в жизни иногда думаешь: вот конец, смерть... Только никто этому не верит. Не любит человек конца. Что в нем хорошего?

— А рай? — спросил киргиз.

— Рай? Не знаю, — ответил Хамдам и поморщился. — Поддай чайник.

Он налил в пиалу чай. Держа ее на ладони, он осторожно подносил ее к губам и сдувал пар.

— Рай есть... — сказал он, отпивая чай по глоткам. — Но земля — лучше. Здесь я — хозяин!

## 25

Ночью пять верховых подскакали к дому Хамдама. Хамдам еще не спал; он сперва прислушался к топоту коней, а потом крикнул киргизу:

— Кажется, ко мне! Открывай!

Насыров с недоумением пропустил приезжих во двор, оглядел их фуражки, оружие и сразу все понял.

Один из приезжих, очевидно начальник, заявил Хамдаму:

— Мне приказано вас арестовать, а в курганче провести обыск.

— Это недоразумение, — проговорил Хамдам.

— Узнаете. Выдайте оружие, — сказал сотрудник.

Четверо из приехавших сразу же приступили к обыску. Но обыск был поверхностный, только в доме. Двор и хозяйственные постройки почти не смотрели, только обошли с фонарями.

Хамдам был потрясен и обыском и арестом, но держался спокойно, заставляя себя ни о чем не думать; одному из сотрудников он отдал револьвер, затем сделал ряд распоряжений по хозяйству и велел Насырову заседать для него лошадь.

Сотрудники и Хамдам сидели в комнате, дожидаясь, пока киргиз справится с делом. Поглядывая на гостей, Хамдам даже улыбался, хотя ему было не до улыбок.

— Хорошо, жен нету дома! — говорил он. — Вот был бы переполох!.. Днем в Андархан отправил... Сам хотел туда ехать. На покой хочу! Не любят меня тут...

Сотрудники молчали.

Увидав киргиза на пороге, Хамдам кивнул ему:

— Ну, готово?

У киргиза лицо стало серым как пепел, а шрам на губе побелел.

— Не беспокойся! — сказал Хамдам, обнимая его. — Все будет хорошо. Я скоро вернусь.

Проводив Хамдама, Насыров остался около ворот. Он вслушивался в тишину. Ему казалось, что это происшествие разбудит весь Беш-Арык. Однако никто не проснулся, никто в Беш-Арыке даже не открыл калитки. Он почувствовал, будто за его спиной рассыпался старый хамдамовский дом и вместо усадьбы вырос курган из глиняных комьев. Он запер ворота. На полу галерейки тихо и ровно горела свеча, озаряя зеленые ставни. Дверь на галерею была распахнута, подчеркивая пустоту дома. Насыров вздохнул.

— Боже, боже... — с грустью сказал он.

Он притоптал костер, потом запахнул на груди халат и долго стоял посредине двора, глядя на звезды. Все случившееся напоминало ему злой сон.

— Можно было ожидать всего! На то и жизнь... — шептал киргиз. — Но чтобы так, чтобы точно топор обрушился на голову? Нет, это что-то непонятное... Нет, нет, нет... — твердил киргиз.

## 26

Через три дня после ареста Хамдама Блинов выехал из Ташкента. Его экстренно вызвал Пишо. А через неделю Александра Ивановна получила от Василия Егоровича телеграмму о том, что он едет на работу в Сибирь. Блинов не указывал ей своего назначения, но уже по тону телеграммы она догадалась, что назначение не из важных. Василий Егорович просил ее немедленно выехать с детьми в Москву.

Телеграмма эта как раз пришла в ту минуту, когда Юсуп сидел у Александры Ивановны. Он зашел ее навестить и узнать новости. Прочитав телеграмму, Александра Ивановна побледнела. Швырнув ее на обеденный стол, она вышла из столовой.

Юсуп не знал, что ему делать: оставаться в доме, поговорить с Александрой Ивановной или уйти?.. Он

подошел к спальне и постучал в дверь. Александра Ивановна отозвалась, но когда Юсуп вошел в спальню, она закричала на него:

— Это все вы, вы, вы, вы... Это ваша работа! Это все из-за Хамдама. Это вы, как змея, ворвались... Друг называется. Я проклинаю тот час, когда вы пришли к нам. Я говорила Василию Егоровичу... Я говорила...

— Что вы говорили? — тихо спросил ее Юсуп.

— Ничего. Уйдите. Уйдите сейчас же! — сказала она.

В ее голосе было столько злобы, что Юсупу ничего не оставалось иного, как исполнить ее приказание.

Совершенно разбитый, он вышел на улицу. «Неужели действительно я подвел Василия Егоровича?.. Что-то здесь непонятное и странное! Ну чем я его подвел? Ну что же было делать? Оставить Хамдама на свободе?.. Что за ерунда! И неужели Василий Егорович тоже так считает?» — думал Юсуп.

То, что Блинов при отъезде не написал ему ни строчки, мало его удивило. «В конце концов, до того ли ему... — думал он. — Наверное, голову потерял».

Юсуп узнал московский адрес Василия Егоровича и отправил ему письмо. Он просил его не расстраиваться.

«Жизнь и не такое выкидывает. Это недоразумение... Не горюй. Уверен, что в конце концов все выяснится. Я знаю, что ты преданный партии человек, верный и честный. Не понимаю я твоего смещения. Это по пословице — рассердившись на блох, сожгли одеяло!» — писал Юсуп.

Недели через две он получил от Блинова ответ. Василий Егорович просил Юсупа не беспокоиться и благодарил его за письмо.

«Случилось, верно... — писал он. — Но что случилось, непонятно. Где нам, старым солдатам, разобраться? Конечно, Хамдам был моей ошибкой. Ну, вы вот теперь поймите, уличите его».

Письмо было короткое, простое, угрюмое; это письмо вполне соответствовало характеру человека, его писавшего. Вглядываясь в горбатые, жесткие, оборванные строчки письма, Юсуп чувствовал, что он еще больше, еще сильнее любит этого старого кокандца, попавшего в беду.

Хамдам был арестован в ночь на 20 сентября. Затем арестовали Сапара Рахимова и Насырова. Хамдаму было предъявлено обвинение в организации контрреволюционной группы. Дело началось с выстрела, раздавшегося ночью 18 сентября возле дома, где жил Юсуп. В этом выстреле Хамдам был неповинен, по крайней мере прямо. Однако следствие еще по старой привычке гналось за эффектами. А выстрел казался ему удобным и эффектным началом для производства дела.

Искали Абдуллу.

Сын Хамдама, Абдулла, сразу понял, что его ждет. Узнав о взятии отца, он сбежал из Андархана, скрылся в Гальчу, из Гальчи опять вернулся в Андархан, все время перебегая с места на место. Он боялся быть привлеченным в качестве свидетеля, страх измучил его. Абдулла почему-то был уверен, что отец впоследствии вывернется, освободится.

Скитания, голодная жизнь превратили Абдуллу в нищего. Грязный, вшивый, оборванный, он бродил по дорогам и, когда встречал всадников, испуганно прятался в кусты и лежал там часами. Раньше он был толст и представительен. Теперь его совсем сломало и согнуло. Голова у него была втянута в плечи, как будто ежеминутно он ожидал удара. Израненные ноги в опорах, сумка на веревке, заросшее волосами лицо дополняли это сходство с нищим. Ему уже невозможно было появиться ни в одном кишлаке, его вид и лохмотья возбуждали у всех подозрение... Ночью он прокрадывался в чужие сады, добывая себе пищу воровством.

Абдулла проклинал отца самыми страшными словами.

— Что ты мне дал? — кричал он, забравшись в поля и желая хоть криком облегчить свою душу. — Я никогда не знал твоих мыслей. Я всегда хотел мирной жизни. Я мог бы ужиться и с большевиками, если бы не ты... Когда ты был моим отцом? Может быть, только в колыбели ты целовал меня? Я никогда не знал твоей ласки... Ты гонял меня, как всадник гоняет лошадь. Но я не лошадь...

Иногда ему казалось, что он сходит с ума... Он прибегал по ночам в Беш-Арык и бродил возле стен отцовской курганчи. Он видел, что в доме снова горят огни. Лежа под стеной у ворот, точно шпион, он подслушивал

чужие разговоры. Там люди что-то считали, говорили о съезде колхозников, о речах и наградах, но для него все это погибло...

Однажды его нашел возле стены Алимат... Абдуллу тут же арестовали. На допросе он плакал и отрекся от отца.

— Я не знаю его... — говорил он. — Я никогда не был причастен к его делам.

Когда его спросили, известно ли ему, где Хамдам спрятал ценности, Абдулла замолчал...

— Это ты должен знать! — сказал следователь, усмехаясь. — Наследство-то надеялся получить?

Абдулла признался и указал на андарханское кладбище...

«Что делать? Не скажешь — будет хуже», — подумал он и попросил следователя избавить его от личного присутствия при вскрытии кладов.

— Отец узнает... Понимаешь? Зарежет! — сказал Абдулла.

— А где оружие? Мне говорили, ты и оружие прятал?

— Оружие? — Абдулла вытаращил глаза. — Нет... Хоть режь. Не знаю, где. Нет оружия.

На рассвете сорок колхозников явились с кетменями и лопатами на кладбище под Андарханом. Пришлось перекопать много могил.

При перекопке присутствовали понятые из города. Здесь же были и работники райаппарата ГПУ. Толпа народа окружила кладбище, — все наблюдали за работой. В толпе говорили, что Хамдам затевал восстание и что здесь, в могилах, у него хранится оружие. Было вырыто два больших железных ящика. Вскрывал их слесарь ваточной фабрики. В ящиках обнаружили: парчовые халаты, плюш, кипы шелку и бумажных материй и много драгоценностей, много золотых и серебряных перстней и колец, много дорогих серег с камнями, много золотых часов самых разнообразных заграничных фирм, среди них несколько именных — подарки ВЧК... Кроме этого, нашли золотую валюту царской чеканки на тысячу семьсот тридцать пять рублей, много золота

бухарской чеканки, сумму которого не могли определить, много серебра арабской и царской чеканки, советских червонцев около двадцати пяти тысяч и кредитных билетов царского времени на семьдесят тысяч. Там же были спрятаны пять револьверов, запас боевых патронов к трехлинейным винтовкам, оружейная мелочь, банки с вазелином, пачки зеленого чая, катушки ниток и связка документов. До полудня продолжались раскопки, но ничего другого не отыкали. Оружия так и не нашли... По всей вероятности, оно было зарыто в другом месте. В народе шли слухи, что много добра все-таки осталось в земле. «Земля глубокая. А кладбище не бахча. Всего не вскопаешь», — говорили старики. Потом рылись там добровольцы, молодежь, но также без успеха.

## 29

Из всех арестованных по делу Хамдама больше всех мучился Козак Насыров. Он сидел в большой общей камере, режим для него был легкий... Этот нетребовательный человек не нуждался ни в чем. Пища давалась сносная; кроме того, он вообще довольствовался малым. Он даже не мечтал о свободе, потому что давно потерял ее. Ни жизнь, ни сны не волновали его. Раб забывал их, как только просыпался. Единственное, что еще осталось в нем живого, это воспоминание о хозяине. Он страдал, потому что думал о страданиях Хамдама. Мрачный, неразговорчивый, потухший, он никак не общался с соседями по камере. Мрачное впечатление он произвел и на следователя. С Насыровым было бесполезно разговаривать. Иногда казалось, что он забывал человеческий язык... Но, несмотря на все это, одна страстная мысль не покидала его. Он мечтал освободить Хамдама... Он не знал, как это сделать, при каких обстоятельствах, когда? Он полагал, что прежде всего для этого ему самому надо вырваться на волю.

Случай представился неожиданно.

Для ремонта дороги понадобились люди. Партию заключенных отправили на внешние работы. В нее попал и Насыров, как арестант хорошего поведения. С работ он бежал, выскользнув из партии незаметно и ловко, и, очутившись на свободе, пробрался в Гальчу, спрятався

там в покинутом доме Баймуратова, разыскал в амбаре остатки муки; мука была горькая. Поев ее, ночью он вышел пить к арыку. Тут кто-то из колхозников заметил его у воды. На рассвете колхозная самоохрана и милиция окружили дом, где прятался киргиз. Насыров скрылся через сад, однако на дороге его настигли... По беглецу было выпущено шесть пуль из нагана, пять из винтовки и десять из охотничьего ружья. Киргиз умер тут же на дороге, возле арыка, где бежала вода...

Хамдам узнал об этой смерти во время допроса.

— Ну что же... — процедил он, стараясь быть равнодушным. — Воля бога!

Он чувствовал, что дело затягивается и пока ничем страшным ему не угрожает; это успокаивало его... Он отсиделся в тюрьме, освоился.

Через месяц после ареста Хамдам возымел намерение написать в Ташкент, напомнить о себе... Но, сообразив, что молчаливая защита, та защита, о которой не знают и не догадываются, значительнее и сильнее, он отказался от этой мысли... «Умный Карим отречется теперь от меня и все объяснит самым естественным образом. Будет требовать строжайшего наказания для меня... А потом? Время, только время. И он меня освободит, — убеждал себя Хамдам. — Только бы быть здоровым. Пережить бы все это... Это самое главное. Чего человек не сделает, делает время».

В темноте ночи, вспоминая те годы, когда он был богом Беш-Арыка, Хамдам предавал проклятию всех своих друзей. Несмотря на страх, он верил, что Карим его не выдаст... «Шум, подымаемый людьми, страшен только вначале. В конце концов успокаивается даже буря! — думал Хамдам. — Час возмездия все-таки придет...»

«Карим — мой! Незримо он будет оберегать меня. А Юсуп будет мертв».

Этими словами Хамдам кончал каждую свою мысль.

## 30

Вечно улыбающийся человек, Захар Фрадкин, был директором научно-исследовательского института.

Карие грустные глаза, улыбка, приятный голос; скромность подкупали встречающихся с ним людей. Лет



восемь тому назад Фрадкин работал в Москве в партийном аппарате и, несмотря на свою молодость, уже возбуждал о себе разговоры. Еще мальчишкой он очутился в числе честолюбцев, взлелеянных Троцким и развращенных им. После разоблачения Троцкого он попал в ссылку. Затем, уверив всех, что он жаждет тихой академической жизни, Фрадкин вернулся в Москву. А из Москвы был направлен в Ташкент. Здесь Карим устроил его в институт.

Этот заядлый троцкист-конspirатор ничего не понимал в науке. Наукой занимались его ученые. Он же создавал террористические группы. Он был организатором всего, что было продиктовано ему Каримом. Фрадкин знал все те кадры, которые были посланы в Среднюю Азию. Ему было предложено включить в свой тайный штаб и Зайченко и Мулла-Бабу. Когда оба они приехали в Ташкент, один из Кеми, другой из Сибири, Фрадкин подослал к ним своих людей. Они пригласили их на работу. Мулла-Баба поступил ночным сторожем, а Зайченко дали службу в канцелярии института, — его назначили секретарем. Вначале Фрадкин их не трогал. Узнав, что старик вошел в «Милли-Иттихад», националистскую, контрреволюционную организацию, он решил его использовать. Для этого он устроил Мулла-Бабу экспертом в контору по скупке ковров. Мулла-Баба теперь имел возможность всюду разъезжать, не возбуждая ни в ком сомнения. Это и требовалось Фрадкину. Оставался только Зайченко. Тогда Фрадкин все свое внимание сосредоточил на бывшем поручике. Он доброжелательно относился к нему, покровительствовал, завязал личное знакомство, откровенничал. Зайченко держался настороженно, не доверяя Фрадкину. Он понял, что Фрадкин неспроста подъезжает к нему, и сознательно уклонялся от близости. «Какой расчет? — думал он. — Играют, как кошка с мышкой».

Упорство Зайченко сперва смутило Фрадкина. Он стал его побаиваться, попробовал втянуть в растрату. Из этого также ничего не вышло. Зайченко вскоре заметил, что Фрадкин к нему охладел. Это его мало огорчило. Бывший поручик теперь ничего не хотел, ни на что не надеялся, ни к чему не стремился. Ему казалось, что его мозг тупеет с каждым часом.

Осенью 1933 года в институте была назначена конференция по исследованию вопроса о розовом черве.

Розовый червь — это гусеница-бабочка хлопковой моли, страшный вредитель хлопковых районов. Способность розового червя жить без пищи до двух с половиной лет очень опасна для хлопка. Такая живучесть увеличивает размеры заразы. В хлопковой таре, в хлопковых семенах, в вагонах, перевозящих хлопок, в хлопковых отбросах, в коллекциях туристов, в образцах семян, в одеялах и халатах и даже в детских игрушках, набитых хлопковыми отбросами, не раз попадался этот вредитель. Чтобы уяснить размеры вреда, наносимого розовым червем, следует сказать, что некоторые районы мира совершенно заражены им, например Гавайские острова. В 1925 году в Мексике нанесенные розовым червем повреждения были так велики, что даже не производилось второго сбора хлопчатника. Египет каждый год терпел из-за этого вредителя огромные убытки. В практике карантинных мероприятий Америки, Египта, Африки, Австралии и ряда английских колоний накопилась масса данных, свидетельствующих о завозе хлопковой моли в новые районы.

В задачу конференции входило рассмотрение способов борьбы с этим вредителем.

Среди приглашенных гостей сотрудники института отметили одного иностранного ученого, приехавшего из Индии. Нетрудно было определить его. Это был один из киплинговских героев. Костистый, худой, загорелый человек, медленно и четко шагавший. Он носил прозаическую, будничную фамилию Браун, говорил он так же, как шагал, — размеренно и четко. На конференции он делал доклад о технике карантинных мероприятий.

Когда конференция закончилась, Браун, просматривая в канцелярии у Зайченко протоколы, вдруг сказал по-русски:

— Здравствуйте. Вы узнали меня?

Это был «деревянный афганец». Зайченко оглянулся. Канцелярия была пуста.

— Да, конечно... Сразу, как только вы приехали, — ответил он.

— Когда за границу? — спросил Джемс, улыбаясь. Он теперь говорил по-русски, по-прежнему несколько

коверкая язык, с некоторыми усилиями, но вполне прилично.

— Я помню: вы желали отдыхать?.. Пожалуйста, когда изволите?

Зайченко воспринял эти слова как шутку. Но острота этого тайного разговора привела его в неслыханное возбуждение, подхлестнула его. Он тоже улыбнулся и спросил Джемса:

— Каким путем?

— Слушайте Фрадкина... Надо кое-что сделать, а потом он направит вас в Самарканд... Там будут ждать вас и поведут на границу.

— Что же я должен делать?

— Немного...

— Подумаю, — ответил Зайченко.

— Когда решите, скажите Фрадкину.

— От вашего имени?

— Я теперь Браун, — спокойно проговорил Джемс.

В канцелярию вошли аспиранты, и Джемс, как ни в чем не бывало, принялся за корректуру своего выступления на конференции, ничем не выдав себя.

За эти годы он привык ко многому. Министры разных стран теперь принимали его частным образом у себя на дому, — он стал лицом, с которым они советовались и, надо думать, советов которого слушались...

### 31

После конференции в одном из новых клубов Ташкента был назначен банкет.

Союз работников народного питания выделил для этого случая лучших своих официантов и поваров. Из складов были отпущены самые редкие продукты, закуски, прекрасные сыры, икра, рыба. Кондитеры изошрались над замысловатыми печеньями. В городских погребах отбирались редкие вина. Городская оранжерея прислала цветы. С утра уже трудились полотеры, натирая паркеты. Обойщики и декораторы украшали залу и гостиные.

Ташкент решил блеснуть.

Число участников банкета определялось строгим списком. В него были включены участники конференции, съехавшиеся со всего Союза, а также иностранные

гости и власти города. Был слух, что банкет посетит кто-нибудь из правительства Узбекистана.

Зайченко на банкет не попал... Фрадкин не включил его в список.

За час до начала празднества он вызвал Зайченко и отправил его к Джемсу, в гостиницу «Регина». Джемс забыл подписать протоколы конференции, и так как завтра утренним поездом он выезжал из Ташкента, то все эти формальности необходимо было выполнить сегодня, до банкета.

— Не на банкете же заниматься подписями! — сказал Фрадкин.

Зайченко ничего не оставалось, как только подчиниться распоряжению Фрадкина. Он собрал все бумаги и отправился в гостиницу.

### 32

Джемс обрадовался приходу Зайченко. Зайченко тоже был рад этой встрече. От прежней враждебности между ними и следа не осталось, как будто время все стерло. Джемс достал бутылку виски, папиросы, усадил Зайченко в кресло. Зайченко так долго был угнетен, что даже ничтожные обычные знаки внимания польстили ему. Разговор шел по-французски. Видимо, Джемса все-таки стеснял русский язык.

— Ну, как вы прожили эти годы? — спросил Джемс.

— Как вам сказать? Могло быть хуже... — ответил Зайченко. — Я отделался легко.

Джемс засмеялся и похлопал Зайченко по плечу, приговаривая:

— «Мы еще отдохнем, отдохнем...» Самый модный драматург в Лондоне — Чехов.

— Ну, как дела? Вы теперь в Лондоне? Все та же в Лондоне программа роснебоязни? — пошутил Зайченко, намекая на приезд гостя.

— Что делать? — улыбаясь, ответил Джемс. — Ведь Индия — азиатская империя, триста пятьдесят миллионов...

— И ненадежных! — вставил Зайченко.

— Пожалуй... — уклончиво согласился гость. — Не будет Индии — не будет Британии... Индия — это ее военная база... Без Индии нет Британской империи.

— Ого! — воскликнул Зайченко. — Вы теперь стали откровенны.

Джемс свистнул, наливая в стаканчики виски.

— Что вас удивляет? — весело сказал он. — Англичане говорят об этом открыто уже двадцать лет. Еще лорд Керзон выступал на эту тему в печати!

Джемс прибавил с той же милой любезностью:

— В Индии есть более опасные штучки. Шестьдесят миллионов неприкасаемых...<sup>1</sup>.

— Взрывчатый материал! — проговорил Зайченко.

— Несомненно! — заметил Джемс. — Недаром у вас и так и этак склоняют Индию. Есть о чем поговорить.

— Но Афганистан теперь не под английским влиянием? Надир-шах склонен к продолжению политики Амманулы как будто... Он ведь недавно договорился и с большевиками о нейтралитете.

— У шаха сын есть. Чудный мальчик, девятнадцати лет... Загир... Или тоже не подходит?.. А? — продолжал Зайченко, показывая свою осведомленность и уже откровенно издеваясь над Джемсом.

Джемс молчал и только морщился.

«Или сейчас, или никогда... — подумал Зайченко. — Я должен показать, что здешние дела мне известны не хуже, чем ему. Может быть, действительно он перекинет меня за рубеж?»

— Скажите, мистер Браун, или как вы сейчас называетесь... Бывший «деревянный афганец»... Это правда, что за последнее десятилетие там выстроено почти восемь тысяч километров железнодорожного пути? Как действуют новые линии? — спросил Зайченко.

— Прекрасно!.. Вы какие имеете в виду?

— Да вот все эти стратегические дороги, которые подведены теперь к границам Афганистана. Потом дорога через Хайберский проход. Мне говорили, что проложены рельсы до пограничного аванпоста, до Ланди-Хана? Не так ли? А воздушная магистраль до Карачи... Карача ведь недалеко от Афганистана? Английские аэродромы в Белуджистане, то есть у самой границы с Афганистаном. Это ведь военные линии?

<sup>1</sup> Неприкасаемые — индийцы, не входящие ни в одну из традиционных индийских каст.

— Это торговля! — сказал Джемс. — Главным образом... А вы поете все ту же песню... Как она вам не надела?

Зайченко, набравшись наглости, хлопнул его по плечу:

— Не валяйте дурака, сэр... Хороша песня. Здесь будет драка! — Зайченко постучал пальцем по столу. — Вот где нужны будут офицеры! Будущей армии машин тесно станет в Европе, на этом старом, изрытом снарядами клочке. — Зайченко взмахнул рукой. — В Азии. Вот плацдарм!

— Горный... Вы забыли? Это тяжело. Вы еще не утратили способность увлекаться?.. — сказал Джемс, увидев воодушевление Зайченко. Потом посмотрел на часы и прибавил: — Простите, мне надо на банкет... Ну, как вы? Согласны на мое предложение?

Джемс хотел еще добавить, что главное его желание заключается в том, чтобы Зайченко успешно переправился через границу. Он намеревался дать ему ответственное поручение... Однако Джемс не любил до времени раскрывать карты. «Надо испытать человека. Прошли годы», — подумал он и поэтому сказал Зайченко с обычной для него уклончивостью и неопределенностью:

— Мы ценим вас. Сделайте из этого выводы. Я не понимаю, почему вы колеблетесь?

— Где гарантии? — спросил Зайченко. — Мне неприятно разговаривать с Фрадкным.

Джемс пожал плечами и ответил:

— Мое слово — гарантия.

Трудно было себе представить двух столь противоположных людей, как все испытывший, образованный, иронически настроенный разведчик и однорукий ссыльный кондотьер, уже не веривший в свою звезду.

Предложение Джемса казалось Зайченко единственным выходом из тупика, в котором он ощущал себя.

— Попробую, — пробормотал он.

Джемс улыбнулся и протянул ему руку. У него была странная манера жать руку. Он несколько раз нажимал на ладонь, будто прощупывал ее. Уходя от Джемса, Зайченко снова почувствовал к нему ненависть. «Владыки мира! Не так уж хороши их дела, а важничают...»

Визит был короток. Слишком короток... Досадную горечь и унижение почувствовал Зайченко после этого свидания. Невольно он вспоминал свою первую встречу с «афганцем», в ставке Иргаша... «Там я был на коне... подумал он. — Хотя и там он держал марку... Негодяй!»

### 33

Зайченко вышел на улицу, проложенную невдалеке от гостиницы «Регина». Широкие каменные ее тротуары были заполнены народом. По краям тротуаров росли высокие, тенистые карагачи и тополи. Сквозь листву сквозил свет уличных фонарей, превращая кроны деревьев в черно-голубые кружевные облака. Всюду возле тротуаров раскинулись легкие палатки. Деревянные лотки их были завалены розами и плодами, обрызганными водой. Между бульваром и асфальтом журчали зажатые в камень арычки. На перекрестках прямых, как линейка, улиц стояли милиционеры в белых перчатках и старательно сигнализировали. Здесь еще не знали сплошного потока автомобилей. Однако в воздухе все-таки слышался отработанный сладковатый газ, и этот запах смешивался с чудесными запахами увядающего, сухого и горячего среднеазиатского лета.

По европейскому календарю была уже осень. Собственно, нашей осени, европейской, с дождем, холодом и слякотью, здесь не знают. Сырая, холодная погода начинается здесь только с декабря.

Зайченко осторожно пробирался среди толпы, представлявшей смесь европейских и азиатских одежд — шаровары и парусиновые брюки, кепки, пестрые тюбетейки, фетровые шляпы, легкие цветные газовые шарфы, дешевые изделия из соломы и хлопчатобумажных материй, широкие восточные одежды женщин и европейские блузки и юбки. Язык тоже мешался, узбекский с таджикским, с русским, с языками иных народов, и толпа была разноликая и разнохарактерная — шумливая и медлительная, спокойная и страстная. На углах важно восседали чистильщики сапог возле целого арсенала банок и бутылочек. Над их головой сверкали лампы. Стены были заклеены пестрыми бумажными афишами, в них на узбекском, русском, еврейском, армян-

ском языках сообщалось о спектаклях, концертах, собраниях и лекциях Ташкента. Над парком вокруг трамвайного кольца стояла пыль. В парке были танцы, играли два оркестра, и молодежь, презрев законы Корана, веселилась в темных аллеях. Тут же, в двух шагах от праздника, неуклюжие и статуеподобные женщины, одетые в темно-синюю паранджу, скрывающую тело своими складками с ног до головы, с лицами, завешенными черным жестким чачваном, сплетенным из конского волоса, сажались в трамвай, подбирая свои длинные подола.

Точно музейные экспонаты, проезжали по улицам парные экипажи. Кучера-узбеки, одетые в старые синие архалуки, остерегали прохожих непонятными возгласами: «Эп, эп!»

На веранде кофейни суетились официантки-узбечки, одетые по-европейски. У входа помешалась кухня. Возле продолговатого, как ящик, мангала, наполненного тлеющими угольями, похаживал усатый жирный узбек в коротенькой поварской куртке. Вся кухня, по восточному обычаю, была на виду, чтобы посетители могли знать, из чего и как им готовят пищу. Это был старый, освященный веками, идущий с базарных площадей ритуал. Базар не любит тайн.

На мангале, на коротких железных ножах-шампурах жарились над угольями сотни маленьких шашлыков, распространяя вокруг запах лука и сала. Повар проходил вдоль мангала, обмахивая тлеющий уголь фанерной дощечкой, как веером, и ругался с официантками.

По боковой улице, направляясь в Старый Ташкент, прогалопировали стройные узбекские сотни, великолепная кавалерия на лоснящихся одномастных лошадях. Черные трубы уличных репродукторов передавали национальные песни. Возле газетных киосков теснился народ. В ночном бездонном небе вдруг появились два крохотных сигнальных огня — зеленый и красный. Это летел с Вахша, с площадки строительства гидростанции, почтово-пассажирский самолет.

Кочевники в разноцветных халатах и в поярковых шляпах, подпоясанные пестрыми скрученными платками, в рыжих, из невыделанной кожи, сапогах стояли возле огромного плаката кинорекламы и показывали на него пальцами. Что-то рассмешило их в нем. Очевидно, мчавшийся всадник. Толкая их, нагруженный

поклажей, прошел ослик. Сверху, на поклаже, точно бронзовый божок, сидел его хозяин. Ослик выдерживал и груз и хозяина. Ослик торопился, ему хотелось скорее выйти за черту города, на шоссе к Чирчику, где царствовали тишина, мрак и ночная прохлада.

В Старом городе над парком культуры горело электричество, освещая толпу. Пожилой кривоногий узбек стоял поодаль от людского потока, важно опираясь на плечо юноши. Увидев трех женщин, он внимательно оглядел их с ног до головы, подмигнул юноше и захохотал. Затем они пошли за женщинами и втиснулись в узкий проход, где у деревянной решетки стояли контролеры. Из аудитории парка передавали по радио лекцию.

«В Индии, — читал лектор, — средняя продолжительность жизни равняется двадцати пяти годам, и на тысячу детей — шестьсот шестьдесят умирает в первый год жизни... Целый ряд колониальных стран приближается...»

В саду резко зазвонили звонки, оповещая о спектакле. Нетерпеливая и жадная до развлечений толпа зашумела еще сильнее, загорячилась, у входа началась давка. Возле киосков с водой шептались два старика и с неодобрением смотрели на эту толпу, забывшую Коран. Один из стариков сказал другому:

— Молчи... Помни пословицу: если сосед твой слеп, и ты прищуришь свои глаза.

Длинная лакированная светло-коричневая закрытая машина пронеслась мимо огней и толпы, — она ловко лавировала среди «газиков» и трамваев. Она скрылась в западной части города, пугая народ своей протяжной завывающей сиреной и ярким светом фар. В машине ехал Карим. Он спешил на банкет...

### 34

На следующий день после банкета Джемс дневным поездом выехал из Ташкента в Термез, на границу с Афганистаном.

Зайченко выждал еще неделю. Все время он наблюдал за Фрадким, но тот не подал ему никакого знака. «Неужели такая конспирация? Ведь не может же быть, чтобы Джемс ничего не сказал...» — подумал

Зайченко. Он ошибся. Джемс действительно ни о чем не говорил с Фрадким. Он приехал сюда только для связи с Каримом, но связь не удалась. Фрадкин это знал. Очевидно, «мистер Браун» побоялся наблюдения. Тогда Зайченко решил рискнуть. Обещание Джемса все-таки действовало. Он пришел к Фрадкину и сообщил ему, что готов принять от него поручение. Он не скрыл от Фрадкина, что действует после разговора с Брауном. Фрадкин внимательно посмотрел на него и, кивнув головой, сказал:

— Хорошо, приму к сведению.

«Да понял ли он, о чем я говорю? — подумал Зайченко. Он ощутил себя до некоторой степени уязвленным. — Эти холуи, очевидно, принимают меня за мальчишку...» Он решил, что Фрадкин только передатчик отрывочных поручений, организатор техники. «За спиной этого человека, очевидно, стоит штаб...» — подумал он.

Размышляя о своей жизни, Зайченко считал, что он сброшен вниз, к топкам, он — кочегар... Где-то наверху есть люди в командирских мундирах. Им достаточно только нажать кнопку, и он, Зайченко, будет выполнять любое сверху отданное ему приказание, даже не понимая его цели, не зная его смысла.

Он должен был признаться себе, что это — падение, в то же время при настоящей обстановке не мог найти ничего, за что ему можно было зацепиться. Бывший офицер, когда-то путавшийся с басмачами, бывший заключенный, конторщик, канцелярист в настоящем — что мог он ожидать от жизни, кроме похлебки? «Даже при перемене обстоятельств мне уже не вынырнуть из этого болота... — думал он. — Вынырнут те, кто наверху... А что такое кочегар? Опять подбрасывать уголь в топку... Потеть ради этих господ? Зачем?»

Эти мысли ничего не меняли в его поведении. Он не мог выдать Фрадкина. Если он начинал об этом думать, сомнение овладевало им. «Что мне даст эта выдача? Все равно жизнь моя не изменится!..» — думал он. Понятия чести и долга никак не беспокоили его, мораль, совесть, все то, что связано с нравственностью человека, все это было в нем изношено и выброшено за ненадобностью. «Если мне хорошо, значит все в мире хорошо. Но если мне плохо, так пусть все провалится к черту». Это было его катехизисом.

Выписав отпускные документы и деньги, Фрадкин послал Зайченко в горную Бухару. Оттуда Зайченко должен был спуститься к юго-западной границе Афганистана. Но перед этим бегством ему нужно было выполнить свое последнее поручение. Фрадкин обязал его встретиться с несколькими старейшинами кочевков в горах и организовать среди кочевников зимнее восстание. После этого Зайченко мог считать свою миссию выполненной и отправляться в Афганистан.

Кочевники на зиму спускались с гор в долины, перекочевка уже началась, и Зайченко приступил к делу. Он не мог похвастаться особенными успехами, так как названные ему люди еще не покинули гор. Зайченко переживал их, скитаясь по мелким кишлакам в степном предгорье или на старых тропах, где когда-то ходили верблюжьи караваны. Здесь на одном из перевалов он встретился с караваном Бурибая. Бурибай должен был перевести его через границу. Зайченко пристал к этому каравану и кочевал вместе с ним почти до самой границы. Однако Бурибай границы не переходил — он поджидал проводников.

На третий день после встречи с Зайченко Бурибай решился на переправу. Случилось это так.

Зайченко только что проснулся. Лежал он на мягкой кошме. Под головой у него была красная кумачовая подушка. Утренняя степь дымилась. Зайченко встал, поглядел на восток. Яркая, промытая до блеска восточная половина неба уже пожелтела, ожидая солнца. В голой, серой степи стояло несколько черных и коричневых юрт, перепоясанных белыми ремнями, вдали виднелось стадо. Отпущенные на волю лошади и верблюды лежали на земле с поджатыми под себя ногами.

Возле глиняного старого, полуразрушенного степного колодца стояли люди. Женщины раскрывали пологи войлочных шатров, и каждая из женщин выходила оттуда с кувшинами, с любопытством глядела на только что прибывших гостей.

Все женщины были открыты. Только белые тряпки, точно полотенца, окутывали им голову. Ожерелья из монет и камней, серебряные тяжелые серьги, медные кольца и браслеты украшали их. Они были в ситцевых ру-

бахах, спускавшихся складками почти до пят. Из-под подолов виднелись широкие цветные штаны, завязанные у лодыжек.

Около женщин возились нагие или полуодетые дети.

У колодца на маленьких горных лошадях стояли верховые... Один в тюбетейке, двое в серых самодельных шляпах. Старик с нависшими бровями подозрительно смотрел на Зайченко, будто оценивая его. Тут же толпились мужчины, одетые разнообразно, кто в халате, а кто и просто в белой длинной рубахе, закрывающей колени.

Неподалеку от колодца на палках висел большой чугунный котел. Под ним дымился костер. Зайченко заметил среди толпы вооруженных людей. Приложив руку к груди, он спросил по-киргизски:

— Кто приехал?

— Не знаем, — ответили ему люди и засмеялись.

На желтом лице старика появилась усмешка. Зайченко не мог понять: не то старик смеется над ним, не то боится его. Старiku было лет за шестьдесят. Одег он был просто, в сальном, старом халате, подпоясанном простым ситцевым платком, и в старых, заплатанных ичигах. Он был почти безусый. Какие-то кочки росли у него над верхней губой и на щеках. Лицо было иссечено морщинами. Белые, выгоревшие брови торчали над глазами, как иглы.

— Ты откуда приехал — спросил его Зайченко.

Старик будто не слышал вопроса. Он отвернулся и что-то тихо сказал мальчишкам, стоявшим возле его лошади.

Мальчишки убежали.

— Тебя как зовут? — снова спросил Зайченко.

Старик поднял голову.

— Переходить скоро будем, — спокойно сказал он и ткнул пальцем на юг.

Затем пошевелил бровями, сжал повод и, едва тронув ногами свою поджарую, красивую, недавно вымытую лошадь, грива которой была заплетена голубыми и розовыми ленточками, отъехал от колодца к шатрам.

Зайченко пошел к самому большому шатру среди становища. Возле этого шатра, украшенного коврами, стояли четыре оборванных афганских сарбаза.

Бурибай сообщил Зайченко маршрут к афганской границе. Из слов Бурибая Зайченко понял, что переправа организована опытными, надежными людьми, но на всякий случай спросил старика гостя: не вызывает ли эта переправа у него каких-нибудь опасений? Старик казался ему бывалым человеком и главным среди остальных проводников.

— Ходили тут — весной... — проговорил старик. — Ну, если что случится, можно ведь сказать: заблудились. Кочуем.

«Вам-то можно, а мне как?» — подумал Зайченко.

— Пробьемся ли, если что случится? — еще раз спросил он.

— Пробьемся... — ответил уверенно старик. — Если что, трех солдат кончим на разъезде... Три головы! Только!

Вооружение у каравана было хорошее, и Зайченко пошел на риск.

— В Кабуле будешь, ручаюсь. Свою голову клади!.. — сказал приезжий, хлопнув себя по затылку.

В ночь на 15 октября караван Бурибая разделился. С одной его частью Зайченко решил сделать обход нашей заставы, где-нибудь, возможно дальше, обогнуть ее и благополучно перебраться через границу.

Было жаркое утро. Начальник погранзаставы сидел в ленинском уголке и писал письмо Юсупу... В раскрытое окно виднелся длинный двор, с трех сторон окруженный низкими выбеленными бараками, ослепительно сверкающими на солнце. Вдоль стен тянулись коновязи. Возле них стояли лошади и дремали, лениво помахивая хвостами. Все предвещало мирный и спокойный день... Под навесом в больших черных бочках хранилась вода, за водой два раза в неделю отправлялась специальная экспедиция к Новому колодцу.

Федот служил здесь уже второй год. Начальство было довольно его службой. Застава считалась опасной. Дела хватало, и скучать не приходилось.

Этой осенью граница заметно оживилась. Месяц тому назад в глубине на пятьдесят километров от границы была разогнана банда басмачей. Операция эта имела чисто местное значение. Сплоченного басмачества в районе не оказалось... Но было очевидно, что в район проникли из-за рубежа организаторы диверсий. Делу не придавали большого значения. Действительно, один эскадрон прекрасно справился с задачей ликвидации; все же часть банды успела разбежаться...

Лихолетову было дано специальное поручение штаба погранвойск проверить границу.

Перед Федотом лежало письмо. Он морщил лоб и, непрестанно отирая пот, лихо макал перо в жестяную банку. Сверху, с потолка, свешивалась большая кисть из нарезанной на тонкие полосы газетной бумаги. Вокруг нее вились стаями мухи. Руки Федота, влажные от испарины, были измазаны лиловыми чернилами.

«Нет, дорогой товарищ Юсуп, — писал Федот. — Не пришлось Капле увидеть во мне доктора, зато вы имеете пограничника. На нашем участке очутился товарищ Лихолетов. Инспектирует границу. Он спит сейчас в соседней комнате после похода, ну, вы сами понимаете, что встретили мы его на ять. Я уж постарался». Федот, прислушиваясь к богатырскому храпу Сашки, усмехнулся, потом, закулив папиросу, стал писать дальше: «Товарищ Лихолетов рассказал нам новости про Беш-Арык, про Хамдама. Я, конечно, уважаю товарища Блинова за прошлую произведенную им службу, но полагаю, что прохлопан бандит. Прошу прощения, что загружаю вас своими мнениями, но трудно удержаться, вспоминая старые боевые дни. Я так обрадовался, узнав от товарища Лихолетова о вашем возвращении, что запросил адреса. В отпуск приезжайте к нам. Есть хорошая охота, в тугаях дичь славная. Знакомцев боевых повстречаете... Мой-то дяденька Капля от меня не отстал. Тоже околачивается поблизости, часто вас вспоминает. Он работает прорабом по ремонту колодцев в пустыне. Нашел свою специальность. Не пропадают красные пулеметчики. Лихой старик... Не хочет признавать своей старости. Я ему говорю: дорогой дяденька, осядьте где-нибудь, пустыня — дело темное; неизвестно, с кем повстречаетесь... «Не твое дело, говорит. Человек рождается на смерть, а умирает на

жизнь!» Уж и так я и этак его упрасивал. Поживите, говорю, со мной. Куда девать командирское жалованье? Неужели вы не имеете права в преклонных годах отдохнуть... Стреляйте орлов да ловите песчаных крокодилов. Никак не уговорить. Всякое мое предложение встречает в штыки. «Я, говорит, и то отдыхаю! А когда вздумаю отдыхать полностью, так без тебя обойдусь. А ты не в свое дело не суйся, без тебя управляюсь». Такой он получается ерш-оригинал...»

На дворе затормошились и закричали лошади. Федот обеспокоился, бросил ручку и выскочил на двор. Часовой, как всегда находился у ворот. Федотка прошел мимо лошадей, потрепал одну из них. У нее были крепкие длинные ноги, с ясно выделяющимися сухожилиями, и короткая, прочная спина.

— Тише, Арабчик! — сказал Федот, поглаживая ее сухую, умную, горбатую морду. — Начальство разбудишь!

Лошади перекликались и, задирая морды, подозрительно нюхали воздух.

Федот подошел к навесу. Ветер пролетал порывами, обдувая, словно горячий душ. Но даже и это было приятно: ветер сгонял с тела липкую испарину. Слева вдруг раздались выстрелы. Лошади насторожились... Часовой посмотрел на Федота. Потом все затихло. Из барака выбежали красноармейцы. Через пять минут во двор въехали два афганских сарбазы на жилистых иноходцах. За их спиной ехали на конях пограничники с винтовками наперевес, все время держа сарбазов под угрозой обстрела. Старшина Максимов отрапортовал Федоту, что сарбазы были захвачены врасплох во время объезда, на советской территории. Афганцы спешили и спокойно, как ни в чем не бывало, привязали своих коней к столбам. Начался допрос.

Лихолетов, услышав шум, проснулся и, выглянув в окно, увидел гостей. Надев туфли, он быстро выбежал на двор.

— Что такое? — спросил он Федота.

Афганцы посмотрели на него, выкатывая белки. По громкому голосу Лихолетова они сразу догадались, что перед ними стоит начальство... Они переглянулись и заговорили все разом.

— Не галдите! — закричал на них Федот и, подняв руку к козырьку, доложил Лихолетову: — Согласно показанию красноармейцев, нарушители были задержаны в трех километрах от границы, на нашем пограничном участке, с двумя одиннадцатизарядными винтовками какого-то не нашего образца.

— Э... Ошпа! — сморщился один из афганцев и протянул руки к Лихолетову. — Мы нечаянно попали к вам.

— Нечаянно?.. — свистнул старшина. — Сам говорил: «Вы солдаты, и мы солдаты, что нам ссориться?» Мы солдаты, да не такие, — сказал старшина Максимов и дернул головой.

Афганец равнодушно оглядел его выцветшие брови и красно-синее, как свекла, лицо.

— Что вы здесь делали? — спросил афганца Лихолетов.

— Ничего... — объявил самый молодой из них и посмотрел себе под ноги. — Мы пограничного поста! У нас отстали бараны, мы погнались, нечаянно перешли границу... заблудились. Бараны перешли границу...

Акбар, узбек-пограничник, перевел речь афганца слово в слово, потом вдруг сжал кулаки и сказал:

— Врет он! Они басмачи, а не солдаты. Я их знаю... Этот у Иргаша еще был с моим отцом, я помню... — Акбар показал на старика. — Он всегда здесь басмачил... Убийца.

Старик понял, что речь шла о нем, — он подскочил, как будто его ударили ножом в спину, и о чем-то угрожающе заговорил...

Акбар молча слушал его. Он не спускал глаз со старика. Вдруг его левая бровь задергалась. Он крикнул:

— Врешь!..

Потом обернулся к Лихолетову и сказал:

— Он говорит, что отец мой был басмач... Верно, был. Так что из этого? Он обещал меня убить, если я попаду к нему в руки. Я тебя не боюсь! — крикнул он басмачу и замахнулся на него.

Один из пойманных афганцев, тот, что был помоложе, отошел в сторону и сел на корточки возле своей лошади. Федот увидел, что, сняв с ноги туфлю, он хочет зарыть ее в песок. Но тут же отдал ее, не сопротивляясь, Акбару, и Акбар вскрыл подметку ножом. Под



стелькой оказалась листовка к местному населению. Акбар стал ее читать.

— «Во имя бога милостивого и милосердного... Нечестивые, изменники ислама... Вместо того чтобы бороться с большевиками, вместо того чтобы избавить свою землю от шайтана, вы засеваеете ее».

— Шайтана, шайтана... Заладили, черти, одно и то же. Хоть бы новое что выдумали! — презрительно сказал Лихолетов и прервал чтение. — Спроси его, Акбар... Они были только вдвоем в песках? Или... Впрочем, нет, не надо... Все равно сокрут.

Он приказал Федоту собрать взвод, а сам побежал в барак, быстро оделся и потребовал себе лошадь.

— Товарищ начальник! — взмолился Федот. — Я не имею права пускать вас.

Александр не отвечал. Помолчав, сказал:

— Сообщи в комендатуру.

— Товарищ начальник, да что же это такое?.. Вам нельзя! — плакался Федотка. — Я категорически говорю. Вы не имеете права...

— По коням! — не обращая внимания на его мольбу, скомандовал Лихолетов.

Акбар подвел ему Арабчика. Лихолетов обернулся к Федоту и коротко, командным голосом приказал ему остаться на заставе и ждать его до утра. Афганцев увели в помещение.

Перед тем как выехать, Лихолетову захотелось пить, он попросил себе воды. Синько, коротконогий и толстенный красноармеец, по прозвищу Грибок, быстро сбежал в барак и притащил оттуда полный графин воды.

— А кружку-то, Грибок, кружку! — закричали красноармейцы, провожавшие отряд.

Синько почесал затылок.

— Ладно и так, — сказал Александр, забирая у него графин, и, закинув голову, не касаясь губами горлышка, всю воду вылил в себя, точно в бочку, а пустой графин отдал изумленному Синько. — Добре, — сказал он, крякнув. — А теперь марш, хлопцы!

Люди, во главе с Лихолетовым, взбив густую белую пыль, вылетели в степь. Федот стоял у ворот, точно потерянный. Он не мог послушаться приказа и оставить заставу.

Акбар поехал вместе с Лихолетовым. Вскоре они добрались до того места, где были захвачены афганцы, и поскакали дальше. Часам к пяти показался Новый колодец. Ветер усиливался... Это предвещало на целые сутки тоскливую темноту. В пустыне начинался сухой дождь. Вихри подымали песчаный туман. Песок царапал и резал лицо. Отряд нарочно сделал крюк, чтобы расспросить прораба Каплю и трех ремонтных рабочих — все ли у них спокойно и не появлялись ли возле колодца какие-либо подозрительные люди.

На горизонте можно было различить насыпной холм, кирпичный бассейн и колоды для водопоя скота. Все было тихо. Среди безотрадной и безжизненной степи сиротливо серела пустая брезентовая палатка; она была сорвана с кольев и полусасыпана песком. Ветер хлопал ее краями. Тут же лежали винтовки без патронов. Лихолетов огляделся. На безбрежном, как море, и голом пространстве даже в бинокль не было видно ни одной черной точки. Лошади потянулись к вялой, бурой полыни.

— Что-то случилось... — сказал Лихолетов.

Он соскочил с лошади и, подойдя к колодцу, заглянул в его темную горловину. В глубине ничего не было видно. Он швырнул туда камень, камень упал мягко, без плеска...

— Харам! — крикнул Акбар. — Они завалили колодец трупами.

— Товарищ начальник... Ручка от гранаты! — крикнул Грибок. — Гранатами кидались!

— Ну, ребята, думать некогда. Догонять надо. Проверь оружие, ребята! — быстро проговорил Лихолетов. Красноармейцы опробовали затворы. Все было в порядке.

— Сейчас они где-нибудь в буграх. Те-то двое передовыми были, — подсказал старшина.

Взвод снова тронулся. Начало темнеть. Трудно было искать по следам. Песок двигался и заносил всякий след. Тучи, проплывающие по круглому, как чаша, небесному своду, испарялись на ходу, их дождевые капли не успевали дойти до почвы. Гребни сильно дымились. Солнце закатывалось. Горячая красная пыль неслась навстречу отряду, засыпая его. Песок набивался в уши,

в глаза, хрустел на зубах, и черная корочка грязи заклеивала губы.

К ночи ветер стал стихать, и в котловине Лихолетов заметил тощий огонек, издали похожий на мигающую свечку. Пользуясь ночной темнотой, пограничники медленно приближались к каравану. Ноги лошадей вязли в песке. Тревога охватила бойцов. У каждого разглядевшего издали караван заныло сердце. Точно наклеенные на черный бархат, обрисовывались медно-красные силуэты людей, спокойно сидевших возле огня. Было очень тихо, так тихо, что даже сюда, до пограничников, доносился треск горящей травы. Вдруг зафыркал и заплевал верблюд. Пограничники легли на землю и уложили лошадей. Караван почувствовал людей. Там, возле костра, забегали тени, кто-то стал засыпать костер песком, степь утонула во тьме, и сразу вспыхнули огненные точки. Это стреляли караванщики, скрывшись за верблюдами и лошадьми. Они пользовались выюками и животными, как бруствером.

— Пусть поорут да постреляют... Я знаю этих сумасшедших, — сказал Лихолетов и разделил взвод свой на группы. — Главное, не торопись... Считай до ста.

Пограничники переждали полчаса, и, как только паника улеглась, Лихолетов свистом подал команду, бойцы вскочили на коней и враспынную поскакали к разлегшемуся каравану. Лошади натыкались на выюки и на разложенных в котловине верблюдов. Вой, залпы и дикие крики наполнили степь.

Поймали девять человек. Десятого приволок за ноги старшина Максимов.

— Однорукий... — сказал он Лихолетову осекшимся, хриплым голосом и бросил труп возле заглохшего костра, будто тушу. Обычно спокойный, старшина сейчас был накален схваткой.

— Ну, показывай, — сказал Александр.

Красноармейцы с трудом раздули огонь. При его дымном свете Лихолетов признал в убитом Зайченко.

— Ты застрелил? — спросил он Максимова.

— Не знаю, товарищ начальник!.. Я, как шарил везде, попал к верблюдам. Мешок, думал, наткнулся... Потом чувствую, нет — человек... Лежит между двумя верблюдами, вроде спрятавшись... — объяснил старшина. — Шальная, что ли, настигла?

— Мертвый был?

— Мертвый... Вот okazия! — вздохнул старшина.

Он был, видимо, чем-то расстроен и без нужды шмыгал носом.

Труп еще ближе подтащили к огню.

Лихолетов нагнулся над трупом и приподнял косматую окровавленную голову. Она была еще теплая, и прищуренные глаза смеялись. Пуля попала в глотку и вышла наружу, разорвав на мелкие осколки затылочную кость. С трупа сняли нателный кожаный мешок на шнурке, в мешке было немного денег и отпускной документ института. Маленький и серый, как убитая рысь, Зайченко лежал возле костра распластавшись.

Лихолетов тихо выругался.

Среди девяти связанных двое были в форме афганских солдат, остальные оказались купцами и караванщиками. Арестованных посадили около костра на свет.

— У колодца-то вы работали? — спросил их Лихолетов. Арестованные молчали.

— Сволочи... За что же вы прораба сгубили и рабочих? Чем они вам помешали?

— Воды не давал... — по-русски сказал сарбаз, длинный, рыжий и юркий, как червь.

— Это Кыр-Ягды, Кыр-Ягды. Я его тоже знаю, — зашептал Акбар на ухо Лихолетову.

— Что значит — не давал?... — спросил Лихолетов.

Расспрашивая этого афганца, Акбар выяснил следующее: напуганный разъездом, караван решил повернуть обратно от границы, на время скрыться, но у них истощился запас воды; удирая, они потеряли бурдюки. Тогда караван попробовал подойти к Новому колодцу. «Седой аскер» — так сарбаз называл прораба Каплю — заявил им, что он их к колодцу не подпустит. Должно быть, Капля сразу догадался, с кем имеет дело. Он послал их за водой на заставу. Он спрятался в песке, роздал своим рабочим винтовки и крикнул, что первый, кто только подойдет к колодцу, будет убит. Караван остановился.

— А как же вы его убили? — спросил Лихолетов.

— Я не бил! — ответил рыжий Кыр-Ягды и усмехнулся. — Наш русский вышел вперед... — сказал он, показав на труп Зайченко. — Он крикнул: «Я русский!»

Я сопровождаю караван! Это беженцы. У меня есть казенная бумага. Я сейчас покажу тебе. Пустыня одного». Седой аскер пустил его. Русский подошел к колодцу и, ни слова не говоря, бросил три гранаты.

Слушая этот рассказ, красноармейцы невольно опустили головы.

Лихолетов носком тяжелого походного сапога пнул костер так, что из него брызнул огонь.

— Врешь! — закричал он басмачу. — Никогда не был русским этот бродяга, эта контра!

Басмач стал кричать, выкатив желтые белки, что русский мертвец именно так поступил. Он не врет.

— Ну, а зачем колодец завалили? — спросил Максимов, подступая к нему.

Кыр-Ягды посмотрел на старшину, прищурился и сделал вид, что не понял вопроса.

Грибок подошел к огню, снял котелок с костра. Кипятку не было... Вместо него на дне котелка образовалась клейкая песчаная масса.

— Эх, сторонка! — вздохнул Грибок.

— Не рассусоливать бы, а на месте всех сразу задавить! Чтобы не шлялись! — сказал один из красноармейцев колючим, резким голосом. Лицо у него было обожженное.

— Ишь ты! — подзадоривал его сосед, развалившийся возле костра. Он лежал, закинув руки, и глядел в небо.

— Что «ишь ты»? Пустыня так пустыня.

— Скорый больно, — ответил лежавший.

— Пустыня — мать разбойников... — отозвался его товарищ, потом икнул и, приложив к груди руку, сказал: — Водички бы!

Максимов сидел пригорюнившись поодаль от огня. Пойманные переглядывались, как звери, друг с другом.

Лихолетов решил дожидаться утра. Надо было дать отдых лошадям. Красноармейцы набрали травы. Огонь запылал сильнее. Никто из людей, возбужденных стычкой, не мог спать. Не хотелось. Да и какой сон на походе — вполглаза.

Возле костра сидел маленький Ванюков. Бойцы заметили, что он не отрываясь глядит в лицо труп и отгоняет от него рукой дым, будто мух.

— Закоптит — боишься? — засмеялись красноармейцы.

Но Ванюков не обратил на эти насмешки никакого внимания. Он обернулся к Лихолетову и спросил:

— А что, товарищ начальник, вы его будто знали?

Лихолетов в ответ рассказал всю историю Зайченко, все, что он помнил: свои беседы с ним, историю Кокандской крепости, потом о боях с басмачами, о любимом командире Макарыче, о пулеметчике Капле, о борьбе с Иргаш-ханом...

Когда Лихолетов кончил свой рассказ, все бойцы примолкли.

Ванюков встал и, тронув сапогом голову трупа, спросил у Лихолетова с недоумением:

— Неужели действительно мать его прачкой была?

— Он говорил — прачка... — сказал Лихолетов.

Ванюков скрипнул зубами.

— Эх... — сказал он и отвернулся. — Лучше бы не рождать ей такую гадюку!

Когда разговоры утихли и люди стали подремывать, Александр услышал, что его кто-то тербит за плечо. Он открыл глаза и увидел старшину Максимова, сидящего возле него на корточках.

— Товарищ начальник! — шептал он. — Не спите еще?

— Что, что такое? — пробормотал Лихолетов сонно.

— Живой он был... — горячо заговорил Максимов. — Да мне при ребятах стыдно было признаться. Задрал... Я, понимаете, как отдал коня Грибку да пополз меж верблюдов, сразу на него навалился... Схватил за руки. Одну схватил. Другую ищу. Нету ее... Где она? Нету! Что за оказия? Тут он зубами вцепился в руку мне. Да так здорово! Тут у меня наган сам выстрелил. Как выстрелил? Прямо не знаю как.

— Ну, что делать, ладно.

— Обидно, товарищ начальник. Живьем бы! — сказал старшина с досадой. — Из-за руки все дело. Я потерялся ищу...

Снова начал он объяснять, но Александр его оборвал.

— Ну тебя. Спи. До рассвета подымай всех. До солнца выедем.

— Есть до солнца, — сказал Максимов и отошел в сторону.

Утром пограничники погнали караван к заставе. Связанные басмачи, прикрепленные поясами к седлам, уныло покачивались на своих конях. Труп Зайченко был оставлен на месте.

Когда окруженный отрядом караван скрылся, над степью появились стервятники. Они летели так низко и так уверенно, как будто уже кто-то им сообщил, что их ждет пища. Взмахивая длинными грязно-белыми острыми крыльями, они переругивались на лету и, опускаясь, тяжело шлепались о песок.

Над горизонтом загорелось мутное солнце.

### 39

Закончив эту операцию, группа пограничников вместе с Лихолетовым вернулась на заставу.

— Политчас немедленно организуй, — приказал Федоту Лихолетов. — Не мешкая... Полезно будет всем ребятам узнать, что за пададь ликвидировали мы... Именно всех, всю заставу собери, а не только тех, что с нами были... Я лично проведу беседу.

Рассказывая о прошлом, он увлекся. Подробно передал всю картину ночного нападения на Кокандскую крепость и все свои соображения о странном ее коменданте и тут же расписал такими яркими красками поведение Федотки в крепости, что бойцы невольно заслушались. Почувствовав это и сам зажегшись, Александр стал рассказывать и о другом: о боях с басмачами под Кокандом, об освобождении Бухары. Скромное участие Федота в этих делах вдруг тоже как-то расцвело, благодаря темпераменту Сашки. Федотка краснел, смущался, но был рад этому рассказу, чувствуя, как его командирский авторитет подымается. Затем они пообедали, и Лихолетов уехал в Ташкент. Федот его провожал.

На заставу он вернулся поздно. Невольно побрел к братской могиле. И тут он загрустил; все эти рассказы разбередили ему душу. Стоя в степи, у могильных камней, он тоже вспоминал свои мальчишеские годы, свою старушку мать и пожилого бойца Каплю. Федот думал о нем сейчас точно о своем родном

отце, отцовские же черты почему-то совсем стерлись в его памяти. Капля, с его добродушным и храбрым характером, с его воркотней и вечной заботой, вставал перед ним будто живой.

Федотка присел на камни, отдаваясь воспоминаниям и наслаждаясь вечерней душистой прохладой. На заставе все затихло. Ветер тихонько ворчал в ушах. Барханы, освещенные прозрачной луной, казались выше и причудливее, чем при дневном свете. На горизонте появились три силуэта, разъезд с соседнего поста. Огромные длинные голубоватые тени всадников волочились за ними по песку. Всадники, остановив коней, будто наслаждались чистым и прохладным воздухом пустыни, потом снова разъехались в разные стороны. Лошади глухо шуршали копытами по песку.

На могиле лежала старая каменная плита. На плите была высечена надпись:

Здесь покоятся погибшие в бою  
т. КАПЛЯ,  
бывший комэскадрона СУЛЕЙМАН —  
сын батрака, родился в 27-м ауле,  
ФАТИМА АЗАМАНОВА — комсомолка —  
и ФЕРАПОНТОВ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

### 40

Обвинения, предъявленные Хамдаму, ничего не раскрыли...

Интереснее всего, что беш-арыкское дело с выстрелами под окном, с неизвестными в парандже и черной маске, с покушением на Юсупа получило совсем иной характер. Следователи свернули с этого пути, так как для обвинения Хамдама был собран другой материал: вся его жизнь с 1918 года...

Загадочная роль Хамдама в делах пресловутой Кокандской автономии, махинации в партизанском полку, история бухарского похода, кровавые расправы с личными врагами, так и оставшиеся не выясненными до сих пор, странное исчезновение младшей жены Садихон, взятки, угрозы, подозрительный выстрел на беш-арык-

ской площади в 1924 году — всего этого было довольно, чтобы протоколами, объяснениями, свидетельскими показаниями наполнить ряд томов огромного, пухлого дела. Однако все это было только характеристикой, собранием доводов, а не прямой уликой.

Для следователя было ясно одно — что до сих пор Хамдам гулял на свободе только в силу особых, непонятных причин!

В народе, среди населения кишлаков, в Коканде, среди старых жителей Беш-Арыка и Андархана, давно уже говорили о том, что Хамдам хочет смерти комиссара Юсупа. Всех этих маленьких людей сейчас волновал вопрос: кто победит — Хамдам или Юсуп?

## 41

Во второй половине октября один из подследственных по делу Хамдама встретился с ним на тюремном дворе. Хамдам остановил его.

— Эй ты, не зарывайся!.. — крикнул он арестанту. — Не показывай во вред мне. А то я сгною и тебя, и мать твою, и сестру, и жену!

— Как ты меня сгноишь? — ответил арестант. — Ты сам гниешь.

— Сегодня я здесь, а завтра дома... — махнув рукой за тюремные стены, сказал Хамдам. — Знаешь меня.

Об этом сообщили следователю, но на очной ставке Хамдам отперся от своих слов.

— Я не произносил угроз... — гордо заявил он. — Я только предупредил, чтобы этот человек давал правдивые сведения. Он лжет, чтобы меня очернить и самому освободиться.

На всех очных ставках с арестованными и свидетелями, привлеченными по этому делу, Хамдам держался уверенно и сознавался только в мелочах. Не отрицая своего влияния на Беш-Арык, он решительно отверг предъявленное ему обвинение в убийстве Артыкматова.

— Старая сплетня... — сказал Хамдам. — Пусть мне докажут... Легко говорить. Все можно сказать... Я не убивал. Поручил? Кому?.. Беш-Арык жил моим именем... Теперь всё хотят свалить на меня. Все это — дурацкие слухи.

Он опроверг все свидетельские показания:

— Все лгут... Никаких колхозных растрат. Ничего не брал... Никого ничему не учил... Не вредил. Не мог... Ничего не говорил. Все лгут. Меня хотят погубить враги за то, что я истреблял мусульман... Они не могут мне простить, что я работал для советской власти. Они хитры, как змеи. Теперь они используют вас, чтобы убить меня. Если захотеть, так и голубя можно называть вороной. Делайте как хотите, я ничего не знаю...

Его упорство смущало. Следователи чувствовали загадку в деле. Шли бесконечные допросы. Дело о контрреволюционной группе росло... А Хамдам за это время стремился наладить сношения с внешним миром... Прижиганиями и махорочными компрессами он устроил себе язву на теле, чтобы попасть в больницу. Он рассчитывал, что в больнице будет свободнее. Когда мистификация не удалась, он начал думать о побеге... По ночам ему снилось бегство в Ташкент... Он просыпался мокрый, у него билось сердце, он прижимал руку к груди и мечтал в темноте. Тюрьма спала... В ней даже от стен пахло хлебом и потом. Хамдам ненавидел в эти минуты Карима и в то же время надеялся на него.

Уживчивый Сапар устроился лучше всех. Он быстро подружился с охраной. Топил печи, колол дрова... Он почти не сидел в камере: целыми днями он хлопотал и сутился, то в коридоре тюрьмы, то на дворе. Своей услужливостью он был приятен надзирателям. Они смотрели сквозь пальцы на те мелкие нарушения, которые он себе позволял. Его можно было вызвать в любую минуту дня и ночи, если требовалась какая-нибудь помощь. Сапар все исполнял с охотой. Он надраивал полы и нары и этим так купил завхоза, что тот готов был вечно держать Сапара при себе... На допросах Сапар смеялся, обо всем говорил прямо, резко, скоро, откровенно, не задумываясь... Конечно, о многом, то есть о самом главном, опасном для него и для Хамдама, он молчал.

Однажды вечером надзиратель крикнул Сапару:

— Пойди в четвертый номер. Просит парашу.

Сапар испугался. Он знал, что в № 4 сидит Хамдам... Надзиратель отомкнул дверь ключом и прошел с ключами дальше, оставив Сапара наедине с Хамдамом.

— Рад тебя видеть, Хамдам-ака, живым... — проговорил Сапар, входя в камеру.

Хамдам приветливо встретил Сапара.

— Ты умница, — сказал он.

— Я не чернил вас... Только в меру, для правды.

— Ты это делал для пользы. Это хорошо. Говорят, ты выходишь в город?

— Иногда выхожу. Мы возим хлеб из пекарни.

— Зайди завтра ко мне. Достань бумагу, карандаш, конверт. Мне письмо надо отправить на волю.

— Хорошо, сделаю... — сказал Сапар.

Из коридора раздался голос надзирателя:

— Ну, справились?

— Справились! — крикнул Сапар и, мигнув Хамдаму, выскочил из камеры.

Надзиратель Овечкин, пожилой человек, весело поглядел на Сапара, помчавшегося с парашей в руках по коридору.

Овечкин служил в кокандской тюрьме с 1914 года. Арестанты его любили за невзыскательность. Хамдама он опасался. Разговаривал с ним вежливо и всегда думал, как бы с этим сомнительным арестантом не нажить ему беды.

## 42

Всю ночь Хамдам не спал, он забылся только под утро и во сне видел своих жен...

«Сон до полуночи исполняется скоро. Утренний сон? Его исполнения надо долго ждать... — подумал Хамдам, просыпаясь. — Однако это лучше, чем ничего не ждать».

Утром Хамдам получил от Сапара все, что просил. Утро было хорошее, солнце светило в камеру. Вообще весь этот день, наступивший после разговора с бывшим джигитом Сапаром, показался ему особенным, веселым днем.

Перед вечерней поверкой, когда Сапар сунул ему в окошечко кружку с чаем, Хамдам передал письмо.

Сапар прочитал адрес, и у него задрожали губы. Письмо было адресовано Кариму.

— Я не участвовал в этом деле! — быстро сказал Сапар.

— Да ты и не участник! Ты только опусти письмо в ящик, — равнодушно ответил Хамдам.

Эту ночь он уже думал о будущем.

Письмо было официальное. В письме он жаловался на то, что его напрасно держат.

Прошла неделя. Хамдам понимал, что Карим не может ответить ему. Но разве нельзя найти иной способ, какой-нибудь знак?.. Перевести в большую, общую камеру, облегчить режим. Хамдам раздражался. Проклятиями он осыпал Карима. Он перестал умываться и целые дни проводил, шагая по маленькой душной камере из угла в угол, пугая соседей.

## 43

После того, как уборочная кампания кончилась, Юсуп сразу поехал к Лихолетову в Самарканд. Никогда еще Юсуп не жил такой беззаботной и счастливой жизнью, как в этот месяц своего отпуска. Сердце его было спокойно. Ведь он выполнил свой долг. Судьба ему благоприятствовала. Теперь нужно было только ждать того дня, когда обстоятельства всего хамдамовского дела выяснятся окончательно и все виновные понесут заслуженное наказание...

В квартире Лихолетова часто собирались гости (военные работники, сотрудники местных учреждений, представители самаркандских властей). Лихолетов был гостеприимен, жил широко, любил принять людей, часто жертвовал для этого последней копеечкой и нередко издевался над самим собой, говоря: «Хорошо живем. Когда пусто, когда густо... когда нет ничего...» Все шло к Лихолетову охотно. Как будто здесь, в простой, обыкновенной обстановке, все обретало то, чего им не хватало дома... Лихолетов умел повеселиться, мог выпить, занятно поговорить. Это было известно всему городу. Каждый шаг Александра отмечался чем-нибудь. Стоило ему прийти в театр, как уже во втором антракте он появлялся за кулисами и знакомился с актерами. Благодаря этой легкости в знакомствах дом Лихолетова был всегда полон гостей.

Многие из них, знакомясь с Юсупом, расспрашивали его о Хамдаме, — всех интересовал этот человек, потому

что арест Хамдама на многих, даже не знавших его, произвел впечатление...

Срок отпуска уже кончался, и Юсупу пора было уезжать. На прощанье Лихолетов вздумал угостить его охотой. Юсуп, конечно, был плохим охотником, но дело ведь тут было не в добыче. Степная ночевка, дружеские разговоры на привале — вот что считалось самым главным, самым интересным в этом деле, поэтому Юсуп согласился на него с радостью... Здесь, в Самарканде, ему никак не удавалось побыть наедине с Лихолетовым. Александр вечно был окружен людьми, — Юсуп же не любил суеты и теперь с удовольствием думал о том, как приятно и тихо они проведут вместе эту осеннюю охоту.

Юсуп сидел на балконе. Возле него на круглом деревянном столике лежали части разобранных ружей, стояло блюдечко с налитым в него слабым раствором нашатырного спирта, тут же стояла и баночка с вазелином. Неподалеку от Юсупа сидела на балконе Варя. Голова ее была не покрыта, и ветер слегка шевелил ее волосы. Варя грелась на солнце и, вытянув ноги, откинувшись в кресле, внимательно читала книгу...

Юсуп, действуя шомпольной палочкой, конец которой был замотан куском мягкой тряпки, прочищал ружейные стволы от нагара. Он опускал тряпку в раствор, потом протирали его дуло, — работа эта была отвлекающая от всяких забот и волнующих мыслей, приятная, как и вообще все прочие сборы и приготовления к охоте.

Небо было желтое и безоблачное, все предвещало тихую, славную погоду. Охота ожидалась необыкновенная — на автомобиле за джейранами. Для этого необходимо было выехать в степь, в пятидесяти километрах от Самарканды, и колесить по степи несколько десятков километров в поисках стаи. Собственно, по закону такая охота на машинах воспрещалась. Джейран, как бы ни был он быстр в беге, конечно не в состоянии убежать от машины. Его легко загнать, утомить. Но все-таки следует сказать, что при быстрой езде по степи охотники подвергаются серьезной опасности. Иной раз степь гладкая, как асфальт. Осенью на ней выжжены все травы. Машина на таких местах может взять скорость свыше семидесяти километров. Но степь есть степь. Это не дорога. И трудно усмотреть на ней какой-нибудь скат, трещину, складку — все это на быстром

ходу может быть причиной смертельной катастрофы. Стрелять полагалось только с машины, с ходу, и непременно пулей...

Это до некоторой степени уравнивало шансы человека и джейрана и придавало всему делу захватывающий азарт. Лихолетов, конечно, был любителем этой запрещенной охоты.

Выезд предполагался ночью, чтобы с рассветом добраться до степи и захватить утреннюю зорьку.

Юсуп мечтал о той минуте, когда они сядут в машину... Впереди нее побегут от фар два голубых луча, машина понесется мимо садов, пахнущих ночной влагой, и в эту минуту он забудет о городе и городской жизни.

Ночь обещала быть звездной.

Юсуп хорошо знал окрестности Самарканды и уже заранее переживал все наслаждения от этой поездки.

Он представлял себе, как с левого боку, в нескольких километрах от машин, начнет все выше и выше подыматься горный хребет, как утром его вершины воспламятся, будто костры, как сразу согреется воздух и приятный, острый ветер пахнет из Зеравшанской долины, как машина пересечет железную дорогу и пройдет кусок пути прямо по рельсам и вслед за этим из-под арки Тимура<sup>1</sup> покажется широкий Зеравшан, как он увидит его безмятежную ширь, и тихие заросли, и плоские желтые плодородные берега, и далекие богатые сады с тонкими, будто иголки, тополями, как при первом луче утреннего солнца вспыхнет весь этот величественный простор и даль превратится в прозрачное кружево, сплетенное из желтой, золотой и фиолетовой паутины... Эту долину еще арабы называли раем.

Мечты Юсупа были прерваны смехом Вари. Юсуп взглянул на нее, но она этого не заметила. Варя продолжала читать, точно она не в состоянии была оторваться от книги...

Варя заведовала сейчас хирургическим отделением самаркандской городской больницы. Время взяло свое. Черты лица у Вари стали суше, определеннее, исчезла та нежность, которая так привлекала в ней раньше. Волосы на висках слегка поседели, виски казались пепельными, но этот оттенок очень шел к ее голубым

<sup>1</sup> Арка моста, построенного Тимуром в XIV веке.

постаревшим глазам. Юсуп, как местный человек, считал Варю уже старухой. Юсупу казалось странным, что Сашка, так же как и раньше, может обнимать Варю, ласкать ее пополневшее тело и целовать увядшие щеки.

Варя бросила книжку, задумалась... След улыбки еще остался у нее на лице.

— Здóрово французы пишут о любви, — сказала она.

— Да... — ответил Юсуп. — Но очень длинно и много. В жизни это как-то незаметнее.

Варя смотрела, как он возится с ружьем.

— Джейраны такие милые, — сказала она. — Брюхо желтенькое. Чудные морды! Ножки тонкие. Особенно внизу, у копытца, — прямо карандашики. Сашка привозил. Я не ела их. Не могла.

— Мясо очень вкусное... — сказал Юсуп. — Но я плохой охотник. В особенности теперь, с рукой...

— Но ведь ружье держишь левой, а не правой рукой.

— Да... Но и правая нужна. Буду стрелять из автомата-пистолета, с коротким прикладом. Удобнее для сгиба руки. Не надо ее вытягивать.

— Ты мало погостил. Незаметно пролетел твой отпуск.

— Отпуск пролетает всегда незаметно.

Варя посмотрела в сад. Это был маленький дикий садик, окруженный глухой глиняной стенкой. В нем всегда было очень тихо, как в коробке. Он густо зарос травой и кустарником, но осенью, без птиц, казался пустым.

Варя поглядела на Юсупа, будто сомневаясь в чем-то, потом сказала:

— Я тебя хочу спросить одну вещь, Юсуп. Только ты не ври... — Юсуп засмеялся. — Ты помнишь Коканд?

— Да, — ответил он. — Я помню, как у тебя потухла комната. Как будто на сцене, когда все кончается.

Варя улыбнулась. Ей очень захотелось узнать, что было с Юсупом тогда, в ту душную ночь?.. Она чуть было не решила спросить об этом Юсупа. Но, почувствовав, что сейчас вопрос этот может прозвучать наивно и даже глупо, она отказалась от своего намерения. Мысль о том, любил ли ее Юсуп или просто желал ее, все-таки невольно беспокоила Варю.

Поглаживая ладонью страницы своей французской книжки, она смотрела на Юсупа, точно надеясь разгадать что-нибудь по выражению его лица.

Ей казалось, что, пройди та ночь по-другому, Юсуп остался бы тогда в Коканде и не поехал бы в этот проклятый Беш-Арык... И кто знает? Вся ее жизнь, может быть, сложилась бы иначе... И его также!

И, как часто это бывает, неосуществившееся прошлое, случайное и нелепое, сейчас представлялось ей поэтичнее и даже разумнее, чем это было на самом деле. Воспоминание и время приукрасили эту короткую ночную сцену.

Она искривилась, пожала о своем прошлом, задумалась и уронила книгу с колен.

— Ну, о чем же ты хотела меня спросить? — сказал Юсуп после долгого молчания. На лице у Вари была все та же улыбка, вдруг смутившая Юсупа. Он даже покраснел.

— Ты вспоминаешь о Садихон? — сказала Варя.

— И да и нет, — с облегчением ответил Юсуп. — Разве не слыхала?

— Что? Ее продали в Китай? Ужасная история, но какая-то неправдоподобная.

— Нет, басмачи это делали.

Молчание.

— Мне думается, что она жива. Хочется верить хоть в это. Теперь она уже перестала мне сниться. Вот когда я был болен, в бреду я всегда видел ее. Теперь не вижу.

Опять молчание.

— Почему ты не женишься?

Юсуп рассмеялся.

— Ну, куда мне! Есть люди, которые, наверно, так и остаются с первой любовью, и совсем не потому, что они какие-нибудь особенные. Нет, самые обыкновенные, вроде меня. Обстоятельства складываются... Вот обвиняют старинную восточную поэзию в сладострастии, а она, по-моему, мечтательна. А в общем, любовь может быть всякая. И о мгновении можно написать и о десятилетиях лет. Вот в Комакадемии мы сравнивали два романа — «Каренину» и «Мадам Бовари», и хотя Толстой писал это еще со старым подходом, как роман о любви, но он видел дальше, он уже не мог писать так, как Флобер. Поэтому у него все шире, жизненнее. Любовь —



это один из узоров ковра, из многих, из десятков узоров жизни. Разве в жизни сейчас мы уже так много отдаем любви? Нет, не приходится. Да и раньше, может быть, этого не было. «Писалось!» Писать можно... Или еще бывает так: общественное — одно, личное — другое. У меня все личное, не знаю, как у других...

В передней резко прозвенел электрический звонок, и вслед за ним Юсуп услышал шаги. Домработница вышла на балкон и сказала Юсупу, что его спрашивает какая-то женщина. Он удивился.

— Какая женщина? — спросил он.

— Не знаю... С девочкой. Говорит, что очень надо, — ответила домработница.

#### 44

Юсуп вышел в переднюю. Посетительница оказалась незнакомой. Это была русская женщина лет сорока, в темно-синей шляпке-панамке и в темно-синем поношенном драповом пальто. Рядом с ней стояла девочка лет десяти в клетчатой коротенькой жакетке. У девочки было беленькое остренькое личико. Она все время крутила головой по сторонам, так что матери приходилось ее успокаивать. В косичку у нее был вплетен красный бант. Косичка была заплетена очень туго и торчала, как тонкий хвостик.

Серые глаза женщины поражали упрямством, а большие, грубые губы были окружены морщинками и так втянуты внутрь, будто ее только что обидели.

Вынув из сумочки письмо, она строго спросила Юсупа:

— Вы действительно товарищ Юсуп?

Юсуп ответил утвердительно. Тогда женщина назвалась Гасановой и рассказала Юсупу, что муж ее имеет к нему дело, но что он сам никак не может прийти, так как из-за болезни не выходит на улицу.

— Вы прочтите письмо, — предложила она. — Там он объяснил, что нужно.

С первой строчки содержание этого письма взволновало Юсупа и заставило его подойти к окну, подставить письмо ближе к свету.

Письмо было сумбурно и сложно. Гасанов рассказывал в нем, как он, будучи старшим следователем ферган-

ского уголовного розыска, вел в 1924 году беш-арыкское дело. Он живо описывал Беш-Арык тех времен, самовластие Хамдама, пыльную площадь, и всю картину после убийства, и то скопище слухов, которое возникло при следствии. Он писал о комиссаре Юсупе, «победителе Иргаша», и о тех обстоятельствах, при которых происходил арест порученцев Хамдама. «Хамдам — ваш убийца. Я докажу вам это. Приходите...» — писал Гасанов.

Юсуп спрятал письмо в карман и спросил Гасанову:

— А что с вашим мужем?

— Персук! — ответила она. — Персидский тиф. Жучок укусил, наверное в чайхане... Говорят, что это от жучка. Мой муж часто бывает в разъездах. Ночует в чайхане. Ну, вот и говорят, что есть такой жучок... Сорок припадков, говорят, бывает! Сводит человека судорога. Как холера сводит. Да так сводит, что и кричать немогут. Только и кричит одно слово: «Мама!» Сердце бы только выдержало. И лекарства не знают никакого! И в больницу не принимают! Вот доктора! Припадок пройдет, ничего, жди следующего.

— Где вы живете?

Юсуп надел фуражку и крикнул Варё, что он уходит.

— А как же охота? Сейчас Сашка приедет.

— Мне некогда. Потом... — сказал Юсуп. — Я ненадолго.

#### 45

Длинный худой человек, завернутый в байковое одеяло, полулежал в постели, опираясь головой о металлическую спинку кровати. Стены комнаты были заставлены книжными открытыми полками. В комнате было душно. Гасанов поминутно пил воду. Глаза у него блестели. Он широко размахивал руками, негодовал, смеялся...

— Я чудак! Есть еще чудaki на свете! Это я! — говорил он Юсупу. — Я прыгнул вперед... Я сразу почувствовал, что забрался в самое сердце! Мне оставалось только взять Хамдама, и я уже нацелился в него, но Хамдам догадался... Я уже все подготовил к его аресту, вдруг — звонок... Из прокуратуры мне приказали потушить все это дело. Когда я попытался узнать, по чьему

распоряжению, мне сказали почти прямо, что это желание товарища Карима... Сам Карим! Вы понимаете? Да, так оно и было, я потом справлялся. Меня это невероятно удивило, но... жена Цезаря, как говорят, выше подозрений. Словом, дело было сорвано... Представьте себе человека с воображением, трудолюбивого человека, всю свою энергию ухлопавшего в одно дело, и вдруг дело это лопається. В душе этого человека происходит взрыв, он весь перекосялся, как здание после землетрясения, — балки лезут наружу, и стены треснули. Поймите это, умоляю вас.

— Часто я думал заявить куда следует об этом звонке... — рассказывал дальше Гасанов. — Но... чем я мог подтвердить *этот звонок*? Ведь только для меня, для человека, который вгрызся в это дело, *этот звонок* прозвучал неспроста. Для того чтобы понять этот звонок, нужно понять все детали беш-арыкской обстановки. Но ведь дело было потеряно... — Да, *потеряно*. Подчеркиваю. Потеряно через месяц после моего ухода из уголовного розыска! — кричал Гасанов. — Сперва затушено, а потом потеряно прокуратурой. Как вы думаете, проста это было сделано? Таким образом, все концы были брошены в воду. А это был материал нескольких месяцев следствия. Что делать? Кто бы мог снова поднять это дело? Кто бы осмелился обвинять Карима? Да если бы даже нашелся такой храбрец и доказал бы даже, Карим всегда имел возможность сослаться на что угодно, хотя бы на особую обстановку двадцать четвертого года. Причины всегда найдутся. Но кто, кроме меня, мог бы говорить об этом звонке? Никто. А кто такой Гасанов? Никто... Вы понимаете, как просто меня смахнули бы со счетов?

Юсуп с удивлением слушал его книжную, литературную речь. Она была пронизана личной обидой, и это оттолкнуло Юсупа. Гасанов, ничего не замечая, продолжал рассказывать о себе:

— После того крушения я перепробовал ряд профессий и в конце концов остановился на журналистике. Семь лет я работаю разъездным корреспондентом! Каково! — восклицал он. — Семь лет я разоблачаю мелких негодяев. Надоело. Я маленький человек! У маленьких людей, как правило, большое терпение! Но у маленьких людей бывают и большие желания.

Юсуп, собственно, не понимал: чего хочет Гасанов? Кого он обвиняет — Хамдама или Карима? Заинтересован ли он в том, чтобы помочь следствию, или это просто месть Кариму? «А не фантазия ли это?.. Этот звонок Карима? Может быть, этот странный человек просто наплевал чего-нибудь, нафантазировал, питался базарными слухами, и поэтому дело прекратили... — думал Юсуп. — Это, конечно, задело его, он оскорбился, сочинил целую историю».

Юсупу не хотелось обижать Гасанова, и поэтому он сказал:

— Все очень интересно!.. Очень! Все это относится к прошлому... Но это материал, несомненно! Может быть, это будет полезно для следствия.

— Да, да... да, — бормотал Гасанов, внимательно слушая Юсупа.

— Не знаю... Я лично не так думаю о деле в Беш-Арыке... — сказал Юсуп. — Но... Черт знает, может быть, тогда действительно Хамдам стрелял в Абита...

— И в вас! В вас! — воскликнул Гасанов.

— Ну, и в меня... Возможно! — согласился Юсуп с улыбкой.

— Не сам! Очевидно, подручные стреляли! — опять крикнул Гасанов.

— Ну да. Возможно. Может быть, это нужно следствию... Знаете, в следствии часто мелочь годится, неожиданно заиграет! Не для этого, так для другого.

— Именно! Именно! — снова воскликнул Гасанов. — Именно, неожиданно заиграет...

— Я советую вам написать в ГПУ. Черт его знает, вдруг это действительно окажется нужным. Нельзя молчать.

— Правильно, правильно... — с удовлетворением проговорил Гасанов.

Он задумался, обтер горстью небритый, заросший седой щетиной подбородок, потом блеснул глазами и, точно недоумевая, спросил Юсупа:

— Ну, а как же быть с Каримом? Ведь я же должен буду написать про этот звонок? Иначе чем я объясню прекращение дела?

— Ну, конечно, напишите. А что тут скрывать?

— А это ничего?

— Вы что — боитесь? — улыбаясь, проговорил Юсуп. — Ну, так знаете что... Хотите, я вам скажу? Хамдам был арестован по инициативе Карима... Да, да! — сказал он, заметив удивленный взгляд Гасанова. — По личной инициативе Карима... Карим при мне звонил и настаивал на его аресте! Тоже звонок. Видите? Звонки бывают разные.

— Значит, вы думаете, что тогда, в двадцать четвертом году, была действительно такая обстановка, что нельзя было трогать Хамдама? — спросил Гасанов.

— Ну, я не знаю, что было тогда, — сказал Юсуп. — Но я не вижу надобности скрывать все это от следствия теперь.

— Да, да... Пожалуй, пожалуй... — опять пробормотал Гасанов, думая о чем-то своем, потом протянул руку Юсупу и поблагодарил его.

— Вы правы! Я так и сделаю... Прямо в Ташкент напишу! — заявил он. — Хорошо, что вы зашли, а то я сомневался. У меня тут приятель в дивизионе... У Лихолетова служит. Он мне сообщил, что вы гости у товарища Лихолетова. К сожалению, поздно сообщил... — Гасанов вздохнул, поглядел на книжные полки и усмехнулся. — Да, вот так и живу!..

На старой башне у рекн  
Дух рыцаря стоит... —

продекламировал он. — Дух рыцаря... — повторил Гасанов и поднял палец, как будто о чем-то спрашивая Юсупа или подсказывая ему что-то. Все это было так туманно, что Юсуп ничего не понял, он только улыбнулся и крепко пожал ему руку.

На этом они и расстались. «Станный человек...» — еще раз подумал Юсуп. Размашистые жесты Гасанова, его болтливость, искусственная экзальтация поразили Юсупа. Он никогда не общался с такими людьми. Словом, оба они как будто разочаровались друг в друге.

Гасанов тоже не понял Юсупа. Его сдержанность, его незаинтересованность старым делом он воспринял как сухость. А это претило натуре Гасанова. «Скован! По ниточке ходит!» — презрительно подумал он об Юсупе. Когда Юсуп ушел, Гасанов расстроился... Он ожидал не такой встречи. Но если бы его спросили: «А какой ты хотел?..» — он бы не мог ответить.

Гасанов дотянулся до столика, стоявшего возле кровати, и вынул из ящика рукопись. Гасанов писал роман, начатый им еще три года тому назад. Это тоже была проба. Перед началом работы он имел обыкновенное привычку читать написанное накануне. Последняя фраза всегда служила ему трамплином для дальнейшего. На этот раз это была характеристика основного героя романа.

«Он был человеком честолубивым, придавившим свое честолубие, человеком талантливым и не сумевшим нигде применить свой талант, человеком больших способностей и разменивающим себя на мелочи, человеком, мало наслаждавшимся жизнью и в то же время не потушившим в себе веры в жизнь, не примирившимся с ее изнанкою, не отказавшимся от радостей и от негодования. Но можно было назвать его иначе, то есть человеком неуживчивым, слабовольным, с плохим характером трусливым и мнительным, короче — самым обыкновенным человеком...»

Гасанов прочитал весь этот абзац, зачеркнул его, потом подумал и маленькими черточками восстановил зачеркнутое и написал сбоку на полях рукописи: «Оставить...»

## 46

Карим был в английском пальто «треникот», с пристегнутой к левой стороне специальной зимней подкладкой. На голове у него была заграничная шляпа пушистого темно-серого ворса. Пойдя мимо вытянувшейся охраны, он вышел из здания Совнаркома и сел в свою машину, чтобы ехать на спектакль театра национальной музыки. Карим не любил этого театра, но посещение его считал своей государственной обязанностью. Театр этот, возникнув из самодеятельного ансамбля певцов, музыкантов и танцоров, существовал уже восемь лет. Вначале его работа ограничивалась собиранием фольклора и показом его без всякой переработки; год от году театр развивался и теперь начал ставить пьесы, где тесно переплетались два жанра — музыкальный и драматический. Сейчас театр готовился к большим переменам. Он стремился ввести европейскую гармонизацию узбекских мелодий, ставил певцам голоса и вводил симфонический оркестр. Карим под всякими предложениями тормозил эту

реформу. Карима пугало неудобное для его целей влияние русского искусства.

Жарковский поджидал начальство на тротуаре около машины. Он должен был сопровождать Карима в театр и всегда делал это с удовольствием, считая, что даже просто пребывание вместе с Каримом поддерживает его престиж, повышает во мнении людей.

Карим, не торопясь и не глядя ни на кого, спускался по ступеням подъезда. По пятам за ним следовал секретарь Вахидов. Не успел Карим очутиться возле машины, как секретарь, ловким движением обойдя его с правого боку, раскрыл перед ним дверцу... Карим и следом за ним Жарковский сели в машину. Дверка машины захлопнулась, секретарь вскочил в первое отделение машины, к шоферу, шофер сразу дал газ, и автомобиль плавно покотился по прямой асфальтовой аллее, засаженной деревьями. Жарковский включил электричество, яркий свет вспыхнул на потолке кабинки.

Карим, опустив веки, полулежал на мягком диване, упираясь вытянутыми ногами в стальные упоры у передней стенки кабины.

— Читали сводку? В Афганистане убит Надир-шах, и на трон, очевидно, старейшины посадили все-таки его сына Загира... — сказал Жарковский. — Что-то будет дальше?

— Да... — пробормотал Карим, но разговора не поддерживал...

Говорить ему не хотелось. Он сегодня получил письмо Хамдама и думал о Хамдаме целый день: и на заседании, и за обедом, и даже в ванне. Это письмо как-то непонятно сплеталось с другим случаем, совсем иного порядка... Он вспомнил, что недавно в Москве на одном из заседаний ему пришлось невероятно изворачиваться... Все окончилось благополучно лишь потому, что его выручил Пишо... Он сжал кулаки и, стараясь избавиться от этих неприятных мыслей, стал думать о театре.

Эти мысли невольно сменились другими мыслями — об одной из актрис. Он интересовался ею год тому назад и даже добивался ее близости, но потом отстал... Его отговорили...

Она была танцовщицей.

Карим улыбнулся, вспомнив ее тело, ее красивые сильные ноги, но от этих мыслей его опять отвлек Жарковский.

— Товарищ Иманов, интересно знать ваше мнение? — спросил он вкрадчиво. — Завтра меня просят прочитать информационный доклад о деле Хамдама на партийном активе... Страшно все интересуются. Весь Ташкент! Я даже не ожидал...

— Ну что же... Надо прочитать! — сказал Карим.

Вечером после театра он привез Жарковского к себе на квартиру. Они ужинали вдвоем, и за ужином Карим осмелился намекнуть Жарковскому о том, что пора кончить все это дело.

— Как кончить? — недоумевая, спросил Жарковский и опустил глаза.

Карим увидел, что он прекрасно расшифровал его намеки, но не намерен его принимать. В этом он убедился еще больше, когда Жарковский с несвойственной ему горячностью принялся рассказывать о необыкновенном резонансе дела, как бы аргументируя этим, что сейчас все пути к отступлению отрезаны.

— Вот недавно, например, я получил из Самарканда своеобразное письмо, — говорил Жарковский, — от журналиста Гасанова... Абсолютно честный, советский человек. И по тону письма я чувствую, что Гасанов прав.

Несколько навеселе после вина, выпитого за ужином, Жарковский с наглой, развязной улыбкой помотал на Карима, потом вытащил из кармана бумажник, достал письмо Гасанова и передал Кариму:

— Полюбопытствуйте. Там про вас пишут. Я его изъял.

Карим медленно, усмехаясь, читал письмо и с той же медлительностью, с тем же спокойствием прихлебывал из бокала вино. Прочитав письмо Гасанова, протянул его Жарковскому, вздохнув и покачив головой.

— Звонок? — сказал он, снова усмехнувшись. — Я делал большее для убийц, которых все окружающие, и я в том числе, принимали за честных людей! — прибавил он с холодной, спокойной брезгливостью. — Жизнь — это жизнь. А люди — это люди.

Затем он равнодушно махнул рукой. Оба они быстро прекратили разговор на эту тему.

Поговорить начистоту Карим все-таки не решился; он еще не до конца верил Жарковскому.

Преувеличенное внимание к делу Хамдама ясно показало ему, что положение Хамдама скверное. «Кто поручится за этого дикаря? — думал он. — Просидит еще месяц, два. А дальше? А дальше начнутся разоблачения... При Жарковском это еще не страшно. Но все-таки лучше собаку зарыть».

Так решил он, разговаривая о всяких пустяках с Жарковским и думая о Хамдаме.

Утром он вызвал к себе Фрадкина.

В тот же день Юсупу была отправлена телеграмма в Самарканд. Юсупу поручалось проверить подготовку к весеннему севу по всей Бухаре. Командировка была почетная. Телеграмма была лично подписана Каримом. Прямо из Самарканда Юсуп должен был отправиться в старую Бухару.

Продолжительность этой командировки была рассчитана на два месяца. Карим не хотел присутствия Юсупа в Ташкенте. «Пусть он будет подальше... А там посмотрим!» — думал Карим. В Ташкенте говорили, что у Карима появился новый любимец, и называли Юсупа. Многие ему завидовали. Юсуп был доволен. По телеграфу, спешной почтой Карим снабдил его всеми полномочиями власти, и Юсуп чувствовал себя послом Карима. Он действовал от его имени. Как это было непохоже на Беш-Арык... Но как это было приятно!

#### 47

Долгие дни проходили будто в лихорадке. Письмо исчезло, точно камень, брошенный в пруд... «Неужели изменились времена? Неужели покровитель стал таким сильным, что ничего не боится?.. Я не могу сидеть вечно. О чем он думает?» — размышлял Хамдам.

Хамдам никак не мог понять молчание Карима. Что же делается в этом мире? Неужели джадид спрятал свой нос? Боится людей? Этот хитрец идет, будто лиса, пушистым хвостом заматающая свой след. Необъяснимо это молчание!.. Возможно, что это случай. Возможно и другое. Но Хамдам не таков, чтобы упасть на колени и склонить голову. Они ошиблись...

— Ошиблись... — шептал Хамдам.

Наступила зима. В камере стало холодно и тоскливо.

Все здесь напоминало Хамдаму старые годы, те самые неприятные годы, когда он сидел на гауптвахте Кокандской крепости. Но ведь тогда он был глуп и не умел жить. Теперь, попав в тюрьму, он скатился снова назад, в прошлое. Хамдам проклинал все, и прежде всего — самого себя.

Пятнадцатого декабря вечером Сапар вошел в камеру Хамдама вместе с надзирателем Овечкиным.

— Дезинфекция! — сказал Овечкин и вышел из камеры.

Сапар поставил на пол ведро с коричневым остропахучим составом и начал мыть пол шваброй.

Потом он оглянулся на дверь и сказал:

— Мулла-Баба приехал в Коканд...

— Зачем?

— Вот вам от него передача.

Сапар оглянулся и вытащил из-под халата небольшой сверток. В платке были завернуты лепешки и вареная баранина. Хамдам бросил сверток на нары.

— Писать не надо... Мулла-Баба просил не писать, — шепнул Сапар.

— Где ты его видел?

— В складе... Пока хлеб принимали, я с ним беседовал. Говорит: восстание скоро, зимой.

— Болтовня.

— Слухи иной раз оправдываются.

— Нам-то все равно, — сказал Хамдам.

— Скоро свобода, просил ждать... — прошептал опять Сапар. — Так и сказал мне: «Пусть ждет. Его час приходит...» Наш час, отец.

— Мой час, мой час... — с досадой прохрипел Хамдам. — Освободиться бы только...

— Скоро. Скоро будет, Хамдам-ака! Месяц, не больше. Он так и просил сказать.

— Я опьянен здесь... — тихо прошептал Хамдам. — Где-то мои лошади теперь? Что с женами?

Сапар посмотрел на его посиневшее лицо.

— Терпение, отец, — пробормотал он.

— Ты молод, что тебе... — ворчал Хамдам.

— А вы разве старик? Попасть бы вам только на тот берег Дарьи...

Глаза у Сапара повеселели. Голос его окреп.

— Да на ваш зов, только крикните, пятьсот, шестьсот джигитов сразу сбежится! — сказал Сапар. — А там мы знаем, что делать... Вот уж снова погуляли бы!

Хамдам приподнял веки, посмотрел на своего джигита и улыбнулся.

48

Пекарня и склад стояли за базаром в тупичке. Воздух здесь пропах печеным хлебом, а земля вечно была утоптана лошадьми. Чтобы получить хлеб, арбы въезжали во двор, к раскрытым дверям старого амбара. Увесов рядом со столиком кладовщика толклись грузчики. Возле стены лежали ящики для переноски буханок.

Когда из тюрьмы приезжали за товаром, ворота прикрывались, но никакой особой охраны не полагалось, кроме обычного конвойного. Заключенные, посланные с тюремной арбой, не имели права говорить с посторонними. Но за правилом этим конвойные совсем не следили, да и трудно было отличить «складских» от посторонних.

На следующий день Сапар опять увидел на дворе поджидавшего его Мулла-Бабу.

Старик стоял возле арбы и помогал при погрузке. Конвойные считали его рабочим.

Принимая от Сапара ящик, Мулла-Баба спросил:

— Ну как, ты поговорил с Хамдамом?.. Воспрянул он духом?

— Он обрадовался. Веселый стал, — ответил Сапар.

— Ну вот и хорошо. Главное, чтобы у него душа была веселая. Ты передал ему еду?

— Все передал.

— Ты скажи ему, что я его не забуду... Завтра опять принесу.

На сером, исхудавшем личике Мулла-Бабы появилась усмешка, мохнатые, широкие его ноздри еще больше расширились. Сощуренными глазками он впился в Сапара...

— Эй, сорóки! Чего там... — крикнул по-русски конвойный, заметив болтовню.

Сапар, опустив левое плечо, сбросил ящик на руки Мулла-Бабе. Мулла-Баба уложил его в арбу.

Когда Сапар отошел от Мулла-Бабы и подымался уже по доскам в амбар за следующим ящиком, старик погладил себя по щекам, по бороде, как во время молитвы, вздохнул и пробормотал:

— Боже, пошли Хамдаму тихую кончину. Лучше ему умереть тихо, чем всем нам жить в мучениях.

49

Хамдам лежал на правом боку, в сторону Каабы, как предписывает Коран, подперев правой ладонью правую щеку... Однако Хамдам совсем не думал о требованиях закона: всю жизнь он спал таким образом, к этому еще с детства его приучил отец. Глаза его были раскрыты. Огонь в камере тушили рано.

В предыдущие ночи, чтобы заполнить их пустоту и мрак, Хамдам пытался вспомнить хоть что-нибудь из своих детских лет в Андархане, когда он играл ребенком на улицах кишлака. Но эти годы будто заволокло туманом. Он видел только мать и сестер, шьющих тюбетейки на базар для продажи... Вспоминались деревянные катушки от ниток, — он любил ими играть, выстраивая из них высокие минареты. И мать и соседки, приходившие к матери, любовались этими постройками и баловали его. Отца он не любил, отец вспоминался сейчас точно тень, без плоти... Иногда приходили на память жены, враги, женщины, имена которых он сейчас уже забыл. Но о каждой из них помнилось что-нибудь одно, поразившее его: их ласки, смех, тело, одежды... Так он вспоминал Агарь. Где-то она теперь? Еще он любил представлять себе байгу, конные скачки в Коканде, на которых проигрывались большие заклады... Вспоминался переезд в Беш-Арык.

Словом, ему вспоминалось только то, что было приятно вспомнить. О плохом же он не умел и не любил вспоминать. Но сегодня ему не хотелось думать даже о тех удовольствиях, которые он испытал в жизни. Он желал уснуть, забыться, но сон, будто нарочно, не приходил к нему.

Случайно припомнились ему слова молитвы от бессонницы, заученные еще в детстве.

Хамдам оживился. Он услышал голоса мальчишек, которые когда-то вместе с ним хором заучивали эту

молитву, — вспомнил своего учителя, дамуллу\*, отличавшего его звонкий голос. Потом стал вспоминать подарки отца и всякие награды за хорошее учение в школе.

Слова молитвы приходили не сразу... Он отвык молиться... Но постепенно одно слово прилеплялось к другому, и восстановилась в памяти вся молитва. Она была на арабском языке.

— Боже... — бормотал Хамдам. — Звезды появились на небосклоне. Сон смежил очи людей. Ты, живой, тебя не клонит ко сну, не берет дрема. Ты, живой, укажи ночи истинный путь. Сомкни мои очи. Усыпи меня...

Дежурный старший надзиратель Овечкин проходил по коридору, делая ночную проверку. Возле камеры № 4 он прислушался... Необыкновенная тишина обеспокоила его. Он зажег электричество и, войдя в камеру № 4, обнаружил труп. Хамдам лежал на боку, поджав ноги, с закушенной губой, с закрытыми глазами, уронив с нар посиневшую руку.

На следующий день из Ташкента для вскрытия и судебно-медицинской экспертизы прибыл профессор Самбор, потому что Жарковского удивила эта внезапная новость.

Профессор нашел, что смерть произошла от паралича сердца, на почве крупозного воспаления...

## 50

Юсуп узнал о смерти Хамдама в поезде.

Была вторая половина февраля. Это было грустное время, но и хорошее, потому что его можно назвать преддверием буйной и пышной среднеазиатской весны. Юсуп ехал домой, полный веселого ожидания. Два с половиной месяца работы. И какой работы...

Кишлаки, грязь, размытые дождями дороги, глушь уже достаточно надоели ему. Командировка была выполнена отлично, он имел от Карима поощряющие или благодарственные телеграммы, всегда подписанные лично. И вдруг в вагоне, среди веселой беседы с одним из пассажиров, он узнал эту новость. Он побледнел, услышав ее.

Но пассажир был человеком достаточно осведомленным, это был один из сотрудников Жарковского. Ему

приходилось верить. Он знал все. Из рассказов этого человека можно было понять, что смерть Хамдама рассыпала все дело.

— Хамдам умер, и вместе с ним все умерло... — сказал пассажир. — Таково общее мнение.

Теперь, через два месяца после смерти Хамдама, специальная комиссия под председательством Жарковского пересмотрела дело Хамдама. Все привлеченные вместе с Хамдамом по этому делу были выпущены на свободу и разъехались из Коканда по домам. Сапар Рахимов, так же как и другие, был освобожден из-под стражи. Он вернулся в Беш-Арык, с Баймуратова и Абдуллы было снято всякое обвинение. Комиссия постановила их дела вовсе прекратить. Все это было ею мотивировано и затем подтверждено соответствующими инстанциями... Все это давало Юсупу понять, что дела больше нет... Все, от чего люди волновались, что приводило их в такое кипение, вдруг засохло, остыло, будто клей. Юсуп вспомнил Гасанова, вспомнил весь свой разговор с этим странным человеком, вспомнил свое недоверие и понял, как он был неправ. Как он был глубоко неправ! Но его ум еще сопротивлялся, он не мог связать это с Каримом.

— Ну, в Беш-Арыке как это восприняли? — спросил Юсуп.

Пассажир ответил, что в Беш-Арыке все рады, все спокойно вздохнули, готовятся к выезду в поля, идет ремонт тракторов. Не до Хамдама... Как будто его и не было.

— Вот судьба... — сказал он, рассмеявшись.

В поезде было холодно и темно. Поздно вечером поезд пришел в Ташкент.

Юсуп жил неподалеку от вокзала, в привокзальном районе.

Приехав домой, он заснул только под утро. Но и это нельзя было назвать сном. Он лежал измученный, разбитый, то засыпая, то просыпаясь, чувствуя, что его мозг не отдыхает, что разнообразные мысли переполняют его, — причем это были даже не мысли, это были куски полуснов-полувоспоминаний. Он думал о Сашке, о Варе и тут же вспоминал Аввакумова и зверское убийство Капли, думал о Зайченко, о странной смерти Хамдама, о Кариме, об утихнувшем Беш-Арыке. Сосед

Юсупа в одиннадцатом часу дня поехал на работу, после его отъезда в квартире все затихло. Юсуп не заметил, как сон вдруг сковал его; он спал только три часа, но когда его разбудила хозяйка, ему показалось, что прошла вечность.

Он посмотрел на часы. «Пора ехать с отчетом». «Но Хамдам убит... Он отравлен...» «Как я буду говорить с Каримом? Я спрошу его про звонок... Расскажу про Гасанова. Что я сделаю?» «Хамдам отравлен. Почему отравлен? Кто это сказал? Это я сказал». Все эти мысли беспорядочно сменяли одна другую. «Да, он отравлен!» Это был все тот же сон. Юсуп ходил, говорил с хозяйкой об обеде, курил папиросы, вызывал машину. Но все-таки это был сон. Он думал все об одном и том же до боли и до одурения. Он вдруг вспомнил небрежный, торопливый почерк Гасанова, вспомнил, как в своем письме Гасанов охватил сразу беш-арыкскую трагедию. «Что написал Гасанов в ГПУ? Ну, то, что говорил... Ясно».

Хозяйка принесла чай и завтрак. Но Юсупу есть не хотелось. Он отставил поднос в сторону. Внизу около дома загудела машина. Юсуп, залпом выпив стакан чаю, вышел на улицу. Лил дождь. Пешеходы скользили в галошах по слякоти. Юсуп левую руку сунул в карман, там лежал браунинг. Он забыл его оставить дома (браунинг был взят в поездку)...

И как раз в это время, даже в этот час, с ташкентского аэродрома Лихолетовы улетали в Москву. Днем Юсуп получил от Вари записку:

«Дорогой Юсуп, я не знала, где тебя искать, и поэтому прибегла к старинному, испытанному способу. Мы приехали в Ташкент. Однако нам все равно никак бы не удалось повидаться... Знаешь Сашку! Как водится, в последний момент у него все изменилось. Он говорил утром с округом, и оказался какой-то военный самолет, который через час летит в Москву. Ну, Сашка непременно захотел лететь. Словом, поезда отменяются. Мы сейчас летим. Сашку наконец вызывают в академию. Я пришлю тебе из Москвы наш адрес, когда у нас выяснятся дела и вообще будет что-то определенное. У меня остались ящики с фруктами в гостинице. Умоляю тебя, отправь их багажом, большой скоростью, до востребования, на Казанский вокзал. Все это из-за Сашки.

В самолет не влезает. Целую тебя крепко и жду тебя непременно в Москве, если мы действительно там останемся, если Александра примут, чему я мало верю. Сашки нет. В ажиотаже он помчался в округ, обещав, что оттуда вышлет за мной другую машину. Вот я сижу на чемоданах уже час и жду, как дура...»

Приписка: «Нет, все-таки летим. Целую».

## 51

Перед фасадом нового белого двухэтажного здания чернели куртины обнаженной земли. Из земли торчали остатки стеблей. Дорожки цветника, так же как и летом, все еще были усыпаны гравием, садовник ходил по дорожкам и маленькими железными граблями сгребал в кучу мусор. Сырой гравий хрустел у него под ногами. Ветер проносился с шумом сквозь сучья деревьев. Шуршали по асфальту шины, в туманном воздухе глухо трещали моторы отъезжавших машин. Внутри большого подъезда за стеклянными дверями стояли дежурные милиционеры, проверявшие пропуска, выданные комендатурой.

Шоферы мирно дремали в машинах, стоявших длинным рядом около тротуара. Юсуп прошел мимо них и поднялся по нескольким ступеням к дверям подъезда.

Высокий молодой милиционер-узбек одним движением глаз осмотрел Юсупа, его кожаную куртку и, взяв протянутый ему партбилет, перелистал несколько страничек — от той странички, где была наклеена фотография, до штампа последней уплаты членского взноса... Все было в порядке. Милиционер махнул рукой.

Юсуп вошел в вестибюль. Электричество еще не горело. Сверху, со второго этажа, спускалась широкая каменная лестница, покрытая красивой дорожкой. В вестибюле было просторно и прохладно.

Юсуп пересек его, свернул направо, прошел мимо второго милиционера, стоявшего возле внутренней лестницы, и вышел из полутемного коридора в приемную Карима.

В конце приемной, около двери в кабинет Карима, помешался стол его секретаря Вахидова. Налево от стола шла дверь в маленькую комнату, где работала русская часть секретариата.



Через плечо у Юсупа была перекинута на ремне полевая сумка. Юсуп был в коричневой фуражке и в кожаной коричневой куртке, почерневшей от зимних дождей.

Вахидов с улыбкой посмотрел на Юсупа, проскочившего между столами, точно между барьерами, и сказал ему, что прием уже кончен.

— Как съездил?

— Отлично... Но я ждать не могу, ты доложи Кариму... — сказал Юсуп.

— Сейчас узнаю... — сказал Вахидов и скрылся за тяжелыми темными портьерами, прикрывавшими двойные двери кабинета.

Юсуп сел на стул. Он почувствовал себя как всадник, которому предстоит взять препятствие.

В приемной было темно. На письменном столе у Вахидова лежала сегодняшняя газета. Юсуп небрежно взял ее. На первой странице были помещены портрет Карима и его речь, в которой он клялся, что сметет с дорог весны всех бюрократов, оппортунистов и классовых врагов. На второй была хроника. На четвертой в углу — «Дневник происшествий».

*17-го ночью по дороге на Чирчик произошла автомобильная авария. Убит ехавший на строительство журналист Гасанов. Шофер невредим.*

Как знать, что почувствовал Юсуп, прочитав эту трехстрочную заметку? Были ли это ужас и крик, или просветление и холод, или жар и отчаяние — все эти слова не смогли бы определить точно состояние его сердца. Все его существо насторожилось, ошетинилось, собралось, это был катастрофический момент, напряжение всего его организма, все ощущения его мгновенно кристаллизировались. Сам не понимая — зачем, в силу какого-то темного инстинкта, Юсуп сунул руку в карман за револьвером, но секретарь Вахидов появился в дверях и сказал ему:

— Проходи.

Одетый во все черное (в черную гимнастерку, в черное галифе, в черные мягкие сапоги, без каблуков), секретарь почти расплывался на фоне темно-синих, почти черных портьер. Юсуп поднял голову, и ему показалось,

что длинное лицо секретаря повисло в воздухе. Вахидов повторил приглашение, затем приподнял портьеру и, нажав на дверную медную ручку, приотворил дверь, пропуская вперед Юсупа.

Юсуп, прихрамывая, прошел в кабинет. За ним бесшумно закрылась дверь и прошуршала портьера. С этой стороны двери, то есть в кабинете, тоже висели портьеры. Юсуп не сразу заметил Карима. В кабинете полумрак был еще сильнее, чем в приемной. Широкое венецианское окно находилось в нише. За окном виднелся голый сад и небольшой каменный заглохший фонтанчик. Свет из окна растекался по стенам, по широким кожаным креслам, по драгоценному толстому, пушистому ковру, съедавшему звук шагов. На круглом столе стояла пустая хрустальная ваза. Хрупкий зимний луч солнца вдруг скользнул в комнату и, точно трещина, прошел сквозь хрусталь. Карим радостно встретил Юсупа. Юсупу стоило большого труда ответить ему улыбкой. Он опустился в кресло и вытянул больную ногу. Карим прищурился и тоже сел.

Карим сидел за длинным письменным столом красного дерева, стоявшим наискосок от стены к окну. Стол был поставлен так, чтобы свет падал только на посетителя. На столе в симметричном порядке были размещены предметы дорогого чернильного прибора из мрамора и бронзы. По краям стола с подчеркнутой аккуратностью были разложены бювары, большие папки, портфели и книги. В двух бокалах стояли снопы остро отточенных карандашей.

Карим сидел спиной к окну, в темном углу кабинета, лицо Карима оставалось в тени. Свет из сада слегка задевал его левое плечо и левый висок.

Юсуп взглянул в лицо Кариму.

— Вот отчет... — сказал Юсуп, положив на письменный стол свою сводку по Бухаре.

«Что он так смотрит на меня?» — подумал Карим.

Взгляд Юсупа сейчас ему напомнил другие взгляды, взгляды его друзей и сотоварищей по преступлениям. Час тому назад здесь были двоюродный брат Курбан, и Фрадкин, и Мулла-Баба, явившийся к нему в секретариат будто бы с жалобой на неправильные действия фининспекции. Здесь же был и Вахидов. Эта четверка спрашивала его, *ятого*, — до каких же пор он будет так

легко уступать головы и умерщвлять своих. «Разве убийства таких людей, как Хамдам, способствуют успеху нашего дела? Чего ты боялся?» — допытывались они. Курбан чуть ли не открыто называл его трусом.

Они требовали от Карима отчета.

«То, что Хамдама сейчас нет в живых, чревато последствиями! — говорил Курбан. — К кому я поеду, если Фергана осиротела?.. Лучше бы ты убил тысячу людей и сумел бы выкупить Хамдама».

«Ты заставил Мулла-Бабу отправить его на тот свет. Это было легко сделать», — ядовито, но с вежливой улыбкой сказал Вахидов и взглянул на Фрадкина.

Фрадкин улыбался. Мулла-Баба, шевеля губами, читал молитвы. Все они глядели друг на друга, как змеи, сидящие в одном гнезде. «Неужели я с ними чего-нибудь добыюсь?» — подумал Карим. Он накричал на них, заявив, что никто из них не имеет права требовать от него объяснений.

«Если власть будет думать о том, как объяснить каждый свой шаг, она перестанет быть властью, — жестко сказал он. — И помните: кто подымал руку против меня, тот не выезжал из Средней Азии живым. И не уедет, пока я жив!» — добавил он.

С этими словами он отослал их. Он загнал их, каждого в свое стойло. Опасный, неверный Хамдам, который мог когда-нибудь встать на дороге, — мертв.

Блинов далеко... Еще остается Жарковский, но это сладится, он человек с пятнышком. Карим был доволен.

Когда Юсуп вошел в кабинет, Карим приветливо сиял.

Но молчание, длившееся минуту, показалось ему необычным. Улыбаясь, он протянул Юсупу кожаный портсигар с папиросами. Юсуп, отказываясь, покачал головой. Карим присмотрелся к нему, стараясь понять его мысли, и быстро сказал:

— Хамдам-то помер. Вот неожиданность!

Юсуп думал именно об этом. Вскинув голову, он крикнул:

— Да, да! Что такое?

— Смерть, — спокойно ответил Карим. — Она не разбирает.

— Но почему все развалилось? Почему всех выпустили?

— Ну! Это надо спросить Жарковского... Может быть, так надо... — многозначительно проговорил Карим. — Мало ли по каким причинам. Мы не знаем.

Юсуп снова покачал головой, показывая сейчас, что он соглашается с Каримом. За минуту до этого он касался рукой револьвера, он был вспыльчивым человеком... Но у него была привычка военного — сперва осмотреться и, прежде чем принять решение, учесть обстановку.

— А это верно, что труп Хамдама вскрывали? — спросил он.

— Да... — ответил Карим — Ну, дело не в этом. Вскрывают всех. Но я послал отсюда в Коканд специально профессора Самбора.

— Знаю Самбора. Я лежал у него в клинике. Ну, и что же?

— Ничего, — Карим вздохнул. — Хочешь, я дам тебе прочитать протокол... то есть копию! Оригинал, конечно, в ГПУ.

Порывшись в бумагах, он вытащил листок — копию протокола вскрытия:

— Вот.

У Юсупа слегка задрожали руки. Он пробежал глазами: «...тела Хамдама Хаджи... вскрытие производил судебно-медицинский эксперт гор. Ташкента профессор Самбор».

Далее сообщалось, что на трупе ни внешних, ни внутренних признаков насильственной смерти не обнаружено. В заключение профессор Самбор писал: «Смерть произошла от паралича сердца на почве крупозного воспаления, кроме того Х. Х. страдал воспалением двухстворчатого клапана сердца, миокардитом, склерозом венозных сосудов сердца и аорты. *Насильственная смерть исключается*».

— А почему подчеркнуто?.. Думали, что убит? — спросил он, глядя на Карима.

— Были слухи, что отравлен. Может быть, верно... Все может быть, — сказал Карим.

— Ну, как же?.. Ведь Самбор — знающий человек, — проговорил Юсуп, взмахивая листком.

— Ну-у, — протянул Карим. — Есть многое на свете, друг Горацио... Знающие не всегда все знают.

— Ну кто? Кто мог? Кто мог это сделать?

— Свои.

— Боялись разоблачений?

— Конечно! Этот человек много унес с собой в могилу, — хладнокровно ответил Карим, почесывая висок. — Это означает, что мы ничего не сделали, что наш классовый враг оказался изворотливее, хитрее, чем мы ожидали... — говорил Карим, закуривая новую папиросу. — Прохлопали! Скоро начнется сев, — продолжал Карим, вспоминая свою речь, напечатанную в газете. — С дорог весны мы должны убрать всех оппортунистов, всех бюрократов, всех классовых врагов... мерзавцев, негодяев!

Юсуп смотрел на узкие, как две ленточки, губы Карима.

— Надо выработать ряд жестких мер... Устроим специальное заседание... Обсудим... Надо быть начеку... Начеку! — отрывисто, властно, с энергией и ненавистью в голосе говорил Карим, устремив взгляд на чернильницу. Затем с чернильницы он перевел взгляд на Юсупа. — А главное — надо во что бы то ни стало поймать врага, — добавил он, будто чувствуя, что чего-то не досказал. — И я поймаю его. Клянусь!

— Ты так это говоришь, таким тоном, как будто ты не уверен в этом, — сказал Юсуп и рассмеялся. — Неужели ты в этом не уверен?

— То есть как не уверен? — спросил Карим и вдруг почувствовал, что он краснеет в первый раз в жизни и что руки у него мгновенно стали мокрыми и горячими. Этот совершенно невинный по форме вопрос, такой легкий, такой простой и такой, по существу, глубокий, вонзился в Карима, точно игла, и вдруг нарушил годами выработанную привычку быть готовым ко всему. Ни одно прямое, брошенное в лоб обвинение никогда не подействовало бы так на Карима.

— Хоп, хоп! — сказал Юсуп. — Мне надо идти. До вечера!

— До вечера, — повторил Карим и улыбнулся, чувствуя, что делает это последним напряжением нервов,

потом протянул руку Юсупу и крепко ее пожал. Он проводил Юсупа до двери, а когда дверь за Юсупом закрылась, он схватился за портьеру и так дернул ее, что материя затрещала. Портьера повисла на одном последнем кольце.

Лицо Карима перекошилось, как будто кто-то ударил его по голове. Он опустился в кресло и просидел в нем минут пятнадцать, не двигаясь, молча прислушиваясь к звону капель за окном, падавших с методической точностью, будто часы, отбивавшие секунды. У него слегка закружилась голова... Он быстро провел рукой по волосам, успокоил себя и нажал кнопку к Вахидову, чтобы сдать ему подписанные бумаги.

Секретарь Вахидов, войдя в кабинет, удивленно оглянулся на портьеру, потом на Карима.

— Это я нечаянно... — пробормотал Карим, усмехнувшись. Голос у него охрип, ему пришлось откашляться. — Поправить надо, — сказал он, указывая на портьеру, затем дотронулся пальцем до лба и подумал: «Какая глупость! Неужели конец? Нет, это нервы. Просто показалось...»

Карим потрянул головой, отгоняя от себя страшные мысли.

Юсуп покинул здание Совнаркома. По-прежнему у входа шагали постовые милиционеры. Дождь не унимался. На секунду все показалось ему как в Ленинграде: обхлестанные дождем машины, мокрые деревья, блестящий от дождя асфальт, влажный песок на аллее бульварчика. Невольно вспомнились колонны Смольного. «Если бы Киров был тут... — подумал Юсуп. — Пойти бы к нему, вот как пришлось побывать у него в Ленинграде...»

Юсуп присел на скамью в конце бульвара, выходящего на улицу. «Что же мне делать? — подумал он. — К Жарковскому идти нелепо, он считает, что все расследовано, все закончено. Обратиться в партийные организации?»

Это было трудное состояние. Но Юсуп был настойчив и упорен. Некоторые его спрашивали: «Чего вы добиваетесь? Какие у вас факты, черт возьми, чтобы говорить о таких вещах?» Он отвечал: «У меня есть жизнь. Это ведь тоже факт, черт возьми. Она тоже что-

то доказывает, надо только внимательно слушать и прилежно смотреть и говорить об этом...» Шел месяц, другой, он везде говорил о деле Хамдама. Он писал даже Блинову, Лихолетову. Верный себе, стремительный Александр сразу ему ответил: «Чуешь дымок — жарь, ставь вопрос... А еще лучше — приезжай в Москву, посоветуемся, разберемся».

До Карима, конечно, доходили слухи и об этих письмах и об этих разговорах. Карим смеялся, не придавая им значения, только однажды сказал: «Не заболел ли Юсуп маниакальной идеей?»

Но Юсуп не был одинок. Ряд товарищей сочувствовал ему и поддерживал его. Он не был одиноким и в своих ощущениях.

Чтобы правильнее оценить их, заглянем несколько в душу Юсупу. Пожалуй, только он из всех ташкентцев мог чувствовать в хамдамовском деле что-то и сугубо свое, очень личное, больно его задевающее, чем он так долго мучился. Поэтому и с друзьями по работе и на всякого рода собраниях он советовался, пытался «прощупать» их мнения.

«Я ишу правды», — говорил он. Одни выслушивали его внимательно, другие разводили руками, третьи, покачивая головой, предпочитали уйти в сторону от этих беспокойных разговоров.

При свидании с Каримом у Юсупа мелькнула тень подозрения, он это очень хорошо помнил, но ни в своих мыслях тогда, ни даже в чувствах он не связывал Карима с Хамдамом.

Только однажды, когда он приехал в Москву к Лихолетовым, мысль об этом опять почти случайно мелькнула у него в разговоре, и он поделился ею с Александром.

Сашка вдруг напряжился, как в молодые годы, расстегнул ворот кителя, шея у него побагровела, и он сделал страшные глаза:

— А что? Махнем! Напишем в ЦК.

Юсуп согласился.

Через три года возникло совсем иное дело, совсем не сплетавшееся с тем, о котором говорил Юсуп, но по существу, как многие решили впоследствии, связанное с ним. Оно возникло и протекало, конечно, уже без Юсупа, при иной обстановке в иных обстоятельствах и с иными людьми. И завершилось полным разгромом Карима и его соучастников. Эти события пронесли над землей как раз в дни весеннего сева...

1940



### О РОМАНЕ «ЭТО БЫЛО В КОКАНДЕ»

Начинающим литератором (еще в 1923 году) слышал я лично рассказы М. В. Фрунзе о Средней Азии, о борьбе советских людей за освобождение Бухары от феодальной власти эмира. Дм. Фурманов, соратник Фрунзе по этим походам, также делился со мной своими воспоминаниями. И когда через десять лет я попал в Среднюю Азию, эти рассказы, конечно, воскресли в моей памяти. Однако не только минувшее стало мне яснее. Яснее стал виден тот огромный исторический процесс, в котором созревало и крепло братство между русскими и узбеками. Стало понятным, каким образом произошли разительные перемены, превратившие захудалую царскую окраину в чудесный край, и каким путем Юсуп, мальчик-раб при конюшне богача Мамедова, возмужав и закалившись в обстановке боевых лет, смог сделаться комиссаром Советской Армии, а затем большим партийным работником.

Но как же писался «Коканд»?

Эти несколько страниц, с которыми я хочу обратиться к читателям, ознакомят их с историей возникновения этой книги. И, может быть, дадут им понять, каким же образом русский писатель берется за материал Востока («восточный»)? Для него, по-видимому, чуждый или случайный?.. И каким образом этот материал, эта тема становятся для него настолько живыми и близкими, что без них он не может представить себе своего творчества...

По рождению я северянин. Отсюда, из северного материала, вышло большинство моих повестей и рассказов

и в их числе роман «Северная Аврора». Так что Средняя Азия пришла ко мне как будто бы извне. И никакими житейскими нитями я как будто бы не был с ней связан... Так как же все это вышло? Этот вопрос сейчас и для меня самого интересен, потому что до сих пор я над ним не задумывался. Ну, значит пришла пора над этим подумать...

Рассказы М. В. Фрунзе и Дм. Фурманова еще не давали мне права писать о Средней Азии. Они были для меня тем «зачином», с которого начинается всякая песня. Но это еще не было «Кокандом» ни по теме, ни по своему сюжету.

Как это ни странно, но мысль об этой книге, о возможном воплощении ее родилась во мне в дни Первого Всесоюзного съезда советских писателей, когда я встретился с некоторыми среднеазиатскими работниками, а также и с рядом писателей, уже побывавших в этом краю.

Нельзя забыть дни Первого съезда писателей! Праздничные, радостные, полные необыкновенных ощущений и мыслей... До этих дней я считал себя, как и многие из моих русских сотоварищей и друзей по литературе, только русским писателем. Масштаб своей духовной деятельности я ограничивал пределами Ленинграда, Москвы, вообще России. Все остальное представлялось мне чем-то экзотическим, чрезвычайным, далеким.

Если вспомнить классическое прошлое нашей русской литературы, так и там встретишься приблизительно с тем же отношением. Даже у Пушкина и Лермонтова «кавказская тема», тема Востока, в сущности, звучит по-русски, если можно так выразиться... «Бахчисарайский фонтан» — лишь тема любви и судьбы пленницы Марии. Гирей и все прочее — лишь обрамление. Лермонтов — это прежде всего тема русского воина в обстановке Кавказа, или также тема судьбы, личности или тема русского среди кавказских гор. Ранний рассказ Льва Толстого — опять, по существу, русская тема, тема прекрасных человеческих взаимоотношений, возникших между русским офицером и горянкой Диной, тема «Кавказского пленника».

Но в дни Первого съезда мне стало понятно, что я не только русский писатель. А советский писатель. И не только в смысле идеологии, а и в смысле материала,

которым я могу воспользоваться. И не только могу, а может быть, должен...

Когда я увидел своими соседями по Колонному залу писателей — украинцев, грузин, белорусов, армян, узбеков, таджиков, туркмен, азербайджанцев и т. д., — эта мысль об общности наших задач укрепилась во мне. Нет, нам нельзя быть замкнутыми и ограничиваться, говоря метафорически, пределами только своего «шигровского уезда». Это, конечно, шутка, но мысль, даже шутиливо выраженная, все-таки таит в себе зерно истины. Двое из моих друзей (Тихонов и Павленко) уже побывали в Средней Азии, уже писали о ней, и я решил пойти за ними следом. Мне думалось, что двух-трех недель будет мне достаточно и что я сумею дать хотя бы какой-нибудь очерк, что в предстоящей поездке я удовлетворю свое писательское любопытство. О большем я и не думал. И вот поэтому почти сразу после съезда я отправился в Среднюю Азию...

В Ташкенте я почти не жил. Я жил на даче в одном из кишлаков по дороге на Чирчик, в двадцати километрах от Ташкента. Сперва я как бы учился дышать воздухом Средней Азии. Потом я начал знакомиться с местными людьми. Потом со среднеазиатской литературой того времени. И роман Айни «Бедняк» был для меня первым руководством по современной среднеазиатской прозе. И то, что это было переводом с таджикского языка, а не узбекского, меня не смущало, в первую очередь меня волновал материал, содержание.

Тут я почувствовал, что для того, чтобы понять настоящее, то есть современность, революционный материал, мне предстоит ознакомиться с прошлым. Настоящее ведь возникает из прошлого, перерабатывая или уничтожая его. Я был уверен, что, вернувшись из Средней Азии, я найду очень многое в публичных библиотеках Москвы и Ленинграда, что восполнит мои знания по восточным культурам, мои пробелы в образовании, и что я найду ответ в книгах на многое из того, на что меня натолкнет жизнь и что мне на первый взгляд покажется не совсем ясным. Так и случилось впоследствии. Но в своих поисках нового материала я отрицательно относился к экзотике, к той экзотике, которая присуществовала в европейских романах (например, Пьера Лоти), где «гаремы», «розы и соловьи», «затворницы», «одуряющие ароматы

востока» заменяли правду жизни и давали читателю только оперную декорацию — кстати, лживую. «Жизнь Востока иная, и вот об этой иной жизни, настоящей жизни, я должен писать», — думалось мне.

Единственная русская вещь, поздняя повесть Л. Толстого о Хаджи-Мурате, была для меня тем блестящим образцом, которым, по моему мнению, следовало пользоваться русскому писателю.

Это было уже не «Кавказским пленником». Это уже было той литературой, в которой трепетала истинная жизнь, наполненная социальным и философским содержанием. Но это был Лев Толстой! «Как же ты-то будешь писать? Ну, будем рисковать», — подумал я.

После месячного пребывания в одном из кишлаков под Ташкентом, когда я уже несколько познакомился и с иными нравами, и с иным бытом и научился подходить к местным людям, я отправился в путешествие.

В то время в Средней Азии все было по-иному, чем сейчас. Очень силен был восточный колорит во всем — и во взаимоотношениях с людьми, и в образе жизни, и в ее красках, и во вкусах... И, попав в Коканд, в маленькую городскую гостиницу, я почувствовал себя перенесенным в прошлое столетие. В пустом и голом номере, где, кроме стола, накрытого вместо скатерти старой газетой, где, кроме стульев и кровати, ничего не было, я встретился с заместителем председателя Кокандского городского Совета. Ему писали обо мне, и он пришел меня навестить. Вот отсюда и начался тот «Коканд», которым я был занят почти непрерывно шесть лет...

На столе стоял медный самовар, на газете лежало несколько ломтей ситного и несколько кусочков сахара. И вот за этим пиршеством от моего гостя я узнал о деле Хаджи Хамдама. Отсюда и пошло мое знакомство как с общим характером беш-арыкского дела, так и с теми подробностями, без которых я не мог бы ничего написать. Он же познакомил меня и с рядом участников многих событий, которые впоследствии я описывал в «Коканде». Чудесный человек был этот кокандец. Сложна и трудна была его жизнь самарского рабочего, по воле революции в 1918 году очутившегося в Коканде. Но все рассказанное им также было лишь предысторией.

Интересен был этот бывший рабочий, воистину большевик, еще и другим. Казалось, что в 1934 году он

совсем не изменился по сравнению с 1918 годом и что он носит все ту же серенькую кепочку, и ту же много раз стиранную косоворотку, и те же штаны, заправленные в пыльные сапоги. Пылища тогда царила в Коканде. Он же познакомил меня и с теми узбеками, с которыми вместе жил и вместе делал историю.

После Коканда я отправился дальше. Но сейчас моя поездка была уже до некоторой степени осмысленной... Я знал, что мне в первую очередь спрашивать, чем следует интересоваться, как наполнять подробностями тот рассказ, который меня поразил в Коканде. И не только поразил, но захватил, овладел мной.

Нет нужды описывать здесь подробный маршрут моего дальнейшего путешествия. Я как-то подсчитал, что одолел несколько тысяч километров, пользуясь различными видами транспорта, вплоть до лошади. Я побывал и в Фергане, и в Самарканде, и в Зеравшанской долине, и в горной пограничной полосе Средней Азии, и не только крупные города, но и мелкие, и десятки кишлаков — все было на моем пути. Я видел не только оседлое население, но и бродячие племена, на шатры которых вдруг наткнулся у колодцев пустыни. Однажды мне пришлось даже до некоторой степени участвовать в одной операции против басмачей, просочившихся через границу как раз в ту осень. Правда, никакой прямой и активной роли в этом деле я не играл. Я видел людей самых разнообразных социальных положений. Да не только видел, но и знакомился с ними. Они были разными и по возрасту, и по убеждениям, а некоторые из них оказались участниками событий тех лет, которые я впоследствии описывал в романе «Коканд». Не думайте, что я «собираю материал»... Я не пользовался записной книжкой, я просто жил всеми этими новыми впечатлениями, и только таким образом они скапливались в моей душе (именно в душе, я не оговорился).

Позже, после возвращения моего из поездки я получил из среднеазиатских архивов многотомное беш-арыкское дело, и оно стало сюжетным стержнем моего романа. Я познакомился со всем, что было в архивах по этому поводу, изучил это так, как может изучать историк документы. Но в дополнение к этим документам у меня были личные впечатления, и десятки рассказов

живых людей, и все то, что мне дала поездка. И они оживили всю документальную историю.

Когда я приехал в Ленинград, перенасыщенный всем этим материалом среднеазиатской жизни, мне захотелось привести его в некоторый порядок, в систему, но я не смог этого сделать. Системы-то не получалось. Когда я беседовал с товарищами по этому поводу, они мне говорили, что материал очень сложен, хаотичен и вряд ли мне удастся в нем разобраться. Тогда я решил все-таки попытаться, но избрал иной путь, не тот, чтобы описывать только мои непосредственные впечатления, как описывает репортер или хроникер. Я должен осмыслить все — такую я себе поставил задачу... В течение трех лет я сделался постоянным посетителем Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Я ознакомился почти со всеми книгами, которые были написаны о революционных событиях в Средней Азии, но, кроме этого, я ознакомился и с рядом научных трудов по истории государств Средней Азии и среднеазиатской культуры, экономике, этнографии и географии, климатологии и т. д. Я прочитал комплекты ташкентских, кокандских и самаркандских газет за многие годы. Газеты еще не документ, но это нечто вроде записной книжки, и если к «записям» в ней относиться исторически, если считать, что все записанное — только факты, только материал для историка, который он должен обрабатывать, тогда пользоваться газетами необходимо. Они, как сейсмограф, повседневно отмечающий колебания почвы, то есть ее жизнь, также дают общую картину социальной жизни и собирают ряд интересных деталей, тех мелочей, которые эту жизнь воскрешают в подробностях.

Сейчас мне кажется, что если в то время, когда я ничего не знал о Средней Азии, кроме «зачина» (рассказов М. Ф. Фрунзе), и если бы мне сказали тогда: «Вот что, дорогой товарищ! Учти!.. Чтобы писать что-то о Средней Азии, ты должен пробыть в ней не две-три недели, а почти треть года... Да, да... Ты в погоне за материалом, который будет интересовать тебя все сильнее, исколесив немало дорог, а потом ты утонешь в гряде книг и бумаг, и годами будешь глотать книжную пыль, и так же годами будешь писать», — возможно, даже наоборот, я бы испугался непомерности труда... Но, к счастью, я ни о чем подобном не думал. И работа над

«Кокандом» стала моей ежедневной потребностью. И я не спрашивал себя, когда же будет поставлена последняя точка...

Вот тогда-то все как бы само собой пришло в систему, без усилий с моей стороны. Сюжет книги сложился сам и совершенно естественно. Я ничего не придумывал, не мучился над планом книги, и писать ее было легко.

Книга «Это было в Коканде» впервые была напечатана в 1940-м году в журнале «Звезда». С тех пор, несколько раз переиздавая ее отдельными изданиями, я всегда вносил в нее соответствующие редакционные поправки, которые казались мне нужными. Год тому назад я снова ее пересматривал, и не только по линии стиля. Она жива во мне и до сих пор. Я, само собой разумеется, никогда не считал и не считаю, что она совершенна, все живое далеко не совершенно. Строго говоря, несовершенное можно найти даже в великих произведениях искусства, как писал об этом Ромен Роллан. Но эта книга близка мне. В ней вовсе не чужая, а родная мне тема, и годы, проведенные над этой книгой, кажутся мне счастливыми.

Декабрь 1959 г.

Николай Никитин

## С Л О В А Р Ь

*Азан* — религиозный призыв у мусульман.

*Азанчи* — прислужник в мечети.

*Арбакеш* — возчик.

*Аскер* — воин.

*Байга* — конские состязания.

*Балахана* — пристройка к дому, терраса с навесом.

*Бачи* — юноши и мальчики, живущие у певцов, обучающиеся у них танцам, пению, игре на инструментах.

*Бунчук* — войсковой знак и символ власти, древко с шаром и прядями конских волос.

*Дамулла* — помощник муллы.

*Дастархан* — угощение.

*Дашнак* — член армянской буржуазно-националистической партии.

*Дервиш* — странствующий мусульманский монах.

*Дехканин* — крестьянин.

*Джаиды* — представители буржуазно-националистической группы в Бухаре.

*Джихад* — «священная война» мусульман в Средней Азии.

*Джугара* — однолетний кормовой злак.

*Дувал* — глиняный забор.

*Дутар* — народный щипковый музыкальный инструмент.

*Ичкари* — женская половина мусульманского дома.

*Ишан* — высшее духовное звание в исламе.

*Кавардак* — кушанье, кусочки жареного мяса (куры или баранины) с разными овощами и пряностями.



*Камис* — погребальное одеяние, саван особого покроя.

*Камча* — плетка.

*Карагач* — порода дерева.

*Карнай* — духовой инструмент.

*Кипчаки* — одно из племен в Средней Азии.

*Кошма* — коврик, подстилка из войлока.

*Курбаши* — начальник басмаческого отряда.

*Курганча* — усадьба.

*Курджун* — путевой мешок из ковровой материи, двусторонний  
вьюк.

*Кушбеги* — звание первого министра в Бухаре, при эмирате.

*Кяфиры* — мусульманская кличка «неверных», христиан.

*Мазар* — могила святого, с часовней.

*Мангал* — жаровня.

*Махаля* — часть двора.

*Медресе* — мусульманская школа.

*Мергены* — стрелки-басмачи.

*Мукки* — горная обувь.

*Мюрид* — послушник у мусульман, обязанный беспрекословно повиноваться высшему наставнику (шейху или имаму).

*Номад* — кочевник.

*Нукер* — воин личной охраны важных и знатных лиц.

*Сарбаз* — солдат бухарской армии при эмире.

*Сура* — стих из Корана.

*Сурнай* — музыкальный инструмент.

*Сюзане* — узбекский ковер, который обычно вешают на стене; плотно с вышитым шелковой или бумажной ниткой орнаментом.

*Табиб* — туземный врач.

*Томаша* — зрелище, спектакль.

*Той* — пир, угощение.

*Тугай* — заросли кустарника.

*Улус* — селение.

*Фирман* — приказ.

*Чайрикеры* — издольщики в сельских хозяйствах богачей.

*Чачван* — покрывало, сплетенное из конского волоса, закрывающее  
лицо женщины.

*Чилим* — трубка для курения опиума (анаши) с длинным чубуком.

*Чильманды* — бубен.

*Чикчиры* — узкие кавалерийские брюки с кожаными нашивками  
(леями).

*Шариат* — свод религиозных и гражданских прав для мусульман,  
основанный на Коране и канонических преданиях.

*Шурпа* — суп.

*Шур-чай* — зеленый чай.



## С О Д Е Р Ж А Н И Е

Николай Тихонов. — О Николае Никитине и его  
книгах . . . . . 3

ЭТО БЫЛО В КОКАНДЕ

*Роман*

Часть первая . . . . .	13
Часть вторая . . . . .	134
Часть третья . . . . .	252
Часть четвертая . . . . .	344
Часть пятая . . . . .	476
О романе «Это было в Коканде» . . . . .	598
Словарь . . . . .	605



Николай Николаевич Никитин

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ, Т. I

Редактор А. Рулева. Художественный редактор А. Гасников. Техни-  
ческий редактор В. Алексеева. Корректор В. Урес. Сдано в набор  
12/IV 1968 г. Подписано к печати 9 VIII 1968 г. Тип. бум. № 2. Фор-  
мат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 19 печ. л. = 31,92 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 31,519 +  
+ 1 вкл. 31,533 л. Заказ № 1200. Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 10 к.  
Издательство «Художественная литература», Ленин-  
градское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.  
Ленинградская типография № 2 имени Ев-  
гении Соколовой Главполиграфпрома Коми-  
тета по печати при Совете Министров  
СССР, Измайловский пр., 29.